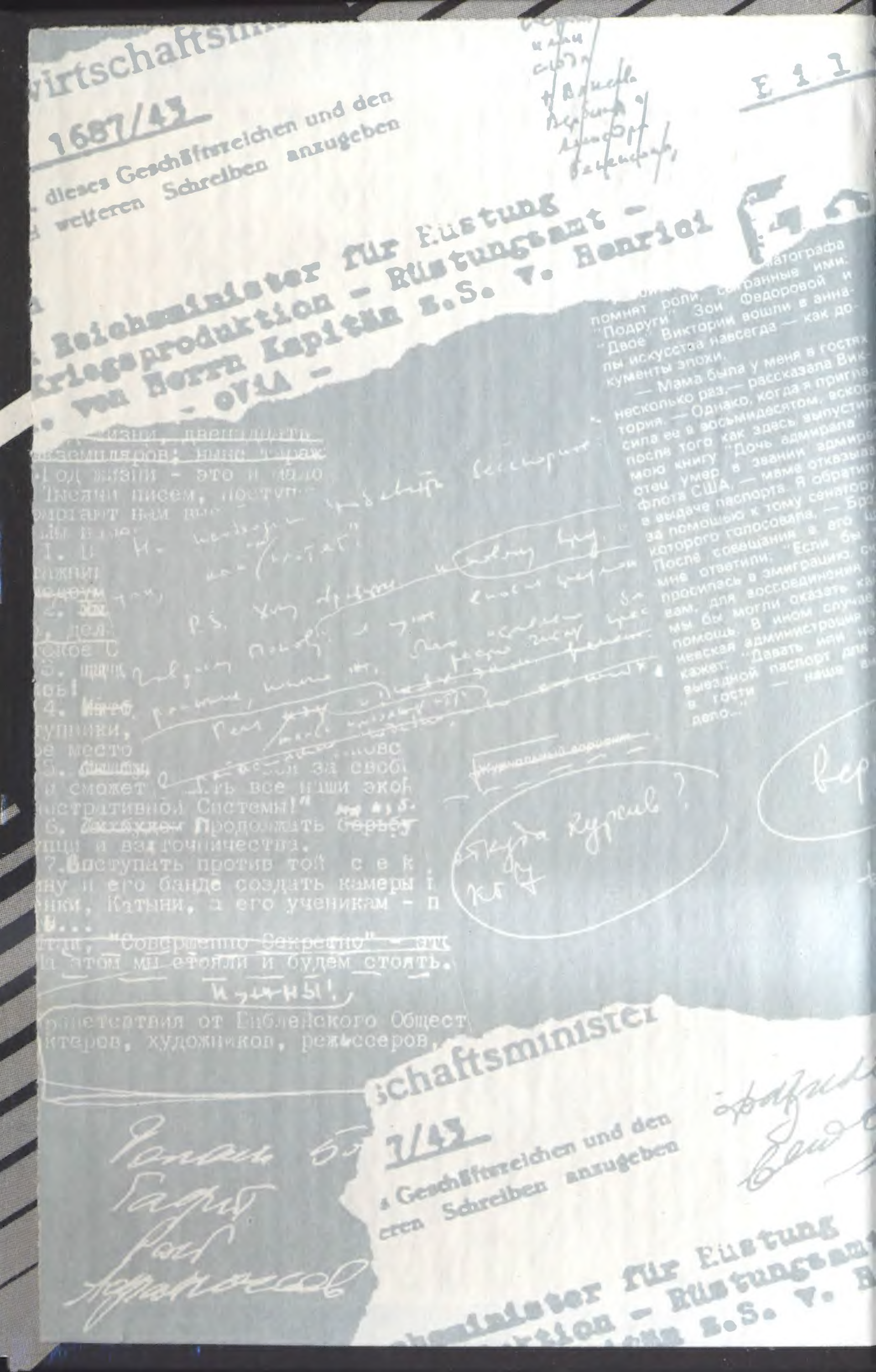
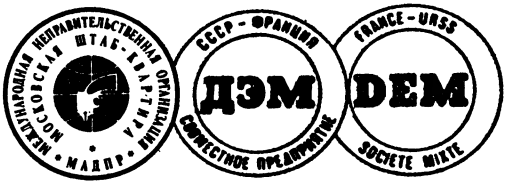
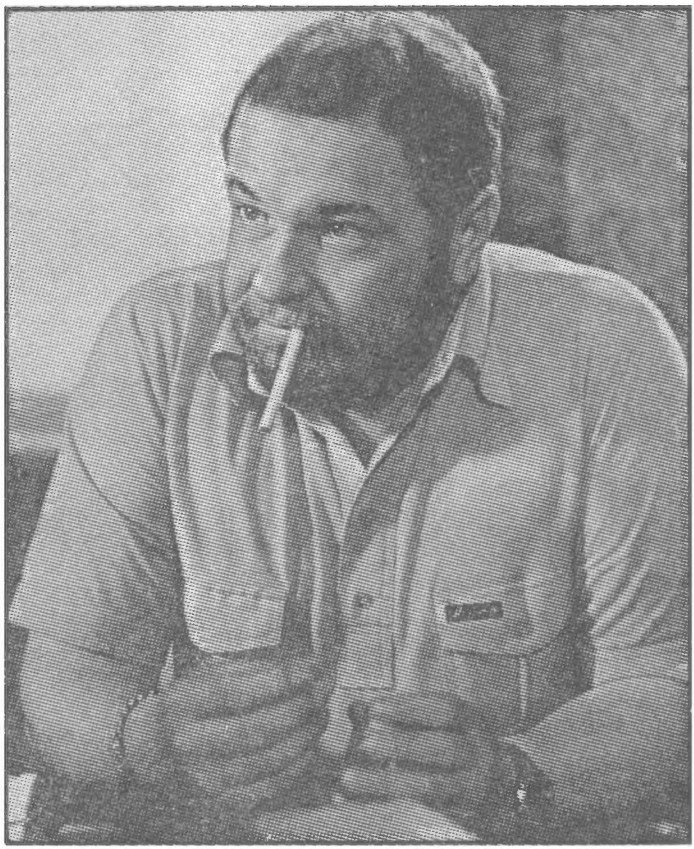
ЮЛИАН
СЕМЕНОВ

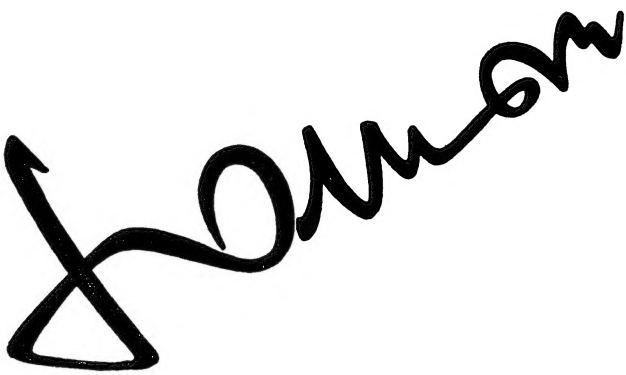

wirtschaftsmi
1687/43
dieses Geschäftszeichen und den
weiteren Schreiben anzugeben
Reichsminister für Rüstung
Kriegsproduktion - Rüstungsamt -
von Herrn Kapitän z.S. v. Henrici
- OVIA -
E 1 1
помнят роли, сыгранные ими.
"Подруги" Зои Федоровой и
"Двое" Виктории вошли в анна-
лы искусства навсегда — как до-
кументы эпохи.
— Мама была у меня в гостях
несколько раз,— рассказала Вик-
тория. — Однако, когда я пригла-
сила ее в восьмидесятом, вскоре
после того как здесь выпустили
мою книгу "Дочь адмирала",
отец умер в звании адмирала
флота США, — маме отказывали
в выдаче паспорта. Я обратилась
за помощью к тому сенатору,
которого голосовала, — Бр
После совещания в его
мне ответили: "Если бы
просилась в эмиграцию,
вам, для воссоединения
мы бы могли оказать ка
помощь. В ином случае
невская администрация
кажет: "Давать или не
выездной паспорт для
в гости — наше
дело..."
Год жизни - это и мало
Тысячи писем, поступ
7. Выступать против той с е к
ину и его банде создать камеры
енки, Катыни, а его ученикам - п
"Совершенно Секретно" - эт
На этом мы стояли и будем стоять.
приветствия от Библейского Общест
актеров, художников, режиссеров,
schaftsminister
7/43
Geschäftszeichen und den
eren Schreiben anzugeben
minister für Rüstung
ktion - Rüstungsamt
z.S. v. H

Антон Семенов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ







Семенов

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ 1945-1953

Москва
МШК МАДПР, ДЭМ
1994

ББК 84.3Р7
С 30

Редакционная коллегия:
Л. АННИНСКИЙ
А. БЕНЕНСОН
В. КОЗЬМИН-БОРОЗДИН
О. СУЛЕЙМЕНОВ

Художники:
В. БЕЛЯКОВ
В. ПОМОЧИЛИН
М. ШЕСТОПАЛ

ISBN 5-85207-019-X (общий)
ISBN 5-85207-028-9

© Ю. С. Семенов, т. 4, 1994
© Составление и оформление МШК МАДПР, 1994

ПРИКАЗАНО
ВЫЖИТЬ
(1945–1946)

НАЧАЛО ПОСЛЕДНЕЙ ИГРЫ

— Поедем в «Майбах-3», — сказал Мюллер шоферу — И, пожалуйста, побыстрее, Ганс.

«Майбах-3» был кодовым обозначением здания, где в Потсдаме размещалось разведуправление «Иностранные армии Востока» генерального штаба рейха во главе с Геленом; здесь же, в сосновом лесу, дислоцировались ставки фельдмаршала Кейтеля, начальника штаба Гудериана, оперативное управление генерала Хойзингера и мозговой трест вермахта — аппарат генерал-полковника Йодля[1].

Мюллер сидел на заднем сиденье. Ганс возил его последние три года, был предан, как пес. Особенно любил сына группенфюрера, Фрица; несмотря на запрет отца, — «национал-социализм — это равенство и скромность», — подвозил мальчика из школы домой; ежемесячно отправлялся к себе в деревню и привозил оттуда с фермы отца отборные, истинно деревенские окорока для Мюллера.

...Два месяца назад на прием к группенфюреру записался начальник районного отделения гестапо, которое в е л о школу, где учился Фриц, и положил на стол рапорт осведомителя, внедренного в учительский коллектив, о том, что Фриц, сломав карманную расческу, сунул ее под нос, смахнул челку на лоб и, став похожим на еврейского ублюдка Чаплина, изобразившего фюрера в клеветническом фильме «Диктатор», начал выкрикивать голосом Гитлера святые для любого национал-социалиста лозунги: «Каждый немец имеет право на землю!», «Каждый ариец будет обеспечен работой!», «Каждый подданный великой римской империи германской нации самый счастливый человек в мире и готов защищать свою свободу до последней капли крови!» Однако Фриц

[1] Через три месяца Кейтель и Йодль будут арестованы союзниками, а затем повешены по приговору Нюрнбергского трибунала; через четыре года их сотрудник генерал Хойзингер станет командующим силами НАТО в Западной Европе; генерал Гелен будет назначен начальником разведки Федеративной Республики Германии, а Гудериан — главным военным теоретиком бундесвера. *(Здесь и далее прим. автора.)*

Мюллер ко всем этим святым лозунгам сделал комментарии: к первому «в количестве одного метра на кладбище!»; ко второму — «в лучшем концлагере!»; к третьему — «а если откажется, то мы его быстренько повесим на столбе!»

Начальник районного отделения был молодым еще человеком, не до конца искушенным в законах о б щ е н и я, принятых ныне в Германии. Поэтому он наивно решил, что информация, напечатанная в одном экземпляре (он подчеркнул это в самом начале своего доклада), не может не помочь ему в стремительном продвижении вверх по служебной лестнице.

— Спасибо, дружище, — сказал Мюллер, почувствовав, как похолодели кончики пальцев и прижало в солнечном сплетении. — Вы поступили как настоящий товарищ по партии... Другой бы решил — из уважения ко мне — убрать осведомителя, а рапорт его сжечь, все шито-крыто, концы в воду... Но ведь это значило бы загнать болезнь вовнутрь; неизвестно, что выкинет молодой сукин сын, разбаловавшийся в доме отца, отдающего все свое время нашему с вами национальному делу... Наша религия: правда, только правда, ничего, кроме правды, когда речь идет об отношениях между людьми братства СС... Я назначаю вас заместителем начальника гестапо Кенигсберга, поздравляю с внеочередным званием и благодарностью в приказе СС обергруппенфюрера Кальтенбруннера...

— Хайль Гитлер!

— Хайль Гитлер, дружище, хайль Гитлер... И попрошу вас об одном — в данном случае чисто по-дружески...

— К вашим услугам, группенфюрер!

Мюллер усмехнулся:

— Ну, это понятно... Не будь вы «к моим услугам», небось ложились бы спать в страхе... А вам снятся хорошие сны; наверняка часто видите птиц — бьюсь об заклад, лебедей над тихим осенним озером в Баварии.

— Что-то лебедей я не помню, группенфюрер... Вообще я плохо запоминаю сны. Когда просыпаюсь, в памяти держится что-то радостное, но потом наваливаются заботы дня, и я совершенно забываю ночные сновидения...

— Дневных сновидений не бывает, — заметил Мюллер. — Дневная дрема — от сытости, а на полный желудок видятся кошмары... Так вот, пожалуйста, сделайте с е г о д н я же так, чтобы мерзавец Фриц был вызван в районное управление фольксштурма и отправлен на восточный фронт. Я не желаю более видеть его у себя в

доме, ясно? Я никому не прощаю бестактности в адрес великого фюрера германской нации, творца всех наших побед на фронте и в тылу. Потом вы позвоните мне — адъютант Шольц соединит вас — и скажете, по какому шоссе, в какое время и в какую часть отправлен Фриц.

— Да, группенфюрер!

Когда он, щелкнув каблуками, повернулся, Мюллер вздохнул: голова начальника районного отделения гестапо была точно такой же, как у шофера Ганса, — стриженная под скобку; шея очень длинная, но толстая; вытянутость какая-то, а не череп... А ведь ему когда-то нравилась голова Ганса. И он специально садился на заднее сиденье, чтобы смотреть на шофера.

...Он поручил ликвидировать сына Рихарду Шапсу. Мюллер держал «в резерве» не только старых друзей из крипо — криминальной полиции Мюнхена, где он начинал работать в двадцатых годах, — но и трех уголовников, специалистов по налетам, — Рихарда Шапса, Роберта Грундрегера и Йозефа Руа; он провел их через четвертый отдел крипо как специальных агентов, работавших и с арестованными в камерах — «подсадные утки», и на свободе, осведомляя РСХА[1] о готовившихся преступлениях особо крупного масштаба.

...Мальчик был убит неподалеку от Одера; это гарантировало сообщение о героической смерти Мюллера-младшего, павшего в борьбе за дело великой Германии на фронте борьбы против большевистских вандалов.

(Начальник районного отделения гестапо будет ликвидирован, это сделает Йозеф Руа; осведомителя, написавшего рапорт о Фрице, а также трех его ближайших друзей, к которым могла уйти информация о том, что позволил себе сын, уберет Грундрегер; соседа Фрица по парте, Питера Бёнеша[2], после того как он выйдет из больницы, где сейчас находится, устранит Шапс.)

«Если ребенок после пятнадцати лет не стал твоим другом, — сказал себе Мюллер, — если он не бредит отцом, он чужой тебе; вопрос крови пусть занимает Геббельса; повиснуть на дыбе в камере за молодого ублюдка, который, как оказалось, лишен охранительного инстинкта — а по новому закону фюрера меня могла ожидать именно эта участь, — предательство той мечты, которой я живу. Если бы Шелленберг узнал об этом, меня бы уже сегодня могли пытать в подвале. Если Бог

---

[1] РСХА — главное управление имперской безопасности.

[2] П. Бёнеш — ныне редактор «Bunte» в ФРГ.

хочет наказать человека, он лишает его разума. Бог наказал Фрица. Не я».

...Выходя из машины возле двухэтажного краснокирпичного здания, где помещалось разведуправление «Иностранные армии Востока», Мюллер кивнул Гансу на пластмассовую коробочку:

— Съешь бутерброд, сынок, славная колбаса и совсем недурственный шпик, хоть и не из твоего любимого Магдебурга... Я — недолго, можешь не загонять машину в бомбоубежище...

— Добрый день, господин генерал.

— Хайль Гитлер, группенфюрер! — ответил Гелен, поднявшись из-за стола навстречу Мюллеру.

Мюллер усмехнулся:

— Мы живем в такое время, когда надежнее быть каким-нибудь лейтенантом, а вовсе не группенфюрером...

Гелен пожал плечами:

— Вы — избыточный немец, а потому все явления жизни стараетесь привести к единой формуле порядка. А он невозможен, ибо, когда логика отделена от эмоций, начинается хаос.

— Не вижу связи, — ответил Мюллер, усаживаясь в кресло напротив Гелена.

— Если бы вы умели сразу видеть мои с в я з и, не сидеть бы мне здесь, а — в лучшем случае — мерзнуть в блиндажах на восточном фронте.

— Напрасно считаете меня своим главным врагом, — ответил Мюллер. — У вас есть враги куда могущественнее, чем я, и вам это известно, но ваше знание России — самый ваш надежный гарант, а отнюдь не с в я з и. Валяйте, валяйте, растолкуйте все-таки наивному крестьянину вашу логическую хитрость.

— Извольте, — улыбнулся в свою очередь Гелен. — Эмоции человека — это врожденное, логика — благоприобретаемое. Когда две эти ипостаси слиты воедино, начинается р а б о т а, обреченная на удачу. А мы последние годы живем словно бы разрубленные надвое: эмоции говорят нам одно, а логика — то есть обязанность подчиняться указаниям и выполнять приказы — уводит совсем в другую сторону. Согласны?

— Безусловно.

— Вот видите... Вы — как избыточный немец — безуспешно норовите совместить несовместимости и впадаете в алогизм, который чреват горем...

— Во-первых, я баварец, а не немец. Во-вторых, я далеко не всегда разрубаю нашу нынешнюю нелогичную логику с эмоциями, поэтому, видимо, и жив пока что. Но я до сих пор не понял, отчего вы завернули про «избыточного немца».

— Потому что вы норовите навязать себя, свою манеру мышления собеседнику... Не спорьте, я тоже не до конца чистый немец — примесь голландца не может не давать себя знать... Вы мыслите прямолинейно: раз группенфюрер или генерал, значит, в глазах врагов ты полнейший злодей, а лейтенант — всего лишь полусукин сын. Так?

— Так.

— Вам, конечно же, горше, чем мне. Вас ненавидят и на Востоке и на Западе. Что же касается меня, то яростная ненависть Кремля в определенной мере компенсируется алчным интересом к моему делу финансовых еврейчиков на Западе.

— Вот теперь я все понял, — вздохнул Мюллер. — Это вы к тому, что вам, генералу, еще можно как-то продаться, а такую старую потаскуху, как меня, папу-Мюллера, — пусть даже я переделаюсь в лейтенанта, — поставят к стенке и русские и американцы?

— Нет, вы никакой не баварец, вы немец, стопроцентный немец, и ваши предки наверняка родились в Бранденбурге или Ганновере, мне жаль вас. Мы с вами, именно мы, группенфюрер, представляем собою не что-нибудь, но п а м я т ь рейха. Моя память обращена против Кремля, ваша — как против Кремля, так и против Даунинг-стрит, Белого дома и Елисейского дворца, нас грешно стрелять.

— Нет. — Мюллер покачал головой. — Нет, генерал. Вы спутали меня с Шелленбергом. Но мыслили вы именно в том направлении, которое и привело меня к вам... Гудериан отказался передать нам копию вашей «Красной библии». Почему?

— Гудериан лишь подписал отказ, группенфюрер. Отказал я.

Он знал, что делал, отказывая гестапо в просьбе прислать экземпляр «Красной библии». В этой книге были напечатаны досье на советских политических деятелей, генералов, конструкторов, министров — словом, на всех тех, кто являл собою костяк власти; это досье Гелен собирал, используя данные агентуры, перехваты телефонных переговоров и опросы пленных (он провел два месяца с Власовым, беседуя с ним и его ближайшим окру-

жением, перепроверяя то, что было уже заложено в «библию», и добавляя новое, что принес с собой изменник).

«Красная библия» была одним из ш а н с о в Гелена; никто в мире не владел такого рода информацией, как он и его штаб; ни одна разведка, включая Шелленберга, сосредоточившегося в основном на политических, то есть сиюминутных, интригах, не знала того, что знал Гелен; бригадефюрер, возможно, не понял, что настоящая разведка закладывает мины замедленного действия в п р о к, на многие годы вперед; впрочем, ему можно было сострадать — он работал под Гиммлером, который торопился доложить фюреру очередной у с п е х; армия рейха, однако, жила по закону резерва: даже во время победы надобно думать о возможных поражениях и загодя готовить реванш, контратаку, новый сокрушительный удар...

— Вас могут неверно понять, генерал, — сказал Мюллер. — Я и приехал для того, чтобы решить этот вопрос миром.

Гелен покачал головой:

— Группенфюрер, не обольщайтесь: сейчас у Гитлера лишь одна надежда — мы, армия. Вы были самым грозным институтом рейха еще год назад, даже полгода. Теперь вы не можете без нас н и ч е г о. Теперь меня не о т д а д у т вам. Я не боюсь вас более.

— Ну-ну, — сказал Мюллер. — Это вы молодец. Люблю храбрецов. Это у меня с детства — сам-то был трусом, именно трусы и льнут к тайной полиции — реальное могущество, тайная власть над другими... Только срочно отправьте в Тюрингию, на вашу виллу, к жене и детям пару взводов солдат, пусть охраняют вашу семью как зеницу ока: сейчас время страшное, удары в первую голову обрушиваются на несчастных женщин и детей...

Сказав так, Мюллер медленно, тяжело поднялся и пошел к двери.

— Вы с ума сошли! — воскликнул Гелен. — Вы сошли с ума! Вернитесь!

Мюллер послушно повернулся, снова сел в кресло — теперь уже увесисто, по-хозяйски, — миролюбиво заметил:

— Хоть бы кофе предложили, право.

Гелен совладал с собою, ответил:

— Я угощу вас кофе, но вам бы тоже не грех посадить в свою квартиру наряд эсэсовцев. У вас ведь тоже семья, жена и сын, не так ли?

— Была, — ответил Мюллер. —Сын погиб на восточ-

ном фронте, а женою я готов пожертвовать. Вы меня остановили только для этого?

— Зачем вам «Красная библия»?

— Для того, чтобы пригласить вас в долю.

— То есть?

— Все очень просто: у меня появился канал связи с Москвою; ваша «Красная библия», будучи переброшенной Кремлю, вызовет там такую бурю, такой у ж а с, такую манию подозрительности, что последствия трудно предсказать. Запад будет в высшей мере удивлен событиями, которые могут разразиться в Москве. У вас, как я слыхал, собраны данные на Жукова, Вознесенского[1], Говорова, Кузнецова[2], Рокоссовского, наркома авиации Шахурина[3], которые мы преподнесем соответствующим образом. Память Власова выборочна. То, что обыкновенный человек легко забывает, предатель помнит обостренно, истинный сплав логики и эмоции, попытка п о д т а щ и т ь всех чистых под себя, грязного; предательство — категория любопытная, изменник хочет оказаться третьим, он всегда ищет — в оправдание себе — первых и вторых... Я готов поработать с вашей «библией» здесь, в кабинете, если вы боитесь — и правильно, кстати, делаете, — что она окажется в сейфе Кальтенбруннера или Гиммлера, возьми я ее с собою...

— Словом, вы просите меня позволить вам быть причастным к тому делу, которому я посвятил жизнь?

— О! Совершенно верно изволили сформулировать, генерал, экая точность в слове!

— В таком случае вы будете обязаны помочь несчастному Канарису.

— Им занимается Кальтенбруннер. Лично.

— Да, но в том концлагере, где томится истинный патриот Германии, есть ваши люди. Они ведь могут в с е.

— Логика, генерал! Логика! Где ваша логика?! Только что вы заметили, как ныне всемогущественна армия, а мы, бедное гестапо, в полнейшем загоне, и тут же противоречите себе, утверждая, что мои люди могут в с е...

Мюллер глянул на Гелена и понял, что перебрал: тот может закусить удила, прусская кость, армейская каста, ну его к черту...

— Хорошо, — сказал он, — давайте уговоримся так:

---

[1] Член Политбюро, расстрелян в 1948 г.

[2] Секретарь ЦК, расстрелян в 1948 г.

[3] Арестован в 1947 г.

я гарантирую, что родственники казненного фельдмаршала Вицлебена и генерала Трескова не будут ликвидированы, как это предписано фюрером... Я обещаю вам, что семья фельдмаршала Роммеля, покончившего с собою по приказу фюрера, не будет отправлена в лагерь, как это санкционировано Гиммлером... Что же касается судьбы несчастного Канариса, я п о с т а р а ю с ь выяснить, что его ждет. Я попробую понять, отчего он до сих пор не казнен, кто остановил руку палача, кому это на пользу. Такого рода уговор вас устраивает?

Гелен снял трубку телефона, попросил адъютанта принести два кофе и, открыв сейф, молча, как-то брезгливо, но в то же время жалостливо протянул Мюллеру книгу.

Тот пролистал первые страницы, улыбнулся:

— Товар, а?! Просто-таки товар!

— Это не товар, это — будущее...

Когда адъютант принес кофе, Мюллер спросил:

— Какие-то страницы можно будет фотокопировать?

— Какие-то — да, весь материал — нет.

— Пропорция?

— Четвертая часть.

— Договорились. У вас есть ко мне еще какие-нибудь просьбы?

— Есть.

— Пожалуйста.

Гелен хмыкнул:

— Влюбитесь в какую-нибудь девку без памяти, в вашем возрасте это вполне распространенное явление, а я позабочусь о ней в таком смысле, в каком вы намеревались позаботиться о благополучии моей семьи...

Мюллер покачал головой:

— Я почитываю Маркса, генерал. Его формула «товар — деньги» вполне приложима к утехам стареющих мужчин: определенность, никаких эмоций...

— Ваш кофе остывает...

— Вообще-то я кофе не пью, просто приучил себя подчиняться общим правилам и люблю, когда их соблюдают окружающие...

...Вернувшись к себе на Принцальбрехтштрассе, Мюллер попросил Шольца заварить крепкого чая, спросил, какие новости, выслушал ответ адъютанта, несколько недоуменно пожал плечами, потом устало улыбнулся чему-то и начал кормить рыбок.

Недоумевать и радоваться было чему: Штирлиц возвращался в Берлин, хотя Мюллер ставил тысячу против

одного, что тот не вернется; оснований считать так было у него более чем достаточно, ибо его личная служба наблюдения передала из Швейцарии сводку, которая со всей очевидностью доказывала ему, именно ему, и никому другому, связь штандартенфюрера СС с секретной службой русских.

«НО ВСЕ-ТАКИ КАКОВ СМЫСЛ? ЗАЧЕМ?»

Штирлиц поднялся с земли, устланной ржавыми дубовыми листьями. Кое-где пробивалась яркая, изумрудная зелень; ему отчего-то стало за нее страшно — словно девочка-подросток, право; Марика Рокк пела последний куплет своей песни о семнадцати мгновениях весны, о том, как деревья будут кружиться в вальсе, и чайка, подхваченная стремниной, утонет, и никто не сможет помочь ей; голос Рокк, чуть хрипловатый, а потому какой-то особенно нежный, доверительный, достиг своего предела; последний аккорд; шершавая тишина; диктор начал читать последние известия с фронтов; тон — победный, возвышенный; «героизм танкистов, победы рыцарей люфтваффе, грозные контратаки непобедимых СС»...

Штирлиц подошел к машине, выключил радио, сел за руль и поехал в Берлин...

Он не гнал сейчас, словно бы стараясь продлить то ощущение тишины и одиночества, которое сейчас принадлежало лишь одному ему.

Он не хотел, а скорее, не мог представить себе то, что предстоит ему через три часа, когда он вернется. Он ехал медленно, стараясь заставить себя ни о чем не думать; полное расслабление; однако чем настойчивее он приказывал себе не думать, тем настойчивее звучали в нем вопросы, а вопрос — это стимул мысли, начало начал действия, предтеча поступка.

Тогда Штирлиц решил похитрить с самим собою: он заставил себя вспомнить лицо Сашеньки; оно постоянно, с далекого двадцать второго года, жило в нем, однако это воспоминание стало сейчас до того тревожным, безвозвратно-далеким, что Штирлиц даже на мгновение зажмурился, пропустил очередной столбик, но сказал себе: «Это был двести тринадцатый километр, не гони, все будет хорошо, точнее говоря, все о б я з а н о быть хорошо, иначе случится несправедливость, ты не заслужил этого. А разве несправедливость — категория, отмеченная печатью «заслуженного»? Несправедливость — выс-

шее проявление нелогичности бытия: она обрушивается как раз на тех, кто не заслужил ее, кто старается жить по неписаному кодексу добра... Ишь, как ты хвалишь себя, — усмехнулся Штирлиц, — не впрямую, но вполне однозначно... Страсть как любит человек, когда его хвалят. А если похвалить некому? Что ж, как говорят, своя рука владыка... Наверное, фюрер в молодости очень часто слышал гром оваций и свое имя, многократно повторяемое тысячами людей. Интересно, а примут ли когда-нибудь немцы такое решение, чтобы подвергать своего лидера анализу психиатров? Так, мол, и так, вы — параноик, милостивый государь, вам не народом править, а отдыхать в санатории, укреплять нервную систему; можете заниматься рисованием, акварель очень успокаивает нервную систему; допустимы упражнения в поэзии, читайте свои стихи массам, тоже будут овации, девицы падки на сладкоречивую рифму... Хотя нет, поэзия — это святое, к ней нельзя подпускать параноиков... Страшная фраза: «Нельзя подпускать к поэзии...» Стыдно, Исаев, ты сейчас дурно сказал: поэзия отторгнет сама по себе все то, что не отмечено печатью морального здоровья...»

Он вспомнил тот праздник, который был у него осенью тридцать седьмого, когда командование разрешило ему переход фронта под Гвадалахарой, тщательно залегендировав для Берлина «необходимость встречи с агентурой СД, внедренной в республиканскую Испанию». На «окне» его встретил Гриша Сыроежкин, они подружились в двадцать первом, когда Исаев был отправлен нелегалом в Таллинн — по делу о хищении бриллиантов из Гохрана, а Гриша был на связи с ним и Шелехесом-младшим, резидентом ЧК в Эстонии.

...Сыроежкин привез его в маленький особняк близ Валенсии, там уже собрались Владимир Антонов-Овсеенко, Михаил Кольцов, Коля Савин, Хаджи Мамсуров, Яков Смушкевич и Роман Кармен. С каждым из этих людей Максима Исаева связывала дружба с тех давних и прекрасных лет Революции, когда Антонов-Овсеенко часто заходил к Артузову; Коля Савин был у Василия Блюхера, который переправлял Исаева во Владивосток; с Яковом Смушкевичем, в те годы советником республиканской авиации, его дороги пересекались в Китае, когда там был Блюхер и Михаил Бородин, — помогали создавать революционную Красную Армию...

Он пробыл у друзей всего лишь одну ночь. Никто не сомкнул глаз. Вспоминали тех, с кем дружили: Павла Постышева, Якова Петерса, Николая Крестинского, Ми-

хаила Кедрова, Николая Бухарина, Карла Радека, Григория Петровского.

Потом Исаев вышел в маленькую комнату вместе с Антоновым-Овсеенко — тот был генеральным консулом в Испании, отвечал за в с е.

— Максим, — чеканно и многозначно сказал Антонов-Овсеенко, закуривая, — я знаю, что силы твои на исходе, я понимаю все, мой товарищ... Но я не стану передавать твой рапорт в Центр, оттого что борьба с фашизмом — а он многолик, как оборотень, — только еще начинается, и это будет долгая и кровавая борьба.

Антонов-Овсеенко тяжело затянулся, долго, изучающе посмотрел на Исаева, потом, вздохнув, странно улыбнулся:

— Знаешь, мне, как человеку военному, — как-никак прапорщик с пятого года, тридцать два года стажа, — известны все военные приказы... Но есть один, которого нет в уставах: «Приказано выжить»... Понимаешь?

— Понимаю, — ответил тогда Исаев. — Но отдают ли там, дома, себе отчет в том, что...

Антонов-Овсеенко перебил его:

— Максим, там отдают себе отчет во всем. Ясно? Во всем.

«Приказано выжить», — повторил себе слова Антонова-Овсеенко Штирлиц. — Но лишь по закону совести. Иначе следует исчезнуть. Жизнь, купленная ценою бесчестья, — не жизнь, а существование...»

Он вспомнил, как в двадцать седьмом в Шанхае получил приказ Менжинского внедриться в движение национал-социалистов. Ему казалось тогда — чем глубже он вникал в идеи Гитлера, — что Центр заблуждается, считая, что этот фанатик опасен, что он сможет прийти к власти. Лишь в тридцать третьем году он понял, как был прав Вячеслав Рудольфович, когда предполагал самое страшное еще за шесть лет перед тем, как оно, это страшное — приход нацистов к власти, — свершилось.

До сих пор Штирлиц — сколько ни думал о причинах, приведших к власти фюрера, — не мог объяснить себе этот феномен. Да, рознь между социал-демократами и коммунистами, отсутствие общего фронта не могло не помочь правым ультра одержать победу, но почему Гитлер?! Были серьезные силы в Германии начала тридцатых годов, стоявшие на консервативных, устойчиво антикоммунистических позициях: армия, в первую очередь; «Стальной шлем»; «Немецкая национальная партия». Отчего не этот блок пришел к власти, а Гитлер? Игра на термине «социализм», на его притягательной

силе для рабочего класса? Выдвижение — наряду с термином «социализм» — примата его национальной принадлежности? То есть в пику Москве — не Интернационал, не счастье всем, но лишь избранной расе господ, нации немцев? Неужели одержимый национализм, то есть преклонение перед с а м и м и с о б о ю, столь могуществен и слеп в начале своего пути, что может застить зрение исторической памяти? Ни одно национальное движение, построенное на идее примата расы, никогда не одерживало и не сможет одержать окончательной победы, это ясно каждому. Тогда каким же образом Гитлер смог одурачить народ Гёте, Вагнера, Гегеля, Гейне, Бетховена и Баха? Неужели народу, целому народу, было угодно, чтобы вину за то, что в стране нет хлеба и маргарина, возложили на евреев, масонов и интриги Коммунистического Интернационала? Может быть, людям вообще угодно переваливать вину за существующее на других? Спасительные козлы отпущения? Значит, Гитлер и разыграл именно эту низменную карту, обратившись к самому затаенному, что существует в человеке, особенно в слабом и малообразованном! Но ведь это более чем преступление — делать ставку на низменное и слабое; это только на первых порах может принести дивиденды; конечный результат предсказуем вполне: общий крах, национальное унижение, разгром государственности...

«А какое фюреру до всего этого дело? — подумал Штирлиц. — Он всегда жил одним лишь: субстанцией, именуемой «Адольф Гитлер»; он действительно постоянно в мыслях своих то и дело слышал овации и рев толпы, многократно повторяющей его имя... Нет, политика надо проверять еще и на то, какова в нем мера врожденной доброты, ибо добрый человек поначалу думает о других, лишь потом о себе...»

Штирлиц ощутил усталость, огромную, гнетущую усталость. Вдали показался Берлин; он угадал столицу рейха по скорбным, крематорским дымам, струившимся в высокое светлое небо: налеты англо-американской авиации были теперь круглосуточными.

«Если я снова остановлюсь, — вдруг отчетливо понял Штирлиц, — и выйду из машины, и сяду на землю (машинально он отметил, что здесь, севернее, на обочинах еще не было зелени и языки снега в лесу были покрыты копотью, потому что ветер разносил дым пожарищ на десятки километров окрест), то я могу не устоять, не удержать себя и поверну назад; приеду в Базель, пере-

секу границу и лягу спать в первом же маленьком отеле — он примерно в двухстах метрах от Германии, прямо напротив вокзала, улица тихая, спокойная, хотя слышно, как гудят паровозы; но ведь это так прекрасно, когда они грустно гудят, отправляясь в дорогу; папа водил меня на маленькую станцию под Москвою — кажется, называлась она Малаховка, — и мы подолгу слушали с ним, как проносились поезда, стремительно отсчитывая на стыках что-то свое, им одним понятное... Тебе нельзя останавливаться сейчас, старина... Езжай-ка к себе, прими душ, выпей крепкого кофе и начинай работу...»

Не доезжая трех поворотов до дому, Штирлиц резко притормозил: дорогу перебежала черная кошка со смарагдовыми шальными глазами.

Он знал, что здесь его, увы, никто не обгонит: в Бабельсберге почти не осталось машин — все были конфискованы для нужд фронта, а те, которые не годились для армии — деревянные, горбатенькие «дэкавушки», — стояли в гаражах — бензин был строго лимитирован; он понимал, что прохожего, который первым пересечет ту незримую линию, где промахнула кошка, ждать придется долго: люди выходили из домов только во время бомбежек, чтобы спрятаться в убежище; все ныне жили затаенно, локоть к локтю, в ожидании неминуемого конца — это теперь было понятно всем в рейхе, всем, кроме великого фюрера германской нации, который фанатично и беспощадно держал народ в качестве своего личного, бесправного и бессловесного заложника.

«Я подожду, — тем не менее сказал себе Штирлиц, выключив мотор. — Что-что, а ждать я умею. Все-таки черная кошка, да еще слева направо, во второй половине дня, накануне возвращения в мой ад — штука паршивая, как бы там ни говорили...»

Вторым слоем сознания он понимал, что черная кошка была лишь поводом, который позволил первому, главному, холодно-логическому слою сознания приказать руке повернуть ключ зажигания: каждый человек многомерен, и в зависимости от уровня талантливости количество этих таинственных слоев в коре мозга множится тяжким грузом мыслей и чувств, сплошь и рядом прямо противоположных друг другу.

«Просто-напросто мне надо еще раз все продумать, — сказал себе Штирлиц. — Я встрепан с той минуты, когда дал согласие вернуться. Я понимаю, что этим согласием я, видимо, подписал себе смертный приговор... Но ведь только больной человек лишен чувства страха... Значит

давая согласие вернуться, я оставлял себе хоть гран надежды, нет? Бесспорно. В чем я могу быть засвечен? Во всем... Это не ответ, старина, это слишком просто для ответа, не хитри с собою. Ты понимаешь, что одним из главных уязвимых мест является сестра пастора и ее дети. Если их все-таки вычислят и возьмут в гестапо, мне не будет прощения. Это раз. Их, конечно, трудно, практически невозможно вычислить, документы надежны, в те горы вот-вот придут американцы, но ведь я был твердо убежден в безопасности Плейшнера, а он погиб... А сам пастор? Могут ли гестаповцы нанести ему удар? Вряд ли... Они не смогут выдернуть его из Берна, силы у них уже не те... Хотя всех их сил я не знаю... А что, если Шелленберг вошел в контакт с Мюллером? Тогда его первым вопросом будет: «Каким образом Кальтенбруннер и Борман узнали о переговорах Вольфа с Даллесом?» Я должен продумать линию защиты, но я не могу собраться, а сейчас дорогу перебежала кошка, и я поэтому имею право посидеть и подождать, пока кто-нибудь перешагнет эту чертовину первым... Хорошо, а если пограничная служба ввела очередное подлое новшество с тайным фотографированием всех, кто пересекает рубежи рейха? И Мюллер сейчас рассматривает портрет Кати и мой?.. Что я отвечу? А почему, собственно, он должен меня сразу об этом спрашивать? Он наладит слежку и прихлопнет меня на контакте с теми связниками, которые переданы мне в Потсдаме или Веддинге, дважды два».

Штирлиц устало поднял глаза: в продольном зеркальце была видна пустая улица — ни единой живой души.

«Ну и что? — возразил он тому в себе, кто успокоился оттого, что слежки пока не было. — В этом государстве вполне могли вызвать трех соседей и поручить им фиксировать каждый проезд моей машины, всех машин, которые едут ко мне, всех велосипедистов, пешеходов и мотоциклистов... И ведь безропотно станут фиксировать, писать, сообщать по телефону... Но я отвожу главный вопрос... И задаст его мне Шелленберг... Со своей обычной улыбкой он предложит написать отчет о моей работе в Швейцарии в те дни, когда я засветил Вольфа. Он попросит дать ему отчет прямо там, в его кабинете, — с адресами, где проходили мои встречи с пастором, с номерами телефонов, по которым я звонил... А в Берне они вполне могли поставить за мною контрольную слежку... Я ведь был убежден, что получу разрешение вернуться домой, и я плохо проверялся. Ты очень плохо проверялся,

Исаев, поэтому вспомни, где ты мог наследить. Во-первых, в пансионате «Вирджиния», где остановился Плейшнер. Очную ставку с тем, кто привез мою шифровку на конспиративную квартиру гестапо «Блюменштрассе», обещал мне Мюллер... Плейшнер не дал ему этой радости, маленький, лупоглазый, смелый Плейшнер... Но тот факт, что я интересовался им, приходил в пансионат, где он остановился, — если это зафиксировано наружным наблюдением, — будет недостающим звеном в системе доказательств моей вины... Так... А что еще? Еще что? Да очень просто: Шелленберг потребует вызвать пастора. «Он нужен мне здесь, в камере, — скажет он, — а не там, на свободе». «Это нецелесообразно с точки зрения дела, — отвечу я, — мы имеем в лице Шлага прекрасный контакт для всякого рода бесед в Швейцарии». Сейчас без десяти двенадцать. До боя часов у нас еще есть какое-то время, стоит ли рвать все связи? Не говори себе успокоительной лжи, это глупо, а потому — нечестно. Шелленберг не станет внимать логике, он — человек импульса, как и все в этом вонючем рейхе. Бесы, дорвавшиеся до власти, неуправляемы в своих решениях: их практика бесконтрольна, их не могут ни переизбрать, ни сместить по соображениям деловой надобности, они уйдут только вместе с этой государственностью... Между прочим, то, что я затормозил и стою посреди дороги уже пять минут после этой проклятой кошки, работает на меня: так может поступать лишь открытый человек; по разумению Мюллера, ни один разведчик не стал бы привлекать к себе внимания... Ай да Штирлиц! Интересно, я с самого начала придумал «кошачью мотивацию» или мне это пришло в голову только сейчас? Я не отвечаю себе, и это форма защиты... Я не должен отвечать ни Мюллеру, ни Шелленбергу, я должен заставить их спрашивать... А этого я могу добиться только одним: первым человеком, которого я увижу, должен быть Борман. Я ему передам пленку, которую добыл пастор, о переговорах Вольфа с Даллесом... Почему бы нет? Как это у римлян? Разделяй и властвуй. А из моего дома Борману звонить нельзя... А почему я думаю, что мне позволят звонить оттуда, если Мюллер уже посадил т а м своих костоломов?»

Он включил зажигание, посмотрел — чисто автоматически — в зеркальце и заметил, как по тротуару бежал мальчик с собакой; он бежал испуганно, втянув голову в плечи, видимо, ждал налета; лицо его было пергаментным и морщинистым — такое бывает у стариков незадолго перед смертью, когда уши делаются несоразмерно

большими, мочка обвисает, становится серо-синей, восковой.

Штирлиц медленно переключил скорость, притормозил на мгновение, улыбнулся мальчику ободряюще и только после этого развернулся и поехал в центр — там, возле метро, кое-где еще работали телефоны-автоматы. Наверняка можно позвонить из кабачков на Фишермаркте — от «Грубого Готлиба» звонить нет смысла, там все разговоры записываются районным гестапо, да и сам Готлиб ухо держит востро. По имперскому закону от седьмого июня тридцать четвертого года каждый владелец ресторана, гостиницы, вайнштуббе, бара, кафе, пивной был обязан сотрудничать с властями и сообщать обо всех гостях, поведение которых хоть в самой малой малости может показаться подозрительным. Если человек, пришедший к тебе выпить пива, не брит, неряшливо одет или, наоборот, чрезмерно изысканно, особенно в иностранном костюме (английский и американский стиль заметны сразу же), если гость плачет или же слишком громко смеется — словом, если он хоть в чем-то разнится от м а с с ы, о нем следует незамедлительно сообщить в отделение гестапо. Поскольку цыганам и евреям вход в рестораны, кафе и гостиницы был запрещен — недочеловеки, подлежащие уничтожению, — а после начала войны посещение общественных мест было так же запрещено французским рабочим, пригнанным в рейх, «остарбайтерам» из Польши, Югославии и Советского Союза, то репрессивная система тотальной слежки обрушилась на тех, кого фюрер столь патетически называл «расой господ»; именно они, «господа», и оказались заключенными в том гигантском концлагере, именовавшемся «великим рейхом германской нации», где «права каждого имперского подданного на свободу и достоинство» ежедневно и ежечасно повторялись пропагандистским аппаратом доктора Геббельса.

...Штирлиц притормозил возле станции метро «Адольф Гитлер Платц», обошел свой пыльный «хорьх», подумал, что машину надо срочно помыть, иначе полицейские немедленно сообщат по цепи (номер его машины служебный; каждое сочетание букв отдано тому или иному рейхсминистерству, так легче следить за передвижением на улицах; спецсообщение о поездках бонз «среднего калибра» каждый день исследовалось особым сектором дорожной полиции, а затем донесение о тех маршрутах служебных машин, которые казались н е с т а н д а р т н ы м и, отправлялось в гестапо).

Опустив в телефонный аппарат две монетки по десять пфеннигов, Штирлиц подумал: «Но ведь, позвонив Борману первым, я сразу же восстановлю против себя Мюллера. Как он ликовал, когда говорил мне: «Видите, Штирлиц, как легко я вас перевербовал — десять минут, и все в порядке!» Не надо мне сбрасывать его со счета. В том, что мне предстоит сейчас, все-таки именно он будет стоять под номером «один»... Я должен позвонить его Шольцу и сказать, чтобы он доложил шефу о моем возвращении, назначил время аудиенции, ибо у меня есть чрезвычайно важная информация... А уж после этого я позвоню Борману... Молодец, Штирлиц, ты вовремя внес крайне важную коррективу. А говорят, что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется... Дудки, еще как меняется... Но я все же не зря отталкивал от себя тот проклятый вопрос, который мучает меня с той минуты, когда парень в баре передал мне приказ вернуться в рейх... Ну да, конечно, не приказ, просьбу, ясное дело... Я боюсь задать себе этот вопрос: «Почему я должен вернуться?» Может быть, в Швейцарии, читая наши русские газеты, я просто-напросто не смог понять, что дома знают куда как больше о том, что может произойти в рейхе, чем знаю я, сидящий здесь? Но что? Что же?!»

...Встретившись с Борманом — как и в прошлый раз, в его машине возле музея природоведения, — Штирлиц в какой-то мере понял, отчего Москве было выгодно его возвращение...

«ДА, ИМЕННО ТАК— Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАС ПОДОЗРЕВАЮ...»

— Здравствуйте, Штирлиц, необыкновенно рад вас видеть. Садитесь, — сказал Мюллер, и быстрая продольная гримаса свела его левую щеку. — Хотите выпить моей водки?

— Хочу.

— А попробовать настоящего магдебургского сала?

— Тем более.

Мюллер достал из холодильника, вмонтированного в книжный стеллаж, запотевшую бутылку баварского айнциана[1], деревянную досочку с тонко порезанным бело-розовым салом, банку консервированных мидий, по-

[1] Айнциан — водка, настоенная на альпийских травах.

ставил все это на маленький столик в комнате отдыха и сказал:

— Если не можете не курить — курите.

— Спасибо, — Штирлиц усмехнулся.

Мюллер быстро глянул на него:

— Чему смеетесь?

— Памяти... Я когда-то читал книгу еврейского писателя Шолом-Алейхема... У него там была занятная строка: «Если нельзя, но очень хочется, то можно».

— Замечательно, — сказал Мюллер и поднял свою рюмку. — За ваше благополучное возвращение, за то, что вы блистательно выполнили свой долг, и за ваши филологические способности.

Штирлиц выпил, закусил салом — оно действительно было отменным, — поинтересовался:

— А почему «филологические способности»?

— Потому что мне знакомы списки всех тех евреев, книги которых издавались в Германии. Шолом-Алейхема среди них не было. Его издавали только в России.

— Верно. И еще его трижды издавал Галлимар в Париже.

— Да черт с ним, с этим Алейхемом, я бы не отказался сейчас обнаружить среди своей родни какого-нибудь еврея, вскорости это очень сгодится, когда сюда понаедут жидочки из Америки, а Сталин пришлет своим наместником Илью Эренбурга... Ладно, рассказывайте о беседе с Борманом... Вы не писали ее?

— Нет. И впредь этого делать не стану.

— Почему?

— Потому что после моей первой с ним встречи он и так переменил свое отношение к вам... Вы же были у него после того, как я рассказал ему о вашей безграничной преданности?

— Он уведомил вас об этом?

Штирлиц пожал плечами:

— А кто еще мог меня об этом уведомить?

— Ваш шеф и мой друг Шелленберг, например...

— Мой шеф и ваш друг Шелленберг, видимо, отдаст меня в руки имперского народного суда за то, что я способствовал изменническим переговорам пастора Шлага с англо-американцами...

— А кого представляет Шлаг? Разве за ним кто-то стоит? Он связан с нами? Или с партией? Он был и остался изменником, Шелленберг знал, кого отправляет в Берн... Меня, во всяком случае, Шелленберг пока еще не

просил заняться вами — в качестве «пособника врагов»...

— Попросит.

— Вы сказали об этом Борману?

— Конечно.

— Как он отреагировал?

— Сказал, что подумает... Но мне показалось, что вы заранее обсудили с ним возможность такого рода...

Мюллер налил еще в рюмки, посмотрел свою на свет, покачал головою:

— Какого черта всех нас потянуло в политику, Штирлиц?

— Какие мы политики? Шпионы...

— Истинными политиками на этом свете являются именно шпионы: они знают две стороны медали, то есть абсолютную правду, а политики извиваются, словно змеи, дабы отчеканить орла и решку на одной стороне, что, согласитесь, невозможно.

— Именно поэтому их работа будет потребна во все века, как-никак иллюзия, а люди на нее падки...

— Борман действительно попросил меня обеспечить вашу безопасность, вы снова угадали... Спалось в Швейцарии хорошо?

— Так же, как здесь.

— Но там нет бомбежек, тишина...

— А я не реагирую на бомбежки.

— Вы фаталист?

— Вы до чего угодно доведете, — вздохнул Штирлиц.

— Это — да, умеем, — согласился Мюллер добродушно. — Ну, выкладывайте, о чем он говорил?

— О том, что Шелленберг, видимо, продолжает свое дело в Швейцарии и готовит новое, в Стокгольме.

— И вам, как специалисту по срывам переговоров, поручено войти в эти комбинации Шелленберга?

— Да.

— Но ни Борман, ни вы не знаете, как это можно сделать?

— Именно так.

— И Мюллер-гестапо, добрый старый папа-Мюллер, должен помочь вам в этом?

— Должен.

— А как он это сделает? Что он, семи пядей во лбу? Я не знаю, как подкрасться к вашему шефу. Я ломаю голову второй день и ничего не могу придумать. Давайте выкладывайте ваши соображения, Штирлиц, вы умный и хитрый... Смело говорите все, что взбредет на ум, я стану вас корректировать...

— Группенфюрер, если уж вы не знаете к а к, то я, даже со всей моей хитростью, вообще ничего не придумаю...

— Штирлиц, я не люблю кокетства... Да вы и не умеете кокетничать, слишком для этого умны... Расскажите мне весь ход операции по Вольфу... С самого начала... Англичане не так уж были не правы, когда решили — в судебных разбирательствах — жить по закону аналогии... Я слушаю...

Штирлиц понял: началась проверка. «Он хочет послушать, как я буду излагать ему свою версию всего дела... А он станет перепроверять ее, основываясь на донесениях агентуры, расшифровке моих телефонных разговоров, рапортах службы наблюдения... Сейчас он должен подняться и отойти к шкафу или куда-то еще, где у него есть кнопка включения записи... Вряд ли он решится на то, чтобы, сидя напротив меня, шарить рукой в кармане по рычажкам диктофона, он слишком большой профессионал, он р а с с ч и т ы в а е т контрагента заранее...»

Мюллер, однако, не встал с кресла, он просто-напросто пододвинул к себе маленький пульт, лежавший на столе, нажал кнопку и сказал:

— Я запишу вас, потом послушаем вместе, если какой-то узел будет непонятен, вернемся к нему и проанализируем заново. Согласны?

— Конечно, — ответил Штирлиц и снова, в который уже раз, подивился этому человеку, его совершенно особенной логике. — Итак, мне была поручена работа с пастором, которого Шелленберг, видимо, уже давно держал в уме для прикрытия Вольфа — в случае, если переговоры с Даллесом окончатся неудачей или же сведения о них дойдут до фюрера... Я работал со Шлагом не без интереса: это достойный человек, у него своя позиция, он бесстрашен, готов на все, лишь бы немцы получили мир как можно раньше... У Шлага довольно широкие связи среди движения пацифистов, имя его известно Ватикану, с экс-канцлером Брюнингом его связывает давняя дружба... По легенде он должен был вступить в контакт с Даллесом, назвав имена ряда достойных людей в переговорах о мире, ибо он — по словам агентов Даллеса — не имеет в рейхе опоры на те реальные силы, которые смогут удержать в стране порядок и не позволить Германии сделаться поживой для русских — в полной мере, а не так, как было решено в Ялте. От Брюнинга к Шлагу поступили данные, что Даллес начал переговоры с обергруппенфюрером Воль-

фом. Но и это не все: Шлаг — и это самое главное, с чем я к вам приехал, я не сказал об этом Борману, цените мою верность — высчитал, что операция Вольфа планировалась не только вашим другом и моим шефом, но и весьма серьезными силами в генеральном штабе и министерстве иностранных дел...

— Факты? — закашлявшись, спросил Мюллер.

Штирлиц понял, что тот специально закашлялся, не хочет, чтобы его голос присутствовал на пленке, кашель меняет голос до неузнаваемости, однако, отметил Штирлиц, на его пассаж про генштаб и дипломатов Мюллер клюнул, сразу же потребовал факты. «Ну что ж, я дам тебе факты, только плохо, что я не рассказал об этой моей идее пастору, они, я думаю, станут сейчас к нему подкрадываться... Надо сделать все, чтобы Мюллер, именно Мюллер, поручил мне поездку в Швейцарию. Я должен так повести себя во время д о п р о с а, а это допрос, ясное дело, чтобы оставить нечто такое на д о н ы ш к е, что сделалось бы совершенно необходимым Мюллеру... Нужен крючок, только б не переторопить дело, только б п о в е с т и мне, только б разбудить в этом уставшем человеке фантазию... А как ее разбудишь? Интересом, личным интересом, он умный, он понимает, что думать сейчас надо только о себе самом, все проиграно. Но ведь и он заложник у Гитлера. Они все заложники, трусливые, маленькие заложники в руках больного, трясущегося маньяка... Вот ужас-то! Отчего такое возможно? Верно говорят: «не сотвори себе кумира». Они думали, что кумир приведет их к мировому могуществу, положит им под ноги человечество... Малая интеллигентность, отсутствие подлинного знания всегда рождают доктрины именно такого рода, а ведь учиться не все любят, детей принуждают читать историю, штудировать иностранные языки... Доктрина национал-социализма рассчитана на лентяев, на тех, кто больше всего любит спортивные игры, развлекательные программы по радио и кружку пива вечером, после того как о т с и д е л работу...»

— Факты любопытны, — сказал Штирлиц. — Хотя Шлаг мне далеко не все открывает — он многое держит в резерве, для торга, но строй его логики в данном случае абсолютен. Вот его схема: почему Вольф был смещен в конце прошлого года с поста начальника личного штаба рейхсфюрера? Ведь это — крах, падение, нет?

Штирлиц посмотрел на Мюллера, ожидая ответа; тот

молчал. Штирлиц, явственно представив, как медленно и шершаво тянется пленка в диктофоне, насмешливо спросил:

— Группенфюрер, вы не хотите, чтобы ваш голос был на одной пленке с моим?

Мюллер молча кивнул.

— Хорошо, я понял. Слово «группенфюрер», которое я только что произнес, легко уберется, пленка, видимо, шведская, хорошо склеивается, рывка при прослушивании не будет... Продолжаю... Так называемое «падение» Вольфа было первой фазой операции, задуманной здесь, в Берлине, в этом здании... Следующей фазой было подключение генерального штаба, который обязан был дать согласие на назначение Вольфа заместителем командующего группой войск в Северной Италии. Армия — за подписью генерал-полковника Гудериана — дала такого рода согласие. Нормы протокола требовали, чтобы факт приезда Вольфа в Италию был обговорен по дипломатическим каналам с правительством Муссолини. Переписка по этому вопросу хранится в архиве министерства иностранных дел. Черный мундир СС, наш с вами, столь тенденциозный, Вольф ловко сменил на зеленый френч — военный человек, каста с л у ж и в ы х, во все времена генералы враждующих армий время от времени садились за стол переговоров... И произошло все это еще накануне нашего наступления против союзников в Арденнах. Значит, комбинация действительно готовилась загодя? Более того, Шлаг считает, что, когда Шелленберг арестовывал Канариса, один на один, без свидетелей, адмирал, видимо, отдал ему такие связи, которые обеспечили Вольфу вполне надежный контакт с Даллесом, и, если бы не моя... нет, скажем, наша с вами работа по пастору, переговоры наверняка могли бы закончиться полным успехом... Вы просили меня изложить факты; я изложил вам строй логического размышления пастора — это, если хотите, факты. Их только нужно тщательно проверить: кто конкретно готовил в штабе вермахта приказ о Вольфе для Гудериана? Шелленберг наверняка действовал через свои личные связи, а возможно, и через наиболее доверенную агентуру в армии. Ближе всех к Гудериану стоит Гелен. Его работа смыкается с той деятельностью, которой занимается второе подразделение Шелленберга. Может, Гелен?

Мюллер выключил запись, приблизился к Штирлицу, спросил:

— Имя Гелена вам назвал Шлаг?

— Нет.

— У вас есть какие-либо причины считать Гелена близким человеком Шелленберга?

— Нет... Допуск.

— Хитрите?

— Открыт как дитя.

Мюллер вдруг испугался; страх был неожиданным, ибо — в который уже раз! — он ловил себя на том, что Штирлиц словно бы читает его мысли, таинственным образом осведомлен о его поступках и наперед знает то, что он тайно от всех задумал. Раньше, до того еще как он получил данные о связях Штирлица с секретной службой, скорее всего русской, которые ныне позволяли расстрелять его здесь, в кабинете, такого рода угадывание занимало группенфюрера, но теперь он ощутил ужас оттого, что — впервые в жизни — осознал свою малость и трагическую безнадежность положения, в котором оказался из-за проклятого австрийского психа.

«А если сейчас спросить о его контактах с русскими в лоб? — подумал Мюллер. — Он дрогнет. Я увижу воочию его страх, и мне не будет так ужасно, как стало только что. Нет, — сказал он себе, — ты не имеешь на это права. Штирлиц — твоя козырная карта, и ты разыграешь ее так, чтобы побить ею любого туза. Но игра предстоит кровавая, и, если он поймет меня, почувствует, что я знаю что-то, но молчу, я проиграю».

— Ну хорошо, это любопытно — с Геленом, спасибо, Штирлиц. Вы оговорили связь с пастором?

— Да.

— Двустороннюю?

— Да.

— Отдадите мне его адрес?

— Конечно.

— Теперь вот что... Пограничная стража сообщила, что вы пересекали границу не один, но с дамой. Это верно?

— Нет. Неверно. Я перевез через границу не только фрау Кирштайн, но и двух ее детей.

— Кто она?

— Беженка. Ее муж работал у нас на заводах Круппа, специалист по часовой технике, швейцарец... Погиб... Она стояла на дороге, только что кончился налет варваров...

— Каков возраст детей?

— Грудные... Я, увы, плохо разбираюсь в их возрасте... Они очень пищали...

— Где она вышла в Швейцарии?
— В Берне.
— Возле отеля?
— Да.
— Название?
— «Золотая корона»...
Мюллер пожал плечами:
— Почему республиканская Швейцария так любит королевские названия, связанные с атрибутами тирани-ческой власти?
— Я думаю, у нас вскорости названия всех отелей станут, наоборот, избыточно республиканскими... Каждый с обостренным интересом относится к тому, чего лишен сам.
— Хм, вероятно. В Берлине наверняка появятся отели «Русский двор», «Калинка» и «Самовар»...
— А в Мюнхене «Уолдорф Астория» и «Пансильвания», — добавил Штирлиц.
Мюллер кивнул, потянулся устало, спросил:
— А кого вы искали в пансионате «Вирджиния»?
— Вы следили за мной в Швейцарии?
— Я прикрывал вас.
— В таком случае отвечаю: в «Вирджинии» я искал профессора, который контактировал с пастором.
— Почему пастор сам не пошел в «Вирджинию»?
— Потому что я инструктировал его о мерах безопасности. Профессор... я запамятовал его имя... не пришел к пастору на встречу... Весьма информированный человек, представлял какую-то группу в рейхе, глубоко законспирированную... Отчего-то покончил с собой...
Мюллер достал из кармана френча — ленивым, медленным жестом — маленький листочек, положил на стол перед Штирлицем.
— Именно он притащил на нашу конспиративную квартиру эту шифровку. Помните, я показывал ее вам, когда мне пришлось посадить вас в камеру? Любопытно, не правда ли? Шифр точно такой же, как у радистки, очаровательной молодой мамы...
«Если он заставит меня писать левой рукой, будет плохо, — подумал Штирлиц, разглядывая свою шифровку. — Надо заранее подготовить себя к этому. Провал? Случай? Или он ведет игру? Но Борман вряд ли стал бы говорить со мной так, как говорил, сообщи ему Мюллер о своих подозрениях».
— Вы подозреваете меня, группенфюрер?
— В определенной мере.

— И какова эта мера?

— Я подозреваю вас в том, что вы начали свою игру. Эдакая, знаете ли, «мини-вольфиада»... А почему бы и нет? По-человечески я могу вас понять — *в нашем государстве «национальной общности» каждый сейчас думает только о себе.*

— А если я действительно веду такую игру? — медленно спросил Штирлиц. — Если я скажу вам, что я играю свою партию, не очень-то полагаясь даже на вас, хотя ваш план уйти в тот миг, когда здесь будет грохотать канонада союзников, представляется мне оптимальным. Ведь вы до сих пор не сказали мне: с кем мы станем уходить? Куда именно? Каким образом? Вы хотите быть хозяином предприятия, но я в ваше предприятие вкладываю не деньги, а жизнь. Поэтому я так трепетно и аккуратно вел себя с пастором.

— И так лихо упрятали куда-то его сестру с ублюдками, что бедный Айсман чуть не повесился? Где она?

— В Швеции.

— Не лгите.

— Тогда не спрашивайте.

— Но, если я найду ее, пастор примет меня в вашу компанию?

— Он примет вас в компанию, если вы санкционируете мою с ним работу. Продолжение работы, так точнее.

— В чем она будет заключаться?

— В том, чтобы он, Шлаг, сделался фигурой, представляющей реальные силы в рейхе. Он, а не Шелленберг.

— Вы полагаете, что Даллес решится менять шило на мыло? Думаете, мое имя для него более заманчиво, чем имя Вольфа? Меня никто не вводил в комбинацию, как Вольфа, — ни Гиммлер, ни генеральный штаб, ни дипломаты... Я — фигура устрашения, дураку ясно.

— Но вы в силах организовать такие материалы на людей в штабе армии, что выломаете им руки и понудите их согласиться войти в н а ш е дело... А с ними Даллес сядет за стол, невзирая на досадную неудачу с Вольфом.

— Когда у вас назначена встреча с Шелленбергом?

— Вы же знаете...

— Его аппарат нами пока что не прослушивается.

— В девятнадцать тридцать.

— Найдите возможность задать ему вопрос: «От кого Сталин мог узнать о переговорах в Берне?»

— А у вас есть такого рода данные?

— Штирлиц, я попросил вас задать Шелленбергу вопрос и выслушать его ответ. Это все...

— Вы убеждены, что я выйду живым из его кабинета?

— Убежден. Я не убежден в том, что вы проснетесь завтра утром в вашем Бабельсберге, вот в чем я по-настоящему не убежден. Именно поэтому я прикрепляю к вам моего шофера... Да, да, шофера, у вас болит кисть правой руки, вам трудно водить машину, скажете об этом Шелленбергу... — Мюллер нажал на одну из кнопок в панели, в дверях тут же появился Шольц. — Где Ганс?

— Ждет.

— Пожалуйста, пригласите его.

Вошел шофер.

— Ганс, с сегодняшнего дня ты станешь нянькой у этого человека, — сказал Мюллер. — Его жизни грозит опасность. Ты будешь ночевать в его доме, на первом этаже, ты никому не откроешь дверь, ни одной живой душе; мой знакомец не имеет права рисковать собою, ты должен быть неразлучен с ним и служить ему так, как служил мне и моему несчастному мальчику. Тебе ясно все?

— Мне ясно, группенфюрер.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ (ОДЕССа)[1]

Идея создания этой тайной организации принадлежала Мюллеру. Он понимал, что спасение эсэсовских кадров после краха рейха будет трудным, практически невозможным делом, если уже сейчас, в марте сорок пятого, не конституциировать предприятие. Лишь е с л и идею утвердят, можно будет финансировать создание надежных путей отхода эсэсовцев в Латинскую Америку, Испанию, Португалию и монархические арабские страны пронацистской ориентации. Покупать через подставных лиц особняки, автомобили, яхты, маленькие отели на побережье Средиземного моря, для того чтобы там с т а л и опорные базы СС; вербовать иностранцев, которые будут работать на организацию; готовить надежную агентуру на границах, в полицейских аппаратах, в железнодорожных, авиационных и океанских компаниях мира.

Мюллер имел осведомителей, тесно связанных с Ватиканом, и знал, что сын Бормана двадцатилетний Алоиз был накануне принятия сана священника, что противо-

[1] О Д Е С С а — глубоко законспирированная организация членов СС, функционирующая поныне.

речило духу нацистской морали. Однако он не отступничал, а получил санкцию Гитлера на такого рода шаг; Мюллер предполагал, что рейхсляйтеру удалось мягко убедить фюрера в том, что мальчик «жертвует светской карьерой» для того, чтобы внедриться в круги клерикалов, близких к папе, во имя идеи национал-социализма, но никак не вопреки ей.

И лишь в конце марта до Мюллера дошла информация, которая окончательно убедила его в том, что Борман готовит тайные каналы для перемещения по миру особо верных ему членов НСДАП, полагая, что для этого он сможет использовать связи с некоторыми священниками Ватикана из тамошнего ведомства иностранных дел, которые контактировали с Берлином начиная с тридцать третьего года, когда Гитлер еще только пришел к власти.

Мюллер пытался выяснить, как Борман строит свои потаенные каналы перемещения, но рейхсляйтер умел хранить тайну. Тем не менее Мюллеру удалось получить данные, что ряд функционеров НСДАП, аккредитованных при посольствах в нейтральных странах, ведут активную работу, связанную с возможностью нелегальных перемещений по миру всех тех, кто мог быть объявлен военным преступником.

И тогда он дал понять Борману, что знает много больше.

— Ну и что? — спросил рейхсляйтер, не поднимая на Мюллера глаз. — Допустим, мои люди действительно ведут подобного рода работу. Вы подозреваете кого-то из них в нечестном поведении? В своекорыстии? Они утаивают от меня факты? Лгут?

«Когда же он начнет говорить со мною откровенно? — подумал Мюллер. — Он постоянно недоговаривает, постоянно опасается чего-то, никому не верит... Тогда зачем он пригласил меня быть с ним во всех его начинаниях? Зачем он — после встречи со Штирлицем — говорил о необходимости постоянного сотрудничества, чтобы координировать общие действия? Когда он поймет, что нельзя не верить друг другу? Когда он начнет говорить правду?»

— Я никого ни в чем не подозреваю, рейхсляйтер, особенно когда речь идет о ваших людях. Просто я думаю, что вам не с руки заниматься техническими вопросами — даже когда речь идет о таком важном деле, как судьба функционеров НСДАП. Техника — удел техников вроде меня, а не политиков... Ваши недоброжелатели — узнай они об этом — не преминут обвинить вас в пораженчестве; подчеркнут, что существует отдел загра-

ничных организаций НСДАП во главе с Боле, зачем же создавать дублирующую организацию; большевики будут разбиты под Берлином, победа близка, и все такое прочее... А моя фирма вправе просить санкцию на создание запасного тайного центра, который позволит нам — в случае трагического исхода битвы — спасти сотни тысяч верных борцов национал-социализма. Я замотивирую необходимость этого тем, что среди ряда наших дипломатов и военных бытует мнение о возможности сепаратного мира; такого рода отщепенцы не имеют права оказаться безнадзорными за границей; необходимо срочно бросить за рубеж моих людей, которые будут следить за мерзавцами в любом уголке мира, пресекая их преступные попытки... Я даже готов для этого попросить у Шелленберга какие-нибудь данные про то, что, мол, в Латинской Америке зреют семена восстания против янки; это, думаю, заинтересует фюрера — наступательный аспект, а ему это сейчас словно бальзам на раны...

— А что? — Борман почесал мочку уха. — Хорошее предложение. Составляйте меморандум, я постараюсь убедить фюрера в разумности предложения такого рода.

— У меня уже отлажены каналы для тайного перемещения нужных людей из рейха в безопасные места. В Европе есть отели, которые можно взять даром; в портах Латинской Америки стоят яхты без хозяев, их можно приобрести за полцены у дальних родственников... У меня все готово, но мне нужна санкция на действия; вы же понимаете, что активность моих людей за границей сразу же будет замечена резидентами Шелленберга, следовательно, Гиммлер задаст мне вопросы: «с какой целью? для кого? кто санкционировал?»

— Ну а если два первых вопроса из упомянутых вами трех поначалу задам я?

— Отвечаю... Вам — отвечаю... В моем распоряжении сейчас семьдесят тысяч великолепных документов — паспорта, водительские лицензии, нотариальные свидетельства — из Парагвая, Аргентины, Португалии, Испании, Египта, Сингапура, Чили... Проведены беседы с семью тысячами тех членов СС, которые представляют интерес для нашей будущей работы: активны, умны, молоды, оборотисты... Чтобы опробовать ряд каналов исхода, я санкционировал игру: отправил одного из моих коллег по фальшивому паспорту через всю Германию с приказом нелегально пересечь нашу границу со Швейцарией, затем попасть в Италию, пробраться в Рим и поменять мою фанеру на ватиканский подлинник.

— Кто у вас в Ватикане? — тяжело спросил Борман.

— Я готов передать вам списки, я путаюсь с итальянскими фамилиями.

— Спасибо. Мне будет интересно посмотреть, я совершенно не информирован по Ватикану, — заметил Борман. (И Мюллер снова подумал: зачем постоянно лгать? Какой прок? Ведь на Ватикан замкнут сын Алоиз.) — Продолжайте, — попросил Борман. — Я слушаю.

— Я предупредил этого человека, — вздохнув, сказал Мюллер, — что в случае провала — случись он в рейхе ли, в Швейцарии, или Италии — я ему помощи не окажу, отрекусь, п р е д а м, все должно быть приближено к боевой обстановке...

Мюллер пошарил по карманам, достал смятый бланк международной телеграммы, протянул Борману.

— Что это? — спросил тот.

— А вы посмотрите... Он уже прислал мне весточку из Буэнос-Айреса... На текст не обращайте внимания... Расшифровывается это так: «Устроился работать агентом по рекламе в испанской фирме «Куэлья». Могу приобрести два дома в пустынном районе возле Пунта Аренас, где возможен прием судов среднего каботажа и подводных лодок. Требуется сорок тысяч долларов. Готов внедрить трех коллег. Обмен документов в Ватикане прошел идеально».

— Полагаете, что таким образом можно будет организовать новые резидентуры СС повсюду?

— В России — вряд ли, — хмыкнул Мюллер. — А вот в Латинской Америке, там, где сильны наши позиции, дело пойдет.

— Сколько времени шел туда ваш молодой коллега?

— Пять месяцев.

— Следовательно, уже в ноябре прошлого года вы думали про то, как спасать ваших людей — после поражения? Не слишком ли рано вы стали хоронить рейх?

— Я понял, — жестко ответил Мюллер, — что рейх ждут похороны уже в феврале сорок третьего, после Сталинграда.

— Вы смеете говорить мне такое?!

— Рейхсляйтер, но ведь ваши люди начали работать в этом же направлении еще раньше...

— Мои люди были, есть и будут верны фюреру, который убежден в победе!

Мюллер кашлянул, прикрыв рот ладошкой:

— Я теряюсь, когда ощущаю недоверие... По-моему, время неискренности кончилось...

Борман поднялся, походил по кабинету, потом остановился возле окна, прижался лбом к стеклу и, не оборачиваясь, сказал:

— Изложите мне структуру организации. Из каких подразделений она состоит. Как и через кого будут поддерживаться контакты с иностранцами. Количество привлеченных — сейчас и в последующем. Принцип отбора членов. Кто будет утверждать кандидатов. Каков статут членов их семей. Форма связи между членами организации в разных регионах мира. Где будет дислоцироваться штаб. Его структура. Кто будет отдавать приказы. Их форма...

Мюллер снова кашлянул, подумал, что главный вопрос — о штабе и его структуре, то есть, говоря языком нормальным, о том, кто станет во главе тайной организации, — Борман задал в самом конце, подбросив его как нечто второстепенное, хотя ясно, что на самом деле это интересует его прежде всего.

Приняв, однако, игру рейхсляйтера (поди не прими!), Мюллер начал отвечать в той последовательности, которую предложил Борман.

— Структура организации видится мне двухслойной. На первых порах мы легендируем ее как тайный консорциум, призванный — в случае необходимости — обеспечить спасение офицеров СС, которые — согласно декларации Сталина, Рузвельта и Черчилля — признаны военными преступниками, все скопом, без разбора, за то лишь только, что служили в главном управлении имперской безопасности и армии. Поскольку и с ч е з н о в е н и е моих людей невозможно в Германии — все они были на виду, *а мы знаем, какой разгул предательства возникает после государственного краха,* — речь может и обязана идти о передислокации наиболее ценных борцов СС за границу. Однако второй, истинный строй структуры организации состоит в том, чтобы уже сейчас заложить наши опорные пункты во всех регионах мира для продолжения нашей борьбы в будущем. Контакты с верными нам иностранцами закрепят те офицеры, которых мы передислоцируем немедля; пропаганда Геббельса работает отменно, издали все видится иначе, чем вблизи. К тому же грамотных, к счастью, немного. Люди больше верят слухам, поэтому сейчас еще есть возможность работать в обстановке наибольшего благоприятствия в Аргентине и Парагвае, в Испании и Португалии; мы еще до конца не использовали возможности наших японских боевых союзников в Сингапуре и Индонезии, в Бирме и на Борнео. А ведь именно там традиционно сосредоточены крупнейшие тор-

говые точки, связанные с Лондоном и Канадой, — прекрасный путь для внедрения в Америку и Европу... Думаю, вы простите мне несанкционированное своеволие: я уже проговорил с моими друзьями из наших автомобильных, химических и авиационных концернов некоторые аспекты перспективного плана создания в тех регионах Азии своих филиалов... Союзники, конечно, поначалу не откажут себе в удовольствии полютовать, возможны санкции против наших промышленников, но экономика сильнее эмоций, куда Западу деться без Германии?

— Концерны представили вам соображения в письменном виде?

Мюллер улыбнулся:

— Разве они пойдут на это, рейхсляйтер?

— А почему бы и нет?

— Да потому, что они боятся ваших представителей в правлениях. Если бы они получили санкцию, тогда другое дело — развернутые предложения будут составлены за неделю...

— И потом станут известны союзникам... А те будут приятно удивлены, отчего этим перспективным проектом так интересовался человек по фамилии Мюллер... Все, что происходит, то происходит — так или иначе — к лучшему.

— Ну уж и все, — вздохнул Мюллер. — Не все, рейхсляйтер, хотя в данном случае вы снова правы — я недодумал возможность утечки информации.

— Значит, не всегда ошибается Борман? Иногда и у него бывают не совсем бесполезные мысли? — усмехнулся рейхсляйтер. — Дальше, пожалуйста.

— Что касается числа привлеченных в тайную организацию СС, то я сейчас затрудняюсь назвать точную цифру, но, по предварительным подсчетам, у меня получается что-то около тридцати тысяч...

— Каков принцип предварительного подсчета?

— Опять-таки, если бы я позволил себе признаться, что этот подсчет был по-настоящему необходим уже пару лет назад, если бы мы взяли за непреложное правило допускать в начале предприятия возможность проигрыша, а не только победу, я бы продумал систему, и, поверьте, это была бы неплохая система... А сейчас мне пришлось пойти по весьма примитивному пути: я начал с того, что вспомнил пару сотен людей из моего аппарата, которые просто-таки обязаны быть спасены... Все руководители моих референтур по русскому, украинскому, польскому, французскому, еврейскому, испанскому секторам, все те,

кто осуществлял надзор за промышленностью и банками, те, кто курировал вопросы идеологии, церковь, молодежные организации, те, кто осуществлял руководство работой в концентрационных лагерях, обязаны — если, конечно, вы одобрите мою задумку — начать уже сейчас подготовку к передислокации в заранее подготовленные центры... Опорные базы я берусь наладить в Базеле, Асконе, Милане, Ватикане, Пальма де Мальорике, Барселоне, Мадриде, Лиссабоне, Буэнос-Айресе, Асунсьоне...

Борман посмотрел на карту мира, заметив:

— Вполне конкретная линия... Неплохо...

— Что касается принципа отбора, то здесь, конечно, возможны определенные издержки, опять-таки из-за фактора времени... Далеко не все руководители отделов гестапо — мои люди: Кальтенбруннер часто назначал своих протеже — тех, кому он патронировал... Так что я не могу полагаться на абсолютную компетентность всех моих подчиненных в областях... Но в Гамбурге, Мюнхене, Осло, Ганновере, Любеке, Копенгагене, Фленсбурге, Бремене, Вюрцбурге, Милане, Веймаре, Дрездене у меня сидят вполне надежные люди, я им верю абсолютно, они думают так же, как я. Если разрешите, я поручу именно им составить списки. — Мюллер хмыкнул. — Конечно же, устно, никак не фиксируя это в документах... Что касается утверждения кандидатов, то доверьте мне провести предварительный отбор, а уж вы благословите его окончательно. Что касается членов семей будущей организации СС, то они должны быть поначалу убеждены, что кормилец погиб... Только так, хоть и жестоко... Иначе начнут искать... А за их поиском будут наблюдать враги, и это приведет к расшифровке всего дела. Что касается форм связи между будущими региональными группами, то этот вопрос смыкается с вашим вопросом о штабе. Я полагаю, что штаб придется возглавить мне... Если бы вы санкционировали при этом еще одну для меня должность — специальный помощник фюрера НСДАП Бормана по вопросам СС, — тогда предприятию была бы придана та весомость, которая позволит провести всю необходимую работу в максимально короткий срок. Понятно, такого рода должность, — Мюллер улыбнулся, — так же не должна фиксироваться в документах, во всяком случае пока что...

— Вы забыли фамилию моего друга Гиммлера... Его пока еще никто не смещал с должности рейхсфюрера СС...

— Сместят. Надо, чтобы сместили, — спокойно ответил Мюллер. — Вы же понимаете, что одиозность рейхс-

фюрера не позволит ему жить в подполье... Да и потом...

— Что?

Мюллер пожал плечами, вздохнул.

— Договаривайте, пожалуйста, — сердито сказал Борман, — это невежливо — обрывать мысль на полуслове.

— Он — ваш враг, рейхсляйтер, зачем же брать его в расчет? Его надо выводить из расчета.

— А Кальтенбруннер? — задумчиво спросил Борман. — Почему бы ему не стать фюрером организации, а вам — его начальником штаба и заместителем?

— Потому что я не верю Кальтенбруннеру, — ответил Мюллер.

— У вас есть к этому основания?

— Есть.

— Изложите.

Мюллер покачал головой:

— Не стану, рейхсляйтер. Пожалуйста, простите меня, но я не стану этого делать... Я никогда не был доносчиком, увольте. Вы сами можете убедиться в правоте моих слов, проверив Кальтенбруннера...

— Каким образом? — деловито осведомился Борман.

— А вы попросите его поработать с Канарисом...

Борман удивился:

— Почему именно с Канарисом?

Мюллер ответил жестко:

— Я сказал вам то, что счел возможным сказать, рейхсляйтер...

Борман пожал плечами, снова поднялся, походил по кабинету, потом спросил:

— Как вы намерены назвать нашу тайную организацию офицеров СС?

— По первым буквам: ОДЕССа... И огромное вам спасибо за то, что вы назвали ОДЕССу н а ш е й организацией...

— Разворачивайте работу, Мюллер... И как следует продумайте, чтобы трасса н а ш е й ОДЕССы начиналась из Берлина, отсюда, из рейхканцелярии... Оборудуйте запасные штабы этой трассы здесь, в Берлине, потому что грядут уличные бои, да, да, именно так... Подвалы, метрополитен, подземные коммуникации — все это обязано стать знакомо вам так, чтобы вы ориентировались в этом лабиринте, как поп в Ветхом завете...

— А почему бы вам самому не пустить себе пулю в лоб, штандартенфюрер? — спросил Шелленберг, положив свою мягкую, женственную руку на плечо Штирлица. — Гарантирую отменные похороны.

— Я — логик, — ответил Штирлиц. — Люди моей породы боятся переторопить события: шлепнешься, а через час выяснится, что ты нужен живым...

— Мне-то как раз вы значительно более выгодны мертвым.

— Чтобы было на кого свалить провал переговоров Вольфа с Даллесом?

Шелленберг вздохнул:

— Конечно... Ну, выкладывайте, о чем говорили с Мюллером...

— Об операции в Швейцарии.

— Признайтесь честно: на чем он взял вас?

— На знании. Он знает больше меня. Он знает все.

— Если бы он знал все, вы бы висели на дыбе, а меня бы держали в одной камере с Канарисом. Он знает только то, что ему полагается знать. А вот мне снова нужен ваш поп... И кто-то еще, через кого мы будем гнать дезинформацию вашему новому покровителю Мюллеру. Вас интересует, почему я говорю с вами так открыто, несмотря на то что вы провалили дело?

— Не я.

— А кто?

— Мы. Все мы. А в первую очередь Вольф.

— Вы думаете, что говорите?

— Думаю, думаю, постоянно думаю... Так почему же вы продолжаете быть со мною откровенным, несмотря на то что я провалил дело?

— Потому что вы отдаете себе отчет: связывать себя с Мюллером накрепко — безумие. Мы, разведка, можем вывернуться. Он, гестапо, обречен на то, чтобы утонуть... Вы действительно уже побывали у него?

— Да.

— Он вызвал вас? Не поставив меня в известность?

— Вы же все прекрасно знаете, бригадефюрер... Я думаю, офицер пограничной стражи на нашем «окне» возле Базеля, где я переправлял пастора Шлага, был перевербован Мюллером, как-никак это «окно» было вашим личным, по материалам гестапо оно не проходило... Через этого офицера Мюллер вышел на пастора. За стариком пустили «хвост», в Швейцарии пока еще сильны позиции баварца;

в объекте интереса пастора оказался — согласно нашему с вами плану — Даллес. Тот вывел его на Вольфа; молодая нация, разведку только-только ставят, опыта мало — з а с в е т и л и с ь. Поскольку пастор числится за мной, Мюллер загнал меня в угол. Он не сказал мне и сотой доли того, что знает. Но он знает в с е. И об этом нашем разговоре я обязан буду ему доложить... Будь прокляты волчьи законы нашей фирмы, но не я ее основал.

— И не я... Что вы ему отдадите из нашего разговора?

— То, что вы позволите...

Шелленберг поднялся, походил по кабинету, остановился возле книжного шкафа, достал книгу в старинном переплете (сафьян с золотым обрезом), открыл нужную ему страницу (была заложена красной тесемочкой) и зачитал:

— Отец иронии и юмора Свифт уже в молодости предсказывал, что его ожидает помешательство. Гуляя однажды по саду с Юнгом, он увидел вяз, лишенный на макушке листвы. Свифт сказал Юнгу: «Я точно так же начну умирать с головы». До крайности гордый с высшими сановниками, Свифт охотно посещал самые грязные кабаки и там проводил дни и ночи в обществе картежников, бандитов и потаскух. Будучи священником, он писал книги антирелигиозного содержания, так что о нем говорили: «Прежде чем дать ему сан епископа, его следует заново окрестить». А сам про себя он написал так: «Слабоумный, глухой, бессильный, неблагодарный». Непоследовательность его была поразительна: он был в отчаянии, когда умерла Стелла, его любимая женщина, но, чтобы успокоиться, писал комические «Письма о слугах». Через несколько месяцев после этого Свифт лишился памяти, но язык его был по-прежнему острым как бритва. Потом он провел год в полнейшем одиночестве, затворившись в комнате, ничего не читая и не сочиняя. Он отказался от мяса и впадал в бешенство, когда слуга появлялся на пороге. Однако, когда он покрылся чирьями, разум его просветлел, и Свифт начал постоянно повторять: «Я — сумасшедший». Потом он снова впал в состояние полнейшей прострации, но порою ирония вспыхивала в нем с прежней силой. Когда за несколько месяцев до смерти в его честь была устроена иллюминация, Свифт заметил: «Пусть бы эти сумасшедшие не сводили с ума окружающих». Незадолго перед кончиной он написал завещание, отказав одиннадцать тысяч фунтов стерлингов в пользу душевнобольных. Он так же сочинил эпитафию, которая служит выражением ужасных нравственных страданий,

постоянно его мучивших: «Здесь похоронен Свифт, сердце которого уже не надрывается более от гордого презрения»... — Шелленберг поставил книгу на место, резко обернулся к Штирлицу: — Вы понимаете, зачем я прочитал вам это?

— Видимо, хотите помочь мне понять подлинный психологический портрет Мюллера?

— Мюллер работает на рейхсляйтера Бормана, и вам это прекрасно известно.

— На Бормана этот отрывок не проецируется, бригадефюрер.

— Сердце бедного Бормана уже давно разорвалось от гордого презрения к окружающим, Штирлиц. Он продолжает жить с разорванным сердцем...

«И этот планирует меня для какой-то комбинации, — понял Штирлиц. — Они все что-то знают, а я не могу взять в толк, что именно. Меня и г р а ю т, и если я не пойму, в каком качестве, то, видимо, часы мои сочтены. А что, если и Мюллер, и Шелленберг начали свою партию крупно? Обменялись суждениями? Видимо, да, слишком точен и тот и другой в вопросах, никаких повторов. Но это — в мою пользу. Их подводит страстная тяга к порядку, они расписали свои роли; им бы следовало спотыкаться, повторять друг друга, быть самим собою... «С кем протекли его боренья, — в который уже раз вспомнил он стихи Пастернака, он прочел их в журнале, купленном на парижском развале, — с самим собой, с самим собой!»

— Что ж, — сказал наконец Штирлиц. — С разорванным сердцем можно поскрипеть, если хорошо работает печень, сосуды, почки и мозг. Если человек, сердце которого порвалось от «гордого презрения», имеет в голове такое, что иным и не снилось, тогда он может существовать...

— Оп! Умница! Вы — умница, поэтому я прощаю вам то, чего не простил бы никому другому. Вы оказались посвященным в мое дело, Штирлиц, хотел я того или нет. Значит, мне нет нужды более таиться от вас. Если я удостоверюсь в вашей неискренности, вы знаете, как я поступлю, мы не бурши, чтобы пугать друг друга словесами перед началом драки... Так вот, если мне понятно, о чем думает наш с вами шеф, рейхсфюрер, о чем мечтает преемник Гитлера рейхсмаршал Геринг, о чем говорят между собою Гудериан, Типпельскирх и Гелен, считая, что в их кабинетах, проверенных связистами вермахта, нет аппаратуры прослушивания, то ни я, ни вы не знаем, о чем думает Борман. А он очень предметно думает о близком будущем, не находите?

— Думаю, вы ошибаетесь. Он неразделим с фюрером.

— Штирлиц, не надо. Он был неразделим с заместителем фюрера Штрассером и предал его. Он был неразделим с вождем СА кумиром национал-социализма Эрнстом Ремом и участвовал в его убийстве, он был неразделим с фюрером нашей партии Гессом и предал его, пока петух вообще еще даже и не кукарекал... Вы понимаете, отчего я так открыто говорю с вами? Я ведь раньше никогда так обнаженно не выявлял затаенную суть проблемы... Понимаете?

— Нет.

— Жуков вот-вот начнет штурм Берлина, Штирлиц. А это — конец, хотя на Зееловских высотах мы можем на несколько дней остановить их танки... Гелен доложил фюреру этой ночью, что силы русских превышают наши в пять раз. Вот так-то. Я это слышал своими ушами. Вы намерены погибать под обломками нашего государственного здания? Я — нет. Вот вам моя рука, пожмите ее и поклянитесь, что вы станете служить лишь моему делу — так, чтобы мы ушли отсюда вдвоем... Или втроем...

— А кто будет третьим?

Шелленберг долго молчал, потом ответил вопросом:

— А если третьим будет Мюллер?

— Вы наладили с ним добрые отношения во время моего отсутствия?

— С ним невозможны добрые отношения. Но с ним возможны деловые отношения. А его дело — это жизнь. И за это дело он готов подраться.

— А вам не кажется, что Мюллер будет той гирей на ноге, которая вас утопит?

— Нас, — поправил его Шелленберг. — Нас, Штирлиц. Мюллер полон такой информацией, которая нам с вами и не снилась. Он подкрадывается к «Красной капелле» русских, я подключался лишь к заграничным операциям, а он вел расследование лично, здесь, в Берлине. Он оставил кое-что про запас, он никогда не сжигает все мосты, он — я убежден — бережет какие-то точки опоры, ожидая новых гостей из Москвы...

«Может быть, радисты, переданные мне, которые были внедрены в Веддинг и Потсдам, тоже ждут гостей? — подумал Штирлиц. — Почему нет? И первым гостем окажусь я».

Шелленберг закурил свой «Кэмел», внимательно проследил за тем, как догорела провощенная спичка, положил ее в пепельницу дирижерским жестом правой руки и продолжил:

— Он вел дело особо законспирированной группы русской разведки, на которую я вышел в конце сорокового года, вы, верно, помните эту работу...

— Помню, — ответил Штирлиц. (Еще бы не помнить — провал той группы чуть не стоил ему головы: один из участников подполья не выдержал пыток, сломался, дал показания; к счастью, Штирлиц ни разу не контактировал с ним; тот человек, который был у него на связи, выбросился из окна кабинета следователя.)

— Он вел дело Шульце-Бойзена и Харнака, и он знает, что какие-то люди из этой группы остались, легли на грунт. Он вел дело Антона Зефкова... Я не говорю о том, что ему известно многое обо всех без исключения участниках заговора двадцатого июля... Это не очень-то интересует тех на Западе, кто уже сейчас подкрадывается к тайнам русской разведки в рейхе, но тем не менее этим человеком является Даллес, но впоследствии этот интерес будет пожирающим, маниакальным.

— Даллеса и сейчас занимает все, связанное с участниками заговора генералов, бригадефюрер, — заметил Штирлиц. — Ему нужна легенда, он обостренно интересуется этим делом, поверьте. Хотя, вы правы, русская разведывательная сеть в рейхе занимает сейчас Даллеса в первую голову. Полагаете, что Мюллера — коли он возьмет с собою все наши досье — не вздернут?

— Если попадется сразу после краха — могут впопыхах и вздернуть... Но ведь в условиях нашей задачи обозначен главный посыл: не попасться... Особенно в первые месяцы, потом — не так страшно; горячие головы поостынут, эмоции улягутся, делом надо будет заниматься, серьезным делом...

— Полагаете, Мюллер тоже знает, к а к уйти?

— Бесспорно. Он готов к этому лучше всех.

— Факты?

— Есть факты. Я их з н а ю, Штирлиц, и я дал ему понять, что знаю. Он ценит силу. Он оценил мою силу. Его знание русского вопроса сделает наш союз крайне ценным, мы станем некоего рода консультационной конторой — «выполняем заказы за наличный расчет, деньги пересылать в Парагвай, столица Асунсьон, качество гарантируем...» И чтобы эта моя задумка обрела форму реальности, нам нужны два человека... Один из них должен быть запятнан еврейской кровью. Не чистый, конечно, еврей, а четвертькровка, а еще лучше восьмушка, у Эйхмана есть отменная картотека. Вы должны поработать с ним, прежде чем пустите его в комбинацию...

— В какую именно?

— Перебросьте его в Швейцарию. Что ему там делать? Скажу позже, дам имя человека, на которого его надо будет вывести. Цель? Наше желание спасти от фанатиков тех несчастных евреев, которые обречены на уничтожение в концентрационных лагерях.

— Во-первых, я пока не знаю, с кем мне предстоит заниматься, бригадефюрер. Во-вторых, я не представляю, к чему мне готовить этого человека, допусти мы, что у Эйхмана и есть нужный персонаж.

Шелленберг снова закурил, вопрос Штирлица словно бы не слышал, продолжал свое:

— А второго человека зовут Дагмар Ингрид Фрайтаг. — Шелленберг подвинул Штирлицу папку. — Ознакомьтесь у себя в кабинете, только потом вернете мне. Это — невероятная женщина: во-первых, красива, во-вторых, талантлива. Ее мать шведка. Вы должны будете в течение трех-пяти дней — не более того — перебросить ее в Стокгольм, проработав методы и формы связи. В Стокгольме она — как доктор филологии, специалист по скандинавским рунам — будет обязана не столько заниматься изысканиями германо-скандинавской общности в Королевской библиотеке, сколько подходом к семье графа Бернадота. Ясно? Я начинаю тур вальса с графом, Штирлиц. Мюллер намекнул, что ваше имя известно партайгеноссе Борману, вы ведь встречались с советником нашего посольства в Берне, который отвечает за дела партии, не так ли? Видимо, Борман именно поэтому заинтересовался вами, следовательно, вы гарантированы — на какое-то время — от любого рода неожиданностей со стороны Кальтенбруннера или того же Мюллера. Но если рейхсляйтер Борман узнает о Бернадоте так, что это нанесет ущерб моему делу, я пристрелю вас сам, здесь, в этом кабинете, вы понимаете меня?

— Я понимаю, что зажат в угол, бригадефюрер. Я допускаю, что за каждым моим шагом следят, я чувствую, что в каждом моем слове ищут неправду. Что ж, так даже интереснее жить. Но убивать меня — даже в этом кабинете — неразумно, и обернется это против вас страшным, непоправимым ударом. Разрешите идти?

Глаза Шелленберга замерли, что-то больное, тяжелое возникло в них; спросил он тем не менее усмешливо и добродушно:

— Вы сошли с ума?

— Я не Свифт, бригадефюрер. Я гарантирован, как и все мы, смертью, но только не от умопомешательства.

— Извольте объяснить, что вы имели в виду, когда пугали меня!

— Нет, я не буду этого делать.

— Как вы смеете, Шти...

— Смею! — Штирлиц, оборвав Шелленберга, поднялся. — Все кончено, бригадефюрер. Все. Нет начальников, нет подчиненных. Есть умные люди и есть дурни. Есть люди знающие, а есть люди темные. Поражение раздевает общество, обнажает хорошее и дурное, никаких поблажек; только правда; выживут те, кто имеет голову на плечах, кто знает и помнит. Так что сейчас вы заинтересованы во мне совсем не меньше, чем я в вас. А коли нет, то Бог с вами. Смерти я не боюсь, ибо тайком, несмотря на запрет фюрера, верю во Всевышнего.

Шелленберг поднялся из-за стола, походил по кабинету, хрустко забросив руки за спину, потом остановился возле окна, заклеенного крест-накрест бумажными лентами, чтобы стекло не так часто вылетало из-за взрывных волн, вздохнул, сказал горько:

— А вы мне все больше нравитесь, Штирлиц. Экий мерзавец, а?! А в общем-то, все верно: мы, верхние, проиграли страну, вы имеете право на позицию, каждому свое. Идите. И найдите мне у Эйхмана умного, несчастного, но отчаянного еврея. Он должен вступить в контакт с экс-президентом Швейцарии Музи — как мой личный представитель. А вот чем он будет торговать и за какую цену, я скажу вам после того, как вы мне доложите: «Он готов к делу, и, если он нас предаст, я пущу себе пулю в лоб». Такой поворот вас устраивает?

Штирлиц поднялся и устало сказал:

— Хайль Гитлер!

...Мюллер смотрел на Штирлица тяжело, сосредоточенно, с открытой неприязнью.

— Да, — сказал он наконец, — вы правильно посчитали мои ходы. Я действительно вошел в д е л о. Да, я действительно уговорился с Шелленбергом о координации кое-каких шагов. Да, действительно, я готовлю те досье, которыми можно будет торговать в скором будущем с людьми Даллеса. Да, действительно, мой Ганс станет сообщать мне о вас все, но более всего он должен следить за тем, чтобы Шелленберг не убрал вас, когда вы сделаете то, что он вам поручил. Поэтому — не торопитесь, Штирлиц. Не торопитесь! Сделайтесь нужным Шелленбергу в такой мере, чтобы он без вас з а п л а-

в а л. Знаете этот боксерский термин? Или вы все больше по теннисным? И не вздумайте так открывать себя перед Борманом, как открываетесь передо мною. Мы с Шелленбергом, увы, вынуждены ценить ум других; Борман лишен этого качества, ибо никогда не занимался практической работой; давать указания — легко, провести их в жизнь — куда сложнее.

Мюллер поднялся, отошел к сейфу, открыл массивную дверь, достал папку, положил ее перед Штирлицем.

— Это досье адмирала Канариса. Не обращайте внимания на игривость стиля, несчастный был неисправимым оригиналом, однако то, что здесь собрано, прояснит, отчего я надеюсь на спасение. Я имею в виду схватку американцев с русскими, ибо лишь это даст нам возможность о с т а т ь с я. Читайте, Штирлиц, я верю вам, как себе, читайте, вам это надо знать...

«Источник, близкий к Белому дому, сообщил мне, что еще летом сорок первого года президент Рузвельт дал указание создать ОСС — «Отдел стратегических служб»[1], организацию, которой было вменено в обязанность заниматься политической разведкой и «черной пропагандой», направленной против стран оси.

Предприятие курирует пятидесятивосьмилетний Вильям Джозеф Донован, которого называют «диким», — республиканец фанатично ненавидит фюрера и национал-социализм, открытый противник правящей демократической партии Рузвельта; ирландский католик, то есть бунтарь по натуре, отвергающий любые авторитеты, кроме, понятно, своего; миллионер, хозяин адвокатской фирмы, обслуживавшей Уолл-стрит. После назначения шефом ОСС «дикий Билл» сразу же вошел в конфликт с одним из самых близких Рузвельту людей — с драматургом Робертом Шервудом, тем, кто писал костяки всех речей президента и был поэтому направлен на работу в «Отдел» одним из первых.

Всякая идея обретает свое воплощение в практике под влиянием того, кто руководит повседневной работой; всегда даже в самый идеальный замысел коррективы вносят не те, кото-

[1] О С С — в настоящее время ЦРУ.

рые придумали, но те именно, которые взялись за то, чтобы придумку сделать явью.

По первоначальному замыслу Рузвельта все было сконструировано таким образом, чтобы ОСС подчинялся объединенным штабам армии, флота и авиации, но Донован, ветеран первой мировой войны, награжденный тремя высшими наградами Америки, смог сепарировать ОСС от армии и флота.

Будучи великолепным тактиком, Донован умел хитрить: он набрал в ОСС много таких сотрудников, которые окончили Вест-Пойнт, то есть считались людьми армии, кадровыми военными, — это успокоило генералов; после этого «дикий Билл» открыл двери ОСС для «штатских». Поскольку в Америке учебные заведения получают финансовую поддержку не от государства, но от корпораций, отслуживая им это наукой, то в ОСС пришла ведущая профессура наиболее престижных университетов.

Когда Донован собрал вокруг себя штаб верных ему людей, среди которых на первых порах выделялись представитель «Юнайтед Стейтс стил корпорейшн» Луис Рим, магнат с Гавай мультимиллионер Атертон Ричардс, профессор Гарвардского университета Джеймс Крафтон Роджерс и банкир из Нью-Йорка Джеймс Варбург, начальник ОСС сказал:

— Друзья, начиная любую работу, следует отдать себе отчет в том, каким мы хотим видеть ее результат. Если работать, оглядываясь на бюрократов из государственного департамента, мы не сдвинемся с мертвой точки; дипломатия — наука легальных возможностей, в то время как наше дело нелегально с самого начала. Если мы решим подстраховать себя от наскоков государственного департамента и начнем консультировать наши шаги с армией, те замучают нас согласованиями и субординацией; великое право армии — открытый удар, завоевание пространства, наше дело не имеет ничего общего и с этой доктриной. Мы обязаны знать все, что происходит в мире, мы обязаны не просто понимать тенденции развития в Риме, Бангкоке, Берлине или Мадриде, мы должны организовать эти тенденции, растить людей, формировать мнения,

готовить впрок партии и премьеров, чтобы уже потом с ними, то есть с нашими кадрами, занимался государственный департамент, а если потребуется — армия. Ради Америки мы готовы остаться в тени, пусть лавры победителей достанутся тем, кто позирует репортерам; большой бизнес, на котором состоялись Штаты, не любит рекламы, он предпочитает свободу рук во имя великого действа. Деньги у нас есть, за работу надо уметь платить, поэтому вы не имеете права мелочиться, вы должны поддерживать риск; свобода рук нашим сотрудникам гарантирована — только в этом случае мы построим такой аппарат знания, который нужен Америке!

Донован был прекрасным оратором: он дважды выдвигался на пост вице-губернатора и губернатора Нью-Йорка от республиканцев, он умел убеждать — даже Рузвельта; был смелым человеком, воевал на передовой, поэтому не боялся брать на себя ответственность.

— Не страшитесь самых сомнительных контактов, — не переставал повторять Донован своим сотрудникам. — Ищите людей всюду, где только можно; если бы я был убежден, что приглашение Сталина на пост вице-директора ОСС принесет успех делу, я бы не задумываясь просил его занять кабинет напротив моего и поддерживал бы с ним самые добрые отношения — до того дня и часа, когда с Гитлером будет покончено...

Главным отделом ОСС стало управление исследований, поисков и анализа. Не только банкиры, выпускники Вест-Пойнта и юристы собрались здесь, но и цвет американской журналистики, начиная с Джозефа Олсопа и кончая Уолтом Ростоу. Возглавляли работу профессора Шерман Кент[1] и Эврон Киркпатрик[2].

Однако создание второго по величине и значимости подразделения ОСС, названного отделом рабочего движения, вызвало в Вашингтоне бурю. Первым в колокола тревоги ударил директор ФБР Джон Эдгар Гувер, ревниво наблюдавший

[1] Шерман Кент — в 1950—1967 гг. зам. директора ЦРУ.

[2] Эврон Киркпатрик — зам. начальника отдела разведки госдепартамента в 1954 г.; с 1955 г. — президент научно-исследовательской «Организации исследований», тайного филиала ЦРУ.

за тем, как Донован разворачивает политический сыск в мире; привыкший быть бесконтрольным хозяином секретной службы в стране, Гувер оказался неподготовленным к тому, что все заграничные операции присвоил себе миллионер с Уолл-стрита.

— Пусть это и не его идея — создать «рабочий отдел», а полковника Хэбера Бланкенхорста, за которым не только армия, но и сенатор от Нью-Йорка Роберт Вагнер, — доказывал своему покровителю сенатору Трумэну шеф ФБР, — все равно это недопустимо! Только подумать — он приглашает тех, кто связан с рабочим движением, в государственное учреждение США! Он назначил шефом этого отдела еврейского юриста Артура Гольдберга[1] — его предки эмигрировали к нам из России.

Трумэн, как утверждает мой источник, близкий к Капитолию, слушал Гувера молча, определенных ответов не давал, отшучивался, однако все имена записывал на отдельных листочках бумаги.

Вообще-то задумываться было над чем: Донован позволил Гольдбергу пригласить в «Отдел» нескольких участников «батальона Линкольна», которые сражались в Испании бок о бок с русскими коммунистами против войск генералиссимуса Франко и летчиков рейхсмаршала Геринга; более того, он взял на работу тех профсоюзных деятелей, которые ранее активно выступали против монополий и поддерживали забастовщиков.

Донован, однако, посмеивался:

— Я представляю себе, что будет с Гувером, когда он узнает, что я пригласил в управление исследований, поисков и анализа немецкого коммуниста Герберта Маркузе. Гувер умеет ловить гангстеров и шпионов в Штатах, но он ничего не понимает в международных делах; я не могу работать с подпольными профсоюзами в оккупированных странах без помощи радикалов; никто так точно не определит ситуацию в рейхе Гитлера, как Маркузе; придет время, и мы разберемся с нашими левыми, но это будет после того, как

[1] Артур Гольдберг — министр труда в кабинете Кеннеди; до 1968 г. — посол США в ООН.

они сделают все для победы над нацистами и закрепления наших позиций в Европе, когда там образуется вакуум.

Тем не менее Донован был вызван в Капитолий для объяснений — естественно, с «подачи» Гувера. По-прежнему посмеиваясь, он заметил:

— Если мы хотим иметь организацию, составленную из кристальных — с нашей точки зрения — людей, которые отвечают меркам Гувера, тогда получится мертворожденное дитя, ибо работают люди, а не анкеты; дайте моим сотрудникам ш а н с на риск приглашать в аппарат того, кого они считают нужным. Заметьте себе, что отдел контрразведки ОСС возглавляет такой известный всем вам юрист, как Джеймс Мэрфи, — он всегда стоял на защите интересов наших концернов, именно поэтому и наладил прекрасные отношения с профсоюзами, особенно левыми.

Донован давал объяснения в те дни, когда первые бюллетени ОСС начали поступать в Белый дом. Готовили их молодые сотрудники ОСС Артур Шлесинджер[1], Леонард Микер[2] и Рэй Клайн[3]; информация была интересной, объективной; от Донована о т с т а л и, он только этого и добивался; руки развязаны, началась переброска агентуры в Лондон, Африку, Китай, Индию, пошла истинная работа впрок...

Затем Донован создал МО — отдел «моральных операций», то есть штаб психологической войны, где писались сценарии радиопрограмм на Германию, Италию, Японию; там же выпускались листовки для движения Сопротивления в Европе, разрабатывались костяки газет для подполья, подыскивались будущие редакторы, комментаторы, ведущие репортеры, то есть отлаживалась связь с европейской интеллигенцией.

Поскольку и в отдел МО надо было привлекать людей левых убеждений (ибо правые в глубине души порою симпатизировали фашизму),

---

[1] А р т у р Ш л е с и н д ж е р — один из ведущих политиков США.

[2] Л е о н а р д М и к е р — советник госдепартамента; до 1969 г. — посол США в Румынии.

[3] Р э й К л а й н — представитель ЦРУ в Лондоне до 1953 г.; на Тайване — до 1962 г.; затем зам. директора ЦРУ, потом перешел в госдепартамент, где был начиная с 1969 г. начальником разведки.

Донован, умело балансируя, создал СИ — отдел «секретной разведки» и СО — отдел «социальных операций». Он таким образом организовал работу этих ключевых отделов, чтобы левый философ Герберт Маркузе всегда передавал свой анализ шефу, а им был либо миллиардер Джуниус Морган, либо его родной брат Генри, либо Вандербильт или Дюпон.

Поскольку ОСС был создан как детище «антинацистской тенденции Америки», поскольку русские были главной силой, противостоявшей войскам вермахта, поскольку именно левое, то есть коммунистическое и социалистическое, подполье играло ведущую роль в партизанской борьбе против рейха, поскольку, наконец, отношения между Белым домом и Кремлем сделались, как никогда ранее, доверительными, корпорации потребовали создания п р о т и в о в е с а, и «дикий Билл» собрал в ОСС «русскую группировку», которая опиралась главным образом на эмигрантов.

Однако Гувер, не зная того, что знали руководители правых сил США, не успокаивался; когда в январе 1942 года два молодых сотрудника ОСС, подкупив стражу испанского посольства, проникли в святая святых дипломатической миссии, в «защищенную» комнату шифровальщиков, и начали делать фотографии кодовой книги, Гувера разбудил его секретарь — новость о «вероломстве» Донована, влезшего в дела ФБР, того стоила; Гувер позвонил своему заместителю и сказал:

— Готовьте операцию против «дикого Билла», хватит, заигрался!

И когда через несколько месяцев люди Донована вновь проникли в посольство Франко, машины ФБР окружили здания по приказу Гувера и включили сирены тревоги; агенты ОСС были арестованы, операция по декодированию шифров, имевших особо важное значение для формирования политики США на пиренейском направлении, была сорвана.

Яростный Донован был утром в Белом доме. Вызвали Гувера; тот светился дружелюбием:

— Дорогой Билл, если б я знал, что в посольстве ваши люди! Я не мог себе представить,

что там работают ребята ОСС! Одно ваше слово, и все было бы в порядке! Но вы совсем забыли своего старого верного друга Гувера...

Примирение «врагов» состоялось лишь через несколько месяцев, когда Донован п о з в о л и л Гуверу узнать про ту акцию, с которой, в общем-то, и началась настоящая оперативная работа ОСС за границей. Смысл этой операции Донована заключался в следующем: после того как войска англо-американцев высадились в Северной Африке и начали наступление против армий вермахта, главное внимание как Рузвельта, так и Черчилля было сфокусировано на том, пропустит ли Франко немецкие войска через Испанию, позволит ли рейху ударить в подбрюшье наступавшим англосаксам, отрезать их от Северного побережья Африки и, таким образом, лишить какой-либо поддержки с моря или же сохранит нейтралитет. Понятно, все симпатии Франко были, как и всегда, на стороне Германии, однако он стоял перед дилеммой: пропустив вермахт, он мог потерять статут диктатора, а его держава сделалась бы оккупированной территорией, несмотря на заверения фюрера, что ни один немецкий солдат не останется на испанской земле; он также понимал, что, отказав Берлину, он — в какой-то мере — выигрывал Лондон, понуждая англо-американцев прекратить бойкот режима и признать его, Франко, единственным и законным выразителем интересов испанской нации. Службы рейха тем не менее продолжали нажим, да и в Мадриде было достаточно сил, которые ненавидели западные демократии, полагая, что будущее мира — лишь национал-социалистическое сообщество.

Поэтому предсказать, какой путь в конце концов изберет Франко, было сложно, но тем не менее предсказать вероятие следовало загодя.

Донован решил о б б е ж а т ь события: он принял решение не просто понять и просчитать возможные перспективы, но приказал своим агентам н а в я з а т ь Франко линию поведения, выгодную союзникам.

Играя обычную для него карту «противовеса», Донован отправил под дипломатической «крышей» своего личного представителя в Мад-

рид, и был этим человеком чикагский миллионер Дональд Стил, который сразу же обзавелся знакомствами в высшем мадридском свете, не уставая повторять, что он — убежденный антикоммунист, воевал с красными в составе американского экспедиционного корпуса, отправленного в Россию на помощь белым армиям. Его сменил, получив надежные связи предшественника, Грегори Томас[1] — один из руководителей парфюмерного концерна. Подарки дамам света ему было делать не внове, духи — не взятка, а знак внимания; ничто так высоко не ценится за Пиренеями, как знаки внимания, они — ключ к сердцам тех, кто обладает информацией и может в свою очередь передать наверх, Франко, то, что сочтет нужным.

Резидент ОСС Доунс встретился в Лондоне с бывшим президентом республиканской Испании Негрином; тот сказал, что, если Франко примкнет к странам оси и пропустит войска Гитлера через Испанию, в стране может вспыхнуть гражданская война, а уж «массовое партизанское движение — попросту неизбежно».

Поскольку в Испании ничего не было готово к развертыванию партизанской борьбы, все люди Доунса были арестованы, привезены в Мадрид, в подвалы Пуэрта-дель-Соль, и подвергнуты третьей степени устрашения. Несколько человек не выдержали и признались, что отправлены из Марокко американцами.

Министр иностранных дел Испании вызвал американского посла Хайеса:

— Это беспрецедентный акт вмешательства в наши внутренние дела! Это можно трактовать как шаг к неспровоцированной агрессии! Вы готовите в стране кровопролитие!

А в это время люди ОСС в Мадриде, развозя по особнякам коробки с духами, запустили точно высчитанную дезинформацию: «Это только начало, инфильтрация будет продолжаться, ибо Белый дом опасается, что Франко откроет ворота Испании вермахту».

Франко нашел возможность сообщить в Ва-

[1] Грегори Томас — в будущем президент корпорации «Шанель», один из руководителей радиостанции «Свободная Европа».

шингтон — через сложную цепь контактов, — что он не пропустит войска рейха.

После того как эта информация пришла в Америку, государственный департамент поручил Хайесу заверить Франко, что засылка «группы коммунистических террористов» не есть дело рук американской армии, но авантюра испанских республиканцев и американских коммунистов; человек, который оказал им некоторую финансовую помощь, «выгнан с государственной службы».

Доунс действительно был отчислен из ОСС, однако ровно через два месяца он был назначен советником по особым операциям при штабе генерала Эйзенхауэра».

Однако ни Мюллер, ни Шелленберг, ни Канарис не имели данных о том, что на следующий день после этого Гувер позвонил Доновану и предложил вместе поужинать; вечер удался на славу, враги сделались друзьями.

— Ну как? — спросил Мюллер. — Любопытно копал Канарис?

— Весьма, — ответил Штирлиц, возвращая Мюллеру папку. — Данные об операциях ОСС кончаются на сорок втором годе?

Мюллер хмыкнул:

— Штирлиц, я отношусь к той породе людей, которые перестают получать информацию в ту самую минуту, когда наступает смерть.

Но ни Шелленберг, ни Мюллер, ни иностранный отдел НСДАП не знали о том, что вскоре после этого положение Донована резко пошатнулось.

А уж после того как брат европейского резидента ОСС Аллена Даллеса мультимиллионер Джон Форстер Даллес возглавил внешнеполитический отдел предвыборной кампании кандидата в президенты Томаса Дьюи, резко нападая на Рузвельта, причем многие документы получал непосредственно от своего старого друга и соратника по партии Донована, президент потребовал отчет: кто проверяет работу ОСС, кто финансирует ее операции, не включенные в перспективные планы, и какие корпорации получают приватную информацию из государственного ведомства политической разведки.

Ознакомившись с частью полученных материалов,

Рузвельт сказал своему ближайшему сотруднику Гопкинсу:

— Гарри, вам не кажется, что Донована пора убирать из ОСС?

Тот спросил:

— Каков повод?

— Повод очевиден, — ответил президент и ткнул пальцем в папку, лежавшую перед ним. — Все члены штаба по выборам Дьюи — после его поражения — взяты Донованом на ключевые посты в ОСС, и все они заняты в тех отделах, которые планируют операции по рейху.

...Этот разговор в Белом доме состоялся в марте сорок пятого, через полтора часа после того, как Штирлиц вернулся в рейх.

Все в этом мире сопряжено незримыми странными связями — великое и малое, смешное и трагичное, подлое и высокое; подчас те или иные пересечения судеб не поддаются логическому объяснению, кажутся случайными, однако именно эта кажущаяся случайность и является на самом деле одной из потаенных констант развития.

ВОТ КАК УМЕЕТ РАБОТАТЬ ГЕСТАПО! — I

...Бомбили центр Берлина; над Бабельсбергом не летали, поэтому свет в районе выключен не был, хотя лампочки горели, как всегда, вполнакала.

— Только, пожалуйста, Ганс, — попросил Штирлиц, — не кладите мне сахара, я пью кофе с сахарином.

Шофер откликнулся с кухни:

— Так вы ж худой, господин Бользен, это моему шефу приходится следить за каждым куском хлеба, постоянно ходит голодный.

— Индийские йоги считают состояние голода самым полезным, — заметил Штирлиц. — Так что мы, немцы, живем в условиях пика полезности — почти все голодны.

На кухне было тихо, Ганс никак не прореагировал на слова Штирлица — видимо, вспоминал инструкции Мюллера, как вести себя в разных ситуациях...

«А может быть, все-таки я сам себя пугаю? — подумал Штирлиц. — Может быть, парень действительно приставлен ко мне для охраны? *Не страна, а гигантская*

банка со скорпионами, понять логику поступков практически невозможно, следует рассчитывать на свои чувствования... Но, если я не смогу оторваться от моего стража и выйти на связь с радистами, что мне здесь делать? Какой смысл пребывания в Берлине? Я верно сделал, что намекнул Мюллеру о возможности моей особой игры, пусть думает; судя по всему, такой ответ устроил его, хотя настоящий разговор у нас еще не состоялся...»

Кофе был отменный, сделан по турецкому рецепту; Штирлиц поинтересовался:

— Кто вас научил так хорошо заваривать?

— Сын группенфюрера, Фриц. Он был ученым ребенком, знал по-английски и по-французски, целые дни читал книги и учебники. Он-то и натолкнулся на рецепт, как надо делать настоящий кофе. Не ставить на электрическую плиту, а держать над нею, наблюдая, когда начнет подниматься пена; мальчик называл это как-то по-ученому, не на нашем языке, но очень красиво... Сейчас, я припомню, как он переводил... «Эффект вкусового взрыва» — вот как он мудрено это называл...

— А где сейчас сын группенфюрера?

Ганс подвинул Штирлицу мармелад:

— Это варит моя мама, господин Бользен, пожалуйста, угощайтесь.

— Вы не ответили на мой вопрос...

— А еще я хочу просить вас попробовать наше сало... Отец делает его по старинному рецепту, поэтому в нем так много розовых прокладок, видите, как красиво?

— О да, — ответил Штирлиц, поняв, что парень ничего ему не ответит, — с удовольствием отведаю вашего домашнего сала. Откуда вы родом?

— Из Магдебурга, господин Бользен. Наш дом стоит на развилке дорог, помните, поворот в направлении Ганновера и указатель на Гамбург? Красивый дом, очень старинный, с большой силосной башней на усадьбе...

— Я часто езжу по этой трассе, милый Ганс, но, увы, сейчас не могу вспомнить ваш красивый старинный дом... Наверняка под красной черепицей, а балки каркаса покрашены яркой коричневой краской?

— Ну конечно! Значит, все же помните?!

— Начинаю припоминать, — сказал Штирлиц. — Если вам не трудно, пожалуйста, сделайте мне еще кофе.

— Конечно, господин Бользен.

— Или попозже? Ваш кофе остынет, допейте, Ганс...

— Ничего, я люблю холодный кофе. Сын группен-

фюрера научил меня делать «айс-кафе». Пробовали?

— Это когда в высокий стакан с холодным кофе кладут катышек мороженого?

— Да.

— Очень вкусно, пробовал. А вы пили кофе «капучини»?

— Нет, я даже не слыхал о таком.

— Помните, в средние века жили капуцины, странствующие монахи?

— Я не люблю попов, они ведь все изменники, господин Бользен...

— Почему же все?

— Потому что они болтают про мир, а нам воевать надо, чтобы изничтожить большевиков и американцев.

— В общем-то верно, хорошо думаете... Так вот, о кофе капуцинов... Это когда в горячий кофе кладут мороженое и образуется совершенно невероятная шоколадная пена. Боюсь, что кофе «капучини» мы с вами попробуем лишь после победы... Идите, милый, я не задерживаю вас более... Сделайте заварки кофе на три чашки, я тоже люблю холодный кофе, мне потом предстоит поработать...

Когда Ганс вышел, Штирлиц достал из кармана пиджака маленькую таблетку снотворного, положил ее в чашку Ганса, закурил, глубоко затянулся; снял трубку телефона и набрал номер Дагмар Фрайтаг, той женщины, дело которой передал ему Шелленберг.

Голос ее был низким, чуть что не бас; Штирлицу нравились такие голоса, как правило, Бог наделял им высоких, худощавых, спортивного типа женщин с лицом римлянок.

«Ты все всегда придумываешь, старина», — сказал себе Штирлиц. «Ну и что? — ответил он себе же. — Это прекрасно. Надо навязывать явлениям и людям, тебя окружающим, себя; незаметно, подчиняясь непознанным законам, твои представления, твоя концепция, твои идеи обретут право гражданства, только надо быть уверенным в том, что поступаешь правильно и что твоя идея не есть зло, то есть безнравственность».

— Мне разрешил побеспокоить вас звонком профессор Йорк, — сказал Штирлиц. — Моя фамилия Бользен, Макс Бользен.

— Добрый вечер, господин Бользен, — ответила женщина. — Я ждала вашего звонка.

— У вас глаза зеленые, — утверждающе заметил Штирлиц.

Женщина рассмеялась:

— По вечерам, особенно когда во время бомбежек выключают свет, они желтеют. А вообще вы правы, зеленые, кошачьи.

— Прекрасно. Когда вы найдете для меня время?

— Да когда угодно. Вы где живете?

— В лесу. Бабельсберг.

— А я в Потсдаме. Совсем рядом.

— Когда ложитесь спать?

— Если не бомбят — поздно.

— А если бомбят?

— Тогда я принимаю люминал и заваливаюсь в кровать с вечера.

— Сейчас я обзвоню моих друзей — я только что вернулся, надо кое с кем перебросить парой слов — и свяжусь с вами еще раз. Может быть, если вы согласитесь, я приеду к вам сегодня, только позже.

«Сейчас пишут каждое мое слово, — подумал он, положив трубку. — И это замечательно. Вопрос в том, когда расшифровку записей передадут Мюллеру: сразу же или завтра? И в том и в другом случае мой выезд замотивирован. Поглядим, как крепок его Ганс; он свалится через сорок минут, два часа беспробудного сна мое зелье гарантирует. Впрочем, он может отставить свою чашку, и сна не будет. Что ж, тогда я поеду вместе с ним. После беседы с этой зеленоглазой Дагмар совершу прогулку по Потсдаму. Ее дом находится, если мне не изменяет память, в трех блоках от того особняка, где живет радист. А может быть, у Дагмар есть удобный выход во двор — придется полазать через заборы, ничего не попишешь: Москва должна знать о том, что теперь уже и Борман не мешает переговорам с Даллесом и что в дело будут включены серьезные люди как в Швейцарии, так и в Швеции».

Ганс вернулся с кухни, налил Штирлицу кофе, допил свой, холодный, с сильно действующим снотворным; поинтересовался, что господин Бользен будет есть на завтрак: он, Ганс, отменно готовит яичницу с ветчиной.

— Спасибо, милый Ганс, но ко мне приходит девочка, она знает, что я ем на завтрак...

— Господин Бользен, группенфюрер сказал, что девочка погибла во время налета... Простите, что я вынужден вас огорчить...

— Когда это случилось?

— А еще я умею делать морковные котлеты, — сказал Ганс.

Он просто пропустил мимо ушей тот вопрос, на который ему было предписано не отвечать, понял Штирлиц.

— Я задал вам вопрос, Ганс: когда погибла моя горничная?

— Но я не знаю, господин Бользен. Я вправе отвечать вам лишь про то, что мне известно.

— Вот видите, как славно, когда вы объясняете мне. Не очень-то воспитанно молчать, когда вас спрашивают, или говорить о другом.

— Да, это совсем невежливо, вы правы, господин Бользен, но я не люблю врать. По мне лучше промолчать, чем говорить неправду.

— Пойдемте, я покажу вам вашу комнату.

— Группенфюрер сказал, что я должен спать внизу. Мне надо блокировать вход к вам на второй этаж. Если вы позволите, я стану устраиваться на ночь в кресле... Вы разрешите подвинуть его к лестнице?

— Нет. На втором этаже нет туалета, я буду вас тревожить...

— Ничего страшного, тревожьте, я быстро засыпаю.

— В данном случае я говорю о себе. Я не люблю тревожить людей попусту. Пожалуйста, подвиньте кресло... Нет, еще ближе к лестнице, но так, чтобы я мог ходить, не обращаясь к вам с просьбой отодвигаться в сторону.

— Но группенфюрер сказал мне, что я должен быть вашей тенью повсюду...

— Вы в каком звании? Капрал? Ну а я — штандартенфюрер.

— Я вас охраняю, господин Бользен, а приказы мне дает группенфюрер. Простите, пожалуйста...

— Видимо, вы хотите, чтобы я позвонил Мюллеру?

— Именно так, господин Бользен, пожалуйста, не сердитесь на меня, но вы бы сами не поняли солдата, не выполняющего приказ командира.

— Пожалуйста, милый Ганс, подайте мне аппарат, шнур удлинен, можете брать со стола спокойно.

Ганс передал Штирлицу телефон, прикрыв рот ладонью, зевнул, смутился, спросил:

— Могу я выпить еще полчашки кофе?

— О да, конечно. Плохо спали сегодня?

— Да, пришлось много ездить, господин Бользен.

Штирлиц набрал номер.

Ответил Шольц.

— Добрый вечер, здесь Штирлиц. Не были бы так любезны соединить меня с вашим шефом?

— Соединяю, штандартенфюрер.

— Спасибо.

Мюллер поднял трубку, засмеялся своим мелким, быстрым, прерывающимся смехом:

— Ну что, уже начался нервный приступ? Молодец Ганс! Дальше будет хуже. Дайте мне его к телефону.

Штирлиц протянул трубку Гансу, тот выслушал, дважды кивнул, вопросительно посмотрел на Штирлица, хочет ли тот еще говорить с шефом, но Штирлиц поднялся и ушел в ванную.

Когда он вернулся, Ганс сидел в кресле и тер глаза.

— Ложитесь, — сказал Штирлиц. — Можете отдыхать, вы мне сегодня не понадобитесь более.

— Спасибо, господин Бользен. Я не буду мешать вам?

— Нет, нет, ни в коем случае.

— Но я временами храплю...

— Я сплю с тампонами в ушах, храпите себе на здоровье. Белье возьмите наверху, знаете где?

И Ганс ответил:

— Да.

...Ганс уснул через двадцать минут.

Штирлиц укрыл его вторым пледом и спустился в гараж.

Когда он вывел машину со двора, Ганс, шатаясь, поднялся с кресла, подошел к телефону, набрал номер Мюллера и сказал:

— Он уехал.

— Я знаю. Спасибо, Ганс. Спи спокойно и не просыпайся, когда он вернется. Ты у меня молодчага.

...Штирлиц остановил машину в переулке, не доезжая двух блоков до маленького трехэтажного особняка радиста, он позвонил, осветив спичкой фамилии квартиросъемщиков — их здесь было четверо.

Радистом оказался пожилой немец, истинный берлинец, Пауль Лорх.

Выслушав слова пароля, произнесенные гостем шепотом, он пригласил Штирлица к себе: они поднялись в маленькую двухкомнатную квартиру, Лорх передал Штирлицу два крохотных листочка с колонками цифр.

— Когда получили? — спросил Штирлиц.

— Вчерашней ночью.

Первая шифровка гласила: «Почему медлите с передачей информации? Мы заинтересованы в получении новых данных ежедневно. Центр».

Вторая в какой-то мере повторяла первую: «По нашим сведениям, Шелленберг развивает особую активность в Швеции. Насколько это соответствует истине? Если факт подтверждается, назовите имена людей, с которыми он контактирует. Удивлены вашей медлительностью. Центр».

— Где передатчик? — одними губами, очень тихо спросил Штирлиц.

— Спрятан.

— Можем сейчас съездить?

Лорх отрицательно покачал головой:

— Я могу привезти его завтра к вечеру.

— Хорошо бы это сделать сегодня... Никак не выйдет?

— Нет, я должен быть на работе в шесть, а мы только в пять вернемся.

— Ждите меня завтра или послезавтра. Круглые сутки. Вызовите врача, симулируйте болезнь, но сделайте так, чтобы вы были на месте. Ваш телефон не изменился?

— Нет.

— Я могу позвонить... У меня довольно сложная ситуация... Мне сейчас трудно распоряжаться своим временем, понимаете ли... Вы по-прежнему служите собачьим парикмахером?

— Да, но теперь приходится стричь и людей... Поэтому я езжу рано утром в госпиталь...

— Ваш телефон в справочной книге, как и раньше, связан с вашей профессией?

— Да.

— Сколько еще осталось собачьих парикмахеров в городе?

— Две дамы, они специализируются по пуделям. Отчего вы шепчете? Я вполне надежен.

— Конечно, конечно, — по-прежнему беззвучно ответил Штирлиц. — Я не сомневаюсь в вашей надежности, просто я устал, и у меня нервы на пределе, простите...

— Хотите крепкого чая?

— Нет, спасибо. Может быть, вам позвонит мой... словом, шофер. Его зовут Ганс. Он приедет за вами — если не смогу я — на моей машине. Номер машины эсэсовский, не пугайтесь, все в порядке. Будете стричь

моего пса, в том случае если я сам не смогу прийти к вам. Но я должен прийти к вам обязательно. Вот текст шифровки, передайте ее завтра до моего прихода.

Шелленберг действительно начал новую серию тайных переговоров в Швейцарии и Швеции. Контрагентами называет Бернадота — в Стокгольме и Музи — в Монтрё. Мне поручено подготовить к переброске в Стокгольм, в окружение графа Бернадота, некую Дагмар Фрайтаг, филолога, тридцати шести лет, привлечена к работе Шелленбергом после ареста ее мужа, коммерсанта Фрайтага, за высказывания против Гитлера. Мюллер приставил ко мне своего человека. Борман, видимо, информирован о контактах с Западом, ибо потребовал от меня сделать все, чтобы факт переговоров с нейтралами был пока что высшей тайной рейха, более всего он не хочет, чтобы об этом узнал Кремль. *Юстас.*

...Мюллер выслушал руководителя особой группы наблюдения, пущенного за Штирлицем, записал адрес Лорха и сказал:

— Спасибо, Гуго, прекрасная работа, снимайте с него ваши глаза, видимо, он поедет сейчас к этой самой Дагмар Фрайтаг. Отдыхайте до утра.

Затем Мюллер пригласил доктора филологии штурмбанфюрера Герберта Ниче из отдела дешифровки и спросил его:

— Доктор, если я дам ряд слов из вражеской радиограммы, вы сможете ее прочесть?

— Какова длина колонки цифр? Сколько слов вам известно из тех, которые зашифрованы? Что за слова? Мера достоверности?

— Хм... Лучше б вам не знать этих слов, право... Вы раскоссируйте те слова, которые я назову по вашим группам, работающим вне этого здания... Слова, которые я вам назову, опасны, доктор... Если их будет знать кто-либо третий в нашем учреждении, я не поставлю за вас и понюшку табаку... Итак, вот те слова, которые о б я з а т е л ь н о будут звучать в шифрограмме: «Дагмар», «Стокгольм», «Фрайтаг», «Швейцария», «Даллес», «Мюллер», «Шелленберг», «Бернадот»; вполне вероятно, что в провокационных целях будут названы

святые для каждого члена партии имена рейхсмаршала, рейхсфюрера и рейхсляйтера. Более того, вполне возможно упоминание имени великого фюрера германской нации... Я не знаю, каким будет шифр, но вероятно, что он окажется таким же, каким оперировала русская радистка...

— Та, которую арестовал Штирлиц? В госпитале?

— Да, Штирлиц сумел обнаружить ее в «Шарите», вы совершенно правы.

Мюллер достал из сейфа перехваченные шифровки, положил их на стол перед Ниче и сказал:

— Пока суд да дело, попробуйте помудрить с этими цифрами, подставив сюда следующие слова: «Вольф», «Даллес», «Шлаг», «пастор», «Мюллер», «Швейцария», «Берн», «Шелленберг»... Возможны упоминания имен Гиммлера и Бормана в гнусном, клеветническом подтексте. Если не все, то большинство этих слов, я полагаю, присутствует в этих цифрах... Я останусь ночевать здесь, так что звоните, Шольц предупрежден — он меня немедленно разбудит...

Шольц его разбудил в шесть, когда уже светало; небо было высоким, пепельным; сегодня ночью не бомбили, поэтому не было дымных пожарищ и не летала мягкая, невесомая, крематорская копоть.

Доктор Ниче положил перед Мюллером расшифрованный текст:

«Шелленберг с санкции Гиммлера намерен вести переговоры в Швейцарии. Мне санкционирована свобода действий, срочно необходима связь, подробное донесение передаст пастор, которого я переправляю в Берн. Юстас».

Мюллер закрыл глаза, а потом мягко заколыхался в кресле — смех его был беззвучным, он качал головою и хмыкал, словно бы простудился на ветру. А когда ему передали шифровку, отправленную Штирлицем через Пауля Лорха, шеф гестапо ощутил такое удовлетворение, такую сладостную радость, какую он испытывал лишь в детстве, помогая дедушке работать в поле, весною, когда наступала пора ухода за саженцами на их винограднике.

Он имел право на такую радость.

Он добился того, что Штирлиц оказался слепым исполнителем его воли: отныне вопрос возможной конфронтации между Кремлем и Белым домом перестал быть отвлеченной идеей. Случись такое — Мюллер спасен. Впрочем, шансы его и Бормана на спасение увеличились

неизмеримо, даже если вооруженной конфронтации между русскими и американцами не произойдет — все равно разведка красных не может не заинтересоваться тем, как будут и дальше реагировать на мирные переговоры Борман и он, Мюллер; от них ведь зависит, прервать их или же содействовать их продолжению...

ОПОРЫ БУДУЩЕГО РЕВАНША

Борман выехал из Берлина на рассвете.

Он отправился в Потсдам; здесь, в лесу, в маленьком особняке, обнесенном высокой оградой, охраняемом пятью ветеранами НСДАП и тремя офицерами СС, выделенными Мюллером, доктор Менгеле оборудовал специальную лабораторию «АЕ-2». Так закодированно обозначался его госпиталь, высшая тайна Бормана, не доложенная им фюреру.

Именно сюда привозили — ночью, в машинах с зашторенными окнами — тех к а н д и д а т о в, которых по его личному поручению отобрали для него самые доверенные люди рейхсляйтера.

Менгеле делал здесь пластические операции; первым был прооперирован оберштурмбанфюрер СС Гросс, сын «старого борца», друга рейхсляйтера, осуществлявшего его защиту на судебном процессе в двадцатых годах. Именно он подсказал адвокатам идею квалифицировать убийство, совершенное Борманом, как акт политической самообороны в борьбе с большевистским терроризмом. Ныне, спустя двадцать два года, Борман сориентировал младшего Гросса на будущую работу в Америке; парень окончил Итон, его английский был абсолютен, служил под началом Эйхмана, помогал Вальтеру Рауфу, когда тот опробовал свои душегубки, в которых уничтожали еврейских детей.

Менгеле изменил Гроссу форму носа, сделал обрезание и переправил татуированный эсэсовский номер на тот, который накалывали евреям перед удушением в газовых камерах в концентрационных лагерях, — «1.597.842».

Вторым в лабораторию «АЕ-2» был доставлен Рудольф Витлофф; он воспитывался в России, отец работал в торговой фирме Симменса-Шуккерта, мальчик посещал русскую школу, язык знал в совершенстве; практиковался в группе Мюллера, занимавшейся «Красной капеллой». Менгеле сделал Витлоффу шрам на лбу, наколол — через кусок кожи, вырезанный с левого плеча

русского военнопленного, — портрет Сталина и слова «Смерть немецким оккупантам».

Сегодня Менгеле провел третью операцию: к внедрению в ряды радикальных арабских антимонархистов готовился Клаус Нёйман.

Борману предстояло поговорить с каждым из трех его людей: по законам конспирации никто из этой тройки не должен был видеть друг друга.

Борман ехал по израненному городу и до сих пор не мог ответить себе, имеет ли он право поставить все точки над «i» в беседе с тремя избранными. Он колебался: просто ли ориентировать людей на глубинное внедрение в тылы врага или же сказать то, что было ясно всем: «Наша битва проиграна, война закончится в ближайшие месяцы, если только не чудо; вам выпала ответственнейшая задача — отдать себя великому делу восстановления национал-социализма. Притягательность нашего движения заключается в том, что мы открыто и недвусмысленно провозглашаем вседозволенность лучшим представителям избранной нации арийцев в борьбе за господство сильных. Да, видимо, мы были в чем-то не правы, выпячивая право одних лишь немцев на абсолютное и непререкаемое лидерство. Надо было разжигать пламя национальной исключительности в тех регионах мира, где только можно зажечь м е ч т у стать первыми. Да, мы учтем эту ошибку на будущее, и вы, именно вы, будете теми хранителями огня, которые обязаны саккумулировать в себе п а м я т ь и м е ч т у. Немцы так или иначе сделаются лидерами, когда пожар национальной идеи заполыхает в мире. Нет классов, это вздор марксистов, одержимых тайной еврейской идеей; нет и не будет никакого «интернационального братства», проповедуемого русскими большевиками, — каждая нация думает только о себе; нет никаких противоречий в обществе, если только это общество одной нации; чистота крови — вот залог благоденствия общества арийцев».

Борман понимал, что если он сейчас не скажет всей правды своим избранникам, то его делу — делу истинного, хотя и необъявленного пока что преемника фюрера — может быть нанесен определенный урон; но он отдавал себе отчет в том, что ему подобрали таких людей, которые воспитаны в слепой, фанатичной вере в Гитлера. Если сказать открыто, что конец рейха неминуем и близок, предсказать реакцию этих людей на слова правды невозможно. Он вправе допустить, что один из них немедленно отправит письмо фюреру, в котором обвинит

Бормана в измене, распространении панических слухов и потребует суда над предателем. Уже были зафиксированы несколько доносов мальчиков и девочек на своих отцов: «Они смели говорить, что фюрер проиграл войну»; эти письма детей показывал Борману председатель народного имперского суда Фрейслер, плакал от умиления: «С такими патриотами, вроде этих малышей, мы одолеем любого врага!»

...Борман отгонял от себя мысли о том, что грядет; человек сильной воли, он приучился контролировать не только слова и поступки, но и мысли. Однако, когда в в начале марта он выехал на два дня в Австрию в район Линца по делам НСДАП, связанным с вопросом размещения и хранения произведений искусства — какникак из России, Польши и Франции вывезено картин и скульптур на девятьсот семьдесят миллионов долларов, — и увидел особняки, где разместилось эвакуированное министерство иностранных дел рейха, «правительства в изгнании» Болгарии, Хорватии, Венгрии, Словакии, когда он почувствовал ж а л к и е остатки былого величия, ему стало окончательно ясно — крах. Не отступление на фронтах, не оперативные сводки Мюллера-гестапо о том, что все рушится, не данные областных организаций НСДАП о голоде и болезнях в рейхе, но именно ощущение м а л о с т и подкосило его. Покуда он находился в бункере, рядом с фюрером, и заведенный распорядок дня неукоснительно повторялся изо дня в день: бесперебойно работала связь, Гитлер свободно оперировал с картами и сообщениями министерств, — ему, Борману, было спокойно, ибо грохот бомбежек не был слышен в подземной имперской канцелярии, еду подавали отменную, офицеры СС были, как всегда, великолепно одеты, генералы приезжали для докладов по минутам; царствовала и л л ю з и я могущества: рейх продолжал оккупировать Данию, север Италии, Голландию и Норвегию, войска СС стояли в Австрии, по-прежнему держались гарнизоны в Чехословакии и Венгрии; тревожным было положение на Востоке, но ведь нация обязана стоять насмерть, кто захочет пойти на добровольное самоубийство?! Красные вырежут всех, это очевидно, значит, немцы будут защищать каждый дом, перелесок, поле, каждый сарай — речь идет о физическом существовании нации, возобладают скрытые, таинственные пружины к р о в и...

Именно тогда, возвращаясь из Линца, Борман впервые отдал себе отчет в том, что произошло. И впервые ему надо было самому принять решение, не дожидаясь ука-

зания фюрера. И вот именно тогда в его голове начал трудно и боязливо ворочаться с в о й план спасения. Поначалу он страшился признаться себе в том, что этот план окончательно созрел в нем; он гнал мысль прочь, он умел это. Однако, когда маршал Жуков начал готовить наступление на Берлин, когда Розенберг прочитал ему подборку передовиц «Правды» и «Красной звезды», Борман понял: время колебаний кончено, настала пора активного действия.

В чем-то помог Геббельс, с которым он сейчас вошел в тесный блок, окончательно оттерев, таким образом, Геринга, Гиммлера, Риббентропа и Розенберга.

Именно Геббельс в апреле пришел к Борману с переводом статьи, опубликованной в «Красной звезде» начальником Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) Александровым. Статья называлась «Товарищ Эренбург упрощает».

— Русские предлагают немцам тур вальса, — сказал Геббельс ликующе.

Борман внимательно прочитал статью, в которой говорилось про то, что существуют разные немцы, не только враги; пора уже сейчас думать о том, какие отношения между двумя нациями будут после неминуемой победы.

Геббельс продолжал говорить о наивности Сталина, о том, что немцы всегда останутся врагами диких азиатов, а Борман даже похолодел от шальной мысли: «А вдруг Москва действительно протягивает руку ему, Борману? Почему не навязать этой статье именно такой смысл?»

Борман уже к концу марта построил план спасения, базируясь в своих отправных посылках именно на такого рода допуске.

Он решил отныне ни в коем случае не мешать ни Гиммлеру, ни Шелленбергу в налаживании контактов с Западом. Более того, Мюллер обязан будет помогать им в этих контактах, делая все, чтобы ни один волос не упал с головы заговорщиков. Но при этом необходимо добиться, чтобы информация об этих переговорах постоянно и ежечасно уходила в Москву, Сталину. Пусть тот ж д е т, пусть думает, что в один прекрасный миг Гиммлер сговорится с Даллесом, пусть живет под дамокловым мечом единого фронта европейцев против большевиков. Разве такое невозможно? Надо сделать так, чтобы Гиммлер добился реальных результатов в этих переговорах, пусть его! Надо уговорить фюрера отвести с западного фронта практически все боевые части на Восток.

После этого ударить по генеральному штабу, изгнать Гудериана и привести на его место Кребса — тот говорит по-русски, был в военном атташате в Москве (Кремль быстро просчитает персональные перестановки, там на это доки). А когда западный фронт будет открыт американцам, когда их армии устремятся на Берлин, надо обращаться к Сталину с предложением мира; да, именно к нему, пугая его Гиммлером — с одной стороны, и неуправляемостью вермахта, его высшего командования типа Гудериана, Кессельринга, Гелена — с другой, представив ему, Сталину, документы, которые бы свидетельствовали, что Ялтинское соглашение стало листком бумаги; пусть думает, кремлевский руководитель умеет принимать парадоксальные решения: либо американцы в Берлине и, таким образом, во всей практически Европе, либо новая Германия, Бормана, да, именно его Германия, которая будет готова отбросить армии американских плутократов и заключить почетный мир с Москвой, признав ее — на этом этапе — лидерство.

«Мало времени, — сказал себе Борман. — Очень мало времени и слишком много стадий, которые мне надо пройти. Очень трудно соблюдать ритм в кризисной ситуации, но, если я все-таки смогу соблюсти ритм, появится шанс, который позволит мне думать не о бегстве, но о продолжении дела моей жизни».

...Именно тогда он и вспомнил Штирлица.

...Именно тогда, вернувшись в Берлин, он позвонил Мюллеру и вызвал его к себе, поручив подготовить материал против Гудериана и Гелена. Именно тогда он и задал ему вопрос, кто сможет сделать так, чтобы информация о контактах Гиммлера и его штаба ушла в Кремль.

...Именно поэтому Штирлиц и не был арестован немедленно по возвращении: он оказался тем недостающим звеном в комбинации, которую начинал Борман — на свой страх и риск, без указания того человека, которого о б о ж а л и н е н а в и д е л одновременно.

Ситуация в Германии была такой, что те функционеры рейха, которые ранее, будучи поставленными в иерархической лестнице на строго определенное место, с точно утвержденными правами и обязанностями, являли собою некие детали одной машины, гарантировали ее слаженную работу, сейчас, накануне краха, изверившись в способности высшей власти гарантировать не пропитание и кров, но самое жизнь, были обуреваемы лишь одной мыслью: как в ы с к о ч и т ь из вагона, несшегося под откос, в пропасть.

Поскольку людям, лишенным общественной идеи, свойственна некая гуттаперчевость совести, поскольку блага, которые они получали, служа фюреру, были платой за злодейство, беспринципность, покорность, трусость, предательство друзей, впавших в немилость, насилие над здравым смыслом и логикой, ситуация, сложившаяся в рейхе весной сорок пятого, подталкивала их — во имя физического спасения — к некоему фантастическому шабашу внутреннего предательства. Каждый, начиная с Германа Геринга, «наци номер два», был готов з а л о ж и т ь обожаемого фюрера, имея хотя бы номинальную гарантию того,что сам не будет уничтожен.

...Мюллер, выслушав Бормана, сразу же понял, что о контактах Штирлица с секретной службой русских говорить рейхсляйтеру нельзя ни в коем случае. У Мюллера был свой план спасения, но он не мог даже представить себе, что его план до такой степени смыкается с задумкой Бормана. Поэтому он заметил:

— Если вы найдете время принять Штирлица, рейхсляйтер, если тот решится вернуться в Германию, если он с м о ж е т позвонить вам и ему удастся доехать до того места встречи, которое вы ему назовете, я просил бы вас — ориентируя его на будущую работу — особо подчеркнуть следующее: «Ваша главная задача ныне будет категорическим образом отличаться от той, которая уже выполнена. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы оберегать Шелленберга и его людей. Вы должны гарантировать абсолютнейшую секретность их переговоров — не только для того, чтобы попусту не ранить сердце фюрера, но и для того также, чтобы эта информация не смогла достигнуть Кремля. Пока еще не известно, кто по-настоящему воспользуется результатами переговоров в Стокгольме и Швейцарии; важно только, чтобы Москва ни в коем случае не узнала о самом факте их существования».

Борман тогда посмотрел на Мюллера по-особому — настороженно и оценивающе, но вопроса задавать не стал: он, как и большинство высших функционеров НСДАП, предпочитал жить по принципу детской игры: «да» и «нет» не говорить, «черное» и «белое» не называть; если бы Мюллер посчитал нужным сказать нечто такое о Штирлице, что понудило бы его, Бормана, принять определенное решение, то это могло бы в конечном счете помешать делу; пусть ответственность будет на Мюллере, он ведь понимает, какого уровня комбинация задумана, разве он привлечет к ней человека, в честности

которого есть хоть капля сомнения? Конечно же, нет. А если — да? Ну что ж, это его дело, он — профессионал, он отдает себе отчет в том, что его ждет, провали он операцию. Надо уметь отводить от себя лишнее, оставляя в памяти лишь абрис главной идеи; за детали отвечают профессионалы. Я, политик Мартин Борман, выдвигаю концепцию, задача моих сотрудников в том и состоит, чтобы сделать ее реальностью; понятно, никто из них не станет действовать против духа и буквы нашей морали и закона; я живу судьбами Европы, пусть тайная полиция думает, как помочь мне, Борману, в моем деле. Ответственность за детали лежит на исполнителях, с них и спрос; идея — неподсудна!

...Лишь приехав в лабораторию «АЕ-2», Борман нашел третью, самую удобную форму беседы с кандидатами — веселую, дружескую, открытое собеседование товарищей по совместной борьбе за светозарные идеалы национал-социализма.

Явки, номера банковских счетов — словом, д е т а л и были давно известны его людям, формы связи обговорены; осталось лишь сказать напутствие.

Каждому надлежит пожелать с в о е: Гроссу, впрочем, и говорить нечего, изумительный специалист в своем деле. Эйхман значительно более компетентен, чем Альфред Розенберг, ибо практики обычно знают дело больше, чем теоретики; Витлофф понимает Россию замечательно, Мюллер и Кальтенбруннер высоко отзывались о его деловых качествах; Нёйман рос в Александрии, его отец дружил там с семьей Рудольфа Гесса. Беседу с каждым надо построить таким образом, чтобы сфокусировать их внимание на с и м п т о м а х возрождения идеи национал-социализма в мире. Именно эта проблема должна быть уяснена ими совершенно точно — никаких иллюзий, только трезвый анализ данностей, и ничто другое. Борман даже решил привести слова лауреата Нобелевской премии Карла фон Осецкого, погубленного в концлагере после прихода Гитлера к власти. «Я скажу моим мальчикам, — думал он, — что врага надо знать как «Отче наш», ибо никто так не понимает тебя, как открытый, бескомпромиссный враг, не стремящийся к власти и славе (что, впрочем, одно и то же)». Именно Осецкий накануне того дня, когда старый фельдмаршал рейхспрезидент Гинденбург принял фюрера и поручил ему создание правительства «национального единства», сформулировал

суть происходившего следующим образом: «Камарилья появляется лишь тогда, когда аграрии ощущают ухудшение своего положения, когда крестьяне начинают искать правду и находят ее в том, что их обирают единокровные юнкеры, а отнюдь не русские марксисты, американские буржуи или безродный еврейский капитал, а крупная промышленность ощущает новую конъюнктуру, которую можно выиграть лишь в том случае, если рабочие будут принуждены твердой рукою к труду, а не к бесконечным дискуссиям и стачкам».

«Ничего, — думал Борман, — я произнесу слова этого паршивца Осецкого о «камарилье», пусть они услышат это из моих уст, им предстоит жить среди врагов, надо учиться не реагировать на обидные политические метафоры. Единство крови, жажда авторитета, слепота масс, его величество случай — на этих китах мы восстанем. А потом я дам им связи с Мюллером, если тот д о к а ж е т себя окончательно...»

...Менгеле, встретивший Бормана у ворот, сказал:

— У вас сегодня по-настоящему хорошее настроение, рейхсляйтер!

— Именно так, — ответил Борман и потрепал Менгеле по щеке.

БЕДНЫЕ, БЕДНЫЕ ЖЕНЩИНЫ... — I

— Ах, да при чем здесь руны, былины и мифы? — рассмеялась Дагмар Фрайтаг своим низким басом. — Пейте водку и забудьте вы эту муру!

Она устроилась на стуле, подломив под себя ноги; сидела по-японски, ч у д о м, несмотря на то что действительно была высокой, как и представлялось Штирлицу, только еще более красивой.

— То есть? — спросил Штирлиц, выпив с какой-то неведомой для него радостью сладкую шведскую водку.

— Все очень просто, — ответила Дагмар. — Девице из хорошей семьи надо иметь профессию; эмансипация и все такое прочее. Я мечтала быть офицером генерального штаба, мне очень нравится планировать битвы, я играла не в кукол, а в оловянных солдатиков, у меня и сейчас хранится лучшая в Европе коллекция, есть даже красноармейцы, потом покажу. Хотите?

— Хочу.

— Вот... А папа с мамой приготовили мне будущее филолога. А что это за наука? Это не наука, это — прикладное, это как оформление ресторана мастером, который

знает, как использовать мореное дерево, где будут хорошо смотреться рыбачьи сети и каким образом придумать в затаенном уголке зала кусочек Испании — гладко беленные стены, детали старинных экипажей и много темной листовой меди.

— Ну-ну, — улыбнулся Штирлиц. — Только ваша узкая специальность — то есть взаимосвязанность скандинавской и германской литератур — вполне генштабовская профессия. Можете доказать единство корня слов и одинаковость их смысла? Можете! А отсюда недалеко до провозглашения обязательности присоединения Швеции к рейху.

— Бог мой, я это уже доказала давным-давно, но ведь до сих пор не присоединили! Да и потом, я высчитала, что множество русских былин тоже рождены нами, поскольку княжеско-дружинный слой общества у русских был в первую пору нашим, скандинаво-германским, онито, предки, и занесли туда эпическое творчество, а когда славяне дали нам коленом под зад — привезли сюда, на Запад, их былины...

— Это — по науке? Или снова ваш оловянный генеральный штаб, чтоб легче обосновать присоединение к нам России?

— И так и эдак, но обосновывать присоединение Германии к России будет генеральный штаб красных, — засмеялась своим странным, внезапным смехом женщина, — а уж никак не наш.

— Налейте еще водки, а?

— Бутерброд хотите? У меня сыр есть.

— Черт его знает... Все-таки, наверное, хочу...

Дагмар легко и грациозно, как-то совершенно неожиданно поднялась со стула; юбка у нее была коротенькая, спортивная, и Штирлиц увидел, какие красивые ноги у женщины. Он вывел странную, в высшей мере досадную закономерность: красивое лицо обязательно соединялось с плохой фигурой; нежные руки были почему-то у женщин с тонкими ногами-спичками; пышные красивые волосы — и вдруг толстая, бесформенная шея.

«А здесь все в порядке, — подумал Штирлиц. — Природа наделила ее всем по законам доброты, а не обычной жестокой логики: «каждому — понемногу».

И бутерброд Дагмар сделала вкусный, маргарина намазала не бритвенный слой, а видимый, ж и р н ы й; сыр хоть и был настружан тоненькими, чуть что не прозрачными дольками, но был положен г о р к о й.

— Пейте и ешьте, — сказала она, снова легко и гра-

циозно устроившись на стуле. — Я очень люблю смотреть, как едят мужчины, не так страшно жить.

— Вы мне расскажите про скандинавско-русские былины, — попросил Штирлиц.

— Вы зовете женщину в постель только после интеллектуального собеседования? С вами я готова лечь сразу.

— Правда?

— Будто сами не знаете... В мужчин вашего типа женщины влюбляются немедленно.

— Почему?

— В вас есть надежность.

— Это — все, что надо?

— Можете предложить большее? Тогда купите мне ошейник, я стану вашей собакой.

— Любите собак?

— Вопрос итальянца. — Дагмар пожала плечами. — Или испанца... Но никак не немца. Разве есть хоть один немец, который не любит собак?

— Я вам дам новый псевдоним — «бритва».

— Да хоть какой угодно.

— Итак, о былинах...

— У вас есть сигареты?

— Конечно.

— Я хочу закурить.

— Но вообще-то вы не курите?

— Я бросила. В гимназии курила, еще как курила. И пила водку. И все остальное...

— Молодец. Трудно в учении — легко в бою.

— Так говорил русский генерал Суворов.

— Совершенно верно. Только он был фельдмаршалом, если мне не изменяет память.

— Изменяет. Он был генералиссимусом.

— Слушайте, а мне просто-напросто приятно быть у вас в гостях.

— Так вы ж не в гостях... Вы, как я понимаю, по делу...

— Черт с ним, с этим делом... Все равно вы его прекрасно проведете, я теперь в этом не сомневаюсь... С кем из моих коллег вы раньше были на связи?

— По-моему, об этом нельзя говорить никому? Меня предупреждал мой куратор...

— Мне — можно.

— Можно так можно, — улыбнулась Дагмар. — Он представился мне как Эгон Лоренс.

— Он действительно Эгон Лоренс. Как он вам показался?

— Славный человек, старался помочь мужу... Или делал вид, что старался... Во всяком случае, его отличал такт...

— Почему вы говорите о нем в прошедшем времени?

— Он в госпитале. Попал под бомбежку, контузило.

— Расскажите все-таки про скандинаво-германо-русский эпос, это дьявольски интересно. И давайте еще раз выпьем.

— Любите пьяных женщин?

— Черт его знает... Не чувствуешь себя скованным... Это как на корте играть с партнером одного с тобою класса.

— Почему вас заинтересовали эпосы? — Дагмар пожала острыми плечами.

— Потому что вы мне приятны. А человек познается по-настоящему, когда он говорит о своем деле.

— Это вы про мужчин. Женщина познается, когда она любит, кормит дитя, готовит мужчине обед и смотрит, как он тревожно спит... Нет, я не психопатка, правда... Что вы на меня так смотрите?

— Я смотрю на вас хорошо.

— Поэтому и спрашиваю.

— Рассказывайте...

— Вы говорите по-русски?

— Читаю. Со словарем.

— Знакомы с финским эпосом? Или с эстонским? С карельским? Очень красивое название «Калевипоэг». Знаете?

— Нет, не знаю... Слыхал краем уха... У нас есть перевод?

— Мы не умеем переводить. Мастерски переводят только русские.

— Отчего это им такая привилегия?

— Стык Европы и Азии... Смешение языков, караваны в Персию, Индию, Китай, хазары, скифы, Византия, великолепное варево...

— Итак, «Калевипоэг»...

— А у русских есть былина о богатыре Колыване. Я проводила аналитическое сравнение, все очень близко. А еще ближе к нам их прекрасная былина об Илье Муромце.

Произношение у женщины было абсолютным, русское имя она называла без акцента. Штирлиц заставил себя не отрывать глаз от сигареты, которую он аккуратно разминал пальцами, чтобы не взглянуть на ее лицо еще раз, наново.

— Вообще, былины — это любопытная штука, — вздохнула Дагмар. — Они подталкивают к выводу, что в жизни во все времена обязательно надо выжить, и не просто выжить, а победить, пробиться вверх, к славе, — только тогда не страшна смерть, ибо твое имя сохранится для потомства. Чем ты поднялся выше, тем надежнее гарантия неисчезновения... Нет, правда! Почему вы улыбаетесь?

— Потому что мне приятно слушать вас.

— Пейте.

— Выхлещу всю вашу водку.

— Я покупаю ее на боны в шведском посольстве, там очень дешево.

— Дальше.

— А что — «дальше»? У русских был князь Владимир, он крестил свой народ, стал святым, получил прозвище Красное Солнышко. Чем князь был знаменитее, тем больше его надо было славить, тем красивее о нем слагали былины, в лучах его известности оказывались близкие — был у него дядя, Добрыня, друг и соратник Муромца... Когда сложат эпос об этой войне, вы окажетесь в фокусе славы рейхсфюрера... Замечательно, да?

— Совершенно замечательно... Только где логика? Князь Владимир, дядя Добрыня и богатырь Муромец?

— Все-таки я женщина... Мы — чувство, вы, мужчины, — логика... Так вот, есть русская былина про то, как Муромец сражался со своим сыном Бориской... Хотя иногда его называли Збутом, порою Сокольником, а в поздние времена — Жидовином... Илья, сражаясь с сыном, узнает, что этот самый Жидовин приходится ему сыном, отпустил его, а тот решил извести отца, когда богатырь уснул... Не вышло. Муромца спас его волшебный крест. Сила в старце седьмого возраста была невероятной...

— Что значит «старец седьмого возраста»?

— По старым славянским исчислениям это возраст мудрости, с сорока до пятидесяти пяти лет... А теперь сравните Муромца с нижнегерманской сказкой о Гильдебранде и его сыне Алебранде, когда они сошлись на битву возле Берна. Похоже? Очень. Отец тоже сражался с сыном, но помирился с ним в тот миг, когда старик занес нож, чтобы поразить свое дитя... Молодой богатырь успел рассказать старцу то, что знал от матери... А она рассказала сыну, кто его отец... Слезы, радость, взаимное прощение... А кельтская сага об ирском богатыре Кизаморе и его сыне Картоне? Она еще ближе к

русскому варианту, путь-то пролегал из варяг в греки, а не из немцев к персам. В битве отец, как и Муромец, убивает сына, но, узнав, кого он убил, плачет над телом три дня, а потом умирает сам... Видите, как мы все близки друг другу?

Штирлиц пожал плечами.

— Что ж, пора объединяться...

— Знаете, отчего я хочу, чтобы вы остались у меня?

— Догадываюсь.

— Скажите.

— Вам страшно. Наверно, поэтому вы и хотите, чтобы я был сегодня рядом.

— И это тоже... Но по-настоящему дело в другом... Не только мужчины живут мечтами о придуманных ими прекрасных женщинах, которые все понимают, хороши в беседе, а не только в кровати. Настоящий друг нужен всем... Мы, женщины, придумщицы более изощренные, чем вы... Знаете, если б мы умели писать как мужчины, мы б таких книг насочиняли... И, между прочим, это были б прекрасные книги... Вот мне и кажется, что я вас очень давно сочинила, а вы взяли и пришли...

Он проснулся оттого, что чувствовал на себе взгляд, тяжелый и неотрывный.

Дагмар сидела на краешке кровати и смотрела в его лицо.

— Вы разговариваете во сне, — шепнула она.—И это очень плохо...

— Я жаловался на жизнь?

Она вздохнула, осторожно погладила его лоб, спросила:

— Закурить вам сигарету?

— Я же немец, — ответил он. — Я не имею права курить, не сделав глоток кофе.

— Кофе давно готов...

— Дагмар, что вам говорил о нашей предстоящей работе Шелленберг?

По тому, как она удивленно на него посмотрела, он понял, что Шелленберг с ней не встречался.

— Кто вам сказал, что я должен был увидеться с вами? — помог он ей.

— Тот человек не представился...

— Он лысый, с сединой, левая часть лица порою дергается?

— Да, — ответила женщина. — Хотя, по-моему, я этого тоже не должна была говорить вам.

— Ни в коем случае. Пошли пить кофе. А потом поработаем, нет?

— В Швеции у меня была няня... Русская... Она мне рассказывала, что у них во время обряда крещения священник закатывал волос младенца в воск и бросал в серебряную купель. Если катышек не тонул, значит, младенцу уготована долгая и счастливая жизнь... Ваша мама вам наверняка говорила, что ваш шарик не утонул, да?

— Я никогда не видел мамы, Дагмар.

— Бедненький... Как это, наверное, ужасно жить без мамы... А папа? Вы хорошо его помните?

— Да.

— Он женился второй раз?

— Нет.

— А кто же вам готовил обед?

— Папа прекрасно с этим справлялся. А потом и я научился. А после я разбогател и стал держать служанку.

— Молодую?

— Да.

— Ее звали Александрин? Саша?

— Нет. Так звали ту женщину, к которой я привязан.

— Вы говорили о ней сегодня ночью...

— Видимо, не только сегодня...

— Я на вас гадала... Поэтому, пожалуйста, не встречайтесь сегодня до вечера с человеком, у которого пронзительные маленькие глаза и черные волосы... Это король пик, и у него на вас зло.

Женщина ушла на кухню — аккуратную, отделанную деревом, — а Штирлиц, поднявшись, поглядел в окно, на пустую мертвую улицу и подумал: «Я — объект игры, это — точно. И я не могу понять, как она окончится. Я принял условия, предложенные мне Мюллером и Шелленбергом, и, видимо, я поступил правильно. Но я слишком для них мал, чтобы сейчас, в такие дни, они играли одного меня. Они очень умны, их комбинации отличает дальнобойность, а я не могу уразуметь, куда они намерены бить, из каких орудий и по кому именно. Мог ли я быть ими расшифрован? Не знаю. Но думаю, если бы они до конца высчитали меня, то не стали бы затевать долговременную операцию — бьет двенадцатый час, им отпущены минуты. Когда я пошел напролом с Шел-

ленбергом, я верно ощутил единственно допустимую в тот миг манеру поведения. А если и это мое решение Шелленберг предусмотрел заранее? Но самое непонятное сокрыто в том, отчего имя Дагмар назвал Шелленберг, а предупреждал ее обо мне Мюллер? Вот в чем вопрос!..»

НЕОБХОДИМОСТЬ, КАК ПРАВИЛО, ЖЕСТОКА

У Эйхмана действительно были пронзительные, маленькие, запавшие глаза и иссиня-черные волосы на висках — вылитый король пик. К далеким взрывам — бомбили заводы в районе Веддинга — он прислушивался, чуть втягивая голову, словно бы кланялся невидимому, но очень важному собеседнику.

— Я ждал вас с самого утра, Штирлиц, — сказал он, — рад вас видеть, садитесь, пожалуйста.

— Спасибо. Кто вам сказал, что я должен быть у вас утром?

— Шелленберг.

— Странно, я никому не говорил, что намерен прийти к вам первому.

Эйхман вздохнул:

— А интуиция?

— Верите?

— Только потому и жив до сих пор... Я подобрал вам пару кандидатов, Штирлиц...

— Только пару?

— Остальные улетучились, — Эйхман рассмеялся. — Ушли с крематорским дымом в небо; слава Богу, остались хоть эти.

Он передал Штирлицу две папки, включил плитку, достал из шкафа кофе, поинтересовался, пьет ли Штирлиц с сахаром или предпочитает горький, удивленно пожал плечами: «Сахарин бьет по почкам, напрасно». Приготовил две чашечки и, закурив, посоветовал:

— Я не знаю, для какой цели вам потребны эти выродки, но рекомендовал бы особенно приглядеться к Вальтеру Рубенау — пройдоха, каких не видел свет.

— А отчего не Герман Мергель?

— Этот — с заумью.

— То есть?

— Слишком неожидан, трудно предсказуем... Он технолог, изобрел с братом какое-то мудреное приспособление для очистки авиационного бензина, а был конкурс, и как-то все проглядели, что они полукровки, и их

допустили к участию. Их проект оказался самым лучшим, мировое открытие, но рейхсмаршал насторожился по поводу их внешности — в личном деле были фотографии — и высказал опасение, не евреи ли они. А фюрер сказал, что такое блестящее изобретение могли сделать только арийцы. Евреи не способны столь дерзостно думать. Герман — младший брат, он в их тандеме занимался коммивояжированием, очень шустр, лишь поэтому я вам его и назвал, о других качествах не осведомлен... Желтую звезду, понятно, не носит, ему выписали венесуэльский паспорт, так что особой работы от него не ждите, он из н е р а з д а в л е н н ы х... Изобрели еще что-то, совершенно новое, но, думаю, придерживают, мерзавцы, ждут...

— Чего?

Эйхман разлил кофе по чашечкам и ответил:

— Нашей окончательной победы над врагами, Штирлиц, чего же еще?

— Шелленберг не проинформировал вас, зачем мне нужны эти люди?

— Он говорил об одном человеке...

— Но он объяснил вам, зачем мне нужен такого рода человек?

— Нет.

— И вы рекомендуете мне Вальтера Рубенау?

— Да.

— Полагаете, ему можно верить?

— Еврею нельзя верить никогда, ни в чем и нигде, Штирлиц. Но его можно использовать. Не отправь рейхсфюрер в концлагеря всю мою агентуру, я бы показал, на что способен.

— Да мы и так наслышаны о ваших делах, — усмехнулся Штирлиц, подумав: «Ну, сволочь, и выродок же ты, мерзкий, черный расист, лишивший Германию таких прекрасных умов, как Альберт Эйнштейн, Сигизмунд Фрейд, Бертольд Брехт; грязный антисемит, инквизитор, а в общем-то — серый, малообразованный выродок, приведенный всеми этими гитлерами и гиммлерами к власти; как же страшно и душно мне сидеть с тобой рядом!..»

— Что вы имеете в виду? — насторожился Эйхман.

— Я имею в виду вашу работу. Ведь концлагеря с печками — ваше дело, как не восторгаться механике такого предприятия...

— Чувствую аллюзию...

— Вы же не в аппарате рейхсминистерства пропаганды, Эйхман, это они аллюзии ищут, вам надо смотреть в глаза фактам. Как и мне, чтобы не напортачить в деле, а уж аллюзии — Бог с ними, право, не так они страшны, как кажутся.

До своего первого ареста Вальтер Рубенау был адвокатом. Когда указом рейхсляйтера Гесса всем врачам, ювелирам, адвокатам, а также фармацевтам, кондитерам, сестрам милосердия, булочникам, массажистам, колбасникам, режиссерам, журналистам и актерам «еврейской национальности» было запрещено заниматься своей работой под страхом ареста или даже смертной казни, Рубенау начал нелегальную правозаступную практику.

Через семь дней он был схвачен и брошен в тюрьму; имперский народный суд приговорил его к десяти годам концентрационных лагерей.

В сорок первом, в Дахау, он оказался в одном бараке с группой коммунистов и социал-демократов, руководителей подпольных организаций Берлина и Кёльна. Он тогда д о х о д и л, и Вольдемар Гиршфельд спас его от голодной смерти, делясь своим пайком. В отличие от шестиконечной звезды, пришитой на лагерный бушлат Рубенау, Гиршфельд носил на спине и «могендовид», и к р а с н у ю мишень, знак коммуниста. Шестиконечную звезду с него сорвал унтершарфюрер Боде, сказав при этом:

— Хоть по крови ты паршивый еврей, Гиршфельд, но, как коммунист, ты вообще не имеешь права на национальность. Мы будем целить в красную мишень, она больше размером, чем желтая.

Его застрелили «при попытке к бегству» во время работ по осушению болота. Он и ходил-то с трудом, бегать не мог, ноги распухли, особенно в голенях, страшно выперли ребра, и плечи сделались птичьими, словно у ребенка, занимающегося в гимнастическом кружке.

Шефство над Рубенау взял Абрам Шор, член подпольного бюро кёльнского областного комитета социал-демократической партии. Он, как и покойный Гиршфельд, понимал, что Рубенау, попавший в лагерь случайно, сломается, сдастся, если его не поддерживать, не влиять на него. Поэтому через священника Грубера, работавшего в канцелярии, т о в а р и щ и смогли перевести Рубенау с самых тяжелых работ на более легкие — по обслуживанию больничного барака.

С Шора тоже была сорвана шестиконечная звезда; как и большинство политических «хефтлингов», он был обречен на пулю, однако гестапо получило сведения, что его жена, Фаина Шор, смогла уйти в Чехословакию, начала работу в пражской «Красной помощи заключенным гитлеровских концлагерей», установила контакты с Международным Красным Крестом в Женеве, дважды ездила в Москву, в МОПР, посетила Стокгольм, встретилась с Брехтом, Пабло Пикассо, Элюаром и Арагоном, заручилась их согласием на помощь и поддержку ее работе, дала несколько разоблачительных интервью в британской и французской прессе. Гестапо поручило своему человеку в Дахау проанализировать возможность использования Шора для возвращения его жены в рейх.

Особый представитель четвертого управления РСХА при коменданте штурмбанфюрер Ликсдорф полистал личное дело Шора, понял, что играть с ним бесполезно; подвел к нему провокатора Клауса; тот, хоть и виртуозно работал, разломать узника не смог; когда речь заходила о жене, он немедленно замыкался.

Ликсдорф послал телеграмму на Принцальбрехтштрассе, в Берлин, в штаб-квартиру РСХА, с просьбой разрешить ему привлечь к работе Рубенау. Если бы Рубенау был на восьмую часть евреем, а еще лучше на шестнадцатую, и не по материнской линии, а по отцовской, ибо по-настоящему, как доказал Альфред Розенберг, национальность определяет мать, но никак не отец, тогда Ликсдорф мог привлечь его к агентурной работе на свой страх и риск, но если дело касалось четвертькровки или, более того, полукровки, тогда — по указанию Гейдриха — об этом нужно было доложить высшему руководству, вплоть до рейхсфюрера. Как правило, Гиммлер запрещал привлечение таких к работе. Только один раз ему пришлось уступить Канарису, когда абвер наладил в Испании контакт с одним из членов финансового клана Марча. Сам старик Марч дал Франко огромные деньги на приобретение новейшего оружия, поставив единственное условие: после победы фалангистов великий каудильо испанской нации не разрешит погромов

...Ликсдорф полагал, что штаб-квартира СС ответит ему отказом; так бы, впрочем, и случилось, не знай Шелленберг — тогда еще только начинавший свою карьеру под Гейдрихом, могучим шефом главного управления имперской безопасности, — что Фаина Шор делается по-настоящему опасной для рейха из-за того, что ее связи с Москвой, Парижем, Стокгольмом и Берном день ото

дня наносят все больший ущерб рейху. Он сумел доказать Гейдриху важность операции, которая позволила бы заманить Фаину Шор в рейх, отдать ее под суд и казнить, чтобы другим эмигрантам было неповадно мутить воду — уехали, ну и сидите себе тихо, как мыши!

Ликсдорф сначала провел арест жены Рубенау, немки Евы Шульц, и двух его детей — Евы и Пауля, десяти и семи лет от роду; узников доставили в мюнхенскую тюрьму; туда же привезли Рубенау.

Ликсдорф вызвал его в следственную камеру и сказал:

— Подойди к окну и погляди в зону для прогулок.

Тот увидел двор, разделенный на каменные мешки-секторы, обнесенные к тому же колючей проволокой, в одном из секторов гуляли его дети, одетые в огромные, не по росту бушлаты, в другом — жена.

Рубенау почувствовал звонкое, гудящее головокружение и упал.

Когда фельдшер привел его в чувство, Ликсдорф сказал:

— Хочешь, чтобы они были освобождены?

Рубенау заплакал.

— Ну? Я не слышу ответа, мразь! — крикнул Ликсдорф.

Рубенау кивнул.

— Ты готов во имя этого на все?

Рубенау молчал, продолжая, беззвучно сотрясаясь, плакать.

Ликсдорф подошел к нему, оперся на плечо, заглянул в глаза, нагнулся и еще тише сказал:

— Я не слышу ответа. Ты должен сказать «да», и тогда мы продолжим разговор. Если же ты смолчишь, то судьба твоих детишек будет решена сейчас же, на твоих глазах.

Страшная машина гестапо работала по простому принципу: даже на краю гибели человек надеется на благополучный исход. Гейдрих как-то заметил приближенным: «Я советую каждому из вас зайти в те отделения наших клиник, где лежат раковые больные. Понаблюдайте любопытный процесс «отталкивания», когда больной не хочет, а скорее, уже не может объективно оценивать свое состояние... Арестованный нами человек — тот же раковый больной. Чем больнее вы ему сделаете, чем скорее вы сломите его, тем податливее он станет; он будет жить иллюзией освобождения, только умело намекните ему об этом».

— Я готов, — прошептал тогда Рубенау, — но сначала вы отпустите несчастных детей и жену.

— Я отпущу их в тот день и час, когда ты выполнишь то, что я тебе поручу.

— Я выполню все, я умею все, но вы обманете меня, поэтому я стану делать, что вам надо, только после того, как они будут освобождены. А если нет — что ж, убейте меня.

— Зачем же тебя убивать? — удивился Ликсдорф. — Мы их при тебе забьем до смерти, ты же знаешь, мы слов на ветер не бросаем.

И Рубенау согласился.

С Фаиной начали игру после того, как Рубенау был взят из Дахау, помещен в госпиталь, подготовлен к работе и затем переправлен в Прагу. Фаина Шор установила через него «контакт» с мужем. Контакт, как сказал ей Рубенау, шел по надежной цепи. Женщина согласилась на встречу с представителями «подполья», которые занимались побегами политзаключенных. Встречу назначили на границе. Два спутника Фаины Шор были убиты, она сама схвачена, привезена в Берлин и гильотинирована вместе с мужем.

Участники этой комбинации были отмечены благодарностями рейхсфюрера СС, однако в суматохе Ликсдорфа забыли; он неосторожно написал письмо Гейдриху: «Работа с полукровками не только возможна, — судя по результату поездки Рубенау в Прагу, — но и необходима, мой опыт следует внедрить в другие лагеря». Гейдрих был в ярости: «Этот идиот разложен большевизмом! Он хочет частный случай возвести в принцип! Он открыто замахивается на основной постулат, гласящий, что национальность — суть главное, что определяет человека! Нет, работа с полукровками невозможна, а он, Ликсдорф, отравлен тлетворным ядом классового сознания, которое было, есть и будет главным врагом нашего учения, базирующегося на примате национальной идеи!»

Ликсдорф был изгнан из рядов СС; после двух месяцев тяжких объяснений его кое-как пристроили в пожарную охрану Бремена. Он запил. Во время приступа белой горячки повесился в туалете пивной, находившейся по соседству с командой, прикрепив на груди листок с буквами, написанными кровью, которую он предварительно пустил из вены: «Я — жертва проклятых евреев во главе с Гитлером! Отплатите ему за жизнь погубленного арийца!»

Эйхман за Рубенау следил. Жену и детей распорядил-

ся на время освободить из тюрьмы, разрешив им проживание в гетто; раз в месяц Рубенау вызывали на «допрос» и вывозили в город, где он, из окна машины, мог видеть семью.

За это он еще два раза принимал участие в операциях гестапо. Последний раз Эйхман брал его с собою в Будапешт, где вел переговоры о том, чтобы передать вермахту за каждого освобожденного из концлагеря еврея по грузовику с двадцатью канистрами бензина в придачу. Эти машины Эйхман гнал в распоряжение рейхсляйтера Альфреда Розенберга, который перевозил из Германии в горы возле Линца, в шахту Аусзее, сокровища культуры, вывезенные из музеев России, Италии, Польши и Франции.

Эйхману было поручено отдать Рубенау в распоряжение Штирлица...

— Здравствуйте, Рубенау, — сказал Штирлиц, предложив собеседнику сесть на табурет, укрепленный посредине камеры. Он понимал, что его беседа будет записана от первого до последнего слова, за себя он не тревожился, ему надо было понять того, кто сидел напротив, а поняв, либо о б н а ж и т ь его позитивные качества для тех, кто будет прослушивать разговор, либо, наоборот, отвергнуть этого сломанного человека, ставшего агентом у тех, кто люто его ненавидел и презирал.—Моя фамилия Бользен, и я отношусь к числу немногих, кто намерен помочь вам по-настоящему. Однако сначала вы должны ответить — причем в ваших же интересах совершенно откровенно — на ряд моих вопросов. Вы готовы к этому?

— Неважно, готов я или нет, меня к этому приучили, моя семья — ваши заложники, поэтому я могу отвечать только откровенно и никак иначе.

— Допустим. Итак, первое: кого вы ненавидите больше нас, больше моей организации, больше национал-социалистской рабочей партии Германии?

Лицо Рубенау странно дрогнуло, брови полезли на лоб, сделав его маленьким и морщинистым, как печеное яблоко, руки беспокойно задвигались на взбухших коленках.

— Вы очень странно поставили вопрос, господин Бользен...

— Рубенау, вы меня, видимо, плохо слышали. Я за-

дал вам вполне однозначный вопрос, извольте отвечать мне так же однозначно...

— Больше всего я ненавижу тех безответственных демагогов, которые привели Германию к кризису...

— К нынешнему?

— Что вы, что вы! Я имею в виду кризис тридцатого года!

— К кризису тридцатого года — судя по нашим газетным публикациям — Германию привели большевики, Интернационал, евреи и американский финансовый капитал. Могу я расценить ваш ответ таким образом?

— Да, именно таким образом я и хотел ответить.

— Нет, ваш ответ я вправе толковать совершенно иначе: не будь в Германии левых и евреев или, наоборот, будь они умнее, сплоченнее и сильнее, мы бы не пришли к власти и вам бы не пришлось пережить столько, сколько вы пережили...

— О нет, господин Бользен, вы слишком своевольно трак...

— Вы лжете мне! Вы ненавидите нас так, как обязан ненавидеть своего мучителя несчастный мучимый. Если вы возразите мне, я прекращу собеседование, верну вас в камеру и судьбой вашей семьи придется заниматься кому-то другому, но никак не мне. Ну?

— В первые годы моего заточения действительно меня порою посещала ненависть к тем, кто не захотел объективно разо...

— Послушайте, Рубенау, я сейчас стану вам говорить то, что вы думаете, а вы лишь кивайте мне, если согласны, или же, в случае несогласия, мотайте головою слева направо... Впрочем, если вам удобнее, можете мотать справо налево... Итак, думаете вы сейчас следующее: «Ты, нацистский ублюдок и садист, недолго тебе осталось мучить меня и мою семью, будьте вы прокляты, вся ваша банда! Будь проклят тот день, когда вы сломали меня на детях и жене, заточенных вами в тюрьму, вы же звери, вы готовы на все во имя вашей бредовой идеи! Но ничего, собаки, ничего, отольются вам мои слезы, не думайте, что я ничего не сказал людям в Праге и Роттердаме, куда вы отправляли меня! Я предупредил о вашем плане Фаину Шор, поэтому-то она и пришла на свидание в сопровождении двух своих вооруженных друзей, только ваших головорезов было больше и они были обучены, как надо хватать в лесу на границе этих наивных подпольщиков... Ничего, собаки, ничего, в Роттердаме я тоже предупредил моих собеседников об опасности, я делал

это аккуратно, я умнее вас, я знал, что ваше кошмарное правление так или иначе кончится крахом, я думал впрок, а вы — ослепленные своим расовым идиотизмом— не хотели думать даже на год вперед... И когда меня вывозил с собою Эйхман в Будапешт, я успел шепнуть пару слов кому надо, меня простят, а вот никому из вас прощения не будет!»

Рубенау смотрел на Штирлица с ужасом, капельки пота выступили на лбу и на пергаментных висках, пальцы сжались в бессильные кулаки, костяшки были синие, г о л о д н ы е...

— Так справо налево? — подтолкнул его вопросом Штирлиц. — Или слева направо?

— За что вы снова начинаете меня мучить? Ну за что?!

— Мучили Фаину Шор. Ее насиловали на глазах Абрама Шора, ее мужа, который кормил вас, делясь своим брюквенным супом. Ее мучили, вводя на ее глазах иглы под ногти Абраму. Но ни он, ни она не назвали вашего имени... Впрочем, это лирика, не имеющая отношения к моей работе и к вашему будущему. Когда я только что прочитал ваши тайные мысли про то, что вас могут понять и в конечном счете как жертву простить, я подводил к тому, что простить нас должны двоих. И еще некоторых моих друзей, если мы сможем сделать так, чтобы евреи, сидящие в концлагерях, не были уничтожены фанатиками. Более того, им позволят выехать в Швейцарию... Это организую, скажем, я. Или мой друг. Но контакт с людьми в Швейцарии, с вашими финансовыми тузами, обеспечите вы. Как умопостроение? Неплохо, нет?

— А семья? Что будет с моими детьми?

Штирлиц достал из ящика стола паспорт для выезда из рейха, бросил его перед собою на стол:

— Встаньте и пролистайте...

Рубенау опасливо приблизился, ищуще посмотрел на каменное лицо Штирлица, пролистал паспорт, увидел фотографию жены и двух своих детей, внимательно поглядел, есть ли швейцарская виза, убедился, что виза открыта, заплакал и сказал:

— Но в документе нет вашего разрешения на выезд.

— Неужели вы думаете, что мы отпустим их в Швейцарию до тех пор, пока я с вами не вернусь оттуда благополучно?

— Я сделаю то, о чем вы говорите, я это сделаю

легко, мы вернемся, и я снова окажусь в камере, а семья в мюнхенской тюрьме!

— Нет, не окажетесь, поскольку нам предстоит принимать уважаемых господ из Швейцарии здесь, в рейхе, в отеле, и возить их по лагерям, организовывая транспорты для освобожденных, благодаря нашему с вами благородному риску. С первыми посланцами — после того как они окончат переговоры с нами — мы отправим и вашу жену...

— Нет, — резко оборвал Рубенау. — Не ее. Детей...

— Повторяю, с теми посланцами из Швейцарии, которые станут увозить освобожденных, мы отправим вашу жену. Со следующей колонной выедет ваш первый ребенок...

— Вы говорите неправду! В паспорте жены записаны оба ребенка! Как же мы сможем отправить туда Еву? Или Пауля?! У мальчика абсолютный слух, он в семь лет написал концерт, пощадите его, он же будет служить славе Германии... А вы хотите и его, и Евочку... Зачем вы лжете, говоря, что отправите их, если...

Штирлиц откинулся на спинку жесткого деревянного стула:

— Верно мыслите, Рубенау... Молодцом... Это я недодумал. Точнее говоря, недодумали те, кто готовил техническую часть операции... Завтра днем я покажу вам новый паспорт фрау Рубенау-Шульц, на нее одну... И два документа на детей — для каждого свой...

— Хорошо, а когда же уедет второй ребенок? Пусть первым уедет Пауль: если уж суждено выжить, пусть выживет он... Когда это может произойти?

Штирлиц ответил вопросом:

— Вам газет читать не дают? И радио вы, конечно же, не слушаете?

— Нет.

— Я скажу, чтобы вам дали газеты и позволили послушать сводки с фронтов. А пока что напишите на этом листе такого рода текст: «Я, Вальтер Рубенау, согласен с предложением старшего офицера разведки Бользена принять участие в освобождении ряда узников из концлагерей. Обязуюсь помогать Бользену и его руководителям во всех фазах предстоящей гуманной операции, отдавая себе отчет, что мое предательство будет означать немедленную и безусловную смерть моей семьи и мою. Рубенау». И дата.

...После этого Штирлиц вызвал конвой, отправил Рубенау в камеру, позвонил начальнику тюрьмы, поинтере-

совался, сможет ли тот приготовить е г о заключенному сытный обед, дать три сигареты и два куска сахара, позвонил Шольцу и велел доложить группенфюреру, что он, Штирлиц, просил бы его принять, если можно—в ближайшее же время.

ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА

Когда Мюллер до конца уверился в том, что Штирлиц связан с Москвою, он наконец понял, как ему следует поступать, ибо его план работы против Кремля состоял из нескольких фаз, впрямую друг с другом не связанных, но тем не менее подчиненных единому генеральному замыслу.

Поэтому, приняв Штирлица, он сказал:

— Дружище, подите-ка к себе и переоденьтесь. У вас в шкафу есть вечерний костюм, не так ли?

— Ваши люди даже подкладку пороли, смотрели, не держу ли я чего-либо в ватных плечах, — ответил Штирлиц. — Предупредите, чтобы зашивали теми же нитками, я зоркий, группенфюрер, привык замечать мелочи.

— Распустились, — вздохнул Мюллер. — Накажу. Я ведь их лично инструктировал по поводу ниток.

— И что мы станем делать в вечерних костюмах?

— Слушать музыку, — ответил Мюллер. — Рейхсминистр военной экономики доктор Шпеер дал указание, чтобы электростанция снабжала светом зал филармонии; он благоволит музыкальному директору Герхарду фон Вестерману, даже с Геббельсом поссорился: тот приказал всех оркестрантов забрать в «фольксштурм», а Шпеер любит музыку. Сегодня дают концерт этого самого... Боже, вылетело имя... ну, глухой старик...

— Бетховен, — сказал Штирлиц, тяжело посмотрев на Мюллера. — Он умер, когда был почти одного возраста с вами, вы же себя стариком не называете...

— Не обижайтесь, Штирлиц, это сентиментализм, а он мешает нашей работе...

— Вечерний костюм я надену, но без пальто мы в филармонии окочуримся, группенфюрер...

— Откуда знаете?

— Я бываю там два раза в месяц, забыли?

— Не считайте, что я постоянно держу для вас личную охрану, Штирлиц. За вами смотрят только тогда и лишь там, где это целесообразно.

...Мюллер сдал свое пальто в гардероб, где у веша-

лок стояли инвалиды, только-только выписавшиеся из госпиталей; те древние старики в черных униформах с золотыми галунами, к которым так привыкли берлинцы, поумирали от голода и холода; инвалиды работали неумело, роняли номерки, кряхтя и морщась от боли, поднимали их, бормоча под нос ругательства; впрочем, разделось всего человек тридцать, да и те — заметил Штирлиц — пришли на концерт, поддев под пиджаки и фраки меховые курточки.

Мюллер усаживался в кресле обстоятельно. Это его усаживание показалось Штирлицу до того отвратительным, что он с трудом удержался от желания демонстративно отодвинуться.

Мюллер словно бы понял затаенное желание Штирлица и улыбнулся, заметив:

— Выдержка у вас могучая, я бы на вашем месте рявкнул...

Когда начали «Эгмонта», Штирлиц сразу же вспомнил, как в Париже, в сороковом году, в отеле «Фридман» на авеню Ваграм он настроился на московскую радиостанцию «Коминтерн» и поймал передачу из Большого зала консерватории, когда в музыкальной поэме от автора читал Василий Иванович Качалов, а дирижировал Самуил Самосуд.

Штирлиц подумал тогда, что русская режиссерская мысль далеко обогнала немецкую; впрочем, тяга музыкального искусства рейха к хоровым решениям классики, боязнь появления на сцене личности, желание сбить всех в кучку и поставить во главе каждой функционера НСДАП сыграло злую шутку: во время владычества нацистов были построены великолепные автострады, мощные станки, сверхскоростные самолеты, но не было создано ни одной книги, которая бы перешагнула границы тысячелетнего рейха, ни одного фильма, оперы, симфонии, картины, скульптуры, которые бы вызвали интерес мировой общественности; нацизм с его гребенкой, с призывами к следованию традициям (толком никому не ведомым), с его ненавистью к поиску новых форм обрек народ мыслителей и поэтов на духовное нищенствование. Лишь молодой Герберт фон Караян, которому благоволил Гитлер, позволял себе быть оригинальным — его манера дирижирования отличалась от всех. Когда Геббельс заметил, что такого рода аномалии пора положить конец — разлагает других музыкантов, толкает их к грани вседозволенности и самовыражению, — Гитлер возразил:

— Караян в музыке подражает моей манере говорить с нацией. Не мешайте ему быть самим собою, в конце концов, он пропагандирует только великих немцев; насколько мне известно, он не включает в свои концерты ни Чайковского, ни Равеля.

Слушая в Париже, оккупированном гитлеровцами, русского «Эгмонта», Штирлиц испытывал тогда высочайшее чувство гордости — даже в горле першило — от того, что именно его революция сообщила миру такой невидимый в истории человечества полет поиска в искусстве, какой был разве в лучшие годы Эллады и Возрождения.

Он вспомнил Маяковского, Эйзенштейна, Шостаковича, Кончаловского, Шагала, Прокофьева, Яшвили, Есенина, Дзигу Вертова, Родченко, Пастернака, Коровина, Блока, Эль Лисицкого, Таирова, Мейерхольда, Ахматову, он вспоминал фильмы «Броненосец», «Чапаев», «Мать», «Мы из Кронштадта», «Веселые ребята», которые триумфально покатились по миру. Какому искусству выпадала еще столь завидная доля — в течение десяти лет дать такое количество великих имен, которые, в свою очередь, родили своих последователей в мире?!

...Мюллер склонился к Штирлицу, заметив:

— Эгмонт явно тяготеет к большевизму, отказывается от компромисса.

— А разве член НСДАП может идти на компромисс с врагом?

— Я бы немедленно принял предложение палачей, — шепнул Мюллер и странно подмигнул Штирлицу.

Концерт прервали через десять минут: начался налет англичан — гул их «москито» берлинцы узнавали сразу же.

Возвращаясь пешком на Принцальбрехтштрассе, Мюллер долго вышагивал молча, а потом сказал:

— Послушайте, дружище, вы — умный, вы все поняли верно и про мою попытку сблокироваться со всеми теми, кто думает о мирном исходе битвы, и про новые отношения между мною и вашим шефом, но главного вы не знаете. И это бы полбеды... Главного не знаю я, поэтому я и вытащил вас послушать, как на сцене голосят голодные хористки. Работая много лет в том кабинете, который вам теперь хорошо известен, я отучился верить людям, Штирлиц. Я не верю даже себе, понимаете? Нет, нет, это правда, не думайте, я сейчас не играю с вами...

Рубенау, Дагмар, возобновление прерванных переговоров — зачем все это?

— Видимо, для того, чтобы продолжить переговоры.

Мюллер досадливо махнул рукой:

— Переговоры идут постоянно, Штирлиц, они не прерывались ни на минуту... Шелленберг еще в сорок четвертом году летал в Стокгольм и в отеле «Президент» вел беседу с американцем Хьюитом... Он уже устроил встречу экс-президента Швейцарии доктора Музи с Гиммлером. И было это не вчера, не через Рубенау, а пять месяцев назад, накануне нашего удара по англо-американцам в Арденнах, когда те покатились назад. И они договорились. И Гиммлер позволил вывезти из наших концлагерей евреев и десяток знаменитых французов. Понимаете? Договорились. И Шелленберг пришел ко мне — после звонка Гиммлера — и получил у меня право на освобождение двух тысяч пархатых и французиков. Но потом мы ударили, и союзники побежали, и Гиммлер прервал все контакты с Музи, только Шелленберг продолжал суетиться — у меня в досье лежат об этом все документы... А после того как в январе Сталин начал наступление под Краковом и спас американцев, поскольку мы должны были перебросить с Запада наши части против Конева, рейхсфюрер снова встретился с Музи — это было в Шварцвальде, возле Фрайбурга, двенадцатого февраля, до того еще, как вы отправились в Швейцарию, — и подписал новый договор... Понимаете? Подписал договор, по которому обязался каждые две недели освобождать тысячу двести евреев и отправлять их в вагоне первого класса в Швейцарию. А еврейские финансисты взамен этого пообещали прекратить антигерманскую пропаганду в тех газетах Америки, которые они контролируют... Ах, если бы Гитлер сговорился с ними три года назад! Если бы... Эти финансисты обязались платить золото Международному Красному Кресту через экс-президента Музи, а тот в свою очередь покупает нам на эти деньги бензин, машины и медикаменты.. И они уже идут в рейх, поэтому стали снова летать наши самолеты, Штирлиц, поэтому мы с вами до сих пор ездим на своих машинах... Более того, Гиммлер заключил пакт с парой банкиров, который дает ему право на защиту, потому что, как выясняется, именно он, рейхсфюрер СС, осуществил спасение евреев, обреченных маньяком Гитлером на уничтожение, пусть за него замолвят словечко... И ведь замолвят, поверьте...

Штирлиц покачал головой:

— Не считайте мир беспамятным...

Мюллер горестно усмехнулся:

— Памяти нет, Штирлиц. Запомните это. Дайте мне право редактировать «Фёлькишер беобахтер» и «Дас шварце кор», а также составлять программы радиопередач, и я в течение месяца докажу немцам, что политика антисемитизма, проводившаяся ранее, была вопиющим нарушением указов великого фюрера — он никогда не звал к погромам, это все пропаганда врагов, он хотел лишь одного: уберечь несчастных евреев от гнева их конкурентов. Память... Забудьте это слово... Злопамятство— да, но это качество к понятию «память» никакого отношения не имеет, лишь к томной жажде мести... Так вот, этот договор Гиммлера мы все-таки смогли поломать... То есть что значит «мы»? Кальтенбруннер, не я, по мне пусть еврей станет канцлером, все проиграно, будь что будет... Кальтенбруннер, мне сдается, имеет свои источники информации по поводу того, что происходит на Западе и в окружении Гиммлера... Словом, я сделал так, что была перехвачена французская шифровка в Мадрид о переговорах Музи с Гиммлером, и Кальтенбруннер, естественно, сразу же доложил ее фюреру. А тот отдал приказ: «Каждый, кто помогает еврею, сидящему в лагере, подлежит расстрелу без суда и следствия».

— А если б речь шла о польских, французских или югославских узниках?

— Штирлиц, надо ставить вопрос так, как он сформулирован у вас в голове: «Что было бы, если б речь зашла о русских заключенных?» Вы ведь это хотели спросить? Ответ вам известен заранее, не прикидывайтесь, вы прожженный.

— Как раз эта игра выходит именно у прожженных, — заметил Штирлиц.

Мюллер остановился, достал платок, высморкался и лишь потом рассмеялся.

— После налетов, — сказал он, все еще улыбаясь, — особенно весной, в Берлине пахнет осенним Парижем. Только там жарят каштаны, а у нас человечину... Но двинемся в нашем рассуждении дальше, я заинтересован в том, чтобы послушать ваше мнение обо всем происходящем, Штирлиц... Дело в том, что Шелленберг склонил к сотрудничеству обергруппенфюрера Бергера, начальника нашего управления концлагерей, и тот обязался не выполнять приказ Гитлера об эвакуации, то есть, говоря прямо, о тотальном уничтожении всех узников. И Музи знает об этом от Шелленберга. Но он не просто знает об

этом: он выполнил просьбу вашего шефа, и посетил Эйзенхауэра, и передал ему карту, на которую нанесено расположение всех наших лагерей... Наносил их туда Шелленберг... Лично... И он же — видимо получив от американцев индульгенцию — пытается сейчас освободить из лагеря французского министра Эррио, его коллегу Рейно и членов семьи генерала Жиро... Кальтенбруннер запретил мне выпускать их, и я сказал об этом вашему шефу, и он сейчас обламывает Гиммлера, который боится принять решение — он раздавлен своим страхом перед фюрером... Вот так-то, Штирлиц... И со Швецией все катится как по маслу... У меня уже два месяца лежит перехваченный текст телеграммы шведского посла Томсена к Риббентропу о желании графа Бернадота встретиться с Гиммлером, именно с Гиммлером... Я знаю, что Риббентроп присылал к Шелленбергу своего советника доктора Вагнера; тот спрашивал, что все это значит; ваш шеф, естественно, ответил, что ему об этом ничего не известно, хотя именно его люди п о д п о л з л и к Бернадоту и натолкнули его на мысль о встрече с рейхсфюрером... Риббентроп обратился к Гиммлеру, тот ответил, что Бернадот — могучая фигура, но пусть с ним беседует он, Риббентроп, а сам приказал Кальтенбруннеру отправить к фюреру Фегеляйна[1] с просьбой о санкции на контакт со шведом. Гитлер выслушал своего родственника и отмахнулся: «В период тотальной битвы нечего думать о застольной болтовне с членами королевских фамилий»... Но Шелленберг все равно сделал так, что Бернадот, не дожидаясь ответа Риббентропа, прилетел в Берлин. И встретился с Риббентропом, Шелленбергом и... С кем бы вы думали? С Кальтенбруннером. И снова попросил аудиенции у Гиммлера, подчеркивая при этом, что его особо волнует судьба Дании, Норвегии и Голландии. И Шелленберг отвез Бернадота к Гиммлеру в его особняк в Хохенлихен... И они договорились, чтобы все датские и норвежские заключенные были — в нарушение приказа фюрера — собраны в один концлагерь на севере Германии. И за это люди из Швеции стали поставлять бензин нашей армии и СС... Так вот я и спрашиваю: зачем Шелленберг втягивает вас в странную игру, говоря, что он намерен в о с с т а н о в и т ь прерванные контакты?

...Мюллер — до вчерашнего дня, до очередной встре-

[1] Ф е г е л я й н — группенфюрер СС, был женат на сестре Евы Браун, являлся личным представителем Гиммлера при ставке Гитлера.

чи с Шелленбергом — не знал об этих переговорах всей правды; какая-то часть информации поступала ему, понятно, но, готовясь к и г р е со Штирлицем, не открывая карт Шелленбергу, он попросил «милого Вальтера» объяснить ему ситуацию более подробно. Шелленберг, заинтересованный в добрых отношениях с Мюллером, не догадываясь, что у того есть свой, особый план действий, открыл шефу гестапо то, что он считал целесообразным открыть.

При этом Шелленберг не знал того, что было известно Мюллеру о Штирлице; этот козырь папа-Мюллер берег ото всех как зеницу ока, ибо связывал с этим свою коронную операцию, которая окажется для него спасением в будущем; то, что он задумал против России, будет столь громким, об этом так заговорят во всем мире, что автора такого рода комбинации будут опекать самые сильные люди Запада; те умеют ценить мобильный ум, способный на кардинальные акции; Мюллер — способен, такое Гелену не снилось — педант, одно слово.

...Слушая Мюллера, Штирлиц испытывал мучительное желание закурить, пальцы были ледяными; он, однако, заставил себя хмыкнуть:

— Значит, все то, что я делал в Берне, было суетой и ширмой для чего-то очень важного, того, что недоступно моему разуму?

— Моему — тоже, — ответил Мюллер. — Только в Берне вы не суетились, а помогали мне и Борману понять механику приводных ремней. Увы, мы так и не поняли смысла этой механики, хотя один из ремней перерубили...

— А что же бедолага Вольф?

— Они сейчас временно вывели его из игры. Мне сдается, они считают его своим главным резервом; все-таки Вольф контролирует более чем полумиллионную армию в Италии, это чего-то стоит...

— Ну так и зачем Шелленберг втягивает меня в в о с с т а н о в л е н и е того, что и не было разрушено?

— Меня это интересует больше, чем вас, Штирлиц. Чем выше положение человека в тоталитарной структуре, находящейся на грани краха, тем более он озабочен не общим, но личным...

— Хотите, я спрошу обо всем этом Шелленберга?

— Он вас пристрелит. Сразу же. Нет, так нельзя... Думайте. У вас есть ночь на раздумье. А потом приходите ко мне, и попробуем обсудить это дело сообща еще раз.

...Через три часа Мюллер прочитал расшифрованную телеграмму Штирлица в Центр о том, что он ему только что рассказывал.

«Оп! — улыбнулся Мюллер. — Пусть Сталин думает; пусть он думает о тех, кто здесь, в Берлине, стоит сейчас в оппозиции Гиммлеру; пусть он думает об американцах; о том, что Гиммлер вот-вот сговорится с Даллесом; пусть выбирает, он теперь может выбирать: я себя предложил ему, Борман — тем более, в то время как в Америке все более консолидируются те силы, которые стоят в оппозиции Рузвельту».

ЛИДЕР И ТЕ, КТО ЕГО ОКРУЖАЕТ

Как и всякий выдающийся политик эпохи, президент США Франклин Делано Рузвельт верил своему штабу, полагая, что малейшая тень неискренности, возникшая среди тех, кто готовит и формулирует политические решения, нанесет труднопоправимый ущерб делу страны.

Поэтому, получив новое послание русского премьера — сухое и резкое — по поводу контактов англо-американских секретных служб в Швейцарии с людьми обергруппенфюрера Вольфа, президент долго раздумывал, к кому из самых близких людей следует обратиться с довольно деликатной просьбой: выяснить и в государственном департаменте, и в Пентагоне, и в управлении стратегических служб Донована, чем по-настоящему объяснима столь открытая тревога и раздраженность русского руководителя, не заметить которую в его посланиях просто-напросто невозможно.

Президент понимал, что ныне далеко не все люди в Вашингтоне разделяли его точку зрения на роль России в послевоенном мире.

Он знал, как сильны в стране традиции, как устойчивы стереотипы представлений среди тех, кто воспитывался в одних и тех же колледжах, посещал одни и те же клубы, читал одни и те же книги, играл в гольф на одних и тех же полях, восхищался тем, что восхищало прессу, и с отвращением относился к тому, что подвергалось прагматичным, не очень-то доказательным, но вполне привычно сформулированным нападкам в «Нью-Йорк таймс», «Балтимор-сан» или «Пост».

В этом смысле, считал Рузвельт, американцы тщились быть еще более традиционными, чем «старшие братья», англичане, которые стояли на том, что мнение, однажды сформулированное теми, кто отвечал за т е н д е н ц и ю,

обязано быть постоянным, неизменным; корректировка возможна сугубо незначительная; престиж великой нации не позволяет резких поворотов — никому, никогда и ни в чем.

Поэтому президент и пытался понять, что же именно в его посланиях Сталину — вполне откровенных, составленных в самых дружелюбных тонах, — могло так раздражать кремлевского диктатора.

Прислушиваясь к советам членов своего штаба, сохраняя с теми, кто составлял его окружение, самые добрые отношения, Рузвельт тем не менее особенно важные решения принимал единоправно (лишь от Гопкинса, Моргентау и Икеса он не таил ничего); он сам переписывал документ, если хоть одно слово казалось ему слишком расплывчатым, недостаточно определенным, излишне резким или, наоборот, чрезмерно мягким; поскольку он зачитывался Кантом, то ему казалось, что причинность обязательно сопрягается с понятием закона; поскольку в причинности сокрыта необходимость бодрствующего мышления, поскольку, наконец, форма восприятия жизни через слова есть выражение необходимости жизни, президент дважды просил своего личного адъютанта вновь принести ему папку с перепиской по вопросу о контактах в Берлине и углублялся в анализ того именно, что определяло ситуацию, то есть в слово, а то, что Сталин, воспитанный в духовной семинарии, относился к слову совсем не просто, было Рузвельту ясно.

Текст своего послания показался президенту — после самого придирчивого чтения — вполне корректным; как опытный стратег политической борьбы, он знал цену тем словам-минам, которые загодя закладываются в речи, произносимые государственными и партийными деятелями.

...Поэтому, внимательно проштудировав текст — с карандашом в руке, придираясь к каждой запятой, — Рузвельт со спокойной уверенностью в своей правоте и союзнической честности отложил послание и, сцепив большие плоские пальцы, признался себе в том, что его постоянно мучают несколько вопросов, на которые он пока что не может, а вероятно, и не хочет дать себе ответ. Во-первых, отчего Сталин не пишет о факте контактов с немцами Черчиллю, если главную скрипку — судя по сообщению Донована — там вели англичане во главе с фельдмаршалом Александером; во-вторых, почему Черчилль ничего не сообщал ему, Рузвельту, об этих переговорах; и, наконец, в-третьих, как объяснить, что до

сих пор нет исчерпывающего анализа этих переговоров, сделанного ОСС — те лишь ограничиваются подборкой отрывочных документов, якобы полученных от англичан в Париже и от тех негласных друзей в здешнем британском посольстве, кто отвечал за вопросы разведки и политического планирования.

И Рузвельт признался себе, что на эти вопросы не отвечать далее никак нельзя, ибо Россия за годы войны не только понесла страшные потери, но и н а р а б о т а л а престиж в мире, ибо оказалась главной силой в противостоянии режиму бесчеловечного гитлеровского тоталитаризма.

...Военные передали ему меморандум, в котором доказывали прагматичную выгоду капитуляции нацистов на тех или иных участках западного фронта; ответственность за то, что русские не были ознакомлены с такого рода возможностями, лежит на дипломатах; президента заверили, что ни один американский военачальник в контактах с нацистами участия не принимал; в свою очередь, государственный департамент, занятый дни и ночи подготовкой конференции Объединенных Наций в Сан-Франциско, представил Белому дому свою памятку, из которой явствовало, что в принципе зондирующие контакты с противником целесообразны, даже если речь идет о таких отвратительных людях, какими являются нацисты типа Карла Вольфа, однако дипломаты утверждали, что такого рода контакты американских представителей в Европе не зафиксированы. «Тем не менее,— было отмечено в памятке, — мы не можем исключать возможность личных инициатив тех или иных ученых и бизнесменов в нейтральных странах, которых заботит ситуация в Европе после окончания битвы; личный зондаж такого рода продиктован не чем иным, как тревогой за американские интересы в Европе...»

Рузвельт у х в а т и л с я за слово «бизнесмены», сразу же вспомнил слухи о скандале с братьями Даллесами, якобы связанными с германской банковской корпорацией Шредера, чьи интересы в США — даже в нацистское время — представляли Джон и Аллен, отменил запланированное приглашение Донована на вечер, попросив его через адъютанта приготовить подробное досье по Бернскому у з л у, «с тем чтобы, — нажал президент, — наш разговор носил конструктивный характер, проблема того стоит; нынешнее положение, при котором начальник разведки знает в с е, а президент — ничего, вряд ли на пользу Америке».

Донован, услыхав такого рода тираду Рузвельта, сразу же договорился со своим давним приятелем директором адвокатской фирмы «Джекобс и братья» Дэвидом Лэнсом, компаньоном братьев Даллесов, поужинать в ресторане Майкла Кирка в семь вечера.

Там Донован и ввел своего друга в курс дела.

— Ну хорошо, — сказал Лэнс, расстилая салфетку на острых коленях, — я понимаю, что ситуация — не из приятных, но черта закона не была нарушена Алленом ни в едином его поступке...

— Пусть бы преступал, — отрезал Донован, — но так, чтобы информация об этом не попала к Рузвельту! Он помешан на кодексе джентльмена, и я не представляю, чем теперь кончится это предприятие для Аллена...

— Оно не может не кончиться наибольшим благоприятствием для Америки, Билл, и вы это прекрасно знаете... Если Рузвельт согласился в Ялте на то, что именно русские должны войти в Берлин и, таким образом, присвоить себе — на много десятилетий вперед — славу главных победителей гитлеризма; если он санкционировал создание коммунистической Польши, кабинет, который будет визировать Сталин; если он пошел на то, чтобы признать Тито первой фигурой Югославии, то кто-то же обязан в этой стране серьезно подумать о нашем будущем?! А после контакта Аллена с Вольфом я сразу получил от Шредера — на этот раз из Стокгольма — заверения в том, что все порты Германии могут быть уже сейчас р а с п и с а н ы за нашими корпорациями... Более того, понимая, что ждет рейх, Шредер добился передислокации всего патентного фонда рейха из Саксонии, куда Рузвельт позволил войти красным, в Мюнхен, а это, Билл, ни мало ни много тридцать миллиардов долларов, да, да, именно так! Мысль стоит дорого — и это справедливо. Значит, все патенты рейха окажутся в нашей стране, и мы вырвемся еще на один порядок вперед по сравнению с миром. Более того, Шредер сообщил места расположения подземных шахт в районе Линда, где складированы полотна великих мастеров из Франции, России, Польши и итальянских галерей: это тоже исчисляется миллиардами долларов...

— Это стоит девятьсот семьдесят три миллиона долларов, — хмуро поправил Донован, — уже подсчитано, мои люди работают в этом районе.

— Да? Поздравляю. А по нашим сведениям, в этом секторе более всего активны англичане и местные элементы, стоящие в оппозиции к законной власти.

— Законной власти в Линце нет, — отрезал Донован, — там нацисты.

— Увы, с точки зрения буквы, а не духа, нацисты — пока что, во всяком случае, — являют собою олицетворение законной власти, Билл, за них голосовали на выборах.

— Вы — так же как и я, — знаете, что́ за выборы были в Германии.

— Да, но с властью, выбранной таким образом, наша страна поддерживала дипломатические отношения, устраивала приемы в Берлине и отправляла телеграммы, в которых поздравляла фюрера с днем рождения.

— Дэйв, — хмуро сказал Донован, — не погружайтесь в трясину логических схем, давайте думать, как мне построить беседу с Рузвельтом. Это трудное дело, и я бы хотел кое-что обкатать на вас, прежде чем пойду к нему...

— Валяйте, обкатывайте...

— Судя по тому, что Москва узнала об операции Даллеса, несмотря на то что она тщательно камуфлировалась именем фельдмаршала Александера, я не гарантирован, что Кремль не получил информацию и о Бернадоте, и о том, что Даллес снова начинает с Монтрё, через экс-президента Музи.

— А вам не кажется, что это будет очень славно?

— То есть?

— Пусть Рузвельт и Сталин ссорятся друг с другом, Билл, пусть! Я бы даже пошел на то, чтобы помочь Сталину узнать как можно больше.

— Это дилетантство, Дэйв. Не мешать — да, но когда в нашем ведомстве помогают, то умный контрагент тут же чувствует и мой интерес, и вашу заинтересованность... Меня по-настоящему беспокоит лишь одно: а что, если Рузвельт узнает о ваших сегодняшних контактах со Шредером? Он ослепнет от ярости: Шредер как Шредер, Бог с ним, но ведь если ему выложат на стол данные, что именно Шредер был председателем кружка «друзей Гиммлера» с тридцать третьего года, а Даллес с ним и сейчас по-прежнему дружит...

— Это будет плохо, — согласился Лэнс. — От этого надо отмываться... Черт принес на нашу голову Рузвельта! Все разговоры о том, что у него никуда не годится здоровье, не что иное, как метод для успокоения тех, кто видит, в какую пропасть он тащит эту страну своим заигрыванием со Сталиным...

Донован покачал головой:

— Не надо, Дэйв... Рузвельт достигнет многого своим методом — мягкостью и джентльменством... Мы хотим добиться этого же, но быстрее — своими методами, причем результаты должны достаться людям нашей команды, а не его... А здоровье президента действительно сейчас хорошо, как никогда...

— Информация надежна?

— Вполне. Я попросил кое-кого из моих приятелей побеседовать с его лечащими врачами.

Лэнс сделал глоток воды, пожал плечами, лицо его вмиг постарело:

— Билл, каждое решение есть выражение судьбы. Судьба — это слово для выявления внутренней достоверности. В этом связь будущего с жизнью, а необходимости — со смертью...

Донован откинулся на спинку кресла, сказал тихо:

— Вы сошли с ума! — Он попросил официанта принести сигару, долго обрезал конец, пыхтяще раздраженно закурил, повторив при этом: — Вы сошли с ума, Дэйв... Я хочу понять, как надежнее выстроить защиту для Аллена, всего лишь... Его откомандирование из Европы лишит нас многого, это просто-напросто невозможно...

— Если Рузвельт узнает про сегодняшние контакты со Шредером, вы понимаете, что Аллена нам не удержать. И очень советую подумать вот еще о чем: не пришла ли пора позволить Дяде Джо узнать кое-что про то, что делают в Лос-Аламосе[1] подопечные Гровса?

Донован тяжело хмыкнул:

— А что?! Идея хороша, маневр отвлечения первоклассен! По-моему, ваши партнеры в Португалии имеют надежные выходы на внешнеторговые организации красных, туда можно подать утечку информации на Москву... Это будет вопрос Гровса и Гувера, а не наш. Я не думаю, что Сталина будет особенно интересовать дата предстоящего взрыва нашей штуки, но он прежде всего задумается о том, отчего мы от него так рьяно скрывали работу над оружием, которым можно сломать любую страну... Браво, Дэйв, идея отменна!

...Тем не менее, прощаясь, Лэнс повторил:

— Мне лестно, что отвлекающий маневр с Гровсом показался вам любопытным, Билл, но все равно это — пал-

---

[1] Лос-Аламос — секретный полигон, где готовился взрыв американской атомной бомбы.

лиатив; решать надо — так во всяком случае привык поступать я — раз и навсегда, впрок, кардинально!

С этим они и расстались.

То, о чем трижды говорил Лэнс, начальник американской разведки запретил себе повторять и даже думать об этом; тактику беседы с президентом «дикий Билл» выстроил точно: да, контакты с Вольфом в Берне имели место; да, это поиск альтернатив — после того как Канарис оказался в концентрационном лагере, фельдмаршал Вицлебен вздернут Гитлером на дыбе, а Гердлер то ли повешен, то ли упрятан в подземную тюрьму, это необходимость, ибо следует безошибочно знать тех, кто противостоит идеологии большевизма, особенно в последние дни перед крушением гитлеровского рейха.

Схема беседы была точной, отмечена печатью достоинства — этого Рузвельт требовал от всех своих сотрудников: «Прежде всего — достоинство, которое включает в себя такие понятия, как соответствие поступков нашей идее, юмор, доброта и устремленность». Ну а Шредер? А что, если он начнет копать на Шредера? Тогда неминуемо станет известно и то, что он, Донован, покрывал Даллеса, когда тот спасал активы нациста Шредера в банках мира, прекрасно зная все об этом страшном человеке, одном из самых страшных, с каким когда-либо сводила жизнь кого-либо из американцев.

...А Рузвельт, получив назавтра короткую памятку Донована, попросил его отправить шифровку Даллесу с приказанием прервать все переговоры с немцами — отныне и навсегда; при этом президент передал начальнику ОСС копию своего послания русскому премьеру, предупредив через адъютанта, что, «отправляя письмо Сталину, составленное на основании документов ОСС, всю ответственность он берет на себя, но моральное бремя неудобства — если оно возникнет — он, президент, поделит с ним, Донованом...»

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА

Посол Гарриман сообщил мне о письме, которое он получил от г-на Молотова, относительно производимой фельдмаршалом Александером

проверки сообщения о возможности капитуляции части или всей германской армии, находящейся в Италии. В этом письме г-н Молотов требует, чтобы ввиду неучастия в этом деле советских офицеров эта проверка, которая должна быть проведена в Швейцарии, была немедленно прекращена.

Я уверен, что в результате недоразумения факты, относящиеся к этому делу, не были изложены Вам правильно. Факты таковы.

Несколько дней тому назад в Швейцарии были получены неподтвержденные сведения о том, что некоторые германские офицеры рассматривали возможность осуществления капитуляции германских войск, противостоящих британо-американским войскам в Италии, находящимся под командованием фельдмаршала Александера.

По получении этих сведений в Вашингтоне фельдмаршалу Александеру было дано указание командировать в Швейцарию одного или нескольких офицеров из его штаба для проверки точности донесения, и если оно окажется в достаточной степени обещающим, то договориться с любыми компетентными германскими офицерами об организации совещания с фельдмаршалом Александером в его ставке в Италии в целях обсуждения деталей капитуляции. Если бы можно было договориться о таком совещании, то присутствие советских представителей, конечно, приветствовалось бы.

Информация относительно проверки этого сообщения, которая должна была быть проведена в Швейцарии, была немедленно доведена до сведения Советского Правительства. Затем Вашему Правительству было сообщено, что будет дано согласие на присутствие советских офицеров на совещаниях с германскими офицерами у фельдмаршала Александера, если будет достигнута окончательная договоренность в Берне о подобном совещании в Казерте в целях обсуждения деталей капитуляции.

До настоящего времени попытки наших представителей организовать встречу с германскими офицерами не увенчались успехом, но попрежнему представляется вероятным, что такая встреча возможна.

Мое Правительство, как Вы, конечно, поймете, должно оказывать всяческое содействие всем офицерам действующей армии, командующим вооруженными силами союзников, которые полагают, что имеется возможность заставить капитулировать войска противника в их районе. Я поступил бы совершенно неразумно, если бы занял какую-либо другую позицию или допустил какое-либо промедление, в результате чего американские вооруженные силы понесли бы излишние потери, которых можно было бы избежать. Как военный человек, Вы поймете, что необходимо действовать, чтобы не упустить возможности. Так же обстояло бы дело в случае, если бы к Вашему генералу под Кенигсбергом или Данцигом противник обратился с белым флагом.

Такая капитуляция вооруженных сил противника не нарушает нашего согласованного принципа безоговорочной капитуляции и не содержит в себе никаких политических моментов.

Я буду очень рад при любом обсуждении деталей капитуляции командующим нашими американскими войсками на поле боя воспользоваться опытом и советом любого из Ваших офицеров, которые могут присутствовать, но я не могу согласиться с тем, чтобы прекратить изучение возможности капитуляции ввиду возражений, высказанных г-ном Молотовым по совершенно непонятным для меня причинам.

Считают, что возможность, о которой сообщалось, не даст многого, но в целях избежания недоразумения между нашими офицерами я надеюсь, что Вы разъясните соответствующим советским должностным лицам желательность и необходимость того, чтобы мы предпринимали быстрые и эффективные действия без какого-либо промедления в целях осуществления капитуляции любых вражеских сил, противостоящих американским войскам на поле боя.

Я уверен, что Вы так же отнесетесь к этому вопросу и предпримите такие же действия, когда на советском фронте представится такая же возможность.

Ф. Д. Рузвельт

И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ КАНАЛОМ ДЕЗИНФОРМАЦИИ НАДО УМЕТЬ ДОРОЖИТЬ...

Мюллер сокрушенно покачал головой, когда Штирлиц вошел к нему, потом недоумевающе, холодно усмехнулся:

— Ну и чего вы добились, в который уже раз облапошив бедного Ганса? Сколько ночей вы не ночуете дома? Три? Пять? И что? Нашли клад в миллион марок? Получили венесуэльский паспорт, с которым вас пустят в любую страну мира, без пограничной проверки?

Штирлиц вздохнул, полез за сигаретами:

— У меня есть предложение, группенфюрер...

— Валяйте...

Снова, в третий уже раз, тонко и ужасно заныли сирены воздушной тревоги.

Мюллер спросил:

— Пойдем в подвал?

— Как вы? Я на это не реагирую.

— Только дураки лишены страха, а вы не дурак.

— Фаталист... А это одно и то же...

— Значит, остаемся. Ну, так каково же ваше предложение?

— Посадите меня в ту камеру, где я уже сидел, там будет моя квартира. С утра я стану выходить на работу, а вечером возвращаться за решетку. Только проведите это решением по вашему ведомству, чтобы после ареста красными или американцами мне это зачлось.

— Рассчитываете дожить? — спросил Мюллер. — Ну-ну...

...Несколько раз Мюллер останавливал себя, когда с языка был готов сорваться вопрос: чего следует ждать, если он, Мюллер, станет помогать Штирлицу в его работе на русскую секретную службу? Ему было нелегко удержать себя от этого, потому что внутри постоянно ворочалось ощущение упущенного времени; он чувствовал, как оно сыпалось, словно в песочных часах; если бы Гёте ощущал их, понял их неотвратимую жестокость, никогда бы не написал свою фразу: «Остановись, мгновенье!» Она ведь воистину страшна, ибо рождает иллюзию возможного, а время остановить нельзя, это кажущееся возможное, а нет ничего ужаснее кажущегося. Мюллер хотел было тщательно изучить личное дело Штирлица, чтобы понять, когда случился его первый контакт с русскими, на чем, на каком эпизоде они взяли его, но оказалось, что те города, где тот начинал свою работу, оккупированы американцами; партийные доку-

менты штандартенфюрера хранились в ведомстве партайгеноссе Боле, отвечавшего за заграничные организации НСДАП, ибо Штирлиц примкнул к движению в Америке; перебирать бумажки здесь, в архиве на Принцальбрехтштрассе, нет смысла, мало что дадут: «выдержан, ариец, отмечен...» — шелуха, а не данные...

Мюллер отдавал себе отчет в том, что, задай он вопрос Штирлицу о его связях с русскими, потребуй гарантий от Москвы взамен на работу в их пользу, ответ из их Центра придет отрицательный... Наверняка отрицательный; может быть, гарантируют жизнь, но разве существование в тюремной камере до конца дней своих — это жизнь? Нет, гарантия нормальной жизни заключена лишь в политическом решении вопроса: Гиммлер и Шелленберг ведут переговоры с Западом; если им удастся заключить сепаратный мир, то он, Мюллер, обеспечен местом под солнцем или же возможностью спокойно уйти к нейтралам; доверенность на счета СС в банках у него есть не на одно имя, а на девять; семь паспортов постоянно лежат в сейфе. В случае неудачи Гиммлера, в операцию «Жизнь» входит Борман: он обращается к Сталину, подтверждая это силой ста отборных дивизий, сконцентрированных на берлинском направлении; если их развернуть на запад, то — вместе с русскими, а можно и без них — они ударят англо-американцев, те слетят в океан через пару-тройку недель. Борману трудно: он должен сделать так, чтобы фюрер остался в Берлине, а не передислоцировался в Альпийский редут, во-первых; ему надо сделать так, чтобы фюрер передал власть ему, Борману, а не Герингу, как это утверждено решением партии в сорок первом году; ему надлежит в самые ближайшие дни свалить начальника генерального штаба Гудериана и вместо него привести к власти генерала Кребса, знакомого русским. А он, Мюллер, должен вести круговую оборону, чтобы эта з а д у м к а осуществилась. Поэтому он обязан подготовить Борману — не далее как к послезавтрашнему дню — компрометирующие материалы на Гудериана и Гелена — «пессимисты», «лишены веры в великий дух нации, преданной до последней капли крови фюреру»; поэтому он не имеет права задать Штирлицу тот вопрос, который вот-вот готов был слететь с языка о гарантиях его, Мюллера, неприкосновенности, в случае если он начнет оказывать услуги Москве; поэтому он обязан играть с к а н а л о м по имени Штирлиц, превратив его в надежный элемент битвы за с е б я; пугая — через него — Москву, застав-

ляя русских — путем этой игры — думать о том, что не сегодня завтра будет подписан сепаратный мир с Западом и тогда еще семьдесят дивизий откатятся на восток, и примут сражение под Берлином, и выиграют его, и это может оказаться таким шоком для красных, измученных четырьмя годами войны, что последствия трудно предугадать. Интересную идею подбросил Шелленберг: его о с т а т к и сообщили из Лондона, что между Кремлем и Западом возникли серьезные трения по поводу Польши; у него, Мюллера, есть агент, внедренный в окружение польского правительства в Лондоне, связь постоянна, осуществляется через человека из испанского консульства, к у п л е н н о г о людьми гестапо за пять картин Веласкеса, вывезенных из Гааги и Харькова; информация для агента ушла позавчера, значит, сегодня или завтра следует ждать нажима лондонских поляков на окружение Черчилля.

Да, он, Мюллер, не имеет права задавать Штирлицу ни одного вопроса, который по-настоящему насторожит штандартенфюрера — особенно сейчас, когда можно читать все его телеграммы; дай-то Бог, чтобы сообщения из его Центра шифровались тем же кодом, каким работает и он, но в конечном счете, зная его тексты, значительно легче работать по расшифровке указаний и запросов Москвы; и совершенно неважно, кто его ведет — ЧК или разведка Красной Армии.

Он, Штирлиц, — бесценный объект игры, им надо дорожить. Один неверный шаг — и будет нанесен непоправимый удар по его, Мюллера, ж и з н и.

— Ну, рассказывайте, зачем вам надо было обманывать моего наивного, доброго Ганса? Чего вы добились, усыпив его нервическую бдительность?

— Я не умею жить, когда на меня смотрят в глазок, группенфюрер... Я начинаю говорить не то, что думаю, делаю глупости. Если бы, начав работу с Дагмар Фрайтаг, я знал, что ваш Ганс сидит, скукожившись, в машине, я бы ничего не смог...

— Пригласили бы и его к ней... Что, там нет второй комнаты?

Штирлиц засмеялся:

— Тогда бы я не смог работать...

— Что она из себя представляет?

— Вы никогда не видели ее?

— На фотографии она очень мила, — ответил полуправдой Мюллер, и Штирлиц сразу же отметил, как ловко и точно он ответил.

— В жизни — лучше, — сказал Штирлиц, просчитав, что ему не следует добиваться от Мюллера однозначных ответов — знает ли он женщину или нет; она описала ему Мюллера, а он сказал ему, что начал с нею работу, значит, вполне мог добиться от нее признания в том, кто ее напутствовал на дело в Швеции; порою надо бежать правды, ибо лишнее подтверждение знания лишь помешает делу.

— Когда вы ее перебрасываете?

— Хоть завтра.

— В интересах мобильности операции снабдите ее деньгами... Я знаю из ее дела, что она водит машину... Пусть купит в Швеции автомобиль и ездит к вам на встречу в Копенгаген или Фленсбург. Лучше бы во Фленсбург, оттуда есть прямая связь с моим кабинетом, в датчан я не верю, там сейчас вовсю развернулись англичане, а они в технике — доки, поставят еще где-нибудь свою звукозапись... Если б докладывали Черчиллю, а то ведь по субординации: от капрала к лейтенанту, а каждый лейтенант мечтает стать капитаном, потащит информацию не к тому майору, к кому нужно, — и насмарку наша задумка.

Мюллер ждал, что Штирлиц возразит, и ему было что возразить: женщине трудно гонять шестьсот километров по сложной дороге от парома до Стокгольма; он, Штирлиц, мастерский водитель, он сжился с машиной, он может за сутки управиться туда и обратно; однако же Штирлиц возражать не стал, даже наоборот.

— Я очень боялся, — сказал он, — что вы заставите меня таскаться по Швеции два раза в неделю, силы на исходе...

— А вы говорите, я не ценю вас... Я ценю вас очень, пусть ездит шведская немка или, точнее, немецкая шведка, одно удовольствие покататься по стране, где вдоль трассы открыты ресторанчики, дают хорошее мясо и не надо брякаться в кювет при налетах русских штурмовиков... Но в Швейцарию с этим вашим евреем придется пару раз съездить, я не могу поручить с ним связь никому другому — ни я, ни Шелленберг, вы понимаете... Не возражайте, туда ездить значительно ближе, назначьте ему встречи в Базеле... Ну а что вы мне скажете по поводу того, о чем мы беседовали после филармонии?

— Мне кажется, — ответил Штирлиц, — что ответить на те вопросы, которых вы коснулись, невозможно.

— Почему?

— Потому что Шелленберг с вами неискренен. Он ведет свою партию, вы не посвящены во все тонкости, он любимчик Гиммлера, он может себе позволить обходить вас. Но мне сдается, что, выполняя его поручение, мы тем не менее имеем шанс приблизиться к разгадке его тайны. Видимо, он использует меня как подсадную утку, он позволяет целиться в меня как стрелкам из ОСС, так и охотникам НКВД... Мне кажется, если Дагмар и Рубенау станут моими друзьями и начнут работать по первому классу, многое прояснится... Вы были правы, мой вопрос Шелленбергу обо всем этом бесстыдстве означал бы бессмысленную гибель в его кабинете. А уж если суждено погибнуть, то надо хотя бы знать, во имя чего...

— Во имя жизни, — буркнул Мюллер и повторил: — Так что отрабатывайте обе линии — и эту самую шведку, и Рубенау в Швейцарии. И подключите там своего пастора. Почему-то я очень верю в то, что именно в Швейцарии вы подойдете ближе всего к разгадке этого дела...

«Я был убежден, — подумал Штирлиц, — что он закроет для меня и Швейцарию... Может, я паникую? Если бы он меня подозревал, то ни о какой Швейцарии не могло быть и речи, какая разница, Швеция или Швейцария? Впрочем, из Швеции ближе до дому — через Финляндию, там наши. Ну и что? А из Женевы пять часов езды до Парижа... Фу, я тупею, право! Ведь и в Стокгольме, и в Берне есть советские посольства, в конце концов!»

Мюллер посмотрел на часы, поднялся из-за стола, подошел к аквариуму:

— Рыбки еще более пунктуальны, чем люди. Штирлиц, мне следовало стать ихтиологом, а не полицейским... Если бы у родителей были деньги, чтобы отдать меня в университет, я бы стал ученым... Ну а как вам Рубенау?

— Вы уже прослушали мою с ним работу?

Мюллер бросил корм своим рыбкам, мягко улыбнулся самой шустрой из них — диковинной, пучеглазой — и ответил:

— Нет еще. Мы вчера отправили на Зееловские высоты батальон наших мальчиков, поэтому все службы стали работать минут на пятнадцать медленнее... Наверное, сейчас принесут... Но вы мне сами расскажите, вы работаете прекрасно, я внимательно изучал ваш диалог с русской радисткой, высший класс!

— Вы записываете всех, кто работает с арестованными?

— Что вы... Единицы... Выборочно...

— Среди кого выбираете?

— Среди самых умных, Штирлиц... А что, если этот еврей убежит от вас в Швейцарии?

— Мы держим его жену и детей — он никуда не убежит. Пусть ваши люди запросят на Вильгельмштрассе сертификаты на выезд детей и сделают новый паспорт на его жену...

— Вы хотите их выпустить?

— Я хочу, чтобы он верил мне. Я пообещал отъезд его семьи по частям в зависимости от стадий выполнения им нашей работы.

— А если он придет в Берн к русским, расскажет им свою историю, предложит услуги и попросит помочь с семьей?

— Ну и как они ему помогут? Напишут вам записку? Пришлют ноту рейхсминистру Риббентропу?

Мюллер усмехнулся:

— Вы с ним будете продолжать работу в камере? Или предпочитаете конспиративную квартиру?

— У вас, видимо, сейчас трудно с такого рода квартирами — где к тому же хорошо кормят.

— Не обижайте гестапо-Мюллера, дружище. Даже после того как сюда войдут завоеватели, у меня сохранится по меньшей мере десяток совершенно надежных берлог... А чего это вы стали спрашивать моих указаний? Поступайте сами, как знаете, в змействе я вам не советчик, сами, словно питон, весь из колец составлены...

— Я полагаю, что через три дня смогу вывезти его на границу... Думаю, что в Швейцарию мне сразу нет нужды ехать, пару дней он будет устанавливать контакты, подходить к Музи, проводить зондаж...

— А я считаю, что вам обязательно надо быть с ним первые дни. Поговорите, конечно же, с Шелленбергом, но если хотите мое мнение, то извольте: бросать его нельзя, Эйхман не спускал с него глаз, когда брал с собою в Будапешт.

...Шелленберг пожал плечами:

— Я бы не стал бросать его одного... В первые часы возможна неуправляемая реакция... Он у нас насиделся, придет к американцам или — что самое страшное —

к русским, все станет известно Москве, наша последняя надежда — псу под хвост.

(Мюллер сказал Шелленбергу лишь сотую часть правды; он сказал, что в Швейцарии у Штирлица были странные контакты с неустановленными людьми неарийской национальности; больше он ничего ему не открыл — слишком молод, не уследит за эмоциями, испугается; человек он трусливый, коли в своем кабинете держит стол, в который вмонтированы два пулемета помимо трех фотоаппаратов, звукозаписывающей аппаратуры и специального уловителя на принесенный посетителем динамит. Мюллер играл всеми вокруг себя, Шелленбергом в том числе. Он ни словом, понятно, не обмолвился бригадефюреру, что его главная задача состоит в том, чтобы Москва постоянно была в курсе его, Шелленберга, переговоров с Западом; именно это было основанием той комбинации, которую он проводил сейчас, взяв в д о л ю Бормана. Он понимал, что Борман, наоборот, считает его, Мюллера, у себя в доле. Он допускал, что и Шелленберг убежден, что он, Мюллер, счастлив, оттого что они отныне вместе. «Дурашка. Я ж играю тебя, ты вообще сидишь за моим ломберным столиком в качестве болванчика, которому насовали крапленых карт. Считай, что хочешь, Шелленберг. Пусть. На здоровье. По-настоящему считаются после того, как сработали дело, а не до — так мне говорили клиенты из мира бандитов в Мюнхене, когда я был счастливым и беззаботным инспектором криминальной полиции. Борман поступил благородно, он д а л мне счета в банках, остальные у меня открыты по своим каналам; уходить сейчас пока еще невозможно; ради того чтобы найти изменника — а я им стану, если уйду сейчас, — Гиммлер снимет с фронта дивизию, ему плевать на фронт, лишь бы вернуть меня, поскольку я знаю в с е; да и свои же предадут, переправив все данные обо мне союзникам и нейтралам: «Он сбежал, а мне погибать?!» Зависть правит миром, черная, маленькая, кусачая зависть. Нет, исчезать можно только во время артиллерийской канонады, когда окончательно рухнет то, на чем состоялась эта государственность, — порядок, фанатизм и страх».)

— Кто будет осуществлять связь с Фрайтаг? Мюллер сказал, чтобы я контактировал с нею в Копенгагене... Или Фленсбурге...

— Она готова к отъезду?

— Да.

— Договоритесь, что через пять-шесть дней вы будете

ждать ее во Фленсбурге... Текущую информацию лучше передавать из нашего посольства, у нее залегендирован контакт: обмен между университетами на государственном уровне и все такое прочее... Да и потом, у них сейчас тоже неразбериха: все ждут нашего крушения, весь мир ждет, но многие стали этого бояться, поверьте... Шведы ей не будут мешать... Тем более она едет не к кому-нибудь, а к Бернадоту, и не в русское будет заходить посольство — в германское...

Провожая Штирлица к двери, Шелленберг — как в былые времена — взял его под руку и мягко спросил:

— А если вдруг Мюллер отправит своего человека к русским и предложит им мою голову, шею рейхсфюрера, Кальтенбруннера, вашу, наконец, как думаете, они пойдут с ним на контакт?

— Думаю, что нет, — ответил Штирлиц без паузы, очень ровным, спокойным голосом, словно бы размышляя сам с собою. — Вы им более интересны.

— Я знаю. Но я туда никого не пошлю, я — европеец, а Мюллер из баварской деревни, причем мать, я слыхал, прусачка, он это скрывает, оттого что все прусаки в чем-то немного русские... Значит, думаете, удара в спину с его стороны ждать пока не приходится?

Штирлиц пожал плечами:

— Черт его знает... Думаю, все же — нет... вы просили меня в прошлый раз сказать вам, что я пущу себе пулю в лоб, если кандидат Эйхмана предаст нас в Швейцарии, и что только после этого вы по-настоящему объясните мне суть предстоящего дела... Я готов сказать, что ручаюсь за Рубенау...

— Я хочу попробовать фронтально разложить еврейскую карту, Штирлиц... Я решил поторговать евреями в наших концлагерях, а взамен намерен потребовать на Западе гарантий для нас с вами и мир для немцев. Но чтобы Кальтенбруннер или Борман не начали очередной раунд борьбы против нас, несмотря на перемирие, заключенное мною с Мюллером, я поставлю перед ними и второе, легко выполнимое условие: не только избранные, но все евреи должны быть выкуплены. Стоимость рассчитывается в лошадиных силах моторов и литрах горючего; словом, я даю машины армии, мы помогаем фронту, цель оправдывает средства, камуфляж патриотизмом должен быть значительно более надежен, чем в Берне... Единственно, кого я сейчас боюсь, — это Москву; только Кремль может сломать наше дело, если снова надавит на союзников...

— Думаете, они все-таки надавили?

— Еще как, — ответил Шелленберг. — Сведения не липовые, а самые надежные, из Лондона... Ладно, теперь вы знаете все. Я жду, когда вы — после работы Рубенау — должите мне из Швейцарии: экс-президент Музи готов на встречу со мною и Гиммлером там-то и там-то. Первое. После работы с Фрайтаг вы сообщите: Бернадот готов выехать из Стокгольма в рейх тогда-то и тогда-то. Это второе. Все. Желаю удачи.

— Спасибо за пожелание, но это далеко не все, бригадефюрер. Через кого Рубенау подойдет к экс-президенту Музи? Он что, позвонит ему и скажет, что, мол, добрый вечер, господин экс-президент, здесь Вальтер Рубенау, у меня есть идея освободить евреев из лап кровавых нацистов, только передайте мне за них пару сотен хороших грузовиков с бензином?

Шелленберг рассмеялся весело и заразительно, как в былые дни.

— Слушайте, Штирлиц, вы юморист, вы умеете так грустно шутить, что не остается ничего другого, кроме как от души посмеяться... Спасибо вам, милый, словно принял хорошую углекислую ванну в Карлсбаде... Нет, конечно, Рубенау не должен звонить к Музи, его с ним просто-напросто не соединят; приставка «экс» — пустое, важен смысл — «президент»; у Музи по сю пору государственный статус — швейцарцы чтят тех, кто возглавлял их конфедерацию. К Музи позвонит наш с вами Шлаг и попросит принять представителя подпольного движения, с которым вышли на связь здравомыслящие силы из числа зеленых СС и политической разведки; есть возможность спасти несчастных; Рубенау до этого должен посетить раввина Монтрё и сказать ему, сколько потребуется денег, чтобы спасти людей. Кстати, знаете, кто лучше всего понял Маркса? Не знаете. Бисмарк. Он сказал: «С этим бухгалтером Европа еще наплачется...» Что же касается Дагмар...

Штирлиц перебил; он понял, что Шелленберг где-то в самой своей глубине окончательно сломан, ему сейчас у г о д н о равенство, в нем он обретает хоть какую-то надежду на будущее:

— Дагмар — ваш человек? Или Мюллера?

— Она — ваш человек, Штирлиц. Не надо играть роль правдоискателя. Они все — истерики. Правдолюбцы чаще всего рождаются среди угнетенных народов. Свободные люди не ищут правду, но утверждают самих себя; личность — высшая правда бытия.

— Браво! Отправьте эту тираду фюреру.

— Вы сошли с ума? — деловито осведомился Шелленберг.

— У меня есть рапорт Шлага. — Штирлиц достал из кармана листок бумаги. — Копии я не снимал... Это стенограмма беседы Вольфа с Даллесом... Прочитайте там про себя: «Шелленберг, будучи интеллектуалом, зябко ненавидит фюрера...» Так что же вы скажете мне про Дагмар?

«А КАК ЖЕ Я?! МНЕ ТОЖЕ НУЖНЫ КОНТАКТЫ!»

Кальтенбруннер отправился в концлагерь Флоссбург прямо от Бормана, не заехав даже в главное управление имперской безопасности: дело, порученное ему рейхсляйтером, того стоило.

...Борман, принимавший Кальтенбруннера в бункере, попросил своего адъютанта принести из буфета хороший кофе, сваренный из бразильских зерен, бутылку любимого айнциана, истинно баварской водки из Берхтесгадена, лимоны и миндаль, обжаренный в соли; налил в рюмки пахучее, вишнево-яблочное самогонное зелье, выпил, чокнувшись со своим протеже, и сказал:

— Знаете, что вам предстоит сделать, старина?

— Я не знаю, что мне предстоит сделать, рейхсляйтер, но, если это в моих силах, я сделаю.

Борман улыбнулся:

— В том-то и прелесть задачи, что это не в наших силах... Надо поехать в концлагерь к адмиралу Канарису и сказать ему следующее: «Некоторые изменники СС, потерявшие стыд и совесть, пытаются договориться с вашими британскими друзьями о том, чтобы — п р о д а в им влиятельных узников еврейской национальности — получить гарантию их собственной неприкосновенности. Для этого изменники намерены ослушаться фюрера и не дать верным людям СС уничтожить всех евреев, их тела облить бензином и сжечь, чтобы не осталось следов. Видимо, в чем-то изменники преуспеют и определенную часть евреев смогут вывезти в Швецию и Швейцарию, ибо переговоры в нейтральных странах уже идут. Таким образом, вы, адмирал, в ближайшем будущем вообще никому не будете нужны. Ваша вина доказана, и только благодаря мне, Эрнсту Кальтенбруннеру, — да, да, говорите именно так, — вы до сих пор не повешены на рояльной, тонкой, режущей шею струне. Поэтому я обещаю вам, что этот концентраци-

онный лагерь, где вместе с вами в седьмой камере сидит ваш лидер Гердлер и пишет для меня проект восстановления будущей Германии, будет раздавлен танками зеленых СС после того, как вас казнят, если вы не согласитесь написать мне в с е про ваши опорные пункты в Испании, арабском мире, Англии, Штатах, Латинской Америке — особенно в Латинской Америке. Мы знаем, что у вас там создано по крайней мере девять крупных банковских и нефтяных корпораций, которые имеют тенденцию к тому, чтобы разрастаться вширь и вглубь. Мы хотим получить от вас не только номера банковских счетов и пароли для свободных операций с их деньгами, но, главное, имена тех ваших людей, которые и в будущем смогут продолжать работу — как на вас, так и на меня. Вопрос репутации в деловом мире — вопрос вопросов; вы понимаете, что у меня есть деньги, много денег, но мне нужны бизнесмены с репутацией, которые смогут немедленно реализовать наши капиталы, гарантировать не только их надежное помещение в сейфы банков, но и вполне легальные счета. Либо вы пишете мне имена этих людей и я устраиваю вашу эвакуацию из этого лагеря в другое место — вполне безопасное, — либо я перестану бороться за вашу жизнь». Понимаете задачу, старина? Отдаете себе отчет в том, как он будет юлить и вертеться?

— Это я понимаю, рейхсляйтер... Я понимаю, что вы ставите передо мною задачу практически невыполнимую... Вы считаете, что этот безнадежный разговор тем не менее целесообразен?

Борман выпил еще одну рюмку и ответил:

— Кто из древних утверждал, что «Париж стоит мессы»? Вы юрист, должны помнить...

— Ну, во-первых, это выражение приписывают Генриху Четвертому, но мне сдается, что француз не мог о т л и т ь такого рода фразу, надо искать аналог у древних римлян...

— Вот и поищите. А в конце беседы нажмите ему на мозоль. «Шелленберг, — заключите вы, намекая на то, что вам известно все обо всем, и даже об их разговоре с глазу на глаз, когда красавец вез старого адмирала в тюрьму, и тот, вполне возможно, назвал ему кое-какие имена, почему бы нет?! — уже кое-что открыл мне, откроет все до конца, и вы понимаете, отчего он поступит только так, а никак не иначе, стоит ли вам уходить в небытие, будучи обыгранным своим учеником?» Это все, о чем я полагал нужным сказать вам.

...Кальтенбруннер поднялся навстречу Канарису, широко улыбнулся, протянул руку; тот и щ у щ е, но в то же время недоверчиво заглянул в глаза обергруппенфюрера, руку пожал; начальник главного управления имперской безопасности отметил, как похудел адмирал, сколь пергаментной стала его кожа на висках возле ушей, поинтересовался:

— Прогулки вам по-прежнему не разрешены?

— Увы, — ответил Канарис. — И это, пожалуй, самое горькое наказание изо всех тех, которые выпали на мою голову: без двухчасового моциона я делаюсь совершенно больным человеком...

— Двухчасовую прогулку не позволяют совершать ваши британские друзья, — вздохнул Кальтенбруннер. — Налеты бандитов Черчилля носят характер геноцида, мы боимся, что они разбомбят этот лагерь и всех его обитателей, поэтому вас и держат в бункере, а вот минут на сорок — подышать воздухом в лесу — я готов вас сейчас пригласить. Не откажетесь составить компанию?

Впрочем, перед тем как вывести адмирала в лес, Кальтенбруннер походил с ним по а п п е л ь п л а ц у, взяв его под руку, чтобы узники воочию увидели дружбу нынешнего шефа РСХА с бывшим руководителем армейской разведки Германии.

В лесу пахло прелью; листва была до того нежной, что, казалось, и она большую часть времени проводит под землею, как немцы в бомбоубежищах; почки были в этом году какими-то особенно большими, в з р ы в н ы м и; дубравы казались нереальными, гулкими, пустыми из-за того, что в лесу не было слышно человеческих голосов (раньше здесь всегда играли мальчишки, возвращаясь на хутора из школы); не работал ни один мотор (обычно в это время года тут велись очистительные работы, срезали прошлогодний сушняк); лишь пронзительно и глумливо орали сойки, да еще где-то в кустах пугающе ухал филин.

— К покойнику, — сказал Кальтенбруннер. — Филин — птица несчастья.

— После года в тюрьме эти звуки кажутся мне символами счастья, — откликнулся Канарис. — Ну, расскажите, что на фронтах? Нам же не дают ни газет, ни листовок...

— А как вы сами думаете? Где, по-вашему, стоят англичане с американцами? Где русские?

— Русских мы задержали на Одере, — задумчиво

ответил Канарис, — а западные армии, видимо, идут с юга к Берлину.

— С севера тоже, — ответил Кальтенбруннер. — А русских п о к а задержали на Одере. Не думаю, чтобы это продолжалось долго.

— Вы приехали ко мне с предложением, как я понимаю. В чем оно заключается?

— Мне было бы интересно выслушать ваши соображения, господин Канарис...

Канарис остановился, запрокинув руки за голову, и рассмеялся:

— К висельнику приехал тот, кто должен его казнить, но при этом соблюдается рыцарский политес! Я — «господин», а не арестант номер пятьдесят два! Дорогой Кальтенбруннер, за те минуты, что мы с вами гуляем, я понял: у вас есть о чем меня спросить, выкладывайте карты на стол, попробуем договориться...

Кальтенбруннер закурил, поискал глазами, куда бросить спичку — в лесах, саженных возле хуторов, всегда ставились урны для мусора, оберточной бумаги и пустых консервных банок; не нашел, сунул в коробок, хотя знал, что это плохая примета, но иначе не мог — порядок, только порядок, ничего выше порядка; заговорил медленно, повторяя почти слово в слово то, что ему п о з в о л и л сказать Борман.

Канарис слушал не перебивая, согласно качал головой, иногда убыстряя шаг, а иногда останавливаясь.

— Вот так, — заключил Кальтенбруннер. — Это все. Вам предстоит принять решение.

— Я, конечно же, назову ряд имен, счетов и паролей для того, чтобы вам были открыты сейфы в банках, но ведь это означает мою немедленную и безусловную казнь, обергруппенфюрер. Я, увы, знаю условие игры, которое вы исповедуете: алчная, устремленная и самопожирающая безнравственность... Я назову вам имена, но, поверьте, если бы вы действительно захотели преуспеть, вам бы стоило охранять меня так, как вам предстоит охранять вашу семью в самом недалеком будущем. Но вы не сможете преступить себя, в этом ужас вашего положения, мой молодой друг.

— Вы не правы по двум обстоятельствам, господин адмирал. Первое: уничтожив вас, я рискую подвести тех наших людей, которые придут с паролем в банк; вполне возможно, что у вас в банках все варианты оговорены заранее. Второе: уничтожив вас, я лишусь Испании, где ваши позиции общеизвестны, а Испания — тот плацдарм,

откуда более всего удобна наша временная передислокация в Латинскую Америку.

Канарис покачал головой.

— Вы недодумали разговор со мною, Эрнст. Не сердитесь, что я обращаюсь к вам так фамильярно?

— Мне это даже приятно, господин адмирал.

— Видите, как славно... Итак, вы прибыли сюда, подчиняясь чьему-то указанию, сами бы вы ко мне не решились поехать: я достаточно хорошо знаю вас и наблюдал вашу работу последние полтора года весьма тщательно. Скорее всего, вас отправил рейхсляйтер... Вы никого не подведете, поскольку пока еще и Риббентроп имеет радиосвязь с нашими посольствами за границей и армия может выходить по своим шифрам на наши военные атташаты в Швейцарии, Испании, Аргентине, Португалии, Швеции, Парагвае, Бразилии, Колумбии и Чили. Ваши люди отправят с моим паролем тех агентов, чьими жизнями вы не дорожите — каждая уважающая себя разведка имеет такого рода контингент, который не жаль отдать на заклание во имя успеха большой операции... Значит, послезавтра вы получите в свое пользование счета и наладите контакт с моими могущественными банковскими контрагентами, предложив им — для легальной реализации — свое золото. Это — по первой позиции. По второй: мои связи в Испании были особенно сильны, когда мы крушили там коммунистов, а потом вели игру против Черчилля, чтобы он, используя дурную репутацию генералиссимуса, не осуществил свою идею высадки на Пиренеях... Он тогда раз и навсегда решил вопрос и с Гибралтаром, и с республиканскими иллюзиями горячих басков и каталонцев — под предлогом антинацистской борьбы на юге Европы. Сейчас время упущено, Рузвельт смог сдержать неистового Уинни, значит, мои возможности значительно ослабли: в политике наиболее ценен вопрос времени, в котором только и реализуется сила. Думаю, аппарат партии имеет там значительно более крепкие опорные базы, чем я среди фаланги Франко и сочувствующих ей военных. Другое дело, я бы мог стать полезным, получи от вас гарантию, которая убедит меня в моей вам нужности — на латиноамериканском и дальневосточном направлениях...

— Какие нужны гарантии?

— Как первый этап сотрудничества: я пишу то, что вас интересует, мы оформляем договор деловым образом, пути назад нет, Лондон теперь просто-напросто не пой-

м е т меня; если вы ознакомите англичан с такого рода документом, моя репутация будет подмочена в глазах секретной службы короля; вы отправляете в Швейцарию мою информацию, а я приступаю к подготовке для вас дела на латиноамериканском направлении... Эрнст Рэм начинал работать с лейтенантом Стресснером в Боливии, но ведь сделал Стресснера генералом я, и я именно передал ему фото фюрера с дарственной надписью...

— Швейцария исключается... Мы сейчас просто-напросто не имеем права страховать себя фактом ознакомления ваших британских друзей с нашим — если мы сговоримся — договором о тайном сотрудничестве, ибо это значило бы добровольно отдать Лондону ваши связи, ваши корпорации и моих людей. К разговору, скорее, оказались неподготовленными вы, а не я. Либо вы верите мне и мы начинаем впрок думать о будущем, либо вы мне не верите и я вынужден поступить так, как мне предписано. Срок на размышление — два дня, а вернусь к вам в субботу, к двенадцати.

— Не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня... Тем более гуляем мы не более получаса, а это такое блаженство, подарите мне еще десять минут, милый Эрнст... Я готов начать писать прямо сейчас, не медля... Мне потребуется примерно месяц на то, чтобы сформулировать проблему и обозначить данности...

— Господин адмирал, — жестко перебил Кальтенбруннер, — в вашем положении самое опасное заиграться. Не надо... Вы же понимаете, что месяц меня не устроит: мы с вами отдаем себе отчет, почему вы запросили именно тридцать дней в обмен на ваши з н а н и я... Так что полчаса, во время которых вы напишете о г р ы з о к, дела не решат. Пара дней — это хороший срок, мало ли что может произойти за два дня...

— Эрнст, а что случится с вами, узнай фюрер о вашем со мною разговоре?

Кальтенбруннер хмыкнул:

— Вы пугаете меня? Я объят страхом! Я готов написать рапорт на самого себя! Господин адмирал, когда вы встречались с представителями британской секретной службы и вели с ними весьма рискованные разговоры, у меня в сейфе лежала копия вашего рапорта Кейтелю о необходимости проведения встречи с врагом, во время которой возможны «непредвиденные обороты беседы». Вы — стратег хитрости, господин адмирал; не только Гелен называет вас своим метром, но и я — в какой-то, естественно, мере...

Канарис улыбнулся:

— Это комплимент... Милый Эрнст, ответьте как на духу: вы вправду полагаете, что талант Адольфа Гитлера и на сей раз выведет Германию из кризиса? Не торопитесь, погодите... Если вы продолжаете уговаривать себя, что так именно и случится, то дальнейший наш разговор бесполезен, но если вы наконец решились дать себе ответ на этот очевидный вопрос, то, видимо, вы стоите перед выбором пути в будущее... Я понимаю, о чем вы думаете, интересуясь моей информацией, з н а н и е м, как вы изволили заметить... А ведь вы могли бы стать спасителем нации, решись на то, что сами же подавили год назад: путч, устранение фюрера, обращение к Западу, роспуск партии — притом вы и ваши коллеги остаются на ключевых постах государственной машины, гарантируя ее противостояние большевистским полчищам.

— Господин адмирал, я приехал к вам как политик, но не как предатель...

— Замените слово «предатель» на «мобильный эмпирик», и вас примут в любом клубе, милый Эрнст, нельзя же ныне олицетворять личность фюрера с будущим нации...

Кальтенбруннер взглянул на часы, чтобы скрыть растерянное смущение: Канарис сказал то, о чем он впервые подумал — робко, у ж а с а я с ь — два дня назад, когда возвращался из штаб-квартиры Гиммлера; полыхали зарницы на востоке; с Балтики дул промозглый ветер, а в ушах чуть что не звенели страшные слова рейхсфюрера: «Думая о себе, Эрнст, немец теперь обязан думать о будущем Германии...»

БЕДНЫЕ, БЕДНЫЕ ЖЕНЩИНЫ ... — II

— Нет, — сказал Штирлиц, выслушав Дагмар, — все не так... Ваша реакция на слова друзей Бернадота о возможных трудностях, связанных с заключением перемирия, слишком о р г а н и з о в а н н а... Вы женщина, то есть эмоция. Ваш отец немец, следовательно, часть вашего сердца отдана Германии... Вы должны атаковать, желая спасти нацию от тотального уничтожения, вы должны обвинять Бернадота в бездействии, а вы лишь приближаетесь к тому, чтобы робко и опасливо обозначить эту правду. А п р а в д у н е л ь з я о б о з н а ч а т ь: л и б о е е п р о и з н о с я т, ч е г о б ы э т о н и с т о и л о, л и б о л г у т. И л и — и л и, т р е т ь е г о н е д а н о...

Дагмар смотрела на Штирлица неотрывно, горько, и какая-то странная, отрешенная улыбка трогала порою ее губы.

— Милый человек, — сказала она, — не судите меня строго. Женщина — самый податливый ученик... Поэтому она тщится повторить мужчину... Про мужа я не хочу говорить, он несчастный маленький человек, а вот мой первый наставник в делах разведки... Я копирую его манеру, понимаете? В детстве я занималась гимнастикой; тренер стал моим богом; прикажи он мне выброситься из окна — я бы выбросилась... А мальчишки из нашей группы были другими, в них с рождения заложено рацио... И вдруг пришли вы: мудрый добрый мужчина, чем-то похожий на тренера, говорите правду...

— Не всегда, — жестко заметил Штирлиц.

— Значит, у вас и ложь очень достоверна... И потом, вы умеете шутить... И прекрасно слушаете... И не поучаете... И позволяете мне чувствовать себя женщиной... Видите, я привязалась к вам, как кошка...

— Все-таки лучше привяжитесь ко мне, словно гимнастка к тренеру...

— Как скажете.

Штирлиц поднялся, отошел к телефону, спросил разрешения позвонить, набрал свой номер:

— Здравствуйте, Ганс... Я сегодня, видимо, тоже не приеду, так что можете готовить на себя одного...

— Где вы? — спросил Ганс.

— Ваш шеф позволил задавать мне и такие вопросы?

— Нет. Это я сам. Я волнуюсь.

— Вы славный парень, Ганс. Не волнуйтесь, все хорошо, меня охраняют три автоматчика... Я позвоню вам завтра; возможно, заеду в десять; пожалуйста, погладьте мне серый костюм и приготовьте две рубашки, одну — серую, другую — белую; галстук — на ваше усмотрение. Почистите, пожалуйста, туфли — черные, длинноносые...

Ганс удивился:

— Длинноносыми бывают люди... Это которые в вашей спальне?

— Вы хорошо освоились, верно, они стоят там. И сделайте несколько бутербродов с сыром и рыбой, мне предстоит довольно утомительное путешествие.

— Я не понял, сколько надо сделать бутербродов, господин Бользен...

«Вот так светятся, — отметил Штирлиц. — Насквозь. И это очень плохо. Немцу нельзя говорить «несколько бутербродов». Нет, можно, конечно, но это значит, что

говорит не немец или не чистый немец. Я должен был сказать: «Сделайте семь бутербродов», и это было бы по правилам. Надо отыграться так, чтобы Мюллер понял, отчего я сказал это свое чисто русское «несколько»...»

— Разве ваш шеф не говорил, что я уезжаю с дамой? Неужели трудно подсчитать, что днем мы будем есть три раза по два бутерброда — итого шесть; я возвращаюсь один, значит, перекушу ночью один раз, утром второй, при условии если удастся соснуть в машине, коли не будет бомбежек на дорогах, — следовательно, к шести надо прибавить четыре. Итого десять. Сколько кофе залить в термос, вы, надеюсь, знаете? Шесть ста канов — если у вас так плохо с сообразительностью.

Ганс — после паузы — вздохнул...

— А что же буду есть в дороге я? Шеф приказал именно мне везти вас с вашей спутницей...

— Значит, сделаете шестнадцать бутербродов и зальете второй термос — в случае если ваш шеф не отменит своего приказа.

Штирлиц положил трубку, включил приемник. Диктор читал последние известия: «Наши доблестные танкисты отбросили врага на всей линии Восточного вала; неприступная линия одерского бастиона — тот рубеж, на котором разобьются кровавые полчища большевиков. На западном фронте идут бои местного значения, англо-американцы несут огромные потери; наши доблестные летчики сбили девяносто два вражеских самолета, подожжено тридцать четыре танка и взорваны три склада с боеприпасами. Воодушевленные идеями великого фюрера, наши воины демонстрируют образцы беззаветной верности национал-социализму и рейху! Победа приближается неотвратимо, несмотря на яростное сопротивление вконец измотанного противника!»

...Затем диктор объявил час оперетты. Заместитель рейхсминистра пропаганды Науманн[1] более всего любил венскую оперетту, поэтому составители программ включали такого рода концерты в радиопередачи ежедневно, иногда по два раза в сутки. С тех пор как по решению Розенберга и Геббельса, отвечавших за идеологию национал-социализма, в рейхе были запрещены американские джазы, французские шансонье и русские романсы, с тех пор как Розенберг провозгласил главной задачей НСДАП восстановление и охранение старогерманских

[1] Науманн — ныне один из лидеров легального неонацистского движения в ФРГ.

традиций, с тех пор как на человека в костюме, сшитом за границей, стали смотреть как на потенциального изменника делу фюрера, с тех пор как прицип «крови и почвы» стал неким оселком, на котором проверялась благонадежность подданного, с тех пор как в газетах стали печатать лишь те материалы, в которых доказывалось величие одного только германского духа и утверждалось, что культуры Америки, России, Франции, Англии есть не что иное, как второсортные словесные или музыкальные упражнения недочеловеков, заполнять эфир становилось все тяжелее и тяжелее. Глинка, Рахманинов, Римский-Корсаков и Прокофьев представляли собою музыку вандалов; Равель и Дебюсси — мерзкие насильники мелодизма (Геббельсу удалось с трудом отбить право на трансляцию арий из опер Бизе; он сослался на фюрера, который однажды заметил, что композитор был не чистым евреем, и потом гадкая кровь числилась в нем по отцу, а «есть сведения, что мать гения, француженка, имела роман с немцем за год до рождения композитора»); «дергания» джаза были объявлены «утехой черномазых», это не для арийцев, а Гленн Миллер и Гершвин вообще паршивые евреи. Спасали оперы Моцарта, симфонии Бетховена и Вагнера. Четыре часа в сутки было отдано песням партии, армии «гитлерюгенда» и ассоциации немецких девушек «Вера и Красота». И, конечно же, любимые Науманном оперетты (однако и здесь были свои сложности: Оффенбах — не ариец, Кальман — тем более, а Легар — полукровка). В последние месяцы, когда бомбежки сделались почти беспрерывными, рацион ежедневного питания по карточкам стал мизерным. Геббельс приказал экспертам по вопросам идеологии в департаменте музыки прослушать мелодии немецких джазовых композиторов начала тридцатых годов. «Пусть людей радует хотя бы веселая музыка, — сказал рейхсминистр, — давайте развлекательные программы попостоянно, включайте побольше народных испанских песен, они бездумны; можно транслировать веселую музыку Швеции и Швейцарии, пусть даже джазовую, предварив дикторским текстом, что это мелодии наших добрых соседей...»

— Любите венцев? — спросила Дагмар, неслышно подойдя к Штирлицу. Он ощутил ее дыхание возле левого уха: щекотно и нежно.

— А вы терпеть не можете?

— Я покладистая. Если вам нравится, мне тоже будет нравиться.

— Вы когда-нибудь чувствовали себя несчастной, Дагмар?

Женщина замерла, словно от удара; Штирлиц ощутил, что она замерла, даже не оглянувшись.

— Зачем вы меня т а к спросили?

— Потому что нам предстоит работа, и я обязан понять вас до конца...

— Вы меня еще не поняли?

— Нет.

Штирлиц обернулся, положил ей руки на плечи. Дагмар подалась к нему; он тихо, одними губами, прошептал:

— Куда вам вмонтировали звукозапись?

Она обернулась, указала глазами на большую настольную лампу...

— Запись идет постоянно? Или только когда вы включаете свет?

— Постоянно, — шепнула женщина. — Но вы, видимо, не обратили внимания: когда вы приходите, я выключаю штепсель из розетки... И то, о чем вы говорили во сне, слышала одна я...

(Слышала не только она одна: в ее комнате были оборудованы еще два тайника с аппаратурой, о существовании которых она не знала...)

...На улице, когда они вышли из машины, Штирлиц спросил:

— Вы все поняли из того, что я говорил во сне?

Она покачала головой:

— Русская няня не смогла меня научить ее языку в совершенстве.

...В ресторане играл аккордеонист; по приказу имперского министра пропаганды и командующего обороной столицы тысячелетнего рейха Геббельса все рестораны обязаны были работать; водку и вино продавали свободно, в любом количестве, без карточек.

Штирлиц попросил бутылку рейнского рислинга, более всего он любил те вина, которые делали возле Синцига и за Висбаденом; до войны он часто ездил на воскресенье в Вюрцбург; крестьяне, занятые виноделием, рассказывали ему о том риске, который сопутствует этой профессии: «Самое хорошее вино — «ледяное», когда виноград снимаешь после первого ночного заморозка; надо уметь ждать; но если мороз ударит после дождя,

крепкий мороз, тогда весь урожай пропадет псу под хвост, продавай землю с молотка и нанимайся рудокопом, если «трудовой фронт» даст разрешение на смену места жительства».

— Дагмар, я хочу выпить за то, чтобы вы по-настоящему помогли мне. Я пью за нашу удачу.

— Я — суеверная, за удачу не пью.

— Хорошо, тогда я скажу проще: я пью за то, чтобы вы вернулись сюда лишь после окончания войны...

— Это будет подло по отношению к Герберту... Хоть мы только формально были мужем и женою, но тем не менее это будет подло... Он ведь и жив только потому, что я работаю на вас...

— Он мертв, Дагмар. Вам лгал Лоренс... Ваш муж умер в лагере. Те письма, которые вам передают от него, написаны им за неделю перед смертью, его вынудили проставить даты вперед, впрок, понимаете?

Женщина кивнула, глаза ее мгновенно налились слезами, подбородок задрожал...

Штирлиц увидел, как в ресторан вошла молоденькая девушка; она быстро оглядела зал, остановилась на его отражении в зеркале, потом задержалась взглядом на Дагмар и слишком уж рассеянно пошла к соседнему с ними столику.

Штирлиц положил ладонь на руку Дагмар, шепнул:

— За нами смотрят, а сейчас будут слушать... Пожалуйста, соберитесь... Я позову вас танцевать, и тогда мы поговорим, да?

Он понял, что за нам пущено тотальное наблюдение потому, что пришла именно эта молоденькая девушка. Половина людей из службы слежки была влита в специальный батальон СС, отправленный на Зееловские высоты на Одере (Мюллер сказал правду); в коридорах РСХА он услышал, что для оперативной работы привлечены наиболее проверенные девушки из гитлеровской организации «Вера и Красота»; два факта, сложенные вместе, — при той атмосфере и г р ы, в которой он очутился, — позволили ему сделать немедленный и правильный вывод: каждый его шаг отныне известен Мюллеру. А если так, то, значит, Мюллеру известен адрес его радиста.

«И этим моим радистом, — думал Штирлиц, медленно вальсируя с Дагмар, — вполне может быть его сотрудник. Зная, чем я был занят последний месяц, сопоставив фамилии и географические обозначения, они могли прочесть мои радиограммы, учитывая, что плейшнеровскую,

которую он отдал им на Блюменштрассе в Берне, они уже две недели хранили в своем дешифровальном бюро. Господи, ну как же мне решиться поверить ей, этой Дагмар? Она — в их комбинации, это очевидно. Но в какой мере она с ними? Она умная, это плюс для моего дела. Она умная, значит, она не могла не почувствовать той изначальной неправды, которая объединяет людей здешней идеи. Это можно скрывать, но этого нельзя скрыть — так или иначе уши вылезут... Она несчастна, и не только из-за них... Она несчастна по-своему, по-бабьи, как только и могут быть несчастны очень умные, да еще к тому же красивые женщины, у которых нет детей... Но если это так и если Лоренс понял это первым, а он ловкий парень, то отчего бы ему не подготовить ее к работе против меня? Но ведь так нельзя — не верить никому и ни в чем, Максим, так нельзя! Нет, можно, — возразил он себе, ощущая ладонью, как тонкая спина Дагмар нет-нет да и вздрагивала от сдерживаемых слез, хотя глаза ее были сухи, только на скулах выступил пунцовый румянец. — Не только можно, но сейчас, в этой ситуации, нужно».

— Дагмар, — шепнул он женщине, — ни сегодня, ни завтра в машине мы не сможем ни о чем говорить с вами... Но вы должны собраться и запомнить то, что я сейчас скажу... Как только вы высадитесь в Швеции, проверившись тщательно, после того уже, как купите машину — они там стоят возле бензоколонки, документы вам оформят сразу же, — покружите по городу, потом выезжайте на трассу и, остановившись в любом маленьком городке, — когда будете совершенно одна, — кроме той телеграммы, которую вы обязаны отправить мне, пошлете вторую... Запоминайте, Дагмар... «Доктор Шнайдер, Ульфгаттан, 7, Стокгольм, Швеция. Срочно пришлите с оказией мое снотворное, иначе я совершенно болен. Кузен». Запомнили?

Женщина покачала головой, и по щеке ее скатилась быстрая слеза.

— Я повторю вам во время следующего танца... Вы сделаете это, Дагмар, ибо это нужно вам так же, как мне, а может быть, даже больше...

Телеграмма, которую выучила Дагмар, ничьей расшифровке, да еще в Швеции, не поддавалась. Это был сигнал тревоги, получив который, Центр должен был принять решение о том, как поступать Штирлицу впредь,

ибо он сообщал, что, видимо, раскрыт противником, но продолжает выполнять их задания, смысл которых ему непонятен. Он просил начать встречную игру, но предупредил, что вся информация о переговорах на Западе, которую он сейчас передает в Центр, хоть и соответствует действительности, но тем не менее организована Мюллером именно так, чтобы первой ее узнал не кто-нибудь, а Кремль.

Слежки на улице не было. Штирлиц завез Дагмар домой, пообещал вернуться через полчаса и поехал в тот район, где жил радист. То, что сейчас за ним не следили, родило в нем абсолютное убеждение, что его первое посещение явки известно Мюллеру.

...Радист встретил его радостно, снова предложил кофе, посетовал, когда Штирлиц отказался, и передал ему шифровку Центра:

«Дайте еще более расширенную информацию: кто стоит за переговорами с Западом после того, как Вольф был дезавуирован? Где проходят переговоры? Фамилию хотя бы одного участника? Просим выходить по возможности чаще».

Штирлиц передал радисту шифровку, написанную им только что; она была первым шагом в рискованной и сложной контригре; он решил начать ее, не дожидаясь связника, присылка которого подразумевалась сама собою, в случае если Дагмар отправит его телеграмму:

Центр. Дагмар Фрайтаг я переправляю завтра на пароме в Швецию в 19.04. Она служит Шелленбергу по идейным соображениям; для вас она может исполнять роль маяка, с в е т и т ь тех людей, с которыми ей предписано общаться. Вальтер Рубенау, которого мне предстоит отвезти в Швейцарию, должен наладить дублирующие контакты с экс-президентом Музи в целях поиска путей для спасения узников концлагерей. Я пробуду с ним два дня в Базеле, а затем выйду на связь с вами уже из рейха; в силу чрезвычайной конспиративности переговоров и страха Гиммлера, что об этом могут узнать большевики, связника в Швейцарию во время моей первой поездки прошу не посылать. Деньги, которые вы должны перевести на мой текущий счет в Асунсьоне, отправьте в тот банк, который назван вами в Мадриде. *Юстас.*

Последняя фраза — так же как и слова об «идейности» Дагмар и о предстоящем «возвращении в рейх» —

были главным в игре; пассаж о «переводе денег в Асунсьон» не был заранее оговорен с Центром, но смысл этих слов будет разгадан руководством; к Дагмар в Швеции подсядет человек из Москвы, и она на словах ему передаст то, что должна передать, он, Исаев, решил поверить ей до конца...

...Однако Дагмар ничего не передала тому человеку, который действительно был отправлен в шведский порт на встречу с нею. Паром ждали три полицейские машины и карета «скорой помощи»; Дагмар вынесли на носилках: она была мертва. Полиция обнаружила на стакане, в котором был яд, отпечатки пальцев человека, не проходившего по картотекам европейских полиций. Из этого стакана пил Штирлиц, когда провожал Дагмар в каюту первого класса, — и это было зафиксировано людьми гестапо. Как только Штирлиц и Дагмар вышли из каюты на палубу прощаться, туда проскользнул быстрый, маленький человечек из спецгруппы Мюллера, стакан этот взял с собою; через полчаса туда будет влит грамм смертельного яда; таким образом, Штирлиц — если он решит бежать из рейха — будет передан в руки Интерпола в любом уголке земного шара как садист и убийца...

...Однако назавтра, ровно в назначенное время, от Дагмар из Стокгольма на имя Штирлица поступила телеграмма о начале работы с окружением Бернадота; «С самим графом контакт невозможен, ибо он только что инкогнито выехал в рейх на встречу с высшими чинами рейха для обсуждения условий перемирия на западном фронте».

...Сообщение это, переданное в Москву (Штирлиц о гибели Дагмар ничего не знал, а Центр, понимая, что телеграммы могут быть расшифрованы противником, об этом ему не сообщил, начав свою, особую игру), тем не менее соответствовало действительности; советская разведка получила точные данные, что именно в тот день, когда пришла шифровка от Дагмар, граф Бернадот действительно встретился с Генрихом Гиммлером в здании шведского консульства в Любеке.

ФАКТОР СЛУЧАЙНОСТИ

Секретная информация, пришедшая Борману из Линца, от гауляйтера Верхней Австрии Айгрубера, насторожила его чрезвычайно.

...Все в рейхе (понятно, среди тех, кто обладал доступом к информации) считали, что люди СС, разгромив генеральский путч, смогли подчинить себе армию и, таким образом, сделались летом сорок четвертого года наиболее могущественной силой империи.

Такого рода мнение было правильным; именно поэтому Борман предпринял все для того, чтобы выровнять баланс сил, сгруппированных вокруг фюрера. Для этого он, использовав Геббельса, разработал и провел мощную кампанию в газетах, на радио, во время грандиозных митингов и манифестаций: «Слава воинам СС, надежной опоре нации!» Геббельс не был посвящен в святая святых плана Бормана, работал, как обычно, во имя чистой идеи; действительно, считал он, без сокрушительного удара войск СС генералы могли бы на какое-то время одержать верх в Берлине. Поэтому он принял за чистую монету фразу, мимоходом брошенную Борманом: «Теперь большинство членов СС, оставшихся в тылу, следует срочно отправить на фронт, влить их в ряды армии, поставив на руководящие посты; вопрос моральной стойкости СС и их высокой национал-социалистической сознательности доказан на деле — один батальон Ремера разгромил штаб армии резерва и поставил на колени берлинский гарнизон, отравленный ядом продажной американской финансовой плутократии, купившей генералов за грязные доллары».

Гитлер подписал декрет об отправке членов СС в действующую армию...

Таким образом, к осени сорок четвертого Гиммлер уже не имел такой массовой опоры в рейхе, как раньше, ибо большинство офицеров его организации теперь гнили в окопах на Востоке и Западе. Правда, это перемещение массовой тыловой опоры рейхсфюрера не коснулось аппарата РСХА, но двухсоттысячный отряд черных СС, в основном гестаповцев, не шел ни в какое сравнение с шестимиллионной массой коричневых, то есть рядовых членов НСДАП.

Теперь, после того как большинство «рыцарей СС» очутились в двойном подчинении — Гиммлера и армейского командования, — после того как они оказались в блиндаже или казарме, без права передвижения, аппа-

рат Бормана сделался единственным костяком рейха, его скелетом, реальной и бесконтрольной силой страны.

Каждую неделю Борман получал подробные отчеты от своих гауляйтеров. Германия была разделена на тридцать три гауляйтунга — то есть все земли, такие, как Бавария, Гессен, свободный город Гамбург, имели свою огромную областную партийную машину.

Борман не отправил на фронт ни одного из своих функционеров, а в аппарате НСДАП работало более девятисот тысяч человек; все они служили ему, одному ему; он получал их ежемесячные отчеты; им он направлял директивы, с ними проводил инструктажи; именно на таком инструктаже, проведенном в Берлине в ноябре сорок четвертого, когда собралось более тысячи местных руководителей НСДАП, Борман сказал:

— Теперь, когда на плечи наших братьев по СС легла главная ответственность за будущее рейха, которое решается на полях битв, ваша задача, дорогие партайгеноссен, заключается в том, чтобы взять на себя часть их работы в тылу, помогать им ежедневно и ежечасно, скоординировать совместную деятельность и по всем важным вопросам обращаться ко мне, чтобы я мог обсудить наиболее срочные дела с рейхсфюрером Гиммлером.

...Среди функционеров были еще те, которые помнили Эрнста Рема и Грегора Штрассера, знали, что без них фюрер никогда бы не пришел к власти, ужасались тому, как страшна была судьба этих основоположников движения, и поэтому затаенно, тяжело боялись СС, расстреливавших многих ветеранов партии, посмевших выразить открытое несогласие с акцией бойцов из «охранных отрядов», устранивших Рема и Штрассера.

Именно поэтому п а с с а ж Бормана о «помощи СС» аппаратчики НСДАП поняли как сигнал к действию, к безусловному подчинению СС местным организациям партии.

Гиммлер узнал обо всем этом постфактум, вернувшись в Берлин из поездки на восточный фронт, после того лишь, когда фюрер сказал ему:

— Все-таки я не устаю поражаться ненавязчивой и корректной доброте Бормана. Он не стал дожидаться вашего к нему обращения, а первым протянул вам руку братства... Полагаю, теперь вы не будете ощущать тех потерь, которые нанесла организации СС передислокация ваших лучших частей на поля сражений...

Гиммлеру оставалось только поблагодарить Бормана и, ненавидяще улыбаясь, пожать его руку.

С тех пор местные организации РСХА и СС должны были — хотя это и не было проведено особым постановлением — передавать свои ежемесячные отеты в НСДАП.

Один из таких документов попал на глаза гауляйтера Верхней Австрии Айгрубера. В нем глухо говорилось про то, что несколько раз в районе Альт Аусзее, неподалеку от тех мест, где расположена вилла Кальтенбруннера (он обычно по субботам приезжал туда — до того, как сломалось положение на фронтах), зафиксирована работа коротковолнового передатчика, выходящего, судя по всему, на американскую разведывательную сеть в Швейцарии.

Айгрубер запросил в местном гестапо более подробный отчет о вражеской группе, внедренной противником в непосредственной близости к резиденции обергруппенфюрера Кальтенбруннера, однако вразумительного ответа не получил; удивленный, он запросил вторично. «Идет оперативная разработка», — ответили ему лаконично, намекая, что подробности могут нанести ущерб расследованию.

Айгрубер счел своим долгом поставить в известность об этом странном деле Бормана, ибо область, находившаяся в его ведении, вплотную примыкала к Альпийскому редуту, району Берхтесгадена, где дислоцировалась запасная ставка Гитлера, — именно туда он должен был со дня на день перебраться из Берлина, чтобы продолжать борьбу против врага; помимо этого, здесь, между Линцем и Зальцбургом, находились соляные копи Альт Аусзее, куда были спрятаны экспонаты «музея фюрера» на сумму в девятьсот семьдесят три миллиона долларов.

...Именно эта информация понудила Бормана вызвать Мюллера и поручить ему безотлагательно и досконально выяснить всю правду. «Никто не знает об этом хранилище, — сказал Борман, — я заверил Гитлера, что шедевры мирового искусства никогда не попадут в руки врага: или они останутся нашими, или же они будут погребены в соляных шахтах и уничтожены подземными водами».

Мюллер запросил с в о и х.

Ответ пришел такой же невразумительный, как и тот, который был отправлен Айгруберу.

Мюллер сразу же понял, что происходит это, скорее всего, потому, что в процессе расследования всплыло такое имя, говорить о котором в документе или же по

телефону никак невозможно. Неужели Кальтенбруннер тоже начал игру, после того как встретился с Бернадотом?

И Мюллер решил, что в Зальцбург можно отправлять лишь самого верного и ловкого человека.

Кого? Холтофа? Верен, но глуп, наломает дров, опасно. Айсман? С его принципиальностью он полезет в драку, не думая о последствиях. Конечно, идеальнее всего в этой комбинации был бы Штирлиц. Но он в игре, он нужен здесь.

Мюллер так и не решил, как поступить с этим делом, позвонил Борману, попросил пару дней на размышление; тот согласился, хотя голос его был холоден и лишен той доброжелательности, которая с недавнего времени стала характерна для него во время бесед с группенфюрером.

...Гестапо Линца и Зальцбурга было в растерянности именно по той причине, которую Мюллер ощутил кожей: действительно, передачи на Запад шли чуть ли не с того самого места, где размещался особый отдел связи СД, подчиненный непосредственно Кальтенбруннеру. Следовательно, по законам нацистской иерархии, местное гестапо обязано было войти с предложением в отдел РСХА по Верхней Австрии; тот — в свою очередь — должен был согласовать этот вопрос с Айгрубером и обратиться, минуя Шелленберга и Мюллера, непосредственно к Кальтенбруннеру за санкцией на проведение оперативной разработки его ближайших сотрудников, сидевших в Альт Аусзее, в роскошной вилле, примыкавшей к замку шефа тайной полиции, за высоким дубовым забором под охраной пулеметчиков СС.

Гестапо Линца и Зальцбурга страшилось входить с такого рода предложением: в ярости Кальтенбруннер был неуправляем. Его реакцию нельзя было просчитать — в секретной службе знали, что работают в Альт Аусзее люди, отобранные лично им. Потому-то так и тянулось все это дело...

А между тем в Альт Аусзее, в штате Кальтенбруннера, действительно работал офицер СД, завербованный американской секретной службой в декабре сорок четвертого...

НЕОБХОДИМОСТЬ КАРДИНАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Начальник советской разведки дважды перечитал шифровку полковника Исаева, известного как «Штирлиц» лишь одному его помощнику, с которым он начинал работу в ГПУ еще с Берзинем и Пузицким, — отсидел четыре года в одиночке, выпустили в июле сорок первого; раздраженно отодвинул от себя красную папку, в которой ему принесли сообщение, и, сняв трубку кремлевского телефона, спросил:

— Что там мудрит Девятый?

— Он не умеет мудрить, он просто сообщает все, что собрал.

— Товарищ Сталин требует точных данных, а что мне ему докладывать? Мне сдается, вы не очень-то понимаете, как может кончиться и г р а Девятого. А сейчас нужны точные данные.

С этим он и поехал в Кремль.

— Ну и что вы хотите мне всем этим сказать? — медленно спросил Сталин. — Я не до конца понимаю, что передал этот ваш человек? Либо он наталкивает нас на то, чтобы мы предприняли новый, еще более жесткий демарш против Рузвельта, либо намекает на необходимость нашего контакта с гитлеровскими бандитами. Нельзя ли предложить вашему человеку прибыть в Москву...

— Переход линии фронта сейчас невозможен, он погибнет.

— Нет, вы отзовите-ка его, с ним пора здесь разговаривать, мне не нравится его работа...

Вернувшись к себе, начальник разведки хотел было составить телеграмму, смысл которой сводился к тому, чтобы Исаев постарался вернуться домой, но, ознакомившись с его последней информацией из Берлина, принял решение прямо противоположное изначальному: в экстремальных ситуациях, — даже в условиях сталинского тоталитаризма, — аппарат умел коррегировать приказы.

— Видимо, — сказал начальник разведки своему помощнику, — дни Исаева сочтены, но он понимал, на что шел, согласившись вернуться в Берлин. Продолжим игру — как это ни жестоко. Поскольку кто-то постоянно пугает нас, позволяя нам через Исаева узнавать о факте сепаратных переговоров с союзниками, — мы испугаемся. Мы очень испугаемся... Пусть службы тщательно продумывают тексты предстоящих шифровок, которые мы станем отправлять в Берлин. Если Исаев поймет наш

ход, он ответит так, как уже однажды было. Я имею в виду его смелый пассаж о переводе денег на его счета... Однако, — он медленно закурил, тяжело затянулся, — лучше, чтобы он не понял... Да, именно так, генерал... За всем этим делом, которое разыгрывается в Берне, Стокгольме и Любеке, стоят жизни миллионов...

— Готовить спецсообщение для товарища Сталина?

Начальник разведки поднялся из-за стола, походил по кабинету, усмехнулся чему-то, одному ему понятному, и наконец ответил:

— Семь бед, один ответ...

— Пока подождем? — спросил помощник.

— Наоборот, сделайте это по возможности быстро.

— Ну и что это нам даст? — спросил Сталин, прочитав страничку, подготовленную начальником разведки. — Ничего это нам не даст, а противнику — если вами играют, а не вы ими играете — даст многое. Черчилль вполне может раздуть дело о нашей неверности, о том, что мы, а не они вступаем в переговоры с Берлином... Нет, я думаю, это ненужная затея... Сообщите вашему полковнику, чтобы он возвращался.

— Если в Берлине получат такую телеграмму и он решится бежать, он погибнет.

— Почему? — Сталин пожал плечами. — Жуков стоит в ста двадцати километрах от Берлина, вполне можно уйти.

— Гестапо, видимо, читает наши телеграммы. А в своих телеграммах наш человек начал свою игру, не дожидаясь приказания... Он в положении чрезвычайном... Гестапо, видимо, хочет использовать его как канал дезинформации... А может, и самой достоверной информации...

— Я не умею понимать двузначные ответы, — глухо сказал Сталин и тяжело закашлялся. — Или дезинформация, игра, хитрость, или безусловно достоверная информация. Этот ваш полковник сможет дать определенный ответ: играют нацисты либо дают достоверную информацию? Или — или?

Начальник разведки сразу же понял, что именно этот раздраженный вопрос Сталина позволяет ему добиться того, в чем Верховный Главнокомандующий был готов — это совершенно очевидно — отказать ему. Поэтому он ответил сразу же:

— Я убежден, что такого рода ответ будет от него получен.

— И вы готовы поручиться перед Государственным Комитетом Обороны, что это будет абсолютно точный ответ?

Начальник разведки на какое-то мгновение споткнулся, понимая, какую он берет на себя ответственность, но, будучи профессионалом, одним из немногих, кто не был расстрелян с времен Дзержинского, он понимал, какие огромные возможности на будущее даст ему игра, начатая гестапо и разгаданная — в самом начале советской разведкой. Поэтому он ответил, внимательно посмотрев в глаза Сталину:

— Я беру на себя всю ответственность.

— Не вы, а я, — заключил Сталин. — Мне предстоит принять политические решения на основании ваших материалов. То, что вам забудется историей, мне — нет.

Сразу же после того как начальник разведки ушел, Сталин позвонил по ВЧ Жукову и Рокоссовскому. С Жуковым у него были сложные отношения, а Рокоссовского он любил, запрещая себе, впрочем, признаваться в том, что в подоплеке этой любви было и чувство вины. Попросив Рокоссовского, так же как и Жукова, срочно вылететь в Москву, он сказал ему:

— Я угощу вас настоящим карским шашлыком, а то вы ныне на европейской кухне, а она — пресная. Я всегда страдал от ее серой безвкусности, особенно когда я жил в Берлине.

Первым он принял Жукова.

Рассказав о факте переговоров западных союзников с нацистами, Сталин спросил:

— Как вам кажется, Жуков, возможно ли мирное противостояние англо-американцев с немцами в Берлине?

— Солдаты Эйзенхауэра и Монтгомери не смогут соединиться с нацистами, товарищ Сталин, это противоестественно; химические реакции возможны только среди тех реактивов, которые имеют элементы совпадаемости...

— Черчилль, первый провозгласивший крестовый поход против нашей страны в восемнадцатом, не имеет, таким образом, ничего общего с Гитлером — в своем отношении к Советам?

— Я имею в виду солдат...

— А кому солдаты подчиняются? Это хорошо, что вы помягчели сердцем, но война еще не окончена... Словом, я полагаю, что сейчас решающее слово за армией,

надо войти в Берлин первыми, и как можно раньше... Сможем?

— Сможем, товарищ Сталин...

— То есть армия сейчас должна принять главное политическое решение, утвердить статус-кво, взять Берлин и, сломав сопротивление фашистов, продиктовать им условия безоговорочной капитуляции... Но все это время с запада будут идти англо-американцы, не встречая сопротивления, по хорошим трассам — Гитлер думал о войне впрок, строил автострады...

— Черчилль знает, что вам известно о сепаратных переговорах, товарищ Сталин?

Сталин не любил, когда ему задавали столь прямые вопросы, поэтому ответил коротко:

— Он знает то, что ему надлежит знать... Хотите Первомай встретить возле рейхстага? Если хотите, думаю, тыл сможет сделать все, чтобы помочь вам... Да и миру от этого будет легче в будущем: лишь доказав свою силу, можно требовать достойного уважения со стороны политиков...

Внимательно слушая Сталина, Жуков вдруг явственно увидел лицо маршала Тухачевского, его продолговатые оленьи глаза, когда тот излагал в Наркомате обороны свою концепцию танковых атак сильными моторизованными соединениями. И почти явственно услышал его голос: «Только доказав фашистам нашу силу, вооружив Красную Армию совершенной научной доктриной, базирующейся на передовой технике середины двадцатого века, мы сделаем войну невозможной, ибо гитлеры боятся только одного — монолитной силы, им противостоящей; они, словно грифы, слетаются на запах крови: нацисты почувствовали Франко, они увидели разлад между коммунистами, анархистами и центристами — вот вам удар по Испании; уважения от Гитлера не дождешься, он слишком ненавидит нас, но страх перед нашей силой сдержит его от агрессии...»

...Сталин походил по кабинету, остановился возле окна, задумчиво спросил, словно бы и не ожидая ответа от Жукова:

— Любопытно бы до конца понять логику Гитлера и его окружения... Отчего они п о д д а ю т с я армиям западных союзников? Почему не намерены хоть пальцем пошевелить, чтобы хоть как-то стабилизировать фронт на Рейне? А ведь могут, вполне могут. На что надеются, перебрасывая свои войска с запада на Одер? Даже если они соберут в Берлине миллион солдат, неужели Гитлер

всерьез полагает, что это остановит нас? А если не Гитлер, то кто именно считает так среди его ближайших сотрудников? Или это есть попытка задержать нас до того момента, пока англо-американцы войдут в Берлин первыми? Вопрос престижа, а не сговора?

Он обернулся к Жукову, медленно обошел большой стол, на котором царил строгий порядок — журналы «Новый мир», «Знамя» и «Звезда» с разноцветными закладками сложены стопочкой; так же аккуратно лежали новые книги. Остановился возле своего стула с высокой спинкой, садиться не стал, глухо спросил:

— Когда наши войска до конца подготовятся к наступлению? Когда сможем начать штурм Берлина?

Жуков ответил, что план штурма Берлина проработан в его штабе, наступление 1-го Белорусского фронта может начаться не позже чем через две недели, маршал Конев будет готов к этому же сроку.

— Однако, — заключил Жуков, — войска Рокоссовского, судя по всему, задержатся с окончательной ликвидацией противника в районе Данцига и Гдыни до середины апреля и не смогут начать наступление одновременно с нами...

Сталин снова походил по кабинету, потом вернулся к столу, пыхнул трубкой и заключил:

— Что ж, придется начать операцию, не ожидая действий фронта Рокоссовского... Необходимо кардинальное решение...

ЗВЕНЬЯ ЗАГОВОРА

Мюллер положил на стол Бормана пять страниц убористого — почти без интервалов — машинописного текста и сказал:

— Думаю, тут более чем достаточно, рейхсляйтер.

Борман читал быстро; первый раз обычно по диагонали, делая на полях одному ему понятные пометки; второй раз он проходил по тексту скрупулезно, с карандашом, обдумывая каждое слово, в тех строчках, которые мог пустить в дело, на остальные не обращая более внимания.

В этих пяти страницах Мюллер собрал и обобщил данные прослушивания разговоров Гудериана и Гелена, которые велись его службой за последние дни по просьбе Бормана.

Рейхсляйтер сразу же отчеркнул целый ряд фраз: «фюрер полностью деморализован», «преступление Гит-

лера — с точки зрения законов войны — заключено в том, что он до сих пор медлит с эвакуацией ставки в Альпийский редут», «Гитлер не желает смотреть правде в глаза», «катастрофа, видимо, наступит в конце мая, Гитлер повинен в том, что мы проиграли выигранную кампанию», «то, что Гитлер не разрешает эвакуировать группу армий из Курляндии, то, что он до сих пор не позволяет перебросить все войска с запада на восток, свидетельствует о том, что он совершенно оторвался от жизни; он живет в бункере затворником, не понимая настроения нации, ему неведомо, что в рейхе нет хлеба и маргарина, он не желает знать, что люди мерзнут в нетопленых квартирах; его приказ бросать мальчиков «гитлерюгенда» в бой чреват тем, что через двадцать лет в стране не будет достаточного количества мужчин того возраста, которому предстоит командовать возрожденной армией Германии», «единственная надежда на спасение германского национального духа заключена в том, чтобы сосредоточить под Берлином все наши армии и навязать большевикам такую битву, которая потрясет запад, ибо это будет битва против Интернационала, против русского коммунизма, битва за непреходящие европейские ценности»...

Борман поднял глаза на Мюллера:

— Вы же понимаете, что подобного рода высказывания я просто-напросто не имею права показать фюреру, это травмирует его ранимую душу.

— Рейхсляйтер, я догадывался, зачем вам нужен этот материал, и поэтому отбирал самые мягкие высказывания. Были круче.

— Ну, знаете ли, вгорячах всякое можно сказать... И Гудериан, и Гелен — честные люди, но они слишком прямолинейны, армейская каста... Именно поэтому ваш материал — в таком виде, как он сейчас записан, — не годится... Пожалуйста, подготовьте на полстранички такого примерно рода данные: Гелен должен выразиться в том смысле, что ему необходим отдых, он не в силах более выносить постоянных бомбежек, и что если их изнуряющий грохот не слышен в бункере, то он в Майбахе живет на пределе своих сил... По-моему, логично, не находите?

— Вполне.

— Ну а что касается Гудериана, то пусть он скажет Типпельскирху или Хайнрици, что мечтает — после того как его подлечат — вернуться в окопы; танковые сражения, мастером которых он себя считает, обеспечат нам

победу в предстоящих боях. Пусть он скажет — но в весьма уважительных тонах, — что постоянные размолвки с Кейтелем, а особенно с Йодлем, не дают ему возможности проявить себя как военачальника, сделавшего себе имя на полях танковых битв...

— Именно такого рода разговор состоялся у Гудериана с рейхсфюрером, — заметил Мюллер.

Борман усмехнулся:

— Это я посоветовал ему так говорить с Гиммлером. Думаю, фюрер поручит именно Гудериану поехать в Пернцлау, в штаб группы армий «Висла», и вручить Гиммлеру приказ о том, что с рейхсфюрера слагается командование...

Мюллер кашлянул, прикрыв рот ладонью, тихо спросил:

— Вы полагаете, что разъединение Гиммлера с армией приведет его к еще большей изоляции? Лишит реальной силы? Борман долго молчал, потом, вздохнув, ответил:

— Мюллер, хочу дать добрый совет на будущее: никогда не доказывайте тому, кто станет вашим шефом, что вы умеете просчитывать его мысль на порядок вперед... Вы, наоборот, должны всячески внушать руководителю, что умение видеть грядущее присуще лишь одному ему, и никому другому... Знаете, как бы вам сейчас следовало сказать мне?

— Видимо, я должен был, — добродушно ответил Мюллер, — выразить удивление тем, что столь достойный человек, каким все по праву считают рейхсфюрера СС, не сможет и впредь возглавлять группу армий «Висла»; рейх лишится возможности лишний раз убедиться в том, как благотворно влияние людей СС на безыдейные силы вермахта...

Борман покачал головой:

— Тогда вы бы сразу расписались в том, что служите дураку или параноику... А я психически абсолютно здоров, что, увы, лишает меня надежды прослыть гениальным... Нет, милый Мюллер, вы должны были сказать, что такого рода решение вас совершенно изумило, а затем достали б блокнотик с ручкой да и показали б, что вы ничего не можете сами, но лишь умеете скрупулезно выполнять то, что вам предпишет шеф.

Мюллер удержался от того, чтобы не сказать: «Вы навязываете мне свою манеру поведения, стоит ли повторять? Ведь именно поиск рождает новые повороты к а ч е с т в а».

Борман, словно бы поняв эти мысли Мюллера, заметил:

— Да, да, именно так! Я навязываю вам стереотип поведения, который привел меня в то кресло, где я сижу сейчас, и делаю это потому лишь, что наши с вами отношения в последние недели стали особыми, Мюллер... А теперь скажите главное: сможете ли вы сделать так, чтобы в Кремле уже завтра узнали про два события, внешне ничем между собою не связанные: первое — начальником штаба вместо Гудериана назначен генерал Кребс, находившийся в тени потому, что был служащим военного атташата в Москве при Шуленбурге, когда тот был послом. Кребс слишком хорошо знал русских и всячески подчеркивал свое убеждение, что военная победа над Россией невозможна; второе — что на пост начальника штаба Кребса провел рабочий секретарь фюрера, некий Борман, полагающий, что именно Кребс — в нужное время — сможет договориться с советским Верховным Главнокомандованием о необходимости прекращения кровопролития.

— Смогу, — ответил Мюллер, окончательно убедившись в том, что у Бормана существует детально проработанный план спасения, в котором элемент случайного провала, конечно же, учтен, но главная ставка сделана на обстоятельную п л а н о м е р н о с т ь удачи.

— Я верю вам, — сказал Борман. — Так что теперь вы вправе задавать вопросы.

— Стоит ли, рейхсляйтер? Я бесконечно вам предан, ваше восхождение говорит за то, что вы знаете наперед не два или три, а сто ходов и рассчитываете их так, что всякое сотрясение воздуха моими недоумевающими словесами сможет помешать вам держать нити плана в едином клубке замысла.

Борман заметил:

— Что-то вы заговорили, словно Шелленберг: слишком витиевато, а посему — подозрительно...

— Каждый человек всегда норовит хоть в чем-то взять реванш, если отдает себе отчет, что в главном, то есть в уме, реванш невозможен... Вот я и начал заливаться по-соловьиному, не сердитесь...

— Ответ убедителен... И наконец, две последние позиции, Мюллер... Сделайте так, чтобы ваша служба получила тревожный сигнал из Фленсбурга, с морской базы гросс-адмирала Деница, по поводу того, что на борту подводной лодки особого назначения ведутся недопустимые разговоры среди офицеров флота... И нач-

ните там р а б о т у... Договоритесь с людьми, обслуживающими подводный флот, чтобы они согласились на введение в экипаж пятерых ваших наиболее доверенных коллег... Пусть они едут туда немедленно... Пусть они знают, что без вашей команды эта подводная лодка не вправе отойти от пирса ни на сантиметр... А вот эту папку с рядом вопросов по делу Рудольфа Гесса я доверяю не вам — а памяти ваших внуков. Прочитав это дело, можно сохранить главную тайну рейха или, наоборот, потерять ее, что вообще-то обидно. — Словно бы испугавшись того, что Мюллер спросит его о чем-либо, Борман быстро поднялся, передал папку группенфюреру и сказал: — До свидания, вы свободны!

...Потом он принял Кальтенбруннера, проверив по часам н е в о з м о ж н о с т ь даже случайной встречи Мюллера с его непосредственным начальником; прочитал три страницы, написанных в концлагере Канарисом, поинтересовался, насколько эти данные интересны, выслушал ответ, из которого явствовало, что такого рода информация в картотеках РСХА не зарегистрирована, не говоря уже об отделах армейской разведки, спрятал листочки в сейф, заметив при этом:

— А вот через меня такого рода информация проходила, Кальтенбруннер, и это не та информация! Канарис отдает нам шелуху, попробуйте с ним еще чуток поработать, но, мне сдается, ставить на него нет смысла — в ы с к о л ь з н е т... Если снова начнет финтить — ликвидируйте его: нечего переводить лагерную брюкву и кофе на бесперспективного человека...

Затем он попросил Кальтенбруннера устроить для него встречу с посланником Аргентины таким образом, чтобы ни одна живая душа, кроме них двоих, об этой встрече не знала, и отправился встречать Кейтеля, который с минуты на минуту должен прибыть из Майбаха для ежедневного доклада фюреру о положении на фронтах...

...А поздно вечером, за час перед вечерним совещанием в ставке, к нему позвонил Штирлиц.

— Через два дня, — сказал Штирлиц, когда они увиделись, — ночью, в генеральном консульстве Швеции в Любеке рейхсфюрер Гиммлер начнет новый тур переговоров с графом Фольком Бернадотом. Эти сведения абсолютны, и я счел своим долгом сообщить вам об этом немедленно...

— Спасибо, — задумчиво откликнулся Борман. — Если бы я не верил вам и не имел возможности пере-

проверить такого рода факт, я бы счел это бредом... Не за границей, а здесь, не тайно, а на глазах нации, в рейхе! Немыслимо! Вы сообщили об этом Мюллеру?

— Нет.

— Сообщайте теперь ему об всем, Штирлиц. Чем дальше, тем мне будет труднее уделять вам время, вы понимаете, как серьезна ситуация. Доверяйте Мюллеру, как мне, он получил мои рекомендации по большинству позиций, которые всех нас беспокоят.

Вернувшись в бункер, Борман прошел в маленькую комнату, где постоянно жил его помощник штандартенфюрер Цандер вместе с двоюродным братом Бормана, начальником гвардии охраны Альбрехтом, и, плотно прикрыв дверь, сказал:

— Цандер, кто из близких рейхсмаршалу людей послушает вашего совета?

— Майор Йоханмайер, — ответил Цандер.

— Да нет же, — досадуя чему-то, возразил Борман. — Он теперь адъютант фюрера, а не человек рейхсмаршала... Я спрашиваю про тех, кто постоянно находится вместе с Герингом...

— Полковник Хубер. Он готов оказать мне любую услугу.

— У него шрам на лбу?

— Да.

— По-моему, кто-то из его родственников по жене был связан с заговорщиками? Чуть ли не двоюродный дядя?

— Именно поэтому я и могу на него положиться.

— Кандидатура хороша... Вы ему верите абсолютно?

— У меня есть все основания...

— Хорошо... Вы должны начать с ним работу в том направлении, что Герингу пора подумать о скорейшей передислокации в Альпийский редут, дабы именно оттуда продолжать борьбу с врагом... Руководить авиацией из Каринхалле невозможно... Вы должны мягко, но точно напомнить Хуберу, а тот, в свою очередь, рейхсмаршалу, что здесь, в канцелярии, может произойти всякое, поэтому приказ фюрера о том, что именно он, Геринг, назначен преемником Гитлера, имеет огромное значение для судеб нации, особенно если вышепоставленные изменники добьются успеха в тайных контактах с врагом... Пусть этот Хубер постоянно напоминает Герингу, что мир возможен лишь между солдатами, а Гиммлер никогда не

был солдатом, потому-то фюрер и освободил его от должности командующего группой армий «Висла»... Да, да, приказ уже готов, я передам его вам... А он, Геринг, солдат, этого у него никто не отнимет... Более того, пообещайте Хуберу постоянно держать его в курсе событий, происходящих в бункере. Еще конкретнее — войдите с ним в сговор, сыграв роль человека, обреченного мною на гибель... Пообещайте ему передать в нужный момент закодированным текстом ту дату, когда Геринг должен будет провозгласить себя преемником фюрера.

Центр. Генерал Гудериан смещен с поста начальника штаба германской армии. Его преемник — Ганс Кребс, в прошлом оказавшийся в опале, судя по словам Мюллера, потому, что был «чрезмерно уважителен по отношению к русским». *Юстас.*

Юстасу. Можете ли получить информацию о мере готовности Кребса для контакта с тем, кого мы вам назовем? *Центр.*

Начальник разведки напрасно ждал немедленного ответа на эту телеграмму, отдавая себе отчет, сколь большой интерес она вызовет в Берлине у тех, кто вел свою игру.

Штирлиц чувствовал, как в Центре ждут его ответа, ему теперь было до конца ясно, что его поняли дома, но он не стал отвечать, зная, что Мюллер сейчас сидит в своем кабинете, прикидывая тот вариант ответа Москве, который ему выгоден, причем — вполне вероятно — он решит обсудить эту препозицию с Борманом и лишь потом придумает такую ситуацию, при которой скажет о Кребсе т о и т а к, что неминуемо заинтересует Штирлица.

...Мюллер приехал к нему без звонка, под утро, измученный, с тяжелыми синяками под глазами.

Включив приемник, он нашел волну Лондона, настроился на музыкальную передачу и только после этого тяжело опустился в кресло.

— Сейчас я расскажу вам нечто такое, — сказал он, покашливая, — что всякому здравомыслящему члену национал-социалистской партии покажется вздором и

ужасом, однако идиотизм положения заключен в том, что каждое слово в этом документе, — он тронул мизинцем папку, переданную ему Борманом, — истина. Посмотрите это, Штирлиц. Посмотрите так, как это умеете делать вы, и объясните мне, что это такое...

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ (ГЕСС)

«Новые данные, которые получила наша служба «заграничных организаций», вынуждает НСДАП вернуться к делу Рудольфа Гесса, получившего членскую книжку партии и золотой значок под номером «17» в один месяц с фюрером, после того как они отбыли заключение в одной камере тюрьмы Ландсберг, где была написана «Моя борьба» — им, Гессом, под диктовку Адольфа Гитлера.

Возвращение к этому делу вызвано тем, что служба личной референтуры Гиммлера отказалась дать ответы на ряд вопросов, возникших в связи с информацией, поступившей из Лондона, где ныне находится Р. Гесс или же тот, за кого выдают некоего человека сотрудники британской секретной службы.

Не дали вразумительных ответов также и те люди из окружения рейхсмаршала Геринга, которые — в силу возложенных на них задач — обязаны были знать о полете Гесса все, поскольку именно они отвечали и за производство боевых машин, и за наблюдение за всеми самолетами, появлявшимися в небе рейха начиная с 1 сентября 1939 года.

Итак, по пунктам:

1. 10 мая 1941 года в 17.54 из Аусбурга под Мюнхеном вылетел самолет марки «Мессершмитт-110», названный «Церштёрером», — б е з двух дополнительных баков для бензина под крыльями. (В деле имеется фотография самолета, на котором улетел Гесс, изъятая при аресте у его адъютанта Пинча.)

2. 10 мая 1941 года в 22.00 радары британской авиации засекли пролет одиночного самолета в направлении Холи Айленда в Нортумберленде (сведения получены от агента «С-12», внедренного в ВВС Великобритании по линии «заграничной организации НСДАП»).

3. 10 мая 1941 года в 22.50 неизвестный пилот парашютировался в Шотландии, а самолет марки «Мессершмитт» потерпел аварию. Пилот в дальнейшем заявил, что он — не «капитан Хорн» — как называл себя вначале, — но заместитель фюрера Гесс. Он прибыл сюда

с миссией мира для бесед с принцем Гамильтоном, другом его приятеля Альбрехта Хаусхофера; «мессершмитт», который назавтра был обнаружен на картофельном поле, имел д в а дополнительных бака для горючего.

4. Запрошенный нами директор департамента истории концерна «Мессершмитт» доктор Эберт не смог дать сколько-нибудь серьезную информацию по поводу самолета, на котором вылетел заместитель фюрера, поскольку изо в с е х хранимых дел на к а ж д ы й аэроплан, когда-либо выпущенный заводами Мессершмитта, лишь описание и спецификация того, что взял себе Гесс, отсутствует в архиве предприятия.

5. Поскольку ни один самолет — по законам военного времени — не имел права подняться в воздух без соответствующей «полетной карты», поскольку «мессершмитт» Гесса пролетел над радарными зонами Мюнхена, Кёльна, Амстердама и б ы л обязан дать пароль наземной службе наблюдения (в противном случае его принудили бы приземлиться или — в случае отказа — сбили огнем зенитных батарей), были запрошены все подразделения люфтваффе, однако н и г д е и н и к е м пролет о д и н о ч н о г о самолета над территорией рейха 10 мая 1941 года зафиксирован не был. (Вполне, впрочем, вероятно, что люфтваффе Геринга не захотело — по каким-то особым причинам — передать НСДАП архивные дела, связанные с этим вопросом.)

6. Допуская мысль, что Гесс приземлялся на одном из военных аэродромов в районе Кёльна или же на оккупированной территории Голландии для подзаправки горючим, люфтваффе было запрошено и по этому поводу. Нами получен ответ, в котором категорически отвергается такого рода возможность.

7. Из данных, пришедших из Глазго, тем не менее становится очевидно, что в одном из подвесных баков разбившегося в Шотландии «мессершмитта» было обнаружено горючее, в то время как без подзаправки и без дополнительных баков самолет просто-напросто не смог бы достичь берегов Англии.

8. В конце марта 1941 года генерал люфтваффе Удет, самый доверенный кумир рейхсмаршала Геринга, был передислоцирован на юг Норвегии с эскадрильей «мессершмиттов» для «конвоирования судов». Все его машины были типа «Церштёрер», то есть именно такие же, на которой вылетел из Аусгбурга заместитель фюрера. Штаб Удета не захотел или не смог представить в

НСДАП сведения о полетах офицеров экскадрильи 10 мая 1941 года, так как, по его словам, документы той поры сгорели во время одной из бомбежек.

9. По свидетельству генерала люфтваффе Адольфа Галланда, командовавшего эскадрильей «мессершмиттов», дислоцировавшихся на побережье Северного моря, как раз в том месте, где должен был пролетать Гесс, к нему позвонил рейхсмаршал Геринг и потребовал поднять в воздух эскадрилью, чтобы сбить самолет, на котором летит в Англию заместитель фюрера, «сошедший с ума». Это произошло вечером 10 мая, то есть через час или два после вылета «мессершмитта» из Аугсбурга, до того еще момента, как он приблизился к побережью. Однако назавтра в штаб-квартире фюрера, куда Геринг был вызван вместе с другими лидерами НСДАП на экстренное совещание по делу Гесса, рейхсмаршал заявил, что он ничего не знает о полете Гесса.

10. Судя по информации, поступившей из Лондона, медицинский осмотр Гесса не зафиксировал каких-либо шрамов на теле пленника. В то время как во врачебной карте, составленной в нашем военном госпитале 23 ноября 1937 года, отмечены следующие шрамы, полученные заместителем фюрера на полях битв: 12 июня 1916 года он ранен в левую руку и ногу осколком снаряда под Думантом; 25 июня 1917 года он вновь ранен в левую руку; 8 августа 1917 года ранен в левое бедро пулей возле Унгуреана.

11. Судя по информации, поступившей из Глазго, министерство обороны Великобритании хранит досье на все авиакатастрофы, произошедшие на территории страны; тем не менее дело «мессершмитта», на котором прилетел Гесс, в делах министерства обороны якобы отсутствует.

12. По полученным из Дублина сведениям, военный кабинет Черчилля запретил делать фотографии Гесса. В мае 1941 года фюрер более всего опасался, что британцы, использовав наркотики, выведут Гесса к радиомикрофонам и он станет вещать на рейх; этого также не случилось, ибо все в Германии хорошо знают его голос. В одном из секретных меморандумов, которые были направлены кабинету Черчилля из того лагеря, где содержится ныне пленник, приводились слова Гесса о том, как он дружил с рейхсмаршалом Герингом, хотя всем известны их натянутые отношения, и при этом бранил рейхсфюрера СС, несмотря на то что их связывала дружба. Стало известно также, что пленник ест мясо и рыбу, причем жадно и чавкая, в то время как заместитель фюрера —

вегетарианец и всегда отличался особо изысканными манерами.

13. Сейчас в свете предательских переговоров с Западом можно сделать вывод, что контакты эти были начаты не вчера и не только лишь Канарисом и Шелленбергом.

Альбрехт Хаусхофер, сын известного основателя геополитики Ганса Хаусхофера, был отправлен Гессом еще 27 апреля 1940 года в Женеву, на встречу с президентом шведского Красного Креста доктором Буркхардом, во время которой обсуждался вопрос о необходимости заключения мира между рейхом и Великобританией. Тот же Альбрехт Хаусхофер по прямому поручению Гесса поддерживал контакт с «госпожой Робертс» в Лиссабоне с целью подготовить почву для заключения мирного договора с Лондоном. Следовательно, заместитель фюрера обладал надежной сетью с в я з е й на Западе с теми, кто готов был предпринять все возможное, чтобы содействовать его идее мира между Берлином и Лондоном накануне начала операции «Барбаросса».

Исходя из вышеизложенного, можно допустить, что Гесс летел не в Шотландию (туда был отправлен двойник на случай провала его миссии), а в одну из нейтральных стран, где функционируют п р и в а т н ы е аэродромы; там Гесс мог пересесть на другую машину и оказаться в Лондоне со своими мирными предложениями, в то время как «капитан Хорн» уже находился в секретном лагере для высокопоставленных узников, являясь р а с х о ж е й фигурой в глубоко законспирированной «комбинации мира». Таким образом, можно дупустить существование давнего контакта «Гресс — Черчилль».

14. Поскольку я, как заместитель Гесса, знал о его «мирных намерениях», но, естественно, считал их согласованными с фюрером; поскольку моим девизом всегда было и будет дружество по отношению к тем, с кем я работаю; поскольку подозрительность не свойственна идеологии и практике национал-социалистов, возникают следующие вопросы:

а) кто из высшего руководства рейха мог помогать Гессу в практическом осуществлении его плана?

б) кто из людей Геринга, имевших право распоряжаться полетами боевых машин, мог быть склонен Гиммлером к сотрудничеству и мог подготовить отвлекающий полет двойника Гесса в Шотландию в целях тотальной конспирации мирных переговоров заместителя фюрера с Черчиллем?

в) мог ли Геринг пойти на блок с Гессом?

г) мог ли Канарис или близкие ему люди из генерального штаба армии оказать подобного рода помощь заместителю фюрера, любая просьба которого расценивалась в рейхе как указание Адольфа Гитлера?

д) есть ли достаточный материал для компрометации Гесса; в случае если он после окончания войны станет претендовать на лидерство в национал-социалистском движении, а если нет, то как их можно получить в самое ближайшее время?

Разглашение даже одного слова из данного меморандума карается казнью виновного и всех членов его семьи, где бы они ни проживали и сколь бы велики ни были их прежние заслуги перед НСДАП».

...Подписи Бормана под документом не было, только странная закорючка, однако именно такого рода закорючкой рейхсляйтер утвердил документы на семьдесят миллионов долларов, которые были внесены на имя «доктора Фрейда» в буэнос-айресском банке «Торнкист» в феврале 1945 года.

...Гесс — в бытность свою заместителем фюрера — не подписал ни одного финансового документа такого рода, так что в этом смысле он не был опасен Борману. Он, однако, был опасен с точки зрения иерархии престижей: все приверженцы тоталитарного конформизма были, есть и будут почитателями званий, а не ума, должности, а не сердца, орденских декораций, а не чести и морали.

...Когда Штирлиц кончил читать, Мюллер нетерпеливо спросил:

— Ну?

— Пока не понимаю.

— Гиммлер? Он подтолкнул Гесса?

Штирлиц покачал головой:

— И вы ничего никогда ни от кого об этом не слыхали? До вас не доходила информация? Хоть отраженная?

— Штирлиц, я только год назад узнал, как убивали «братьев» фюрера, вождей нашей партии, ее создателей, Грегора Штрассера и Эрнста Рема. Мне рассказали, что каждый из них перед расстрелом восклицал: «Хайль Гитлер!» Они плакали, убеждая палачей, что фюрер обманут, они молили об одном только — о встрече со своим кумиром. Мне лишь недавно показали письма Гитлера, которые он послал им накануне ареста. Он писал о своем чувстве дружбы и благодарности героям на-

ционал-социалистской революции, он объяснялся в любви к своим «братьям по партии» Грегору и Эрнсту, он называл их на «ты» и просил их всегда быть с ним рядом.

— А вы убеждены, что Борман не хитрит с вами? Зачем надо было подменять Гесса?

Мюллер пожал плечами:

— У меня есть предположения. Первое: сам Борман — через Гиммлера — отправил в Шотландию двойника, а настоящего Гесса передислоцировали — это же было накануне удара по русским, всего за сорок дней до начала войны, — в секретные опорные базы НСДАП в Испании. Если фальшивый Гесс договаривается с англичанами о мире, тогда дело выиграно, начинается война на одном фронте, англичане выдают нам фальшивого заместителя фюрера, настоящий также возвращается, тайна операции соблюдена. Предположение второе: Борман в своей борьбе за власть — скорее всего, через Геринга — в самый последний момент каким-то образом подменил Гесса, и в Шотландию действительно прилетел двойник, отправленный — вместо сбитого Гесса — из Норвегии, с наших баз. Значит, Борман, пугая русских, может уже сейчас начать кампанию: «Истинный Гесс спрятан Черчиллем, выдадут безумного двойника, а заместителя фюрера англичане готовят к лидерству в Германии после гибели Гитлера!»

— Когда вам надо возвратить эти материалы? — спросил Штирлиц.

— Вы с ума сошли, — сказал Мюллер, поднимаясь. — Вы думаете, я оставлю их вам? Для работы? Я их вам не оставлю, Штирлиц, хотя я ничего сейчас не соображаю, ровным счетом ничего, и все мои предположения рождены не знанием, а растерянностью.

«И я ничего не соображаю, — сказал себе Штирлиц, провожая Мюллера на крыльцо особняка, к машине. — Я был убежден, что он приехал с разговором о Кребсе. Неужели я окончательно запутался? Это просто-напросто ужасно, если так. Значит, я испугал себя, и он не ведет никакой игры?»

...Лишь устало спускаясь по лестнице, Мюллер сказал то, чего так ждал Штирлиц:

— Мне все труднее понимать Бормана. Он, наперекор всем, протащил на пост начальника штаба Кребса. Гудериан бы стоял насмерть, а Кребс может сесть с красными за стол переговоров, чтобы пустить их сюда, но

на приемлемых для нас условиях. Он может сделать так, что русские выиграют берлинскую битву без боя.

Мюллер не мог себе представить, что материал, переданный ему рейхсляйтером, был одним из звеньев дьявольской игры Бормана, который никогда и никому, кроме себя, не верил, имел абсолютно надежную информацию, что у англичан сидит именно Гесс, а «Хорн», если и был такой, давно ликвидирован как неугодный свидетель. Борман полагал, что, если эта дезинформация уйдет — через Мюллера — в Москву, она может оказаться той каплей, которая переполнит чашу терпения русских.

...Штирлиц, однако, просчитал возможный ход мыслей рейхсляйтера и, в свою очередь, решил, что игра на противоречиях Борман — Мюллер не только возможна, но и, в определенной ситуации, спасительна.

Центр. По мнению Мюллера, генерал Кребс готов к контактам, однако они могут состояться лишь в тот момент, который будет определяющим в плане изменения политической ситуации в бункере. Когда на мой счет были переданы деньги, причитающиеся за предыдущую информацию? *Юстас*

Эту радиограмму Исаева начальник разведки решил пока что не докладывать Сталину, понимая, какой может оказаться его реакция. Он отправил в Берлин еще две шифровки, в которых — приняв игру Исаева — просил Юстаса выйти на связь не ранее, чем через неделю, помогая, таким образом, Штирлицу получить возможность выезда в Швейцарию с его новым «подопечным» Рубенау, и сообщил, что через десять дней в Берлине его «найдет связник».

Советская разведка справедливо полагала, что даже один выигранный для Исаева час может оказаться решающим и в его судьбе, и в судьбах сотен тысяч советских воинов, занимавших исходные рубежи для удара по Берлину.

ВОТ КАК УМЕЕТ РАБОТАТЬ ГЕСТАПО! — II

Мюллер долго изучал последнюю шифровку, отправленную Штирлицу его Центром, рисовал замысловатые геометрические фигуры, пугавшие его своей безнадежной завершенностью, и каждый раз спотыкался на указании Москвы выйти на связь не ранее, чем через неделю.

«Сейчас дорог каждый час, — снова и снова говорил он себе, — как они могут позволять Штирлицу не гнать информацию постоянно? Каждая минута таит неожиданность, рука должна быть на пульсе больного, отчего же связь прервана на семь дней? Хотя, быть может, они делают главную ставку на связника? И боятся повредить Штирлицу, если станут понуждать его к такого рода активности, которая особенно чревата провалом? Допустим, я сегодня забираю Штирлица, выкладываю ему все шифровки, доказательства абсолютны, требую от него работы на себя, он отказывается; я могу применить такого рода пытки, что он согласится или сойдет с ума. Скорее, впрочем, случится второе. Ну, хорошо, допустим, он все же сломается. И станет работать. Но ведь он и сейчас работает на меня, только втемную. Отчего же тогда я так разнервничался?

Мюллер умел слушать свои мысли, он явственно различал интонации, манеру произносить слова, только обычно путался со знаками препинания: не мог понять, где следует с л ы ш а т ь двоеточие, а где — тире.

Он вдруг споткнулся на слове «разнервничался», Боже, какое оно старое, последний раз он слышал его от бабушки, она часто говорила всем, что у нее расшатана нервная система, а в доме смеялись: откуда у неграмотной старухи такие ученые обороты?

Мюллер сначала услышал свой короткий смешок, а уже потом ответ самому себе: «Ты разнервничался оттого, что приближается тот день, когда Штирлиц должен ехать в Швейцарию, а ты до сих пор не знаешь, как замотивировать то, что он туда не поедет. Для тебя было ясно с самого начала, что отпускать его к нейтралам нельзя, но ты позволил себе роскошь отнести на завтра то, что надо было придумать уже неделю назад, вот отчего ты так разнервничался. Лицо Штирлица постоянно стоит у тебя перед глазами, ты видишь, как оно постарело за эту неделю, он стал стариком, виски седые, глаза в морщинах; он тоже понимает, что идет по тонкому канату между двумя десятиэтажными зданиями, а внизу стоит молчаливая толпа и жадно ждет того мгно-

вения, когда он начнет терять равновесие, размахивать руками, силясь восстановить его, потом, в падении уже, будет стараться ухватить пальцами канат, но не сможет, и полетит вниз, навстречу теплой толще асфальта, и захлебнется криком, мольбою, хрипом ниспослать ему смерть сейчас, немедленно, пока еще он летит, — это не так страшно, в этом хоть какая-то надежда, а когда тело шлепнется оземь, надежды не станет — отныне и навечно... Между прочим, вместо слова «разнервничался» сейчас произносят «разволновался», это некрасиво, смещение понятий, подмена смысла... С другой стороны, — продолжал устало думать Мюллер, — почему на этот раз Штирлиц не назвал фамилию Бормана в связи с Кребсом, а упомянул лишь мою? Я выделил ему этот узел вполне определенно, он не мог не понять меня, отчего же он отправил в их Центр такую осторожную информацию? А если он ее р а с т я г и в а е т? — возразил себе Мюллер. — Он же постоянно требует сообщений, куда и когда переведены деньги на его счета... С Дагмар все было сработано отменно, шифровки от «нее» будут идти такие, в каких мы заинтересованы; эта самая Марта, которая дублирует Дагмар, даже в чем-то на нее похожа, допусти я слежку за нею в Швеции... Нет, видимо, я разнервничался оттого, — понял наконец Мюллер, — что все время вспоминаю Париж, день накануне вступления туда наших войск... Попытки властей хоть как-то сдержать панику, придать эвакуации организованность разлетелись вдрызг, когда наши танки вышли к Парижу; ситуация сделалась неуправляемой... И здесь, у нас, в Берлине, когда Жуков начнет штурм, когда он перевалит через Одер и покатится сюда, положение может исчезнуть, а именно тогда он будет мне особенно нужен, чтобы поддерживать через него связь с Центром — перед тем как исчезнуть во Фленсбург, к подводникам, если Борману не удастся сговориться — в последний момент — с красными... Да и потом, венец моего замысла — главный удар по русским — я не смогу нанести, если Штирлиц исчезнет. Он просто-напросто не имеет права исчезнуть, потому что тогда моя вторая ставка — ставка на Запад — тоже окажется битой: там не принимают с пустыми руками, прагматики... Ладно, стоп, — прервал себя Мюллер. — Ты распускаешься, а это никуда не годится. Запомни: если в минуту полного хаоса человек сможет думать о порядке и дробить факты на звенья, которые надлежит собрать в ящичек, где складывают детские фигурки из разноцветных камушков, тогда только этот

человек победит. Если он начнет поддаваться эмоциям, иллюзиям и прочим химерам, его сомнет и раздавит... Складывай фигурки из камушков, времени мало... Итак, первое: сегодня моя бригада заложит мину и поднимет в воздух дом радиста Штирлица в Потсдаме... Пусть останется без связи, пусть поищет связь, это всегда на пользу дела, пусть разнервничается. Второе: сейчас же закрыть «окно» на границе. Третье: немедленно погасить его гражданский паспорт со швейцарской визой... Четвертое: Ганс... Для Интерпола я сработал Дагмар; Штирлица схватят, если он все-таки — чем черт не шутит — прорвется к нейтралам; здесь, после того как я решу с Гансом, Штирлиц должен попасть в руки криминальной полиции. Все, дверь захлопнута, ку-ку... Вот так... А уж потом посмотрим, как станут развиваться события... И снова ты не до конца откровенен с собою, Мюллер... Ты все время норовишь организовать дело таким образом, чтобы жизнь принудила тебя посадить Штирлица в камеру и сказать ему: «Дружище, текст, который вы отправите в Центр, должен звучать так: «Мюллер в свое время спас меня от провала и, таким образом, помог сорвать переговоры Вольфа с Даллесом; сейчас он предлагает сотрудничество, однако требует гарантий личной безопасности в будущем». Ты хочешь видеть, к а к Штирлиц составит эту шифровку, ты хочешь насладиться его унижением, но более всего ты ждешь презрительного отказа из его Центра, поскольку этот презрительный отказ и даст тебе силы превратиться в сгусток энергии, в концентрат воли, чтобы победить обстоятельства, выжить и начать все сначала...»

...Штирлиц вернулся к себе в Бабельсберг с пепелища маленького особняка в Потсдаме, где жил радист Лорх, увидел полицейскую машину возле своих ворот, ощутил п у с т у ю усталость и понял, что и г р а вступила в последнюю стадию. Он понимал, что сбежать отсюда нельзя, все дороги, видимо, перекрыты, так что иного исхода, кроме как вылезти из машины, захлопнуть дверь и пойти в дом, навстречу своей судьбе, у него нет.

Так он и сделал.

...Два инспектора криминальной полиции и фотограф осматривали труп Ганса. Парень был убит выстрелом в висок, половину черепа снесло.

Посмотрев документы Штирлица, по которым он здесь жил, старший полицейский поинтересовался:

— Кто мог быть здесь, кроме вас, господин доктор Бользен?

— Никого, — ответил Штирлиц. — Следы есть?

— Это не ваша забота, господин доктор Бользен, — сказал младший полицейский. — Занимайтесь своим народным предприятием имени Роберта Лея, не учите нас делать свое дело...

— Дом куплен на имя доктора Бользена, а я — штандартенфюрер Штирлиц.

Полицейские переглянулись.

— Можете позвонить в РСХА и справиться, — предложил Штирлиц.

Старший полицейский ответил:

— У вас перерезан телефон и разбит аппарат, поэтому мы позвоним в РСХА из нашего отдела криминальной полиции. Едем.

В помещении районного крипо пахло гашеной известью, хлоркой и затхлостью; на стенах были тщательно расклеены плакаты, выпущенные рейхсминистерством пропаганды: «Берлин останется немецким!», «Т-с-с-с! Враг подслушивает!», «Немецкий рыцарь сломает русского вандала». Фигуры и лица солдат на плакатах были неестественно здоровыми, мускулистыми и многозубыми.

«Такого хода я не мог себе представить, — подумал Штирлиц, когда его, почтительно пропустив перед собою, ввели в маленький кабинет, освещенный подслеповатой лампочкой. — И снова — ждать; меня ведут за собою события, я бессилен в построении своей линии, мне навязывают ходы и не дают времени на обдумывание своих».

За столом, таким же обшарпанным, как и этот кабинет, обставленный м ы ш и н о й, нарочито унылой мебелью с многочисленными металлическими жетонами, на которых были выбиты длинные, безнадежные номера и буквы, сидел маленький человек в очках, оправа которых была жестяной, очень старой, чиненной уже, и что-то быстро писал на большом листе бумаги, отвратительно шаркая при этом ногой по паркету.

Подняв глаза на Штирлица, он разжал свои синеватые тонкие губы в некоем подобии улыбки и тихо произнес:

— Как все неловко получается, господин доктор Бользен...

— Во-первых, хайль Гитлер! — так же тихо, очень спокойно ответил Штирлиц. — Во-вторых, я предъявил вашим сотрудникам свои документы... С фамилией вы-

шло недоразумение, я живу в особняке под другим именем — так было решено в оперативных интересах, и, в-третьих, пожалуйста, позвоните бригадефюреру Шелленбергу.

— К такого рода руководителю я никогда не решусь звонить, господин доктор Бользен... Если вы действительно тот, за кого себя выдаете, мы запросим РСХА в установленном порядке, я вам обещаю это... Пока что, однако, я попрошу вас ответить на ряд вопросов и написать подробное объяснение по поводу случившегося в вашем доме.

— Отвечать на вопросы я вам не буду... тем более писать... Хочу вас предупредить, что я обязан сегодня вечером выехать в служебную командировку... Если мой выезд задержится, отвечать придется вам...

— Не смейте угрожать мне! — Маленький очкарик стукнул ладонью по столу. — Вот! — Он ткнул пальцем в бумаги, лежавшие перед ним на столе. — Это сигнал о том, что случилось в вашем доме! До того как вы вышли оттуда! В то время когда вы там были, прозвучал выстрел! А потом вы уехали! И вы хотите сказать, что я обязан стать перед вами по стойке «смирно»?! Да хоть бы вы были генералом! У нас все равны перед законом! Все! В вашем доме погиб солдат! И вы обязаны объяснить мне, как это произошло! А не захотите — отправляйтесь в камеру предварительного заключения! Если вы действительно тот, за кого себя выдаете, вас найдут! Это какой-нибудь несчастный лесник или сторож будет сидеть, дожидаясь суда, а вас найдут быстренько!

И Штирлиц вдруг рассмеялся. Он стоял в маленькой комнате старшего инспектора криминальной полиции и смеялся, оттого что только сейчас по-настоящему осознал всю страшную, просто-таки невыразимую нелепость положения, в котором очутился.

«Нет, — поправил себя он, продолжая смеяться, — я не очутился. Меня поставили в такого рода положение, а я обязан обернуть ситуацию в свою пользу».

— Вы — мерзкое дерьмо! — сдерживая смех, сказал Штирлиц. — Маленькое, вонючее дерьмо! Вам не место в полиции.

Он выкрикивал обидные ругательства, понимая, какого врага в лице инспектора он сейчас получит; этого малыша наверняка не включили в игру, а с Гансом была игра, заранее спланированная, теперь ясно; малыша играют втемную, и он сейчас будет свирепствовать, начнет дело по обвинению в оскорблении должностного лица, в неува-

жении власти и закона, а бумага, раз написанная в этом проклятом рейхе, не может исчезнуть, она будет тащить за собою другие бумаги, если только не включится лично Мюллер, а ему ох как не хочется включаться. Лишние разговоры. Сейчас, накануне краха, все прямо-таки о с а т а н е л и во взаимной подозрительности, доносах, страхе... Ничего, пусть, лишнее доказательство их связи не помешает, коли он п о н я л его, Штирлица, пусть берет ответственность, пусть выкручивается...»

Маленький инспектор полиции поднялся из-за стола, и Штирлиц увидел, как стар его пиджак (видимо, перелицованный), сколь тщательно заштопана рубашка, как заглажен до шелковистого блеска галстук.

— Граус! — крикнул маленький тонким, срывающимся голосом.

Вбежали пожилой полицейский и два давешних инспектора; замерли возле двери.

— Отправьте этого мерзавца в камеру! Он посмел оскорбить имперскую власть!

В холодной камере, по стенам которой медленно струилась вода, Штирлиц, не снимая пальто, лег на нары, пожалев, что не надел сегодня свитер; свернулся калачиком, подтянул коленки под подбородок, как в сладком, нереальном уже детстве, и сразу же уснул.

И впервые за те недели, что вернулся из Швейцарии, он спал спокойно.

...Мюллер рассчитывал, что все произойдет совсем не так, как случилось.

Он полагал, что Штирлиц потребует в полицейском отделении немедленного разговора с Шелленбергом и этот разговор будет ему предоставлен. Шелленберг тут же свяжется с ним, Мюллером. «Я позвоню полицейскому инспектору крипо района Бабельсберг, выслушав доклад, скажу, что выезжаю на место происшествия, беру бригаду. Н а х о д я т улики, которые уже организованы моими людьми после того, как инспекторы увезли Штирлица в полицию. Даю при штандартенфюрере р а з г о н маленькому инспектору. Фамилия Шрипс смешная, а зовут звучно: Вернер. Жена Доротея, трое детей. Член НСДАП с июля 1944 года, вступил во время общей

истерии после покушения на фюрера. Тайно посещает церковь, не иначе как правдоборец, содержит семью брата Герберта, погибшего на восточном фронте, бедствует. Извинюсь перед Штирлицем за тупую неповоротливость крипо; рассеянно спрошу у своих, не обнаружили ли они каких-либо важных улик в доме; те ответят, что есть подозрительные пальцы на стене кухни возле следов крови, хотя нельзя утверждать окончательно, что пальцы эти оставлены уже после выстрела, надо тем не менее проводить тщательную экспертизу; я кладу отпечатки на стол, достаю лупу, прошу инспектора убедиться, что отпечатки подозреваемого им доктора Бользена совершенно не идентичны тем, которые обнаружены его, Мюллера, людьми; инспектор, однако, выкладывает свои отпечатки пальцев Штирлица, сравнивает обе таблицы, хочет что-то сказать, но я его прерываю, забираю отпечатки, снятые в крипо со штандартенфюрера, поднимаюсь и увожу Штирлица с собою, а уж в машине спрашиваю, зачем ему было нужно убирать Ганса. Если уж мешал, то можно было это сделать не дома». А теперь, после этого инцидента, просто-напросто рискованно пересекать границу, поездка в Швейцарию на грани срыва: эти крипо страшные формалисты, напишут рапорт Кальтенбруннеру про «преступление доктора Бользена», которому попустительствует Мюллер, тогда вообще заграничный паспорт — на время расследования, во всяком случае, — будет аннулирован.

Мюллер полагал, что такая комбинация не вспугнет Штирлица; угрозу его жизни он замотивировал во время первого их разговора после возвращения из Берлина; отдал ему своего шофера; не очень бранился, когда Штирлиц, несмотря на приказ, надул мальчика и перестал возвращаться домой, работая по Дагмар Фрайтаг.

...Шел уже третий час после того, как Штирлица увезли в полицию, а звонка оттуда до сих пор не было. В секретариате Шелленберга сидела та женщина, которая бы немедленно об этом сообщила, предположи Мюллер, что К р а с а в ч и к решит помудрить и не свяжется с ним сразу же.

Через четыре часа Мюллер потребовал точных данных от службы его личного наблюдения: номер машины, на которой увезли Штирлица (он вдруг подумал, а не подменили ли красные полицейских, но сразу же одернул себя: нельзя паниковать, все-таки пока еще мы здесь хозяева).

Номер машины был подлинным. Описание шофера,

фотографа, инспекторов Ульса и Ниренбаха совпали абсолютно.

Через пять часов Мюллер потребовал от с в о и х, чтобы был организован с и г н а л доброжелателя от соседей: «Незнакомцы увезли славного доктора Бользена».

Через шесть часов, после того уже, как сигнал был зафиксирован в РСХА, расписан на сектор гестапо, занимавшийся безопасностью офицеров СС и их семей, Мюллер выехал в крипо Бабельсберга, решив не звонить туда предварительно.

Вернер Шрипс приветствовал Мюллера, как положено, зычным «Хайль Гитлер!» и уступил ему свое место за столом, заметно при этом побледнев.

— Где наш человек? — спросил Мюллер.

— На Александерплатц... Я только что отправил его на Александерплатц, группенфюрер...

— В тюрьму крипо?

— Да.

— В чем вы его обвиняете?

— В оскорблении представителя власти, группенфюрер! Он позволил себе отвратительное и недостойное оскорбление должностного лица при исполнении им имперских обязанностей.

— Имперские обязанности исполняет фюрер, а не вы!

— Простите, группенфюрер...

— Вам известно, что вы задержали человека, находившегося при исполнении служебного долга?

— Мне известно только то, что я задержал человека, подозреваемого в убийстве, который к тому же оскорблял должностное лицо.

Мюллер перебил:

— Он просил вас позвонить в РСХА?

— Да.

— Отчего вы отказались выполнить его просьбу?

— Он потребовал, чтобы я позвонил бригадефюреру Шелленбергу! А я не имею права преступать ступени служебной лестницы.

— И за то, что вы отказали ему, он позволил себе недостойные высказывания в ваш адрес?

— Нет. Не только после этого. — Малыш в круглых очках рапортовал ликующе, остро себя жалея: — Я потребовал, чтобы доктор Бользен написал отчет по поводу случившегося в его доме... Он отказался и заявил, что не даст мне по этому поводу никаких объяснений... Поэтому я...

Мюллер снова перебил:

— Он вам так ничего и не написал?

— Нет, группенфюрер!

— И не дал объяснений?

— Нет, группенфюрер!

— Покажите мне копию обвинительного заключения. И не смейте никому и никогда говорить об этом инциденте. Дело об убийстве в доме Бользена я забираю с собою.

«Штирлиц помог мне своим поведением, — подумал Мюллер. — Он облегчил мою задачу. Я вытащу его из-под трибунала — а он сейчас может попасть под трибунал с пылу с жару, — и вопрос о Швейцарии отпадет сам по себе. Он станет метаться — мне только этого и надо, после метаний он придет ко мне и станет выполнять все те условия игры, которые я ему продиктую — взамен за спасение».

Мюллер пробежал текст обвинительного заключения, подписанного маленьким Вернером Шрипсом и двумя полицейскими, давшими свидетельские показания, попросил пригласить инспекторов в комнату и сказал:

— Всего того, о чем вы здесь написали, — не было. Ясно?

— Да, — тихо ответили оба инспектора, приезжавшие за Штирлицем.

Мюллер обернулся к коротышке Шрипсу.

— Это было, — ответил тот. — Я никогда не откажусь от моих слов, группенфюрер.

Мюллер поднялся и, выходя из комнаты, коротко бросил:

— Завтра в семь часов утра извольте быть в приемной РСХА.

...Через два часа, когда Штирлица привезли в кабинет Мюллера, тот спросил:

— Объясните — зачем все это?

— Хотелось спать, — ответил Штирлиц.

Мюллер потер лицо мясистой пятерней, покачал головою:

— А что? Тоже объяснение...

— Я устал, группенфюрер, я устал от игры, в которую втянут, которую не понимаю, сколько ни стремлюсь понять, и, видимо, не пойму до самого конца.

— Хорошо, что в полиции вы не стали оставлять пальцы. На кухне возле несчастного Ганса есть один отпечаток не в вашу пользу, хотя я допускаю, что вы не имели отношения к трагедии... Почему Шелленберг нарушил условия игры? Зачем он убрал моего парня?

— Он не нарушал. Ему это не выгодно.

— А кому выгодно?

— Тому, кто не хочет пускать меня в Швейцарию, группенфюрер.

Мюллер снова ощутил страх от того, как его с ч и т а л Штирлиц, поэтому ответил атакующе:

— Какого черта вы оскорбляли этого самого коротышку?! Зачем?! Я вызвал его сюда к семи утра! Вот, читайте его рапорт вкупе с обвинительным заключением! И подумайте о законах военного времени... Читайте, читайте! Про отпечатки пальцев там есть тоже! Если я смогу вас отмыть — отмою! А не смогу — пеняйте на себя!

«Главное — держать его при себе, — продолжал думать Мюллер, — наблюдать пассы, которые он станет предпринимать; готовить финал; слежка за ним поставлена так, что он не уйдет, пусть будет даже семи пядей во лбу; он — моя карта, и я сыграю эту карту единственно возможным образом...»

Резко и с т р а ш н о зазвонил телефон: теперь у Мюллера стоял аппарат прямой связи со ставкой.

— Мюллер!

— Здесь Борман. — Голос рейхсляйтера был, как всегда, ровен, без всяких эмоций. — Мне срочно нужен... этот офицер... я забыл имя... Привезите его ко мне...

— Кого вы имеете в виду? — снова пугаясь чего-то, спросил Мюллер.

— Того, который ездил на Запад.

— Шти...

— Да, — перебил Борман. — Жду.

...Борман имел все основания потребовать от Мюллера срочно доставить Штирлица...

Радиограммы, зашифрованные особым кодом, сработанным специально для Верхней Австрии секретным отделом НСДАП, читались только помощником Бормана: с тех пор как в Линце был депонирован «музей фюрера» — миллиард долларов как-никак, — все сообщения, связанные с этим у з л о м, составлялись в Зальцбурге лично гауляйтером Айгрубером, а принимал их в Берлине штандартенфюрер Цандер, самый близкий человек рейхсляйтера...

«По неподтвержденным сведениям, — час назад сообщил Айгрубер, — люди, близкие Кальтенбруннеру, заняты переправкой и укрытием в горных курортах Альт Аусзее значительного количества золотых слитков. При

этом верные члены НСДАП полагают, что именно в связи с этим просматривается цикличность передач вражеского радиста, сориентированного на Запад. Местное подразделение РСХА по-прежнему затягивает расследование, ссылаясь на особое мнение по этому делу, якобы существующее у партайгеноссе Кальтенбруннера. Более того, был зафиксирован интерес непосвященных к тем штольням, где укрыт «музей фюрера».

Эта информация легла на ту, которую только что прислал Борману заместитель начальника концлагеря по линии местного отделения НСДАП, и не какого-нибудь лагеря, а того именно, где содержался Канарис.

Он сообщил, что Кальтенбруннер бывал здесь трижды, уводил изменника с собою в лес, просил заварить для него настоящий кофе, был с ним демонстративно любезен. Поэтому заместитель начальника — на свой страх и риск — установил аппаратуру в той комнате, где происходили «кофепития»; расшифровывать запись не стал, а выслал ее в рейхсканцелярию с нарочным, в пакете за сургучными печатями.

Борман прослушал запись беседы Кальтенбруннера с Канарисом не без интереса. Ничего особенно тревожного в диалоге хитрой лисы и простодушного костолома с университетским образованием не было, но один пассаж заставил Бормана задуматься.

На вопрос Канариса, какой себе представляет будущую работу Кальтенбруннер, тот со странным смешком заметил: «А вы думаете, что работа вообще возможна? Я мечтаю о том лишь, чтобы заполучить одно право: жить».

Можно, конечно, было бы считать этот ответ конспираторским: Канарису нельзя верить ни на гран, рассказывать ему о планах работы по восстановлению и реорганизации идей национал-социализма в мире значило бы предать это будущее, ибо двуликий Янус умеет торговать — он и с чертом может провести посредническую операцию, однако, когда Кальтенбруннер вскользь заметил адмиралу, что первая информация, переданная ему Канарисом, далека от того, чтобы считаться по-настоящему интересной, тот возразил: «Ведь у нас был договор: когда мы исчезнем, я смогу лично, в вашем присутствии, провести беседу с теми мультиворотилами Латинской Америки, которые состоялись благодаря мне; без меня у вас ничего не выйдет; вы — разведчик, вы знаете, сколь ювелирна работа с теми, кого ты создал из ничего, а затем вывел к могуществу; они перестали

быть вашими агентами, вы отныне зависите от них, а не они от вас, ибо вы просите деньги и они выписывают любую сумму со своих бесконтрольных счетов».

Мысль верная, но именно эту верную мысль Кальтенбруннер отчего-то не зафиксировал в своем первом и единственном отчете ему, Борману, хотя, как выяснилось, он встречался с Канарисом трижды.

...В машине Мюллер спросил Штирлица:

— Вы звонили ему?

— Нет. — Про то, что Борман во время последней встречи просил его отныне держать связь через Мюллера, Штирлиц говорить не стал: стоит ли уступать позицию без боя?

— Как вы думаете, чем вызван этот звонок? — искренне недоумевая, поинтересовался Мюллер.

— Не знаю, — сухо ответил Штирлиц. — Я, во всяком случае, в работе с ним соблюдал все те правила, которые мы с вами оговорили.

О том, что радиограммы на Москву расшифрованы, знал только один Мюллер; слежка за Штирлицем осуществлялась под прикрытием организации его же безопасности: «После блистательно проведенной операции в Берне у штандартенфюрера слишком много могучих врагов». Группенфюрер и это аккуратно замотивировал при разговоре с рейхсляйтером; операция по устранению Дагмар проведена старым агентом Мюллера, его личной гвардией, в РСХА никто об этом не знает; и уж конечно, никто и не догадывался, какую игру с Москвой затеял Мюллер, используя Штирлица втемную.

Однако, пока в мире царствует скрытая сила Случая, пока существует сектор разностей, пока в одном с ним здании работают Кальтенбруннер и Шелленберг, удара можно ждать с любой стороны, и каким он будет — предугадать заранее невозможно.

— Он мог узнать про ваш арест? — продолжал спрашивать Мюллер, совершенно, впрочем, не нуждаясь в ответах Штирлица, просто ему так было удобнее думать, времени мало, надо проиграть все допустимые вероятия этого неожиданного вызова.

Если Борман прикажет немедленно вывести этого паршивца Рубенау в Швейцарию, придется Штирлица перехватывать на дороге, сажать на конспиративную квартиру, ломать его и принуждать к игре с московским Центром в открытую.

— Думаю, что нет, — ответил Штирлиц.

— А если ему сообщили из главного управления крипо? — спросил Мюллер и усмехнулся своему вопросу: кто из криминальников решит обратиться к рейхсляйтеру, перепрыгивая через иерархические ступени? Ерунда, такое возможно где угодно, но только не в Германии. — Вы будете чувствовáть меня во время беседы, Штирлиц... Сосредоточьтесь, постарайтесь настроиться на мою волну, это — в ваших же интересах.

— Я готов, но если б я знал то, что знаете вы, группенфюрер... Меня может повести не туда... Информированный человек никогда не совершит тех ошибок, которые совершают люди, лишенные знания...

— Вы — в деле, Штирлиц. Я не умею предавать... Добрый и доверчивый гестапо-Мюллер всегда страдал за свою доброту... У меня, во всяком случае, нет к вам никаких претензий... Мои подозрения живут во мне и умрут там, ибо лучше с умным потерять, чем с дураком найти.

...Борман принял их в своем маленьком кабинете, на втором этаже массивного здания штаб-квартиры НСДАП на Вильгельмштрассе, прямо напротив рейхсканцелярии. Обменявшись молчаливым партийным приветствием с вошедшими, Борман предложил обоим сесть в кресла напротив себя и сказал:

— Мюллер, я хочу, чтобы вы придали Штирлицу пару-тройку своих верных людей и срочно отправили их в Линц.

— Да, рейхсляйтер, — ответил Мюллер, испытывая неожиданное облегчение.

— Задача: в районе Альт Аусзее работает враг. Там же, — Борман посмотрел на Штирлица, — в соляных штольнях депонированы сокровища, которые принадлежат партии и нации. Над ними занесен меч. Необходимо отрубить ту руку, которая посмела этот меч поднять. Вам понятна задача?

— Нет, — ответил Мюллер. — Мы, секретная служба, грубые люди, рейхсляйтер. Отрубить вражескую руку может и другой человек, Штирлиц нужен мне здесь... Если же существует какой-то особый аспект проблемы, то Штирлиц должен его знать, иначе ему будет трудно выполнить задачу, возлагаемую вами.

— Если бы я считал нужным коснуться особых обстоятельств этого дела, я бы коснулся их, Мюллер, —

сухо заметил Борман. — Гауляйтер Верхней Австрии Айгрубер окажет Штирлицу необходимую помощь.

— Нет, — скрипуче возразил Мюллер. — Айгрубер — человек совершенно определенного склада, рейхсляйтер, он — простите меня — слепой фанатик, он ничего не видит и не слышит, он только повторяет лозунги, которые ему присылает доктор Геббельс. Мы так не умеем работать...

Штирлиц хотел было сказать, что он постарается найти верную линию поведения; ему надо вырваться из Берлина; судя по тому, как Мюллер отбивается от этой его поездки в Верхнюю Австрию, Ганс был убит именно для того, чтобы лишить его возможности маневра, и г р а Мюллера ясна ему; теперь можно уходить, а Мюллер не хочет этого, но сказать сейчас слово против него — значит провалить задумку, ибо, даже если Борман и прикажет, а Мюллер вынужден будет на словах, здесь, в этом кабинете, подчиниться, все равно он останется хозяином положения, когда они выйдут отсюда. Нет, надо молчать, слушать и ждать, будь трижды неладно это постоянное, изводящее душу ожидание...

Борман понял, что необходимо найти выход из сложного положения, он не был намерен сдаваться; в общем-то, можно согласиться с тем, что оба они оказались в сложном положении; то, что было нормой поведения раньше, ныне казалось игрой. Однако надо было найти такую форму отхода, которая не была бы унизительной для престижа рейхсляйтера. Это Борман умел.

— Ну если вы так высоко занеслись, Мюллер, сидя здесь, в центре, что стали с недоверием относиться к людям в областях, даже к гауляйтеру, мне ничего не остается делать, как разбить ваши подозрения... Враг, судя по всему, оперирует, имея базу в штаб-квартире Кальтенбруннера... Да, да, именно так. На его вилле «Керри», где расположена специальная группа шестого управления, действует враг. Вы понимаете всю деликатность задачи? Кальтенбруннер лично следит за работой радиооператоров, нацеленных на перехват всех сообщений с востока и запада. Если бы вам, Мюллер, сказали, что противник коллаборирует с сотрудником гестапо, как бы вы отнеслись к этому? Будучи честным человеком, вы бы оборвали собеседника, обвинив его в клевете. Я ведь не допускаю мысли, что вы намеренно можете держать подле себя врага...

Штирлиц улыбнулся:

— Ну отчего же... С точки зрения нашей профессии,

рейхсляйтер, это порою даже выгодно: отличная возможность начать игру.

Борман поднялся:

— Вот вы мне и докажете, что Кальтенбруннер ведет игру втемную, а не расчетливо и коварно покрывает врага в своем доме! Вот вы и принесете мне на стол доказательства абсолютной надежности вашего шефа! Но, если в ваших сердцах шевельнется хоть тень сомнения в его честности, вы немедленно же сообщите об этом мне. Лично. Сюда или в рейхсканцелярию.

И Штирлиц тогда задал вопрос, который позволил ему вырваться вперед, обогнать Мюллера, освободиться от его опеки, никак не обижая его при этом, оставляя за ним право на окончательное решение:

— Как отнесется к такого рода особому положению прибывшего человека гауляйтер Айгрубер? Ревность, опека, желание дать мне указание, как должно поступить, — такого рода коллизия исключается?

— Я пошлю ему радиограмму, что вы действуете автономно, согласно моему указанию. Увы, ревность гауляйтера я не исключаю. Если результаты проверки кончатся благополучно — связывайтесь со мной, поставив его обо всем в известность... Если же вы обнаружите трагедию, если вам станет очевидна неверность Кальтенбруннера, ничего не говорите Айгруберу, не надо, выходите прямо на меня...

Мюллер заметил:

— Спасибо, рейхсляйтер, теперь нам будет легче думать об этом деле.

Он понял, как обошел его Штирлиц на крутом вираже, он снова отдал дань уму и точности этого человека, поэтому решил сейчас выложить на стол свою козырную карту, которая, по его мнению, могла бы заставить Штирлица остаться в Берлине или, на крайний случай, как можно скорее вернуть из Линца к н о г е, подобно охотничьему псу, вкусившему сладкого запаха теплой крови.

— И последнее, рейхсляйтер, — сказал Мюллер. — Гелен передал мне все те документы по России, Югославии, Польше, частично по Франции, которые я у него просил. Это — уникальные материалы, слов нет. Если ценности «музея фюрера» в Линце исчисляются сотнями миллионов марок, то дела Гелена попросту не имеют товарной стоимости. Я был намерен поручить Штирлицу работу по подбору и учету этого кладезя информации по тем высоко стоящим людям в Москве, Белграде

и Варшаве, к которым мы — в будущем — сможем подходить. Папки с бумагами Гелена надо превратить в пятьдесят страниц; я убежден, что Штирлиц справился бы с этим делом лучше других...

— Посадите на этот узел кого-то из тех, кто сможет провести первую прикидку, предварить начало обстоятельной работы, систематизировать ее.

— Я не хочу хвалить Штирлица в глаза, но лучше его никто не сможет охватить это дело. Если кто-то начнет предварять и систематизировать, потом будет трудно раскассировать дело по секторам: армия, промышленность, идеология...

Мюллер лениво глянул на Штирлица, словно бы ожидая, что тот поможет ему, скажет «я готов начать предварительную работу немедленно, а после первой прикидки сразу же отправлюсь в Линц», но Штирлиц молчал, не отрывая глаз от Бормана, словно бы показывая этим, что он лишен права на окончательное решение.

— Нет, — сказал Борман, — все-таки туда надо ехать именно Штирлицу, потому что, по мнению экспертов Айгрубера, передачи сориентированы на Даллеса, на его центр... На фронте пока еще спокойно, хоть военные и пугают нас возможностью русской атаки. Штирлиц — со свойственным ему тактом — проведет работу в Линце за три — пять дней и вернется, чтобы готовить материалы Гелена...

И снова Штирлиц обошел Мюллера, ибо поднялся с кресла первым, давая этим понять, что считает разговор оконченным — приказ Бормана ему ясен и принят к исполнению.

Мюллеру ничего не оставалось, как сказать:

— Простите, дружище, не сочли бы вы возможным подождать в приемной? У меня конфиденциальный вопрос к рейхсляйтеру.

Штирлиц вышел.

— Рейхсляйтер, — снова кашлянув, сказал Мюллер. — Витлофф, подготовленный доктором Менгеле для внедрения в русский тыл, уже переброшен вашими людьми?

— Нет еще. Отчего вас это интересует? От кого пришла информация о нем?

— От ваших же людей. Там, в охране «АЕ-2», есть мой знакомец с времен Мюнхена, не браните его, для него я не что иное, как маленький слепок с вас... Интересует меня Витлофф потому, что та игра против русских, о которой я вам недавно говорил, входит в завершающую

стадию и мне нужны верные люди, верные не кому-либо, но именно вам, партии... Мой план выверен, уточнен; пора идею обращать в дело...

...Дожидаясь Мюллера в приемной, прислушиваясь к тишине, царившей здесь, — налетов не было, телефоны имели только три выхода: на Гитлера, Гиммлера и Кейтеля, ни с кем другим рейхсляйтера не соединяли, — Штирлиц сказал себе: «Надо уходить, поездка в Линц — последний шанс. Все, что можно было понять, я понял, выше головы не прыгнешь. Слова Бормана об изменнике, работающем возле Мюллера, были, конечно же, случайностью, но эта случайность стоила мне почти сердечного приступа. А про то, что они хранят в штольнях, я не имею права передавать в Центр, и так приходится ломать голову, где ложь, а где правда, и связника нет и, видимо, не будет, я стал объектом двусторонней игры, но если я хоть как-то могу понять наших, то здешних я вообще перестал понимать. Или же они больные люди, лишенные способности понимать происходящее. Из Берлина мне не уйти, думать про то, чтобы пробиться отсюда на восток, безумие, меня схватят через день, как бы я ни менял внешность... А Линц — это горы, там можно отсидеться, можно, в конце концов, идти по тропам на восток; Мюллер не сможет послать за мною слежку, он будет их инструктировать в том смысле, чтобы была обеспечена моя безопасность, а это развязывает мне руки: «еду по оперативной надобности, будьте от меня в ста метрах», — пусть потом ищут... Я не верю Мюллеру, когда он сказал про документы Гелена. Это крючок для меня, он хочет, чтобы я заглотнул этот крючок, он и в машине станет ждать, что я проявлю интерес к этим материалам Гелена, действительно бесценным для любой разведки. А я не проявлю к ним интереса, не проявлю, и все тут!»

Тем не менее, вернувшись в гестапо, Мюллер достал из сейфа плоский чемодан и положил его перед Штирлицем:

— Это лишь один из материалов Гелена... Здесь — данные по людям науки во Франции, чьи родственники тайно коллаборировали с нами на оккупированных территориях. Приглядитесь, подумайте, как это вернее и короче записать, рассчитывая использование агентуры на будущее в наших целях. Имейте в виду, что другие материалы, в частности по России и Чехии, составлены

по другой методе. Придумайте — пока будете добираться до Австрии, — как свести все это пухлое многообразие к тоненьким листочкам, напечатанным на рисовой бумаге, переданной мне нашими японскими коллегами... Когда вернетесь, я поселю вас на одной из моих конспиративных квартир, дам пару стенографисток — хорошенькие. Возьмете на себя Югославию и Францию... Это — дорого стоит, больше чем картины всяких там Тинторетто и Рафаэля, вы уж мне поверьте...

...Резко зазвонил телефон, связывавший Мюллера с Кальтенбруннером.

— Да, — ответил Мюллер, — я слушаю, обергруппенфюрер... Да... Да... Хорошо... Иду... — Мюллер поднялся, покачал головой: — Что-то срочное. Ждите меня в приемной. Шольц угостит чаем, я вернусь через двадцать минут.

...Штирлиц пил чай, сидя возле окна, рассеянно слушая, как Шольц отвечает на лихорадочные звонки и — в самой глубине души, тайно и сладостно, — надеялся, что в Линце к нему подойдет высокий парень, который знает, как сейчас курят сигареты на Западе, назовет нужные пять слов пароля, выслушает отзыв и скажет: «Товарищ Исаев, я прибыл для того, чтобы обеспечить вашу отправку на Родину».

— Может быть, я мешаю вам? — спросил Штирлиц Шольца. — Я могу подождать в своем кабинете.

— Группенфюрер сказал, — сухо ответил тот, — что вы нужны ему именно здесь.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ (ГЕНЕРАЛ ГЕЛЕН[1])

Он теперь каждый день вспоминал давешний визит Мюллера; в глазах его то и дело возникало лицо групперфюрера; он т о ч е ч н о видел седые волоски на левом виске, плохо выбритом «папой-гестапо»; Гелен был мастером «детали»; он любил повторять:

— Как в кинематографе мелочь определяет уровень талантливости, так и в нашем деле сущий пустяк может оказаться поворотным моментом в грандиозной операции. Если бы адмирал Канарис не обратил внимания на ножки Мата Хари, не пригласил ее в ресторан «Максим», а потом не отвез в свою загородную квартиру — кто зна-

[1] Р е й г а р д Г е л е н умер в 1980 году. Являлся создателем и руководителем секретной службы ФРГ.

ет, как бы развивались события на театре военных действий и сколько немецких жизней оказалось бы погубленными англо-французскими мерзавцами в мокрых и грязных окопах... Вспомните фильм большевистского режиссера Эйзенштейна про матросский бунт в Одессе: я не знаю, намеренно или случайно покатилась коляска по лестнице на набережную, однако если это была задумка — то, значит, Эйзенштейн никакой не русский, а настоящий немец. Если же это оказалось случайностью, недоработкой его ассистентов, то и тогда честь ему и хвала, значит, он умеет и в мелочи заметить главное...

Как это ни странно, именно небритое лицо Мюллера заставляло Гелена то и дело возвращаться в своих раздумьях о будущем к чему-то очень важному, что смутно им чувствовалось, но покуда еще не было до конца понято.

Он понял все, вернувшись с доклада Подлю. Картина будущих решений предстала перед ним абсолютная — в своей завершенности.

«Если такой аккуратист, — сказал себе Гелен, — как Мюллер, не смог тщательно выбриться, то он будет так же невнимателен ко всему тому, что не укладывается в его схему жизни на то время, которое отпущено всем нам — до того момента, когда настанет крах. Тотальную слежку он сейчас осуществлять не может. Он сохранил за собою лишь самые главные н а п р а в л е н и я; все, что по бокам, а тем более за спиною — он уже не может охватить. Чем резче и неожиданнее будет мой п о с т у п о к, тем больше шансов на успех, на то, что я смогу вырваться отсюда на Запад».

Гелен долго готовился к д е й с т в у, но уж, когда он заканчивал обдумывание всех поворотов предстоящей операции, его поступки отличались холодной стремительностью.

...Он не сразу пришел к мысли стать кадровым военным, хотя вся его семья относилась к числу тех, которых называли «прусской костью»; впрочем, сам он пруссаком себя не считал, а мать и вовсе родилась в Голландии.

Однако же, вступив в ряды армии после того как был подписан Версалький договор, когда Германия была практически лишена права иметь воинские формирования, Гелен выполнил свой долг истинного патриота: империя без войск невозможна, необходимо сделать все, что в силах каждого немца, дабы вернуть стране могучую армию; будущее решает не станок и плуг, считал он, но штык и орудие.

В 1923 году юный Гелен стал обер-лейтенантом; окончив привилегированную школу кавалерии, он сделался адъютантом заместителя начальника генерального штаба; отец, один из идеологов великогерманского национализма, выпускал учебники истории, в которых звал молодежь к реваншу: «Мы — нация без жизненного пространства!» Он же первым начал печатать карты для генерального штаба; сыну карьера была обеспечена.

А когда Гитлер пришел к власти, издательство Гелена-отца было — за заслуги перед движением — провозглашено «образцовым народным национал-социалистским предприятием».

Во время вторжения в Польшу Гелен был одним из самых молодых майоров вермахта; именно там он стал офицером связи между генералами Манштейном и Гудерианом.

Именно здесь, в Варшаве, после победы он познакомился с флегматичным, постоянно сморкающимся полковником Кинцелем, возглавлявшим особый отдел генерального штаба «Иностранные армии Востока». Гелен тогда уже стал личным адъютантом начальника генерального штаба Гальдера; именно тогда он по-настоящему ощутил с л а д о с т н о е чувство службы на сильного.

Кинцель нежно перебирал папки с донесениями от русской резидентуры, работавшей под руководством заместителя военного атташе в Москве генерала Кребса, долго и тщательно сморкался, говорил простуженно, постоянно покашливая:

— Я даю большевикам два месяца на то, чтобы они откатились за Урал. Колосс на глиняных ногах обречен на то, чтобы удобрить поле для германских колонистов. Дни Сталина сочтены.

Гелен придерживался иной точки зрения: он любил читать, отец выпускал книги и по истории. Где-где, а в истории парадоксов хоть отбавляй. Впрочем, зная, что Кинцель тесно связан со службой обергруппенфюрера Гейдриха, стремительно растущий Гелен (он уже стал подполковником) молчал и поддакивал.

Лишь после того как войска вермахта откатились от Москвы, он понял, что настало время действовать.

...Отец Гелена, директор издательства «Фердинанд Хирт, типография и книжная торговля», записался на прием к гауляйтеру Бреслау и был принят на следующий же день, вечером, после окончания работы — знак особого уважения.

— Я должен просить вас, уважаемый партайгеноссе, — сказал он руководителю окружной организации НСДАП, сидевшему под огромным портретом Гитлера, — чтобы наша беседа осталась тайной, ибо я никак не хочу причинить зло моему сыну, Рейнгарду, а речь пойдет именно о нем.

— Вы знаете, — ответил гауляйтер, — что слово партийного функционера национал-социалистской рабочей партии тверже камня и крепче стали. Могли бы говорить, не предваряя такого рода просьбой.

— Мой сын служит у генерал-полковника Галь...

— Я знаю, — перебил гауляйтер, — пожалуйста, существо дела, фюрер учит нас экономить время, я даю вам пять минут, извольте уложиться с вашим вопросом...

— Речь идет о том, что подразделение разведки генерального штаба, работающее против русских, находится в руках человека, связанного родством со славянами.

— Вы сошли с ума, — лениво откликнулся гауляйтер, но в глазах его вспыхнул быстрый холодный огонь. — Такого рода пост может быть занят лишь кристально чистым арийцем.

— Тем не менее, — упрямо повторил Гелен-старший, — у жены полковника Кинцеля есть какой-то родственник польской крови... Нет, нет, Кинцель прекрасный офицер, он делает все, что должен делать, и наше зимнее выравнивание фронта под Москвой никак не может быть поставлено ему в вину: кто мог предполагать такие морозы?! Но, тем не менее, когда я узнал об этом от Рейнгарда, то я счел своим долгом сообщить вам.

Родство со славянами, как и простое знакомство с коммунистами, предполагало лишь одно: немедленное увольнение со службы — до начала разбирательства; есть сигнал, и достаточно; если потом выяснится, что человека «оклеветали» — ему найдут другое место; рейх прежде всего; личные обиды не имеют права на существование.

Кинцель был снят со своего поста через три дня; это было беспрецедентно долго, но за него вступался лично Гальдер, однако это не помогло, хотя полковник просидел лишние два дня в штабе; без заступничества начальника генерального штаба его бы вывели за ворота в течение двадцати четырех часов.

Проверкой было установлено, что у его жены нет родственников низкой расы, компрометирующих истинного арийца, однако дело было сделано — в кресле Кинцеля

уже сидел полковник Рейнгард Гелен; генерал Гальдер вручил ему серебряные погоны лично, через час после назначения на высокий пост.

На следующий же день Гелен собрал своих помощников и сообщил им, что он — по согласованию с начальником РСХА Гейдрихом — меняет весь состав офицеров армейской секретной службы, начиная с полков, причем, если первый и второй отделы фронтовой, корпусной, дивизионной и полковой разведок будут по-прежнему заниматься своими обязанностями по сбору секретных данных, саботажу и диверсиям, то работу третьих отделов — контрразведка, наблюдение за личным составом штабов вермахта — он, Гелен, отныне намерен координировать с шефом РСХА Гейдрихом.

После этого Гелен покинул генеральный штаб и совершил стремительный вояж из Винницы — где он расположился по соседству со ставкой фюрера — в Берлин, Белград, Софию и Гамбург.

Здесь он встретился с ветеранами германской разведки, которые говорили по-русски так же свободно, как и рейхсляйтер Альфред Розенберг; все они были выходцами из Петербурга и Москвы, провели свое детство в поместьях под Рязанью и Нарвой, п о м н и л и былое, мечтали о том, чтобы это прекрасное былое вновь обрело реалии настоящего и — особенно — будущего.

Первым, кого посетил Гелен, был генерал Панвитц; он состоялся в девятнадцатом году, когда возглавлял вооруженные подразделения, расстреливавшие немецких радикалов; его беспощадность Адольф Гитлер ставил тогда в пример руководителям СА.

— Колебания в период кризисов невозможны; поколения простят ту кровь, которая прольется на нивы, где зацветут всходы после того, как плевела будут уничтожены!

Поскольку фон Панвитц командовал казачьими соединениями генерала Шкуро, расквартированными в Югославии, Гелен провел с ним пятичасовую конференцию, наметил план работы по созданию крепкого штаба, составленного из царских офицеров, готовых на все, лишь бы повалить большевизм, договорился об откомандировании к нему десяти наиболее проверенных казачьих вождей и отправился к Фильфриду Штрик-Штрикфельду, майору запаса, работавшему по изучению и систематизации тех данных, которые передал нацистам генерал-лейтенант Власов.

Поскольку в годы первой мировой войны Штрик-

Штрикфельд был царским офицером, служил в белой армии и Россию знал великолепно, Гелен поручил ему осуществлять все контакты с рейхсляйтером Розенбергом и рейхсфюрером Гиммлером, которые к Власову относились ревниво и передавать его вермахту пока что не собирались.

После этого Гелен встретился с генералом Кестрингом, работавшим в аппарате Кребса, когда тот курировал военный атташат в Москве, и предложил ему возглавить формирования «патриотов русской национальной идеи, которые готовы строить свое государство восточнее Урала».

И наконец, Гелен нанес визит вежливости бригадефюреру Вальтеру Шелленбергу, попросил его советов, выслушал молодого шефа политической разведки с восхищенным вниманием, хотя знал куда как больше, чем этот красавчик, только вида не показывал, а уж потом посетил Мюллера.

— Группенфюрер, без вашей постоянной помощи я просто-напросто не смогу функционировать: русские — люди непредсказуемых поворотов, мне важно, чтобы именно ваши сотрудники пропускали через свое сито всех тех, кого отберет Штрик, а уж после Панвитц и Кестринг примут под свое командование...

Через два месяца Гелена вызвал Геббельс; созданная полковником секретная группа «Активная пропаганда на Восток», возглавленная ставленником Розенберга прибалтийским немцем фон Гроте, начала выпуск листовок; писали пропагандисты Геббельса, Власов их визировал.

Рейхсминистр высказал соображение, что пропаганда Гелена слишком осторожна.

— Смелее называйте вещи своими именами, — советовал Геббельс. — Русские обязаны подчиняться, они не умеют мыслить, они должны стать слепыми исполнителями наших приказов.

— Русские умеют мыслить, господин рейхсминистр, — рискнул возразить Гелен, — их философские и этические школы, начиная с Радищева и кончая Соловьевым, Бердяевым и Кропоткиным, я уж не говорю о Плеханове и Ленине, начинены взрывоопасными идеями; с точки зрения стратегии мы обязаны сейчас позволить им считать себя не очень-то уж неполноценными; после победы мы загоним их в гетто, но пока стреляют партизаны...

— Их уничтожат, — отрезал Геббельс. — Нация рабов не имеет права на иллюзии.

Тогда Гелен обратился к Скорцени:

— Отто, вы вхожи к фюреру, я прошу вас помочь мне: нельзя столь пренебрежительно дразнить русского медведя, как это делаем мы. Я ненавижу русское стадо не меньше, а быть может, больше рейхсминистра Геббельса, но я выезжаю на фронт и допрашиваю пленных: наша неразумная жестокость заставляет их прибегать к ответным мерам.

Скорцени покачал головой:

— Рейнгард, я не стану влезать в это дело. Фюрер никогда не пойдет на то, чтобы санкционировать хоть какое-то послабление в славянском вопросе: если евреи должны быть уничтожены тотально, то русские — на семьдесят процентов; мы же с вами читаем документы ставки, нет смысла воевать с ветряными мельницами.

...После того как Гелен составил свой развернутый меморандум по Красной Армии, после того как он приобщил к нему страницы с выдержками из допросов перебежчиков, данные перехватов телефонных разговоров в России и отправил это — через Гальдера — в ставку, фюрер присвоил ему звание генерал-майора; это случилось через несколько недель после того, как лучшие офицеры и генералы, думавшие о судьбе Германии перспективно, были удушены на рояльных струнах, подцеплены за ребра на крюки, куда вешали разделанные мясные туши, или же расстреляны в подвалах гестапо.

Именно тогда, приехав в Бреслау, к отцу, — после того как кончился семейный ужин и мужчины остались одни в большой, мореного дуба, библиотеке — Гелен-младший сказал:

— Все кончено, отец, мы проиграли и эту кампанию.

— Но оружие возмездия... — начал было отец, однако сразу же замолчал, признавшись себе, что говорит он так потому, что постоянно ощущает на спине холодные глаза невидимого соглядатая.

Поднявшись, Гелен-старший включил радио — ему, как главе «народного предприятия», было позволено держать дома приемник, у всех остальных зарегистрировали или отобрали, — нашел Вену (передавали отрывки из оперетт), вздохнул, покачав головою:

— Не слишком ли ты смело говоришь, мой мальчик?

— Так сейчас говорят все.

— Но ты генерал, а фюрер перестал верить военным после безумного акта Штауфенберга.

— Акт был далеко не безумным, отец. Просто-

напросто операция была не до конца додумана, не учтен именно этот самый фактор страха... Он вдавлен в каждого из нас; увы, не только в заговорщика, но и в того, кто призван его карать...

— Государство невозможно без страха.

— Государственный страх обязан быть совершенно особым, отец... Ты прав, он необходим, однако он обязан быть совершенно отличным от обыкновенного, привычного, бытового, если хочешь. Он, этот государственный страх, должен быть таинственным, надмирным, он — словно провидение, он карает лишь тех, кто отступает, остальным он не должен быть ведом; ведь овцы лишены этого чувства, им наделен лишь тот баран, который ведет отару, чует волка и испытывает при этом ужас; все остальные лишь повторяют его чувствования и, как следствие, поступки... Я долго думал над тем, в чем сокрыта суть такого глобального понятия, каким я считаю с т и л ь... Согласись, Севилья и Гренада, завоеванные испанцами, по сю пору хранят прелесть арабской архитектуры, тогда как Барселона несет в себе ядро парижского или даже берлинского рационализма. Прямолинейность Лондона грубо противоречит римским улицам возле Колизея... Каждая культура, проявляющая себя в стиле, имеет свою таинственную временную длительность... Время третьего рейха историки будут исчислять всего лишь двенадцатью годами, отец, в следующем году мы станем разгромленной державой...

— Рейнгард...

— Отец, если бы я не был патриотом нации, я бы не говорил так... Ныне лишь слепцы из партийного аппарата Бормана повторяют завывания доктора Геббельса; мы, люди армии, должны думать о будущем...

— Но возможно ли оно?

— Оно необходимо, следовательно, возможно. Наступит время для создания нового с т и л я, отец... Знаешь, я особенно дотошно выспрашивал Власова о причинах, побудивших его перейти на нашу сторону... Он лгал мне... Он смят страхом... Его бормотание о необходимости восстановления веры, об особом призвании русской нации в борьбе с красным дьяволом — перепевы того, что вкладывал в его голову мой Штрик-Штрикфельд... Власов запутался в самом себе... Он оказался неподготовленным к поражению, а потому был раздавлен, словно мокрица... А мы уже сейчас обязаны быть готовы к тому, чтобы восстать из пепла... Я думаю над этим... Я пока еще не пришел к определенным выводам, но тем не менее

хочу просить тебя выйти в отставку и, сославшись на сердечное недомогание, срочно уехать с моей семьей в Тюрингию, в горы, за Эльбу...

...Вернувшись в генеральный штаб, Гелен приказал напечатать свою «Красную библию» в двадцати экземплярах, включив туда лишь сотую часть тех материалов, которые были собраны сонмом его офицеров, разбросанных по всем подразделениям вермахта.

Наиболее ценные документы он микрофильмировал в трех экземплярах, первый спрятал в сейф, в ящичек, на котором было написано: «Лично для доклада рейхсфюреру СС» (необходимый камуфляж — боялся гестапо; те никогда не рискнут лезть в то, что адресовано Гиммлеру, хотя он и не думал показывать этому паршивцу свои архивы); второй экземпляр скрыл в тайнике, оборудованном в том доме, где теперь жила его семья в горах; а третий надежно закопал в ущелье возле альпинистского приюта Оландсальм, высоко в Альпах, на границе со Швейцарией.

...И вот сейчас, то и дело возвращаясь мыслью к визиту Мюллера, который вырвал о г р ы з о к его материалов, собранных в «Красной библии», Гелен мучительно искал выход: бегство из Майбаха-II на Запад невозможно, его расстреляют, как дезертира; ждать приказа истерика и маньяка, запершегося в бункере, — значит обрекать себя на гибель; т о т, кто тонет, мечтает захлебнуться в компании себе подобных: не так страшно, эгоист и в смерти продолжает быть эгоистом.

Гелен засыпал и просыпался с мыслью о том, как ему выбраться из Берлина, как получить п р а в о на поступок, и, наконец, ночью во время короткого отдыха между бомбежками его словно бы кто толкнул в шею.

Гелен поднялся, в ужасе прошелся по кабинету, потому что ему показалось, будто он забыл то, что ему сейчас виделось во сне — спасительное и близкое, разжевано, только оставалось проглотить.

— Оп! — Гелен остановился, облегченно рассмеявшись, ударил себя ладонью по лбу. — Ах, ты, Боже мой! Бур! Конечно, я же видел во сне Бура!

Именно он допрашивал вождя Армии Крайовой, поднявшего поляков на мятеж в Варшаве, чтобы не пустить туда русских, в течение двух недель; они поселились в маленьком особняке на берегу Балтики, много гуляли, п р о х о д и л и историю восстания по дням, час за часом.

Именно тогда Бур-Комаровский и рассказал ему схему организации своего подполья.

Именно эта схема легла впоследствии в основу гитлеровского подполья, названного Гиммлером — по предложению Гелена — «Вервольфом» — «оборотнем».

Но Гелен всегда отдавал другим лишь малую часть того, что имел; главное он хранил для решающего часа.

(Впервые он стал думать о том, как замотивировать свое бегство на Запад, когда полковник Бусе сказал, что продуктивная работа под бомбежками просто-напросто невозможна; эти слова запали ему в голову; он не мог себе представить, что Бусе, являясь агентом гестапо, выполнял задание Мюллера, влияя на Гелена в том смысле, чтобы тот сам попросил Кейтеля об освобождении его со своего поста; после беседы с Бусе Гелен дважды п о д б р о с и л генерал-полковнику Йодлю мысль о том, сколь целесообразно оборудовать запасную штаб-квартиру; тот, однако, никак на эти слова не прореагировал — в нем тоже бушевал страх; не русских боялся он, которые стояли на Одере, но безликого плотного человека в черном кожаном пальто с рунами СС в петлицах; не страна, а громадное царство страха.)

...Утром следующего дня Гелен позвонил в бункер генералу Бургдорфу и попросил об аудиенции.

Бургдорф, который теперь пил не переставая — начинал с раннего утра, держался весь день на вермуте или «порту» и забывался лишь на пару часов перед рассветом, ответил, раскатисто смеясь:

— Если вас не разбомбят русские, приезжайте прямо сейчас, угощу отменным обедом...

Гелен, решив осуществить идею Бусе не через Йодля, а в ставке, разложил перед Бургдорфом свои документы — тысячную, понятно, их часть, — но тот не слушал, каламбурил, вспоминал пешие прогулки по горам, интересовался, когда Гелен последний раз был в театре, и более всего порадовался тому, что генерал выбрал себе кодовое обозначение «30».

— Нет, но отчего именно «доктор тридцать»? Я понимаю, господин «пять» или «доктор два», но «тридцать»?!

— Мне было тридцать, когда я решил посвятить себя борьбе против русских, — ответил Гелен. — Так что в моем кодовом имени нет никакой хитрости, обычная символика... Генерал, я прошу вас устроить мне аудиенцию у фюрера... Мне нужно десять минут...

Бургдорф выпил вермута, налил себе еще, усмехнулся:

— А с Борманом не хотите побеседовать? Какая умница, какой скромник, чудо что за человек...

— Генерал, — повторил Гелен, с трудом скрывая тяжелую ненависть, возникшую в нем к этому пьяному, но тем не менее лощеному генералу, — речь идет о судьбе немцев...

— Полагаете, об их судьбе еще может идти речь? — удивился Бургдорф. — Вы оптимист... Тем не менее я люблю оптимистов и поэтому постараюсь помочь вам.

Через сорок минут Гитлер принял Гелена.

— Мой фюрер, — сказал генерал, — судьба тысячелетнего рейха решается на полях сражений, и она решится в нашу пользу, в этом нет никаких сомнений...

— Ну почему же? — тихо возразил Гитлер. — Даже Шпеер написал мне в своем меморандуме, что война проиграна... Вы придерживаетесь противоположной точки зрения?

Гелен ждал всего чего угодно, но только не этих слов. Он понял, что, замешкайся хоть на секунду, потеряй лицо на какой-то миг, все для него будет кончено; он даже ощутил болотный привкус теплой воды, когда мальчишкой тонул, упав с мостков в озеро под Бреслау; ошибка в разговоре с Гитлером непростительна, исход ее похож на падение в холодную воду, когда опускаешься на илистое, жуткое дно, голова работает, руки гребут, но к ногам прикована бетонная балка — тянет вниз; стремительно, тяжело, упрямо, нет спасения; конец; кровавые пузыри; взрыв легких...

— Я верю в германского солдата, мой фюрер, — ответил Гелен, — я верю в нашу нацию, которая ни в коем случае не потерпит иностранного, особенно русского, владычества... Вот здесь, — он еще теснее прижал папку с документами локтем к ребрам, — мое заключение о том, как в самый короткий срок наладить активный террор в тылу русских. Но я не могу работать под постоянными бомбежками, мне необходима хотя бы неделя для того, чтобы уехать на одну из альпийских баз и там свести воедино список агентуры, которой можно будет передать все склады с оружием и динамитом, заложенные мною в русском тылу, и подготовить список последовательности тотального разрушения средств коммуникаций на Востоке...

— Вы слишком долго доказываете разумность очевидного, — сказал Гитлер. — Отправляйтесь в Альпий-

ский редут незамедлительно... Я жду вас с подробным отчетом через неделю... И поздравляю вас со званием генерал-лейтенанта, Гелен, я умею ценить тех, кто думает так же, как я...

Через шесть дней Гелен вместе со своим штабом был не в Альпийском редуте, но в Мисбахе, в тридцати километрах от швейцарской границы. Там он отпустил шоферов и охрану, приказав им ехать в Берхтесгаден. А еще выше в горы с ним отправилось всего пятнадцать человек — самые близкие сотрудники. Ночевали в горном приюте Оландсальм; окна деревянной хижины стали плюшевыми от инея; луна была огромной и близкой; снег отдавал запахом осенних яблок. Гелен выпил рюмку водки и уснул, как младенец; ему снились стрижи, обгонявшие огромный самолет...

Эта война для него кончилась.

Пришло время менять стиль, ибо наступала пора войны качественно новой.

ВОТ КАК УМЕЕТ РАБОТАТЬ ГЕСТАПО! — III

— А что будем делать с Рубенау? — спросил Штирлиц, когда Мюллер вернулся от Кальтенбруннера и снова пригласил его к себе в кабинет, обменявшись с адъютантом Шольцем быстрым всепонимающим взглядом. — Пусть сидит? Его поездку в Монтрё, видимо, следует отменить?

— Почему? — Мюллер удивился. — Если он готов к работе — отправляйте: в Базеле его примут мои ребята из нашего консульства. Я уже предупредил шифротелеграммой; обговорите с ним связь; запросите Шелленберга, какие задания он вменит вашему еврею, после того как тот свяжется с Музи... Зачем же отменять его поездку? Это любопытное дело, оно позволяет понять, что на самом деле задумал ваш шеф и мой друг... Я не верю ни одному его слову, он скрытен, как девушка в переходном возрасте; Рубенау следует превратить в подсадную утку — пусть на него кидаются нейтральные селезни, а мы поглядим, как на их предложения станет реагировать Шелленберг... Рубенау — фигура прикрытия, это ясно, но что Шелленберг им прикрывает? Это меня интересует по-настоящему.

— Когда я успею обговорить связи, проинформировать Шелленберга, отправить Рубенау?

— После Линца, Штирлиц, по возвращении в Берлин.

— Думаете, я успею вернуться? — хмуро улыбнулся Штирлиц.

— Успеете.

— Сомневаюсь.

— Что ж, тогда ваше счастье... В Линце красивая весна; там будет значительно тише, чем здесь, уличные бои не предвидятся.

— Как же я вас оставлю одного? — вздохнул Штирлиц. — Да и я сам — без вашей помощи — не выберусь из мясорубки; в Линце тоже станут искать людей нашей с вами профессии.

— Мясорубка, — повторил Мюллер. — Хорошо определили то, что грядет.

— Когда выезд? Сколько времени у меня осталось? — спросил Штирлиц, неожиданно для себя решив, что сейчас, в Бабельсберге, он переоденется, достанет из-под паркета паспорт на имя финского инженера Парвалайнена, отгонит машину к каналу, имитирует аварию (пусть ищут на дне тело) и уйдет на берег озера, на мельницу Пауля; старик умер две недели назад, там теперь никого, а за домом есть подвал, о котором никто не знает, потому что Пауль рыл его по ночам, чтобы прятать излишки муки; там сухо. «Можно прожить неделю, и две, и три, а потом придут наши; я возьму с собой консервы и галеты, я не зря их копил, мне хватит, да и потом, от голода умирают, если кончилась надежда, полная безысходность, грядут холода, а сейчас началось тепло, соловьи поют — они бомбежек не боятся, ничего не понимают, думают, маленькие, что это такой гром... Да, я ухожу, у меня нет сил, я сорвусь, я чувствую, что в Линце меня ждет западня и никто не подойдет ко мне в ресторанчике «Цур пост» со словами пароля; не надо лгать себе, это, в конце концов, жалко...»

Мюллер потер затылок, заметил:

— Снова погода меняется... Времени у вас не осталось. Вам не надо от меня уезжать вообще, Штирлиц...

— А собраться в дорогу?

— Заедете с моими людьми по пути в Линц. Погодите, сейчас я познакомлю с ребятами, которые будут вас сопровождать. Я не хочу рисковать вами, дружище, не сердитесь... А Рубенау в подвале, у вас есть пара часов, валяйте, расскажите ему про то, что он должен делать, в конце концов, я его отправлю сам, двух девок с ним пущу — офицеров нет, все при деле...

«Все. Конец, — понял Штирлиц. — Я в кольце, меня теперь будут держать плечами, я зажат... А я ведь чувствовал, что грядет, только боялся себе в этом признаться; нет, не то чтобы боялся, просто-напросто оттягивал тот миг, когда признаться все равно пришлось бы... Напрасно я не поверил чувству, оно сейчас точнее разума; анализ необходим тем, кто стоит по восточную сторону Одера: наши вправе сейчас анализировать, потому что за нами победа; а здесь наступил крах, всеми руководит чувство животного выживания, а не разум; они потеряли голову, мечутся, и я не мог не настроиться на их волну, правильно делал, что настроился на нее — «среди рабов нельзя быть свободным», однако я слишком долго позволял себе роскошь не соглашаться с самим собою, и настала расплата.

Погоди, — сказал он себе, — не торопись подписывать капитуляцию с тем, что называют «стечение обстоятельств». У тебя заранее продуманы ходы, надо пробовать все, надо бить на чувство, расчет, эмоции — это может сейчас пройти. Логика — во-вторых, но сначала я должен обратиться к чувству... И потом, нельзя уезжать, не сделав все, чтобы спасти детей Рубенау, он — сломанный человек, но разве его дети виноваты в том, что пришел Гитлер? Чем больше добра старается делать человек, тем больше ему воздается; мир умеет благодарить за добро; это — закономерность, чем скорее люди поймут это, тем лучше станет им жить...»

— Хорошо, — сказал Штирлиц, — пусть будет так, я понимаю, что после гибели бедолаги Ганса вы вправе постоянно тревожиться за мою жизнь... С Рубенау я управлюсь быстро, но...

— Что «но»? — спросил Мюллер. Он не терпел, когда недоговаривали, Штирлиц знал это и умел этим пользоваться.

— Да нет, пустое...

— Штирлиц!

— У меня давно уже вызрела любопытная идея, только...

— Валяйте вашу идею — но скоренько! Тьма работы... Нежданно-негаданно из Мюнхена сюда к нам выехала Ева Браун, дамочку никто не ждал, Кальтенбруннер поручил мне наладить охрану и встречу ее поезда... Ну?

— Я думаю вот о чем, — задумчиво сказал Штирлиц, — отчего бы вам, лично вам, группенфюреру, не попробовать отладить свою, личную связь с Музи?

Или с богословами из Монтрё? Почему вы постоянно отдаете инициативу другим?

Штирлиц увидел, что Мюллер ждал чего угодно, только не этих его слов.

— Погодите, погодите, — сказал он (был, видимо, настроен на что-то другое, напряженно в з в е ш и в а л ответ; к такого рода посылу оказался неподготовленным). — Я не совсем понимаю: как это — прямая связь с Музи? Я и Музи? Да нет же, Штирлиц, не витайте в эмпиреях, кто станет говорить с гестапо-Мюллером?!

— Который подчиняется Гиммлеру, отправившему обергруппенфюрера Вольфа к Даллесу... И оба они прекрасно себя чувствовали за одним столом. А Вольф на три порядка выше вас в иерархии рейха... Почему вы отдаете Музи Гиммлеру, Вольфу и Шелленбергу? Причем — безраздельно? Попытка — не пытка, давайте попробуем...

(Судьба Рубенау была решена Мюллером в тот день, когда Штирлиц начал с ним работать. Ему было уготовано то же, что и Дагмар, — смерть; после этого Мюллер организовывал такую информацию от «Рубенау» — этим займутся его люди в бернской резидентуре, они только ждут сигнала, — которую Штирлиц немедленно п о г о н и т на Москву. Там — как и в «Шведском варианте» — вряд ли будут спокойно относиться к организованным гестапо «новостям»; главное — постоянно пугать Кремль близкой возможностью компромисса между Гиммлером и Даллесом, и пугать через их серьезнейшего агента, через Штирлица. При этом устранение Рубенау окончательно перекрывало все пути для ухода Штирлица за границу. А впрочем, куда еще можно уйти из рейха, кроме как в Стокгольм и Берн? Некуда.

Однако то, что предложил сейчас Штирлиц, было настолько неожиданным, что Мюллер дрогнул, смешался, почувствовав перспективу.)

— А что? — задумчиво сказал Мюллер, и лицо его на какое-то мгновение перестало быть постоянно собранным, морщинистым, хмурым, сделалось м я г к и м и заинтересованным. — Дерзкая идея... Но где гарантия, что Рубенау не обманет? — Лицо снова собралось морщинами. — Нам доложит, что Музи готов потолковать со мною с глазу на глаз, а сам даже побоится в его присутствии произнести мое имя?

Штирлиц покачал головой:

— Гарантия есть... Вы же знаете, как он любит своих детей... Давайте сделаем так: вызывайте его сюда, я вас

ему представлю — в открытую, незачем темнить — и задам вопрос в лоб: может он провести такой разговор в Монтрё или нет?

— Конечно, он ответит, что готов! Он скажет, что безумно любит меня и мечтал бы записаться в СС, что же еще он еще может ответить?! — Мюллер задумчиво снял трубку телефона, негнущимся, словно карандаш, пальцем набрал номер: — Алло, как у вас там с оцеплением вокзала? Хорошо, докладывайте постоянно, как движется поезд фрейлейн Браун, я несколько задержусь... В дороге бомбежек не было? Что? Где? Полотно восстановили? Ясно. Понятно... Наши люди подняты по тревоге? Ладно, ждите... — Он положил трубку: — Англичане разбомбили железнодорожный путь, поезд дамочки был в сорока километрах, пригнали русских пленных, чинят дорогу... К счастью, это не по моему ведомству, так что Кальтенбруннер будет сидеть на транспортниках, у нас есть еще время, валяйте дальше...

— Дальше валять нечего, вы же не верите Рубенау...

— Я не верю ни одному еврею, Штирлиц. Я верю только тому еврею, который мертв. Впрочем, так же я отношусь к русским, полякам и югославам...

— Ну это все для доктора Геббельса, словопрения, — поморщился Штирлиц. — Я человек дела — предлагаю испробовать шанс... Прикажите отправить его девочку в швейцарское посольство, вы знаете, как это можно сделать, пусть ее отвезет туда жена. А после этого устройте им здесь встречу: он, его жена и сын... И пусть жена скажет, что вы, лично вы, группенфюрер Мюллер, спасли его дочку. А вы ему пообещаете, что отправите в посольство и мальчишку — после того как он привезет вам письмо от Музи с предложением о личной встрече... Отчего этот козырь должен брать Шелленберг? Или Гиммлер? Почему не вы? Я бы на вашем месте сказал Рубенау — и пусть он передаст это Музи, — что вы, именно вы, готовы отпустить вообще всех узников лагерей, а не только финансистов и ювелиров. Вы тогда выиграете интеллектуалов, ибо вы, и никто другой, окажетесь их спасителем...

Мюллер задумчиво сказал:

— Мальчишка — после того как он вырос здесь, в гетто, без еды и прогулок — не сможет делать новых еврейчиков, а девка — сможет, бабы — выносливее, так что будем торговать мальчиком...

Штирлиц знал, что Мюллер скажет именно так —

они всегда норовят поступать наоборот, никому не верят; он на это именно и рассчитывал, когда говорил про то, что в посольство надо отвезти девочку; Рубенау просил за мальчика. «Как его зовут-то? Ах да, Пауль, сочинил симфонию в семь лет, бедненький человечек; а у Мюллера действительно нет времени, иначе бы он прослушал мою работу с Рубенау в камере, он бы тогда не клюнул на поддавок с девочкой; интересно, кто же из его людей изучал наш разговор в камере? Ах, если бы он сейчас поручил мне съездить за женщиной. Он никогда на это не пойдет, — сказал себе Исаев, — не надо играть в жмурки с судьбою, смотри ей прямо в глаза...»

— А почему бы действительно не попробовать? — задумчиво спросил Мюллер. — Почему бы и нет?

Через два часа Рубенау сидел в кабинете Мюллера, лающе плакал и при этом улыбался сквозь слезы; жена его тоже плакала, прижимая к груди дочь, и повторяла, по-детски всхлипывая:

— Это все господин Мюллер! Мы должны молиться за него, Вальтер! Это он, его доброе сердце! Ты должен отплатить ему таким добром, какое только можешь сделать, Вальтер! Это господин Мюллер, он сказал, он сказал мне, он сказал...

— Успокойтесь, — деревянно хохотнул Мюллер; лицо как маска, улыбка, насильно положенная на губы, казалась гримасой брезгливости. — Успокойтесь... Я бы и вашу милую девочку оставил там, у швейцарцев, но вы понимаете, надеюсь, как я рискую, спасая мальчика? Когда ваш муж приедет в Швейцарию, пусть он найдет в телефонной книге Лозанны адрес господина Розенцвейга — это мюнхенский адвокат; я, именно я, переправил его через границу, чтобы беднягу не арестовали в тридцать восьмом, когда начались гонения... Спросите его, скольких евреев я спас, спросите... Рубенау, вы убедились, что мой человек, беседуя с вами, нисколько вас не обманывал?

— Да, господин Мюллер! Я убедился! Я готов служить как собака! Я закажу моим друзьям и внукам — если они будут — молить за вас Бога и просить счастья вашим детям...

Мюллер повернулся к женщине:

— Госпожа Рубенау, вас отвезут на хорошую квартиру... Вы будете там в полной безопасности... Если только ваш муж не решится на нечестность...

Женщина воскликнула, прижав к себе дочь:

— Он не посмеет! Он сделает все, добрый господин Мюллер!

— Все может сделать Бог, — ответил Мюллер. — Человек — раб обстоятельств.

— Человек — не Бог, — согласно кивнул Рубенау. — Но я буду делать все, что только можно!

— Это — хорошо, — легко согласился Мюллер. — Но ведь можно говорить, что сделаю все, и при этом ничего не делать... Погодите, не возражайте, сначала дослушайте меня... От вас шарахнутся, когда вы скажете, что я отправил вас, я, не кто-нибудь, а шеф гестапо...

Рубенау покачал головой:

— Там сидят умные люди, господин Мюллер, они понимают, что если и можно чего-то добиться, так это тогда, когда имеешь дело с хозяином предприятия... А кто, как не вы, хозяин предприятия?

— Хозяин предприятия — рейхсфюрер Гиммлер, я — маленькая сошка, о которой слишком много говорят... Я выполнял то, что мне предписывали, поэтому и стал седым в сорок пять лет... А когда вскроют после смерти, то обнаружат, что я жил с разорванным — от жалости к людям — сердцем...

И вдруг Рубенау (Штирлиц прямо-таки поразился) спокойно заметил:

— Это — для выступления с кафедры, в соборе, господин Мюллер. Если вы так станете говорить со швейцарскими господами, они решат, что я их шельмовал... Дело есть дело, вы делали свое дело, и нечего оправдываться: каждый ставит на свой интерес, чтобы добиться успеха...

...Когда женщину увели, Мюллер достал бутылку водки, налил рюмку, протянул Рубенау:

— Выпейте.

— Я опьянею, — сказат тот. — Я разучился пить...

— Пора учиться заново, — усмехнулся Мюллер.

Рубенау выпил, зажал ладонью губы, начал судорожно, харкающе, до слез, кашлять.

Мюллер посмотрел на Штирлица, и странная, озорная улыбка, не деланная, а искренняя, появилась на его лице.

— Ишь, как корячится, — хмыкнул он, — прямо-таки пантомима... Хотите выпить, Штирлиц?

— Хочу.

Мюллер налил в рюмки, сразу же с л а д к о выпил, встал из-за стола и подошел к стулу, на котором сидел Рубенау.

— Послушайте меня внимательно, — сказал он. —

Меня не устроят слова, от чьего бы имени они ни исходили. Понимаете? Меня устроит только документ. Вы должны привезти документ, в котором ваши раввины или сам Музи предложат договор. Форменный договор. Я освобождаю ваших евреев, а вы освобождаете меня от любой ответственности, раз и навсегда, где бы то ни было. Сможете привести такой договор?

Рубенау посмотрел на Мюллера кроличьими глазами и очень тихо ответил:

— Не знаю...

Штирлиц ждал, что Мюллер ударит его, бросит на пол и начнет топтать ногами, но группенфюрер, наоборот, положил руку на плечо Рубенау:

— Молодец. Если бы ты пообещал мне привезти такой документ сразу же и без колебаний, я бы решил, что ты — неблагодарный человек... Ты ответил хорошо, я благодарю тебя за честность... Теперь скажи: ты, лично ты, Рубенау, видишь в этом деле хоть один шанс на удачу? Допускаешь мысль, что такое письмо на мое имя возможно?

— Пять шансов из ста, — ответил Рубенау.

— Это много, — сказал Мюллер. — Это серьезно. А можно что-нибудь сделать, дабы увеличить количество шансов?

— Можно, — заметил Штирлиц.

Мюллер и Рубенау оглянулись на него одновременно.

— Можно, — повторил Штирлиц. — Для этого надо сказать швейцарцам правду. А правда очевидна: Гиммлер не намерен отпускать заложников, он торгует ими только для того, чтобы выиграть время. Если господа в Монтрё станут раздумывать, высчитывая возможность диалога с группенфюрером Мюллером, тогда все заключенные погибнут.

— Они мне могут не поверить, — сказал Рубенау. — Они же знают, что здесь у меня в залоге жена и девочка...

— Ну, при нужде мы ведь мальчика легко вынем из посольства, это не шутка, — заметил Мюллер. — Узнай мы о вашей неискренности — а мы люди рукастые, узнаем, — ваш мальчик вернется к сестре и маме в гетто. Я не угрожаю, нет, вы думаете об интересе своей семьи, я — о своей... Что же касается того, поверят они вам или нет, то это можно прокорректировать: мы организуем так, что вам поверят, мы поможем вам в Швейцарии, мы поможем тому, чтобы там поняли правду про...

Словом, почва будет взрыхлена... Я это сделаю через час, туда уйдет сообщение...

— Тогда шансы возрастут еще больше, — сказал Рубенау. — Тогда моя задача значительно облегчится...

...Через три часа, когда Рубенау увезли на вокзал и посадили в поезд, а Штирлиц ушел к радистам составлять текст телеграммы резидентурам гестапо в Базеле и Берне, Мюллер вдруг с ужасом подумал, что все случившееся может быть дьявольской игрой Штирлица, который решил разбить его блок с Борманом; он сейчас позвонит рейхсляйтеру от радистов и скажет, в каком поезде отправлен Рубенау, и еврея на следующей же станции снимут и отвезут к Кальтенбруннеру, и он там расскажет все; и тогда — конец: Борман уберет его, Мюллера, никакие объяснения невозможны...

Мюллер позвонил в отдел оперативной радиосвязи и попросил штурмбанфюрера Гешке (тот одно время возглавлял референтуру гестапо по делам, связанным с русской разведывательной сетью в рейхе; потом был отправлен личным представителем шефа гестапо на ключевой пост — к связистам, вполне надежен) проследить за тем, чтобы Штирлиц ни в коем случае не мог позвонить в город; затем связался с отделом гестапо на транспорте и передал женщинам, сопровождавшим пассажира в седьмом вагоне, купе первого класса, наспех зашифрованный приказ: их подопечный Рубенау должен быть отравлен (ампулу передадут в Штургарте на перроне); сделать это надо после того, как кончится пограничная проверка германской стражей в Базеле; на столике, перед тем как женщины покинут вагон, должен быть оставлен железнодорожный билет, на котором надо написать следующее: «Передать доктору Бользену, народное предприятие имени Роберта Лея, Бабельсберг, Ягдштрассе, 7; касса 24, кассир Лумке» (хорошо, что вспомнил еще одного мюнхенского головореза, давно не использовал; раньше работал по кражам на транспорте, агент бесценный; мелочей нет, все надо хранить, закладывая в дело заранее); проводник должен быть проинструктирован, чтобы дать показания швейцарской полиции, что в купе вместе с убитым ехал мужчина лет сорока пяти, корректный интеллигент, сел в вагон в Берлине...

...Через час к Мюллеру ввели жену Рубенау:

— Только возьмите себя в руки, я не выношу истерик, — сказал Мюллер. — Должен сообщить вам трагическую новость: ваш муж погиб. И убил его тот человек,

который сидел напротив вас, вон в том кресле. Его фамилия — Штирлиц, он скрылся, мы его ищем.

Женщина упала, потеряв сознание. Когда Мюллер дал ей нашатыря и привел в чувство, конечно же, началась истерика; он тем не менее знал, как прекращать бабьи истерики: ударил кулаком по столу, закричал:

— Вам дорога жизнь детей?! Или нет?! Ну, отвечайте!

— Да, да, да, — судорожно вздыхая, сквозь слезы ответила женщина. — Да, да, да...

— Тогда возьмите себя в руки и запомните, что я вам скажу... Вот паспорт для вас и для Евочки. — Он протянул женщине документы и конверт с пятьюстами франками. — Вас сейчас посадят на поезд, уезжайте в Швейцарию. Вот вам фотография человека, который убил вашего мужа. У него две фамилии: одна — Бользен, а другая — Штирлиц. Здесь же, — он протянул ей второй конверт, — довесок к фото: отпечатки его пальцев. Пока ваш маленький Пауль сидит здесь, в посольстве, молчите. Но как только он окажется с вами, в Швейцарии, идите в полицию и рассказывайте им все. Абсолютно все. И начинайте искать убийцу вашего мужа: он сейчас может оказаться в Швейцарии. Мстите ему — за себя и за меня. Ясно? Но забудьте отныне мое имя. Если посмеете помнить — я вам не позавидую.

ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА

От Зальцбурга дорога пошла ввинчиваться в горы; еще лежал снег; лыжный сезон здесь — особенно на хороших склонах с северной стороны — временами продолжался до первых чисел мая.

Штирлиц был — как и всю дорогу от Берлина — зажат на заднем сиденье между Ойгеном Шритвассером и Куртом Безе, машину вел Вилли Драхт, штурмбанфюрер из референтуры Мюллера.

Инструктируя группу перед самым отъездом — после того как Штирлиц ознакомился с личными делами всех офицеров, работавших в Альт Аусзее, в кабинете шефа гестапо, — Мюллер повторил:

— Ребята, я поручаю вам Штирлица. Запомните, что я вам всем скажу, и пусть это запомнит Штирлиц тоже. С тех пор как он вернулся в рейх после блистательно выполненного задания в Швейцарии, его жизни постоянно угрожает опасность. Дважды он чудом вылез из пере-

делки. Если случится третья — ему несдобровать. Поэтому, ребята, я запрещаю вам оставлять Штирлица одного хоть на мгновение. Работать — вместе; питаться — вместе; спать — в одной комнате; даже пйсать будете вдвоем... Запомните, ребята, — он обратился к трем высоким малоподвижным эсэсовцам, — Штирлиц — человек нездоровой храбрости. Он готов идти против врагов с открытым забралом. Это нравится рейхсфюреру, мне, конечно, тоже, но я отвечаю за его жизнь перед имперским руководством, именно поэтому отправляю вас с ним.

— Спасибо, группенфюрер, — сказал Штирлиц, — я от всего сердца признателен вам за ту заботу, которую вы проявляете обо мне, но как быть, если в Линце возникнет необходимость поговорить с тем, в ком я буду заинтересован — в процессе расследования? Разговор с глазу на глаз — одно, а если мы начнем проводить собеседования за круглым столом, никакого результата я не получу...

— Вилла, откуда идут передачи на Запад, — ответил Мюллер, — окружена пятнадцатью гектарами прекрасного парка. Забор надежно укрывает вас от врага; подступы простреливаются с вышек; гуляйте себе по дорожкам и ведите беседы с глазу на глаз... Я понимаю, в особняке никто из тамошних людей с вами открыто говорить не станет, им известно лучше, чем кому бы то ни было, где, каким образом и с какого расстояния прослушиваются их разговоры. Но вам придется записывать беседы в парке, Штирлиц. И передавать их Ойгену, а вы, — он посмотрел на Шритвассера, — организуете их немедленную доставку в Берлин, это ваша забота, Ойген. Штирлицу нет нужды забивать голову мелочами.

— Это не мелочи, — возразил Штирлиц. — Я, таким образом, буду лишен возможности прослушать свои беседы еще и еще раз, перед встречей с другими сотрудниками, стану путаться в именах и фактах... Мне так трудно работать, группенфюрер...

— Трудности существуют для того, чтобы их преодолевать, — отрезал Мюллер. — Это все, друзья. Я вручаю вам Штирлица, которого люблю. Я горжусь им. Вы должны вернуть его сюда через неделю и получить заслуженные награды. Хайль Гитлер!

— Группенфюрер, — сказал Штирлиц, — а почему бы мне не работать в наручниках?

Мюллер рассмеялся:

— Если бы сейчас положение не было таким напряженным, я бы приковался к вам, употребил мазь для

человека-невидимки и поучился бы мастерству интриги, которым вы владеете в совершенстве... Вы мне нужны живым, Штирлиц... Не сердитесь, дружище, до встречи!

...В Альт Аусзее они приехали, когда стемнело; Вилли повалился головой на баранку и громко захрапел; потом вздохнул, заметив:

— Я побил все рекорды! Почти семьсот километров за двенадцать часов! Я сплю, не будите меня, здесь так тихо, и воздух чистый! Спокойной ночи!

— Когда я еду не в своем «хорьхе», — сказал Штирлиц, — у меня начинает болеть голова.

Ойген, вылезая из машины, пробурчал:

— Это понятно. Я, например, в детстве всегда падал с чужого велосипеда. Привычка — ничего не попишешь, как это говорят английские свиньи? «Привычка — вторая натура», да?

— Именно так, — сказал Вилли.

— У вас хорошее произношение, — заметил Штирлиц. — Долго работали в Англии?

— Я прожил три года на Ямайке, обслуживал наше консульство, вот была райская жизнь!

...Ворота виллы «Керри» открывались медленно: работал автомат; когда Вилли загнал машину в темный парк, из небольшого домика возле шлагбаума вышли два охранника, потребовали документы, долго сличали фотографии на офицерских книжках СС с лицами прибывших, потом попросили выйти, подняли заднее сиденье, проверили чемоданы и, корректно извинившись, сказали, что необходимо предъявить содержимое портфелей, а личное оружие сдать под расписку.

Потом вышел третий охранник, сел рядом с Вилли (тьма была кромешная, щелочки, оставленные в фарах, дорогу не освещали, асфальт петлял между соснами), показал путь в третий коттедж — там были приготовлены две комнаты.

— Спокойной ночи, — сказал охранник, выбрасывая руку в нацистском приветствии. — Завтрак будет накрыт здесь же, на застекленной веранде, в семь тридцать. Сдайте мне, пожалуйста, ваши продуктовые карточки на повидло и маргарин.

— Погодите, — остановил его Штирлиц. — Погодите-ка. Кто сейчас дежурит?

— Я не уполномочен давать ответы, штандартенфюрер! Без разрешения начальника смены я не вправе всту-

пать в разговоры с теми, кто к нам прибывает, простите.

— Какой у начальника номер телефона?

— Назовите радиооператору ваше имя, вас соединят с ним незамедлительно.

— Благодарю, — сказал Штирлиц. — И покажите моим коллегам, где здесь кухня, как включать электроприборы, — мы намерены выпить чая.

— Да, штандартенфюрер, конечно!

Вилли вышел с охранником, а Штирлиц, обернувшись к двум, что остались с ним, спросил:

— Ребята, чтобы у нас не было недомолвок, давайте начистоту: кто из вас храпит?

— Я, — признался Курт. — Особенно когда засыпаю. Но мне можно крикнуть, и я сразу же проснусь...

— Я не храплю, — сказал Ойген. — Я натренирован на тихий сон.

— Это как? — удивился Штирлиц.

— Когда Скорцени меня готовил к одной операции на Востоке, так он заставлял меня успокаивать самого себя перед наступлением ночи, лежать на левом боку и учиться слышать свое дыхание.

— Разве такое возможно?

— Возможно. Я убедился. Даже наркотик можно перебороть, если только настроить себя на воспоминание о самом дорогом... Это точно, не улыбайтесь, я пробовал на себе. Скорцени велел нам испытать все: он ведь очень тщателен в подборе людей для своих групп...

— Вы должны были ассистировать Скорцени в Тегеране? — уточнил Штирлиц. — Во время подготовки акции против «Большой тройки»?

Ойген, как и мюллеровский шофер Ганс, словно бы и не слышал вопроса Штирлица, продолжал говорить:

— Я помню, у нас был один парень, так он слишком громко смеялся... Скорцени сам занимался с ним, неделю, не меньше... Что уж они делали, не знаю, но потом этот парень улыбался беззвучно, как воспитанная девушка...

— Воспитанные девушки не должны громко смеяться? — удивился Штирлиц. — По-моему, истинная воспитанность заключается в том, чтобы быть самим собою... Громкий смех — если он не патологичен — прекрасное человеческое качество.

Вернулся Вилли, сказал, что вода уже кипит, поинтересовался, как Штирлиц отнесется к глотку бренди; перешли на застекленную веранду; начали пировать.

— Ойген, не сочтите за труд, позвоните дежурному офицеру смены, пригласите его на чашку кофе.

— Да, штандартенфюрер, — ответил тот, поднимаясь. — Будет исполнено.

...Штурмбанфюрер Хётль оказался седоголовым, хотя молодым еще человеком; он поднял свою рюмку за благополучное прибытие коллег из центра, поинтересовался, как дорога, много ли бомбили, выразил надежду, что это последняя горькая весна, рассказал два еврейских анекдота; добродушно посмеивался, наблюдая, как заливался Вилли; словно ребенок, право...

— А еще есть очень смешной рассказ про великого еврейского врача, который умел лечить все болезни, — продолжил он, заметив, как понравились его анекдоты. — Привели к нему хромого на костылях и говорят: «Рубинштейн, вы самый великий врачебный маг в Вене. Спасите нашего Гансика, он не может стоять без костылей, сразу падает!» Рубинштейн взялся толстыми пальцами с грязными ногтями за свой висячий нос и начал думать, а потом сказал: «Больной, ты здоров! Брось костыли!» Ганс, как и всякий еврей, был трусом и, конечно, костыли не бросил. Рубинштейн снова попрыгал вокруг него и закричал: «Ганс, я тебе что сказал?! Ты здоров! Так брось костыли! Я тебя заклинаю нашим Иеговой!» И Ганс послушался горбоносого Рубинштейна, бросил костыли...

Хётль замолчал, полез за сигаретами.

Вилли не выдержал, поторопил:

— Ну и что стало с Гансом?

Хётль сокрушенно вздохнул:

— Разбился.

Вилли чуть не сполз со стула от смеха; Ойген, криво усмехнувшись, заметил:

— Как только мы отбросим русских от Берлина, надо уничтожить всю еврейскую сволочь. Слишком мы с ними церемонились. Лагеря строили для этих свиней. В печь, всех в печь, а некоторых отстреливать из мелкокалиберных винтовок! Пусть наши мальчики из «гитлерюгенда» набивают руку...

Штирлиц поднялся, обратился к Хётлю:

— Дружище, не составите мне компанию? Я обычно гуляю перед сном...

— С удовольствием, штандартенфюрер...

— За ворота штандартенфюреру выходить нельзя, — сказал Ойген, по-прежнему тяжело глядя на Штирлица, хотя обращался к Хётлю. — Ему постоянно угрожает

опасность, мы прикомандированы к нему для охраны группенфюрером Мюллером.

Хётль, поднимаясь, спросил:

— А партайгеноссе Кальтенбруннер в курсе вашей командировки?

«Оп, — подумал Штирлиц. — Хороший вопрос».

— Он знает, — ответил Ойген. — В Берлине знают. Мы прибыли, чтобы проследить за организацией специального хранилища для партийного архива — личное поручение рейхсляйтера Бормана. А для этого нам придется чуть-чуть поиграть с Дядей Сэмом, надо проверить, не пробовал ли он сунуть сюда свой горбатый нос...

— Ах так, — ответил Хётль. — Что ж, мы все к вашим услугам...

...Гуляя по парку, Штирлиц долго не произносил ни слова; звезды в небе были близкими, зелеными; тревожно перемигивались, и было в этом что-то судорожное, предутреннее, когда расстаются любимые, и вот-вот начнет светать, и настанет безнадежность и пустота, и во всем будет ощущаться тревога, а после того как щелкнет замок двери и ты останешься один, воспоминания нахлынут на тебя, и ты с ужасом поймешь, что тебе сорок пять, и жизнь прошла, не надо обольщаться, хотя это — главное человеческое качество, а еще — ожидание чуда, но ведь их не бывает более, чудес-то...

— Хётль, — сказал Штирлиц, — для того чтобы я смог успешно провести дело, порученное мне, я хочу рассчитывать на вашу помощь.

— Польщен, штандартенфюрер. Я к вашим услугам.

— Расскажите про ваших коллег. Кого бы из них вы порекомендовали мне для выполнения заданий центра?

— Прошу простить, мне было бы легче давать им оценки, зная, каким должно быть задание...

— Сложным, — ответил Штирлиц.

— Я начну с Докса, — сказал Хётль. — Он живет здесь с сорок второго года, с первых дней организации этого радиоцентра. Великолепный работник, бесконечно предан делу фюрера, примерный семьянин; горнолыжник, стрелок, безупречен в поведении...

Штирлиц поморщился:

— Хётль, я читал его анкету, не надо повторять штампы, за которыми ничего нет. Меня, например, интересует, за что он получил порицание обергруппенфюрера Кальтенбруннера в сорок третьем году?

— Не знаю, штандартенфюрер. Я тогда бы на фронте.

— На каком?

— Под Минском.

— В войсках СС?

Хётлю были неприятны быстрые вопросы Штирлица, он поэтому ответил:

— Вы же знакомы с личными делами всех тех, кто работает здесь, у обергруппенфюрера... Значит, вам известно, что я служил рядовым в войсках вермахта...

— В вашем личном деле сказано, что вы были разжалованы Гейдрихом. А после его трагической гибели вам вернули звание, наградили и перевели на работу в отдел Эйхмана. За что вас наказал покойный Гейдрих?

— Я позволил себе говорить то, чего не имел права говорить.

— А именно?

— Я был пьян... В компании, где находился друг покойного Гейдриха — я, понятно, об этом не знал, — я позволил себе усомниться в том, надо ли уничтожать славян. Я пошутил, — словно бы испугавшись чего-то, быстро добавил Хётль. — Я, видимо, неумело пошутил, сказав, что часть славян стоило бы держать в гетто, чтобы потом, когда Россия откатится за Урал, было на кого выменять Эренбурга... А Гейдрих был очень щепетилен в славянском и еврейском вопросах.

— И за это вас разжаловали?

— В основном да.

— А не «в основном»?

— Я еще сказал, что мы одолеем русских, если вовремя заключим мир на Западе.

— Когда вы примкнули к нашему движению?

— В тридцать девятом.

— А к СС?

— Дело в том, что я родился в Линце, в одном доме с обергруппенфюрером Кальтенбруннером... Он знал мою семью, отец помогал ему в трудные времена... Поэтому Кальтенбруннер рекомендовал меня в СС лично, в сороковом...

— Что еще вы знаете о Доксе?

— Я сказал все, что мог, штандартенфюрер.

— Хорошо, я поставлю вопрос иначе: вы бы пошли с ним на выполнение задания? В тыл врага?

— Пошел бы,

— Спасибо, Хётль. Дальше...

— Штурмбанфюрер Шванебах... Мне трудно говорить о нем... Он храбрый офицер и безусловно честный человек, но наши отношения не сложились...

— Вы бы пошли с ним на задание?

— Только получив приказ.

— Дальше...

— Оберштурмбанфюрер Растерфельд... С ним я готов идти на любое дело.

— С каких пор вы его знаете?

— С сорок первого года.

— А вам известно, что именно Растерфельд готовил для Гейдриха материалы на ваше разжалование?

Хётль остановился:

— Этого не может быть...

— Я покажу вам документы... Пойдемте, пойдемте, держите ритм... И последний вопрос: он знает, что вы спите с его женой? Может, у вас любовь втроем и все такое прочее? Или все значительно серьезней?

Хётль снова остановился; Штирлиц полез за сигаретами, закурил, неторопливо бросил спичку в снег, вздохнул:

— Вот так-то, Хётль. Вы, конечно же, относитесь к числу неприкасаемых, поскольку с Востока вас вернул обергруппенфюрер Кальтенбруннер, но система проверки РСХА работает вне зависимости от того, кто тебя опекает наверху... Веселитесь, как хотите, но не попадайтесь! А вы попались! Ах, черт! — воскликнул вдруг Штирлиц и как-то странно упал на левый бок. Поднявшись, незаметно достал из внутреннего кармана плоский диктофон, вытащил кассету, порвал пленку, поставил кассету на место, сунул диктофон в карман и тихо сказал: — Вы поняли, что я упал поскользнувшись? Поэтому, вернувшись, вы спросите при моих коллегах, не сильно ли я ушибся... Мои коллеги не спят, кто-нибудь из них идет следом за нами, но в отдалении, поэтому вы сейчас напишите мне лично обязательство работать на гауляйтера Айгрубера и на НСДАП, ясно?

Штирлиц достал блокнот, протянул Хётлю:

— Быстро, Хётль, быстро, это в ваших же интересах.

— Что писать? — спросил тот; Штирлицу показалось, что у Хётля начался аллергический приступ. Даже в темноте стало видно, как он побледнел. Штирлиц понял это по тому, как под глазами у штурмбанфюрера внезапно залегли черные тени.

— Да что в голову взбредет, — ответил Штирлиц. — Обязуюсь работать на гауляйтера Верхней Австрии... В случае измены... И так далее...

— Я не могу писать на ходу...

— И не надо. Я подожду.

Хётль написал текст, протянул блокнот Штирлицу; тот смотреть не стал, перевернул страничку, спросил:

— Зрение хорошее?

— Да.

— Посмотрите сюда.

Хётль нагнулся и сразу же отпрянул: в блокноте Штирлица была записана последняя радиограмма, отправленная из Альт Аусзее неустановленным оператором на Западе.

— Хётль, — сказал Штирлиц, — передайте вашим шифром... Тихо, тихо, не суетитесь... Я не собираюсь вас губить, я заинтересован в вас так же, как и Кальтенбруннер... Передайте вашим шифром мои цифры... А если вздумаете отказаться, я не поставлю за вас и пфеннига...

«Это моя последняя попытка, — думал Штирлиц, — хотя это один шанс из ста, но все-таки это шанс».

В шифровке он сообщал Центру, где находится, что зажат тремя гестаповцами. И впервые открыто признался, что силы его на исходе. Если Центр сочтет возможным организовать его побег на Родину, налет на виллу Кальтенбруннера в Альт Аусзее вполне возможен. Виллу охраняют двенадцать человек, но по крайней мере семерых он, Штирлиц, рискнет взять на себя, если только получит ответ, который ему передаст Хётль.

...Через час Даллес получил странную радиограмму из Альт Аусзее, от агента Жозефа; под этим именем был зашифрован Хётль, предложивший свои услуги ОСС осенью сорок четвертого года в Будапеште, работая вместе с Эйхманом по торговле евреями; провернули хороший бизнес, несколько миллионов франков, и не бумажками, а бензином и военными грузовиками; один из выпущенных финансистов позвонил в американское посольство, передал текст, сказанный ему Хётлем. С этого и началось.

...Цифры Штирлица, переданные в Берн Хётлем, расшифровке специалистами ОСС не поддались. Однако, поскольку Штирлиц был вынужден назвать адрес, куда следовало передать его шифровку, люди Даллеса немедленно навели справки и установили, что там жил человек, связанный в свое время с группой советского разведчика Шандора Радо.

...Даллес попросил прийти к нему ближайших помощников, Гюсмана и Геверница, познакомил их с новостью и спросил, добро посмеиваясь в прокуренные усы:

— Ну, что станем делать? Думайте, парни, задачка

невероятно интересна... Пойдем на контакт с русской разведкой? Или воздержимся?

Даллес имел исчерпывающую информацию по поводу всего того, что сейчас происходило в Вашингтоне; он понимал, что ситуация сложилась в высшей мере сложная. Он был убежден, что на Рузвельта давят силы, стоящие за той финансовой группой, которая давно и упорно боролась за влияние на государственный департамент против тех, кто блокировался вокруг «Салливэна и Кромвэлла» — адвокатской фирмы Даллесов, сориентированной на самую правую концепцию Уолл-стрита.

Он понимал, что схватка за сферы влияния в Германии, да и в Европе вообще, вступила в последнюю, решающую фазу: компаньоны ему не простят, потеряй он свой пост; все те нити, связывавшие его с германской промышленностью, которые он так трепетно налаживал и берег все эти годы, просто-таки не имеют права перейти в другие руки; это будет означать крушение его жизни, карьеры, будущего.

Он понимал, что Рузвельт ведет сложную партию: президент взял на себя смелость доказать американцам, что в мире вполне могут сосуществовать такие разностные структуры, как Запад с его свободным предпринимательством и большевистское государство, построенное на примате государственного планирования. Даллес отдавал себе отчет в том, отчего Рузвельт с маниакальной настойчивостью добивался того, чтобы Сталин прилетел в Касабланку, на встречу «Большой тройки», или же — на худой конец — в Тегеран: этим Рузвельт доказывал тем, кто поддерживал его политику в банках и концернах, что диалог со Сталиным вполне возможен. Он, государственный политик, понятно, не потерпит, чтобы его страну хоть в какой-то мере третировали, но в нем нет имперских амбиций, и он умеет соблюдать договорные обязательства.

Даллесу и тем, кто поддерживал его концепцию — прямо противоположную концепции Рузвельта, — весною сорок пятого было весьма трудно маневрировать: мир отринул бы открытое размежевание с русскими и сепаратный договор с рейхом; слишком свежи раны, слишком трагично пережитое, не ставшее еще п а м я т ь ю. Скорее бы! Память поддается корректировке, что-то можно замолчать, что-то переписать наново, что-то подвергнуть остракизму. Однако главная задача момента заключается в том, чтобы удержать занятые позиции.

Именно поэтому Даллес собрал на совещание Гевер-

ница и Гюсмана, ибо просто-напросто отказать Жозефу, попавшему, видимо, в сложное положение и прижатому русскими, нельзя, но и помогать Советам, особенно в том регионе рейха, который представлял для Даллеса особый интерес (как-никак речь шла о картинах и скульптурах, общая стоимость которых исчислялась почти в миллиард долларов), он не мог, не имел права.

Поэтому, выслушав Гюсмана, который полагал возможным сообщить Жозефу, что его просьба будет исполнена, запросить обстоятельства, которые понудили его согласиться передать такого рода шифрограмму, но, понятно, никому и ничего не передавать: наступает суматоха, одна радиограмма утонет в ворохе других — сколько их сейчас в эфире. Даллес с ним не согласился, как и не согласился с Геверницем, предложившим организовать наблюдение за квартирой человека, которому адресовано послание, и сделать так, чтобы правительство конфедерации, узнав о нем, предприняло демарш и выдворило его из страны.

— Нет, — сказал Даллес, пыхнув сладким голландским табаком, набитым в прямую английскую трубку, — нет, это не путь. В Верхней Австрии наклевывается, видимо, что-то чрезвычайно интересное, но вправе ли мы рисковать? Помогать русскому резиденту в Линце, прижавшему нашего агента? Нет, понятно. Начать с ним игру? Заманчиво. Но мне и так достается в Белом доме за тот курс, который мы проводим, и я не знаю, чем кончится вся та свистопляска, которая поднялась после провала миссии Вольфа... У меня есть соломоново решение: я думаю отправить телеграмму Доновану, в копии государственному секретарю с сообщением о произошедшем. Более того, я изменю самому себе и потребую у к а з а н и й, как следует в данном случае поступить. Я убежден, что наш запрос вызовет такую свару в Вашингтоне, которая будет продолжаться не день и не два, а добрую неделю. И я не убежден, что Вашингтон даст нам указание выполнить просьбу Жозефа...

— Не Жозефа, — поправил его Геверниц, — а того русского резидента, который сел ему на шею и завернул руки за спину...

Даллес покачал головой, улыбнулся:

— Все зависит от того, как будет сформулирована наша телеграмма. Если мы выведем в левый угол Жозефа, если мы сделаем упор на то, что к нам обратился с просьбой офицер СС, близкий Кальтенбруннеру, те люди, которые стоят на общих с нами позициях, вполне

могут затребовать исчерпывающую информацию о нашем агенте: отчего он пошел на контакт с русскими, нет ли за всем этим игры нацистов... Нам придется готовить ответную телеграмму, а это не простое дело, нужно время, вопрос серьезный, вот вам еще одна неделя... А я рассчитываю, что дней через пятнадцать все кончится, будем откупоривать шампанское... Конечно, бюрократия — ужасна, но в данном случае — да здравствует бюрократия! Подождем, сейчас надо уметь выждать...

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ (МАКСИМ МАКСИМОВИЧ ИСАЕВ)

— Хётль, — сказал Штирлиц, когда Ойген и Вилли принялись аккуратно просматривать документацию по радиопередачам, а Курт отправился в Линц, чтобы проинформировать секретариат гауляйтера Айгрубера о начале работы, — составьте мне компанию, а? Право, не могу гулять в одиночестве.

— С удовольствием, — ответил Хётль; лицо его за ночь осунулось.

— Одну минуту, — остановил их Ойген. — Я починил ваш аппаратик, штандартенфюрер... Не понадобится?

Штирлиц вспомнил напутствие Мюллера и понял, что слова Ойгена — не просьба, но приказ; ответил:

— Вы очень внимательны, старина, я действительно привык к диктофону, словно к парабеллуму.

Ойген вернулся через пару минут, передал Штирлицу диктофон, заставил себя улыбнуться; однако улыбка была вымученная; глаза опущены; губы и г р а л и.

— Надо будет опробовать ваши технические способности на штурмбанфюрере Хётле, — заметил Штирлиц. — Придется мне его маленько позаписывать, а? Не возражаете, Хётль?

— Ну отчего же? — ответил тот. — Подслушивания боится только враг, честный человек не опасается проверки.

— Видите, Ойген, — продолжал Штирлиц, — Хётлю даже доставляет особую радость, когда его подслушивают, значит, он не мусор на улице, а явление, его мыслями интересуются; отсюда — чувство самоуважения, ощущение собственной значимости, нет, Ойген?

Тот поднял на Штирлица глаза, полные безысходной, тяжелой злобы:

— Именно так, штандартенфюрер.

— Ну и славно, нет ничего приятнее, как работать с

единомышленниками. Пошли. Хётль, спасибо, что вы нашли для меня время после утомительного дежурства...

...В парке, закинув голову так, что в глазах было одно лишь безбрежное, густо-синее небо да еще кроны сосен, Штирлиц остановился, вдохнул полной грудью стылый воздух, в котором явственно ощущался запах горных ручьев, стремительных, прозрачных, улыбнулся и тихо сказал:

— Самое поразительное заключается в том, что сейчас я совершенно явственно представил себе м е л ь к форели, которая взносится сквозь грохот падающей воды вверх по порогу... Любите ловить форель?

— Не пробовал.

— Зря. Это еще более азартно, чем охота. Удачный заброс — моментальный поклев; никаких тебе поплавков, никакого ожидания; постоянное состязание у д а ч...

— Здесь кое-кто ловит форель, — не понимая, куда клонит Штирлиц, настороженно ответил Хётль.

— Я знаю. Тут у вас хорошая форель, небольшая, а потому особенно красивая; сине-красные крапинки очень ярки, абсолютное ощущение перламутровости... В Испании я пытался заниматься живописью, там красивая рыбалка на Ирати, в стране басков... Рыбу очень трудно писать, надо родиться голландцем... Любите живопись?

Хётль полез за сигаретами, начал нервно прикуривать; порывы ветра то и дело гасили пламя зажигалки.

— Да не курите вы на прогулке! — сердито сказал Штирлиц. — Поберегите легкие! Неужели не понятно, что при здешнем воздухе никотин войдет в самые сокровенные уголки ваших бронхов и останется там вместе с кислородом... Уж коли не можете без курева, травите себя дома...

— Штандартенфюрер, я так не могу! — закашлялся Хётль. — Вы выключили аппаратуру?

— Вы же видели... Конечно, не включал...

— Покажите...

Штирлиц достал из кармана диктофон, протянул Хётлю:

— Можете держать у себя, если вам так спокойнее.

— Спасибо, — ответил Хётль, сунув диктофон в карман своего кожаного реглана. — Почему вы спросили о голландской живописи? Потому что знаете про шахту Аусзее, где хранятся картины Гитлера?

Штирлиц снова закинул голову и, вспомнив стихотворные строки из затрепанной книжечки Пастернака: «...в траве, меж диких бальзаминов, ромашек и лесных купав лежим мы, руки запрокинув и в небо головы задрав, и так неистовы на синем разбеги огненных стволов...» — почувствовал всю весомость языка, ощутил поэтому горделивую, несколько даже хвастливую радость и, вздохнув, сказал:

— Как это ужасно, Хётль, когда люди ни одно слово не воспринимают просто, а ищут в нем второй, потаенный смысл... Отчего вы решили, что меня интересует хранилище картин, принадлежащих фюреру?

— Потому что вы спросили меня, как я отношусь к живописи... Мне поэтому показалось, что вы тоже интересуетесь хранилищем.

— «Я тоже». А кто еще интересуется?

Хётль пожал плечами.

— Все, кому не лень.

— Хётль, — вздохнул Штирлиц, — вам выгодно взять меня в долю. Я не фанатик, я отдаю себе отчет в том, что мы проиграли войну; крах наступит в течение ближайших месяцев, может быть, недель... Вы же видите отношение ко мне спутников, которые не выпускают меня с территории этого замка... Меня подозревают так же, как вас, но вы имеете возможность днем уезжать в Линц, а я этой возможности лишен... А в этом я заинтересован по-настоящему...

— Но как же тогда понять, — пропустив Штирлица перед собою на узенький мостик, переброшенный через глубокий ров, по дну которого, пенясь, шумел ручей, сказал Хётль, — что вас, подозреваемого, отправляют со специальным заданием в штаб-квартиру Кальтенбруннера? Что-то не сходится в этой схеме... Да и потом, Эйхман вводил меня в свои комбинации: он играл «друга» арестованного, а я бранил его за это во время допроса — все-таки не первый год работаю в РСХА, наши приемы многообразны...

— Это верно, согласен... Но вам ничего не остается, кроме как верить мне, Хётль... Мне ведь тоже приходится вам верить... А я вправе допустить, что вы работаете на Запад с санкции Кальтенбруннера, он знает о вашей деятельности, давным-давно ее разрешил и вы поэтому еще вчера передали ему в Берлин мою шифровку и сообщили о нашем нежданном визите.

— Но, если вы допускаете такую возможность, как вы можете работать со мною?

Штирлиц пожал плечами:

— А что мне остается делать?

Хётль согласно кивнул:

— Действительно, ничего... Но даже если мне — в силу личной выгоды, говорю вполне откровенно, — придется сообщить Кальтенбруннеру о визите вашей группы, о вас я не произнесу ни слова, которое бы пошло вам во вред.

— Призываете к взаимности?

— Да.

— Но вы ведь уже сообщили Кальтенбруннеру о нашем прибытии, нет?

— Мы ведь договорились о взаимности?

— Я бы советовал повременить, Хётль. Это — и в ваших интересах.

— Постараюсь, — ответил тот, и Штирлиц понял, что он, конечно же, ищет возможность каким-то ловким способом сообщить Кальтенбруннеру, если уже не сообщил...

— Кого интересуют соляные копи, где складированы картины? — спросил Штирлиц.

— Американцев.

— Их люди давно заброшены сюда?

— Да.

— Где они?

— Под Зальцбургом.

— Вы с ними контактируете?

— Они со мною контактируют, — раздраженно уточнил Хётль.

— Да будет вам, дружище, — сказал Штирлиц и вдруг поймал себя на мысли, что произнес эту фразу, подражая Мюллеру. — Сейчас такое время настало, когда именно вы в них заинтересованы, а не они в вас.

Хётль покачал головой:

— Они — больше. Если я не смогу предпринять решительных шагов, то штольни, где хранятся картины и скульптуры, будут взорваны.

— Вы с ума сошли!

— Нет, я не сошел с ума. Это приказ фюрера. В штольни уже заложено пять авиационных бомб; проведены провода, установлены детонаторы.

— Кто обязан отдать приказ о взрыве?

— Берлин... Фюрер... Или Кальтенбруннер.

— А не Борман?

— Может быть, и он, но я слышал про Кальтенбруннера.

— Сможете на него повлиять?

— Вы же знаете характер этого человека...

— Человека, — повторил Штирлиц, усмехнувшись. — Животное... Он знает о ваших контактах?

— Нет.

— Думаете открыться ему?

— Я не решил еще...

— Если вы говорите правду, то погодите пару недель. Он относится к числу тех фанатиков, которые ночью признаются себе в том, что наступил крах, а утром, выпив водки, от страха норовят написать исповедь фюреру и молить о пощаде. Признавайтесь ему, когда здесь станет слышна канонада... Он намерен приехать сюда?

— Не знаю.

— Он прибежит сюда. Навяжите ему действия. Сам он не умеет поступать... Ни он, ни Гиммлер, ни Геринг... Они все раздавлены их кумиром, фюрером... В этом их трагедия, а ваше спасение... Скажите ему, что обергруппенфюрер Карл Вольф стал равноправным партнером Аллена Даллеса после того, как гарантировал спасение галереи Уффици... Признайтесь ему, что вы можете сообщить Даллесу о его благородстве — утопающий хватается за соломинку... А вас — если сможете повлиять на него — это действительно спасет от многих бед...

Хётль задумчиво спросил:

— А что будет со мною? Если вы всех просчитали далеко вперед — в том числе и меня, — то, значит, могут просчитать и другие? Я готов сделать то, что в моих силах, но я хочу получить гарантию... Я должен выжить... Я готов на все, штандартенфюрер, у меня прекрасная семья, я пошел в СС ради семьи, будь проклят тот день и час...

— Вы мне тоже выгодны в качестве живой субстанции, Хётль, наши интересы смыкаются... У меня есть идея... Точнее говоря, она возникла после того, как вы сказали мне про ваши контакты с американской разведкой здесь, под Зальцбургом... Видимо, надо будет нам договориться с вашими контактами, чтобы они вышли на связь со Швейцарией... Вы работаете на швейцарский центр, нет?

— Да.

— На Даллеса?

— Я виделся с высоким черным мужчиной...

— Лет тридцати пяти, надменен, коммунистов ругает не меньше, чем национал-социалистов, нет?

— Так.

— Это Геверниц, — убежденно сказал Штирлиц, — заместитель Даллеса, натурализовавшийся немец. Сильный парень, толк в деле знает... Так вот, пусть те, кто оперирует здесь, вокруг Альт Аусзее, выйдут в эфир с длинной радиограммой — ее немедленно запеленгуют, а вы в это время будете сидеть за столом вместе с Ойгеном и Вилли — полное алиби. Я стану работать с документами, для вас лучше, если отчет о случившемся напишет Ойген... Очень, кстати, страшный человек, старайтесь наладить с ним добрые отношения... Сможете организовать такой радиосеанс?

— Смогу.

— А запросить Швейцарию, отчего я не получаю ответа, сможете?

— Это самое легкое задание, — усмехнулся Хётль.

— Но оно повлечет за собою — в случае если мы не получим ответа, который меня устроит, — более сложное.

— Какое? — вновь насторожился Хётль, даже голову втянул в плечи.

— Вы мне устроите встречу с американцами.

— Здесь работают не американцы, но австрийцы... И встречу я вам не стану устраивать...

— Так уж безоговорочно?

— Да.

— Боитесь, что прихлопну всех скопом?

— Да.

— Но ведь если бы я этого хотел, то попросил Ойгена и его команду заняться вами, и тогда вы устроите такую встречу через час, самое большее.

— Какая вам от этого выгода? — остановившись, спросил Хётль.

— Ну как вам сказать? — Штирлиц усмехнулся. — Получу Крест с дубовыми листьями, благодарность в приказе.

«Сейчас он станет меня убеждать, что выгоднее сотрудничать с американцами, — подумал Штирлиц. — Он лишен чувства юмора».

— Если бы Рыцарский крест вам вручили в сорок третьем, тогда одно дело, — сказал Хётль. — Какой в нем сейчас прок? Он вам, наоборот, помешает, вы знаете, Сталин навязал американцам драконовский закон о наказании офицеров СС...

— Да?! Черт, вы правы! — Штирлиц снова запрокинул голову; небо стало еще более темным, такое оно было тяжелое, высокое. — Сколько времени мы гуляем?

— Вы верно спросили, — ответил Хётль. — За нами пошел ваш Курт.

— Значит, минут тридцать... Проверка... Теперь вот что... Подумайте, кто из здешних осведомителей гестапо оставлен для работы в подполье? Кто возглавляет местный «Вервольф»?

— Это тайна за семью печатями, «Вервольфом» занимается НСДАП, гауляйтер Айгрубер...

— Он — больной человек?

— Здоровый.

— Я имею в виду психическое состояние... Плачет во время выступлений? Срывается голос, когда возглашает здравицу в честь фюрера? Действительно убежден в победе?

— В таком случае, болен... Только можно ли фанатизм называть болезнью?

— Или болезнь, или холодный и расчетливый карьеризм, который всегда граничит с предательством.

— Тогда, скорее, первое. Айгрубер болен...

— Болен так болен... Я не зря спросил вас про осведомителей, оставленных для работы в рядах «Вервольфа», Хётль. Мы проведем комбинацию; я стану с вами беседовать в присутствии Ойгена — после того как вы устроите радиосеанс. Беседовать буду обо всем и о том, кого можно подозревать в измене среди здешних жителей... Спрошу, кто особенно хорошо знает местность... Кто может тайно пройти в район замка и наладить связь со Швейцарией отсюда, чтобы бросить тень на вашу контору... Понимаете?

— Понимаю... Я постараюсь...

— Вам ведь зачтется, если вы упрячете — руками гестапо, которое вы, оказывается, давно ненавидите, — пару вервольфовских мерзавцев в камеру.

Курт окликнул Штирлица:

— Штандартенфюрер, срочная телеграмма от шефа!

— Что там случилось? — спросил Штирлиц, останавливаясь.

— С грифом «лично», — ответил Курт. — Мы не читали.

Штирлиц посмотрел на Хётля, усмехнувшись:

— Они не читали. Они из клуба лондонских аристократов, нет? Пошли, продолжим разговор позже. Я жду вас через пару часов обратно... Где, кстати, ваша семья?

— В Линце, — ответил Хётль, не сводя испуганных глаз с лица Курта.

— Это правда? — Штирлиц нахмурился.

— А где ж ей еще быть?

Штирлиц спросил:

— Курт, где семьи всех сотрудников здешнего центра?

— Все живут дома, — ответил Курт, расшифровав, таким образом, то, что расшифровать было никак нельзя — интерес Мюллера к сотрудникам Кальтенбруннера.

— Дома так дома, — Штирлиц вздохнул: — Кофе хочу... Горячего кофе. Ойген все-таки храпит, не выучил его Скорцени спать тихо, пусть не обольщается...

— Да, — согласился Курт. — Я слышал, как вы ушли из спальни и сидели в столовой чуть не до утра...

Штирлиц повернулся к Хётлю, внимательно посмотрел ему в глаза; тот, видимо, все понял — действительно, следят, и слабая улыбка тронула его губы.

— Я жду вас, Хётль, — сказал Штирлиц. — Нам еще работать и работать.

— Я скоро вернусь, хайль Гитлер!

Когда он отошел шагов на тридцать, Штирлиц окликнул его:

— Дружище, отдайте диктофон, я совсем забыл, что велел вам его потаскать...

Курт прищурился, покачал головой, но ничего не сказал.

«Сейчас начнется, — подумал Штирлиц. — Сейчас они возьмут меня в переплет. Что ж, чем хуже, тем лучше, потому что ясней!»

...В переплет его, однако, не взяли, потому что в шифровке Мюллера говорилось: «Лицо, которым интересовался тот, кто отправлял вас сюда, в курсе вашей работы».

— Ну и что станем делать? — спросил Штирлиц, подняв глаза на спутников; он был убежден, что они прочитали текст; проверку устроил примитивную; видимо, Курт б р я к н е т, судя по тому, как он открылся в разговоре с Хётлем.

— Запросите указания, — засветился Вилли, а не Курт.

«Или они разыгрывают сценарий? — подумал Штирлиц. — Курт подставился в парке, при Хётле, Вилли — здесь... А какой смысл? Понятно, что я в кольце; ясно, что я — объект игры Мюллера. Но чего же он хочет добиться? Чего он м о ж е т добиться? Время упущено, времени у него нет. Что же он плетет?»

— Но ведь вы сказали мне, — Штирлиц обернулся к Курту, — что никто не читал телеграмму группенфюрера

Мюллера... Вилли позволяет себе своевольничать? Вскрывает и просматривает то, что адресовано лично мне?

— Я догадался о ее содержании по вашему вопросу, — сказал Вилли. — Никто не читал телеграмму.

— Я читал, — заметил Ойген. — Дважды.

— Поэтому меня и занимает вопрос: что станем делать? — Штирлиц пожал плечами.

— Вилли прав, — сказал Ойген. — Запросите указаний.

— После того как закончу работать с Хётлем.

— Будьте любезны, передайте мне пленку, — попросил Ойген.

Штирлиц досадливо поморщился:

— Слушайте, не надо считать всех идиотами. Не мог же я говорить с Хётлем о деле после того, как вы передали мне диктофон.

— Могли, — сказал Ойген. — Чтобы сравнить манеру его разговора, когда он знает, что его пишут, с той, когда он убежден, что говорит с глазу на глаз, доверительно.

— У нас нет времени крутить комбинации, — сказал Штирлиц. — Ясно вам? Нет. Но мы обязаны понять то, что нам вменено в обязанность понять.

— Вам, — уточнил Ойген. — Мы лишь охраняем вас.

— Тем более, — сказал Штирлиц. — Тогда не суйтесь не в свое дело, а занимайтесь моей охраной. — Поднявшись, он обернулся к Вилли: — Проводите меня к радистам.

...Мюллер прочитал телеграмму Штирлица уже вечером; весь день был в городе, еще и еще раз проходил явки ОДЕССы; лишь потом приехал к Кальтенбруннеру; шеф РСХА неожиданно поинтересовался — это было утром, — зачем в Альт Аусзее отправилась группа работников гестапо. В разговоре с ним вскользь п р о б р о с и л, что бригада, отправленная в Линц, должна помочь местному РСХА. Где-то в горах, совсем неподалеку от виллы, активно работают партизаны. Об этом стало известно фюреру. Он обеспокоился. Спрашивает — нельзя ли проверить. Об исполнении необходимо доложить ему, хотя, понятно, подробный отчет о работе будет передан вам, группенфюрер.

— Кто там работает? — спросил Кальтенбруннер.

— Штандартенфюрер Штирлиц...

— Кто? — Кальтенбруннер сделал вид, что никогда ничего не слыхал об этом человеке.

— Штирлиц из шестого отдела.

— А почему человек из разведки выполняет ваши поручения?

— Потому что он умеет работать, как никто другой...

От продолжения этого разговора, Мюллеру весьма неприятного, спас звонок Геринга. Тот интересовался, в какой мере шведская гражданская авиация может быть использована в интересах рейха. Кальтенбруннер сразу же вызвал работников группы, занимавшихся люфтваффе. Воспользовавшись этим, Мюллер попросил разрешения уйти. Обергруппенфюрер ответил рассеянным согласием — в каждом запросе Геринга он видел подвох, не хотел, чтобы тот жаловался фюреру. При том, что Гитлер перестал относиться к рейхсмаршалу так, как прежде, все равно они часто уединялись. Гитлер поддавался влияниям; неизвестно, что может брякнуть Геринг, и уж реакция фюрера на его нашептывания совершенно непредсказуема.

Мюллер еще раз прочитал телеграмму Штирлица: «Штурмбанфюрер Хётль обещал подготовить ряд материалов, представляющих интерес, в течение ближайших трех дней. Считаю возможным работу продолжать. Каковы рекомендации?»

Сняв трубку, он вызвал радиоцентр, продиктовал: «Альт Аусзее, Штирлицу. Срочно сообщите о проделанной работе. Три дня ждать нельзя. Мюллер».

...Хётль приехал через пять часов, предложил Штирлицу прогуляться. Когда они вышли, Штирлиц показал глазами на карман пальто; тот понял: беседа записывается; понизив голос, начал рассказывать о том, что Роберт Грюнберг и Константин Гюрат последние месяцы часто появляются в окрестностях замка; однако гауляйтер Айгрубер запрещает давать на них информацию в Берлин; дважды их появление показалось подозрительным, потому что они шли без фонарей, вечером, когда уже смеркалось; в один из этих именно дней был засечен выход в эфир неустановленного передатчика.

Штирлиц снова показал глазами, лицом, руками, что, мол, надо еще, говори больше, пусть кончится пленка. Хётль кивнул, продолжил рассказ.

Наконец Штирлиц — так же, полушепотом, — спросил:

— Как реагировал на эти сообщения обергруппенфюрер Кальтенбруннер?

Хётль ответил так, как ему еще утром посоветовал Штирлиц:

— Гауляйтер Айгрубер запретил отправлять Кальтенбруннеру негативную информацию, чтобы не нервировать его попусту...

Штирлиц посмотрел на часы: пленка должна была вот-вот кончиться; она и кончилась, потому что в диктофоне тихонько щелкнуло.

— Все, — сказал Штирлиц облегченно. — А теперь вот что, милый Хётль, передачи из Швейцарии не было, я уже узнал у радистов, Даллес молчит. Поэтому готовьте мне встречу с вашими контактами...

— Это ж невозможно. Вас не выпускают из-под опеки.

— Верно. Поэтому готовьте встречу здесь, в парке, возле ворот. Сколько человек вы сможете привести?

— Что-то я вас не понимаю, штандартенфюрер...

— Проще простого, Хётль. Вы приводите ваших людей, мы снимаем охрану, я ликвидирую моих стражников, и все вместе уходим в горы... Вашу семью советовал бы перевезти сегодня же куда-нибудь подальше, нечего им делать дома...

— Это слишком рискованно.

— Конечно, — согласился Штирлиц. — Но еще рискованнее держать жену и детей в качестве заложников... Вы же понимаете, что наша команда сюда не в серсо приехала играть... Не я, так другой схватит вас за руку... Только другой начнет с того, что бросит вашу жену и детей в подвал и применит к ним третью степень устрашения... В вашем присутствии...

— Мои контакты из австрийских подпольных групп наверняка запросят Даллеса. Их код не раскрыт Мюллером?

И Штирлиц совершил ошибку, ответив:

— Читай он эти телеграммы, вы бы уже стали крематорским дымом...

...Пообещав Штирлицу налет на замок, уговорившись, что он, Хётль, подготовит за сегодняшнюю ночь план операции вместе с теми, кто выступает против рейха, штурмбанфюрер зашел в коттедж, где работал Ойген и Курт с Вилли, рассказал пару еврейских анекдотов, обсудил план работы на завтра и уехал в Линц. Оттуда-то он и позвонил по личному телефону Кальтенбруннера, сказав:

— Команда идет по следу, пусть их заберут отсюда.

И — положил трубку.

Поступив так, он выполнил рекомендацию Даллеса, только что переданную им по запасному каналу связи:

«Уберите из Альт Аусзее того человека, который понудил вас отправить его шифрограмму, адресованную русским».

...Кальтенбруннер, который знал о его контактах с Западом, — был тем не менее прикрытием, на какое-то время, во всяком случае.

Дома Хётль выпил бутылку коньяку, но опьянеть не мог; позвонив Кальтенбруннеру, он поступил так, как ему подсказала его духовная структура. Однако облегчения не наступало; страх не проходил; то и дело он вспоминал слова Штирлица, что семья может оказаться в заложниках. Но он не мог жить с а м, ему был нужен приказ, совет, рекомендация того, кто стоял над ним, иначе он просто-напросто не умел — руки становились ледяными, мучила бессонница, бил озноб.

Хётль попросил жену сразиться с ним в карты, проигрывая, начал злиться; выпил две таблетки снотворного и провалился в тревожный, холодный сон.

...В два часа ночи Кальтенбруннер позвонил Мюллеру.

— Послушайте-ка, — сказал он, — мне не нравится ситуация в Альт Аусзее. Пусть ваши люди сейчас же выезжают оттуда и днем явятся ко мне для доклада, подумаем вместе, как организовать надежный поиск вражеских радистов.

— Хорошо, обергруппенфюрер, — ответил Мюллер. — Я подготовлю телеграмму Штирлицу.

Телеграмму отправлять не стал, а поехал в бункер, к Борману.

Тот, выслушав его, сказал:

— Что ж, значит, Кальтенбруннер тоже играет свою карту, честному человеку нечего бояться проверки... Молодец Штирлиц...

Через семь минут после этого разговора Мюллер отправил телеграмму Ойгену: «Вывезите Штирлица и доставьте его ко мне не медля ни часа».

ТРАГИЧЕСКОЕ И ПРЕКРАСНОЕ УМЕНИЕ ПОНЯТЬ ПРАВДУ (12 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА)

Получив подробный меморандум Гопкинса о последних акциях ОСС, поняв сразу же, какие у з л ы генерал Донован опускал в своих сообщениях, каких деталей ка-

сался вскользь, о чем вовсе не писал, словно бы того, что было, и не было вовсе, Рузвельт попросил адъютанта по ВМФ принести папку, где хранилась переписка со Сталиным, и отложил те телеграммы, которые были связаны с операцией «Санрайз».

Президент прочитал свои послания и ответы русского маршала дважды, снова пробежал записку Донована, посвященную переговорам Аллена Даллеса с обергруппенфюрером СС Карлом Вольфом, пролистал меморандум, составленный и по этому вопросу другом и советником Гарри Гопкинсом, и ощутил вдруг, как заполыхали щеки.

«Будто брал без спроса апельсиновое варенье у бабушки, — подумал Рузвельт. — Его хранили для рождественского чая, а я лакомился в ноябре, и это увидели, и я тогда впервые сделался пунцовым от стыда...»

— У меня чертовски устали глаза, если вас не затруднит, прочитайте мне, пожалуйста, всю переписку с Дядей Джо, — попросил Рузвельт адъютанта. — Я хочу понять общий стиль диалога. Иначе мне будет трудно составить такую телеграмму русскому лидеру, в которой будет зафиксировано не только мое нынешнее отношение к факту переговоров, но и некое извинение за то недостойное поведение, которое позволили себе — видимо, по недоразумению — наши люди в Берне и здесь, в штабе Донована.

Адъютант надел очки и начал читать — громко, монотонно (Рузвельт всегда просил читать именно так, ибо опасался эмоций, которые придают слову совершенно иной смысл; если слушать предвыборные речи республиканского соперника Дьюи, то, казалось, его устами вещает сама Правда, но стоило прочитать речь, и можно было только диву даваться: полная пустота, никаких мыслей, бухгалтерский отчет, составленный к тому же человеком не очень-то чистым на руку).

— «Лично и секретно от премьера Сталина президенту г-ну Ф. Рузвельту... — зачитал адъютант и откашлялся. — Я разобрался с вопросом, который Вы поставили передо мной в письме... и нашел, что Советское Правительство не могло дать другого ответа после того, как было отказано в участии советских представителей в переговорах в Берне с немцами о возможности капитуляции германских войск и открытии фронта англо-американским войскам в Северной Италии.

Я не только не против, а, наоборот, целиком стою за то, чтобы использовать случаи развала в немецких

армиях и ускорить их капитуляцию на том или ином участке фронта, поощрить их в деле открытия фронта союзным войскам.

Но я согласен на переговоры с врагом по такому делу только в том случае, если эти переговоры не поведут к облегчению положения врага, если будет исключена для немцев возможность маневрировать и использовать эти переговоры для переброски своих войск на другие участки фронта, и прежде всего на советский фронт.

Только в целях создания такой гарантии и было Советским Правительством признано необходимым участие представителей Советского военного командования в таких переговорах с врагом, где бы они ни происходили — в Берне или Казерте. Я не понимаю, почему отказано представителям Советского командования в участии в этих переговорах и чем они могли бы помешать представителям союзного командования.

К Вашему сведению должен сообщить Вам, что немцы уже использовали переговоры с командованием союзников и успели за этот период перебросить из Северной Италии три дивизии на советский фронт.

Задача согласованных операций с ударом на немцев с запада, с юга и с востока, провозглашенная на Крымской конференции, состоит в том, чтобы приковать войска противника к месту их нахождения и не дать противнику возможности маневрировать, перебрасывать войска в нужном ему направлении. Эта задача выполняется Советским командованием. Эта задача нарушается фельдмаршалом Александером. Это обстоятельство нервирует Советское командование, создает почву для недоверия.

«Как военный человек, — пишете Вы мне, — Вы поймете, что необходимо быстро действовать, чтобы не упустить возможности. Так же обстояло бы дело в случае, если бы к Вашему генералу под Кенигсбергом или Данцигом противник обратился с белым флагом». К сожалению, аналогия здесь не подходит. Немецкие войска под Данцигом или Кенигсбергом окружены. Если они сдадутся в плен, то они сделают это для того, чтобы спастись от истребления, но они не могут открыть фронт советским войскам, так как фронт ушел от них далеко на запад, на Одер. Совершенно другое положение у немецких войск в Северной Италии. Они не окружены, и им не угрожает истребление. Если немцы в Северной Италии, несмотря на это, все же добиваются переговоров, чтобы сдаться в плен и открыть фронт союзным войскам,

то это значит, что у них имеются какие-то другие, более серьезные цели, касающиеся судьбы Германии.

Должен Вам сказать, что, если бы на восточном фронте где-либо на Одере создались аналогичные условия возможности капитуляции немцев и открытия фронта советским войскам, я бы не преминул немедленно сообщить об этом англо-американскому военному командованию и попросить его прислать своих представителей для участия в переговорах, ибо у союзников в таких случаях не должно быть друг от друга секретов».

— Дальше, — попросил Рузвельт.

— «Лично и строго секретно для маршала Сталина от президента Рузвельта... Мне кажется, что в процессе обмена посланиями между нами относительно возможных будущих переговоров с немцами о капитуляции их вооруженных сил в Италии, несмотря на то что между нами обоими имеется согласие по всем основным принципам, вокруг этого создалась теперь атмосфера достойных сожаления опасений и недоверия.

Никаких переговоров о капитуляции не было, и если будут какие-либо переговоры, то они будут вестись в Казерте все время в присутствии Ваших представителей. Хотя попытка, предпринятая в Берне в целях организации этих переговоров, оказалась бесплодной, маршалу Александеру поручено держать Вас в курсе этого дела.

Я должен повторить, что единственной целью встречи в Берне было установление контакта с компетентными германскими офицерами, а не ведение переговоров какого-либо рода.

Не может быть и речи о том, чтобы вести переговоры с немцами так, чтобы это позволило им перебросить куда-либо свои силы с итальянского фронта. Если и будут вестись какие-либо переговоры, то они будут происходить на основе безоговорочной капитуляции. Что касается отсутствия наступательных операций союзников в Италии, то это никоим образом не является следствием каких-либо надежд на соглашение с немцами. Фактически перерыв в наступательных операциях в Италии в последнее время объясняется главным образом недавней переброской войск союзников — британских и канадских дивизий — с этого фронта во Францию. В настоящее время ведется подготовка к началу наступления на итальянском фронте около 10 апреля. Но, хотя мы и надеемся на успех, размах этой операции будет ограниченным вследствие недостаточного количества сил, имею-

щихся ныне в распоряжении Александера. У него имеется 17 боеспособных дивизий, а против него действует 24 германские дивизии. Мы намерены сделать все, что позволят нам наши наличные ресурсы, для того чтобы воспрепятствовать какой-либо переброске германских войск, находящихся теперь в Италии.

Я считаю, что Ваши сведения о времени переброски германских войск из Италии ошибочны. Согласно имеющимся у нас достоверным сведениям, три германские дивизии отбыли из Италии после 1 января этого года, причем две из них были переброшены на восточный фронт. Переброска последней из этих трех дивизий началась приблизительно 25 февраля, то есть более чем за две недели до того, как кто-либо слышал о какой-либо возможности капитуляции. Поэтому совершенно ясно, что обращение германских агентов в Берне имело место после того, когда уже началась последняя переброска войск, и оно никоим образом не могло повлиять на эту переброску.

Все это дело возникло в результате инициативы одного германского офицера, который якобы близок к Гиммлеру, причем, конечно, весьма вероятно, что единственная цель, которую он преследует, заключается в том, чтобы посеять подозрения и недоверие между союзниками. У нас нет никаких оснований позволить ему преуспеть в достижении этой цели. Я надеюсь, что вышеприведенное ясное изложение нынешнего положения и моих намерений рассеет те опасения, которые Вы высказали в Вашем послании...»

— Высшего генерала СС Донован назвал мне «германским офицером», — заметил Рузвельт. — И я ему поверил. И оказался в глазах Дяди Джо лжецом... Стыд... Пожалуйста, дальше...

— «От маршала Сталина президенту господину Рузвельту...

Получил Ваше послание по вопросу о переговорах в Берне.

Вы совершенно правы, что в связи с историей о переговорах англо-американского командования с немецким командованием где-то в Берне или в другом месте «создалась теперь атмосфера достойных сожаления опасений и недоверия».

Вы утверждаете, что никаких переговоров не было еще. Надо полагать, что Вас не информировали полностью. Что касается моих военных коллег, то они, на основании имеющихся у них данных, не сомневаются в

том, что переговоры были и они закончились соглашением с немцами, в силу которого немецкий командующий на западном фронте маршал Кессельринг согласился открыть фронт и пропустить на восток англо-американские войска, а англо-американцы обещали за это облегчить для немцев условия перемирия.

Я думаю, что мои коллеги близки к истине. В противном случае был бы непонятен тот факт, что англо-американцы отказались допустить в Берн представителей Советского командования для участия в переговорах с немцами.

Мне непонятно также молчание англичан, которые предоставили Вам вести переписку со мной по этому неприятному вопросу, а сами продолжают молчать, хотя известно, что инициатива во всей этой истории с переговорами в Берне принадлежит англичанам.

Я понимаю, что известные плюсы для англо-американских войск имеются в результате этих сепаратных переговоров в Берне или где-то в другом месте, поскольку англо-американские войска получают возможность продвигаться в глубь Германии почти без всякого сопротивления со стороны немцев, но почему надо было скрывать это от русских и почему не предупредили об этом своих союзников — русских?

И вот получается, что в данную минуту немцы на западном фронте на деле прекратили войну против Англии и Америки. Вместе с тем немцы продолжают войну с Россией — с союзницей Англии и США.

Понятно, что такая ситуация никак не может служить делу сохранения и укрепления доверия между нашими странами.

Я уже писал Вам в предыдущем послании и считаю нужным повторить здесь, что я лично и мои коллеги ни в коем случае не пошли бы на такой рискованный шаг, сознавая, что минутная выгода, какая бы она ни была, бледнеет перед принципиальной выгодой по сохранению и укреплению доверия между союзниками».

— Он, увы, прав, — заметил Рузвельт.

— Вы устали? — спросил адъютант.

— О нет, нет, что вы... Я жду...

— «Лично и строго секретно для маршала Сталина от президента Рузвельта... Я с удивлением получил Ваше послание, содержащее утверждение, что соглашение, заключенное между фельдмаршалом Александером и Кессельрингом в Берне, позволило «пропустить на восток англо-американские войска, а англо-американцы

обещали за это облегчить для немцев условия перемирия».

В моих предыдущих посланиях Вам по поводу попыток, предпринимавшихся в Берне в целях организации совещания для обсуждения капитуляции германских войск в Италии, я сообщил Вам, что: 1) в Берне не происходило никаких переговоров; 2) эта встреча вообще не носила политического характера; 3) в случае любой капитуляции вражеской армии в Италии не будет иметь место нарушение нашего согласованного принципа безоговорочной капитуляции; 4) будет приветствоваться присутствие советских офицеров на любой встрече, которая может быть организована для обсуждения капитуляции.

В интересах наших совместных военных усилий против Германии, которые сейчас открывают блестящую перспективу быстрых успехов в деле распада германских войск, я должен по-прежнему предполагать, что Вы питаете столь же высокое доверие к моей честности и надежности, какое я всегда питал к Вашей честности и надежности.

Я также полностью оцениваю ту роль, которую сыграла Ваша армия, позволив вооруженным силам, находящимся под командованием генерала Эйзенхауэра, форсировать Рейн, а также то влияние, которое окажут впоследствии действия Ваших войск на окончательный крах германского сопротивления нашим общим ударам.

Я полностью доверяю генералу Эйзенхауэру и уверен, что он, конечно, информировал бы меня, прежде чем вступить в какое-либо соглашение с немцами. Ему поручено требовать, и он будет требовать безоговорочной капитуляции тех вражеских войск, которые могут потерпеть поражение на его фронте. Наше продвижение на западном фронте является результатом военных действий. Скорость этого продвижения объясняется главным образом ужасающим ударом наших военно-воздушных сил, который привел к разрушению германских коммуникаций, а также тем, что Эйзенхауэру удалось подорвать силы основной массы германских войск на западном фронте в то время, когда они находились еще к западу от Рейна.

Я уверен, что в Берне никогда не происходило никаких переговоров, и считаю, что имеющиеся у Вас об этом сведения, должно быть, исходят из германских источников, которые упорно старались вызвать разлад между ними, с тем чтобы в какой-то мере избежать ответствен-

ности за совершенные ими военные преступления. Если таковой была цель Вольфа, то Ваше послание доказывает, что он добился некоторого успеха.

Будучи убежден в том, что Вы уверены в моей личной надежности и в моей решимости добиться вместе с Вами безоговорочной капитуляции нацистов, я удивлен, что Советское Правительство, по-видимому, прислушивалось к мнению о том, что я вступил в соглашение с врагом, не получив сначала Вашего полного согласия.

Наконец, я хотел бы сказать, что если бы как раз в момент победы, которая теперь уже близка, подобные подозрения, подобное отсутствие доверия нанесли ущерб всему делу после колоссальных жертв — людских и материальных, то это было бы одной из величайших трагедий в истории.

Откровенно говоря, я не могу не чувствовать крайнего негодования в отношении Ваших информаторов, кто бы они ни были, в связи с таким гнусным, неправильным описанием моих действий или действий моих доверенных подчиненных».

— Вы ощущаете неловкость? — спросил Рузвельт. — Вы понимаете, в какое положение меня поставили? Дальше...

— «Лично и секретно от премьера Сталина президенту г-ну Ф. Рузвельту...

1. В моем послании... речь идет не о честности и надежности. Я никогда не сомневался в Вашей честности и надежности, так же как и в честности и надежности г-на Черчилля. У меня речь идет о том, что в ходе переписки между нами обнаружилась разница во взглядах на то, что может позволить себе союзник в отношении другого союзника и чего он не должен позволить себе. Мы, русские, думаем, что в нынешней обстановке на фронтах, когда враг стоит перед неизбежностью капитуляции, при любой встрече с немцами по вопросам капитуляции представителей одного из союзников должно быть обеспечено участие в этой встрече представителей другого союзника. Во всяком случае, это безусловно необходимо, если этот союзник добивается участия в такой встрече. Американцы же и англичане думают иначе, считая русскую точку зрения неправильной. Исходя из этого, они отказали русским в праве на участие во встрече с немцами в Швейцарии. Я уже писал Вам и считаю не лишним повторить, что русские при аналогичном положении ни в коем случае не отказали бы американцам и англичанам в праве на участие в

такой встрече. Я продолжаю считать русскую точку зрения единственно правильной, так как она исключает всякую возможность взаимных подозрений и не дает противнику возможности сеять среди нас недоверие.

2. Трудно согласиться с тем, что отсутствие сопротивления со стороны немцев на западном фронте объясняется только лишь тем, что они оказались разбитыми. У немцев имеется на восточном фронте 147 дивизий. Они могли бы без ущерба для своего дела снять с восточного фронта 15—20 дивизий и перебросить их на помощь своим войскам на западном фронте. Однако немцы этого не сделали и не делают. Они продолжают с остервенением драться с русскими за какую-то малоизвестную станцию Земляницу в Чехословакии, которая им столько же нужна, как мертвому припарки, но безо всякого сопротивления сдают такие важные города в центре Германии, как Оснабрюк, Мангейм, Кассель. Согласитесь, что такое поведение немцев является более чем странным и непонятным.

3. Что касается моих информаторов, то, уверяю Вас, это очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо. Эти люди многократно проверены нами на деле. Судите сами. В феврале этого года генерал Маршалл дал ряд важных сообщений Генеральному Штабу советских войск, где он на основании имеющихся у него данных предупреждал русских, что в марте месяце будут два серьезных контрудара немцев на восточном фронте, из коих один будет направлен из Померании на Торн, а другой — из района Моравска Острава на Лодзь. На деле, однако, оказалось, что главный удар немцев готовился и был осуществлен не в указанных выше районах, а в совершенно другом районе, а именно в районе озера Балатон, юго-западнее Будапешта. Как известно теперь, в этом районе немцы собрали до 35 дивизий, в том числе 11 танковых дивизий. Это был один из самых серьезных ударов за время войны с такой большой концентрацией танковых сил. Маршалу Толбухину удалось избегнуть катастрофы и потом разбить немцев наголову, между прочим, потому, что мои информаторы раскрыли, правда с некоторым опозданием, этот план главного удара немцев и немедленно предупредили о нем маршала Толбухина. Таким образом, я имел случай еще раз убедиться в аккуратности и осведомленности советских информаторов...»

— Узколобая корысть и традиционная нелюбовь

к русским может стать — на определенном этапе — детонатором взрыва, — тихо заметил Рузвельт. — Мне совестно, что я обрывал Гопкинса, когда тот говорил, что мне лгут... Пожалуйста, запишите текст... «Лично и строго секретно для маршала Сталина от президента Рузвельта. Благодарю Вас за Ваше искреннее пояснение советской точки зрения в отношении бернского инцидента, который, как сейчас представляется, поблек и отошел в прошлое, не принеся какой-либо пользы.

Во всяком случае, не должно быть взаимного недоверия и незначительные недоразумения такого характера не должны возникать в будущем. Я уверен, что, когда наши армии установят контакт в Германии и объединятся в полностью координированном наступлении, нацистские армии распадутся».

— Точка, — закончил Рузвельт. — Это все, что я пока могу сделать. Но это только начало. Русские, думаю, меня поймут... Поставьте дату: двенадцатое апреля тысяч девятьсот сорок пятого года...

...Это был последний документ, подписанный Франклином Делано Рузвельтом; спустя несколько часов он — неожиданно для всех — умер.

УДАР КРАСНОЙ АРМИИ. ПОСЛЕДСТВИЯ — I

Понятие «хруст», приложимое, как правило, к явлениям физическим, в равной мере может быть спроецировано на то, что случилось 16 апреля сорок пятого года, после того как войска Жукова, включив тысячи прожекторов, обрушили на позиции немецких войск, укрепившихся на Одерском редуте, ураган снарядов, мин и бомб.

Хрустела не только оборона; хрустел рейх; то, что еще за мгновение перед началом удара являло собой структуру, волю массы противной стороны, сейчас медленно, разрываемое тающими, стремительными трещинами, неумолимо и грохочуще оседало, поднимая при этом смерч душной пыли и гари.

...В Цоссене, в штаб-квартире Крабса, сменившего Гудериана, телефоны звонили беспрерывно (связь работала по-немецки отменно); известия с Одера приходили через каждые пятнадцать минут.

Кребс, стоявший в кабинете возле карты, спиною к

собравшимся, не мог не слышать, как глухо, но не испуганно уже, не шепотом, а открыто, громко, понимая надвигающийся ужас, кто-то из офицеров говорил его адъютанту Герхарду Болдту:

— Неужели американцы не успеют?! Ведь они на Эльбе, фронт открыт, их танки в Цербсте, неужели они не захотят войти в Берлин первыми?

Кребс обернулся, посмотрел куда-то поверх голов своих штабных и обратился к адъютанту:

— Пожалуйста, соедините меня с рейхсканцелярией: я должен понять, куда все-таки переводят главный штаб. Мое предложение остается прежним — Берхтесгаден... И не сочтите за труд принести мне стакан вермута...

Адъютант связался с бункером; генерал Бургдорф на вопрос об эвакуации лишь сытно и снисходительно рассмеялся, а ответил так:

— Эвакуация на Берхтесгаден уже практически закончена, вопрос только за тем, когда выедет с а м... Передайте Кребсу, что он приглашен в рейхсканцелярию 20 апреля на празднование дня рождения фюрера...

...Вечером 19 апреля Борман остался в кабинете Гитлера, после того как все приглашенные на ежедневную военную конференцию были отпущены. Остаться один на один с фюрером было теперь непросто, несмотря на то что в бункере под рейхсканцелярией было построено ни мало ни много шестьдесят комнат. Раньше, в январе еще, здесь было пусто, лишь стояли посты охраны; Гитлер постоянно находился в «Волчьем логове», в Восточной Пруссии; ныне, после его переселения сюда, вдоль по стенам лестниц, ведших в подземный лабиринт, толпились гвардейцы СС; во многих комнатах расположились молодые парни из «личного штандарта» Гитлера, все как на подбор — двухметровые блондины с голубыми глазами; часть комнат была завалена ящиками с вином, анчоусами, сосисками, ананасами, креветками, шампиньонами, шоколадом, икрой, лососиной, ветчиной; на проходивших мимо генералов молодые парни из охраны внимания более не обращали — спали, ели, пили, г р о м к о смеялись, рассказывая сальные анекдоты; тишина соблюдалась лишь возле личных апартаментов Гитлера.

Последнее убежище фюрера состояло из кабинета, спальни, двух гостиных комнат и ванной; к кабинету примыкал конференц-зал; неподалеку была оборудована веселенькая комнатка для Блонди, собаки фюрера, и четырех ее щенков; чуть выше этой комнаты, самой

любимой Гитлером, шла анфилада из восемнадцати маленьких помещений, где постоянно работала — по последнему слову техники — телефонная станция; затем были две комнаты, отданные личному доктору Гитлера профессору штандартенфюреру Брандту; затем — шесть комнат, предназначенных для штаба комиссара обороны Берлина Геббельса; неподалеку была кухня и комната личного повара Гитлера, мастера по приготовлению вегетарианской пищи, фрау Марциали; далее — большая столовая и комнаты для официантов и слуг. Отсюда внутренняя лестница вела в сад рейхсканцелярии; сделав несколько шагов по этой лестнице, можно было оказаться в пресс-офисе, возглавляемом Хайнцем Лоренцом; к нему примыкала штаб-квартира Бормана, которую вел штандартенфюрер Цандер; рядом помещались кабинеты посланника рейхсфюрера при ставке Гитлера группенфюрера СС Фегеляйна, женатого на сестре Евы Браун, полковника Клауса фон Белова, адмирала Фосса, посланника МИДа при ставке доктора Хавеля, армейского адъютанта Гитлера майора Йоханнмайера, пилота фюрера Бауера, второго пилота Битца, посланника министерства пропаганды при ставке доктора Науманна; группы армейской разведки во главе с генералом Бургдорфом и его адъютантом Вайсом; кабинет Кребса. Всего в этом мрачном подвальном каземате сейчас находилось более семисот человек, поэтому уединиться можно было только в кабинете Гитлера; здесь мерно гудели вентиляторы; порядок был абсолютным; никакой связи с внешним миром, где все х р у с т е л о и пыльно, удушающе о с е д а л о.

Именно здесь Борман и решил привести в исполнение свой план, задуманный в марте, — план спасения, ценою которого должна быть смерть того человека, которого он называл «гением», «великим сыном нации», «создателем тысячелетнего рейха», того трясущегося, медленно движущегося пятидесятипятилетнего мужчины, что сидел перед ним со странной виноватой улыбкой, замершей в уголках рта.

— Фюрер, — сказал Борман, — я всегда говорил вам правду, самую жестокую, какой бы она ни была...

Именно потому, что он никогда правды не говорил, но лишь угадывал то, что тот хотел слышать, и о р г а н и з о в ы в а л это им угаданное в словах окружающих, в статьях газет и передачах радио, Гитлер легко с ним согласился, согласно кивнув.

— Поэтому, — продолжил Борман, — позвольте мне

и сейчас, в дни, когда идет решающая битва за будущее нации, высказать вам ряд соображений, продиктованных одной лишь правдой...

— Да, Борман, только так.

— Как и вы, я убежден в победе, какой бы ценою она ни далась нам. В городе работают специальные суды гестапо, которые расстреливают на месте паникеров и дезертиров, купленных врагами; рука об руку с ними действуют суды армии и партии. Порядок поэтому абсолютен. Однако огромные территории рейха на севере и на юге на какое-то время отрезаны от нас. Сведения, которые приходят оттуда, весьма тревожны. Поэтому я вижу единственный выход в том, чтобы вы, именно вы, обратились с просьбой к рейхсфюреру Гиммлеру срочно выехать на север и возглавить там борьбу нации. Я считал бы разумным просить вас отправить Геринга на юг, чтобы он взял на себя руководство сражением из нашего Альпийского редута... Но и это не все, фюрер... Вы знаете, что нация ставит вас выше Бога; лишить нацию бога невозможно, но припугнуть этим — не помешает...

— Я не понял вас, — сказал Гитлер, чуть подавшись вперед, и Борман сразу же ощутил, что фюрер отдает себе отчет, о чем сейчас пойдет речь.

— Ваше заявление о том, что вы остаетесь в Берлине, лично возглавляете борьбу до окончательной победы или же гибнете вместе с жителями столицы, воодушевит нацию, придаст ей сил... Геббельс высказал соображение, не имеет ли смысла еще больше припугнуть колеблющихся и деморализованных, заявив, что фюрер уйдет из жизни, если борьбе не будут отданы силы всех немцев — всех без исключения...

Борман пустил пробный шар: Геббельс никогда не посмел бы высказать такого рода идею, но это надо было еще более прочно заложить в мозг Гитлера, закрепить эту мысль, успокоительно закамуфлировав разговором про «испуг» и «нажим».

— Я не знал, что ответить Геббельсу, — продолжал между тем рейхсляйтер, — а он бы никогда не осмелился обратиться к вам с таким предложением, оттого что оно продиктовано своекорыстными интересами его министерства, делом нашей пропаганды... Я же рискнул высказать вам это его соображение...

— Вы считаете, что оно имеет под собой почву?

— Поскольку вас ждут в Альпийском редуте, который неприступен, поскольку вы всегда можете покинуть

Берлин, — неторопливо лгал Борман, — я полагал бы такой крайний шаг, такого рода политическую интригу совсем небесполезной...

— Хорошо, — ответил Гитлер. — Я найду возможность публично высказаться в таком смысле... Хотя, — в глазах его вдруг вспыхнул прежний, осмысленный, жестокий, устремленный огонь, — я действительно более всего на свете боюсь попасть в лапы врагов... Они тогда повезут меня по миру в клетке... Да, да, именно так, Борман, я же знаю этих чудовищ... Так что, — Гитлер в свою очередь начал игру, — может быть, мне действительно имеет смысл уйти из жизни?

— Фюрер, вы не смеете думать об этом... Я бываю в городе, я вижу настроение людей, вижу лица, полные решимости победить, опрокинуть врага и погнать его вспять, я слышу разговоры берлинцев: веселые, спокойные и достойные, они плюют на трупы разложившихся изменников, повешенных на столбах... Монолитность нации ныне такова, что победа просто-напросто неминуема, вы же знаете свой народ!

Гитлер мягко улыбнулся, успокоенно кивнул:

— Хорошо, Борман, я найду момент для того, чтобы припугнуть тех, кто проявляет малодушие...

Когда Борман шел к двери, Гитлер тихо засмеялся:

— Но ведь я буду обязан исполнить данное слово, если ваша убежденность в победе рухнет?

Борман обернулся: Гитлер терзал своей правой рукою левую, трясущуюся, и смотрел на него просяще, как ребенок, который не хочет слушать страшную сказку или, вернее, желает заранее знать, что конец будет — так или иначе — благополучный.

— Если наступит крах, я застрелюсь на ваших глазах, мой фюрер, — сказал Борман. — Моя жизнь и судьба настолько связаны с вами, так нерасторжимы, что, думая о вас, я думаю о себе...

— А как люди на улицах одеты? — спросил Гитлер.

Борман ужаснулся этому вопросу, вспомнив тысячи трупов вдоль дорог, изголодавшихся детей, согбенных пергаментных старух, замерзших в очередях возле магазинов, где давали хлеб; руины домов; воронки на дорогах, пожарища, висящих на столбах солдат с дощечками на груди: «Я не верил в победу!», и ответил, ужасаясь самому себе:

— Весна всегда красила берлинцев, мой фюрер, девушки сняли пальто, дети бегают в рубашонках...

— А столики кафе уже вынесли на бульвары?

И тут Борман испугался: а что, если Геббельс рассказал фюреру хоть гран правды? Или показал фото зверств авиации союзников?

— Нет, — ответил он, не отрывая глаз от лица Гитлера, — нет еще, мой фюрер... Люди ждут победы, хотя маленькие рыбацкие кабачки на Фишермаркте и пивнушки возле заводов полны рабочего люда...

— Я не пробовал пива с времен первой войны, — сказал Гитлер. — У меня к нему отвращение... Знаете почему? Я перепил в детстве. И ужасно страдал... С тех пор у меня страх и ненависть к алкоголю... Это было так ужасно, когда я увидел себя со стороны, лежавшего ничком, со спутавшимися волосами; невероятные колики в солнечном сплетении; холодный пот на висках... Именно тогда я решил, что, после того как мы состоимся, я брошу всех алкоголиков, их детей и внуков в особые лагеря: им не место среди арийцев; мы парим идеей, они — горячечными химерами, которые расслабляют человека, делая его добычей для алчных евреев и бессердечных большевиков... Но после победы я выйду с вами на Унтер-ден-Линден, прогуляюсь по Фридрихштрассе, зайду в обычную маленькую пивную и выпью полную кружку пенного «киндля»...

...Через полчаса помощник Бормана штандартенфюрер Цандер рассказал о работе, проведенной полковником Хубером — его человеком в окружении Геринга.

— Рейхсмаршал высказался в том смысле, — говорил Цандер, — что ситуация прояснится двадцатого, на торжественном вечере. «Если фюрер согласится уехать в Берхтесгаден, тогда борьба войдет в новую фазу и судьба немцев решится на поле битвы; если же он останется в Берлине, придется думать о том, как спасти нацию от тотального уничтожения». Когда Хубер напомнил ему о традиции разговора за столом мира двух достойных солдат враждующих армий, рейхсмаршал оживился и попросил срочно подготовить хорошие примеры из истории; особенно интересовался Древним Римом, ситуацией при Ватерлоо и коллизиями, связанными с Итальянским походом генерала Суворова.

...После этого Борман вызвал Мюллера.

— Счетчик включен, — сказал он, расхаживая по своему маленькому кабинету в бункере. — Вы должны сделать так, чтобы Шелленберг предложил Гиммлеру обратиться к англо-американцам с предложением о капитуляции...

— Безоговорочной? — уточнил Мюллер.

Борману это уточнение не понравилось, хотя он понимал, что такого рода вопрос правомочен. Ответил он, однако, вопросом:

— А вы как думаете?

— Так же, как и вы, — ответил Мюллер. — По-моему, самое время называть собаку — собакой, рейхсляйтер.

Борман покачал головой, усмехнулся чему-то, спросил:

— Выпить хотите?

— Хочу, но — боюсь. Сейчас такое время, когда надо быть абсолютно трезвым, а то можно запаниковать.

— Неделя в нашем распоряжении, Мюллер... А это очень много, семь дней, сто шестьдесят восемь часов, что-то около десяти тысяч минут. Так что я — выпью. А вы позавидуйте.

Борман налил себе айнциана, сладко, медленно опрокинул в себя водку, заметив при этом:

— Нет ничего лучше баварского айнциана из Берхтесгадена. А слаще всего в жизни — ощущение веселого, беззаботного пьянства, не так ли?

— Так, — устало согласился Мюллер, не понимая, что Борман, говоря о сладости пьянства, мстил Гитлеру, мстил его тираническому пуританству, сухости и неумению радоваться жизни, всем ее проявлениям; он мстил ему этими своими словами за все то, чего лишился, связав себя с ним; власть хороша только тогда, когда реальна, и ты на ее вершине, а если все х р у с т и т и конец будет совсем не таким, как у какого-нибудь британского или бельгийского премьера — ушел себе в отставку, живи на ферме, дои коров да нападай на преемника в печати, — тогда остро вспоминается юность, до той именно черты, когда п о н е с л о, когда добровольно отринул радость человеческого бытия во имя миража, называемого мировым владычеством...

— А вы что грустный? — спросил Борман, выпив еще одну рюмку.

И Мюллер ответил словами Штирлица, сразу же поняв, что именно его слова он сейчас произнес:

— Я не люблю быть болваном в игре, рейхсляйтер... Я не умею работать, если не знаю конечной задумки... Я ощущаю тогда свою ненужность и — что еще страшнее — малость...

— Я объясню вам все, Мюллер. Вчера еще было нельзя. Даже час назад было рано. Сейчас — можно и нужно... Я — человек альтернативы, вы это знаете...

Я не могу спать в комнате, где только одна дверь — меня мучают кошмары... Если Гиммлер сговорится с Бернадотом, он все равно не сможет без меня сдержать рейх: партия взяла верх над его СС, и это очень хорошо. Следовательно, на него мы найдем вожжи, аппарат в моих руках, гестапо — в ваших. Геринг? Вряд ли, оперетта. Хотя я не исключаю и этой возможности. Его офицеры тоже не смогут д е р ж а т ь, он это понимает; держать можем мы. Но это один строй размышления, один допуск. Второй: они не сговорились. Тогда я обращаюсь к Сталину с предложением мира, я отдаю в его руки Германию порядка. Германию сконцентрированной силы... Я говорю ему: «Примите нас, иначе нас возьмут ваши союзники»... Ваша игра с Москвой идет хорошо, не так ли? Кремль нервничает, получая информацию о переговорах с Западом, иначе они бы начали штурм позже, когда бы сошли разливы рек и не было непролазной грязи на полях, где они вынуждены базировать свои самолеты...

— Это — две двери, — сказал Мюллер. — И обе они могут оказаться закрытыми... Что тогда? Прыгать в окно?

Борман посмеялся, не разжимая рта, и глаза его чуть-чуть прикрылись тяжелыми веками:

— Придется. Но мы прыгаем с первого этажа, Мюллер. Натренированы, не впервой... «Окно» — это наша подводная лодка. Опорная база в Аргентине готова к ее приему. Подпольный штаб нашего движения начал работу на Паране, в междуречье великих рек, генерал Стресснер отдал нам территорию, равную земле Гессен, на первое время хватит, доктор Менгеле уже там... Что еще?

— Где окно? — усмехнулся Мюллер. — Я готов хоть сейчас прыгать. И налейте водки, теперь, когда все стало ясно, можно хоть на час расслабиться...

— Шелленберг подвигнет Гиммлера к открытому обращению на Запад?

— Спросили б точнее: сможет Мюллер сделать так, чтобы Шелленберг провел нужную операцию против Гиммлера? И я б ответил: «Да, смогу, на то я и Мюллер»... Как будем уходить? Когда?

— Погодите, погодите, всему свое время...

Мюллер покачал головой:

— Я не верю в ваши двери, рейхсляйтер... Я уже вырыл для себя могилу, в которую опустят пустой гроб,

и приготовил мраморный памятник на кладбище. Когда станем прыгать из окна?

— После того как мы обратимся к русским. И они ответят нам. А это случится в ближайшие дни...

И тогда Мюллер тихо спросил:

— А с ним-то вы справитесь?

Борман понял, кого Мюллер имел в виду; он знал, что тот говорит о Гитлере; ответил поэтому открыто и простодушно:

— Я всегда считал Геббельса мягким человеком, он мне по силе.

Мюллер снова покачал головой:

— Не надо так... Часы бьют полночь... Не надо... Ответьте прямо: я могу быть вам полезен в устранении Гитлера? Я, лично я, Мюллер? Могу я быть вам полезен в том, чтобы уже сейчас продумать будущее трех ваших двойников — и мои люди тоже стерегут их, не думайте, не только парни вашего Цандера... Как тщательно вы продумали маршрут нашего движения через кровоточащую Германию, на север, к подводникам? Имеете ли вы в голове абсолютный план операции ухода отсюда, когда мы обязаны будем запутать всех, пустить их по ложному ходу, оставить после себя десяток версий? Рейхсляйтер, часы бьют полночь, не позволяйте себе расслабляться в здешней блаженной тишине и тепле...

Мюллер говорил, словно вбивал гвозди; в висках у Бормана занемело от боли.

Осев в кресле, сделавшись еще меньше ростом, Борман как бы растекся, обмяк и понял, что все кончено — окончательно и бесповоротно. А с этим пришел страх: а ну и Мюллер уйдет?! Это показалось ему до того страшным — оттого что было возможно и по его, Бормана, логике просто-таки необходимо, — что он сказал:

— Не бранитесь... Мне приходится все время играть, поймите меня, Бога ради... Вся жизнь — балансировка и игра на полюсах...

— Если б не понимал...

— Давайте оговорим детали, Мюллер... Называйте мне вашу конспиративную квартиру, где вы меня будете ждать; начинайте планировать уход, займитесь моими двойниками — вы правы, времени уже не осталось... Что же касается Гитлера, то здесь ваша помощь мне не нужна, я его слишком хорошо знаю...

ВОТ КАК УМЕЕТ РАБОТАТЬ ГЕСТАПО! — IV

...Ранним утром Штирлиц вернулся в Берлин, окутанный черно-красным дымом пожаров.

Он сидел на заднем сиденье, между Куртом и Ойгеном, машину вел Вилли; по дороге они трижды вываливались в кюветы, когда над дорогой проносились русские штурмовики; самолеты летели на бреющем полете, расстреливая из пулеметов колонны пехоты, которая двигалась к Берлину.

Каждый раз Штирлиц с ужасом думал, что его же, краснозвездные, могут ударить по нему из своих крупнокалиберных. Нет ничего обиднее. Только б дожить до того момента, когда наши войдут в Берлин. Ладно б погибнуть от пули Мюллера — это хоть соответствует условиям той работы, которую он делал. Но ведь нельзя, нельзя погибать. Тебе приказано выжить, Исаев, ты обязан выжить...

...В здание РСХА он вошел зажатый между Куртом и Ойгеном, все еще не желая признаться себе в том, что это и есть конец. Игра окончена, сейчас в ней простонапросто отпала нужда: когда гремит артиллерийская канонада и краснозвездные штурмовики по-хозяйски барражируют над автострадами, не до игр. Финал трагедии должен быть правдой, никаких условностей; последнее слово обязано быть произнесенным.

...В коридорах РСХА царила суматоха, молодые эсэсовцы торопливо выносили ящики; во дворе продолжали жечь бумаги; смрадный, тяжелый дым щипал глаза; однако на третьем этаже, где находился кабинет Мюллера, было все, как и раньше; канонада казалась звуковым оформлением фильма, который привезли сюда на просмотр из рейхсминистерства пропаганды — такое практиковалось, особенно если лента была посвящена победам вермахта на полях сражений. Так же, как и раньше, возле каждого поворота коридора стояли младшие офицеры СС, дотошливо проверявшие документы у всех проходивших, только теперь на маленьких столиках возле постов лежали каски и противогазы, а на груди у охранников висели короткоствольные шмайсеры.

Адъютант шефа гестапо Шольц посмотрел на Штирлица с тяжелой ненавистью и сказал сопровождавшим его эсэсовцам:

— Заберите у него оружие.

Штирлиц спокойно позволил себя разоружить, учтиво осведомился, можно ли ему закурить, получил отказ,

пожал плечами и подумал, что какое-то время, видимо, у него еще есть, иначе бы его просто-напросто пристрелили.

«А что им все-таки теперь от меня надо? — подумал он. — Ну что может теперь интересовать Мюллера? Или им движет профессиональный интерес? Я представляю, что он может со мною сделать, если захочет получить ответы на все свои вопросы. Или ему нужны адреса моих контактов у нейтралов? Зачем? В общем-то пригодится: он ведь будет уходить, нужно иметь в резерве то, чем можно впоследствии торговать».

Штольц заглянул в кабинет Мюллера, вышел оттуда сразу же, не глядя на Штирлица, сказал:

— Вас ждут.

Штирлиц вошел в знакомый ему кабинет, остановился на пороге и, улыбнувшись, поднял левую руку, сжатую в кулак:

— Рот фронт, группенфюрер...

— Здравствуйте, товарищ Штирлиц, — ответил тот без обычной улыбки. — Садитесь, сейчас я кончу работу, и мы с вами поедем в одно чудесное место.

— Туда, где на столике разложены прекрасные инструменты, для того чтобы делать человеку бо-бо?

Мюллер вздохнул:

— Какого черта вы вернулись из Швейцарии, Штирлиц? Ну зачем? Неужели вы не понимали, что ваш Центр отправлял вас на гибель? Вот, — он подвинул Штирлицу папку, — почитайте ваши телеграммы, а я пока сделаю несколько звонков. И не вздумайте кидаться в окно: у меня в стекло вмонтированы специальные жилы, порежетесь, но не выброситесь.

Он набрал номер; ловко прижав трубку к уху плечом, закурил. Осведомился:

— Что, советник Перейра еще в городе? Тогда, пожалуйста, соедините меня с ним, это говорит профессор Розен... Да, да, из торговой палаты... Я подожду...

Штирлиц пролистал телеграммы...

«А ведь он хитрит, — понял Штирлиц, — он не мог читать то, что я передавал с Плейшнером и через Эрвина с Кэт. Иначе бы он не пустил меня в Берн. Они, видимо, расшифровали меня, когда я, вернувшись, вышел на Лорха. А уже потом прочитали все, что я отправлял раньше... А зачем ему хитрить? Он никогда не хитрит попусту. Мюллер человек со стальной выдержкой — все, что он делает, он делает по плану, в котором нет мелочей; любая подробность выверена до абсолюта».

Прикрыв ладонью трубку, Мюллер спросил:

— Ну как? Хорошо работают наши дешифровальщики?

— Вы — лучше, — ответил Штирлиц. — Давно начали меня читать?

— С февраля.

— Пока еще работал Эрвин?

— Ах, Штирлиц, Штирлиц, и все-то вы хотите знать! — Лицо Мюллера снова напряглось, он еще крепче прижал трубку к уху. — Алло! Да, господин советник Перейра, это я. Вечером самолет будет готов, мы отправим вас с Темпельхофа, вполне надежно... Да, и еще одна просьба: заезжайте к военному атташе Испании полковнику де Молина, предупредите его о вылете, у них что-то случилось с телефоном. Вам привезут два чемодана, вы помните? Нет, нет, в Асунсьоне вас встретят мои коллеги, они примут груз. Счастливого полета, мой друг, завидую, что сегодня ночью вы будете пировать в Цюрихе. Советую заглянуть в немецкий ресторанчик на Банхофштрассе, напротив «Свисс Бэнка», там прекрасно делают айсбайн... Спасибо, мой дорогой... Будучи суеверным человеком — хотя это и карается нашей моралью, — я тем не менее говорю вам: «До встречи».

Мюллер положил трубку на рычаг, прислушался к канонаде, затянул галстук, неловко одернул штатский пиджак, сидевший на нем чуть мешковато, поднялся и сказал:

— Едем, дружище, времени у нас в обрез, а дел — невпроворот.

И снова Штирлиц был зажат между Ойгеном и Куртом; Мюллер сидел рядом с Вилли, на переднем сиденье, хотя всегда ездил в машине сзади, слева от шофера; впереди и сзади неслись два «мерседеса» с форсированными двигателями, набитые охранниками в штатском; часто приходилось объезжать битый кирпич, солдаты пока еще старались расчищать улицы, да и полицейские на работы выгоняли всех, кто мог двигаться; порядок, только порядок, даже в самые трудные времена!

Не оборачиваясь, Мюллер спросил:

— Знаете, Штирлиц, что меня более всего удивляло в жизни?

— Откуда же мне знать, группенфюрер, конечно, не знаю.

— Сейчас расскажу... Помните, Дагмар Фрайтаг

рассказывала вам про руны, русские былины и все такое прочее?

— Помню.

— Я, кстати, был тогда поражен вашим голосом... Когда вы расспрашивали ее... У вас был совершенно особый голос... В нем была такая тоска... И я подумал: разве можно идти в разведку человеку со столь обостренным чувством любви... Тоски, если хотите... Это же просто-напросто неестественно... Наша с вами профессия цинична, вненациональна и прагматична, не так ли?

— Нет.

— Доказательства?

— Я вас не переубежу, какой смысл болтать попусту...

— Вы ответили мне некультурно...

Штирлиц, усмехнувшись, повторил:

— Некультурно...

— Знаете, мне кажется, что культура зародилась в тот миг, когда произошло выделение какой-то великой души из общей массы живых существ, — задумчиво сказал Мюллер. — Видимо, истинная культура могла состояться лишь на почве небольшого района, скорее всего, где-то в горах, в плодородных ущельях, в атмосфере тесного единения жителей... Культура погибает после того, как таинственная великая душа полностью реализует себя, выявит в рунах, былинах, песнях трубадуров, замрет в устремленности храмов, окостенеет в параграфах законов... Она тогда застывает, как застыла антика... Зачем же тогда надламывать свое сердце по застывшему, Штирлиц?

Штирлиц удивленно посмотрел на Мюллера, потом, нахмурившись, заметил:

— Где-то мне уже встречались подобные соображения, но, по-моему, в книгах, изданных за границей рейха?

Мюллер обернулся, почесал кончик носа, хмыкнул:

— Между прочим, я обидчив. Эти мысли я выносил сам, когда работал против Треппера, Радо, «Красной капеллы»: там были интеллигентные люди, надо было противостоять им в полный рост... Согласитесь, у нас порою дуракам легче, их не боятся, их двигают наверх — до определенного, впрочем, предела, — но ведь мы с вами отдали жизнь такому делу, где глупость просто-таки невозможна, она преступна, даже, я бы сказал, антигосударственна... Глупый дипломат на виду, его можно поправить, уволить, посадить, а вот если глуп разведчик,

тогда режим ждут большие беды... Что вы так жадно смотрите на улицы? Прощаетесь? Или хотите запомнить маршрут, по которому вас везут? Так не проще ли мне задать этот вопрос? Я везу вас на мою конспиративную квартиру, там очень удобно, прекрасный вид из окна, стекла также оборудованы специальными сетками, причем абсолютно звуконепроницаемы, канонада не слышна, русских туда пока не пустят, рельеф местности в нашу пользу, армии Венка и Штейнера на подходе, драка будет кровавой, нас ждут сюрпризы.

...На третьем этаже особняка, стоявшего на тихой узкой улице, в большой квартире было довольно много народа; все в штатском; слышался стрекот пишущих машинок и глухие голоса, быстро диктовавшие тексты; то и дело звонили телефоны — их было никак не меньше трех, может быть, больше; проходя по коридору, Штирлиц увидел в окно, что на улице, параллельной той, по которой они сюда приехали, молодые мальчики в форме «гитлерюгенда» возводили баррикаду; на доме, что был метрах в ста, развевался флаг молодых национал-социалистов.

Мюллер пригласил Штирлица в маленькую комнатку; два стула; на столе стопка бумаги и десяток фаберовских карандашей, очень жестких, заточенных до игольчатости; пепельница, две пачки сигарет, зажигалка.

— Садитесь, Штирлиц. Садитесь к столу. И послушайте, что я вам стану говорить...

Он распустил галстук, расслабился, откинулся на спинку, закрыл на мгновение глаза...

Штирлиц прислушался к голосу, который слабо доносился из соседней комнаты. Человек диктовал машинистке; та работала, как автомат, очередями. Человек называл русские имена, перечислял названия городов; отчетливо запомнилась фраза: «После этого племянник академика Феофанова, близкого к Вознесенскому и Микояну, был вызван к бургомистру Ланину, и тот потребовал от него здесь же, в кабинете, написать статью в новую газету про то, как отвратительно, антирусски было поставлено народное образование при Советской власти. Поначалу Игорь Феофанов отказывался, затем...»

Мюллер быстро поднялся, подошел к двери, распахнул ее, крикнул:

— Перейдите в другую комнату! И вообще незачем так кричать стенографистке, полагаю, она не глуха!

Мюллер вернулся на место, испытующе посмотрел на Штирлица и, хрустнув пальцами, сказал:

— Так вот, я хочу сказать вам про то, что давно меня мучит. Хоть я и не кончал университетского курса, но книги читал с малолетства... Да, да, почему бы я иначе стал таким мудрым? Только благодаря книгам, дружище... И к чему я пришел? Вот к чему я пришел, Штирлиц... Мир знал много культур, но каждая из них есть слепок одна с другой... Поликлет и Вагнер близки, хотя их разделяют столетия, так же, как Софокл и Ницше... Александр Македонский и Наполеон Бонапарт... Восстание в эллинских городах после Анталкидова мира, когда бедные перебили всех богатых, было созвучным — в своей цивилизации — с тем, что дал Парижский мир, когда Бомарше и Руссо готовили бунт против столь необходимой для любого общества Бастилии... У эллинов были Аристофан и Изократ, а у французов — Вольтер и Мирабо; вполне прочитывается перекличка созвучности в разных пластах истории... Солдатский император Наполеон или мужицкий царь Пугачев лишь повторяли Дионисия Сиракузского и Филиппа Македонского... Вы понимаете, зачем я, совершенно лишенный времени, говорю вам об этом?

— Понимаю.

— Так зачем же?

— Чтобы оправдать цинизм умных: «И это было». Нет?

— Верно! В десятку! Молодец! Что мне от вас нужно, надеюсь, теперь понимаете?

— Не до конца.

— Мне нужно от вас следующее: во-первых, ваш Лорх сидит в этом же здании, в подвале, мы сломали его, он готов работать. Вы сейчас напишете телеграмму в Центр, я ее зашифрую — теперь это нетрудно, — а вы проследите за тем, чтобы Лорх не запустил в эфир какой-нибудь сигнал тревоги, что не в ваших интересах... В телеграмме вы скажете, что я, Мюллер, готов сотрудничать с русскими; взамен я требую гарантию неприкосновенности... Я могу помочь во многом... Если даже не во всем...

— В чем, например?

— Отдать им Гиммлера, например...

— А Бормана?

— Давайте сначала дождемся ответа из вашего Центра... Как думаете, они согласятся?

— Думаю, что нет.

— Почему?

— Они не считают Аристофана и Мирабо современниками...

— Хороший ответ. Спасибо за откровенность. Но вы составите такую телеграмму на всякий случай. Не правда ли?

— Если настаиваете...

— Очень хорошо. Спасибо. Теперь второе: вы расскажете мне о своей работе? Все, с начала и до конца?

— Вы можете посмотреть мое личное дело, там все написано, группенфюрер...

Мюллер сломался от смеха. Он смеялся искренне, утирал глаза, качал головою; потом лицо его занемело:

— Штирлиц, если вы не сделаете этого, вам введут трибадинуол, доктор у меня отменный, и мы запишем ваши показания на аппаратуру... Причем говорить вы станете на том языке, на каком болтали во сне у Дагмар... Я дал послушать ваш голос казачьему атаману Краснову — он не только наш консультант, но и плодовитый литератор, настрочил сто романов про большевиков и евреев. Сказал, что по рождению вы петербуржец...

— Что вам даст мое признание, группенфюрер?

— Я думаю о будущем, Штирлиц. К тому же человек нашей профессии не умеет жить соло, мы не можем без дирижера, смысл нашей жизни — работа с оркестром...

— Я должен написать вам все после того, как придет ответ на ваше предложение? Или до?

— Не медля ни минуты.

Штирлиц покачал головой.

— Мне очень горько помирать... Но я не могу переступить себя... Не сердитесь...

— Тогда напишите телеграмму.

Штирлиц взял карандаш и написал:

Центр. Я арестован Мюллером. Он вносит предложение о сотрудничестве. Готов оказать помощь в аресте Гиммлера. Взамен требует гарантий личной неприкосновенности. *Юстас.*

Мюллер внимательно прочитал телеграмму, поинтересовался:

— Фокусов нет?

— А какие могут быть фокусы? Все просто, как мычание...

УЖ ЕСЛИ ДЕЛАТЬ СПЕКТАКЛЬ, ТАК ЗРЕЛИЩНО!

Как никто другой, Борман понимал, что все сейчас решают не дни, но часы, быть может, даже минуты.

Он понимал, что отъезд Гитлера в Альпийский редут нанесет удар по тому плану, который он выносил, утвердил для себя и проработал во всех деталях.

Он поэтому продолжал делать все, чтобы Гитлер остался в Берлине, с тревогой наблюдал за тем, как фюрер ищуще выспрашивал визитеров про то, стоит ли ему продолжать борьбу из ставки или, быть может, целесообразнее улететь в Берхтесгаден.

Как никто другой зная характер Гитлера, рейхсляйтер понимал, что мания подозрительности, овладевавшая фюрером с каждым днем все более и более, диктует ему решения странные, идущие, как правило, от противного. Борман знал, что когда ему надо было провести какую-то кандидатуру, то быстро и надежно это можно сделать в том случае, если уговорить Лея или Шпеера (к ним фюрер был неравнодушен) дать негативную характеристику тому, на кого ставил он сам, Борман. Тогда по прошествии двух-трех дней можно было входить с предложением, и Гитлер обычно утверждал назначение того человека, который был угоден Борману.

Причем эта симпатия Гитлера возникла потому, что Лей страдал запоями, и Гитлер поэтому относился к нему с брезгливым, но в то же время жалостливым интересом; поскольку Лей был из рабочих и руководил «Трудовым фронтом», фюрер считал необходимым держать его подле себя; он считал также, что человек, страдающий недугом, который карался по законам партийной этики, будет ему особенно предан; так же он относился к Шпееру: в последние месяцы его любимец, самый знаменитый архитектор рейха, ставший министром военной экономики, позволял себе открыто говорить фюреру, что война проиграна и поэтому уничтожение мостов, дорог и заводов лишит германскую промышленность шанса на послевоенное возрождение, которое возможно лишь при содействии западного капитала, традиционно заинтересованного в создании санитарного антибольшевистского кордона. Никому другому Гитлер не простил бы таких высказываний; слушая Шпеера, он как-то странно улыбался; Борману порою казалось, что фюрер обладает удивительным даром не слышать то, что ему не хотелось слышать; после тяжелого разговора со Шпеером, когда все присутствовавшие при этом замерли,

страшась стать свидетелями истерики, которая могла бы кончиться приказом немедленно расстрелять любимца, фюрер вдруг пригласил министра к себе и, ласково усадив за стол, принес чертежи «музея фюрера» в Линце.

Расстелив листы ватмана на столе, Гитлер сказал:

— Шпеер, послушайте, чем внимательнее я рассматриваю ваш проект, тем более тяжелыми мне кажутся скульптуры через Дунай. Все-таки Линц — легкий город, следовательно, необходима абсолютная пропорция. Что вы на это скажете?

Шпеер с ужасом посмотрел на фюрера: Линц бомбили союзники, вопрос захвата города русскими был делом недель, а этот человек с трясущимися руками и большими, навыкате, зелеными глазами говорил о будущем музее, о пропорции форм и о скульптурах на мосту через Дунай.

...Именно к Шпееру и обратился Борман, когда тот приехал с фронта в рейхсканцелярию.

— Послушайте, Альберт, — сказал Борман, дружески обнимая ненавистного ему любимца фюрера, — мне кажется, что сейчас вам зададут вопрос, стоит ли нам уходить в Берхтесгаден. Вы же понимаете, что открытое столкновение между красными и англо-американцами — вопрос месяца, нам надо еще немного продержаться, и коалиция рухнет, поэтому я прошу вас — уговорить фюрера уехать в Альпы.

Борман умел высчитывать людей; он верно высчитал Шпеера; тот, оставшись один на один с фюрером, выслушал его вопрос и ответил — неожиданно для самого себя — совсем не так, как его просил рейхсляйтер:

— Поскольку лично вы, мой фюрер, потребовали от немцев сражения за каждый дом, лестничный пролет, за каждое окно в квартире, ваш долг остаться в осажденной столице.

— Да, но в Берхтесгадене лучше средства коммуникации, — возразил Гитлер. — Военные считают, что оттуда мне будет легче руководить борьбою на всех фронтах.

— Военные отстаивают свое узкопрофессиональное дело, а на вас лежит тяжкое бремя политической стратегии, — с отчаянием ответил Шпеер, понимая, что, видимо, каждое его слово записывается Борманом на пленку.

Гитлер как-то сразу сник, сидел несколько мгновений неподвижно, а потом снова пошел за чертежами «музея» в Линце.

— Послушайте, — сказал он, вернувшись, — я по-прежнему беспокоюсь, как будет оценено знатоками столь близкое соседство Тинторетто с Рафаэлем... Все-таки Тинторетто слишком легок и шаловлив, его искусство представляется мне не совсем здоровым с точки зрения национальной принадлежности. Порою мне кажется, что в нем есть дурная кровь... Эта шаловливость, эта нарочитая несерьезность... Такое всегда было свойственно еврейским маклерам... Или русским экстремистам типа Врубеля... А через зал — Рафаэль... Розенберг дважды привлекал авторитетных антропологов, но они утверждают в один голос, что мать художника не имела любовника с вражеской кровью, а отец был истинным римлянином... Но ведь его дед мог изменить фамилию: евреи так ловки, когда речь идет о том, чтобы упрятать свою родословную...

...После беседы со Шпеером, за чаем, Гитлер, проверяя Бормана, сказал:

— А вот Шпеер считает целесообразным мой отъезд в Берхтесгаден.

— Он не только это считает целесообразным, — ответил Борман, — он запрещает гауляйтерам взрывать мосты и заводы, он, видите ли, думает о будущем нации, как будто оно возможно вне и без национал-социализма...

— Не верьте сплетням, — отрезал Гитлер. — Шпееру завидуют. Всем талантам завидуют. Я это испытал на себе в Вене, когда меня четыре раза не принимали в Академию художеств. Там это было понятно: все эти чехи и словаки с поляками, гнусные евреи не желали дать дорогу арийцу — это типично для неполноценных народов, подлежащих исчезновению. Я не могу понять проявления такого отвратительного качества среди арийцев. Это просто-напросто не имеет права на существование среди нас...

...Фюрер не заподозрил Шпеера в заговоре, а, наоборот, взял его под защиту. Борман был почти уверен, что Гитлер может в любую минуту объявить о своем отъезде в Альпийский редут.

Следовательно, настала пора действовать.

...Борман зашел к лечащему врачу фюрера доктору Брандту, который наблюдал Гитлера с начала тридцать первого года; именно Брандт следил за его диетой, лично делал инъекции, покупал в Швейцарии новые лекарства и отправлял своих шведских друзей в Америку — закупать медикаменты, которые стимулировали

организм «великого сына германской нации», не угнетая при этом психику и сон.

— Брандт, — сказал Борман, — откройте мне всю правду о состоянии фюрера. Говорите честно, как это принято между ветеранами партии.

Брандт, как и все в рейхсканцелярии, знал, что откровенно говорить с Борманом невозможно и чревато непредсказуемыми последствиями.

— Вас интересуют данные последних анализов? — заботливо осведомился Брандт.

— Меня интересует все, — ответил Борман. — Абсолютно все.

— У вас есть какие-то основания тревожиться о состоянии здоровья фюрера? — отпарировал Брандт. — Я не нахожу оснований для беспокойства.

— Брандт, я отвечаю за фюрера перед партией и нацией. Вам поэтому нет нужды скрывать от меня что бы то ни было. Скажу вам откровенно: нынешняя походка фюрера кажется мне несколько ...уставшей, что ли... Нет ли возможности как-то взбодрить его? Бывают моменты, когда у него трясется левая рука; вы же знаете, как наши военные относятся к вопросам выправки... Сделайте что-нибудь, неужели нет средств такого рода?

— Я делаю все, что могу, рейхсляйтер.

Борман понял, что дальнейший разговор со штандартенфюрером бесполезен. Он никогда не станет делать то, что сейчас угодно Борману, он пойдет к фюреру и откроет ему все, если попробовать заговорить с ним в открытую: «Начните делать уколы, которые парализуют волю Гитлера, мне нужно управлять им, мне необходимо, чтобы от фюрера осталась лишь оболочка, и вы должны сделать это в течение ближайших двух-трех дней».

— Значит, я могу быть спокоен? — спросил Борман, поднимаясь.

— Да. Абсолютно. Фюрер, естественно, страдает в связи с нашими временными неудачами, но дух его, как обычно, крепок, данные анализов не дают повода для тревоги.

— Спасибо, дорогой Брандт, вы успокоили меня, спасибо вам, мой друг.

...Выйдя от доктора, Борман быстро пошел в свой кабинет, набрал номер Мюллера и сказал:

— То, о чем мы с вами говорили, надо сделать не медленно. Вы поняли?

— Западный вариант? — уточнил Мюллер.

— Да, — ответил Борман. — Информация об этом должна поступить сюда сегодня вечером от двух по крайней мере источников.

Через пять минут штурмбанфюрер Холтофф был отправлен Мюллером на квартиру доктора Брандта.

— Фрау Брандт, — сказал он, — срочно собирайтесь, поступил приказ вывезти вас из столицы, не дожидаясь колонны, с которой поедут семьи других руководителей.

Через семь часов Холтофф поместил женщину и ее детей в маленьком особнячке, в горах Тюрингии, в тишине, где мирно распевали птицы и пахло прелой прошлогодней травой.

Через девять часов гауляйтер области позвонил в рейхсканцелярию и доложил, что фрау Брандт с детьми получила паек из специальной столовой НСДАП и СС, поставлена на довольствие и ей выдано семьсот рейхсмарок вспомоществования в связи с тем, что она из-за срочности отъезда не смогла взять с собою никаких вещей.

Телефонограмма была доложена Борману — как он и просил — в тот момент, когда он находился у Гитлера

Прочитав текст сообщения, Борман изобразил такую растерянность и скорбь, что фюрер, нахмурившись, спросил:

— Что-нибудь тревожное?

— Нет, нет, — ответил Борман. — Ничего особенного...

Он начал комкать телефонограмму, чтобы спрятать ее в карман, зная наперед, что фюрер обязательно потребует прочитать ему сообщение. Так и случилось.

— Я не терплю, когда от меня скрывают правду! — воскликнул Гитлер. — В конце концов, научитесь быть мужчиной! Что там?! Читайте!

— Фюрер, — ответил Борман, кусая губы, — доктор Брандт... Он нарушил ваш приказ отправить семью в Альпийский редут вместе со всеми семьями руководителей и перевез жену с детьми в Тюрингию... В ту зону, которую вот-вот займут американцы... Я не мог ожидать, что наш Брандт позволит себе такое гнусное предательство... Но я допускаю ошибку, я прикажу проверить...

— Кто подписал телефонограмму?

— Гауляйтер Росбах.

— Лично?

— Да.

— Я знаю Росбаха и верю ему, как вам, — сказал Гитлер, тяжело поднимаясь с кресла. — Где Брандт? Пусть сюда приведут этого мерзавца! Пусть он валяется на полу и молит о пощаде! Но ему не будет пощады! Он будет пристрелен, как взбесившийся пес! Какая низость! Какая отвратительная, бесстыдная низость!

Брандт пришел через несколько минут, улыбнулся Гитлеру:

— Мой фюрер, можете сердиться на меня, но, как бы вы ни отказывались, придется принять получасовой массаж...

— Где ваша семья? — спросил Гитлер, сдерживая правой рукой левую. — Ответьте мне, свинья эдакая, куда вы дели вашу бабу! Ну?! И посмейте солгать — я пристрелю вас лично!

Брандт почувствовал, как кровь начала стремительно, пульсирующе с т е к а т ь с лица куда-то в желудок; стало печь в солнечном сплетении; ноги сделались ледяными; коленки ослабли; казалось, что, если придется сделать шаг, чашечки сдвинутся и мягкое тело опустится на пол.

— Моя жена дома, — ответил Брандт странным, совершенно чужим голосом. — Я говорил с ней утром, мой фюрер.

— Вот видите, — облегченно сказал Борман, вымученно улыбаясь Гитлеру. — Как я рад, что все обошлось, вполне возможна путаница, мало ли в рейхе Брандтов... Позвоните домой с этого аппарата, штандартенфюрер, передайте жене мой привет.

Брандт набрал номер прямым, негнущимся пальцем; в трубке были долгие длинные гудки, потом ответила служанка, Эрика:

— Слушаю.

Брандт снова откашлялся, облегченно вздохнул и сказал:

— Пожалуйста, попросите к аппарату фрау Брандт.

— Но она уехала в Тюрингию, — ответила девушка. — Даже не успела собраться, так торопилась...

— Что?! — выдохнул Брандт. — Почему?! Кто?!

— Так ведь вы прислали за ней машину...

— Я не присылал никакой машины! — Брандт обернулся к Гитлеру. — Я не посылал за ней никакой машины, мой фюрер! Это чудовищно, этого не может быть!

— Вы — поганец! — сказал Гитлер, приближаясь к Брандту танцующей походкой. — Вы мерзкая продажная свинья!

Он вдруг легко выбросил правую руку, жадно сграбастал крест и сорвал его с груди штандартенфюрера.

— Дайте мне пистолет, Борман! Я пристрелю его! Сам! Это змея, пригревшаяся на моей груди!

— Фюрер, — успокаивающе сказал Борман, — мы обязаны судить его. Пусть партия и СС узнают о том, кто скрывался в наших рядах, пусть это будет уроком для...

Борман не имел права дать Гитлеру убить Брандта. Доктор нужен ему, это т р о ф е й, он знает о Гитлере все, теперь он расскажет все тайное, что не открывал никогда и никому; все откроет, вымаливая себе пощаду.

Брандт был закован в кандалы и отправлен на конспиративную квартиру Бормана под охраной пяти эсэсовцев из «личного штандарта» Гитлера.

Утром об этом узнал Гиммлер; он отправил туда, где держали Брандта, своего секретаря с десятью эсэсовцами — он тоже понимал толк в трофеях; Брандт был взят из-под стражи и вывезен на север, под Гамбург, на одну из секретных явок Гиммлера.

Однако Борман добился главного: через час после того как исчез Брандт, в рейхсканцелярии появился оберштурмбанфюрер Штубе, помощник доктора Менгеле, человек, лишенный собственного «я». Мюллер дал исчерпывающую характеристику прошлой ночью: «Бесхребетен, но, впрочем, претендует на старомодность; традиционно боится начальства; весьма корыстен, приказу подчинится, хотя, видимо, порассуждает о врачебной этике».

УДАР КРАСНОЙ АРМИИ. ПОСЛЕДСТВИЯ — II

Х р у с т е л о...

Войска Жукова, прорвав оборону на Зееловских высотах, двигались к пригородам Берлина; армии Конева шли с юга; готовился к удару с севера Рокоссовский...

21 апреля конференция в бункере Гитлера шла, как и обычно, — обстоятельно и неторопливо; обстановку

докладывали Кейтель и Кребс; их сообщения были исчерпывающе точными, иллюстрировались черными и красными клиньями, нанесенными на карту штабными офицерами.

Гитлер сидел в кресле с отсутствующим взглядом, изредка кивал, то и дело прижимал правой рукой прыгающую левую; однако, когда Кребс начал докладывать о боях, шедших южнее и севернее Берлина, Гитлер поднял руку, словно бы защищаясь от кого-то невидимого:

— Где генерал Штайнер? Где его танки? Где его дивизии? Почему он до сих пор не отбросил полчища русских?!

— У него нет сил на это, — устало ответил Кребс. — Русские превосходят нас по всем позициям не менее чем в четыре-пять раз, мой фюрер!

— Где армия Венка?

— Его войска бессильны что-либо сделать, мой фюрер!

— Уйдите все, — сказал Гитлер, обращаясь к штабным офицерам. — Борман, Кейтель, Йодль, Кребс, Бургдорф, останьтесь...

Он дождался, пока генералы и офицеры вышли, посмотрел на Бормана замеревшим, холодным взглядом, потом стукнул правой рукой по столу и закричал срывающимся, но — прежним — сильным, властным голосом:

— Я окружен изменой! Низкие трусы в генеральских погонах предали мое дело! Нет более отвратительной нации, чем та, которая не может встретить трудность лицом к лицу! Когда я вел вас от победы к победе, вы аплодировали мне! Вы присылали мне сводки, из которых неумолимо явствовало, что наша мощь сильна, как никогда! А теперь оказывается, что мы слабее русских в пять раз?! Вы — низкие трусы! Отчего вы не говорили мне правды?! Когда я дал вам право усомниться в моей лояльности по отношению к тем, кто восставал против моей точки зрения?! Я всегда ждал дискуссии, я жаждал столкновения разных точек зрения! Но вы молчали! Или же взрывали бомбы под моим столом! Вы вольны покинуть Берлин немедленно, если боитесь оказаться в русском котле! Я остаюсь здесь! А если война проиграна, то я покончу с собою! Вы свободны!

Молчание было слышимым, тяжелым.

...Хрустело.

Йодль шагнул вперед, откашлялся, заговорил ровно:

— Фюрер, ваша ответственность перед нацией не позволяет вам оставаться здесь. Вы должны сейчас же, не медля ни минуты, уйти в Альпийскую крепость и возглавить битву за весь рейх из неприступного Берхтесгадена. На юге рейха и на севере достаточно войск, которые готовы продолжать битву. Армия и народ верны вам, как всегда. Мы зовем вас жить во имя победы.

Гитлер растроганно посмотрел на Кейтеля и Йодля, подался вперед, улыбаясь, но Борман опередил его:

— Господа, решение фюрера окончательно и не подлежит коррективам. Мы, те, кто был с ним всегда, остаемся вместе с ним. Мы ждем, что вы — в случае, если решите уйти в Альпийский редут, — добьетесь перелома битвы.

Гитлер быстро, неожиданно для его трясущегося тела, обернулся к Борману:

— Пусть сюда немедленно переселится Геббельс с женою и детьми... Скажите, чтобы для них приготовили комнаты рядом с моими пилотами и кухней, детей надо хорошо кормить — молодые организмы находятся в поре своего возмужания...

— Да, мой фюрер, — Борман склонил голову, — я немедленно свяжусь с рейхсминистром. — Он оглядел генералов понимающим взором, «мол, оставьте нас одних», а тем, кто не знал, как поступить, помог словом: — Благодарю вас, господа, вы свободны, перерыв...

Когда они остались одни, Гитлер, странно усмехаясь, спросил:

— А где ваша семья, Борман? Я хочу, чтобы ваша милая жена с детьми поселилась вместе с вами... Если мало места, я уступлю одну из моих гостиных... Пригласите их сюда немедленно, мой друг.

— Я уже сделал это, — легко солгал Борман. — Они выехали. Я молю Бога, чтобы они успели проскочить в Берлин, мой фюрер...

Еще неделю назад он предупредил жену, чтобы она с детьми покинула мюнхенский дом и скрылась в горах; жену он не любил и был счастлив, что живет от нее отдельно, но к детям был привязан; она хорошо за ними глядела, поэтому Борман ее терпел, не устроил автокатастрофы.

...Через час Борман огласил указ фюрера, в котором говорилось, что фельдмаршал Кейтель должен немедленно отправиться в армию Венка. Он обязан передать генералу личный приказ Гитлера атаковать Берлин в направлении юго-западнее Потсдама.

Генерал Йодль отправился в армию Штейнера, чтобы организовать атаку по деблокаде Берлина в районе севернее Ораниенбурга.

Гросс-адмирал Дениц собирает все силы рейха на побережье для оказания помощи сражающемуся Берлину.

Геббельс, как комиссар обороны столицы, делает все, чтобы мобилизовать внутренние ресурсы города в его противостоянии большевистским полчищам.

Рейхсмаршал Геринг возглавляет все силы рейха на юге для их мобилизации к продолжению битвы.

Рейхсфюрер Гиммлер выполняет идентичную задачу на севере.

Текст этого приказа фюрера был немедленно отправлен в штаб Геринга (тому именно человеку, с которым последние дни р а б о т а л помощник рейхсляйтера Цандер) полковнику Хуберу.

Цандер добавил несколько ничего не значащих слов, нечто вроде личного послания Хуберу, в то время как для адъютанта Геринга они означали приказ действовать, давить на рейхсмаршала, пугать его Гиммлером, настраивать на необходимость предпринять свои, истинно солдатские шаги, ведь он, Геринг, герой первой мировой войны; кому, как не ему, проявить мужество сейчас, в дни, когда фюрер сделался фикцией, бессильной марионеткой в руках «гнусного Бормана и фанатика Геббельса»...

...Ровно через двадцать четыре часа после того, как в Оберзальцберг ушла эта шифровка Цандера, в рейхсканцелярии приняли радиограмму от Геринга, в которой говорилось, что он, рейхсмаршал, ждет подтверждения от фюрера на вступление в силу декрета от 29 июня 1941 года, в котором он — в случае возникновения кризисной ситуации — провозглашается преемником Гитлера. «Поскольку фюрер, как глава государства, лишен в Берлине свободы поступков, я готов принять на себя тяжкое бремя власти».

Штандартенфюреру Цандеру позвонили из бункера через двадцать секунд после того, как сообщение было расшифровано и распечатано в пяти экземплярах: для фюрера, Бормана, Геббельса, Кейтеля и полковника

фон Белова, являвшегося координатором среди посланников ведомств при ставке.

Через три минуты телеграмма была доложена Борману.

Тот достал из сейфа листок, заранее напечатанный под его диктовку Цандером еще позавчера вечером, и отправился к Гитлеру.

— Фюрер, — сказал Борман, притворяясь испуганным, — свершилось страшное: вас предал Геринг.

Гитлер не сразу понял смысл сказанного Борманом: он читал письма Вагнера, делая отметки на полях разноцветными карандашами; как раз сейчас он чиркал те абзацы, в которых композитор описывал свое бегство в Швейцарию после подавления революции в Германии, свое отчаяние первых дней и надежду на то, что все изменится, ибо духу времени угодно созидание того н о в о г о, что объединит нацию.

Он недоумевающе посмотрел на Бормана, потом лишь осознал смысл сказанного, приподнялся в кресле и, опершись на подлокотники, закричал:

— Не смейте! Замолчите, Борман! Я приказываю вам не сметь!

— Мой фюрер, — тягуче повторил Борман, и в голосе его не было обычных успокаивающих ноток, — вы преданы Герингом, вот текст его ультиматума, извольте ознакомиться с ним и подписать приказ, в котором вы отдаете его под юрисдикцию военно-полевого суда с приказом расстрелять изменника!

— Вы не смеете говорить так, — сломавшись, жалобно попросил Гитлер. — Это провокация врагов... Герман был со мною с первых дней; вы жестоки, Борман, он мне всегда говорил, как вы жестоки...

— Позвольте мне в таком случае уйти? — по-прежнему тягуче спросил Борман, положив на столик, возле книги Вагнера, телеграмму Геринга и проект приказа о его разжаловании.

— Сядьте, — сказал Гитлер. — Как вам не совестно? Есть у вас сердце? Или вместо него в вашей груди камень?

— Мое сердце разорвано любовью к вам, фюрер, я живу много лет с постоянной болью в сердце...

Гитлер прочитал телеграмму дважды, отложил текст, удивился:

— Но я не вижу в его словах измены, Борман... Он требует ответа, прежде чем объявит себя преемником...

Борман поднялся, поклонился Гитлеру, пошел к двери.

— Погодите! — воскликнул Гитлер, и в голосе его слышалось отчаяние. — Вы не согласны со мною?

— Фюрер, ребенок всегда трагично реагирует, когда родители слишком добры к старшему сыну, жестокому эгоисту, прощая ему все, что угодно, и несправедливы к младшему — кроткому и любящему.

— Что все это значит, Борман?! Объясните мне, я лишился возможности понимать...

— Если бы я сказал вам: «Фюрер, вы не можете более руководить работой партии, я даю вам сутки для того, чтобы вы добровольно передали мне функции вождя», как бы вы отнеслись к такого рода пассажу?

— Геринг! — тихо сказал Гитлер, прочитав еще раз текст телеграммы. — Герман, которого я дважды выводил из-под партийного суда за его тягу к роскоши и вольностям в личной жизни... Человек, который всегда был подле, добрый, доверчивый брат с ликом гладиатора и сердцем ребенка... Геринг! — Гитлер сорвался на крик, словно бы чувствуя, как у г о д н а сейчас Борману истерика. — Грязный боров! Изменник! Гнусный сластолюбец! Человек, разложенный роскошью и богатством, погрязший в алчной жажде наживы! Я проклинаю тот день, когда встретил его!.. Я...

— Там все записано. — Борман кивнул на листок бумаги, заранее напечатанный Цандером. — Нужна ваша подпись...

— Нет, — сказал Гитлер, прочитав проект приказа. — Я не стану это подписывать. Составьте документ в том смысле, что Геринг обратился ко мне с просьбой об освобождении его от звания рейхсмаршала, президента рейхстага, премьера Пруссии, фюрера четырехлетнего плана развития национального хозяйства и моего преемника в связи с обнаружившимися признаками сердечной недостаточности... Нация должна верить в то, что все мы едины, как и раньше...

Тем не менее через семь минут после того, как этот приказ Гитлера был обнародован, в Берхтесгаден ушла телеграмма Бормана гауляйтеру Фишлю и бригадефюреру Брусу:

«Поскольку Геринг лишен фюрером звания рейхсмаршала и командующего люфтваффе, его надлежит арестовать, где бы он ни находился, и содержать под стражей вплоть до особого распоряжения о его дальнейшей судьбе».

А в это время Геринг был уже на дороге в штаб американской дивизии, командир которой выстроил почетный парад для встречи второго человека рейха, преемника, рейхсмаршала и с о л д а т а.

Его машину успели окружить эсэсовцы, охранявшие архив НСДАП; приказ, подписанный Борманом, оказался для них выше личности бывшего рейхсмаршала, которому они еще минуту назад, до получения б у м а г и, подчинились бы ликующе, но, поскольку «порядок превыше всего», слово стоявшего на одну лишь ступень выше оказалось сильнее здравого смысла: они готовы были растерзать Геринга по первому же слову из п о д в а л а.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ (ШЕЛЛЕНБЕРГ)

...Каждый работал на себя; каждый думал только о себе; блоки заключались лишь для того, чтобы получить минутную выгоду, записать ее на свой счет и немедленно расторгнуть, как только возникала возможность нового блока — в лихорадочном пути к личному спасению.

Шелленберг спал в машине. Последнюю неделю он практически не появлялся в РСХА; новые отношения с Мюллером давали ему такого рода возможность. Мюллер страховал его от Кальтенбруннера, хотя и с тем Шелленберг то и дело входил в соглашения, расторгавшиеся сразу же, как только он видел большую выгоду в Гиммлере, а Кальтенбруннер — в Бормане; однако время было такое, что все они, снедаемые взаимной ненавистью, не могли тем не менее обходиться друг без друга.

...В Хохенлихен к Гиммлеру Шелленберг приехал на этот раз с севера, где провел очередную беседу с графом Бернадотом.

— Рейхсфюрер, так дальше нельзя. Вы должны понять: война проиграна! — сказал Шелленберг своему шефу, который, устроившись возле камина, читал Плутарха; аккуратно наколотые дрова шипяще лизал огонь, пахло у ю т о м и м и р о м; кофе был заварен настоящий, бразильский (кофеин не был выпарен на нужды фронтовых госпиталей). Закатное небо было багрово-синим, спокойным и прекрасным; ничто не напоминало здесь, в дубовом лесу, охраняемом полком СС, о том, что русские рвутся к Берлину, американцы катят лавиной

в Тюрингию и Саксонию, англичане беспрерывно бомбят города и автострады; в нетопленых квартирах умирают голодные дети, а на улицах по-прежнему вешают солдат с табличками на груди: «Я — дезертир и паникер, посмевший сказать, что война проиграна!»

— Ах, Вальтер, не сгущайте краски, — откликнулся Гиммлер. — Вы вечно паникуете... Военные заверили меня, что Берлин неприступен, что Сталин будет разгромлен в Берлине.

— Военные обязаны вам лгать, иначе вы прикажете расстрелять их. Они хотят выжить, поэтому лгут. А я хочу жить, потому и говорю вам ту правду, которую так неприятно слушать. Рейхсфюрер, граф Бернадот согласен отвезти в американский штаб ваши мирные предложения и вручить их Эйзенхауэру. Дайте мне санкцию, и завтра же начнутся переговоры... На сей раз не наш Карл Вольф входит с такой инициативой, а граф Бернадот, человек мировой репутации, который, так же как и все европейцы, справедливо опасается русского вторжения на Запад. Я ничего не прошу, кроме вашего согласия на м о й поступок.

— Отвечать за ваш поступок перед фюрером все равно придется мне, Вальтер.

— История не простит вам пассивности, — горько сказал Шелленберг. — Вы будете отвечать перед нацией за то, что она окажется под пятой красных...

Гиммлер досадливо отложил Плутарха.

— Вы знаете, что организация СС была создана как гвардия фюрера, Вальтер! Я, ее создатель, не могу стать предателем!

— Предателем? Кого же вы предадите? Безумного, ничего не соображающего маньяка, который тащит нас за собою в могилу?!

— Вы что же, предлагаете мне сместить фюрера? — саркастически спросил Гиммлер.

— Именно это я вам и предлагаю, — ответил Шелленберг. — У вас еще достаточно верных вам людей. Арест Гитлера — вопрос минуты. У вас развязаны руки. Полная капитуляция на Западе, начало борьбы на Востоке, куда мы перебросим все наши войска, разве вы не видите в этом ваш долг?!

Гиммлер даже всплеснул руками:

— А как я скажу об этом нации, которая боготворит фюрера?

— Нация его ненавидит! — жестко возразил Шелленберг. — Нация всегда ненавидит того лидера, который

привел ее к катастрофе, нация боготворит победителя, это хорошо написано вот здесь. — Он кивнул на том Плутарха.

— Нет, нет, нет! — повторил Гиммлер и, поднявшись, начал быстро ходить по кабинету. — Я не могу предать прошлое! Вы не помните тех дней, когда мы шли к власти, вы не помните тех лет триумфа, когда мы все были как братья, когда мы...

Шелленберг, чувствуя непомерную усталость, раздраженно перебил:

— Рейхсфюрер, какие братья? О чем вы? Разве Рэм не был братом фюрера? Или Штрассер? Но ведь их расстреливали как бешеных собак. Не надо о прошлом, рейхсфюрер! Думайте о будущем... Вы обратитесь к нации с призывом объединения для борьбы против красных, сообщите о капитуляции на Западе и о тяжелой болезни Гитлера, которая подвигла его на то, чтобы передать вам власть!

— Но он здоров!

— Его нет попросту, — так же устало, а потому не думая о протоколе, сказал Шелленберг. — Есть оболочка, миф, тень... И, тем не менее, этой тени поверили, когда он пробормотал о смещении Геринга по собственной просьбе в связи с сердечным приступом... И вам поверят, сейчас поверят всему...

...Назавтра рано утром Шелленберг привез к Гиммлеру руководителя имперского здравоохранения профессора де Крини. Тот поначалу мялся, вспоминал личного врача Гитлера штандартенфюрера Брандта, оказавшегося изменником, а потом, когда Гиммлер дал ему взятку, приказав срочно уехать в Оберзальцберг, сказал, понизив, тем не менее, голос — нет ничего устойчивее инерции страха:

— Фюрер совершенно болен. Его психическая субстанция на грани распада. Теперь, когда рядом с ним нет Брандта, — он может сойти с ума в любую секунду.

Гиммлер, отпустив Крини, спросил Шелленберга:

— И вы думаете, он не доложит о моей беседе Борману?

— Он уедет в Оберзальцберг, рейхсфюрер, — усмехнулся Шелленберг. — Он не станет звонить в бункер, он счастлив, что смог вырваться, он здравомыслящий человек...

— Ну хорошо, допустим... Я говорю о бредовом

вероятии, Шелленберг, не более того... Допустим, я отправляюсь в рейхсканцелярию с моими людьми... Допустим, я войду в кабинет фюрера и скажу, что смещаю его... Этот трясущийся больной человек не сразу поймет, о чем я говорю: ведь он так доверчив, он верит людям, как ребенок, мы все были с ним рядом, мы... Как я посмотрю ему в глаза?

«И этот человек возглавлял СС, — подумал Шелленберг тоскливо. — Я служу ничтожеству, все они лишены полета, они раздавлены страхом, который сами же возвели в культ, они пожинают то, что посеяли...»

— Рейхсфюрер, пока вы говорили с де Крини, я позвонил в Любек. В Стокгольм прилетел представитель Всемирного еврейского конгресса Шторх, он просит об аудиенции. За ним стоят серьезные люди с Уолл-стрита. Поймите, встретившись со Шторхом, вы сможете объяснить ему, что антисемитизм — это детище Гитлера, вы тут ни при чем, вы делали и делаете все, чтобы спасти евреев, оставшихся в концлагерях. Мир ведь ненавидит нас за то, что мы проводили дикую политику антисемитизма, поймите! Если вы не отмежуетесь от Гитлера, вам не простят этого варварского средневековья не только Рузвельт и Сталин с Черчиллем, вам не простит этого история. И немцы не простят! Они спросят: «Ну ладно, мы сожгли и изгнали евреев, их нет больше в Германии, но отчего же мы умираем с голоду, отчего нас бомбят, отчего мы — без евреев — проиграли войну?» Что вы им ответите? А Шторх — это торговля. Он представит вас на Западе спасителем этих самых евреев, только б вы сейчас исполнили то, чего они хотят...

— Но Гитлер не перенесет этого! Вы же знаете, как он болезненно относится к еврейскому вопросу, Вальтер!

— Да черт с ним, с этим еврейским вопросом! Перед нами встал во весь рост немецкий вопрос, это главное! А мы продолжаем цепляться за бред маньяка, который ничего не хочет знать, кроме этих своих треклятых евреев! Да пусть они провалятся в тартарары! Думайте о немцах, рейхсфюрер, хватит ломать голову по поводу евреев!

— Нет, — ответил Гиммлер. — Этого фюрер не перенесет... Погодите, Вальтер, не жмите на меня, я должен свыкнуться с теми соображениями, которые вы мне высказали.

— Сколько времени намерены свыкаться? — усмехнулся Шелленберг; лицо дрожало, глаза слезились,

будто песку насыпали, язык был большим, распухшим, черным от бесконечного курения. — Вам не отпущено более времени. Когда я говорю вам — верьте мне. Думая о себе, я думаю и о вас, ибо только вы п о к а можете реализовать наше общее спасение, ибо вы представляете собою фермент власти в рейхе. Вам отпущены часы, рейхсфюрер. Пока еще вы имеете силу, но, когда русские окончательно окружат Берлин, вы перестанете интересовать на Западе кого бы то ни было...

— Как вы можете говорить так?! — жалобно спросил Гиммлер. — В конечном счете я министр внутренних дел и рейхсфюрер войск СС!

— Пока, — ответил Шелленберг. — Простите, что я резок, но я не имею права лгать вам более, потому и повторяю: п о к а.

Аберрация представлений, память о былом величии, неумение ощущать пространство и время, отсутствие чувственного начала сыграли свою страшную, но в то же время закономерную игру и с Гиммлером, и с Шелленбергом.

Они строили планы, лихорадочно носились по дорогам рейха, забитым колоннами беженцев; охрана сталкивала людей в канавы, а то и просто стреляла в них; шли бесконечные телефонные разговоры со Стокгольмом, Любеком, Берлином; никто из них не хотел, а скорее, не мог уяснить себе, что сейчас все решало постоянное, грохочущее, ежеминутное передвижение танков и артиллерии, выходивших на исходные позиции для атаки центра Берлина...

Наблюдая за активностью Шелленберга, который в Берлине по-прежнему не появлялся, Мюллер отправил шифрованную телеграмму своему представителю в посольстве в Стокгольме и поручил завершить заранее начатую операцию, смысл которой сводился к тому, чтобы американцы смогли «п о д к у п и т ь» шифровальщика гестаповской группы. Среди целого ряда кодов в их руки должен был попасть ключ к тем телеграммам, которые отправлял в Москву Штирлиц.

Это — по логике Мюллера — не могло не подтолкнуть Донована к дальнейшей активности. В Вашингтоне не могли не оценить возможных последствий, после того как Москве стало известно от Юстаса обо всех контактах, которые Шелленберг наладил с Бернадотом и Музи;

это предполагало безотлагательные шаги в том или ином направлении. Либо Вашингтон должен протянуть руку рейхсфюреру и срочно заключить сепаратный мир, чтобы противостоять большевистской лавине, либо он должен открыто отмежеваться от Гиммлера. Но в этом случае в рейхе остается только одна сила — Борман. Лишь он становится полноправным преемником фюрера — его идей, тайных хранилищ ценностей, всей зарубежной сети НСДАП.

Мюллер знал, что, после того как Гиммлер все-таки решился на переговоры и подписал соглашение о тех евреях, которые еще не были уничтожены в газовых камерах, активность Шелленберга возросла до уровня совершенно поразительного: он делал по тысяче километров в сутки, ел и спал в своем автомобиле, держался на сильных возбуждающих препаратах, высох, и под глазами у него набрякли старческие мешки.

Накануне решающих бесед Гиммлер — как стало известно Мюллеру — встретился с заместителем министра финансов фон Крозигом и министром труда Зельдте. Крозиг настаивал на немедленных открытых переговорах с Эйзенхауэром; Зельдте внес предложение понудить Гитлера выпустить прокламацию, в которой объявить плебисцит по поводу создания второй, оппозиционной партии и роспуск военно-полевых судов, которые превратили рейх в тюремный двор, уставленный виселицами.

...На следующий день в осажденный Берлин прилетели граф Бернадот и представитель Всемирного еврейского конгресса Мазур; Шелленберг — в эсэсовском мундире — встретил их на военном аэродроме Темпельхоф, всего в нескольких километрах от ставки Гитлера.

Первая конференция между Гиммлером и Мазуром в присутствии Шелленберга состоялась в Хартцвальде; секретарь Гиммлера, работавший с ним пятнадцать лет, штандартенфюрер Брандт пытался было стенографировать беседу, но Шелленберг попросил его не делать этого, заметив, как растерян Гиммлер, как странно он себя вел, как заискивающе улыбался эмиссару сионистской организации, убеждая его, что во всех «недоразумениях» с евреями виноваты безответственные астрологи, сбившие с толку ряд старых деятелей НСДАП...

— Главное, что нас заботит в настоящее время, — перебил Мазур рейхсфюрера, — это жизнь евреев, томящ... находящихся в ваших... в концентрационных лагерях Германии. Если вы гарантируете нам, что их не

уничтожат, мы готовы обсуждать то, о чем вы нас просили.

— Я уже приказал передать американцам список всех тех мест, где интернированы лица еврейской национальности, — заметил Гиммлер. — Я действительно стоял когда-то за высылку евреев из рейха — на удобных пароходах или поездах первого класса, никак не посягая на их человеческое достоинство, не моя вина, что это...

Теперь его перебил Шелленберг:

— Господин Мазур, вы гарантируете, что пресса, которую вы контролируете, скажет свое веское слово о той благородной позиции, которую занял рейхсфю... господин министр внутренних дел Гиммлер и его ближайшие сподвижники?

— В случае если вы сохраните жизни несчастных, пресса, на которую мы можем повлиять, скажет правду о позиции, занятой рейхсфю... господином министром внутренних дел Гиммлером и вами в апреле сорок пятого.

— Я не один, господин Мазур. Я бы ничего не смог сделать для вас, не будь нас тысячи — всех тех, кто всегда и во всем стоял рядом с господином Гиммлером...

— Я готов приказать сейчас же, — заметил Гиммлер, — чтобы в женском концлагере Равенсбрюк всех евреек назвали англичанками или польками, это избавит их от возможной некорректности со стороны тех охранников, семьи которых погибли во время бомбежек, — ужасное время, люди так озлоблены, все может случиться...

После того как Мазура увезли на военный аэродром, чтобы отправить в Стокгольм, Гиммлер и Шелленберег поехали в штаб-квартиру, в Хохенлихен, — там их уже ждал граф Бернадот.

— Вы должны мне помочь встретиться с Эйзенхауэром, — холодея от ужаса, сказал Гиммлер. — Мы с ним солдаты, мы договоримся о мире. Я готов капитулировать на Западе, лишь бы удержать на Востоке большевиков...

Бернадот кашлянул, тихо ответил:

— Я постараюсь сделать все, что могу, рейхсфюрер...

А после встречи (Брандт, секретарь Гиммлера, все слышал своими ушами и сообщил об этом Мюллеру; тот в свое время спас его сестру от ареста — увлеклась поляком, — на этом секретарь Гиммлера был с х в а ч е н: с тех пор о с в е щ а л своего шефа его же подчиненному, но такому, который — по диким нормам рейха — был вправе знать все обо всех), когда Гиммлер

остался в кабинете, Бернадот, садясь уже в машину, сказал Шелленбергу:

— Рейхсфюрер опоздал со своим предложением на пару недель. Он должен был сказать мне о своем желании сдаться на Западе, пока еще русские не начали окружать Берлин. Время Гиммлера кончилось. Думайте о себе, милый Шелленберг, думайте о себе серьезно...

— В каком направлении? — жалко спросил бригадефюрер.

Захлопывая дверцу машины, Бернадот ответил:

— Попробуйте добиться капитуляции ваших войск в Норвегии и Дании, думаю, это зачтется вам в будущем...

Телеграмму обо всех событиях Мюллер отправил в Центр, в Москву, зашифровав ее кодом Штирлица, известным уже американцам.

Каждую минуту, каждый час он был намерен использовать для того, чтобы вбивать клинья, раскачивать их, словно рыхля землю, когда ставишь на ночь большую палатку возле озера, где плещутся длинные голубоглазые щуки в тихих зарослях камыша.

Каждую минуту, каждый час надо делать все, чтобы росла подозрительность, чтобы Восток и Запад, идущие навстречу друг другу по Германии, проникались недоверием, которое так легко с о о б щ и т ь людям, сидящим за штурвалами истребителей и у смотровых щелей танков. Все, что угодно, только не колебание. Гиммлер колебался, вот и проиграл. Мюллер не знает колебаний, он исповедует действие, поэтому у него есть шанс выиграть.

Через два часа разведка флота, перехватившая телеграмму Юстаса Центру, доложила президенту Трумэну текст расшифрованного сообщения, ибо ключ от кода был сообщен из Стокгольма накануне вечером.

Трумэн собрал узкий штаб своих наиболее доверенных советников.

— Бернадот прав: Гиммлер опоздал, — сказал президент. — Но русские теперь знают все. Скандал может быть громким. Мы не боимся скандала, но в данном случае престижу Соединенных Штатов будет нанесен урон. Какие предложения, друзья?

После долгого совещания пришли к выводу, что следует — по дипломатическим каналам — сообщить Кремлю, что президент готовит чрезвычайное сообщение Сталину, связанное с предложениями, которые переданы нацистами американским представителям в Стокгольме.

Было поручено передать Москве на словах, что предложение нацистов о сепаратном мире будут отвергнуты, однако необходимо время для того, чтобы проанализировать, не есть ли это провокация Гиммлера. После этого Трумэн сообщит маршалу все подробности в личном послании...

Выгадывали не дни — часы.
Всяко может статься.
Главное — выждать.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ (ПОЛКОВНИК МАКСИМ МАКСИМОВИЧ ИСАЕВ)

Штирлиц лежал в комнате, обставленной со вкусом, если бы не горка, в которой сверкал хрусталь — тщеславное свидетельство хозяйского богатства, а не коллекция прекрасных творений рук человеческих; изумительные, похожие на горные цветы бокалы соседствовали с пузатыми, чрезмерно вместительными графинами; рядом с ломкими коньячными рюмками были расставлены тяжелые стаканы. Даже солнечные лучи в них не были сине-высверкивающими, легкими, стремительными, а какими-то жухлыми, устойчивыми, изнутри серыми...

...Руки Штирлица были схвачены тонкими стальными наручниками, левая нога пристегнута таким же стальным обручем к перекладине тяжелой тахты.

«Очень будет смешно, — подумал Штирлиц, — если мне придется бежать, волоча за собою этот мешок... Сюжет для Чаплина, ей-богу...»

Он постоянно прислушивался к далекой канонаде; только б они успели, я ведь погибну здесь, у меня остались часы. Ребята, вы уж, милые, постарайтесь прийти, я так мечтал все эти долгие годы, что вы придете... Я очень старался сделать то, что мог, только б приблизить эту минуту; наверное, мог больше, но вы не вправе корить меня; каждый человек на земле реализует себя на десятую часть, какое там, на сотую, тысячную; меня н е с л о, как и всех, — жизнь так стремительна, она диктует нам самих себя, мы выполняем то, что она холодно и небрежно предписывает нам, хотя и нет письменных указаний; темп, постоянно изнуряющий темп, а мне еще приходилось разрываться между тем, что я был обязан делать поневоле, здесь, только б иметь возможность выполнить главное, и тем, что мне по-настоящему хотелось...

Вошел Ойген, присел рядом, поинтересовался:

— Хотите повернуться на правый бок?

— Я лежу на нем, — ответил Штирлиц.

— Ах, ну да, — усмехнулся Ойген. — Я всегда путаю, когда гляжу на другого... Повернуть вас на левый бок? Не устали?

— Поверните. А лучше бы посидеть.

— Сидеть нельзя. Врач, который станет работать с вами — если не поступит ответа из Москвы, — просил меня проследить за тем, чтобы вы лежали...

— Ну-ну, — ответил Штирлиц. — В таком случае полежу...

— Хотите закурить?

— Очень.

— Сочувствую, но курить вам тоже запрещено.

— Зачем тогда спрашивали?

— Интересно. Мне интересно знать, что вы сейчас ощущаете.

— Знаете, что такое фашизм, Ойген?

Тот пожал плечами:

— Национальное движение передовых сил итальянского народа...

— В мире люди путаются: фашизм, национал-социализм, кагуляры...

— Путаются оттого, что плохо образованны. Разве можно ставить знак равенства между французскими кагулярами и арийским национал-социализмом?

— Можно, Ойген, можно... Я вам расскажу, как впервые понял значение слова «фашист» здесь, в Германии... Хотите?

Закурив, Ойген ответил:

— Почему ж нет, конечно, расскажите...

— Это было в тридцать втором, еще до того, как Гитлер стал канцлером... Я приехал в Шарлоттенберг, улочки узкие, надо было развернуться; возле пивной стояли две машины; вокруг них толпились люди в коричневой форме, они обсуждали речь Геббельса, смеялись, спорили, вполне, казалось бы, нормальные члены СА. Я спросил, нет ли среди них шоферов, чтобы те подали свои машины вперед, чуть освободив мне место. Нет, ответили мне, нет здесь шоферов... Я корячился минут пять, разворачивая свой «опель», пока наконец кое-как управился, а коричневые все это время молча наблюдали за мною, а потом спросили, где это я так лихо выучился владеть искусством проползания на машине сквозь полосу препятствий... Когда, припарковавшись, я вышел, двое

коричневых из тех, кто смеялся надо мною, поприветствовали друг друга возгласом «Хайль Гитлер!», сели в эти злосчастные автомобили и разъехались в разные стороны... Когда нравится смотреть на страдания — или даже просто неудобство другого человека, — это и есть фашизм... Но для вас, хорошо образованного, я уточню: это и есть настоящий национал-социализм...

Ойген сжал кулаки, пощелкал толстыми костяшками пальцев, поросших бесцветными мягкими волосками, сокрушенно вздохнул:

— Группенфюрер запретил мне работать с вами так, как вы того заслуживаете, Штирлиц... А то я бы продемонстрировал вам, что такое германский национал-социализм, когда он встречается с русским нигилистическим большевизмом...

И, склонившись над Штирлицем, он близко заглянул ему в глаза, а потом плюнул в лицо.

— Вот так... Этого мне группенфюрер не запрещал, я никак не ослушался приказа...

Около двери он остановился, обернулся к Штирлицу и заключил:

— А попозже я вам до конца объясню, что такое большевистский нигилизм, ох и объясню, Штирлиц...

Когда он плотно закрыл за собою дверь, Штирлиц вытер лицо о подушку, ощутив, какая вонючая слюна у этого длинного животного, и вдруг совершенно неожиданно очень явственно и близко увидел лицо Вацлава Вацлавовича Воровского; тот пришел к ним на цюрихскую квартиру, когда папа организовал диспут о русской литературе, пытаясь хотя бы как-то, поначалу в области культуры, найти путь к компромиссу между его единомышленниками, членами меньшевистской фракции Мартова, и ленинцами.

Максим всегда помнил, как отец страдал из-за разрыва, случившегося между Ильичем и Мартовым; понимая, однако, что прав Ленин, он продолжал оставаться с меньшевиками; «Я не могу бросить тех, с кем начинал; да и потом, мы слабее, — объяснял он сыну, — а я уж так устроен, что защищаю слабых, не нападай на меня, хотя и понимаю, что пятнадцать лет — особый возраст, атакующий, что ли, особенно чуткий на правду и отклонение от нее; понимание и милосердие приходят позже; я буду ждать; только б дождаться; все отцы мечтают только об одном — дождаться».

Воровский тогда выступал с коротким докладом о сущности нигилизма в русской литературе.

Юноша впервые сидел среди взрослых, поэтому впечатление того вечера навсегда осталось в его памяти, он помнил происходившее тогда в деталях, до мелочей, он и по сию пору явственно видел, что на левом рукаве коричневого пиджака Воровского была оторвана третья пуговица, а серая рубашка заштопана белыми нитками...

...Сколько уж десятилетий ведутся в России жаркие споры по поводу буквы «ять», говорил тогда Воровский, и всем ясно, что буква эта не нужна, она лишняя, ничего в себе не несет, тем не менее она по-прежнему существует, дети, не понимающие ее, получают два балла за грамматику, плачут, страдают, а ведь вся суета мира не стоит детской слезинки. Достоевский жестко сформулировал проблему человеческой морали... Так же и с нигилизмом... Спорим, спорим, а к определенному выводу до сих пор не можем прийти, хотя сделать это необходимо... Когда начинают отсчет нигилизма с тургеневского Базарова, я не могу не восстать против этого... В такого рода концепции есть своего рода патриотизм навыворот; люди словно бы хотят показать, будто раньше такого в России не было, а это ошибочно.

Воровский тогда процитировал маленький отрывок, сказав, что интересно было бы послушать соображения— чьи слова он привел? «Это сделает наш диспут более открытым, демократичным, общим».

Он тогда наизусть, певуче прочитал слова о том, что «у всех народов бывают периоды страстной деятельности, периоды юношеского развития, когда создаются юношеские воспоминания, поэзия и плодотворнейшие идеи; в них источник и основание дальнейшей истории... Мы же не имеем ничего подобного... В самом начале у нас дикое варварство, потом грубое суеверие, затем унизительное владычество татар-завоевателей, следы которого в нашем образе жизни не изгладились и поныне... Наши воспоминания не дальше вчерашнего дня, мы чужды самим себе».

А потом Воровский улыбнулся своей холодной, чуть надменной улыбкой (отец позже сказал: «Не думай, что он на самом деле надменен; он просто таким манером прячет свою мягкость, он очень ранимый человек, хрупок, как дитя») и — чуть откинув голову — прочитал второй отрывок:

— «Мы, русские, искони были люди смирные и умы

смиренные. Так воспитала нас наша церковь. Горе нам, если мы изменим ее мудрому учению; ему мы обязаны своими лучшими свойствами, свойствами народными, своим величием, своим значением в мире. Пути наши не те, по которым идут другие народы...»

В большой комнате, где сидело тогда человек двадцать, стало шумно, люди переговаривались, слышалось: «Белинский», «Аксаков», «Хомяков».

Воровский, покачав головою, снова улыбнулся:

— Нет, товарищи, и не Белинский, и не Аксаков. Обе цитаты взяты мною из Чаадаева — раннего и предсмертного. Первая выдержка относится к началу тридцатых годов, это отрывок из его знаменитого письма, за которое мыслителя объявили безумцем; вторая — его покаянное обращение к властям предержащим... Первое выступление было порождено горестной обидой за Пушкина, за дух России той поры, когда все вокруг было навязано человеку: у него не было выбора, каждый шаг его был зарегламентирован, запрещений тьма, разрешений на мысль и поступок нет и в помине... Именно эта ограниченность поступков, деятельности, мысли и породила нигилизм Чаадаева — абсолютная свобода от навязываемых понятий, которые не дают развиваться уму, обращать свой взор к неведомому... Нигилизм не есть врожденное качество плохого человека, он есть порождение полицейщины, бюрократии, тупых запретов... Но при этом нигилизм Чаадаева был одним из проявлений барственности русской литературы той поры... Нигилисты — по меткому определению славянофилов — знали, чего они не хотели, но не знали, чего хотят... И винить Чаадаева в его барственности подобно тому, как обвинять время за то, что оно тридцать лет терпело в России Николая Палкина... Даже то, что тогдашние нигилисты открыто сформулировали, чего они не хотят, было поступком, шагом на пути прогресса. Базаров был развитием новой русской общественной мысли, но отсчет ее я начинаю не с Чаадаева, а с Радищева, когда впервые был поставлен вопрос о подлинном понятии чести и совести, о смысле личности в истории общества...

...Исаев часто вспоминал тот вечер в доме папы; он не сразу понял, отчего в память так врезался Воровский, его излишне спокойная манера говорить о наболевшем, о том, что вызывало тогда такие яростные споры (папа грустно улыбался, когда они той ночью мыли чашки на кухне, а потом подметали пол в большой комнате: «По-моему, я, как всегда, сделал прямо про-

тивоположное тому, что хотел, — все еще больше рассорились, вместо того чтобы хоть как-то замириться... Я верю, в России вот-вот произойдут события, власть изжила самое себя, мы вернемся домой, но мы разобщены, какая досада, боже ты мой...»). Исаев понял, отчего он так запомнил тот вечер, значительно позже, когда начал работу в гитлеровской Германии... Отсутствие общественной жизни, ощущение тяжелого, болотного запаха царствовало в рейхе; либо истерика фюрера и вой толпы, либо ранняя тишина на улицах и расфасованность людей по квартирам: ни личностей, ни чести, ни достоинства... Прекрасный дух жаркого спора, которому он был свидетелем в Цюрихе, осенью пятнадцатого, был неким кругом спасения в первые годы его работы в рейхе; он помнил лица спорщиков, их слова; его — чем дальше, тем больше — потрясала у б е ж д е н н о с т ь русских социал-демократов в их праве на поступок и мысль, угодные народу, они были готовы взять на себя ответственность во имя того, чтобы вывести общество из нивелированной общинной одинаковости к осознанному союзу личностей с высоким чувством собственного достоинства, то есть чести; людей, обладающих правом на поступок и мысль...

«Какой же я счастливый человек, — подумал он, — какие поразительные люди дарили меня своим вниманием: Дзержинский, Бухарин, Артузов, Трифонов, Антонов-Овсеенко, Иоффе, Серебряков, Каменев, Блюхер, Постышев, Дыбенко, Воровский, Орджоникидзе, Свердлов, Крестинский, Карахан, Литвинов, — Господи, кому еще выпадало такое счастье в жизни?! Это как спасение, как отдых в дороге, как сон во время болезни, что я вспомнил их и они оказались рядом... Ну почему я так явственно всех их увидел именно сейчас, когда это так нужно мне, когда это спасение?.. Я снова вспомнил все это оттого, что Ойген сказал про нигилизм, — понял Штирлиц. — Как странно: посыл зла рождает в тебе добро, неужели и это тоже закономерно?»

Он снова ощутил в себе часы, а значит, ожидание. Он не мог более ждать, это страшное чувство разрывало его мозг, плющило тело, сковывало движения, рождало тоску...

«Наши успеют, — сказал он себе, — обязательно успеют, только не думай об этом постоянно, переключись на что-нибудь... А на что мне переключаться? Альтернатива безысходна: если наши не войдут сюда — меня убьют. И все. Обидно, — подумал он, — потому что я

относился к числу тех немногих, живших все эти годы в Германии, но вне т о й Германии... Я поэтому точнее многих понимаю ее, а ее необходимо понять, чтобы рассказать правду о той, какой она была, — это необходимо для будущих поколений немцев... Странное ощущение было даровано мне все эти годы: быть в стране, но ощущать себя вне этой данности и понимать, что такая данность не может быть долговечной... Кто-то верно говорил, что Леонардо да Винчи в своей работе соприкасался со следующим столетием, потому что его ничто не связывало с микеланджеловским идеалом формы: он искал смысл прекрасного в анатомии, а не во внешней пластике... Он был первым импрессионистом, оттого что отрекся от телесных границ формы, чтобы понять суть пространства... Леонардо искал не тело, а жизнь... Правильно, Максим, — похвалил он себя, — продолжал хитрить, думай про то, о чем тебе интересно думать, ты ведь все эти годы был лишен права слова, ты обязан был не просто молчать, это бы полбеды, тебе здесь приходилось говорить, и ты должен был говорить то, во что ты не верил, ты обязан был повторять такие слова, которые ненавидел, порою тебе хотелось закричать от ярости, но ты умел сдерживать себя, потому что любой поступок обязан быть целесообразным, иначе это каприз, никакой пользы делу, невыдержанность, неумение ждать, веруя... Ну вот, снова ты пришел к этому треклятому слову «ж д а т ь»... А что я могу поделать, если оно сейчас клокочет во мне? Я же человек, понятие «предел» присуще мне, как и всем людям, что, я лучше других?»

— Вилли! — крикнул он. — Отведите меня в туалет!

Пришел Вилли, снял наручники, вывел из комнаты. Когда проходили по коридору — длинному, п у т а н о м у, как и во всех старых берлинских квартирах, мимо дверей, обитых красной кожей, Штирлиц слышал голоса людей, которые быстро, перебивая друг друга, диктовали машинисткам, и из этой путаницы он явственно выделил знакомый голос штурмбанфюрера Гешке из личной референтуры Мюллера:

— Поскольку бывший французский министр Рейно окружен теперь почетом, как жертва так называемого нацизма, — р у б и л Гешке, вкладывая в интонацию свое отношение к тексту, — следует учитывать, что его секретарь, весьма близкая ему Мадлен Кузо, была завербована вторым отделом абвера и давала не только весьма ценную информацию о связях ряда членов семьи арестованного министра, но и выполняла оперативные пору-

чения; следовательно, мы имеем возможность в будущем подойти к ней, заставив...

— Тише! — крикнул Вилли. — Я веду арестованного! Прекратить работу!

— Думаете, смогу убежать?— поинтересовался Штирлиц. — Боитесь, что открою французам ваши тайны?

— Убежать не сможешь... А вот если тебя отпустит группенфюрер...

— Думаешь — может?

— Как только придет ответ из твоего Центра — отпустит.

— Зачем же тогда держать меня в наручниках?

— Так ведь ответ еще не пришел... А придет — тебе не с руки бежать, русские расстреливают тех, кто начал на нас работать... Станешь, как бездомный песик, к ноге нового хозяина ластиться...

Штирлиц вошел в туалет, прислонился спиной к двери, быстро разорвал то место в подкладке, где постоянно хранил кусочек лезвия золингенской бритвы, сжал ее большим и указательным пальцами, ощутив звенящую податливость металла, и спросил себя: «Ну что, Максим, пора? Говорят, кровь сойдет через пять минут, в голове будет шуметь, и начнется тихая, блаженная слабость, а потом не станет ни Мюллера, ни Ойгена, ни Вилли, ни всех этих мерзавцев, которые в тихих комнатах, несмотря на то что им пришел конец, затевают отвратительную гнусность, впрок готовят кадры изменников... Или просто слабых людей, которые в какую-то минуту не смогли проявить твердость духа... А отчего же ты малодушничаешь? Уйти, выпустив себе кровь, страшно, конечно, но это легче, чем держаться до конца... Тебе ведь приказано выжить, а ты намерился убить себя... Вправе ли ты распоряжаться собою? Я не вправе, и мне очень страшно это делать, потому что я ведь и не жил вовсе, я только делал работу, двигался сквозь время и пространство, не принадлежал себе, а мне так мечталось п о ж и т ь те годы, что отпущены, я так мечтал побыть вместе с Сашенькой и Санькой... Но я знаю, что р а б о т у Мюллера нельзя выдержать: они сломают меня или я сойду с ума; как это у Пушкина: не дай мне Бог сойти с ума, нет, легче посох и сума... Что тогда? Существовать сломанным психопатом с отсутствующими глазами? Без памяти и мечты, просто — напросто отправляя естественные потребности, как животное, с ко-

торым врачи экспериментировали в той лаборатории, где изучают тайну мозга? Но еще страшнее предать»

— Штирлиц! — сказал Вилли. — Почему ты ничего не делаешь?

— Собираюсь с мыслями, — ответил Штирлиц и быстро сунул бритву в карман. — Ты подглядываешь?

— Я слышу.

— Я не могу сразу, — усмехнулся Штирлиц. — Вы ж не даете мне сидеть или ходить, а когда человек лежит, у него плохо работают почки.

Вилли распахнул дверь:

— Ну что ж, стой, я буду за тобой глядеть.

— Но ведь секретарши могут выйти.

— Ну и что? Они — наши, им не привыкать...

— А если мне нужно по большой нужде?

Вилли вдруг прищурился, глаза его сделались как щелочки:

— Ты почему такой бледный? Открой рот!

— У меня нет яда, — ответил Штирлиц. — И потом, цианистый калий убивает в долю секунды...

— Открой рот! — повторил Вилли и быстрым, каким-то рысьим движением ударил Штирлица по подбородку так, что рот открылся сам собой. — Высунь язык!

Штирлиц послушно высунул язык, спросив:

— Желтый? Сильно обложило?

— Розовый, как у младенца... Зачем ты попросился? Ведь не хочешь... Пошли обратно.

— Как скажешь. Все равно через час попрошусь снова.

— Не поведу. Тебя можно водить только три раза в сутки. Терпи.

...Когда Вилли вел его назад, в комнату, Штирлиц успел услышать несколько слов. В голову ахающе ударила фамилия маршала Говорова. Он не успел понять всего, что говорилось об отце военачальника, потому что Вилли снова гаркнул:

— Прекратить работу! Я иду не один!

В комнате он надел на руки Штирлица наручники, прикрепил левую ногу к кушетке и достал из горки бутылку французского коньяка.

«Наверняка возьмет толстый стакан, — подумал Штирлиц. — Маленькая красивая хрупкая коньячная рюмка противоречит его внутреннему строю. Ну, Вилли, бери стакан, выпей от души, скотина...»

Однако Вилли взял именно коньячную рюмку, п л е с-

нул в нее, как и положено, на донышко, погрел хрусталь в ладонях, понюхал, мечтательно улыбнулся:

— Пахнет Ямайкой.

«Ах да, он ведь работал в консульстве, — вспомнил Штирлиц. — И все-таки странно: здесь, когда он не на приеме, а сам с собой, он должен был выпить коньяк из толстого хрустального стакана...»

...Несколько снарядов разорвались где-то неподалеку. Канонада, которая доносилась постоянно с востока, а потому сделалась уже в какой-то мере привычной, сразу же приблизилась. Штирлицу даже показалось, что он различил пулеметные очереди; нет, возразил он, ты выдаешь желаемое за действительное, ты не можешь слышать перестрелку, если бы ты мог ее различить, то, значит, наши совсем рядом, а они хоть и рядом, но все-таки меня отделяют от них десятки километров, пара десятков, наверное».

— Послушай, Штирлиц, — сказал Вилли, — ты догадываешься, что с тобой будет?

— Догадываюсь.

— Сколько заплатишь за то, чтобы я помог тебе уйти отсюда?

— Ты не сможешь.

— А если? Откуда ты знаешь, что не смогу... Сколько заплатишь?

— Называй сумму.

— Сто тысяч долларов.

— Давай ручку.

— Зачем?

— Выпишу чек.

— Нет. — Вилли покачал головой. — Я принимаю наличными.

— Я не держу наличными.

— А где же твои деньги?

— В банке.

— В каком?

— В разных. Есть в Швейцарии, есть в Парагвае...

— А в Москве? Или у красных нет банков?

— Почему же... Конечно, есть... Не боишься, что твои слова услышит Ойген?

— Он спит.

— Когда приедет Мюллер?

Вилли пожал плечами, поставил тоненькую рюмку на место, взял пузатый стакан, наполнил его коньяком, словно чаем, и медленно выпил; кадык жадно и алчуще елозил по тонкому хрящевитому горлу...

— Ты подумай, Штирлиц, — сказал Вилли, открыв дверь. — Отдашь сто тысяч наличными — помогу уйти. Только времени на то, чтобы сказать «да», у тебя осталось мало.

Он вышел, повернул за собою ключ в замке.

«А ведь он говорит правду, — подумал Штирлиц, горделиво вспомнив про то, как он угадал, что Вилли должен пить из стакана. — Он действительно готов сделать все, чтобы получить сто тысяч и постараться уйти. Крысы бегут с корабля. А может, пообещать ему эти деньги? Сказать, что они у меня в тайнике, в подвале, в Бабельсберге... Почему нет? Или ты надеешься, что Мюллер предложит тебе что-то свое? В самой глубине души ты, наверное, надеешься на это, хотя боишься признаться; да, видимо, я боюсь себе признаться, потому что до конца не понимаю этого человека: он неожидан, как шарик, который катится по большому кругу банденской рулетки, и никому не дано высчитать, на какой цифре он остановится...»

— Эй, Вилли! — крикнул Штирлиц. — Вилли!

Тот вошел быстро, словно бы ждал окрика возле двери.

— Ну хорошо, — сказал Штирлиц. — Допустим, я согласен...

— На допуски нет времени, Штирлиц. Если согласен — значит, согласен, называй адрес, едем.

— Бабельсберг. Мой дом.

— Где хранишь?

— В тайнике, в подвале, возле гаража.

— Рисуй.

— Вилли, ты ж умный человек... Я нарисую, ты возьмешь деньги, а я останусь здесь.

— Верно. Ты останешься здесь. А мы уедем. И снимем с тебя наручники — иди, куда хочешь.

— А люди, которые работают в других комнатах?

— Это не мое дело. Это — твое дело.

— Хорошо. Неси карандаш и бумагу.

Вилли достал из кармана вечное перо «Монблан» и маленькую записную книжку. Сняв наручники со Штирлица, он сказал:

— Только обозначь, где юг, где север, чтоб потом не говорил, будто мы плохо искали, если там ничего не окажется...

Штирлиц нарисовал план подвала, обозначил место, где должен находиться тайник, объяснил, что надо тщательно п р о с т у ч а т ь стену и легонько ударить молот-

ком по тому месту, где он услышит пустоту (там как раз проходили трубы отопления, их зачем-то пропустили под кирпичной кладкой); штукатурка легко осыплется, в металлическом ящике лежат деньги — двести тринадцать тысяч.

Вилли внимательно посмотрел на план, поинтересовался:

— А где включается свет?

— Слева, возле двери.

— Понятно, — вздохнул Вилли. — Спасибо, Штирлиц... Только вот беда, в Бабельсберг прорвались русские.

— Когда?

— Вчера.

— Зачем тогда вся эта затея?

Вилли тяжело усмехнулся:

— А приятно смотреть, как человек корчится... Тем более что мы весь твой подвал простучали, а потом обошли с миноискателем — металлический ящичек наверняка бы загудел...

Штирлиц снова вспомнил майский день тридцать второго года, маленькую узкую улочку Шарлоттенберга, толпу мужчин в коричневых униформах СА и две машины, между которыми он остановил свой «опель», чтобы развернуться, и веселые лица фашистов, которые внимательно наблюдали за тем, как он мучился на маленьком пятачке, страшась поцарапать те два автомобиля, а шоферы стояли рядом и не шевельнулись даже, чтобы помочь ему...

«Приятно смотреть, как человек корчится...»

«А если в нем это заложено? — подумал Штирлиц. — Если он родился мерзавцем? Ведь не все же люди рождаются с задатками добра или благородства... Наверное, честная власть и должна делать так, чтобы умно пресекать заложенное в человеке дурное, делая все, чтобы помочь проявлению красоты, сострадания, мужества, щедрости... А как можно этого добиться, если им вдалбливали в головы, что они самые великие, что их история — самая прекрасная, музыка — самая талантливая, идея — единственно нужная миру? В них воспитывали пренебрежение ко всему миру, но ведь если любишь только свой народ, то есть себя, то и все другие люди, даже соотечественники, вчуже тебе... Государственный эгоцентризм всегда приводил империи к сокрушительному крушению, ибо воспитывал в людях з в е р и н у ю зависть ко всему хорошему, что им не принадлежит, а нет ни-

чего страшнее зависти: это — моральная ржа, она разъедает человека и государство изнутри, это не моль, от нее не спасешься нафталином... Бедная, бедная Дагмар, — вспомнил он женщину. — Она так добро говорила о наших былинах... Только б с ней все было хорошо... Тогда она поймет то главное, что надо понять; про былины она пока еще думает «с голоса» и говорит «с голоса» — так поступают одаренные дети, они подражают взрослым; она прекрасно рассказала про своего тренера, за которого была готова выброситься из окна, если б только он приказал... Ведь былины — это наука, отрасль истории, а в истории приблизительность, малая осведомленность, подтасовка — преступны. Это приводит к тому, что розенберги и геббельсы узурпируют власть над умами и делают народ слепым сборищем, послушным воле маньяка... Она говорила про Муромца и про общность германского и шведского фольклора с нашим и уверяла, что именно варяги занесли на Русь сказочные сюжеты; неверно, скорее это пришло от греков, стоит только вспомнить Владимира Мономаха в его «Поучении детям...». Ах, какая же это добрая литература и как плохо, что мы ее совсем не знаем!..»

Он снова услышал отца, который читал ему выдержки из этой книги, не сохранившейся целиком, но даже то, что сохранилось, поразительно: «Послушайте мене, аще не всего примите, то половину...» Папа тогда сказал: «Ты чувствуешь благородство его характера в этих нескольких словах? Всесильный князь не приказывает... Как всякий талантливый человек, он прилежен юмору, он скептичен, а потому добр, он не претендует на целое, только б хоть часть его мыслей взяли...» Отец тогда впервые объяснил ему, что после победы иконоборцев в Византии, когда верх одержали те, кто требовал в мирской жизни соблюдать изнурительное монашество (плодородие земель и щедрость солнца позволили людям на берегах Эгейского моря жить в праздности, поэтому пастырям надо было забрать все в кулак, понудить к крутой дисциплине, чтобы не повторилось новое римское нашествие), Мономах посмел противостоять Константинополю, хотя по матери был греком... Он к молитве — в отличие от византийских догматиков — относился не как к бездумно затверженному постулату, он говорил, что это просто-напросто средство постоянно дисциплинировать волю. Он хотел добиться от подданных страсти к работе не монастырским узничеством, а разумной дисциплиной, через века смотрел Мономах, потому и проповедовал:

«Кто молвит: «Бога люблю, а брата своего не люблю», тот самого себя обличает во лжи... Паче же всего гордости не имейте в сердце и в уме... На войну вышед, не ленитеся, ни питью, ни еденью не предавайтесь и оружия не снимайте с себя... Лжи блюдися и пьянства, в то бо душа погибает и тело...» Отсюда ведь Муромец пошел, от южного моря и греческой преемственности, от доброты и ощущения силы, а благородный человек к своей мощи относится с осторожностью, боится обидеть того, кто слабее, оттого и простил поначалу своего грешного сына, поверил ему, как не поверить слову? А как мне было сказать Дагмар об этом? За годы работы здесь я приучил себя в беседе с другими жадно интересоваться тем, что знаю, что не интересно мне, и делать вид, что пропускаю мимо ушей то, что мне по-настоящему важно; чтобы работать, я обязан был стать актером, жить ожиданием реплики, которую нужно подать. Но только если актер заранее знает свою роль, успел выучить слова и запомнить мизансцены, то мне приходилось жить, словно в шальном варьете, экспромтом, где не прощают паузы, свистят и улюлюкают, гонят со сцены... Впрочем, в моем случае не свистят, а расстреливают в подвале. Потом, когда все кончится, я расскажу Дагмар про Мономаха — историю нельзя брать «с голоса», в нее надо погружаться, как в купель при крещении, ее надо пить, как воду в пустыне, ее надо чувствовать, как математик чувственно ощущает формулу — никакого чванства, горе и правда поровну, великое и позорное рядом, только факты, а уж потом трактовка... Я расскажу ей... Погоди, что ты ей расскажешь? Ты ничего не сможешь ей рассказать, потому что в кармане у тебя кусок острого металла, а за стеной сидят люди, которые любят смотреть, как другие корчатся, ты ведь становишься таким сильным, когда наблюдаешь мучения другого, ты помазан ужасом вседозволенности, ты...»

— Хайль Гитлер, группенфюрер! — услыхал Штирлиц высокий голос Ойгена и понял, что пришел Мюллер...

ПАУКИ В БАНКЕ — I

Генерал Бургдорф, представляющий глубинные интересы армейской разведки при ставке, улучив момент, когда Борман вышел от фюрера, обратился к адъютанту Йоханнмайеру с просьбой доложить Гитлеру, что он про-

сит уделить ему пять минут для срочного и крайне важного разговора.

Бургдорф знал, что телеграмму от Геринга первым получил не Гитлер. Телеграфисты сразу же — будто догадываясь, что она придет, словно бы предупрежденные заранее помощником рейхсляйтера Цандером, — отнесли ее именно ему; тот — через минуту — был у Бормана. Армейская разведка продолжала свою методичную, скрупулезную работу и здесь, в бункере, получив соответствующие указания генерала Гелена, перед тем как он «выехал» на юг, в горы, «готовить свои кадры» к работе «после победоносного завершения битвы на Одере».

Сопоставив эти, да и другие данные, сходившиеся в его кабинет, Бургдорф пришел к выводу, что именно Борман не позволяет Гитлеру выехать в Альпийский редут; именно Борман влияет на Геббельса, этого слепого фанатика, больного, ущербного человека, в том смысле, что только в Берлине возможно решить исход битвы, а Геббельс единственный человек среди бонз, который действительно верил и верит в безумную идею национального социализма, Борман этим пользуется, умело нажимает на клавиши, извлекая нужные ему звуки. Он в тени, как всегда в тени, а Геббельс заливается, рисует картины предстоящей победы, предрекает чудо, фюрер слушает завороженно, и на лице появляется удовлетворенная улыбка, он закрывает глаза, и лицо его становится прежним — волевым, рубленым.

Бургдорф искренне старался понять логику Бормана, старался, но не мог. Он знал тайное жизнелюбие этого человека, его физическое здоровье, крестьянскую, надежную ухватистость, отсутствие каких-либо комплексов, полную свободу от норм морали, тщательно скрываемую ото всех алчность. Все эти качества, собранные воедино, не позволяли опытному разведчику, аристократу по рождению, битому и тертому Бургдорфу, допустить возможность того, что Борман, так же как и Гитлер, решится на то, чтобы покончить с собою. При этом он понимал, что у Бормана неизмеримо больше возможностей для того, чтобы исчезнуть, нежели чем у него, боевого генерала. Он знал, что Борман оборудовал по крайней мере триста конспиративных квартир в Берлине, более семисот сорока по всей Германии, ему было известно — через одного из шифровальщиков ставки, — что существует некая сеть, проходящая пунктиром через Австрию, Италию, Испанию и замыкающаяся на Латинскую Америку. В этой сети ведущую роль играют люди из секретного

отдела НСДАП и ряд высших функционеров СС, завязанных на Мюллера; для кого же была создана эта цепь, если не для самого Бормана? Простая логика подсказывала и следующий вопрос: когда можно запустить эту цепь в работу? Лишь после того, как исчезнет Гитлер. Где это может случиться скорее всего? Здесь, в Берлине, ибо если Гитлера вывезти отсюда в Альпийский редут, совершенно неприступный для штурма, возвышающийся над всеми окружающими районами Южной Германии, оборудованный радиосвязью со всем миром, то битва может продлиться еще и месяц, и два, а отношения между союзниками, столь разнородными по своей сути, таковы, что всякое может случиться. И тогда предстоит капитуляция, но никак не безоговорочная, а с передачей функции власти на истинно германских землях армии, тем ее силам, которые уже сейчас готовы немедленно пустить англо-американцев в Берлин. Туда, к Альпийскому редуту, можно еще подтянуть отборные части вермахта; войск СС — кроме батальона охраны — нет и в помине, не зря армия просила Гитлера бросить на передовую наиболее преданные ему дивизии «Адольф Гитлер» и «Мертвая голова», не зря эта комбинация проводилась столь последовательно и терпеливо, подстраиваясь под рубленые акции Бормана. В Альпийском редуте Гитлер выполнит волю армии, или же армия предпримет свои шаги — то, что не удалось 20 июля сорок четвертого, когда бомба полковника Штауфенберга чудом не задела диктатора, сделают другие, им несть числа, только бы выманить Гитлера отсюда, только бы выйти из-под душной опеки Бормана и его гестаповских СС...

...Гитлер принял Бургдорфа сразу же, поинтересовался его здоровьем: «У вас отекшее лицо, может быть, попросить моих врачей проконсультировать вас?» — спросил про новости с фронтов, удовлетворенно выслушал ответ, что сражение продолжается с неведомой ранее силой и еще далеко не все потеряно, как считают некоторые, а потом генерал перешел к главному, к тому, что гарантировало ему, Бургдорфу, жизнь, в случае если он сейчас сможет переиграть Бормана, убедить Гитлера в своей правоте, а сделать это можно, лишь уповая на сухую логику и законы армейской субординации, которой Гитлер, как капрал первой мировой войны, был внутренне привержен.

— Мой фюрер, — сказал он, — подчеркнуто незаинтересованно в том, о чем докладывал, — мне только что

стала известна истинная причина, за что вы разжаловали рейхсмаршала. Я не вдаюсь в политическое существо дела, но меня не может не тревожить, что люфтваффе остались без главнокомандующего. В дни решающей битвы это наносит ущерб общему делу, ибо летчики не могут воевать, когда нет единой руки, когда нет более своего фюрера в небе. — Бургдорф знал, что, если он остановится хоть на миг, изменит стиль доклада, переторопит его или, наоборот, замедлит, Гитлер сразу же перебьет, и начнется словоизвержение, и придет Борман, который теперь фюрера не оставляет более чем на полчаса, а тогда его операция не пройдет. — Поэтому я прошу вас подписать указ о том, что главкомом люфтваффе вы назначаете нынешнего командующего шестым воздушным флотом в Мюнхене генерал-полковника Риттера фон Грейма.

— Где Борман? — спросил Гитлер беспомощно. — Давайте дождемся Бормана...

— Рейхсляйтер прилег отдохнуть, фюрер, — смело солгал Бургдорф. — Прошу вас — до тех пор пока вы не подпишете приказ, посоветовавшись с рейхсляйтером, — позволить мне радировать в Мюнхен фон Грейму, чтобы он немедленно вылетел в Берлин... Это такой ас, который сможет посадить самолет на улице, да и потом, мы еще держим в своих руках несколько летных полей на аэродромах... Я попрошу его пригласить с собою Ганну Рейч, — дожал Бургдорф, зная, что эта выдающаяся летчица, истинный мастер пилотажа, была слабостью Гитлера, он подчеркивал свое к ней расположение, повторяя: «Нация, родившая таких женщин, непобедима».

— Да, да, — согласился Гитлер устало, — пусть он прилетит для доклада... О назначении его главнокомандующим я сообщу ему здесь, сам, когда согласую этот вопрос с Борманом и Гиммлером...

Бургдорф вышел в радиооператорскую и отдал приказ Грейму и Ганне Рейч немедленно вылететь в Берлин.

Через двадцать минут об этом узнал Борман.

Через сорок семь минут в Мюнхен ушла его радиограмма, предписывавшая фон Грейму перед вылетом подготовить не только всю документацию о положении дел с люфтваффе, но и соображения по перестройке работы воздушного флота рейха. Зная м а ш и н у, Борман точно рассчитал удар, понимая, что на подготовку доклада уйдет не менее двух-трех дней. Тогда уже Грейм простонапросто не сможет посадить самолет в Берлине.

Заглянув после этого к Бургдорфу, он сказал:

— Генерал, я благодарю вас за прекрасное предложение, внесенное фюреру: лучшей кандидатуры, чем фон Грейм, я бы не мог назвать. Я попросил фон Грейма подготовить подробный доклад — новый главнокомандующий должен быть во всеоружии, — полагаю, что в ближайшие дни мы будем приветствовать нашего аса в кабинете фюрера...

— Но он же тогда не сможет приземлиться, — не выдержал Бургдорф. — Зачем этот спектакль, рейхсляйтер?

Борман тяжело улыбнулся:

— Вы устали, генерал. Выпейте рюмку айнциана; если хотите, я угощу вас своим — мне прислали ящик из Берхтесгадена, — и ложитесь спать, у вас есть время отдохнуть до начала совещания у фюрера...

Бургдорф запросил Мюнхен, когда доклад для фон Грейма будет закончен. Ответ пришел сразу же, словно бы подготовленный загодя:

— Работают все службы; видимо, в течение ближайших двух суток все будет напечатано на специальной машинке. К тому же Грейм неважно себя чувствует после недавнего ранения. Врачи делают все, что в их силах, дабы скорее поставить на ноги генерал-полковника.

Бургдорф посмотрел на часы: до начала конференции у Гитлера осталось пять минут; чувствуя невероятную тяжесть во всем теле, он прошел сквозь анфиладу комнат: повсюду за длинными столами сидели офицеры СС из личной охраны фюрера. Перед ними стояли бутылки бренди и шампанского.

Бургдорф спустился в приемную, завешанную работами старых итальянских мастеров; Борман как-то сказал, что это лишь стотысячная часть тех экспонатов, которые были вывезены из картинных галерей мира, твобы украсить «чудо XX века» — музей Адольфа Гитлера в Линце.

На фоне пупырчатых стен, крашенных тюремной, серой краской, лики старцев и пышнотелых красавиц смотрелись страшно, будто на м а л и н е скупщика краденого. Свет падал неровно, масло поэтому бликовало, казалось жухло-жирным. Были заметны трещины, мелкие, как морщинки на лицах старых женщин.

Адъютант Гюнше, встретивший Бургдорфа, сказал, что фюрер извиняется за опоздание, он заканчивает завтрак, попросил подождать пять минут.

Вошел Кребс, обменялся с Бургдорфом молчаливым рукопожатием.

— Над нами еще нет русских танков? — хмуро пошутил Бургдорф.

Кребс, лишенный чувства юмора, ответил:

— Такого рода данных пока не поступало...

...Гитлер пришел в сопровождении Бормана и Геббельса. Его сильно шатало, тряслась вся левая половина тела.

Обменявшись молчаливым рукопожатием с Кребсом и Бургдорфом, он пригласил всех в конференц-зал. Бургдорф обратил внимание на Геббельса: в глазах Хромого метался страх, лицо обтянуто пергаментной морщинистой кожей — словно маска.

Адъютант начальника штаба Болдт на вопрос Гитлера, чем хорошим он может порадовать собравшихся, ответил:

— Танки Рокоссовского продвинулись на пятьдесят километров восточнее Штеттина и развивают наступление по всему северному фронту, постепенно сваливаясь в направлении Берлина...

Гитлер обернулся к Кребсу и медленно отчеканил:

— Поскольку Одер — великолепный естественный барьер, весьма трудно преодолимый, успех русских армий против третьей танковой группировки свидетельствует о полнейшей некомпетентности немецких военачальников!

— Мой фюрер, — ответил Кребс, — танкам Рокоссовского противостоят старики фольксштурма, вооруженные винтовками...

— Пустое! — отрезал Гитлер. — Все это вздор и безделица! К завтрашнему вечеру связь Берлина с севером дожна быть восстановлена, кольцо русских пробито, фронт стабилизирован!

Бургдорф, вышедший на несколько минут в радиорубку, вернулся с сообщением, что все атаки генерала СС Штайнера, любимца Гитлера, выдвинутого к вершине могущества Гиммлером, захлебнулись.

— Эти кретины и тупицы СС не устраивают меня более! — Гитлера затрясло еще сильнее, он едва держался на ногах. — Я смещаю его!

Повернувшись, Гитлер медленно пошел к выходу из конференц-зала.

Глядя ему вслед, Бургдорф тихо заметил:

— А русская артиллерия, рейхсляйтер, как вы и предполагали, уже начала обстрел аэродрома Темпельхоф...

Я не убежден, что туда теперь может приземлиться даже самый маленький самолет.

Гитлер замер возле двери, медленно обернулся и неожиданно для всех отчеканил:

— Ганна Рейч посадит самолет даже в переулке!

ВОТ КАК УМЕЕТ РАБОТАТЬ ГЕСТАПО! — V

— Почему они молчат? — спросил Мюллер задумчиво. — Отчего бы вашему Центру не ответить в том смысле, что, мол, пообещайте ему, Мюллеру, неприкосновенность, а потом захомутайте и привезите в лубянский подвал? Или отрезать: «С гестапо никаких дел...» Но они молчат... Что вы думаете по этому поводу, Штирлиц?

— Я жду. Когда ждешь, трудно думается.

— Кстати, ваша настоящая фамилия?

— Штирлиц.

— Вы из тех немцев, которые родились и выросли в России?

— Скорее наоборот... Я из тех русских, которые выросли в Германии...

— У вас странная фамилия — Штирлиц.

— Вам знакома фамилия Фонвизин?

Мюллер нахмурился, лоб его собрался резкими морщинами; любое слово Штирлица он воспринимал настороженно, сразу же искал второй, глубинный смысл.

— Вильгельм фон Визин был обербургомистром в Нейштадте, если мне не изменяет память...

Штирлиц, вздохнув, снисходительно улыбнулся:

— Фонвизин был великим русским писателем... Разве фамилия определяет суть человека? Лучшими пейзажистами были Саврасов и Левитан... Где-то в энциклопедии так и написано: «Великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье...»

— А тот диктор, который читает по радио сталинские приказы армии, его родственник?

— Не знаю...

— Если бы наш псих дал приказание написать в энциклопедии, что «великий немецкий ученый Эйнштейн родился в бедной еврейской семье», мы бы сейчас имели в руках оружие «возмездия»...

— Одного психа вы бы уломали... Но их тут великое множество... Да и потом, они не могли без того, чтобы не изобрести врага... Не русский или еврей, так был бы зулус или таиландец... Вдолбили б в головы, что только

из-за зулусов в рейхе нет масла, а таиландцы повинны в массовой безработице... Доктор Геббельс великий изобретатель такого рода...

— Хотите меня распропагандировать, Штирлиц?

— Это — нет. Перевербовать — да.

— Не сходится. Упущено одно логическое звено. Вы ведь уже перевербовали меня, отправив шифровку в ваш Центр! Но они, видимо, не заинтересованы в таком агенте, как я. Альфред Розенберг не зря говорил, что главное уязвимое звено России сокрыто в том, что там напрочь отсутствует американский прагматизм... Марксисты, они... вы живете духовными формулами... Вам надо подружиться с Ватиканом — те ведь тоже считают, что дух определяет жизнь, а не наоборот, как утверждал... ваш бородатый учитель... Что вы станете делать с теми деньгами, которые русские перевели на ваши счета? Хотите написать завещание? Слово чести, я перешлю по назначению... Где, кстати, ваша Цаченька?

— Сашенька, — поправил его Штирлиц. — Это моя сестра...

— Зачем лжете? Или вы забыли свои слова? Вы же сказали Дагмар, что это та женщина, к которой вы были привязаны всю жизнь...

— Как, кстати, Дагмар?

— Хорошо. Она честно работает на меня. Очень талантливый агент.

— Она вам отдала мою явку в Швеции?

— Конечно.

Мюллер неумело закурил, посмотрел на часы:

— Штирлиц, я дал вам фору. Время прошло. Я трижды звонил сюда, пока был в бункере. Я очень ждал. Но теперь — все. Мои резервы исчерпаны...

— Бисмарк говорил, что русские долго запрягают, но быстро ездят. Подождем, может, еще чуток?

— Тогда — пишите! Я готов ждать, пока возможно! Но пишите же! Обо всем пишите, с самого начала! Все явки, пароли, номера ваших счетов, схемы связи, имена руководителей... Я должен на вашем примере готовить кадры моих будущих сотрудников! Поймите же меня! Вы — уникальны, вы представляете интерес для всех...

— Не буду. Я просто-напросто не смогу, господин Мюллер...

— Ну что ж... Я сделал для вас, что мог... Придется помочь вам.

Он поднялся, подошел к двери, распахнул ее. В ком-

нату вошли Ойген, Вилли и Курт; Мюллер вздохнул:

— Вяжите его, ребята, и затолкайте кляп в рот, чтоб не было слышно вопля...

Штирлиц закрыл глаза, чтобы Мюллер не увидел слезы.

Но он почувствовал, как слезы полились по щекам, соленые и быстрые. Он ощутил их морской вкус. Перед глазами было прекрасное лицо Сашеньки, когда она стояла на пирсе Владивостокского порта и ее толкали со всех сторон, а она держала в руках свою маленькую меховую муфточку, и это было так беззащитно, и сердце его разрывалось тогда от любви и тоски, и сколько бы — за прошедшие с той поры двадцать три года — жизнь ни сводила его с другими женщинами, он всегда, проснувшись утром, как сладостное возмездие, видел перед собою лишь ее, Сашенькино лицо. Наверное, так у каждого мужчины. В его сердце хранится лишь память о первой любви, с нею он живет, с нею и умирает, кляня тот день, когда расстался с тою, что стояла на пирсе, и по щекам ее бежали быстрые слезы, но она улыбалась, потому что знала, как ты не любишь плачущих женщин, ты только раз, невзначай, сказал ей об этом, но ведь любящие запоминают все, каждую мелочь, если только они любящие...

...А потом вошел доктор, деловито раскрыл саквояж, достал шприц, сломал ампулу, которую вынул из металлической коробочки (на ней были выведены черной краской свастика и символы СС), набрал полный шприц, грубо воткнул его в вену Штирлица, не протерев даже кожу спиртом.

— Заражения не будет? — поинтересовался Мюллер, жадно наблюдая за тем, как бурая жидкость входила в тело.

— Нет. Шприц стерилен, а у него, — доктор кивнул на Штирлица, — кожа чистая, пахнет апельсиновым мылом...

Выдернув шприц, он не стал прижигать ранку, быстро убрал все свои причиндалы и, защелкнув саквояж, вопросительно посмотрел на Мюллера.

— Вы еще можете понадобиться, — сказал тот. — Мы имеем дело с особым экспонатом. Одна инъекция может оказаться недостаточной...

— Ему хватит, — сказал врач, и Штирлиц поразился тому, как было спокойно лицо л е к а р я, как он благообразен, с высокими залысинами, большими, теплыми руками, как обыкновенны его глаза, как он тщательно вы-

брит, наверное, у него есть дети, а может быть, даже и внуки. Как же такое совмещается в человеке, в людях, в мире?! Как можно днем делать зло — ужасное и противоестественное, — а вечером учить детей уважать старших, беречь маму...

«Они будут спрашивать тебя, Максим, — сказал себе Штирлиц, ощущая, как по телу медленно разливается что-то жгучее, словно в кровь ввели японский бальзам, которым лечат радикулит. Сначала тепло, а потом, после длительного втирания, наступает расслабленная умиротворенность, боль уходит, и ты ощущаешь блаженство, и тебе хочется, чтобы рядом с постелью сидел старый друг и говорил о сущих пустяках, а еще лучше бы вспоминал тех, кто тебе дорог, и в комнате бы ощущался запах жженых кофейных зерен и ванильного теста, которое так прекрасно готовил в Шанхае Лю Сан. — Они будут задавать вопросы, и ты ничего не сможешь сделать, ты будешь отвечать им... Хотя что тебе говорил Ойген про наркотики, которые пробовал на них Скорцени? Ты отвечай им не торопясь, вспоминай про Москву, ты же помнишь свой город, ты его очень хорошо помнишь, он живет в твоем сердце, как Сашенька и как сын, вспоминай, как ты впервые встретил свою любимую во Владивостоке, в ресторане «Версаль», и как к столику ее отца подошел начальник контрразведки Гиацинтов, и как ты познакомился с Николаем Ивановичем Ванюшиным, ты отвечай им про то, что тебе приятно вспомнить, слышишь, Максим? Пожалуйста, постарайся не торопиться, ты вообще-то страшный торопыга, тебе так многого стоило научиться сдерживать себя, держать в кулаке, постоянно понуждая к медленности... Ах, как звенит в голове, какой ужасный, тяжелый звон, будто бьют по вискам...»

...Мюллер склонился над Штирлицем, близко заглянул ему в глаза, увидал расширившиеся зрачки, пот на лбу, над губой, на висках, тихо сказал:

— Я и сейчас сделал все, чтобы облегчить твои страдания, дружище. Ты мой брат-враг, понимаешь? Я восхищаюсь тобою, но я ничего не могу поделать, я профессионал, как и ты, поэтому прости меня и начинай отвечать. Ты слышишь меня? Ну, ответь мне? Ты слышишь?

— Да, — сказал Штирлиц, мучительно сдерживая желание ответить открыто, быстро, искренне. — Я слышу. Ты говоришь со мной так, как Вышинский — с моими друзьями, когда их судили в тридцать седьмом, в Москве...

— Да? Как интересно, но об этом — потом... Сна-

чала скажи: как зовут твоего шефа? На кого он выходит в Москве? Кто твои родители? Где они? Кто такая Цаченька? Ты ведь хочешь мне рассказать об этом все, не так ли?

— Да, — ответил Штирлиц. — Хочу... Мой папа был очень высокий... Худой и красивый, — сдерживая себя, цепляя в себе слова, начал Штирлиц, понимая где-то в самой глубине души, что он не имеет права говорить ни слова.

«Ну не спеши, — моляще сказал он себе и вдруг понял, что самое страшное позади, он может думать, несмотря на то что в нем живет желание говорить, постоянно говорить, делиться своей радостью, ибо память о прекрасном — высшая радость, отпущенная человеку. — Ты ведь все понимаешь, Максим, ты отдаешь себе отчет в том, что он очень ждет, как ты ему все расскажешь, а тебе хочется все ему рассказать, но при этом ты пока еще понимаешь, что делать этого нельзя... Все не так страшно, — подумал он, — человек сильнее медицины, если бы она была сильнее нас, тогда бы никто никогда не умирал».

— Ну, — поторопил его Мюллер. — Я жду...

— Папа меня очень любил... Потому что я у него был единственный... У него была родинка на щеке... На левой... И красивая седая шевелюра... Мы с ним часто ездили гулять... В Узкое... Это маленькая деревня под Москвою... Там стояли ворота, построенные Паоло Трубецким... В них опускалось солнце... Все... Целиком... Только надо уметь ждать, пока оно опустится... Там есть такая точка, с которой это хорошо видно, сам Паоло Трубецкой показал это место папе...

— Как фамилия папы? — нетерпеливо спросил Мюллер, вопрощающе посмотрев на врача.

Тот взял руку Штирлица, нашел пульс, пожал плечами и, снова открыв свой саквояж, вынул шприц, наполнил его второй дозой черной жидкости, вколол в вену, сказав Мюллеру:

— Сейчас он будет говорить быстрей. Только вы слишком мягко ставите вопросы, спрашивайте требовательнее, резче.

— Как фамилия отца? — спросил Мюллер, приблизившись к Штирлицу чуть ли не вплотную. — Отвечай, я жду.

— Мне больно, — сказал Штирлиц. — Я хочу спать.

Он закрыл глаза, сказав себе: «Ну, пожалуйста, Максим, сдержись; это будет так стыдно, если ты нач-

нешь торопиться, ты ведь знаешь, кто стоит над тобою, у тебя раскалывается голова, наверное, они вкатили тебе слишком большую дозу — используй это. А как я могу это использовать, — возразил он себе, — этого нельзя делать, потому что я обязан ответить на все вопросы, ведь меня спрашивают, человек интересуется, он хочет, чтобы я рассказал ему про папу, что ж в этом плохого?!»

Мюллер взял Штирлица за подбородок, откинул его голову, крикнул:

— Сколько можно ждать, Штирлиц?!

«Вот видишь, — сказал себе Штирлиц, — как торопится этот человек, а ты заставляешь его ждать. Но ведь это Мюллер! Ну и что, — удивился он. — Мюллеру интересно знать про твоего папу, у него тоже был папа, он и про себя говорит «папа-Мюллер». Погоди, — услышал он далекий голос, дошедший до него из глубины его сознания, — он ведь еще про себя говорит «гестапо-Мюллер». А ты хорошо знаешь, что такое гестапо, Максим? Конечно, знаю: это государственная тайная полиция рейха, во главе ее стоит Мюллер, вот он надо мною, и его лицо сводит тиком, бедненький папа-Мюллер, ты очень плохо ведешь себя, Максим, он ведь ждет...»

— Папа меня любил, он никогда не кричал на меня, — сонно ответил Штирлиц. — А вы кричите, и это нехорошо...

Мюллер обернулся к доктору:

— Этот препарат на него не действует! Уколите ему чего-нибудь еще!

— Тогда возможна кома, группенфюрер...

— Так какого же черта вы обещали мне, что он заговорит?!

— Позвольте, я задам ему вопросы?

— Задайте. И поскорее, у меня истекает время!

Доктор склонился над Штирлицем, взял его за уши похолодевшими, хотя толстыми, казалось бы, добрыми пальцами отца и деда, больно вывернул мочки и начал говорить, вбивая вопрос в лоб:

— Имя? Имя? Имя?!

— Мое? — Штирлиц почувствовал к себе жалость, оттого что боль в мочках была унизительной, его никто никогда не таскал за уши, это только Фрица Маклен-баха — они жили на одной лестничной клетке в Цюрихе, в девятьсот семнадцатом, перед тем как папа уехал следом за Лениным в Россию, — драл за уши стар-

ший брат, кажется, его звали Вильгельм, ну, вспоминай, как звали старшего брата, у него еще был велосипед, и все мальчишки завидовали ему, а он никому не давал кататься; и маленький Платтен даже плакал, так он мечтал прокатиться на никелированном большеколесном чуде со звонком, который был укреплен на руле... — Мне больно, — повторил Штирлиц, когда доктор еще круче вывернул ему мочки. — Это некорректно, я уже старый, зачем вы дерете меня за уши?

— Имя?! — крикнул доктор.

— Он знает, — Штирлиц кивнул на Мюллера. — Он про меня все знает, он такой умный, я его даже жалею, у него много горя в сердце...

Мюллер нервно закурил. Пальцы его чуть дрожали. Повернувшись к Ойгену, он сказал:

— Выйдите со мною...

В соседней комнате было пусто; диван, книжные шкафы, горка с хрусталем; много бутылок, даже одна португальская — «вино верди»; такое долго нельзя хранить. Наверное, подарили лиссабонские дипломаты, хотя вряд ли — все уже давно уехали. Как же она сюда попала?

— Ойген, — сказал Мюллер, — все идет прекрасно. Я надеюсь, вы понимаете, что мне в высшей мере наплевать на то, как звали его папу и маму, а равно любимую женщину...

— Тогда зачем же все это? — удивился Ойген.

— Затем, что он мне нужен совершенно в ином качестве. Доктор, уколы, допрос — это продолжение игры. И если вы проведете ее до конца, я отблагодарю вас так, что ваши внуки будут вспоминать вас самым добрым словом... Что вам более дорого: Рыцарский крест или двадцать пять тысяч долларов? Ну, отвечайте правду, глядите мне в глаза!

— Группенфюрер, я даже не знаю, что сказать...

— Слава Богу, что не запели про крест... Значит, умный. Вот. — Он достал из кармана толстую пачку долларов. — Это десять тысяч. Остальные пятнадцать вы получите на моей конспиративной квартире по Бисмаркштрассе, семь, апартамент два, когда придете ко мне и скажете, что операция завершена. А суть ее сводится к следующему, Ойген... О ней знают два человека: вы и я... Нет, еще об этом догадывается третий, рейхсляйтер Борман... Значит, я посвящаю вас в высший секрет рейха, разглашение его карается гибелью всех ваших родных, а я знаю, как вы любите своих дочек Марию

и Марту, поэтому именно вас я избрал для завершения этой моей коронной операции... Пусть доктор его поспрашивает еще с полчаса, не мешайте ему, может стараться, как хочет, но колоть больше не давайте. Потом, когда Штирлиц потеряет сознание, перенесете его сюда, уложите на диван, руки возьмете в наручники, ноги скрутите проволокой. Пусть спит, потом поместите в соседней комнате фрейлейн Зиверт с Грубером. Он должен постоянно и торопливо диктовать ей тот материал, который я уже передал ему: это совершенно секретные данные, содержащие компрометирующую документацию на французов, близких к их новому правительству. Проследите за тем, чтобы в тот момент, когда вы станете водить Штирлица в туалет — вы навяжете ему свое время, четыре раза в день, — штурмбанфюрер Гешке громко и нервно наговаривал фрау Лотер такого же рода материалы на русских военачальников... Позвольте Штирлицу зафиксировать, в какой именно комнате работает Гешке, понятно? Доктор придет сюда еще раз, видимо завтра, но все зависит от того, как крепко мы будем удерживать красных... Пусть он спрашивает Штирлица про имя, явки и прочее, список вопросов я вам подготовил; изображайте ярость, торопите его, можете бить, но так, чтобы он потом мог двигаться, берегите его ноги, руки, почки и легкие. Лицо я вам отдаю в полное распоряжение, чем больше вы его искалечите, тем лучше; только берегите глаза, спаси Бог, он ослепнет или глаза затекут так, что он будет плохо видеть... По радиосвязи я буду вам постоянно сообщать, как обстоят дела с продвижением русских... Когда я скажу, что они уже недалеко, играйте панику, звоните в пустую трубку, требуйте ответа, что делать со Штирлицем, объясняйте вашему отсутствующему собеседнику, что русские танки в километре отсюда, просите санкцию на то, чтобы расстрелять его, или же требуйте присылку штурмовиков, чтобы его забрали в безопасное место... А потом к вам придет мой человек, он скажет пароль: «Я принес посылку от доктора Рудольфа, распишитесь». Он передаст саквояж, в нем мина с радиомеханизмом... Вы занесете саквояж в комнату, где работают Гешке и фрау Лотер, сядете к столу и напишете им на бумаге: «Через пять минут вам необходимо тихо покинуть помещение, спуститься вниз и уходить на запасные квартиры». То же вы напишете фрейлейн Зиверс и Груберу. Вы не будете захлопывать дверь квартиры, выйдете на цыпочках. Мой человек отдаст приказ радиомине. Квартира взорвется.

Но перед тем как она взорвется, вы снимете со Штирлица наручники и запрете его в туалете. Ясно? Он должен сидеть в туалете — взрывная волна его не заденет, только оглушит... Утром, перед тем как вести Штирлица в туалет, проследите, чтобы дверь комнаты, где работает Гешке, не была закрыта, пусть он увидит открытый сейф, чемоданчики с документами, пишущую машинку, пусть услышит текст... Конечная цель задания понятна?

— Нет, группенфюрер.

— Со временем поймете. Когда вы прибудете ко мне на Бисмаркштрассе, я объясню вам ее сокровенную суть. Вы успели вывезти семью из Берлина?

— Нет, группенфюрер.

— Попрощайтесь с ними по телефону, я прикажу эвакуировать их немедленно.

— Спасибо, группенфюрер!

— Да полно вам, дружище, — обычная товарищеская забота друг о друге, стоит ли это благодарности...

ПАУКИ В БАНКЕ — II

Кребс заканчивал доклад, когда в конференц-зале появился Лоренц, шеф пресс-офиса ставки; радиостанция министерства пропаганды перехватила сообщение из Швеции: американцы вышли к Торгау, на Эльбе, захватив, таким образом, значительную территорию, которая — согласно Ялтинской декларации — должна находиться под контролем русских.

Гитлер не дослушал даже сообщения о том, что произошла торжественная встреча солдат двух армий; он жил собою лишь, своими представлениями, своей, раз и навсегда придуманной схемой.

— Вот вам новый пример того, что провидение на нашей стороне! Это начало драки между русскими и англо-американцами! Господа, немецкий народ назовет меня преступником, и правильно сделает, если я сегодня соглашусь на мир, в то время как завтра коалиция врагов развалится! Разве вы не видите реальной возможности для того, чтобы завтра, сегодня, через час началась яростная схватка между большевиками и англосаксами здесь, на земле Германии?!

Артур Аксман, новый фюрер «гитлерюгенда», приглашенный на конференцию, — он теперь оставил свою штабквартиру на Адольф Гитлер Платц и разместился с полевым штабом на Вильгельмштрассе, защищая от красных

ближние подступы к рейхсканцелярии, — сделал шаг вперед и, влюбленно сияя круглыми глазами, потянулся к Гитлеру:

— Мой фюрер, героическая молодежь столицы предана вам, как никогда! Ни один русский не прорвется к рейхсканцелярии! Мы будем стоять насмерть до того момента, пока большевики не передерутся с англосаксами! В случае если вы решите перенести свою ставку в Альпийский редут, я гарантирую, что мои парни обеспечат прорыв: они готовы погибнуть, но спасти вас!

Гитлер мягко улыбнулся Аксману и несколько обеспокоенно поглядел на Бормана. Тот сухо заметил:

— Фюрер не сомневается в преданности «гитлерюгенда», Аксман, но пусть мальчики все-таки живут, а не погибают, в этом их долг перед нацией: победить, оставшись живыми!

Гитлер кивнул, подавив вздох...

...На следующей конференции измученный Кребс устало докладывал обстановку по всем секторам обороны столицы. Он монотонно перечислял названия улиц, где шли бои, и называл номера домов, которые защищались особенно упорно.

— Я хочу, мой фюрер, — закончил Кребс,—чтобы вы наконец выслушали коменданта Берлина генерала Вейдлинга; я не считаю себя вправе отказывать ему более.

Вейдлинг, нервно покашливая, не глядя на Бормана и Геббельса, словно бы уцепившись взглядом за лицо Аксмана, сказал:

— Фюрер, битва за Берлин окончена. Судьба столицы предрешена. Я беру на себя персональную ответственность вывести вас из кольца невредимым, чтобы вы могли продолжать руководство нацией в ее борьбе против врага из Альпийского редута! Надежды на прорыв армии Венка тщетны, фюрер.

В блеклых, отсутствующих глазах Гитлера не было ничего, кроме апатии.

— Битва за Берлин войдет в историю цивилизации как поворотный момент борьбы, как чудо, как спасение свыше, — тихо сказал он. — Это все, генерал, благодарю вас.

...Ночью Борман пригласил к себе нового врача Гитлера, угостил кофе; положив ему руку на колено, спросил:

— Скажите мне, старина, вы верите, что мы выиграем битву за Берлин? Не бойтесь говорить правду, я ее жду.

— Рейхсляйтер, — ответил доктор, — когда тебя приучили говорить то, что считается правдой, пусть даже это самая настоящая ложь, в один день себя не переделаешь...

— По-моему, вы относились к той элитарной группе нашего содружества, где всегда говорили правду друг другу...

Врач покачал головой:

— Вы же прекрасно знаете, что мы говорили друг другу лишь ту правду, которая нравилась фюреру... А правда — это такая данность, которая угодна лишь одной субстанции: правде... Мы всегда были лгунами, рейхсляйтер... Нет, я не верю, что Берлин выстоит...

— И я не верю, — устало согласился Борман. — И меня сейчас более всего заботит судьба несчастных берлинцев... Но помочь им по-настоящему сможет только один человек, и зовут этого человека вашим именем.

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду следующее, — закрыв глаза ладонью, устало продолжил Борман. — Лишь вы знаете, какой укол сделать фюреру, чтобы его воля, разум оказались бы подверженными влиянию другой воли, моей в частности...

— Я давал клятву Гиппократа, рейхсляйтер...

Борман кончил тереть веки, вздохнул:

— Да будет вам, право... Сейчас-то ведь вас никто не заставляет лгать... А все равно лжете... На кого потом станете сваливать? Не на Гитлера же... И не на меня... Ни он, ни я — в данный конкретный момент — вас ко лжи не принуждали. Надо сделать так, чтобы фюрер стал легко внушаемым, доктор... Сделав так, вы исполните свой долг перед несчастными немцами...

Разговор был трудным, ватным, но в конце концов доктор пообещал усилить успокаивающий элемент в инъекциях. Большего Борман не добивался, хватит и этого.

В бункере ему теперь было плохо: стены давили, тишина оглушала, и он почти ощущал свою обреченность.

Зашел к помощнику Цандеру, сказал, что, видимо, через пару дней надо будет готовить бригаду прорыва для ухода на юг, в Альпы (и ему не открывал правды, обрекая на гибель, только Мюллер знал все). Вышел

в зал, где за длинным столом сидели Бургдорф и Кребс. Перед каждым стоял прибор, две бутылки вермута были раскупорены, Кребс пил мало — язвенник, но Бургдорф пил вовсю — было видно, что хотел опьянеть, но не мог.

Борман присел рядом. Слуга тут же принес ему прибор, бутылку айнциана — здесь все знали вкусы рейхсляйтера, Молча выпив, Борман пожелал генералам приятного аппетита.

Бургдорф фыркнул:

— Очень любезно с вашей стороны...

— Вы чем-то расстроены? — осведомился Борман учтиво.

— О, я расстроен многим, господин Борман! Я расстроен всем — так будет вернее! И особенно расстроен с тех пор, как, сев в мое штабное кресло, я делал все, чтобы сблизить армию и партию! Друзья стали называть меня предателем офицерского сословия, но я верил — искренне верил, — что мои усилия угодны высшим интересам немцев! А теперь я вижу, что мои старания были не просто напрасны — они были глупы и наивны!

Кребс положил ладонь на руку Бургдорфа, но тот стряхнул ее рассерженно.

— Оставьте меня, Ганс! — воскликнул он. — Человек обязан хоть раз в жизни сказать то, что у него наболело! Через сутки будет уже поздно! А у меня наболело, ох как наболело! Наши молодые офицеры шли на войну, полные веры в торжество дела! И что же? Сотни тысяч погибли. А за что? За родину? Будущее? За величие Германии?! Нет, вздор! Они погибли для того, чтобы вы, господин Борман, жили в роскоши и барстве! В такой роскоши, которая не снилась даже кайзерам! В таком барстве, которому могли бы позавидовать феодалы — полная бесконтрольность, пренебрежение интересами нации, душное самообогащение. Миллионы пали на полях сражений во имя того, чтобы вы, фюреры партии, набили свои карманы золотом, спекулируя разговорами о духовном здоровье нации! Вы понастроили себе замков, набили их ворованными картинами и скульптурами, паразитируя на горе немцев! Вы разрушили культуру Германии, вы разложили немецкий народ, из-за вас он проржавел изнутри! Для вас существовала только одна мораль: жить лучше всех, властвовать над всеми, давить всех и стращать! И эта ваша вина перед нацией не может быть искупима ничем, рейхсляйтер! Ничем и никогда!

Борман странно улыбнулся, поднял рюмку·

— Ваш спич носил слишком общий характер... Если кое-кто из моих друзей и мечтал о том, чтобы побыстрее разбогатеть, то меня-то вы в этом не можете обвинять!

— А ваши поместья в Мекленбурге?! — не унимался Бургдорф. — А леса и поля, купленные вами в Верхней Баварии? А замок на озере Чимзее?! Откуда все это у вас?!

— А я и не знал, что армия тоже следит за нами, — снова усмехнулся Борман и, допив айнциан, поднялся из-за стола, заключив: — Желаю вам славно отдохнуть, друзья, день будет хлопотным, всего лучшего...

...Когда в осажденный Берлин прилетел самолет фон Грейма и Ганны Рейч, когда летчица чудом посадила его на краю летного поля, удерживаемого отрядами «гитлерюгенда» и черными СС, Борман не испугался. Инъекции доктора сделали свое дело: Гитлер стал абсолютно безвольным, флегматичным, и даже во время беседы с Ганной Рейч, к которой он был обычно неравнодушен, глаза его были сонными, хотя на лице и сохранилась улыбка, словно бы положенная умелым гримером.

Борман трижды подходил к разговору о политическом завещании, но Гитлер, казалось, не понимал слов рейхсляйтера или же пропускал их мимо ушей.

И только перед спектаклем бракосочетания Гитлера с Евой Браун, который был поставлен Геббельсом по подсказке Бормана, фюрер молча протянул рейхсляйтеру листки бумаги:

— Если у вас есть какие-либо соображения, можете предложить коррективы.

Борман извинился, попросил разрешения сесть, начал изучать «политическое завещание вождя немецкой нации».

— Фюрер, — сказал он, подняв глаза, в которых (он легко заставил себя сыграть) появились слезы, — этот документ переживет века... Но тут нет списка нового кабинета... Я полагал бы необходимым здесь же назвать тех, кому вы безраздельно доверяете... Только тогда политическое завещание станет действенным оружием в продолжении нашей великой борьбы...

— А я считаю разумным не включать новый кабинет рейха в завещание, — ответил Гитлер. — Это, мне кажется, будет мельчить идею.

— О нет, мой фюрер! Как раз наоборот! — жарко возразил Борман. — Это покажет то, что вы продолжаете руководить битвой! Прагматизм в данном случае

будет выявлением спокойного величия вашего духа...

— Хорошо, — устало согласился Гитлер, — вписывайте, кого считаете нужным, я скажу фрейлейн Гертруде Юнге, чтобы она перепечатала все начисто... Но я не отвергаю возможности вылета с Греймом и Ганной Рейч в Альпийский редут, Борман... Я все время думаю об этом: все-таки живым я с м о г у больше, не находите?

Борман не смог поднять глаза, они бы его выдали: такая в них сейчас была ненависть к этому трясущемуся полутрупу, алчно и трусливо цеплявшемуся за жизнь...

— Мюллер, — сказал рейхсляйтер, пригласив к себе группенфюрера, — вы должны сделать так, чтобы сегодня же по шведскому и швейцарскому радио открытым текстом было передано сообщение о переговорах Гиммлера с Бернадотом и о предложении рейхсфюрера открыть западный фронт англо-американцам. Сможете?

— Нет, — ответил Мюллер. — Это надо было делать неделю назад, когда они болтали в Любеке с Бернадотом, сейчас начался хаос, рейхсляйтер...

— Где этот самый... Штирлиц?

Мюллер поднял глаза на Бормана — ничего не смог прочесть на его непроницаемом лице. Помедлив, ответил:

— Выполняет мое задание.

— Какое?

— С его помощью я намерен заложить большой фугас под Кремль.

Борман удивился:

— Намерены перебросить его в русский тыл?

— Да, — ответил Мюллер. — Только фугас у меня бумажный, пострашнее любого динамита.

— Поручить бы ему шведов...

— Он тоже ничего не сможет... Не обольщайтесь...

— Меня не устраивает такой ответ. Да и вас самого он тоже не может устроить. Мы начинаем опаздывать.

— Мы опоздали, рейхсляйтер, — ответил Мюллер. — Надо немедленно уходить... Вы здесь ничего с ним не добьетесь...

И Борман — пожалуй что впервые в жизни — ответил прямо, без утайки и постоянной, изматывающей душу перестраховки:

— Добьюсь, потому что я знаю его, Мюллер. Я добьюсь, если вы сделаете то, о чем я вас прошу.

— Красные не станут вступать с вами в переговоры, рейхсляйтер...

— Вы заблуждаетесь. Помощник Цандер сделал анализ русской прессы: они подвергали остракизму всех руководителей рейха, кроме меня. Понимаете? Я всегда был в тени, я шел следом, я был лишен того удушающего чувства сиюминутного лидерства, которое отличало Гиммлера и Геринга. Я шел в тени, и я поднялся к вершине. Сообщение об измене Геринга уже известно Москве. Новость о предложении Гиммлера союзникам стала известна Сталину. Сейчас об этом узнает Гитлер. Англо-американцы неумолимо катятся на восток. Сталин завяз в Берлине. Соглашение о зонах оккупации нарушено. Почему бы Сталину не позволить мне повернуть немцев на запад? Заманчиво, Мюллер, очень заманчиво!

Мюллер покачал головой, вздохнул:

— Я, пожалуй, смогу сделать так, что одна из моих радиостанций засадит в открытый эфир — по-шведски, отчего нет? — сообщение о предложении Гиммлера. Важно, чтобы наши радиооператоры в министерстве пропаганды вовремя подхватили это сообщение: мои передатчики не так сильны, как ваши.

— Зачем нужна радиостанция Геббельса? У нас здесь самый мощный радиоцентр...

— Пусть известие придет со стороны, такому больше веры, неужели не ясно? — вздохнул Мюллер. — Высшая сладость сплетни в том и состоит, что она приходит от чужих...

...Прочитав перехваченное сообщение «шведского радио» о предложении Гиммлера, которое принес Геббельс, Гитлер побелел, губа отвисла, он тонко закричал:

— Но это же верх бесстыдства! Он грязный изменник, он свинья! Я мог ждать удара в спину от генералов, но Гиммлер! Где Фегеляйн?! Доставить его сюда! Пусть он расскажет мне об измене Гиммлера, глядя в глаза! Он его посланник при ставке! Он скрывал от меня правду, этот мерзкий сластолюбец, женившийся на несчастной сестре фрейлейн Браун, чтобы приблизиться ко мне! Доставьте его немедленно!

Фегеляйна нашли на одной из конспиративных квартир. Он готовился к бегству на север. В бункер его приводить не стали, по рекомендации Бормана обергруппенфюрер был расстрелян в саду рейхсканцелярии.

Через полчаса после казни родственника Гитлер приказал фон Грейму и Ганне Рейч немедленно вылететь

из Берлина в Шлезвиг-Гольштейн, найти там Гиммлера, арестовать его и расстрелять без суда и следствия.

После этого Борман отправился в радиоцентр и послал шифровку гросс-адмиралу Деницу, в которой открыто обвинил верховное командование вермахта в измене: единственная реальная сила в Германии — штаб армии, он должен теперь быть изолирован и окончательно задавлен страхом — никаких переговоров, никто не смеет говорить о мире, кроме него, Бормана; генералам уже известно об аресте Геринга; сейчас им станет известно о приказе фюрера — уничтожить изменника Гиммлера. Страх действует парализующе. Лучше всего вдавить ужас, сделав известной расправу над самыми могущественными людьми рейха, тогда в генералах еще больше проявится их собственная малость...

...Ночью фюрер вяло продиктовал свое завещание, перед этим дважды переписанное Борманом. В конце, после перечисления фамилий новых министров, он послушно добавил несколько строк, продиктованных ему рейхсляйтером в последнюю минуту.

«Прошло более тридцати лет с тех пор, как в 1914 году я стал добровольцем, чтобы защитить рейх от нападения.

Все эти три десятилетия я был полон любви к моей нации. Только эта любовь двигала всеми моими поступками, мыслями, всей моей жизнью, наконец... Эти три десятилетия любви к нации и работа на ее благо потребовали отдачи всех моих сил, всего здоровья...

...Это ложь, будто кто-либо в Германии 1939 года хотел войны.

Войну спровоцировали интернационалисты еврейской национальности или те, кто им служит.

Я сделал слишком много для того, чтобы провести в жизнь ограничение вооружений и контроль над ним. Именно поэтому и были предприняты попытки возложить на меня ответственность за войну. С тех пор как я был добровольцем на полях мировой битвы, я никогда не хотел новой войны — ни против Англии, ни против Америки. Пройдут годы, но сквозь руины наших городов и памятников произрастет правда о всех тех, кто совершил это злодейство: и это будет правда о международном еврействе и его слугах.

Всего лишь за три дня перед началом германо-польской войны я внес предложение о мирном ре-

шении проблемы. Мой план был изложен английскому послу в Берлине: международный контроль наподобие того, какой был учрежден в Саарской области. Мой план был отвергнут без обсуждения, потому что правящая клика Англии хотела войны, частично по соображениям коммерции, частично под влиянием пропаганды, находившейся в руках международного еврейства.

Полная ответственность за трагедию европейских народов, переживших ужасы нынешней войны во имя выгод финансового капитала, лежит целиком и полностью на евреях. Я же сделал все, что мог, чтобы миллионы детей Европы арийского происхождения не голодали, миллионы мужчин не гибли на полях битв, сотни тысяч женщин и младенцев не подвергались насилиям и бомбардировкам.

После шести лет войны, которая, несмотря на все отступления, в один прекрасный день будет признана самой героической борьбой нации за свое существование, я не могу оставить город, который является столицей рейха. Поскольку наши войска слишком робки, чтобы отразить атаки врага, поскольку сопротивление было поручено организовать тем, у кого нет должного характера, я решил разделить мою судьбу с судьбой тех миллионов, которые решили защищать город.

Я ни в коем случае не отдам себя в руки врагов, которые наверняка приготовили новый спектакль, по сценарию евреев, чтобы порадовать массы, впавшие в состояние истерии.

Я уйду из жизни добровольно в том случае, если пойму, что положение фюрера и рейхсканцелярии безнадежно. Я умру с легким сердцем, потому что знаю, как многого добились наши крестьяне и рабочие, я умру с легким сердцем, ибо вижу совершенно уникальную преданность моему делу нашей молодежи. Я бесконечно благодарен им и завещаю им продолжать борьбу, следуя идеалам великого Клаузевица. Гибель на полях битв приведет в будущем к великолепному возрождению идеалов национал-социализма на базе единства нашей нации.

Множество мужчин и женщин решили связать свои жизни с моею. Я благодарю их за это, однако приказываю им не разделять моей судьбы, но про-

должать битву на фронтах. Я приказал командующим армиями, флотом и авиацией крепить в войсках дух национал-социализма, объясняя солдатам, что я — фюрер и создатель движения — предпочел смерть капитуляции...

Перед смертью я исключаю из партии бывшего рейхсмаршала Германа Геринга, я отнимаю у него все те права, которые были ему пожалованы декретом 29 июня 1941 года и решением рейхстага от 1 сентября 1939 года. На его место я назначаю адмирала Деница — в качестве президента рейха и главнокомандующего вооруженными силами.

Перед моей смертью я исключаю из партии и снимаю со всех занимаемых должностей бывшего рейхсфюрера СС и министра внутренних дел Генриха Гиммлера. На его место — в качестве рейхсфюрера СС — я назначаю гауляйтера Карла Ханке, а министром внутренних дел я назначаю гауляйтера Пауля Гислера.

Помимо акта нелояльности по отношению ко мне Геринг и Гиммлер бросили пятно невыразимого позора, начав секретные переговоры с врагом, не поставив меня об этом в известность, против моей воли. И наконец, в их поступках видно желание узурпировать власть в рейхе.

Желая дать Германии правительство, составленное из наиболее благородных людей, я, как фюрер нации, называю членов нового кабинета:

Президент рейха — адмирал Дениц.

Канцлер — доктор Геббельс.

Министр партии — Борман.

Министр иностранных дел — Зейсс-Инкварт.

Министр внутренних дел — гауляйтер Гислер.

Министр обороны — Дениц.

Главнокомандующий армией — Шернер.

Главнокомандующий флотом — Дениц.

Главнокомандующий воздушным флотом — Грем.

Рейхсфюрер СС — гауляйтер Ханке.

Министр торговли — Функ.

Министр сельского хозяйства — Баке.

Министр юстиции — Тирак.

Министр культуры — доктор Шеель.

Министр пропаганды — доктор Науман.

Министр финансов — Шверин-Крозиг.

Министр труда — доктор Хаупфауэр.

Министр снабжения — Саур.

Вождь трудового фронта и министр без портфеля — доктор Лей.

...Несколько человек — среди которых Мартин Борман, доктор Геббельс и ряд других — вместе с их женами присоединились ко мне по своей доброй воле, не желая покидать столицу ни при каких обстоятельствах. Они намерены уйти из жизни вместе со мною. Я, однако, считаю, что вопрос борьбы нации являет собою нечто большее, чем их желание. Я убежден, что мой дух после моей смерти не оставит их, но будет помогать им во всех их начинаниях... Пусть они всегда помнят, что наша задача, то есть консолидация национал-социалистического государства, являет собою задачу веков, которые грядут, и поэтому *будущее каждого индивида должно быть тщательно скоординировано с интересами всеобщего блага.* Я прошу всех немцев, всех национал-социалистов, мужчин и женщин, всех солдат вермахта сохранять верность — до последней капли крови — новому правительству и его президенту.

И — главное — я требую от правительства и народа свято соблюдать расовые законы и всеми силами противостоять интернациональному еврейству.

Берлин, 29 апреля 1945 года, 4 часа утра.
Свидетели: доктор Йозеф Геббельс,
Мартин Борман,
Вильгельм Бургдорф,
Ганс Кребс».

...Гитлер ш а р к а ю щ е обошел тех, кого Борман пригласил в конференц-зал, медленно, потерянно улыбаясь, заглянул им в глаза, пожал каждому руку, повторяя одно и то же:

— Я благодарен вам за верность, спасибо, прощайте...

Потом он отошел к столу — там лежали ампулы с ядом. Он раздал их секретаршам, по-прежнему потерянно улыбаясь.

Затем, сгорбившись, чуть пританцовывая, он медленно двинулся к двери, что вела в его личные покои. На пороге он остановился, обвел всех тяжелым, мутным взглядом, как-то жалобно пожал плечами и медленно, п а д а ю щ е покинул конференц-зал.

Все те, кто был в конференц-зале, сразу же перешли в столовую: там был накрыт стол. Завели патефон. Поставили пластинку с музыкой Вагнера. После того как выпили, кто-то принес другие пластинки. Зашуршала иголка, и — неожиданно для всех — полилась нежная мелодия танго «Нинон».

Бургдорф поднялся, подошел к секретарше Ингмар, пригласил ее на танец. Следом за ним поднялись и другие. Кто-то запел; хлопнула пробка шампанского. Заместитель начальника личной охраны Гитлера захохотал, глядя на то, как штандартенфюрер Вайгель сыпал соль на пятна, оставшиеся на кителе от пролитого шампанского. Смех его был истеричным, он что-то говорил, но слов разобрать было нельзя.

И вдруг распахнулась дверь — на пороге стоял Гитлер.

— Вы мешаете мне спать! — крикнул он тонким, срывающимся голосом. — Прекратите, пожалуйста, эту гнусность! Сейчас всем угодна тишина, хоть немного тишины!

...Узнав об этом, Борман сразу же отправился в комнаты Геббельса. Тот сидел в своем маленьком кабинете за столом и чертил замысловатые круги, не в состоянии собраться с мыслями, хотя намерен был написать свое завещание — он действительно был единственным, кто в е р и л Гитлеру. Впрочем, порою Борману казалось, что Геббельс так же, как и он, понимал в с е, однако не мог — в силу сложившихся в окружении фюрера отношений — открыто признаться себе в том, что таилось у него на сердце.

О мудрой поговорке «не сотвори себе кумира» вспоминают лишь тогда, когда кумир терпит поражение, и более всего страдают при этом те именно, которые положили жизнь на то, чтобы превратить личность Адольфа Гитлера в фюрера, мессию, кумира нации. Однако разрушить то, что было ими же создано, невыразимо трудно, ибо разрушать пришлось бы самих себя, свою духовную субстанцию, подчиненную и раздавленную кумиром, которому добровольно было отдано свое право на мысль, мнение и поступок: вне и без его разрешения мысль и поступок могли быть квалифицированы как государственная измена — даже если речь шла о том, как лучше организовать оборону, наладить выпуск военной продукции, скорректировать высказывание пропагандистов НСДАП. Только он, кумир, есть истина в последней инстанции. Только его мнение являет собою абсолютную правду, только его слово может считаться утверждением, все замкнуто на одном, все подчинено одному, все определяется одним

Полная свобода от мыслей, свобода от принятых решений, сладостное растворение в чужой силе — только так, и никак иначе!

Борман присел на краешек стула, посмотрел на часы и сказал:

— Йозеф, мы всегда грешили тем, что не договаривали до конца правды. Теперь мы лишены этой привилегии. Вы понимаете, что если завтра нам не удастся обратиться к большевикам от имени нового кабинета — все будет кончено?

— Провидение не вправе оставить нас в беде...

Борман вздохнул:

— Ах, милый Йозеф... Провидение давно оставило нас... Мы барахтаемся в грязной луже, как щенки. — Он хотел было сказать всю правду до конца, но остановил себя: этот истерик готов на все, он неуправляем в своем фанатизме. — Если мы не поможем фюреру, немцы никогда не простят нам позора... Подумайте, что может случиться, если сюда ворвутся большевики и захватят его живым...

— Что вы предлагаете? — спросил Геббельс, начав растирать виски длинными трясущимися пальцами. — Что, Мартин?

— То же, о чем думаете вы: помочь фюреру уйти.

— Я этого не предлагал!

— Вы думаете об этом, Йозеф, вы думаете. Как и я. Не лгите же себе, наконец!

— Но это невозможно! — Геббельс заплакал. — Я не смогу себе этого простить!

— Хорошо, — сказал Борман. — Подождем еще несколько часов, а потом примем решение.

Геббельс икающе плакал, лицо его сморщилось, слезы на пепельном лице свидетельствовали о какой-то глубокой, безнадежной болезни, сокрытой в этом маленьком человечке с горящими круглыми глазами.

«Наверное, у него рак, — подумал Борман, поднимаясь. — Он не жилец, в нем нет жажды продолжить радость бытия. Его нельзя оставлять одного. Если я выстрелю, он должен быть рядом, но так, чтобы не пустил мне пулю в затылок. Увидев, как фюрер, корчась, упадет, карлик может засадить в меня обойму... Я убивал во имя идеи, я знал эту работу, у меня нет содрогания перед делом, а он лишь говорил свои речи... Пусть стоит рядом. Пусть будет повязан... Если перемирие с красными состоится, я не хочу оказаться Ремом, которого обвинят в измене...»

— До свидания, Йозеф, я должен поработать. Встретимся утром в конференц-зале, если фюрер не сможет сам уйти от нас до утра. Повторяю, время истекло. — И добавил пустое, однако же обязательное: — Нация нам этого не простит...

...Через полчаса Борман вызвал к себе помощника Цандера.

— Это — письменные полномочия Деницу на президентство в рейхе, — сказал он, передавая ему текст. — Если вы поймете, что прорыв сквозь русские позиции невозможен, уничтожьте этот текст, подписанный Гитлером, хотя Мюллер заверил меня, что вы, Лоренц и майор Йоханнмайер, пройдете линию битвы, пользуясь его маяками. Вы передадите текст завещания Деницу и сделаете все для того, чтобы Лоренц и Йоханнмайер были оттерты от адмирала — не вам говорить, что Лоренц служит Геббельсу, а Йоханнмайер неравнодушен к генеральному штабу. Это все. Желаю вам удачи, мой друг, счастливо!

...Первый раз в жизни Борман не закончил беседу с помощником обязательным, как отправление естественной нужды, возгласом «Хайль Гитлер!». Спектакль кончился, все торопились в гардероб за пальто, чтобы первым вскочить в проходящий автобус, пока еще не выстроилась злая длинная очередь из тех, кто только что смеялся и плакал, будучи объединен воедино тем, что разыгрывалось на сцене загримированными лицедеями...

УДАР КРАСНОЙ АРМИИ. ПОСЛЕДСТВИЯ — III

Танки и орудия Красной Армии теперь уже расстреливали Берлин прямой наводкой. Итог сражения стал ясен всем...

Хрустело...

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА

1. Посланник Соединенных Штатов в Швеции информировал меня, что Гиммлер, выступая от имени Германского Правительства в отсутствие Гитлера, который, как утверждается, болен, обратился к Шведскому Правительству с предложением о капитуляции всех германских вооруженных

сил на западном фронте, включая Норвегию, Данию и Голландию.

2. Придерживаясь нашего соглашения с Британским и Советским Правительствами, Правительство Соединенных Штатов полагает, что единственными приемлемыми условиями капитуляции является безоговорочная капитуляция на всех фронтах перед Советским Союзом, Великобританией и Соединенными Штатами.

3. Если немцы принимают условия вышеприведенного 2-го пункта, то они должны немедленно сдаться на всех фронтах местным командирам на поле боя.

4. Если Вы согласны с вышеуказанными 2-м и 3-м пунктами, я дам указания моему Посланнику в Швеции соответственно информировать агента Гиммлера.

Аналогичное послание направляется Премьер-Министру Черчиллю.

Трумэн.

Через пять часов из Москвы ушла шифрованная телеграмма в Вашингтон:

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ Г-НУ Г. ТРУМЭНУ

Получил Ваше послание... Благодарю Вас за Ваше сообщение о намерении Гиммлера капитулировать на западном фронте. Считаю Ваш предполагаемый ответ Гиммлеру в духе безоговорочной капитуляции на всех фронтах, в том числе и на советском фронте, совершенно правильным. Прошу Вас действовать в духе Вашего предложения, а мы, русские, обязуемся продолжать свои атаки против немцев.

Сообщаю к Вашему сведению, что аналогичный ответ я дал Премьеру Черчиллю, который также обратился ко мне по тому же вопросу.

ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА ЛИЧНО И СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Сегодня я послал г-ну Джонсону в Стокгольм следующую телеграмму:

«В связи с Вашим сообщением, отправленным 25 апреля в 3 часа утра, информируйте агента Гиммлера, что единственными приемлемыми условиями капитуляции Германии является безоговорочная капитуляция перед Советским Правительством, Великобританией и Соединенными Штатами на всех фронтах.

Если условия капитуляции, указанные выше, принимаются, германские вооруженные силы должны немедленно сдаться на всех фронтах местным командирам на поле боя.

На всех театрах, где сопротивление продолжается, наступление союзников будет энергично проводиться до тех пор, пока не будет достигнута полная победа».

Трумэн.

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ ТРУМЭНУ

Ваше послание, содержащее сообщение о данных Вами указаниях г-ну Джонсону, получил 27 апреля. Благодарю Вас за это сообщение.

Принятые Вами и г-ном Черчиллем решения добиваться безоговорочной капитуляции немецких вооруженных сил, по-моему, — единственно правильный ответ на предложения немцев.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ (МАКСИМ МАКСИМОВИЧ ИСАЕВ)

Штирлиц лежал в кровавом тошнотворном полузабытьи. Тело было чужим, ватным, даже если пробовал шевелить пальцами — в голове отдавало острым, игольчатым звоном и лицо сразу же покрывалось потом. Язык был громадным, сухим, мешал дышать. Но самое страшное было в том, что он не мог сосредоточиться, мысль не д а в а л а с ь ему, она рвалась, как эрзац-шпагат, и он никак не мог вспомнить, что его занимало даже секунду назад.

«Заставь, — тяжело сказал он самому себе. — Заставь, — повторил он. — Заставь... А что это такое? Зачем? Зачем я вспомнил это слово? Я и так все время заставлял себя, я устал от этого... Нет, — возразил он, — ты должен и ты можешь себя заставить... Ну-ка заставь... О чем я? — теперь уже с ужасом подумал он, ибо забыл,

отчего появилась мысль о том, что он должен себя заставить. — А ты вспомни. Вспомни... Заставь себя вспомнить... Ах да, я хотел заставить себя вспоминать то, что дорого мне... Тогда начнется цепь, а она, как хороший канат в горах... Каких горах? — не понял он себя. — При чем здесь горы? Ах, это, наверное, когда папа привез меня в Сен-Готард, и была осень, межсезонье, людей нет, только прозрачный звон на отрогах, стада паслись, на шеях коров колокольчики, и такой это был прекрасный перезвон, такое бывает разве что перед Новым годом, когда ты еще маленький и, проснувшись, долго не открываешь глаз, потому что мечтаешь о подарке папы... Но ведь я не сказал Мюллеру, как зовут папу? — испуганно спросил он себя. — Я не сказал ему, что я никакой не Исаев, а Сева Владимиров и папа похоронен в Сибири, его убили такие же, как он, только русские... Ну а что будет, если я ему сказал об этом? Будет плохо. Он не смеет прикасаться к папиной памяти даже словом... А еще он станет обладать знанием и обернет это против меня, пошлет телеграмму в Центр, в которой сообщит, что Сева Владимиров на все согласен. А кто там помнит, что я — Владимиров? Там и про Исаева-то знают трое. Видишь, ты заставил себя, ты смог себя заставить думать, только не засыпай, потом будет трудно, снова в голове будет мешанина, а это так страшно. «Не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и сума...» Кто это? Заставь, — изнуряюще нудно приказал он себе, — вспомни, ты помнишь... Это Пушкин — как же я могу это забыть... Ах, какая прекрасная была у Пушкина визитная карточка, здесь на карточке пишут все должности, звания, количество крестов, господин профессор, доктор, кавалер Рыцарского креста штурмбанфюрер Менгеле, дипломированный врач-терапевт. А нужно бы только одно слово — «палач»... А на визитной карточке Пушкина просто: «Пушкин». И хоть на конце был никому не нужный «ер», зато как прекрасна эта его карточка — сколько в ней отрицания пошлости, каково достоинство, экое ощущение ЛИЧНОСТИ... Пушкин... Погоди, Максим... Погоди... Почему ты вспомнил о горах? Ну так это ведь ясно, — ответил он себе, — Сен-Готард, Чертов Мост, Суворов, чудо-богатыри... А канонада отчего-то совсем не слышна... — Он вдруг ужаснулся. — А что, если прорвались танки Венка? Или эсэсовца Шернера?»

Штирлиц вскинулся с лежака, ощутив — впервые за эти страшные часы — мышцы спины. Сразу же упал, оттого что ноги были схвачены стальными обручами, а руки заломлены за спину...

«Я жив, — сказал он себе. — Я жив. Жив, и слышна канонада. Просто они били меня по голове, а Вилли ударил в ухо тем пузатым хрустальным стаканом... Я поэтому стал плохо слышать, это ничего, пройдет, в русском госпитале мне сделают операцию, и все будет в порядке...»

Он бессильно опустился на лежак и лишь теперь почувствовал рвущую боль во всем теле. До этого боли не было — лишь тупое ощущение собственного отсутствия. Так бывает, видимо, когда человек между жизнью и смертью: слабость и гулкая тишина.

«Я жив, — повторил он себе. — Ты жив, потому что можешь чувствовать боль. А про цепь ты велел себе вспоминать оттого, что по ней, как по канату в горах, можно добраться до вершины, откуда видно далеко окрест, словно в Оберзальцберге. Домики на равнине кажутся меньше спичечных коробков, мир поэтому делается огромным и спокойным, а ты достаешь из рюкзака хлеб, колбасу и сыр, термос с кофе и начинаешь пировать... Погоди — высшее счастье не в том, чтобы созерцать мир сверху, в этом есть что-то надменное. Нет, счастье — это когда ты живешь на равнине, среди людей, но памятью можешь подниматься к тому, что доставляет тебе высшее наслаждение... Дает силу выжить... Погоди, погоди, все то время, пока они били меня, я вспоминал одно и то же имя... Я повторял это имя, как заклинание... Какое? Вспомни. Заставь себя, ты можешь себя заставить, не давай себе поблажки, боль — это жизнь, нечего валить на боль, ты должен вспомнить то имя...»

Грохнуло рядом; х р у с т н у л о; зазвенели осколки стекла...

«Сирин! — ликующе вспомнил Штирлиц. — Ты держался за это имя зубами, когда они били тебя, твои руки были в наручниках, и ты не мог ухватиться за спасательный круг, а этим кругом был Сирин, и ты держался зубами, у тебя ужасно болели скулы не потому, что они били тебя по лицу, а оттого, что ты не смел ни на секунду разжать зубы, ты бы сразу пошел на дно... А кто такой Сирин? Откуда это имя? Погоди, так ведь это Ефрем, просветитель из Сирии, потому-то и стал на Руси зваться Сириным... Как это у него? «Проходит день, по следам его идет другой, и, когда не гадаешь, смерть стоит уже в головах у тебя... Где мудрецы, которые писаниями своими наполнили мир? Где те, которые изумляли мир своими творениями, пленяли умствованиями? Где те, которые гордились дорогими одеждами и покоились на пурпуровых ложах? Где те, которые изумляли красотою своей наружности? Где те руки,

что украшались жемчужинами? Где те, которые приводили в трепет своими велениями и покоряли землю ужасом своего величия? Спроси землю, и она укажет тебе, где они, куда положены... Вон, все они лежат в земле, все стали прахом...» Вот за кого я держался, пока они меня мучали, и я выдержал, спасибо тебе, сириец Ефрем, спасибо тебе, человек духа... Спасибо... И про Сен-Готард я вспомнил неспроста, потому что папа именно туда взял книги, в которых были писания Сирина и Никона Черногорца... Помнишь, в пансионате, где мы ночевали, была злая хозяйка? Чистая ведьма, волосы пегие, на «доброе утро» не отвечала — такое в Швейцарии редко встретишь: они ведь добрые люди, в горах живут, там злой не выживет, и папа тогда прочитал мне Сирина, очень еще смеялся... Как это? «Нет зверя, подобного жене лукавой, самое острое оружие диавольское... И аспиды, если их приласкают, делаются кроткими, и львы, и барсы, привыкнув к человеку, бывают смирны; но лукавая и бесстыдная жена, если оскорбляют ее, бесится, ласкают — превозносится...» Папа еще тогда предложил испробовать истинность слов Ефима Сирина, и мы спустились на первый этаж, и попросили кофе, и стали говорить ведьме, какой хороший у нее пансионат и как прекрасно спать под перинами при открытом окне, а она буркнула, что на всех не натопишь, проклятая немецкая привычка открывать окна, будто днем не надышитесь здешним воздухом... Папа тогда подмигнул мне, повторив: «Если ласкают — превозносится»... А последний раз я вспомнил Сирина после поджога рейхстага, когда Гейдрих собрал шестой отдел РСХА и, п л а ч а настоящими слезами, говорил о преступлении большевиков, которые подняли руку на германскую святыню, хотя почти все, кто слушал его, накануне были мобилизованы для выполнения специального задания, и закон о введении чрезвычайного положения был уже заранее распечатан и роздан тем, кто должен был начать аресты коммунистов и социал-демократов... А Гейдрих п л а к а л... Штирлиц тогда не мог понять, как может столь гармонично умещаться ложь и правда в одном человеке, в том именно, кто планировал поджог, а сейчас рыдал по германской святыне...

Вернувшись к себе — Штирлиц тогда жил в Шарлоттенбурге, за мостом, напротив «блошиного рынка», — он снова смог припасть памятью к тому спасительному, что давало ему силы жить, к русскому языку, и вспомнился ему тогда именно Сирин, и слышал он голос папы, который так прекрасно читал этого веселого православного попа

из Дамаска... «Кто устоит против обольщений злодея, когда увидит, что весь мир в смятении, и что каждый бежит укрыться в горах, и одни умирают от голода, а другие истаивают, как воск, от жажды? Каждый со слезами на глазах будет спрашивать другого: «Есть ли на земле слово Правды?» И услышит в ответ: «Нигде». И тогда многие поклонятся мучителю, взывая: «Ты — наш спаситель!» Бесстыдный же, приняв тогда власть, пошлет своих бесов во все концы смело проповедовать: «Великий царь явился к вам во славе!» Все его последователи станут носить в себе печать зверя, только тогда они смогут получать себе пищу и все потребное... Для привлечения к себе станут прибегать к хитрости: «Не беру от вас даров, говорю о зле со гневом», и многие сословия, увидав добродетели его, провозгласят его царем... И станет злодей на виду у зрителей переставлять горы и вызывать острова из моря, но это будет обман, ибо люди не смогут находить себе пищи, и жестокие надзиратели будут стоять повсюду, и начнут младенцы умирать в лонах матерей, и от трупов, лежащих вдоль дорог, распространится зловоние...»

«Когда мы вываливались из машины, — вспомнил Штирлиц дорогу из Линца в Берлин, — запах был сладким, потому что в обочинах лежали убитые и никто не хоронил их, никому не было дела ни до чего, только до себя, однако возмездие наступило не тогда, когда должно было наступить, не сразу после того, как злодеи подожгли рейхстаг и бросили в тюрьмы моих товарищей, а спустя страшные двенадцать лет; как же равнодушно время — та таинственная субстанция, в которой мы реализуем самих себя... Или не реализуем вовсе...»

— Эй! — крикнул Штирлиц и поразился себе: не говорил, а хрипел. Что-то случилось с голосом. «Но ведь голосовые связки нельзя отбить, — подумал он, — просто я держал себя, чтобы не кричать от боли — им ведь этого так хотелось, для них это было бы счастьем, видеть, как я к о р я ч у с ь, но я им не доставил этого счастья, я кричал про себя, и поэтому у меня что-то запеклось в горле. Пройдет». — Эй! — снова прохрипел он и решил, что его не услышат, а ему надо было подняться и ощутить себя всего. Может, они отбили ноги, и он не сможет подняться, не сможет ходить. Пусть они придут сюда, пусть отведут его в туалет, а может, Мюллер приказал им не пускать меня никуда, или этот «добрый» доктор велел держать меня недвижимым, так ему будет сподручнее потом работать со мной. Они ж и не скрывают — говорят: «Он работает». Вот сволочи, как похабят прекрасное слово «работа», да

разве они одно это слово опохабили? Они опохабили то с л о в о, за которое погибло столько прекрасных товарищей. Они ведь посмели прекрасное и чистое слово «социализм» взять себе, обгадив его собственничеством, арийской принадлежностью! Ну, прохвосты! Нет ведь национального социализма, как нет национального добра, чести, национального мужества...

— Ну, что тебе? — спросил Вилли, приоткрыв дверь. Штирлицу снова показалось, что тот и не отходил от него.

— В туалет пусти.

— Лей под себя, — засмеялся Вилли как-то странно, лающе. — Подсохнешь, морозов больше не будет, весна...

«Он ничего не соображает, — понял Штирлиц. — Пьян. Они все время пьют — так всегда бывает у трусов. Они наглые, когда все скопом и над ними есть хозяин, а стоит остаться одним, их начинает давить страх, и они пьют коньяк, чтобы им не было так ужасно».

— Ну смотри, — прохрипел Штирлиц, — смотри, Вилли! Смотри, собака, ты можешь меня расстрелять, если прикажет Мюллер, и это будет по правилам, но он не мог тебе приказать не пускать меня в сортир, смотри, Вилли...

Тот подошел к нему («Я верно рассчитал, — понял Штирлиц, — я нажал в ту самую точку, которая только у него и ощущает боль, я попал в точку его страха перед шефом, другие точки в нем атрофированы, растение, а не двуногий»), снял наручники, отстегнул стальные обручи на лодыжках и сел на стул.

— Валяй, — сказал он. — Иди...

Штирлиц хотел было подняться, но сразу же упал, не почувствовав своего тела; боль снова исчезла — кружащаяся звонкая ватность. Тошнит.

Вилли засмеялся. Снова взорвался снаряд — теперь еще ближе. Дом тряхануло, Вилли поднялся, чуть шатаясь, приблизился к Штирлицу и ударил его сапогом в кровавое месиво лица.

— Вставай!

— Спасибо, — ответил Штирлиц, потому что боль снова вернулась к нему. «Спасибо тебе, Вилли, зло рождает добро, это точно, я убеждаюсь в этом на себе, как не поверить. Одно слово — опыт. Ох ты, как же болит все тело, а?! Только лица у меня будто бы нет, будто горячий компресс положили; а почему так трудно открывать глаза? Может, доктор уколол в веки, чтобы я не мог больше видеть их лица? Все равно я их запомнил на всю жизнь... Погоди про всю жизнь... Не надо... Он бы не стал мне колоть веки,

они б просто выжгли мне глаза сигаретами — нет ничего проще. Им, значит, пока еще нужны мои глаза...»

...Он стал медленно подниматься с пола, руки дрожали, но он все время повторял себе спасительное слово — «Заставь!» Сплюнул кровавый комок, прокашлялся и сказал своим прежним голосом, уже слыша себя:

— Пошли...

— Погоди, — ответил Вилли, выглянул в коридор, крикнул: — Кто еще не кончил работу, молчать! Я не один!

Штирлиц шел, раскачиваясь, цепляясь распухшими пальцами за стены, чтобы не упасть. Возле двери, обитой красной кожей, он остановился, снова сплюнул кровавый комок — ему доставило удовольствие видеть, как кровь поползла по аккуратным белым обоям в голубую розочку — пусть попробуют отмыть. Это ж ранит их сердце: такая неопрятность. Сейчас, верно, ударит. И впрямь Вилли ударил его по голове. Штирлиц упал, впав в темное беспамятство...

...Мюллер принял еще две таблетки колы, которую ему подарил Шелленберг, и начал неторопливо переодеваться. Все. Конец. Исход. Жаль Ойгена. И Вилли жаль, а еще больше жаль Гешке, толковый парень, но если позволить им уйти — тогда вся игра окажется блефом. Штирлиц — человек особый, он поддавок не примет, да и в Москве сидят крепкие люди, они будут калькулировать товар. Им простую липу не всучишь... Чтобы завершить свою коронную партию, перед тем как уйти отсюда под грохот русской канонады по т р о п е ОДЕССы, он может пожертвовать этими парнями, толковыми и верными ему, он просто обязан отдать их на заклание — так рассчитана его комбинация... Даже если в дом угодит снаряд и Штирлица прихлопнет вместе с ними, д о к у м е н т а м, что собраны там, будет вера. Они же станут искать Штирлица и найдут его — в крови, со следами пыток. И это будет как предсмертное письмо верного им человека, они скушают е г о дезинформацию, поверят ему, и он, Мюллер, именно он, сделает так, что в Москве снова прольется кровь, много крови, — ах как это важно для его дела, когда льется кровь; кровь уходит — сила уходит, сила уходит — пустыня грядет... Их тридцать седьмой покажется спектаклем любителей, они должны будут — с моей подачи — до конца вырезать д у ш у нации, не тело...

...Мюллер снял трубку телефона, набрал номер, услы-

шал знакомый голос: эта опорная точка ОДЕССы в порядке; только пятый абонент не ответил; наверное, попал снаряд. Шестая и седьмая ж д а л и. Все, порядок, где Борман?

...Приказ о взрыве штолен в Альт Аусзее, где хранились картины, иконы и скульптуры, вывезенные из всех стран Европы, отправил Геббельс. Об этом Борман — в суматохе последних часов — не знал.

...Кальтенбруннер тяжело отходил после ночного, т е м н о г о пьянства. Боязливо оглядываясь, словно ожидая, что кто-то вот-вот схватит за руку, п р о т а л к и в а л в себя рюмку коньяку — в первый же момент, как только открывал глаза. Закуривал горькую сигаретку «каро», самую дешевую (раньше всегда этим бравировал). Лишь потом одевался, выходил в комнату, где работали секретари. Затравленно интересовался последними новостями из Берлина, все еще — в глубине души — надеясь на чудо.

Здесь-то, ранним утром, ему и передали послание Геббельса.

— Где команда взрывников Аусзее? — спросил Кальтенбруннер и налил себе еще одну рюмку коньяку. — Соедините меня с ними.

Секретарь, только что приехавший вместе с Кальтенбруннером из Берлина, здешней обстановки не знавший, ответил, что он должен запросить номер, он какой-то особый; они ж засекречены, живут на конспиративной квартире, чуть ли не по словацким паспортам...

— Я соединю вас, обергруппенфюрер, я в курсе дела, — сказал Хётль. Он теперь не отходил от Кальтенбруннера ни на шаг. — С вашего аппарата. Пойдемте. — И он распахнул дверь в его кабинет.

Здесь, когда они остались одни, Хётль — в который раз уже за последние дни — вспомнил Штирлица — его спокойное лицо, миндалевидные прищуренные глаза, чуть снисходительную усмешку, его слова про то, как надо ж а т ь на Кальтенбруннера, чтобы тот не сделал непоправимого, — и сказал:

— Обергруппенфюрер, вы не станете звонить взрывникам.

Тот вскинул свое длинное, лошадиное лицо. Брови

поползли наверх, сделав маленький лоб морщинистым и дряблым.

— Что?!

— Вы не станете этого делать, — повторил Хётль, — хотя бы потому, что американский представитель в Берне Аллен Даллес только что вновь сел за стол переговоров с обергруппенфюрером Карлом Вольфом, ибо тот гарантировал спасение картин галереи Уффици. Я готов сделать так, что Даллес узнает про ваш мужественный п о с т у п о к. Вы ослушались Геббельса, вы спасли для мира непреходящие культурные ценности — это усилит ваши позиции, особенно после измены Гиммлера, — во время предстоящих переговоров с западными союзниками... Если же вы не сделаете этого, то...

— То что?! Что?! Я сейчас сделаю другое: я сейчас же прикажу расстрелять вас...

— Ну что ж, приказывайте, — ответил Хётль, стараясь отогнать от себя постоянное видение: лицо Штирлица, измученное, с черными тенями под глазами. — Только вы убьете ваш же последний шанс... Никто не сможет сказать Даллесу о вашем благородном поступке, кроме меня...

— Каким образом? Отчего вы думаете, что он вообще станет вас слушать?!

— Станет, — ответил Хётль. — Он уже слушает меня. И я признался ему, что поддерживаю контакт с ним — с вашей санкции... Это — в вашу пользу... А спасение Альт Аусзее еще более укрепит ваши позиции... Карл Вольф это понял первым и сейчас отдыхает на своей вилле в Северной Италии под охраной американских солдат...

— А что мне делать с телеграммой Геббельса? — растерянно спросил Кальтенбруннер. — Что я ему отвечу?

— Вы думаете, он еще ждет вашего ответа?

Хётль снял трубку и, прежде чем набрать номер, снова вспомнил Штирлица, когда тот говорил: «Навязывайте Кальтенбруннеру действие, они сами не умеют п о с т у п а т ь. Они раздавлены их же кумиром, Гитлером. В этом их трагедия, а ваше спасение...»

— Алло, «Ястреб», — услышав ответ эсэсовского взрывника, сказал Хётль, — говорит «Орел» по поручению «Высшего»: без его указания операция «Обвал» не имеет права быть проведена...

«Ястреб» рассмеялся — пьян. Что-то сказал напарнику, потом просипел:

— Слушайте вы, «Орел», у нас существует приказ «Высшего» провести «Обвал», и мы его проведем, если он лично его не отменит! Тем более что танки американцев

совсем рядом... Мы уже собрали рюкзаки... После работы, когда мы ее закончим, приглашаем вас на альпийские луга, там загар хороший и коровы недоеные...

Хётль понял, что гестаповец сейчас положит трубку, поэтому он — невольно подражая Штирлицу — н а ж а л:

— Послушайте, вы меня, видимо, неверно поняли... «Высший» сейчас отдаст вам личный приказ, он у аппарата...

Хётль протянул трубку Кальтенбруннеру. Тот грыз ноготь на мизинце, ловко, как белка орех. Смотрел на Хётля красными ожидающими глазами. Штурмбанфюрер зажал мембрану ладонью, шепнул:

— Скажите, что пришло личное указание рейхсминистра Геббельса: до особого приказа из Берлина не взрывать... Ну, говорите же!

— А если он меня не послушает? — спросил Кальтенбруннер, и Хётль с ужасом понял, какой идиот правил им все эти годы, чьи приказы он выполнял, кому поклонялся, кто р а з л о ж и л его, сделав бесхарактерным, мелким и подлым трусом, не способным быть человеком — только исполнителем чужой воли...

— Пригрозите расстрелом, — сказал он. — Тогда послушает.

Кальтенбруннер взял трубку, откашлялся; лающим, знакомым всем в РСХА голосом с ужасным венским акцентом отчеканил:

— Здесь «Высший»! Указание, переданное вам «Орлом», исполнять беспрекословно! Этого требуют высшие интересы рейха! Ослушание поведет к расстрелу! До того, пока я лично не прикажу, штольню не взрывать!

...Воистину связь случайного и закономерного является проявлением диалектического закона человеческого бытия.

Случайность поездки Штирлица в Альт Аусзее, закономерность его анализа Хётля, точное предсказание им поведения Кальтенбруннера в кризисной ситуации, основанное на з н а н и и механики, морали нацистского рейха, глубокое понимание безыдейности, изначальной безнравственности гитлеризма — все эти компоненты закономерности и случайности привели к тому, что именно он, полковник советской разведки, русский интеллигент Максим Исаев, внес свой вклад в то, что сокровища мировой культуры, похищенные нацистами, не оказа-

лись погребенными на семисотметровой глубине штольни Альт Аусзее.

ПАУКИ В БАНКЕ — III

...В ночь на 30 апреля Гитлер так и не смог покончить с собою. Утром он вышел в конференц-зал, как и обычно, в девять часов. Был гладко выбрит. Рука тряслась меньше обычного.

Первым докладывал командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг:

— Бои идут между Кантштрассе и Бисмаркштрассе. По-прежнему напряженное положение на Курфюрстендам... Русские танки находятся в семистах метрах от рейхсканцелярии... Надежды на прорыв армии Венка к центру города нет, фюрер... Я снова и снова обращаюсь к вам с просьбой согласиться на то, чтобы верные части обеспечили ваш выход из бункера. В моем распоряжении есть люди, которые смогут организовать прорыв к Потсдаму — там мы попробуем соединиться с Венком...

Борман не дал ответить Гитлеру, задал вопрос:

— Какова гарантия того, что фюрер не попадет в руки врагов? Вы берете на себя ответственность за то, что не случится самой страшной трагедии, которая только возможна?

— Абсолютной гарантии я не могу дать, — пожевав губами, ответил Вейдлинг, — но люди будут сражаться до последнего во имя спасения фюрера...

Гитлер молчал, смотрел пустыми, круглыми глазами то на Бормана, то на Вейдлинга.

И — наконец — п о м о г Геббельс.

— Генерал, — сказал он, — мы ждем определенного ответа: вы, лично вы, Вейдлинг, гарантируете нам, что жизнь фюрера во время прорыва будет вне опасности? Он не попадет в плен? Если это случится, отвечать вам придется перед судом истории, и не только вам, но и вашим детям.

— Господин Геббельс, на войне как на войне, — ответил Вейдлинг, — помимо законов сражений большую роль играют досадные факторы случайности...

Борман скорбно и понимающе посмотрел на Гитлера. Тот как-то странно улыбнулся и тихо сказал:

— Я благодарю вас, генерал Вейдлинг. Признателен вам за верность и заботу обо мне... Я останусь здесь...

В два часа фюрер пригласил на обед своего повара фрау Марциали, личного секретаря фрау Гертруд Юнге,

стенографисток Лизе и Ингеборг; Гитлер внимательно наблюдал за тем, как Ева, теперь уже не Браун, а Гитлер, разливала вино по высоким, тяжелого хрусталя, рюмкам. Вино пузырилось, и в гостиной был ощутим аромат винограда, схваченного первым ночным заморозком. Такие игольчатые, легкие заморозки бывают в Вене в конце октября.

Фюрер попробовал суп, заметил:

— Фрау Марциали превзошла себя в кулинарном искусстве: эта протертая спаржа совершенно изумительна... В молодости я подолгу любовался на базаре в Линце горами овощей, но никогда моя кисть не рискнула запечатлеть буйство природы, дарованной нам землею...

Он привык к тому, что во время застолья, когда он начинал говорить, все замирали. Борман подавался вперед, внимая каждому его слову, иногда делал быстрые пометки маленьким карандашиком в таком же маленьком — величиною со спичечный коробок — блокнотике, однако сейчас Бормана за столом не было. Не было Геббельса, Геринга, Гиммлера, Кейтеля, Шпеера — не было всех тех, к кому он привык, а секретарши, приглашенные им в первый раз за те годы, что работали в ставке, продолжали поедать спаржевый суп, и звяканье серебряных ложек о тарелки показалось ему до того кощунственным и противоестественным, что он жалобно сморщился, посмотрел на Еву, одетую в роскошный серый костюм, глубокий цвет которого особенно подчеркивался бриллиантами, что украшали платиновые часы, вздохнул и, нахмурившись, замолчал.

После того как подали фаршированного кролика, а ему положили яичные котлеты с цветной капустой, Гитлер, услыхав бой высоких часов, стоявших в углу столовой, вздрогнул, пригнувши голову.

И сразу же заговорил. Слово сейчас было для него спасением, надеждой, тем, что позволяло ему быть здесь, среди этих женщин, живых еще, красивых, милых. Боже, насколько же они мягче мужчин, вернее их, тоньше!

— Вчера во сне я видел мать, — начал Гитлер, чуть покашливая, словно проверяя голос. В последние дни после инъекций голос садился. Он обратил на это внимание нового врача, но тот сказал, что это обычная реакция организма на отсутствие свежего воздуха — ничего тревожного. — Я увидел ее совсем молодой, в те дни, когда жил в Браунау. Каждый день, пугая самого себя невидимыми стражами, я миновал ворота старого города

и — несчастное дитя окраины — оказывался на центральной площади, где были открыты рестораны и кафе, звучала музыка, слышался смех избалованных детей, наряженных, словно куклы... Я смотрел на них и остро смущался своих стоптанных башмаков и старого, кургузого пиджака, в котором моя фигура казалась мне самому убогой... Я начинал чувствовать изнуряющую ненависть к тем, кто благоухал и радовался жизни, потому что...

Гитлер снова нахмурился, потому что забыл, с чего начал, чему хотел посвятить эту свою тираду. Он мучительно вспоминал первую фразу, но то, что женщины деловито резали мясо, продолжая сосредоточенно есть, показалось ему до того обидным, что он едва сдержал слезы.

Когда Ева посмотрела не на него, а на дверь, что вела в конференц-зал, Гитлер снова вздрогнул и вжал голову в плечи — ему показалось, что там стоит Борман и молча глядит на его затылок, показывая всем своим видом, что п о р а, время настало, более ждать нельзя, нации угоден его уход, это вольет силы в сердца тех, кто будет продолжать борьбу за его дело. Как страшна жизнь, как жестокосердны те, кто окружал его, почему они не сделают что-нибудь, они могут, они обязаны смочь, это ведь так страшно — переход в небытие, когда рвущая боль разорвет череп и его мозг, полный великих мыслей, концентрат надежды арийцев, превратится в кровавое месиво...

«Нет, я не хочу, я не могу, мне так спокойно сидеть среди этих женщин, пусть они едят, ничего, я прощаю им их беспечность. Только бы говорить, продолжать б ы т ь, только бы не страшная тишина, которая настанет после выстрела. Я не смогу нажать на курок, я ни в чем не виноват, виноваты те, которые были рядом, они могли бы подсказать мне, а они трусливо молчали, думали только о себе, о своей выгоде, маленькие мыши, кем я окружил себя, Бог мой?!»

Ева вдруг поднялась, и Гитлер еще сильнее пригнулся, затравленно оглянувшись.

— Мой дорогой, — сказала Ева, и это обращение шокировало его, он обвел взглядом секретарш, но никто не обратил на это внимания — пили вино и вкусно ели, Ева — законная жена, она вправе обращаться к нему так, как обратилась, отчего нет. — Я сейчас вернусь, я забыла отправить телеграмму сестре, прости меня...

— Если это касается изменника Фегеляйна, ты не

вправе посылать ей ни слова соболезнования! — сказал Гитлер.

— Мой дорогой, — ответила Ева уже возле двери, — это касается нас с тобою...

Гитлер подумал, что Ева сейчас сделает нечто такое, что принесет спасение, он ждал чуда от кого угодно, только б теплилась надежда, только б прошла минута, вторая, час, сутки, а потом что-нибудь произойдет, обязательно произойдет нечто такое, что принесет спасение...

А Ева пошла в радиорубку и попросила отправить телеграмму в Оберзальцберг сестре: «Пожалуйста, срочно уничтожь мои дневники!»

Она знала, что делала. Она вела дневники в тридцать пятом году, когда их роман с Гитлером только-только начинался. Она описывала тот февральский день, когда он приехал к ней и сказал, что решил подарить ей дом. И какое это было для нее счастье! Как она потом сходила с ума от ревности, когда он ездил к Геббельсу, этому мерзкому своднику, и проводил там долгие часы с певичкой Ондрой, женою тяжеловеса Макса Шмелинга... Ева сильно любила его тогда, потому что он был ее первым мужчиной... О, как это было ужасно, когда она отправила ему письмо, решив принять снотворное, если он ей не ответит! И как искренне переживала она, ожидая письма, чего только не передумала она в те дни! Может быть, ее письмо попадет ему в тот момент, когда он будет не в духе, может быть, вообще не надо было писать ему... «Мой Бог, помоги мне поговорить с ним, завтра будет слишком поздно...» — шептала она тогда поминутно и приняла тридцать пять пилюль снотворного...

Ева Гитлер сидела возле радиста, передававшего ее телеграмму сестре, и вспоминала то звонкое ощущение горя, которое она испытала, когда доктор кончил промывание... Ей было так хорошо, когда она уснула, такие чистые мелодии слышались ей, а потом наступила тишина, спокойная, глухая тишина...

...И снова Гитлер обошел строй людей, стоявших перед ним, и снова пожал руку каждому, произнеся слова сдержанной благодарности, и снова ищуще заглядывал в глаза, и снова прислушивался к шуму, доносившемуся из других комнат: там был слышен смех, музыка, хлопанье пробок шампанского...

Когда он затворил дверь кабинета, в прихожей что-то звякнуло.

— Кто?! — спросил Гитлер испуганно. — Кто там?

— Я, — ответил Борман. — Я подле вас, мой фюрер...

Он стоял в тамбуре вместе с Геббельсом. Звякнула канистра с бензином, которую он принес с собою. Геббельса трясло мелкой дрожью. Лицо пожелтело, виски поседели.

Ева приняла яд спокойно, сидя в кресле. Раздавив ампулу зубами, она только чуть откинулась назад и беспомощно опустила руки.

Гитлер долго ходил вокруг мертвой женщины, бормоча что-то, потом потрепал Еву по щеке, достал пистолет и приставил дуло ко рту.

Ужас объял его.

«Нет, — прошептал он, — нет, нет, я не хочу! Это неправда! Все это ложь! Я не хочу! Мне надо заставить себя проснуться, я просыпаюсь, мамочка!..»

А потом мысли как-то странно смешались в его голове, и он начал быстро ходить вокруг кресла, где лежала мертвая Ева, быстро и усмешливо бормоча что-то под нос...

Борман посмотрел на часы. Прошло уже двадцать минут.

Он погладил Геббельса по плечу и отворил дверь кабинета.

Гитлер, не обращая на него внимания, быстро и сосредоточенно ходил вокруг кресла, где лежала Ева. В правой руке его была зажата рукоять пистолета.

Борман разомкнул холодные пальцы фюрера, взял его вальтер и, приставив к виску Гитлера, выстрелил...

...Через несколько минут комната заполнилась людьми. Геббельс трясся от рыданий, Борман успокаивал его...

Затем Борман пригласил Вейдлинга в конференц-зал и сказал:

— Вы не смеете никому и ни при каких обстоятельствах говорить о кончине фюрера. Даже Дениц не будет знать об этом. Ясно?

А потом он пригласил к себе генерала Кребса и вручил ему запечатанный конверт.

— Это письмо вы передадите лично маршалу Жуко-

ву. Вы вернетесь сюда с мирными предложениями красных. На Западе никому не известно о кончине фюрера. Там никто не знает о составе нового кабинета. Мы сообщаем о завещании Гитлера лишь одним русским. Этого нельзя не оценить. Мы идем к ним с тем, о чем вы говорили еще в сорок первом году. Тогда вас не послушали. Теперь вам и карты в руки. С Богом, генерал, мы ждем мудрого ответа красных.

ИСХОД

...Мюллер задумчиво сидел перед зеркалом, разглядывая свое лицо. Канонада была постоянной — бои шли где-то совсем рядом. Пора уходить.

Его лицо было сейчас другим: свежий шрамик возле уха был понятен лишь посвященным — подтяжка. Левая щека стала чуть скошенной, будто после контузии, подбородок зарос седой щетиной, волосы перекрашены в пего-седой цвет, подстрижены коротко, под «бобрик». В кармане поношенного, не по росту пиджака документы на имя Вернера Дрибса, члена Коммунистической партии Германии, освобожденного из концентрационного лагеря «Ортс» Красной Армией, — просьба ко всем союзным властям оказывать ему содействие. На руке наколоты цифры — номер заключенного.

Он смотрел на свое отражение в зеркале, прислушивался к канонаде и вспоминал тот день, когда Гиммлер вручал ему руны бригадефюрера. Он почти слышал сейчас те овации, которые гремели в дубовом зале мюнхенского гестапо, видел сияющие лица друзей и врагов — они стоя приветствовали его. Он помнил, как потом, когда кончился официальный церемониал, Гиммлер пригласил новых генералов СС в банкетный зал и поднял за них бокал с шампанским, а Мюллер мечтал, чтобы весь этот цирк поскорее кончился и можно было бы уехать к Лотте. Девушка любила его — он верил, любила по-настоящему, и он ее обожал. Однако в зале начались спичи, каждый хотел покрасоваться перед рейхсфюрером: тот любил слушать, как говорят подчиненные, поэтому Мюллер только в десять остановил свою машину возле маленького особнячка, где жила подруга. Света в окнах не было. «Уснула, моя хорошая», — подумал он с нежностью, отпирая дверь своим ключом, но в комнатах было пусто...

Только спустя три года он узнал, что Лотта была агентом Гейдриха, о с в е щ а л а тех, кого готовили к

большому повышению, играла любовь. Боже, как играла, пусть бы продолжала, он бы и это ей простил, но ему объяснили, что рейхсфюрер никогда не разрешит ему развода, это повлияет на карьеру, а Мюллер уже тогда знал, что рейхсфюрер имеет ребенка от любовницы и содержит ее в замке под Мюнхеном, покупает ей самые дорогие автомобили, а его лишил единственной в жизни радости. Разве такое забудешь?

Позвонил Борман:

— Держите пальцы на пульсе нашей линии?

— Пока да. Вы скоро?

— Видимо. Ваши люди смотрят за «сорок седьмым»?

— Он в порядке.

— Будем на связи постоянно.

— Только так.

Потом позвонили из отделения гестапо, которое отвечало за район той конспиративной квартиры, где был Штирлиц:

— Русские танки заняли рубеж в двух километрах от нас, группенфюрер! Мальчики из «гитлерюгенда» пустили в ход фаустпатроны, красные остановились...

— Спасибо. Всю документацию уничтожили?

— Да, совершенно.

— Хорошо, ждите указаний.

Мюллер осторожно положил трубку, посмотрел на часы и удивился совпадению. «Чему я удивляюсь, — подумал он, — часы ведь в каждом из нас. Я постоянно слышу свои внутренние часы, черт меня дернул связать себя с Борманом, он же слеп, как и его хозяин! Мой, наш хозяин — не оттирай себя, ты ж был в доле, нечего теперь на кого-то пенять! Но ведь Борман действительно слеп, потому что русские никогда не станут с ним говорить, это азбука! А вдруг станут? Ведь в августе тридцать девятого, когда англичане начали свою волынку, а в небе пахло порохом, Сталин сел за стол с Риббентропом? И сейчас в Москве знают от меня про то, как Геринг и Гиммлер ведут переговоры с англосаксами, Сталину не могли не докладывать радиограммы Штирлица. Борман верно сказал, что Кремль знал о миссии Вольфа в Берне — Штирлиц выходит у них на самый верх».

Он — в который уже раз! — подумал, что сделал ошибку. Еще есть время, чтобы уйти по цепи ОДЕССы одному. «Это моя цепь в большей мере, чем Бормана, хотя, конечно, партия держит в руках такие узлы, которые мне неизвестны, но еще не поздно, еще есть верные

«окна» на Запад... А если Борман все-таки уйдет? Или договорится с русскими, что, в общем-то, одно и то же? Тогда мои дни сочтены, Борман мне никогда этого не простит, меня уберут, дважды два... Но то, что Штирлиц д о л ж е н, обязан просто-таки сделать, будет моей коронной партией. Сталин — судя по тому, что он сделал со страной в тридцатых, — поверит данным, которые возьмет с собой Штирлиц. П р а в д а Гелена с заложенной в нее л о ж ь ю, сработанной мною, — такое страшнее любой бомбы. Верно я обещал Борману — это взорвет их и вызовет шум в России, они его не переживут, это раскачает их, брат восстанет против брата, кровь польется, головы полетят... А когда безлюдье и страх, тогда привольно соседям, дожить бы, ах как хочется дожить!»

...Йозеф Руа пришел через десять минут после звонка. Он ждал вызова в двух блоках от конспиративной квартиры Мюллера.

— Браток, — сказал Мюллер, — возьми этот саквояж, в нем мина... Ты работал с такой в Мадриде...

— Это когда ты даешь к ней маленькую штучку, которую надо повернуть?

Мюллер улыбнулся:

— Именно так.

Он достал из стола плоское портмоне, протянул Руа:

— Положи в карман. Портмоне надо открыть и закрыть пять раз подряд, на шестом все разнесет в щепы... Запомни адрес...

Руа полез за блокнотом. Мюллер взялся за виски:

— Ты сошел с ума?! Нет, все-таки уголовники даже твоего уровня рождены детьми! Я говорю тебе адрес на всякий случай, мало ли что, запоминай, записывать нельзя. Пробирайся дворами, у тебя есть час, от силы два...

Он продиктовал адрес, попросил, чтобы Руа повторил дважды, показал ему дом и улицу на раскладной карманной карте, потом сказал пароль, попросил несколько раз повторить.

— Не забудь закончить словом «распишитесь». Тот парень — его зовут Ойген, — к которому я тебя отправляю, вроде машины. Если ты спутаешься хоть на йоту, он тебя прошьет из пистолета. Отдай ему саквояж, дождись, пока он проведет мимо тебя Штирлица в туалет. Ты помнишь Штирлица? Ты убирал у него в особня-

ке моего шофера, Ганса. Я тебе сто раз показывал его фото. После этого быстро уходи и, никого не дожидаясь, начинай хлопать портмоне. Как только раздастся взрыв, убегай — там рядом русские, их пока держат, но долго это не продлится, конец, брат... Потом ляг на грунт, твои явки у меня в голове, жди связи... Ты абсолютно чист, в партии, слава Богу, не был, а все наши с тобою дела я сжег — так что лепи из себя страдальца, таких любят. Особенно-то не лезь, опасно, но помогай русским, в чем только сможешь. Пригодится на будущее. Ну, с Богом...

Они обнялись. Руа ушел, а Мюллер начал ходить по комнате, разучивая походку — легкая хромота и слабость в движениях...

...Рихард Шапс (тоже из мюнхенских уголовников, именно он убирал сына, Фрица), следивший из окна соседнего дома за всем, что должно было произойти, позвонил Мюллеру сразу же после того, как черно-красное пламя вырвалось из окон конспиративной квартиры. Тугая сила выбросила на мостовую верхнюю часть туловища Ойгена. Левая рука была оторвана — только голова и правая рука, словно бы поднятая в приветствии...

...А Штирлиц поступил так, будто выполнял то, что было заранее отрепетировано Мюллером.

Взрывной волной сорвало дверь туалета; его бы убило на месте, но он успел вскинуть руки. Страшная боль пронзила левый локоть — кисть сделалась как плетка. В ушах звенело тонко-тонко, будто летом на севере, возле фиордов, когда тьма комаров. Он вышел в коридор. Пахло жженым. Все было в известковой пыли. Она клубилась как в киносказках — тяжело, дымно. Дышать трудно.

Штирлиц споткнулся обо что-то, нагнулся. Под ногами лежал Вилли с разбитым черепом. Машинально Штирлиц вынул из кобуры его парабеллум, сунул в карман и пошел туда, где еще недавно слышал голос... Именно там должны быть архивы Гелена. В комнате обвалилась стена, пыль не садилась, но он начал на ощупь вытянутой правой, которая только и действовала, шарить перед собою. Ощутил металл. «Да, точно, — сказал он себе, — ты верно ищешь, здесь был сейф, он был открыт. Здесь должны быть портфели, наподобие тех, которые мне как-то показал Мюллер. А может, дожидаться здесь наших? Ведь они рядом. Бой идет совсем неподалеку. А что, если Мюллер пришлет своих?

Он пойдет на все, только бы спасти эти материалы. Ты должен взять все, что сможешь унести... Два портфеля, и больше ничего. А как ты их ухватишь, если левая рука не работает? Ничего, зубами, как хочешь — так и ухвати. Попробуй взять в одну руку. Ну и что! Конечно, тяжело, но ты донесешь, это ж ерунда... Это все пустяки в сравнении с тем, когда тебе выворачивают уши и спрашивают, как звали папу, а потом начинают бить ногами в лицо — оно у тебя сейчас как после пьяной драки, а в этой пыли ты станешь похож на клоуна — немцы любят, когда лица клоунов намазаны ярко-белой краской. Тогда особенно смешным выглядит красный колпак. Нет, в сейфе есть что-то еще... Беги, беги скорее, Максим, ты должен успеть добежать и вернуться сюда, пыль осядет, ты вернешься, только сейчас будь самим собою, торопись, не сдерживай себя — нельзя ждать, Максим, хватит ждать, беги!»

Он спустился по лестнице, раскачиваясь, как пьяный, вышел на пустую улицу и медленно пошел вдоль домов туда, где стреляли, и было это совсем рядом. Рука занемела от тяжести, но он шел, склонившись вперед, ничего не замечая вокруг, в голове по-прежнему звенело, и виски то стягивало какой-то глубинной, рвущей болью, то отпускало, и тогда все перед глазами кружилось. Он ощущал дурноту и больше всего боялся упасть...

...А навстречу ему по переулку, прижимаясь к стенам домов, шел восемнадцатилетний сержант разведроты Глеб Прошляков. Он знал, что на соседней улице мальчишки сидят с фаустпатронами. Командир сказал, что жаль пацанов, велел посмотреть, как их можно обойти... «Пусть живут, сопляки. Пятнадцать лет — что они понимают? Обмануты. Перевоспитаем после победы». Он шел, мягко ступая, и думал, что из-за этих чертовых детей может схлопотать пулю в живот — слишком уж пусто здесь. «Ох, не люблю я, когда с одной стороны грохочет, а с другой тихо, — неспроста это. И правда — неспроста...» Выглянув из-за угла, увидел немецкого офицера в черном. «Ну, иди, иди, фриц, иди. Пьяный, видно, гад, со страху нализался, а в портфеле-то небось что-то тащит — наверняка часы и кольца. Ну, давай, ближе, еще ближе, я тебя по башке оглоушу...»

...И в этот момент Штирлиц тоже заметил его — в кожушке, надетом поверх гимнастерки, в пилотке с красной

звездой, лихо сдвинутой на левую бровь, в приспущенных сапожках — в армии Иеронима Уборевича так приспускали сапожки те, кто отменно плясал. Это было в двадцать первом. Особый шик. Помнят былое и нынешние мальчики, спасибо тебе, что помнишь, солдат. Нельзя жить без памяти...

Штирлиц чувствовал, как его лицо заплясало от счастья. Ему было трудно улыбаться — рваные раны на лбу и подбородке кровоточили, но он все равно не мог сдержать счастливой улыбки...

«Ишь, щерится, сволочь, — подумал Прошляков, — вся морда в крови, задело небось гада. Ну и рожа, ну и злоба в ней, зверь фашистский...»

...Штирлиц поднял руку навстречу мальчику в пилотке с красной звездой. Он хотел поднять обе руки, но левая не работала — висит как плеть. Минута, две, и я обниму тебя, сынок, родной ты мой...

«А ведь в портфеле-то у него может быть мина, — в ужасе подумал Прошляков. — Фанатик, может, какой псих, он мне в ноги метнет, воронка останется...»

«Дзынь!» — ввернулась в стену дома над головой Прошлякова пуля. «Дзынь!»

Прошляков упал на колени и, вскинув автомат, прошил немца в черном от живота. Тот закричал что-то. Прошлякову даже показалось — по-русски. Прошляков дал еще одну очередь, а тот, черный, эсэсовец, все бежал на него, захлебываясь криком... «И впрямь по-русски вопит, вот гад, а?!»

...А третью пулю Прошляков не слышал — она ударила его в сердце. Наповал...

...Клаус Борхард, член «гитлерюгенда», который стоял в охране боевой позиции противотанковой группы, увидав, как после его выстрела упал русский солдат, бросился к штандартенфюреру, лежавшему на земле без движения. Схватил его за руку, забросил ее себе на шею, втащил во двор, спустил в подвал. Здесь, у телефона — связь была подземной и работала бесперебойно, — замер блокфюрер партии партайгеноссе Зиберштейн. Увидав знаки отличия раненого, он крикнул мальчишкам:

— Тащите штандартенфюрера через подвалы на командный пункт! Скорей!

...На командном пункте в репродукторе гремел голос Геббельса: «Армия генерала Венка, прорвав позиции большевиков, идет в Берлин, сокрушая все на своем пути! Настал час победы!»

Раздев, Штирлица перевязали, отправили на носилках — по системе подземных коммуникаций — к центру: там готовился очередной прорыв через последнее «окно».

Оберштурмбанфюрер, руководивший прорывом, тоже заметил знаки отличия Штирлица. Склонился к человеку в штатском штандартенфюреру Гаусу:

— Наш...

Тот сказал:

— Свяжитесь с Крузе, он отвечает за канал ОДЕССы, а пока пусть этого несчастного переоденут...

— Он не жилец...

Гаус резко ответил:

— Вот когда умрет, тогда только он и перестанет быть жильцом... Пока человек СС жив — он жив!

...Через два часа танк Т-34 номер «24-9» под командованием младшего лейтенанта Нигматуллина, прорвав оборону мальчишек «гитлерюгенда» на Ванзее и разворачиваясь, перепахал левой гусеницей портфель, где лежали те «документы» Гелена — Мюллера, которые должны были оказаться в руках русских...

Случай есть проявление закономерности: Красная Армия решила судьбу спланированной провокации Мюллера просто и однозначно, превратив бумаги Гелена в коричневое, бесформенное крошево.

Командарм восьмой гвардейской Василий Иванович Чуйков говорил обычно тихо, медленно, словно взвешивая каждое слово. Поэтому, услышав ранним утром 1 мая по телефону его звенящий, быстрый говор, Жуков удивился — так незнакомо звучал голос Чуйкова:

— Ко мне пришел генерал Кребс, товарищ маршал! — докладывал Чуйков. — Как парламентер! Мне сейчас перевели письмо, которое он привез, зачитываю: «Согласно завещанию ушедшего от нас фюрера, мы уполномочиваем генерала Крабса в следующем: мы сообщаем вождю советского народа, что сегодня, в пятнадцать часов тридцать минут, добровольно ушел из жизни фюрер. На основании его законного права фюрер всю

власть в оставленном им завещании передал Деницу, мне и Борману. Я уполномочил Бормана установить связь с вождем советского народа. Эта связь необходима для мирных переговоров между державами, у которых наибольшие потери. Геббельс». И завещание нам передал, товарищ маршал, а в нем — список нового правительства...

Жуков почувствовал легкий озноб. Он не сразу смог ответить Чуйкову, сглотнул комок, мешавший дышать, прокашлявшись, сказал:

— Сейчас к вам выедет Соколовский, ждите его.

...Отправив к Чуйкову генерала армии Василия Даниловича Соколовского, Жуков посмотрел на часы, снял трубку ВЧ и попросил соединить его со Сталиным.

— Товарищ Сталин только что лег спать, — ответил генерал Власик.

— Прошу разбудить, — повторил Жуков, по-прежнему то и дело откашливаясь. — Дело срочное, до утра ждать не может...

...Сталин вздрогнул во сне, услыхав мягкий, осторожный стук в дверь; поднялся с большого низкого дивана; от резкого движения гулко застучало сердце. Мельком взглянул в окно — увидел пепельное, еще только чуть-чуть занимавшееся голубизной небо, подумал, что, верно, случилось то, в чем накануне говорил начальник разведки, и начал торопливо одеваться.

...Взяв трубку телефона, сказал коротко и глухо:

— Сталин...

Жуков, чувствуя, как от волнения першит в горле, доложил:

— К Чуйкову только что прибыл парламентер из рейхсканцелярии...

— Генерал Кребс? — глухо поинтересовался Сталин. — Новый начальник немецкого генерального штаба?

Жуков тогда не обратил внимания, что Сталин уже знает фамилию нового начальника штаба — он был полностью под впечатлением новости: Гитлера нет более, — поэтому, не ответив на вопрос Верховного, сразу же начал зачитывать текст завещания фюрера и обращение к нему, Сталину, вождю советского народа, нового канцлера рейха доктора Йозефа Геббельса.

Сталин сразу отметил, что в письме Геббельса определенно указано, что именно Борману поручено установить связь с ним. Вспомнил давешний разговор с Берия, который сказал, что именно Борман будет тем, кто предложит нам немедленный мир...

Подумал, что, видимо, был излишне резок, когда подвергал сомнению информацию от некоего «девятого», потом вдруг представил себе лицо Гитлера, которое он часто видел в кадрах кинохроники, что привозил ему на дачу председатель кинокомитета Большаков, и сказал:

— Доигрался, подлец! Жаль, что живым его взять не удалось... Где труп?

— Генерал Кребс сообщает, — ответил Жуков, — что труп сожжен на костре во дворе рейхсканцелярии.

Все то время, что Жуков читал ему обращение Геббельса и завещание фюрера, Сталин стоял возле столика, на котором были установлены телефонные аппараты. Немного помолчав, тихо заметил, — словно бы опасаясь, что его могут подслушать:

— Вы передайте Соколовскому, чтобы он никаких переговоров, кроме безоговорочной капитуляции, ни с Кребсом, ни с другими гитлеровцами не вел. Если ничего чрезвычайного не будет, не звоните до утра, хочу немного отдохнуть... Устал...

...Кребс вернулся в рейхсканцелярию, Борман и Геббельс ждали его в конференц-зале, Бургдорф был здесь же — бледный, до синевы, глаза красные, на лице отрешенная, ожидающая улыбка. Даже сквозь запах сухого одеколона пробивался тяжелый похмельный перегар.

— Безоговорочная капитуляция, — сказал Кребс. — Они требуют безоговорочной капитуляции. Никаких переговоров... Ответ должен быть дан к десяти утра.

— Ну вот, — сказал Геббельс, обернувшись к Борману. — Вот и все. Все кончено! Я же говорил вам, Борман!

Он повернулся и медленно, припадая на короткую ногу, пошел в свой кабинет.

Через полтора часа его жена Магда затеет игру со своими пятерыми детьми: «Кто скорее выпьет стакан горького лекарства, зажмурив при этом глаза? А ну, раз, два, три!» После того как дети повалятся на пол, она застрелится. Чуть позже Геббельс вожмется грудью в дуло пистолета и, тонко закричав, нажмет курок.

Бургдорф застрелится в своем кабинете, предварительно тщательно побрившись и надев чистое белье. Он ощутит какое-то странное наслаждение от того, как острая золингенская бритва скребет щетину на подбородке, и ему все время будет слышаться перезвон колокольчиков на альпийских лугах возле швейцарской границы, где он совершал далекие прогулки во время своих коротких отпусков.

Кребс покончит с собою после того, как выпьет бутыл-

ку вермута и съест бутерброд, намазанный русской красной икрою. Эту банку он хранил три месяца — деликатес закупили офицеры из военного атташата рейха в Швеции и прислали ему ко дню ангела.

...А после этого Борман вызовет фюрера «гитлерюгенда» Аксмана и скажет ему:

— Готовьтесь к прорыву. Через полчаса я присоединюсь к вам, ждите. — И, позвонив куда-то по телефону от радистов, выйдет в сад рейхсканцелярии, сопровождаемый двумя офицерами СС, присланными Мюллером еще прошлой ночью.

...Через сорок минут Борман вернется, Аксман удивится, отчего рейхсляйтер не говорит ни слова, скован в движениях, кажется, даже чуть меньше ростом.

— У меня сел голос, — глухо пояснит Борман. — Все приказы будете отдавать вы.

Этим двойником Бормана был Вернер Краузе. Пластическую операцию ему сделал доктор Менгеле. Особенно мучался со шрамом на лбу, но тем не менее выполнил блистательно... Только вот голос разнился.

Прорыв прикрывало двадцать танков. Они смогли пробиться сквозь боевые порядки 52-й стрелковой дивизии, взяли курс на северо-запад, в направлении Гамбурга. Их настигли лишь на рассвете 2 мая. Расстреляли в упор из орудий. Двойника Бормана среди обгоревших, изуродованных трупов обнаружено тогда не было.

...5 мая, ранним утром, подводная лодка особого назначения отошла от пирса, погрузилась в море и взяла курс на Аргентину. На ее борту находились Борман и Мюллер.

...13 мая Штирлиц очнулся.

Тишина была осязаемой. У нее даже запах был — особый, морской, йодистый, когда волны разбиваются на миллионы холодных белых брызг и медленно оседают в самое себя, и чайки кричат истошно, и стрельчатая листва пальм трещит на ветру, словно плохая декорация в оперном театре. Где-то вдали перемигиваются огоньки на берегу, и в них заключено такое спокойствие и надежность, что щемит сердце и прошедшие годы кажутся нереальными, словно сказка с хорошим концом.

Штирлиц поднялся с кровати. Стены комнаты были белыми. Похоже на Испанию. Там такие же беленые стены, как у нас на Украине. Только испанцы любят некрашеную деревянную мебель, слегка проолифленную, а украинцы красят свои стульчики и шкафы. Окно было закрыто деревянными ставнями, хлопавшими на ветру. Действительно, пахло морем. Сидеть он не смог — боль в груди была постоянной, режущей.

Он откашлялся, захлебнулся кровью, застонал, упал на подушку.

В комнату вошел пожилой, седоволосый человек, вытер ему лицо, уложил, заботливо укрыл пледом, прошептал:

— Тише... Мы у своих... Вы на явке ОДЕССы, все хорошо, вы уже в Италии, завтра вас отправят в Испанию... Опасность позади, спите, вам надо отдыхать, штандартенфюрер... Ваше имя отныне доктор Брунн... Запомните, доктор Брунн...

...В феврале 1946 года, заново научившись ходить, Штирлиц отправил письмо из Мадрида по известному ему адресу в Стокгольм.

Ответа оттуда не поступило. Война кончена — опорная база советской разведки ликвидирована.

...В октябре 1946 года в Мадриде на авенида Хенералиссимо к нему подошел невысокий человек в тяжелых, американского кроя ботинках и сказал:

— Я представляю организацию, которую возглавляет Аллен Даллес, вам, видимо, известно это имя. Не согласились бы вы пообедать вместе со мною? Нам есть о чем поговорить — не только помянуть былое, но и подумать о совместной работе в будущем...

Отель «Ялта» — Берлин, 1982

ОТЧАЯНИЕ (1947–1953)

Светлой памяти моего друга
Шандора Радо («Дора») посвящаю

И Аверелл Гарриман, посол Соединенных Штатов, работавший в Москве в самые сложные годы великого противостояния, и сменивший его герой сражений в Европе генерал Бэддл Смит передавали в государственный департамент сообщения, которые никак нельзя было считать сбалансированными.

Вольно или невольно они исходили в своем анализе русской ситуации из тех норм и законов, которые были записаны в их конституции и охранялись их прессой, конгрессом, сенатом, общественным мнением. Американские дипломаты, посещавшие редкие приемы в Кремле, не отрывали глаз от того стола, за которым стоял Сталин и его коллеги: они старались не пропустить ни единого перемещения, ни единого контакта членов Политбюро друг с другом; однако налицо было дружество и доброжелательная монолитность.

Шок, вызванный смещением маршала Жукова, которого западные эксперты прочили в члены Политбюро, прошел за год: сенсация на Западе недолговечна — их там каждый день подбрасывают, успевай глотать. Постепенно Жукова забыли, ибо он остался жив и даже продолжал командовать военным округом.

...Главная ошибка американцев — после забвения «дела» Жукова — заключалась в том, что они по-прежнему считали всех тех людей, которые выходили в кургузых пальто и кепках (кроме, пожалуй, Молотова и Вышинского) следом за Сталиным на Мавзолей первого мая и седьмого ноября, единым, сконцентрированным целым, к о м а н д о й, подобной тому штабу, который собирал вокруг себя каждый президент Соединенных Штатов Америки.

Они считали, что после краха Троцкого и Бухарина

Заключительная часть цикла романов «Экспансия».

(обоих терпеть не могли в Нью-Йорке за их революционную деятельность) Сталин остался с теми, кому верит беззаветно, как и они ему.

Они привыкли к тому, что рядом со Сталиным всегда стояли Молотов и Ворошилов, дальше — Жданов, Микоян, Каганович, Вознесенский, Маленков, Берия и Суслов.

Когда же однажды Георгий Маленков не появился на трибуне Мавзолея, часть дипломатов предположила, что *аппаратчик* переброшен на высший пост в Узбекистан, потому что, видимо, оттуда идет главный поток военной помощи отрядам Мао Цзэдуна. Вопрос о том, кто победит в Китае, — вопрос вопросов для Сталина; не кто иной, как Троцкий, обвинял Сталина в том, что его политика привела к путчу Чан Кайши и разгрому коммунистов в этой пятисотмиллионной стране...

И лишь один человек — корреспондент британской газеты, никогда не рекламировавший то, что его дед был русским и заставил его выучить этот язык, — сделал довольно серьезный анализ глубинных явлений, происходивших в Кремле.

Именно он пришел к выводу, что «старая гвардия», окружавшая Сталина на Мавзолее, свои позиции теряет — это «мертвые души», хотя Сталин подчеркнуто дружески переговаривался с ними на трибуне, внимательно их выслушивал и улыбчиво соглашался со всем тем, что они ему говорили.

Именно этот журналист определил для себя группу молодых лидеров, которые шли за своим *ледоколом* — будущим преемником генералиссимуса Андреем Ждановым. Этими «младотурками» он считал члена Политбюро, заместителя Сталина в правительстве, председателя всемогущего Госплана Вознесенского, великолепно проявившего себя как член Государственного Комитета Обороны, и нового секретаря ЦК Кузнецова, героя ленинградской блокады, занявшего ключевой пост Маленкова: кадры, армия, государственная безопасность. Им, этим ленинградцам, противостоял Берия, введенный в Политбюро вместе с Маленковым лишь в сорок шестом году. Теперь, однако, когда Маленков отправился в тот регион, куда в свое время был сослан бывший вождь Рабоче-Крестьянской Красной Армии Троцкий, маршал Берия остался один на один в своем противостоянии могущественной ленинградской троице.

Версия, что Маленков руководил помощью Мао Цзэдуну, отвергалась англичанином; если такая помощь

и существовала, то шла она через Алма-Ату, Монголию и Хабаровск.

Англичанин, все еще имевший как журналист определенные *выходы* на русских, узнал, что Ворошилов теперь руководил в Совете Министров культурой; это смехотворно — культурой в стране руководил Жданов; в Министерстве иностранных дел все большую силу набирал Вышинский; постепенно и аккуратно Молотова отводили в тень. Почему?

И британский журналист пришел к выводу: предстоит очередная схватка. Жданов, нынешний «человек № 2», начал проводить свою русификаторскую политику. По Москве пошли шутки, произносимые, впрочем, шепотом: «Россия — родина слонов». Действительно, из установок Жданова следовало, что все важнейшие изобретения в мире принадлежат Советам, время преклонения перед «гнилым буржуазным Западом» прошло; два грузина в Политбюро — слишком много, Сталин, постоянно подчеркивавший примат *русского*, — с ноября сорок первого, — мог пойти на то, чтобы пожертвовать Берия, вернув его в Грузию.

Опасаясь публиковать свой прогноз, чтобы не быть в тот же день выкинутым из Москвы, англичанин ограничился туманным комментарием по поводу того, что, видимо, в Узбекистане, да и вообще в Азии, предстоят серьезные перемены, если туда направлен такой авторитетный член Политбюро, каким по праву считается Маленков, постоянно стоявший на трибуне Мавзолея вместе с Лаврентием Берия.

...На самом же деле ситуация была куда более сложной и напряженной, чем мог предполагать англичанин, верно почувствовавший н е ч т о, но незнакомый с великим таинством византийской интриги...

1

Все те дни, пока Исаев лежал в трюме и слышал над собою постоянный, изматывающий гроход двигателей, он видел только одно лицо — человека, который приносил миску ухи и, сняв наручники, бесстрастно следил за тем, чтобы все было съедено. Возможно, в уху мешали снотворное, потому что сразу после этого Исаев погружался в тупое и бессильное забытье; противиться судьбе он был не в силах уже, воспринимая происходящее отстраненно, равнодушно.

Однажды, правда, сказал:

— Я все время потный... Очень жарко... Можно принять душ?

— Никс фарштеен, — ответил человек, и тогда Исаев понял, что все эти дни уху ему приносил русский.

Не может быть, сказал он себе, чтобы наши проломили мне голову в порту; это какой-нибудь власовец; я не имею права ему открываться; какое же это было счастье, когда я добрел до нашего торгпредства, и *открылся*, и слышал *своих*, ел щи и картошечку с селедкой, и постоянно торопил товарищей, чтобы они выехали туда, где ждал помощи Роумэн с запеленутым Мюллером, а они успокаивали меня, говорили, чтоб я не волновался, уже, мол, поехали; хотите еще рюмашку; надо расслабиться; вы ж *дома*, сейчас мы вас довезем до порта, тут оставаться рискованно, знаете ситуацию лучше нас, пойдете по седьмому причалу, там вас встретят, угощайтесь, *дорогой*...

Как же лихо меня перехватили, сонно думал он; стоило нашим отстать на сто метров всего, стоило мне остаться одному — и все! Я ж знал, что меня пасут, постоянно, каждодневно, ежечасно пасут, надо было бежать сквозь этот масляный, липкий провал портовой затаенной темноты и очутиться возле сходен нашего корабля, а я не бежал, у меня сил не было бежать, и какой-то вялый туман в голове до того мгновения, пока я не ощутил раскалывающий треск в темечке, и это было последнее, что я ощутил тогда, на берегу Атлантики, в душных тропиках, пропахших рыбой, мазутом и канатами, — у каждого каната в порту свой особый запах, странно, почему так?

...Утром тот же человек поднимал его, снимая с ног веревки, и вел в туалет; дверь закрывать не разрешал, внимательно смотрел, как он корчился над узкой горловиной гальюна; на корточках долго сидеть не мог: снова ломило в позвоночнике, как до того дня, пока его не вылечила индианка, когда ж это было? Как ее звали? Кыбывирахи? Или это вождь, ее муж? Ее звали Канксерихи, кажется, так...

...На гвозде висел один лист белой бумаги, его приходилось долго разминать, потому что бумага была канцелярская, твердая, чуть ли не картон.

— Слушайте, — сказал как-то бессловесному человеку Исаев, — неужели на судне нет пипифакса?

— Никс фарштеен, — заученно ответил тот, надевая на запястья Исаева наручники.

...Он мог осознанно, *поэтапно* думать лишь утром, перед походом в гальюн — до ухи и перед ухой-ужином; все остальное время лежал в мокром беспамятстве, руки в наручниках, ноги повязаны, словно у коня в ночном, тело задеревеневшее, лишь изредка сведет судорогой икры, но он воспринимал эту судорогу как благо, свидетельство того, что жив, что происходящее не бред, а явь, самая что ни на есть реальность...

Он потерял счет дням, но понял, что плавание длится долго, потому что брюки не держались на нем — от жары похудел; попросил дать ремень.

— Никс фарштеен...

Через несколько дней он сказал:

— Переверните матрац, он мокрый, вы меня так живым не довезете, накажут...

— Никс фарштеен, — ответил человек, и в глазах у него сверкнуло ледяным, искристым холодом.

Однако назавтра, когда его повели в гальюн, матрац заменили: вместо того, который превратился в мокрую, пропахшую потом и мочой труху, бросили пару байковых одеял. На одном из них он обнаружил выцветшее клеймо: «т/х Валериан Куйбышев».

...Значит, правда, сказал он себе; значит, все, что я гнал от себя все эти годы, чему запрещал себе верить, что постоянно рвало сердце, — правда.

С мучительным стыдом он явственно увидел лица Каменева, Кедрова и Рыкова, когда семнадцатилетним впервые переступил порог Смольного в Октябре. Он в три дня легко освоил вождение «мотора» и попеременно возил на французском авто Антонова-Овсеенко и Подвойского.

Отец проводил дни и ночи вместе с Мартовым и Либером; встречались редко, ночью, чаще всего под утро.

— Севушка, — говорил тогда отец, — ты с теми, кто не хочет думать о реальностях. Нельзя удержать власть в одиночку! Нельзя отбрасывать всех, кто начинал революцию в этой стране, сие чревато...

— Папа, даже мудрейший и честнейший Владимир Львович Бурцев кричит: «России нужна сильная личность, хватит болтовни, необходим порядок, пора действовать!» Это же страшно, папа: призыв к «сильной личности» означает путь в военную диктатуру и новую монархию — пусть наполеоновскую, но монархию! А вы? Что предлагаете вы, меньшевики? Где ваша программа?

«Ждать»?! Но ведь придет новый Корнилов, расставит казаков по углам и вас же повесит на столбах вместе с нами и товарищами эсерами... Армия доведена до белого каления, армия готова на все: она не прощает проигранных войн...

— Лебедь, рак и щука, — вздохнул отец. — Когда сегодня Керенский назвал происходящее на улицах «бунтом черни», Мартов заклеймил его как человека, объявившего гражданскую войну революции... Даже член партии Керенского чистейший Миша Гоц потребовал от Временного правительства программы... Да, мы подвержены извечной хворобе русского либерализма — болтовне и пустым дебатам, — но нельзя требовать власти одной партии, это такая же диктатура, как бурцевская «сильная личность»... Я обещаю тебе поговорить с Бурцевым, Севушка, но не связывай себя накрепко с теми, кто играет азартную игру во власть...

— Предложение? — сухо спросил он отца. Как же мы умеем обижать максималистским тоном, как же безжалостны мы в вопросах, на которые нет и не может быть однозначных ответов...

Отец тогда посмотрел на него с укором:

— Думать, Севушка, думать... Ты прав, мы с Мартовым и Плехановым болеем традиционной болезнью — споры, поиск оптимального пути, составление резолюций, просчет вероятий, боязнь крутых решений... Все верно, сынок, на то мы и русские, но примет ли народ западноевропейскую модель революции, которую столь решительно предлагают Ленин и Троцкий? Об этом ты думал?

...Когда человек принес уху, Исаев *собрал* себя, был готов к *работе*: натужно сблевав в миску, он оттолкнул ее, отвалился на спину, застонал:

— Воды-ы-ы... Умираю... Скорей...

Он перешел на русский; да, я у своих, «т/х Куйбышев», но *свой* ли я *этим* своим?!

А если я им не свой, значит, пришло время *работать*.

Человек, испуганно глянув на Штирлица, прогрохотал по лестнице своими громадными бутсами, и, когда он убежал, а несъеденная уха со снотворным или какой иной гадостью, медленно зыбясь на металлическом полу, стекла в угол отсека, — в такт работе машин, — Исаев расслабился и сказал себе: времени тебе отпущено немного, начинай готовиться к тому, во что ты запрещал себе

верить, — как можно верить перебежчикам вроде Бажанова, Кривицкого, Раскольникова?!

А ты, спросил он себя, ты, который был весь Октябрь в Смольном, ты искренне верил тому, что писали о *нас* в конце тридцатых? Нет, ты не верил, ответил он себе со страхом, но ты считал, что дома происходят процессы, подобные тем, что сотрясали республиканский Конвент Франции, — Марат, Дантон, Робеспьер... А кем ты считал Сталина? Робеспьером или Наполеоном? Отвечай, приказал он себе, ты обязан ответить, ибо врачевать, не поставив диагноз, преступно... Почему Антонов-Овсеенко тогда, в Испании, во время последней встречи, смотрел на тебя с такой плачущей, бессловесной тоской? Почему он не ответил ни на один твой вопрос, а сказал лишь два слова: «приказано выжить»? Почему он запретил тебе возвращаться домой? Почему он повторял, как заклинание: «Главное — победить здесь фашистов...»

А почему ты отказался вернуться в Москву, когда тебя наконец вызвали — накануне войны?! Только ли потому, что ты считал невозможным бросить работу против нацизма?

Ты боялся, признался он себе, ты попросту боялся, потому что все те, кого начиная с тридцать седьмого вызывали в Москву, исчезли навсегда, бесследно, словно канули в воду...

Ты спрятался за спасительное антоновское «приказано выжить», ты решил *ждать*... Сын своего отца — ожидание никогда не приводит к победе... Точнее — «одно ожидание»... Не надо так категорично отвергать великое понятие *ждать*... Ждут все: и Галилей в тюрьме инквизиции, и палач, готовящийся к казни Перовской, и Станиславский, выходящий на генеральную репетицию, и тиран, замысливший термидор, и революционер, точно чувствующий ту минуту, когда необходимо выступить открыто и бескомпромиссно. Ты успокаивал себя придуманной самозащитой: крушение гитлеризма неминуемо поведет к изменению морального климата дома...

Не ускользай от самого себя, приказал он себе. Ответь раз и навсегда: ты верил, что Каменев, Бухарин, Рыков, Радек, Кедров, Уншлихт — шпионы и враги?

Ты никогда не верил в это, сказал он себе и почувствовал освобождающее облегчение. Но тогда отчего же ты продолжал служить тем, кто уничтожил твоих друзей? За что мне такая мука, подумал он. Почему только сейчас, у *своих*, ты должен исповедоваться перед самим

собой?! Это не исповедь, а пытка, это страшнее любой пытки Мюллера, потому что он был врагом, а моих друзей убивали мои же друзья...

Он вспомнил их маленькую квартирку в Берне, вечер, отца возле лампы, книгу, которую он держал на своей большой ладони — нежно, как новорожденного; вспомнил его голос, а из всех отцовских фраз, которые и поныне звучали в нем, — особенно трагичные: «Отче святый, — говорили недовольные Годуновым патриарху Иову, — зачем молчишь ты, ви́дя все это?» Но чем могло кончиться столкновение патриарха с царем? И патриарх молчал; «Видя семена лукавствия, сеямыя в винограде Христовом, делатель изнемог и, только господу Богу единому взирая, ниву ту недобруя обливал слезами...»

А потом отец читал о некоем *человеке* князя Шестунова по имени Воинко, который донес на своего барина, и за это ему сказали царское жалованное слово и отблагодарили поместьем. «И поощрение это произвело страшное действие: боярские люди начали умышлять всяко над своим барином, и, сговорившись человек по пяти-шести, один шел доносить, а других ставил в свидетели; тех же людей боярских, что не хотели души свои губить, мучили пытками и огнем жгли, языки резали и по тюрьмам сажали, а доносчиков царь Борис жаловал своим великим жалованием, иным давал поместья, а иным — из казны — деньги. И от таких доносов в царстве была большая смута: доносили друг на друга попы, чернецы, пономари, просвирни, даже жены доносили на мужей своих, а дети — на отцов, так что от такого ужаса мужья таились от жен своих, и в этих доносах много крови проливалось неповинной, многие от пыток померли, других казнили, иных по тюрьмам рассылали»...

Отец тогда оторвался от книги, внимательно посмотрел на сына и заключил: «Борис не мог проникнуться величием царского сана и почерпнуть в нем источник спокойствия и милости... Борис и на престоле по-прежнему оставался подозрительным... Он даже молитву придумал особую для подданных, при заздравных чашах: «Борис, единый Подсолнечный Христианский царь, и его царица и их царские дети на многие лета здоровы будут»...»

А знаешь, спросил тогда отец, сколько погибло в Москве от голода в ту пору? Не отгадаешь: полмиллиона человек! Зато хоронили всех за царские деньги, а хлеб купить, что немцы в Архангельск привезли, Борис за-

претил: «Негоже иноземцам знать про наши дела, мы самая богатая держава Европы, такого мнения и держаться станем!»

...Исаев услышал грохот торопливых шагов и сразу понял, что спускаются двое — один в бутсах, знакомый ему «никс фарштеен», а второй ступает мягче, видимо, в ботинках.

Действительно, второй был в лакированных туфлях на босу ногу, в плавках и с докторским чемоданчиком в руке.

— Эй, — сказал он, всячески избегая русских слов, — блют прессион, гиб мир ханд...

Исаев затрясся от приступа смеха, пришедшего изнутри как избавление от безысходности. Рта он не разжимал, губы пересохли, кровоточили; если позволить себе рассмеяться в голос, кровь потечет по подбородку, шее, груди, а у него выработалось особое отношение к себе — он постоянно видел себя как бы со стороны, так же оценивал свои поступки; не терпел неряшливости, был точен до секунды, всегда ощущал в себе часы, ошибиться мог на пару минут от силы, жил по собственному графику, в котором не было таких слов, как «забыл», «не успел», «не смог».

— Пусть наручники снимет, — прошамкал Исаев. — Как же вы мне давление померяете?

— Никс фарштеен, — повторил тот, что в бутсах, и снял наручники.

...Исаев поверил в магию индейцев, убедившись в их великом, недоступном нам *знании* на собственном опыте; он научился сдерживать дыхание, учащать пульс, останавливать его даже; ну, меряй, подумал он, я тебе подыграю, испугаешься...

Через час его перевели в другое помещение, где не так грохотало и не было угарного машинного смрада, обтерли мокрым полотенцем и дали чашку воды — она была сладкой, без *подмеси*, поэтому проснулся он рано, часа за три перед тем, как должен прийти *уханосец*. Он был убежден, что не ошибается во времени, и не торопясь начал допрашивать себя, силясь понять, чего же от него хотят *свои*?

...На третий день корабль пришвартовался: голосов по-прежнему слышно не было. Спустился «никс фарште-

ен», снял наручники, бросил пиджак и туфли, дождался, пока Исаев оденется, натянул ему на голову капюшон и, подхватив под руку, повел по скользким, маслянистым лестницам наверх.

На палубе, вдохнув свежего воздуха, Исаев упал. Сколько был в беспамятстве — не помнил, ощутил себя на кровати, шелковая подушка, мягкое, верблюжьей шерсти одеяло. Руки и ноги были свободны, пахло сухим одеколоном, чем-то напоминавшим «кёльнскую воду».

Он пошарил рукой вокруг себя, натолкнулся на лампочку, включил ее: стены комнаты были отделаны старым деревом, окна закрыты тяжелыми металлическими ставнями; в туалете нашел английскую зубную пасту, английское мыло.

Ты дурак, Исаев, сказал он себе; ты посмел грешить на своих и раскрылся, ты заговорил по-русски, чего не делал четверть века, тебе крышка, одна надежда и осталась — на *своих*. Мыслитель сратый, русскую смуту вспоминал! А чем она отличалась от тех, что были в Англии?..

2

— Здравствуйте, я ваш следователь, меня зовут Роберт Клайв Макгрегор. После того как мы проведем цикл допросов, вы вправе вызвать адвоката: если бы вы не были тем, кем были, мы бы дали вам право пригласить любого адвоката уже на этой стадии следствия.

— А кем я был? — поинтересовался Исаев.

— Мы располагаем достаточной информацией о вашем прошлом. Суть следствия заключается в том, чтобы во время нашего диалога окончательно расставить все точки над «i».

— Могу я задать вопрос?

— Пока мы не начали работу — да.

— Вы назвали свое имя, но я не знаю, какую страну вы представляете...

— Я представляю секретную службу Великобритании. Удовлетворены ответом?

— Вполне. Благодарю.

— Фамилия, имя, место и год рождения?

Исаев готовился к такому вопросу, он понимал, что все зависит от того, кто, где и как будет произносить эти, казалось бы, столь простые слова, но, услыхав их, ощутил растерянность, не зная, что ответить...

...Приученный двадцатью пятью годами к тому, чтобы анализировать, рассматривая и оценивая с разных сто-

рон не то что слово, но даже паузу, взгляд и жест — как свой, так и собеседника, — Исаев был убежден, что своим, вернись он на Родину, и отвечать не придется, там все знают... Однако во время морского, столь страшного путешествия с «никс фарштеен» он раскрепощенно, с душащей обидой и презрением разрешил себе наконец *услышать* тот вопрос, который жил в нем начиная с тридцать шестого года, после процесса над Львом Борисовичем и Зиновьевым; «А, собственно, кто теперь знает обо мне, если Каменев, Зиновьев, Бакаев и даже курьер Центра Валя Ольберг — враги народа?»

В тридцать седьмом, когда один за другим исчезли те, кто строил ЧК, кто знал его отменно: Артузов, Кедров, Уншлихт, Бокий, Берзинь, Пузицкий, он ощутил зябкую пустоту, словно окончательно порвалась пуповина, связывавшая с изначалием; с осени тридцать девятого люди из Центра вообще перестали выходить на него.

Пакт с Гитлером он принял трагично, много пил, искал оправдания: объективные — находил, но сердце все равно жало, оно неподвластно логике и живет своими законами в системе таинства под названием «Человек».

...Именно тогда Исаев заново прочитал книгу Вальтера Кривицкого, резидента НКВД в Париже, который выступил с разоблачением Ягоды, Ежова и Сталина. Исаев хорошо знал Кривицкого, у них было три встречи в Париже и Амстердаме во время прогулки на туристском катере по тихим каналам, над которыми медленно стыли чайки; тогда его отчего-то поразило, что они не кричали, как на берегу или в порту, странно...

Сразу после того, как уход Кривицкого стал сенсацией, в тридцать седьмом еще, Исаев затаился: «если он предал — значит, назовет имена Шандора, Треппера и мое». Цепь, однако, продолжала функционировать; отозвали трех товарищей — видимо, боялись за них, но потом *докатилось*, что дома их расстреляли...

Значит, Кривицкий хранил в себе то, что ему предписывал долг? Значит, он не открыл имен *товарищей* по борьбе с нацизмом? Значит, действительно он ушел по идейным соображениям? Предатель в разведке прежде всего открывает имена друзей, но ведь Вальтер знал Яна, Кима, но ни словом не упомянул о них...

...Кривицкого убили, он унес с собой имена товарищей, никто в Европе не был схвачен; значит, он выбрал путь политической борьбы против террора, а не измены?

Тем не менее Исаев тогда сменил квартиру и лег на грунт, стараясь понять, нет ли какой-то связи между

происходящим дома и тем, что ежечасно затевалось в сером здании на Александерплац и в тех конспиративных квартирах, где он мог появляться, не вызывая подозрения у руководства. Как никто другой, он четко знал внутренние *границы* рейха: «это мое дело, это мой агент, это моя информация — не вздумай к ним прикоснуться; собственность».

Он заметил ликование в РСХА, когда пришло сообщение, что на партконференции из ЦК «за плохую работу» был выведен бывший нарком иностранных дел Литвинов; иначе, как «паршивый еврей, враг НСДАП», его в Германии не называли.

Именно тогда в баре «Мексико», крепко выпив, Шелленберг поманил пальцем Штирлица и, бряцая стаканами, чтобы помешать постоянной записи всех разговоров, которые велись тут по заданию Гейдриха, шепнул:

— Зачем война на два фронта? Ведь Сталин расстилается перед нами! Он капитулировал по всем параметрам! Он подстраивается под наши *невысказанные* желания, чего ж больше?!

Штирлиц отправил шифрованную телеграмму об этом из Норвегии, приписав, что ответа может ждать только один день, дал адрес отеля — не своего, а того, что был напротив. Через пять часов неподалеку от парадного подъезда остановился «паккард», вышли трое: заученно разбежались в разные стороны — рассматривать витрины; тот, кто сидел за рулем, отправился к портье, пробыл там недолго, вышел, пожав плечами, сел в машину и уехал; троица осталась.

Через десять минут Исаев позвонил портье, назвался Зооле — тем псевдонимом, который тогда знала Москва, спросил, не приходил ли к нему, директору Любекского отделения банка, господин высокого роста в бежевой шляпе.

— Он только что ушел, господин Зооле, очень сожалею! Хотите, чтобы я послал за ним человека? Возможно, он еще ждет такси.

— Нет, спасибо, — ответил Исаев, — пошлите вашего человека в отель «Метрополь», это наискосок, пусть оставит портье письмо моего друга, он же принес мне письмо?

— Оно передо мной, господин Зооле, сейчас оно будет в «Метрополе».

В шифрописьме говорилось: «Спасибо за ценнейшее сообщение. В Берлин вам возвращаться рискованно,

позвоните в посольство, назовитесь и оставьте адрес, о вас позаботятся...»

Через полчаса Исаев, сломанный и раздавленный, выехал на аэродром и взял билет в Берлин...

А может быть, действительно в стране случилось самое страшное и к власти пришли те, кто *хочет* Гитлера? Кто же его хочет?

И он не посмел тогда дать ответ на этот вопрос — жалко, сломанно, с ощущением мерзкой гадливости к самому себе...

...Куда бы я отсюда ни бежал, сказал он себе тогда, понимая, что в который уже раз оправдывает себя, вымаливая у себя же самого индульгенцию, меня всюду будут воспринимать как оберштурмбанфюрера СС, врага, нациста, губителя демократии... Я лишен права сказать, кто я на самом деле, потому что враги начнут кампанию: «гестапо и НКВД умеют сотрудничать даже в разведке, совместимость»... Вальтер Кривицкий ушел чистым... Я *служил* в РСХА, я замаран тем, что ношу руны в петлицах и имею эсэсовскую наколку на руке...

Ну ты, сказал он себе, вернувшись в Берлин, сейчас надо сделать все, чтобы вернуться — нелегально — домой. И уничтожить там тех, кто предал прошлое. Это высшая форма преступления — предательство прошлого. Такое не прощают. За это казнят... Ты способен на это? Или ты трус, спрашивал он себя требовательно, с бессильной яростью.

Эта мысль постоянно ворочалась в нем до того дня, пока он не прочитал фрагменты плана «Барбаросса», а затем в марте сорок первого получил шифровку из Центра, поначалу испугавшую его, ибо никто не знал его нового адреса: «Ситуация в Югославии складывается критическая, враги народа, провоцировавшие дома репрессии, ликвидированы, просим включиться в активную работу».

Исаев испытал тогда счастливое облегчение, уснул без снотворного, однако наутро проснулся все с той же мыслью: «Значит, ты все простил? Ты все забыл, как только тебя поманили пальцем?»

Но тогда он уже вновь обрел право дискутировать с самим собою, и поэтому он круто возразил себе: «Меня поманили не пальцем, я не проститутка, мне открыто сообщили, что были *репрессии* и что с приходом нового наркома Берия прошлое кануло в Лету: Марат — Дантон — Робеспьер; революция не бывает бескровной...

— Я не стану отвечать на ваш вопрос, мистер Макгрегор...

Тот кивнул, закурил, пододвинул Исаеву «Винстон», записал ответ в лист протокола и перешел ко второму вопросу:

— Фамилии, имена, годы и места рождения ваших родителей?

— И на этот вопрос я отвечать не стану.

— Являетесь ли вы членом какого-либо профсоюза, партии, пацифистской организации?

— Прочерк, пожалуйста...

Макгрегори улыбнулся:

— Насколько мне известно, понятие «прочерк» присуще лишь тоталитарным государствам. Мы придерживаемся традиций. Я должен записать ваш ответ.

— Я не отвечу и на этот вопрос.

— Имя и девичья фамилия жены?

— Я не отвечаю.

— У вас есть дети?

— Не отвечаю...

Макгрегор перевернул страницу, снова закурил, заметив:

— С наиболее скучными вопросами мы покончили, теперь перейдем к делу.

Он раскрыл вторую папку, достал оттуда фотографию Штирлица, сделанную кем-то в Швейцарии возле пансионата «Вирджиния», когда он искал несчастного профессора Плейшнера:

— Знаете этого человека?

— Чем-то похож на меня...

— Но это не вы?

— Нет, это не я.

Макгрегор пододвинул папку:

— Поглядите: там есть ваши фото в форме, вместе с Шелленбергом в Лиссабоне, данные из вашего личного дела, характеристики...

Все верно: Макс фон Штирлиц, штандартенфюрер СС, истинный ариец, отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера, предан идеалам НСДАП, характер нордический, стойкий, спортсмен, порочащих связей с врагами рейха не имел, родственников за границей нет, фамилию не менял, никто из близких не был арестован гестапо...

— Этого человека знаете? — усмехнулся Макгрегор. — Или нужны очные ставки?

— Я бы не отказался от очных ставок.

— Вы их получите. Но лишь после того, как мы кончим наше собеседование.

— Мистер Макгрегор, собеседования не получится. Я не стану отвечать ни на один ваш вопрос.

Тот покачал головой:

— На один ответите: как вы себя чувствуете после столь отвратительного путешествия? Пришли в себя?

— Да, в какой-то мере.

— Врач не нужен?

— Нет, благодарю.

— Не сочтите за труд закатать рукав рубашки, я хочу сфотографировать номер вашей эсэсовской татуировки.

Исаев помедлил мгновение, понял, что отказывать глупо, отвернул рукав, дал сфотографировать татуировку — невыводимо-въедливую: тысячелетний рейх не допускал и мысли о возможном крахе, все делалось на века, прочно.

...А потом в эту *комнату* с металлическими тяжелыми ставнями ввели штурмбанфюрера СС Риббе из гестапо — сильно похудел, костюм болтается, глаза пустые, недвижные, руки бессильно висят вдоль тела.

— Вы знаете этого человека? — обратился к нему Макгрегор.

— Да, он мне прекрасно известен, — монотонно-заученно отрапортовал Риббе. — Это штандартенфюрер СС Штирлиц из политической разведки, доверенное лицо бригадефюрера Шелленберга.

— Вам приходилось работать со Штирлицем?

— Нет.

— Благодарю вас, — с традиционным оксфордским придыханием учтиво заметил Макгрегор, — можете возвращаться к себе.

Следующим был Воленька Пимезов, бывший помощник Гиацинтова, начальника владивостокской контрразведки в двадцать втором — последней обители белой России.

— Знаете этого человека?

Воленька был в отличие от Риббе совершенным живчиком с сияющими глазами, похудевший, но не изможденный, на Исаева смотрел с восторженным интересом:

— Господи! Максим Максимович! Сколько лет, сколько зим! И вы здесь!

— Мистер Пимезов, — неожиданно резко, словно бы испугавшись чего-то, прервал его Макгрегор, — пожа-

луйста, без эмоций! Отвечайте только на мои вопросы! Вам знаком этот человек?

— Конечно! Это Исаев, Максим Максимович...

Макгрегор обратился к Исаеву:

— Вы знаете этого человека?

— Нет.

— Мистер Пимезов, — меланхолично продолжал Макгрегор, — когда, где и при каких обстоятельствах вы познакомились с человеком, представленным вам к опознанию?

— Максим Максимович Исаев был ответственным секретарем газеты господина Ванюшина у нас во Владивостоке начиная с двадцать первого...

Исаев почувствовал, как сжало сердце, вспомнил громадину Ванюшина, его глаза, полные слез, когда он в номере хабаровского отеля, развалившись на шкуре белого медведя — главном украшении трехкомнатного люкса, — дал ему заметочку из газеты: «Вы прочтите, прочтите повнимательней, Максим Максимович! Или хотите — я? Вслух? С выражением? А? Извольте: «Вчера у мирового судьи слушалось дело корреспондента иностранной газеты по обвинению в нарушении общественной тишины... Корреспондент этот, Фредерик Раннет, сказал своим гостям-иностранцам в ресторане, что в России можно любому и всякому дать по физиономии и ограничиться за это штрафом... Заключив пари, Раннет подошел к лакею Максимову и дал ему оплеуху. Суд приговорил Раннета к семи дням ареста...» А?! Каково?! И заголовочек: «В России все можно!». У нас все можно, воистину! Вот мне давеча наш премьер Спиридон Дионисьевич Меркулов излагал свое кредо: «В репрессалиях супротив политических противников дозировка не потребна, друг мой! Тот станет у нас великим, кто пустит кровь вовремя и к месту — тогда пущай ее хоть реки льются... Это вроде избавления от болезни, это как высокое давление спустить, людскую страсть утихомирить! Главное — врагов *назвать*, от них беда, не от самих же себя?!»

— Что вы можете сказать о деятельности Исаева? — Макгрегор смотрел на Пимезова с легкой долей презрения.

— Блестящий журналист, «перо номер два», его обожали в Приморье...

— Что имеете добавить к этим показаниям?

— То, что в течение последних семи месяцев, перед тем как банды Красной Армии вошли во Владивосток, мы тщательно следили за Максим Максимычем, подозревая его, и не без основания, в том, что он является лазутчиком красных.

Макгрегор обернулся к Исаеву:

— Отвергаете?

Тот кивнул.

Макгрегор отпустил Пимезова (английский у бедолаги ужасающий, путает времена, слова произносит на русский лад), протянул Исаеву папочку розового цвета:

— Ознакомьтесь...

Исаев открыл папку и впервые *дрогнул:* прямо в его лицо смотрели горестные глаза Сашеньки Гаврилиной.

Он долго не мог оторваться от ее фотографии (отметил машинально, что это не подлинник, а копия), потом аккуратно прикрыл папку:

— Мистер Макгрегор, я бы хотел понять, чего вы от меня хотите? Возможно, это поможет нашему диалогу...

Тот согласно кивнул:

— Я готов ответить. Меня и мою службу интересует, на кого вы работали по-настоящему: на красных, Шелленберга или на представителя американской разведки мистера Пола Роумэна, вместе с которым, начиная с сорок шестого года, развили бурную активность в Латинской Америке по розыску шефа гестапо Мюллера?

— Если я отвечу, что по-настоящему работал лишь на красных, это может оказаться некоторым конфузом для британской службы: допрашивать представителя русского союзника без сотрудника посольства...

— Вы совершенно правы, мистер Штирлиц-Исаев... Но ведь вы не сделали подобного рода заявления... Поэтому я допрашиваю вас как эсэсовского преступника...

— Значит, если я сделаю такое заявление, представитель русского посольства будет приглашен сюда?

Макгрегор пожал плечами:

— Кто же приглашает дипломатов на конспиративную квартиру секретной службы? Мы подыщем для этого другое место... Итак, я могу записать: вы признаете, что работали на русских?

— Да.

— Назовите имена тех, кто может поручиться за вас в Москве.

Исаев ощутил физически, как англичанин его ударил: кого он может назвать? Кого? Постышева? Блюхера?

Каменева? Кедрова? Уншлихта? Артузова? Берзина? Кого?!

— Я считаю это нецелесообразным.

— Могу поинтересоваться: отчего?

— На этот вопрос отвечать не стану.

— Как нам сообщить русским ваше имя?

— А вы дайте им те имена, которые называли господа, вызванные вами для опознания...

— Хорошо, — и Макгрегор протянул Штирлицу свое вечное перо. — Пожалуйста, убедитесь в правильности ваших ответов и подпишите каждый.

Убедившись в том, что его ответы записаны верно — полное отрицание всего и вся, — Максим Максимович подписал каждый свой ответ.

Макгрегор спрятал бумагу в портфель, откланялся и, уже открыв дверь комнаты-камеры, задумчиво спросил:

— А если бы вам не постелили одеяло с клеймом «Куйбышева», вы бы заговорили по-русски?

И, не дождавшись ответа, вышел.

3

Ночью Исаев уснуть не мог, заново анализировал всю беседу с этим придыхающим Макгрегором, то и дело возвращался к странному поведению Риббе — живой мертвец, что с ним сделали; потом от Пимезова перебросился памятью к последнему дню во Владивостоке, когда Ванюшин привел его к своему лакею Миньке, тот еще в доме ванюшинских родителей, при рабстве, был «мальчиком», и услыхал слова его квартиранта, приват-доцента Шамеса, словно это не четверть века назад было, а только что, в этой странной деревянной комнате... Маленький, с пушкинскими баками Шамес тогда жарко вещал ему, Исаеву, и Ванюшину: «Если вы сможете зафиксировать электромагнитные волны, исходящие из мозга только что умершего, они будут такими же, как у живого. Они исчезнут лишь на третий день, когда — по нашему христианскому присказу — душа уйдет из тела... Да, да, я верующий, выкрест, хоть и говорят, мол, жид крещеный, что конь леченый... Поймите, и первый, и второй день покойник фиксирует все происходящее вокруг него! Я еще не ответил себе: *организуется* ли это слышимое в ужас там, в таинственном, распадающемся мозгу покойника? Ведь на самом деле выходит не душа, а энергия, мощь разума человеческого... Энергия не исчезает — в этом я согласен с марксистами.

Но если она не исчезает, значит, разум бесконечен, а человек духовно бессмертен? Покойник и после смерти оставляет *здесь* свои электромагнитные волны, и, если я проживу еще несколько лет и Россия не сожрет самое себя, я сконструирую аппарат, который запишет речи Нерона, плач Ярославны и невысказанные, то есть истинные, мысли Макиавелли... Не смейтесь! (Я действительно смеялся, вспомнил Исаев, я хохотал тогда.) Не зря говорят: «идеи носятся в воздухе!» Стоит только настроиться на них, и тогда высший разум мира войдет в вас, и вы станете новым пророком, и вас распнут продажные торговцы, и все начнется сначала... Что вы смеетесь?! (Я смеялся; Ванюшин слушал завороженно, с неизбывной тоской.) Вы просто не задумывались над тем, отчего все великие люди либо маленькие ростом, вроде Мольера, Наполеона, Пушкина, Лермонтова, Ленина, либо великаны, как Петр, Кромвель, Линкольн! А в чем дело? В том, что они вне среднего уровня человечества, поэтому им сподручнее настраиваться и принимать электромагнитные волны ушедших гениев...» Ванюшин тогда вздохнул: «Свернут вам голову, Рувим, либо наши изуверы, либо красные...» Шамес зашелся смехом: «Думаете, я боюсь? Нет, вообще-то я, конечно, трус, но за жизнь как таковую страха не испытываю. Почему? А потому, что я, как и вы, есть пустота! Вы касаетесь меня пальцем, и вы ощущаете меня, но чем вы меня ощущаете и что вы ощущаете?! Тело состоит из атомов. А ведь атом — это ядро, вокруг которого в громадной пустоте вращаются крошечные невесомые электроны. В пустоте! Следовательно, вы прикасаетесь пустотой к пустоте! В мире нет массы! Есть энергия и магнитное поле! И все! Тело — миф! Мы бестелесны. Мы из атомов и пустоты, вода — из того же, дерево, корова, Достоевский, Тинторетто, Джоконда... Мы все подданные бестелесной материи, чего же бояться?!»

...Откуда англичане могли получить фото Сашеньки, спросил себя Исаев. Этот вопрос не давал покоя, рождал какое-то напряженное чувствование, не оформившееся еще в мысль, но затаившееся во всем его существе.

Идет игра, ему это было ясно, идет по тем правилам, которые он не смог еще понять, но они, эти правила, были изощренными, безукоризненны по форме, но при этом как-то уж слишком упрятаны.

Этот Макгрегор легко доказал мне, что он знает про Штирлица, Исаева, про Сашеньку и, наконец, про Пола Роумэна. Это очень много, это успех, я в нокауте.

Но отчего он не закрепил свою позицию *наступлением*? Почему? Англичане — при всем их такте — жесткие политики, их национальный характер более всего проявляется в спорте: они подарили миру теннис, футбол и бокс, они умеют силово, мотающе, но тактично атаковать, чего же не атаковал Макгрегор? По-моему, его вообще не очень-то интересовали мои ответы, он добивался другого. Чего?

...Человек в полувоенной форме без погон вошел к нему с подносом, как и вечером: тарелка с овсянкой, кусок хлеба с сыром и чашка с жидким кофе. Как и вечером, он дождался, пока Исаев закончил завтрак, забрал тарелку в первую очередь, потом уже чашку и ложку.

— Когда у вас время прогулок? — спросил Исаев.

— У вас пока нет прогулок.

— Почему? Я наказан?

— Задайте вопрос тому, кто ведет ваше дело.

— А библиотека? Я могу пользоваться услугами тюремной...

— Здесь не тюрьма.

С этим человек вышел, мягко прикрыв за собою массивную, на пневматике, дверь...

...Через пять дней снова пришел Макгрегор, протянул Исаеву листок бумаги:

— Распишитесь.

Исаев прочитал текст: «По настоянию штандартенфюрера СС Штирлица, который утверждает свою принадлежность к русской разведке ("М. М. ИСАЕВ"), означенный Штирлиц передается советским властям».

Лихая закорючка вместо подписи под текстом: «помощник начальника отдела»; дата; ни номера, ни печати.

— Согласны с такого рода решением? — спросил Макгрегор.

— Абсолютно.

— Извольте дописать: «С решением согласен». И распишитесь. Той фамилией, которую сочтете более удобной.

— Устного согласия недостаточно?

— Нет. Вы, видимо, слыхали, что множество русских отказываются вернуться домой, справедливо полагая, что их, как всех пленных, которые заразились,— Макгрегор усмехнулся,— западным вольнодумием, отправят в Сибирь. Чтобы в будущем вы не вчинили нам иск за то,

что мы отдали вас большевикам, извольте выполнить формальность.

Исаев подписал бумагу, Макгрегор кивнул ему и молча вышел.

4

Его привезли на загородный аэродром к дребезжащему полувоенному «дугласу» с двумя рядами металлических стульев, закрытых тулупами, и с двумя кушетками в первом отсеке.

Возле двери пилотов, после молчаливого акта передачи Макгрегором таинственного пленника (по ночному городу везли с завязанными глазами; Исаеву почудилось, что дзенькал трамвай, как московская «аннушка» в те благословенные годы, когда был жив папа; странно — разве в лондонских пригородах ходят трамваи? Впрочем, почему я думаю, что это Лондон, а не Глазго или Манчестер?), капитан, назвавшийся Перфильевым, сердечно приветствовал Штирлица, и самолет с тщательно закрытыми иллюминаторами ушел в небо.

— К столу, Всеволод Владимирович, — Перфильев назвал его так, как последний раз называл Уншлихт в двадцать первом, когда встретились в Реввоенсовете республики: отправляясь во Владивосток, Владимиров, впрочем, тогда уже Исаев, был по рекомендации Дзержинского принят зампредом РВС Склянским, а потом, минут на пять всего, его пригласил к себе наркомвоенмор Троцкий.

...На ящике, укрытом газетами, стояли бутылка коньяка, банки шпрот, сардин и крабов; сырокопченая колбаса, сыр, сало.

Потрясли Исаева яйца, сваренные вкрутую; за четверть века отвык; на Западе так не готовят...

Или оттого, что выпил он большой фужер коньяку (капитан Перфильев только пригубил: «Я еще должен работать во время рейса, Всеволод Владимирович, не взыщите»), то ли оттого, что стало ему сейчас сладостно-спокойно, ушли из головы все эти «никс фарштеен», страшные унижения в гальюне, странный Макгрегор, вон всякий сор из головы, он — неожиданно для себя — отключился; такого с ним никогда не было...

...Проснулся оттого, что капитан тер ему уши:

— Всеволод Владимирович! Просыпайтесь! Садимся! Москва!

Было по-прежнему темно, все иллюминаторы заштo-

рены. Когда Перфильев открыл дверь и выбросил металлическую лестничку, Исаев увидел звезды — улетал ночью, прилетел в ночь; такой же потаенный, без огней, загородный аэродром, большой автомобиль (он сразу вспомнил «ЗИС-101», такие были в советском посольстве на Унтер-ден-Линден, немцы очень потешались); подполковника с орденскими планками.

— Товарищ Владимиров, от имени и по поручению командования разрешите сердечно поздравить вас с возвращением на родную землю! Подполковник Петров, отдан в ваше распоряжение.

— Спасибо, товарищ Петров... Сердечно благодарю за встречу... Мою семью предупредили? Мы сейчас поедем к ним?

— Командование приняло иное решение, товарищ Владимиров: нельзя травмировать вашу супругу и сына... Они считали вас погибшим, как и мы все... Их надо готовить к встрече, за это время и вы придете в себя, поехали!

...Дачка была небольшая, уютная, две спальни, столовая и кабинет, большая веранда, на кухне — настоящая русская плита; на веранде был накрыт стол. Петров представил молоденького лейтенанта: «Коля Штыков, стенограф, пока мы будем готовить ваших к встрече — дней семь на это уйдет, — надиктуете отчет о проделанной работе, поэтапно, с самого начала, на имя секретаря ЦК товарища Кузнецова. Он теперь курирует органы, герой ленинградской блокады, вы с ним вскорости увидитесь, он будет визировать документы на ваше звание Героя. Тогда же все приостановилось, мы получили данные, что вы погибли тридцатого апреля...»

...Исаев работал неделю с упоением; худенький Коля стонал:

— Рука отваливается, Всеволод Владимирович! Пожалейте...

— А вдруг от радости у меня сердце порвется? Тогда как? Нельзя уносить с собою то, что знаешь, Николаша, давай помассирую пальцы, я дока в массаже.

Еще неделю, постоянно, возрастающе-требовательно торопя подполковника Петрова с переездом домой, в семью, Исаев продолжал работать: вычитывал надиктованное, дополнял, многое переписывал, работой увлекся, просил сделать вклейки, сам дивился своей памяти, а главное, тому, что было с ним все эти четверть века; на-

конец, удовлетворенный, подписал *труд* и пододвинул его Коле.

Подполковник Петров продиктовал текст, который надо было от руки написать секретарю ЦК Кузнецову: мол, прошу ознакомиться с итогом моей работы, возможно, потребуются дополнения, я готов.

Потом улыбнулся своей открытой, доброжелательной улыбкой:

— И у меня для вас сюрприз, Всеволод Владимирович! Завтра едем домой. Сегодня день отдыха, прощальный пир с тостами.

Весь день играли в шахматы, катались в лодке по небольшому озеру, Исаев становился все более бледным, и руки делались ледяными; выехали в одиннадцать.

Коля шепнул:

— Войдем с боем курантов, праздник так праздник!

«ЗИС» несся по безлюдной Москве, которую Исаев не видел двадцать семь лет: совершенно другой город, много широких улиц, но в новых домах чувствуется до боли знакомая фундаментальность, отличавшая арийский вкус; откуда нашим архитекторам знать берлинские ансамбли, созданные при Гитлере?!

«ЗИС» летел на красный свет; немногочисленные пешеходы разбегались в стороны, а шофер то ли по рассеянности, то ли чтобы посмешить пассажиров, то ли оттого, что заметил яму, крутанул руль в лужу и окатил старика с собачкой водой, а подполковник с Колей захохотали, и это заставило Исаева заново посмотреть на их лица.

— Ничего, обсохнет, — сказал Коля каким-то новым голосом, и в это время «ЗИС» въехал в приоткрытые ворота.

Машину окружили военные, распахнули двери, первым вылез подполковник Петров, за ним Коля. Подполковник, направляясь к темному зданию, коротко бросил, кивнув на Исаева:

— Оформляйте арестованного.

* * *

...А в это время член Политбюро и секретарь ЦК ВКП(б) Георгий Максимилианович Маленков ехал в правительственном спецпоезде в Узбекистан и, прижавшись лбом к стеклу, в который раз уже обдумывал, чем он мог вызвать столь яростный гнев Сталина, отправившего его в азиатскую ссылку.

Он перебирал в уме все возможные варианты, но так и не мог ответить себе, что же с ним произошло на самом деле...

Да, после поездки по Калининской и Новгородской областям он вернулся совершенно раздавленный: страна нищала, голод, пустые деревни, на полях всего несколько баб, копают картошку еле-еле, сил нет, одеты в рванье, какие там «Кубанские казаки»!

Да, чуток поспорил со Ждановым: в нынешнее время рискованно отъединяться от европейской науки, она необходима нам для реального прорыва к новому уровню технологии, только она позволит довести до конца *проект* в те сроки, которые назвал Иосиф Виссарионович. Пропаганда пропагандой, а промышленность промышленностью, тут заклинания не помогут, нужны реальные мощности, а не те, о которых печатают в победных газетных реляциях, работаем на станках прошлого века... Спор о немецких трофеях, которые не доставили на указанные заводы?

Но ведь сам Иосиф Виссарионович последнее время постоянно повторяет: «Не бойтесь спорить, не старайтесь заранее все согласовать по кабинетам; в свое время мы сутками спорили с Каменевым, а позже с Бухариным, ничего не случалось, договаривались добром или на время расходились, искали компромисс...»

Маленков повторил про себя «искали компромисс», усмехнулся; знаем, чем кончился «компромисс»... Неужели и со мною он так же *разойдется?* А что ему? И не таких ставил к стенке...

Если не поможет Лаврентий — я кончен; обидно и горько: в несчастной России всегда уповали на ходатая; холопы; захочет ли Берия спасти его? Ему не поздно переориентироваться на Жданова... Тот оттер всех, блок с ним выгоден каждому...

Я еду в ссылку, повторил себе Маленков, я *брошен* в Ташкент, на *укрепление*... Ежова тоже бросили на укрепление водного хозяйства России...

За что?! Кто еще предан ему так, как я?!

И Маленков, прижавшись еще крепче к стеклу, спросил себя: «предан»? Или «был предан»?

Зачем он играет нами, как пешками? Не офицерами или турами, а именно пешками?!

Что с ним? Ему еще нет семидесяти, откуда такие маразматические явления — нельзя предугадать утром, что случится вечером... Он и раньше был готов на все, что же меня ждет сейчас?!

А может быть, правду шептали о том, что после пятидесяти лет он совершенно изменился? Шептали, что у него открылась тяжелая форма паранойи? Он же подозрителен, как жена-тиран...

С тридцать четвертого по тридцать восьмой Сталин пережил климакс, это говорили братья Коганы, консультанты Хозяина, — все в порядке вещей, ломка организма...

Наломал... Все наломали, поправил себя Маленков, ты себя не выводи за скобки, с ним пришел — с ним и уйдешь, если он тебя не шлепнет...

Неужели сейчас начался маразм? Обычный, всем знакомый старческий маразм?

Верочка Давыдова, первый голос Большого театра, рыдала в кабинете: «Георгий Максимилианович, я больше не могу, спасите меня! Он говорит такие слова, он такое делает...»

...Спецпоезд несся сквозь тьму, кромешную и непроглядную. Россия лежала во мраке — без огонька, истерзанная, в трагическом и безразличном запустении, а один из тех, кто должен был *отвечать* за нее, думал лишь о той шахматной доске, на которой офицеров и ферзей не сбрасывали — расстреливали: что ему до России?! Своя рубашка-то ближе к телу!

5

Над дверью камеры горела лампа; от нее, казалось, никуда не спрячешься, как и от тех размеренных, нарочито громких шагов надзирателей, которые менялись, неестественно громко выкрикивая: «Пост по охране врагов народа сдан!» Вторивший ему отклик был столь же громким, торжествующим: «Пост по охране врагов народа принят!»

Вот я и приобщился, сказал себе Исаев. Только теперь я до конца понял, что два эти слова звучат *дома* как высшая награда за верность революции; все стало на свои места; наконец-то...

Камера была маленькая; крошечное оконце забрано не только решетками, но и «намордником» снаружи.

Но почему этот стенограф Николаша, подумал вдруг Максим Максимович, весело глядя мне в глаза, обещал войти в мой дом с боем курантов, чтобы праздник был настоящим? Ведь он знал, *что́* меня ждет; почему он глумился над моей надеждой? А что ему было делать,

возразил себе Исаев. Смотреть на меня как на врага? Ему же сказали: «Это враг народа». А он поверил? Почему нет? Поэтому и вел себя по-дружески, иначе я бы не стал работать с таким вдохновением, как работал на даче, вспоминая *структуру* моего прошлого, прикидывая вариантность настоящего и вероятия будущего.

Да, но какие, собственно, у него были основания смотреть на меня как на врага?! Ты пришел из-за кордона, ответил себе Исаев, надо еще разобраться, ты это или нет? Но ведь дома Сашенька! И мой Санька должен быть дома! Должен! Это так просто — опознать меня! Нет, все страшнее, сказал он себе. Я — ладно, «фигура умолчания», они меня впервые видят... А вот какие были основания у таких же пареньков смотреть на Каменева и Бухарина как на шпионов и врагов? Ведь им, тем *пареньким,* было лет по двадцать пять, они не могли не помнить, как десять лет назад шли по Красной площади, приветствуя *вождей:* Бухарина, Троцкого, Каменева, Сталина, Зиновьева... Нет, там работали не *пареньки,* возразил он себе, это невероятно, чтобы с Зиновьевым имел дело стенограф Николаша, не ложится в логическую схему; с теми лидерами работал высший эшелон. Нет, подумал он, старая гвардия не могла *работать* против Каменева или Бухарина, Постышева или Блюхера. Все сходится: Бухарина и Рыкова судили, когда исчезли все те, кто начинал в ЧК с Дзержинским. Нет, неверно, одернул он себя; когда прошел первый процесс тридцать пятого года, когда Каменев и Зиновьев приняли на себя *моральную* ответственность за гибель Кирова и были осуждены на тюремное заключение, ветераны еще были на своих местах. Нет, не были, устало возразил он себе: Ягода пришел в ЧК лишь в двадцатом управляющим делами, чисто хозяйственная работа. Кто ж его *внедрил* к Дзержинскому? Во время гражданской он был на Восточном и Южном фронтах, на Юге сидел Сталин... Не может быть, что генсек уже тогда начал расставлять на ключевые посты *своих*... Почему? Вспомни, как планировал свой тридцать четвертый год Гитлер? Он его *придумал* в двадцать пятом, ждал мести девять лет, все эти годы обнимался с теми, кого внутренне уже приговорил к смерти, — Рэмом и Штрассером...

...Исаев заложил руки за голову, потянулся; презирая себя, начал хрустяще ломать суставы пальцев, ощутил мучительную потребность в крепкой сигарете, не в тех папиросах «Герцеговина Флор», что его угощали на

даче, а в хорошем «Кэмеле», который так любил Шелленберг...

Началась новая полоса в жизни, и в ней, в этой новой жизни, я обязан сориентироваться сейчас, загодя, пока не пошли допросы и все такое прочее, а без сигареты трудно думать — привычка. Он вспомнил пословицу: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится»... Ведь было сообщено еще в двадцать восьмом, что Михаил Сергеевич Кедров, входивший в первую коллегию ЧК, был отчего-то переведен в члены «Спортинтерна», а ведь при Дзержинском он был председателем Особого отдела. Кто ж его вывел из ГПУ за полгода перед ударом по Бухарину? Почему я раньше не задумывался над этим? Потому что на расстоянии родина видится особенно прекрасной, и всякий, кто говорит о ней плохо, — враг, услышал он свой голос, прекрасно понимая, что это ложь, отговорка, оправдание самому себе...

Менжинский умер пятидесятишестилетним, за год до смерти был совершенно здоров, умер, как по заказу, — накануне подготовки процессов... Контрразведчика Бокия перебросили на тюремное ведомство тоже в конце двадцатых, освободив его место для людей новой волны... А другой заместитель Феликса Эдмундовича — Уншлихт? Его перевели в армию, поставили на авиацию... Почему? А Трифонов? Ксенофонтов? Почему их разбросали по другим ведомствам?

Как это страшно, что правдиво говорить с самим собою я начал только в тюремной камере, подумал Исаев. А ведь все то, о чем я сейчас думаю, было мне известно давным-давно, но я сознательно отталкивал факты, запрещал себе ставить вопросы, а пуще того — думать об ответах. Я знал, что эти вопросы требуют ответа, знал! Ну и как объяснить то, что ты добровольно делал из себя идиота?! Запрет на мысль — идиотизм, форма шизофрении. Неужели идее нужны идиоты?

Кто и как мог принудить Каменева и Зиновьева взять на себя *моральную* ответственность за убийство Кирова? Кто и как? Ни Менжинского, ни Кедрова, ни Бокия с Уншлихтом не было уже на ключевых постах; людей Дзержинского *загодя* раскидали. Значит, с Каменевым и Зиновьевым в тридцать четвертом работали новые кадры. Кто они? Каким образом они смогли получить у них признания? Почему Каменев подтвердил эти признания на открытом процессе, когда мог все отрицать? А мог ли? Или во всех нас заложен синдром *перепада?* В январе девятьсот пятого люди шли за по-

мощью к царю, несли хоругви, его лики, а назавтра после расстрела начали жечь его портреты; то же в феврале семнадцатого... Верим, верим, верим, а потом, внезапно изверившись, начинаем жечь и громить... За что боролись — и в пятом, и в семнадцатом? В конечном счете за жизнь, за что же еще?! Неужели Каменев с Зиновьевым в тридцать пятом *боролись* лишь за свою жизнь, отказавшись от Идеи?!

Ты строишь умозаключения, сказал себе Исаев. Ты не сможешь ответить ни на один из вопросов, которые ставишь; только завтрашний день, когда ты встретишься лицом к лицу с теми, кто поведет допрос, позволит тебе нащупать *нечто*...

И тут он услышал бой кремлевских курантов — близкий, явственный; как он ждал этого перезвона курантов там, в рейхе, оттачивая карандаши, чтобы настроиться на волну радиостанции «Коминтерн», когда на связь выходил Центр! Как сладостно замирало сердце и наворачивались слезы на глаза... Но ведь тогда ты не вспоминал ни Каменева, ни Бухарина, ни Тухачевского, хотя знал, *документально* знал, что они никогда не были *шпионами!* Ты был тогда предателем, Исаев! Ты предавал свою память, а значит, память идеи и народа, придумывая успокоительную ложь: мол, главное — это борьба против немецкого национального социализма. Сначала свалить Гитлера, потом разберемся с тем, что произошло дома...

...Назавтра на допрос не вызвали; днем вывели на прогулку, предупредив, что за переговоры с другими арестованными он будет посажен в карцер, — полное молчание, любой шепот фиксируется.

И снова ударило по сердцу, когда он, вышагивая по замкнутому дворику, услышал бой часов кремлевской башни, совсем рядом, сотня метров, полтысячи — все равно рядом.

А ведь я у себя *дома*, подумал он. Я на Лубянке, где ж еще?! Я там, откуда уехал к Блюхеру в Читу в двадцать первом, я там, где последний раз был у Дзержинского... Что же он сказал тогда? Он как-то очень горько говорил, что память отцов хранят дети, что к обелискам он относится отрицательно, да и Древний Рим доказал всю их относительность... К тому же людям вашей профессии, усмехнулся он тогда, обелисков не ставят, маршалы без имени, о которых никогда не узнают победители-солдаты...

...Только тогда куранты другое вызванивали — фраг-

мент из нашего гимна, из «Интернационала», а ни гимна этого нет, ни Коминтерна; распустили; ты и это съел, запретив себе думать, отчего в сорок третьем, когда коммунисты Тито и Прухняк, расстрелянный друг Дзержинского, генсек польской компартии, Дюкло и Тольятти особенно активно сражались в подполье против Гитлера?! Хотя польскую компартию вообще распустили еще в тридцать восьмом — здесь, в Москве, именно на Коминтерне, как шпионско-фашистскую, а весь ЦК расстреляли. Гейдрих ликующе объявил об этом руководству: «Они сожрут друг друга!» И я поверил в то, что Прухняк — агент гестапо? Почему Коминтерн, Третий Интернационал, провозглашенный Лениным и Зиновьевым, коварно распустили в Уфе в сорок третьем?! Не в июле сорок первого, когда надо было потрафить союзникам, ненавидевшим эту организацию, а уже после перелома в войне? Почему? Чтобы работать в Восточной Европе иными методами? Не ленинскими? Державными? Но ведь это было уже в прошлом веке, а к чему привело?

...Как же ты виртуозно уходишь от ответов, товарищ Исаев, он же Владимиров, он же Штирлиц, он же Бользен, он же доктор Брунн, он же Юстас, сказал он себе, но снова что-то мерзкое, плотски-защитное родилось в нем, позволив не отвечать на эти вопросы, рвущие сердце, а переключиться на правку вопроса: «Ты растерял самого себя, Максим, ты путаешься в себе, ты никогда не был «товарищем Исаевым», ты был «товарищем Владимировым», Исаев сопрягался с «господином», «милостивым государем» — твой первый псевдоним в разведке Максим Максимович Исаев, и свое конспиративное имя и отчество ты взял в честь Максима Максимовича Литвинова, папиного друга, хотя отец всегда был мартовцем, а Максим Максимович Литвинов — твердолобый большевик, которого сняли с поста народного комиссара иностранных дел, чтобы он не нервировал Гитлера и Риббентропа: «паршивый еврей»...»

...Когда спустя долгие четыре недели и три дня его повели на допрос и два надзирателя в *погонах* (он не обратил внимания на погоны, когда его *обрабатывали* перед тем, как закупорить в камеру, слишком силен был шок) постоянно ударяли ключами о бляхи своих поясов, словно давая кому-то таинственные знаки, Исаев собрался, напряг мышцы спины и спокойно и убежденно *солгал* себе: «Сейчас все кончится, мы спокойно разбе-

ремся во всем, что товарищам могло показаться подозрительным, и подведем черту под этим бредом». Услыхав в себе эти успокаивающие, какие-то даже заискивающие слова, он брезгливо подумал: «Дерьмо! Половая тряпка! Что может показаться подозрительным в твоей жизни?! Ты идешь на бой, а ни на какое не «выяснение»! Все уж выяснено... Ты трус и запрещаешь себе, как всякий трус или неизлечимо больной человек, думать о диагнозе».

...Следователем оказался паренек, чем-то похожий на стенографа Колю: назвал себя Сергеем Сергеевичем, предложил садиться, медленно, как старательный ученик, развернул фиолетовые страницы бланка допроса — из одной сразу стало четыре — и начал задавать такие же вопросы, как англичанин Макгрегор: фамилия, имя, отчество, время и место рождения. Исаев отвечал четко, спокойно, цепко изучая паренька, который не поднимал на него глаз, старательно записывал ответы, однако — Исаев ощутил это — крепко волновался, потому что сжимал школьную деревянную ручку с новым пером марки «86» значительно сильнее, чем это надо было, и поэтому фаланга указательного пальца сделалась хрустко-белой, словно в первые секунды после тяжелого перелома.

После какой-то чепухи, тщательно, однако, фиксировавшейся (на чем добирались из Москвы до Читы; какое ведомство покупало билет, сколько денег получили на расходы, в какой валюте), он неожиданно поинтересовался:

— Какого числа Блюхер отправил вас в Хабаровск на связь к Постышеву?

— Это же было четверть века тому назад, точную дату я назвать не могу.

— А приблизительно?

— Приблизительно осенью двадцать второго...

— Осенью двадцать второго, — чеканно, поучающе, назидательно повторил Сергей Сергеевич и вдруг шлепнул ладонью по столу: — Ленин тогда провозгласил: «Владивосток далеко, а город это наш».

— Значит, это была осень двадцать первого.

— Перед отправкой в Хабаровск к белым Блюхер и Постышев инструктировали вас?

— Инструктировал меня Феликс Эдмундович...

Сергей Сергеевич закурил «беломорину», пустил дымок к потолку, заметил взгляд Исаева, которым тот провожал эту пепельно-лиловую струйку табачного дыма, и, глядя куда-то в надбровье *подследственного,* уточнил:

— Вы хотите сказать, что к Блюхеру и Постышеву вас отправлял лично Дзержинский?

— Да.

— Что он говорил вам?

— Обрисовал ситуацию во Владивостоке, попросил держать связь с ним через Постышева, тот, видимо, отправлял мои донесения Блюхеру, а от него они шли в Москву...

— Дзержинскому?

— Этого я не знаю.

— А в Реввоенсовет Блюхер не мог отправлять ваши донесения?

— Думаю, что в Реввоенсовет их отправлял Феликс Эдмундович...

— Троцкому? — спросил Сергей Сергеевич и еще крепче сжал ручку своими тонкими пальцами.

— Скорее всего Склянскому, заместителю предреввоенсовета страны Троцкого...

— Но вы допускаете мысль, что Дзержинский отправлял ваши донесения Троцкому?

— Вполне, — ответил Исаев.

Сергей Сергеевич как-то судорожно вздохнул, отложил ручку трясущимися пальцами и осведомился:

— Курите?

— Да.

Он достал папироску и протянул ее Исаеву.

— Пожалуйста.

— Спасибо.

— Продолжим работу, — сказал Сергей Сергеевич и снова вцепился в ручку. — Считаете ли вы возможным, что и Троцкий ставил перед вами оперативные задания, особенно накануне волочаевских событий?

— Считаю такое возможным, ведь в то время Троцкий возглавлял Красную Армию...

— Вы настаиваете на этом утверждении? — безучастно поинтересовался Сергей Сергеевич.

Исаев не понял:

— На каком именно?

Сергей Сергеевич зачитал ему текст:

— «Троцкий возглавлял Красную Армию»... Я правильно записал ответ? Искажений нет? Вы возражайте,

если не согласны с моей записью... Вы правьте меня, это ваше конституционное право...

— Записано правильно.

— Скажите, а в тех инструкциях, которые вы получали из Центра, не было ли каких-то настораживающих вас моментов?

— То есть? — Исаев, внимательно следивший за каждой интонацией следователя, за каждым мускулом его плоского, совершенно бесстрастного лица, не понял смысла вопроса: как можно было сомневаться в указаниях Дзержинского?

— Фамилия Янсон вам говорит что-нибудь?

— Какого Янсона вы имеете в виду? Их было несколько: Николай, Яков...

— Я имею в виду того, который вместе с Блюхером вел переговоры с японцами в Дайрене, — уточнил Сергей Сергеевич.

— Лично с ним я не встречался, но фамилия эта мне известна.

— Я хочу познакомить вас с его показаниями, данными здесь, на следствии: «Лишь значительно позже, в конце тридцать третьего года, когда я активно включился в работу запасного троцкистского центра, Зиновьев сказал мне, что Троцкий переписал тезисы наркоминдела Чичерина, исправив их в том смысле, как это было угодно японским милитаристам. Тогда, в Дайрене, я отчетливо понимал, что наша позиция носит несколько странный, излишне бескомпромиссный характер, однако Блюхер держался этой линии неотступно. Зиновьев, когда мы встретились на даче в Ильинском летом тридцать третьего, совершенно определенно заявил, что Блюхер проводил политику Троцкого, чтобы спровоцировать выступление японцев и затем, после нашего неминуемого отступления, отдать им те территории, на которые они претендовали, в обмен на унизительный мирный договор». Что вы думаете по этому поводу?

— Я хочу ознакомиться с показаниями Янсона...

— Вы что, мне не верите? — Сергей Сергеевич обидчиво удивился. — В таком случае можете заявить отвод...

— Я не сказал, что я вам не верю. Я прошу разрешения ознакомиться с показаниями Янсона...

— Я вас с ними ознакомил.

— Это вздор. В Дайрене была занята правильная позиция. Советская делегация вела переговоры мастерски и мужественно — почитайте белогвардейскую прессу той поры, японские газеты...

— Итак, я формулирую ваш ответ: «Показания Янсона являются клеветническими»... Так?

— Что значит «я формулирую»? — Исаев не понял.

— Я формулирую ваш ответ для записи в протокол допроса. В протокол нелепо вводить слова типа «вздор», нас с вами не поймут... Вопросы и ответы должны быть конкретными, а не эмоциональными.

— Нет уж, давайте-ка я буду формулировать ответы сам, Сергей Сергеевич...

— У вас потом будет право прочитать документ и внести собственноручные изменения.

— Почему «потом»? Если право есть, оно должно существовать постоянно, а не «потом».

— Хотите писать ответы собственноручно?

— Да, предпочел бы.

— У вас есть какие-то претензии к методу и форме ведения допроса?

И Максим Максимович после паузы ответил:

— Нет.

Следователь быстро поднялся из-за стола, подошел к Исаеву, протянул ему свою ученическую ручку и, словно фокусник, растопырив пятерню, резко развернул бланк протокола допроса так, чтобы можно было писать подследственному:

— Пожалуйста, внесите в протокол этот ваш ответ собственноручно.

Русский Макгрегор, подумал Исаев, разбирая ученический почерк следователя, — парень продолжал писать по-школьному, с *нажимом,* буквочка от буквочки, а три ошибки все равно засадил, не знает, где и как ставить мягкий знак.

— У вас тут ошибки, — заметил Исаев. — Мне исправить или вы сами?

Сергей Сергеевич покраснел — по-девичьи, внезапно; потом, однако, лицо его сделалось пепельным, синюшно-бледным, он вернулся на свое место, медленно размял папиросу, закурил и, уткнувшись в протокол, начал изучать его: слово за словом, букву за буквой; ошибки свои не нашел или же намеренно не стал исправлять их.

Закончив чтение первого листа бланка допроса, он проверил, заперты ли дверцы стола, и сказал:

— С места не подниматься, к окну не подходить — все равно первый этаж, я скоро вернусь, продолжим работу.

Он вернулся через сорок два часа, когда Исаев свалился со стула.

— Простите, пожалуйста, — испуганно говорил Сергей Сергеевич, усаживая Исаева, — у меня с отцом случилась беда, увезли в больницу, я так растерялся, что никого здесь не успел предупредить. Извините меня, такая незадача, — он подбежал к двери, распахнул ее и крикнул в пустой коридор: — Юра, позвони, чтоб срочно принесли две чашки кофе и бутерброды!

— Разрешите мне вернуться в камеру, — попросил Исаев. — Я не в состоянии отвечать вам...

— А вы думаете, я прилег хоть на минуту? — следователь ответил устало, с каким-то безразличием в голосе. — У отца инфаркт, я все это время провел в приемном покое, тоже еле на ногах стою... У меня всего несколько вопросов, вы уж поднатужьтесь...

— Ну давайте тогда скорее...

— Всеволод Владимирович, может, я касаюсь самого больного, — следователь сейчас был мягок и чуточку растерян, конфузился даже, бедный мальчик, — скажите, кем по партийной принадлежности был ваш отец?

— Это же все есть в моем личном деле...

— Оно погибло, вот в чем вся беда, това... Всеволод Владимирович... Сгорело в сорок первом, когда наши архивы вывозили в Куйбышев... Поймите меня правильно, если б мы имели ваше личное дело, неужели вы б здесь сейчас сидели?

А может, действительно он говорит правду, подумал Исаев, ощутив в себе рождение затаенного тепла надежды. Тогда понятно все происходящее, доверяй, но проверяй, так вроде бы говорили...

— Мой отец был меньшевиком...

— А я не верил в это, — вздохнул Сергей Сергеевич и как-то даже обмяк. — В голове такое не укладывалось...

— Почему? Другие были времена... Отец в свое время дружил с Ильичем, несмотря на идейные разногласия.

— До революции?

— Да.

— В какие годы? Где встречались?

— Особенно часто в Париже, в одиннадцатом...

— А потом?

— Последний раз в Берне, когда обсуждался вопрос о выезде в Россию, это была весна семнадцатого...

— Вы присутствовали на этой встрече? Кто там был?

— Там было много народу, встреча была у нас дома: Мартов был, Аксельрод, кажется...

— Зиновьев, — подсказал следователь.

— Конечно, был и Зиновьев... А как же иначе? Он ведь первым с Ильичем уезжал, мы — только через месяц, с Мартовым...

Вошел надзиратель с подносом, на котором стояли стаканы с кофе и четыре бутерброда с колбасой и сыром...

— Угощайтесь, Всеволод Владимирович, — предложил следователь, старательно заполняя бланк допроса.

— Давайте поскорее закончим, — попросил Исаев, — тогда я съем бутерброды и вы меня отправите в камеру, не то я прямо тут усну...

— Мы практически закончили, ешьте...

Когда Исаев подписал бланк, следователь снова вышел из кабинета, сказав, что он позвонит в больницу узнать, как здоровье отца; вернулся на следующий день.

...В тот миг, когда голова Исаева сваливалась на грудь и он засыпал, сразу же появлялись два надзирателя:

— Спать будете в камере!

...Сергей Сергеевич появился уставший, с синяками под глазами:

— Чуть-чуть лучше старику, — сказал он. — Еще несколько вопросов, и пойдете отдыхать.

— Тварь, — тихо сказал Исаев. — Ты маленькая гестаповская тварь, вот ты кто. Отвечать на вопросы отказываюсь. Требую твоего отвода.

— Это как начальство решит, — рассеянно ответил Сергей Сергеевич. — Я доложу, конечно, а пока продолжим работу: вы жили с отцом в одной квартире? Формулирую: являясь работником ЧК, вы жили в одной квартире с меньшевиком и не отмежевались от него. Так?

А чем он виноват, этот несчастный Сергей Сергеевич, спросил себя Исаев. В стране произошло нечто такое страшное, что и представить нельзя. Передо мной не человек. У него в голове органчик, как у щедринских губернаторов, бесполезно говорить, непробиваемая стена. А я погиб. Все. Если б я один — не так страшно... Но со мною они погубят и Сашеньку, и Саньку, теперь я в это верю.

* * *

Накануне беседы с генералиссимусом Хрущев не спал почти всю ночь.

В который раз уже он задавал себе такой простой и столь же унижавший его вопрос: говорить ли вождю — один на один — всю правду или «скользить», как это было принято сейчас в Политбюро, ЦК, Совмине, обкоме, правлении колхоза, деревенском доме и даже городской коммуналке, где, по секретным подсчетам группы киевских статистиков, на семью из пяти человек приходилось семь квадратных метров жилья; дед с бабушкой спали на кровати, муж с женой — на диване, дети — на полу.

Засуха сорок седьмого сожгла поля Украины, Поволжья, Молдавии, Центральной России.

Семенных запасов уже не было — хлеб в колхозах забирали в счет обязательных поставок подчистую, деревенские амбары кишели худющими крысами, врачи открыто говорили о возможности вспышки чумы.

Сталин тем не менее подписал указание: Украина обязана поставить не менее полумиллиона пудов зерна; Хрущев *отмолил* снижение контрольной цифры до четырехсот тысяч.

Решился на это (звонил лично Сталину по ВЧ; номер набирал негнущимся пальцем, чтобы скрыть от самого себя дрожь) после того, как получил письмо от Кириченко, секретаря Одесского обкома, который был завален письмами колхозников с просьбой о помощи и поэтому объехал область, чтобы самому убедиться — паникуют, как заведено, или же действительно кое-где есть провалы на продовольственном фронте.

«Дорогой Никита Сергеевич, поверьте, я бы не посмел обратиться к Вам с этим письмом, — писал Кириченко, — если бы не то ужасное, воистину катастрофическое положение на селе, свидетелем которого был я лично... Я начну с крохотной сценки: женщина резала трупик своего маленького сына, умершего от голода; она резала его на аккуратные кусочки и при этом говорила без умолку: «Мы уже съели Манечку, теперь засолим Ванечку, как-нибудь продержимся...» На почве голода она сошла с ума и порубила своих детей... Во всех колхозах только одна надежда, чтобы вновь ввели карточную систему, лишь это спасет область от *повального* мора...»

Хрущев представлял себе, что его ждет, зачитай он такое письмо Сталину на заседании Политбюро.

Он знал коварство этого человека, но одновременно всегда хранил в сердце негодующее почтение к нему;

кто вытащил его из безвестности? Дал приобщиться к образованию? Ввел в ЦК? В Политбюро?!

Он, Сталин, с подачи Кагановича.

Хрущев впервые ужаснулся на февральском Пленуме ЦК, когда Ежов предложил немедленно расстрелять Бухарина и Рыкова, сидевших в зале заседания среди других членов ЦК; было внесено другое предложение: предать их суду военного трибунала; Сталин, пыхнув трубкой, покачал головой: «Прежде всего Закон, Конституция и право на защиту. Я предлагаю отправить их в НКВД, пусть там во всем разберутся... У нас следователи — народ объективный... Невиновного они не обидят, невиновного — освободят...»

Он говорил это спокойно, с болью, убежденно, — через две недели после того, как Юра Пятаков, честнейший большевик, любимец Серго, *умершего* за несколько дней до открытия Пленума, признавался на очередном процессе в том, чего — Хрущев знал это тоже — не могло быть на самом деле!..

А в заключительной речи на Пленуме, когда Бухарина и Рыкова уже увезли в НКВД, где им дали *право* на доказательство своей невиновности, Сталин легко бросил: «Троцкистско-бухаринские шпионы и диверсанты...»

Второй раз он ужаснулся, когда Сталин проинформировал их: «Ежов — исчадие ада, убийца и садист, на нем — кровь честнейших большевиков... Он убирал конкурентов, мерзавец... Рвался к власти, мы все были обречены, вы все были обречены, все до одного, хотел сделаться русским Гитлером».

А на фронте? Хрущев мучительно вспоминал тысячи мальчишек-красноармейцев, которые — по его, Сталина, приказу — шли под пули немцев. Как он, Хрущев, бился, как молил Сталина отменить приказ о наступлении на Харьков! «А я не знал, что ты такой паникер, Хрущев, — сказал Сталин. — Сентиментальный паникер... Нам такие не нужны, нам нужны гранитные люди...»

И вот сегодня он должен заставить себя *вымолвить* просьбу о возобновлении на Украине карточной системы, чтобы уберечь от голодной смерти сотни тысяч украинцев...

А не просить — нельзя: когда начнутся чума и голодные, кровавые бунты, отвечать придется ему, первому секретарю ЦК КПУ, кому же еще?!

...Не дослушав сообщения Хрущева, голос которого то и дело срывался на фистулу, Сталин резко оборвал его:

— Что, бухаринские штучки?! Ты кто? Мужик? Или рабочий?! Мы тебя держим в Политбюро для *процента,* заруби это на носу! Единственный рабочий — запомни! Не крестьянин, а рабочий! Знаю я мужика! Лучше тебя знаю... В ссылках у мужиков жил, не в дворянских собраниях! Работать не хотят, нахлебники, манны небесной ждут! Не дождутся. А будут саботировать поставки — попросим Абакумова навести порядок, если сам не можешь... После такого доклада, как твой, тебя надо было бы примерно наказать и вывести из ПБ, как кулацкого припевалу, только у нас беда: тут сидят одни партийные бюрократы и министры. — Сталин медленно обвел взглядом лица членов Политбюро. — Не играй на этом, Хрущев, голову сломишь... Есть мнение, товарищи, — резко заключил Сталин, — рекомендовать первым секретарем Компартии Украины Кагановича... Он в Киеве родился, ему и карты в руки... Хрущева от занимаемой должности освободить... Перевести Председателем Украинского Совета Министров... И чтоб государственные поставки были выполнены! Если нет — пенять вам обоим придется на себя...

...В кремлевском коридоре, когда расходились члены Политбюро, Берия шепнул:

— Берегись... А то, что решился сказать правду, — молодец, в будущем тебе это вспомнят, поступил, как настоящий большевик.

...Никто другой не сказал ему ни слова — *обходили* взглядом...

Вот именно тогда-то он и признался себе: «Мы все холопы и шуты... По сенькам шапка... Хоть бы один меня вслух поддержал, хоть один бы...»

Однако, когда через месяц Сталин позвонил ему — уже в Совет Министров — и осведомился о здоровье, сказал, что понимает его трудности, «держись, Никита Сергеевич, если был резок — прости», Хрущев не смог сдержать слез, всхлипнул даже от избытка чувств.

Сталин же, положив трубку, усмехнулся, заметив при этом Берия:

— Докладывают, что он во всех речах клянет свои ошибки... Его беречь надо, такие нужны, в отличие от всех... Он хоть искренний, мужик и есть мужик.

6

И снова четыре недели Исаева не вызывали на допрос; душили стены камеры, выкрашенные в грязно-фио-

летовый цвет; днем — тусклый свет оконца, закрытого «намордником», ночью — слепящий свет лампы; двадцатиминутная прогулка, а потом — утомительная гимнастика: отжим от пола, вращение головы, приседания — до пота, пока не прошибет.

«Приказано выжить»... Эти слова Антонова-Овсеенко он теперь повторял утром и вечером.

Первые недели он порою слеп от ярости: чего они тянут?! Неужели так трудно разобраться во всем?! Но после общения с Сергеем Сергеевичем понял, что никто ни в чем не собирается разбираться, ему просто-напросто навязывают комбинацию, многократно ими апробированную.

Они, однако, не учли, что я прожил жизнь в одиночке, *четверть века* в одиночке, наедине с самим собой, со своими мыслями, которыми было нельзя делиться ни с кем — даже с радистами; суровый закон, испепеляющий, но — непреклонный...

Они думают, что отъединение от мира, неизвестность, мертвая тишина, прерываемая звоном кремлевских курантов и идиотскими выкриками «пост по охране врага народа» (нельзя называть меня «врагом», пока не вывели на трибунал, я — «подследственный», азбука юриспруденции), сломят меня, сделают истериком и податливым дерьмом. Хрен!

Спасибо им за эту одиночку, я волен думать здесь, я совершенно свободен в мыслях; единственный выход — свободомыслие в тюрьме; страшновато, но, увы, — правда, поэтому-то я и вычислил, что не имею права говорить ни слова про Сашеньку и сына, нельзя открывать свою боль, это — непоправимо, будут знать, на что *жать*...

Ты достаточно открылся, когда работал на даче, признался он себе с горечью, не забывай этого. Видимо, они тянут не только потому, что это — *метод,* они составляют какой-то особый план, понимая, что со мной работать не просто, профессионал... Ерунда, возразил он, комиссар госбезопасности Павел Буланов тоже был профессионалом, вывозил Троцкого в Турцию, до этого круто работал по бандформированиям, а что плел на бухаринском процессе?! Какую ахинею нес?! Как оговаривал себя?! «Я опрыскивал ртутью кабинет Ежова». А что, пулю в лоб он не мог пустить?! Надежней, чем ртуть разбрызгивать, сам, кстати, первый от этого разбрызгивания и должен был помереть.

Они готовят план, исходя из системы своих анало-

гов, из наработанного ими опыта, — именно поэтому они сгорят на мне. Я помню, как мистер Шиббл, когда мы шли в Парагвай через сельву, смеялся, рассказывая, что является признанным эталоном красоты индейской женщины: плоское лицо, надрезы на щеках, закрашенные ярко-красной смолой, зачерненные зубы и кольцо в носу.

А что, верно, у каждой этнической группы свой эталон красоты и манеры поведения: где-то на Востоке принято рыгать, только тогда хозяин удостоверится, что его гость сыт, высшая форма благодарности...

Сергей Сергеевич и тот, кто им управляет, имеют свои эталоны; что ж, посмотрим, как мы наложимся друг на друга.

...На очередной допрос его вызвали в три часа. Сегодня, однако, его подняли на лифте, ввели в приемную — окно затянуто мелкой сеткой, чтоб никто из арестованных не сиганул головою вниз; за столом-бюро сидел элегантный мужчина в штатском; много телефонов; раньше у нас в ЧК были совершенно другие модели — с «рогами», трубки изогнутые, чтобы говорить прямо в мембрану, а здесь сплошь немецкие, самой последней формы, наверное, вывезли из Германии.

Поднявшись из-за стола-бюро, мужчина отпустил надзирателей и предложил Исаеву:

— Устраивайтесь на диване, руководство скоро освободится...

...Портрет Дзержинского, напротив — Сталина в форме генералиссимуса.

По-моему, никто из русских царей, подумал вдруг Исаев, не чеканил победные медали со своим изображением; в России был Георгиевский крест, были ордена святых — Анны, Владимира; во Франции — розетка Почетного легиона; даже Наполеон не изображал свой профиль на медалях; Сталин не постеснялся.

Странно, отчего мы начинаем думать об очевидном и поражаться этому, только когда судьба ставит нас к стенке? Спасительный инстинкт *отгораживания* от правды? Как у раковых больных? Что это — новое в нас или традиция? «Моя хата с краю, ничего не знаю» — вошло в пословицу более столетия тому назад... Значит, не можем без царя? Нужен Патриарх? Макс Нордау писал, что вырождаются не только преступники, в которых заложен изначальный посыл зла, но и артисты, полити-

ки, писатели, ученые, художники, цвет нации... Неужели этот паршивый прародитель нацизма был прав? Нет, он не был прав, ибо предрекал исчезновение такой «выродившейся» нации, как французы, но ведь рухнула не Франция, а именно Германия; немецкий народ несет на себе отныне тавро нацистского проклятия: нация разрешила фюреру и его банде создать государство ужаса, называвшееся ими «рейхом счастья»; немцы помогли созданию государства, где директивно, по указанию главного пропагандиста Геббельса, *назначались* «таланты», а подлинные таланты изгонялись за границу или сжигались в концлагерях... За все время правления Гитлера не было создано ни одного романа, фильма, картины или спектакля, которые бы оставили о себе память... А изгнанные Брехт и Эйслер знакомы каждому в мире, как и Манн, Ремарк и Фейхтвангер... И ведь немцы аплодировали изгнанию своих гениев, ревели «хайль», когда проезжал обожаемый фюрер, а потом становились в очередь за маргарином, отпускавшимся по карточкам, но в этом были виноваты большевики, масоны, евреи и мы, славянские недочеловеки, кто же еще?!

А что бы могло случиться с миром, не выгони они Альберта Эйнштейна? Всех тех евреев-физиков, которые сделали американцам атомную бомбу?!

Несчастные немцы... Гитлер рассовал всю нацию по контролируемым, поднадзорным сотам: каждый был членом какой-нибудь гильдии, общества, группы, домового комитета национал-социалистической немецкой рабочей партии; в каждом парадном был представитель «гитлерюгенда» и профсоюзного «трудового фронта» партийного товарища Лея... Он, Гитлер, и его партия превращали людей в бездумные автоматы, они разделяли общество, но ведь лишь человек многогранных интересов, занятый не только бизнесом, но и живописью, не только золотыми рыбками, но и спортом, может способствовать уменьшению разнородности нации, ее единению... Гитлер дал право злым, грубо сильным, недалеким, коварным и обязательно рабски послушным стать пастырями, это и привело нацию к гибели: народ не могут вести хамы, покорные фюреру; покорные трусы ничего не могут без приказа сверху, они теряются, когда надо принять самостоятельное решение, они некомпетентны, они парализованы тем авторитетом, в который их заставили поверить... А не верили б! Как можно заставить человека поверить в то, что перед ним лев, когда на самом деле это крыса?! Но заставили же! Пове-

рили! Как?! В чем секрет этого механизма оглупления и покорения народа? А мы? Мы, наши люди?..

На столе-бюро что-то запищало, мужчина в штатском поднялся:

— Пожалуйста, вас приглашают к руководству.

Поддерживая локтями брюки, Исаев направился к двери; проходя мимо мужчины, заметил:

— В двадцать первом в этом помещении работал Сыроежкин и его группа, те, которые потом взяли Савинкова.

...Нынешний кабинет, куда вошел Исаев, был раза в четыре больше, чем все помещение группы Сыроежкина; видимо, объединили несколько комнат.

За большим столом сидел крупный, хорошо сложенный человек; ношеный пиджак висел на одном из стульев, окружавших большой стол заседаний; рубашка на этом крупном мужчине с симпатичным лицом и очень живыми глазами была застиранная, мятая, черный галстук приспущен.

— Ну, здравствуйте, Всеволод Владимирович, — сказал он, — присаживайтесь, я заказал кофе и бутерброды. Наша баланда, видно, стоит у вас поперек горла? Только-только карточки отменили, что вы хотите, страна лишь начинает оживать...

— Она по-настоящему оживет, — заметил Исаев, — когда не будет сажать своих солдат в одиночки внутренней тюрьмы...

— Тоже верно, — легко согласился мужчина. — Вы правильно расставили акценты: «своих солдат». Чужих — будем сажать и ставить к стенке.

— Докажите, что я не «свой», — можете ставить к стенке.

— Ну, знаете ли, у меня нет времени доказывать вашу невиновность! Это вам — карты в руки! Мне надо шпионов ловить, бендеровцев выкуривать из лесов, мельниковцев, литовских и эстонских «черных братьев»... Кто это за нас будет делать?!

— Я хотел бы знать, с кем я разговариваю. Вы не представились.

— Помощник разве не сказал? Называйте меня генерал Иванов. Можете по имени-отчеству: Аркадий Аркадьевич...

— Я бы хотел спросить вас, в чем меня обвиняют? Я уж тут отдыхаю третий месяц, пора объясниться...

— Именно за этим я вас и пригласил, Всеволод Владимирович.

Генерал положил крепкую руку на четыре папки, что лежали возле телефона, отличавшегося от всех остальных формой и цветом, внимательно, с некоторой долей сострадания осмотрел Исаева, поинтересовался, хочет ли его собеседник курить; выслушав отрицательный ответ, покачал головой: «Не все обладают такой силой воли, порою за одну затяжку такое начинают нести, что хоть уши затыкай...»

— Давайте по делу, — Исаев говорил сухо, совершенно спокойно, ибо он понял, что сейчас-то и началась *игра*; он слыхал об этом от Айсмана, прием назывался «тепло против холода».

— Давайте, — согласился тот, кто представился «Аркадием Аркадьевичем Ивановым». — Все документы, которые нам удалось собрать на вас, были доложены высшему руководству. Меня уполномочили передать: будущее в ваших руках, Всеволод Владимирович...

— То есть?

Иванов на мгновение задумался, потом, не спуская глаз с Исаева, позвонил по телефону:

— Кофе отменяется и бутерброды тоже. Пришлите парикмахера, принесите костюм, хорошие туфли, рубашку с галстуком и пуловер... Мы поедем пообедать в гостиницу «Москва». — Он дружески подмигнул Исаеву и, прикрыв ладонью мембрану, поинтересовался: — Как относитесь к такого рода перспективе, а?

Поднявшись из-за стола, генерал набросил на плечи обшарпанный пиджак:

— Вчера вернулся из Лондона, погода там дрянь, знобит чего-то, третью таблетку аспирина жую, как бы не свалиться... Кстати, то, что ни словом не обмолвились на допросах о жене и сыне, свидетельствует о том, что вы верно избрали линию защиты: не показывать болевые места контрагенту. Но беда в том, что все ваши предыдущие разговоры — на даче — фиксировались. Мы их тщательно изучили: мера искренности, степень привязанности к тем, кого так давно не видели, так что сейчас нам ясно: все эти недели вы готовились к драке. Правильно, кстати, делали... Побеждает — сильный.

— Побеждает умный.

— Э, пустое, Всеволод Владимирович! Романтика, прошлый век... Думаете, следователь Каменева был умнее Льва Борисовича? Сильнее был! Власть имел! Право на

поступок! Оттого и победил... А ведь молодой был, тридцать два года всего... А вы, умница, столько напортачили в течение двух допросов, что вас с мылом мой — не отмоешь... Кто создатель Красной Армии? Троцкий? Ваши слова? Ваши. Вот вам восемь лет тюрьмы за антисоветскую пропаганду. Красную Армию создали Ленин и Сталин, руководил же ею Иосиф Виссарионович... Кто с Лениным ехал через Германию? Зиновьев? Ваши слова? Ваши. Еще десять лет — антисоветская пропаганда. На суде от своих слов не откажетесь? Не откажетесь. А суд будет открытый, публика станет кричать, требуя смерти гнусному клеветнику, агенту гестапо, а в прошлом связнику между врагами народа Постышевым и Блюхером с гитлеровским шпионом Троцким, — вы ж и эти свои показания подписали... И мы будем вынуждены приговорить вас по совокупности к смертной казни, но мы после победы подобрели, казнь автоматом меняем на четверть века лагерей, этим вы себя уже обеспечили... И не вините нас, никто вас за язык не тянул, а если выбрали принципиальную позицию — что ж, валяйте, выведем на *очень* открытый суд где-нибудь на заводе, посмотрите на лица людей, убедитесь в том, что вы пушинка, *ничто*, тогда-то и дрогнете...

Вошедшему парикмахеру сказал:

— Побрейте с «шипром»... Стригите аккуратно под полубокс, скопируйте тот фасон, что я привез вам из Лондона.

...Они стремительно выехали на «ЗИСе» из тюрьмы; возле ресторана «Иртыш», что наискосок от памятника первопечатнику Ивану Федорову, Иванов сказал притормозить, вышел из машины первым, протянул руку Исаеву, усмехнувшись при этом: «Не шатает?», захлопнув дверцу, бросил шоферу:

— Позвоню.

Максим Максимович ощутил в горле слезы: его обтекала толпа *своих*, он слышал русскую речь, она сливалась в какую-то музыку, он ощутил в себе могучие такты «Богатырской симфонии», на какой-то миг совершенно забыл, что его вывезли из тюрьмы, что это один из эпизодов в той работе, которую против него ведут, одна из фаз задуманной операции; он просто вбирал в себя лица людей, их голоса, смех, сосредоточенность, радость, угрюмость, спешку; *свои*...

Иванов, цепко наблюдавший за ним, чуть тронул его за локоть:

— Ну, пошли, тут до ресторана «Москва» рукой подать.

— Сейчас, — ответил Исаев. — Меня действительно зашатало.

И вдруг с мучительной ясностью он ощутил свою расплющенную, *козявочью* крошечность, ибо понял, что в этом совершенно новом для него городе — с махиной Совнаркома, с гостиницей «Москва», с «Метрополем», ставшим отелем, а в его годы бывшим вторым (или третьим?) Домом Советов, он — один, совсем один... На третьем этаже «Метрополя» в двухкомнатном номере жил Бухарин (Феликс Эдмундович как-то попросил его, «Севушкой» называл, съездить к «Бухарчику» за отзывами о работах академиков — тот особенно дружил с любимцем Ленина электротехником Рамзиным и Вавиловым; первого арестовали в конце двадцатых, другого — девять лет спустя). Там же, в однокомнатном номере, жил мудрец Уншлихт; впервые Максим Максимович увидел, как трагично изменились глаза зампреда ВЧК в восемнадцатом, после подавления мятежа левых эсеров. Уншлихт тогда тихо, на цыпочках, вышел от Дзержинского: тот никого не принимал, подал в отставку, заперся у себя в кабинете, который был одновременно совещательной комнатой и спальней (ширма отгораживала его койку); левый эсер Александрович, первый заместитель Дзержинского, старый друг по тюрьмам и ссылке, был объявлен им в розыск и провозглашен «врагом трудового народа»... Каково подписать такое? Всю следующую неделю на Дзержинского было страшно смотреть: щеки запали, черные провалы под глазами, новые морщины у висков и на переносье...

...Я совершенно один в этом незнакомом мне, новом, неизбывно родном, русском городе, повторил себе Исаев; если бы меня вывезли из тюрьмы в Германии — допусти на миг такое, — я бы знал, к кому мне *припасть*: тот же пастор Шлаг, актер из «Эдема» Вольфганг Нойхарт... Господи, стоит только броситься в толпу, проскочить сквозь проходные дворы Берлина, известные мне как пять пальцев, оторваться от этого «Иванова», и я бы исчез, затаился, принял главное решение в жизни и начал бы его исподволь осуществлять... И в Лондоне я бы нашел Майкла, того славного журналиста, который

прилетел с Роумэном в аргентинскую Севилью, и в Штатах — Грегори Спарка или Кристину, и в Берне — господина Олсера, продавца птиц на Блюменштрассе, а к кому мне припасть здесь?! Ведь я даже не знаю адреса Сашеньки и сына! Да и дома ли они?! Этот Иванов хорошо думает, он *развалил* меня, когда походя заметил, что молчание по поводу семьи показывает, что это — самое затаенно-дорогое в моей жизни... Я на Родине, у *своих*, но это новые *свои*, никого из тех, с кем я начинал, нет более, все они «шпионы», все те, кто окружал Дзержинского, — «диверсанты», все те, кто работал с Лениным, — «гестаповцы»... Мне не к кому припасть здесь. И против меня работает огромный аппарат для чего-то такого, о чем я не знаю и не смогу догадаться до той поры, пока они не откроют карты, а откроют они свои карты только в том случае, если заметят, что я хоть в малости дрогнул, *потек*, перестал быть самим собою...

— Ну, пошли, — повторял Иванов. — После обеда покатаемся по городу, покажу новую Москву, небось интересно?

— Еще бы...

Они двинулись вниз, к Охотному ряду, который перестал быть базарным *рядом*, а сделался огромной площадью — шумной, в перезвоне трамваев и гудках автомобилей; как много трофейных «БМВ», «хорьхов» и «майбахов», машинально отметил Исаев; и еще очень много людей в царских вицмундирах, такие носили финансисты; он помнил эти мундиры по декабрю семнадцатого, когда участвовал в национализации банков.

— Слушайте, Аркадий Аркадьевич, — спросил Исаев, кивнув на спешивших куда-то чиновников, — а когда ввели эти вицмундиры?

— Недавно, — ответил тот. — Одновременно с переименованием народных комиссариатов в министерства.

— Смысл? Зачем отказались от наркоматов? «Народный комиссариат» — это же символ Революции.

— Не ясно? После победы произошел реальный прорыв России в мировое сообщество. Надо убрать фразеологические барьеры, на Западе, представьте себе, до сих пор плохо понимают, что такое «нарком»... В конечном итоге, какая разница? Что нарком руководит ведомством, что министр — смысл социализма от этого не меняется...

Если бы не менялся смысл, это наверняка предложил бы Ленин, когда мы вырвались в европейское сообщество после договора в Рапалло, сказал себе Исаев.

— Не согласны? — поинтересовался Иванов.

— Вы преподали мне урок: над каждым словом надо думать, у вас умеют каждое слово, словно лыко, ставить в строку...

— Вы поразительно сохранили язык, — задумчиво сказал Иванов. — У вас прекрасный русский, нашим бы нынешним чекистам так говорить, как старая гвардия...

— Вы записываете наш разговор? — спросил Исаев. — Или в этом нет нужды, внесете мои ответы в протокол допроса по памяти?

— Будет вам... Меня-то не считайте монстром, как не стыдно...

— Стыдить меня не стоит, Аркадий Аркадьевич... В камере сижу я, а не вы... Про запись я спросил вот почему: стоит ли реанимировать царские вицмундиры? Ну ладно, отменили «командиров» и вернули «офицеров», лампасы, золотые погоны... Допускаю, в сорок третьем надо было думать о той части страны, которую предстояло освобождать... А там в каждом городе выходили *собственные* нацистские газеты, которые редактировали *наши* люди, работала *русская* полиция, агентура, *свои* палачи, лютовали *свои* подразделения СД; надо было продемонстрировать тем, кто прожил в оккупации годы, что мы от комиссаров *отступили* к прежней России; компромисс; отсюда, как я понимаю, замена института комиссаров на «замполитов»... Но зачем сейчас гражданских чиновников одевать во все царское? Вам сколько лет, Аркадий Аркадьевич?

— Тридцать семь,— ответил тот несколько рассеянно, стараясь, видимо, скрыть раздражение.

— Значит, помните форму царских жандармов? Милиционеры одеты именно в жандармскую форму! Только что без аксельбантов... Вы, кстати, читали в книгах по истории, что главным лозунгом солдатской массы в семнадцатом году был «Бей золотопогонников!»?

— Золотопогонниками были дворяне, — возразил Иванов. — Мой отец из бедняков, Всеволод Владимирович. Так что речь надо вести не о форме, но о содержании.

— Генерал Шкуро из крестьян. Сотрудник Гиммлера генерал Краснов был сыном сельского учителя, да и нацист Бискупский, генерал царя, тоже из разночинной семьи.

— Нет, — вздохнул Иванов, — ничем я вам не смогу помочь, ежели вы такое несете, честное слово... Я вас слушаю с интересом, мотаю на отсутствующий ус, но

если мы остановим всю эту уличную толпу и я разрешу вам высказать то, что вы только что говорили мне, вас втопчут в асфальт.

...В ресторане «Москва» они устроились возле окна; вид на Кремль был ошеломляющим; Исаев нашел глазами те окна в «Национале», где жили Ильич и Надежда Константиновна; Каменев жил этажом выше, рядом с ним был приготовлен двухкомнатный номер для Троцкого, но наркомвоенмор сразу же перебрался в свой поезд, который сделался его штабом, — вплоть до конца двадцатого мотался по фронтам: в номере жили его жена Наталья Седова и сыновья Сережа и Лев.

— Я предлагаю меню, — сказал Иванов, разглядывая наименования блюд, написанные на шершавой серой бумаге от руки. — Закуска: селедка с картошкой, две порции икры и балык. Сборную солянку будете? Не забыли, что это такое?

— Я просто не знаю, что это такое, — ответил Исаев. — В Москве и Питере такого в мое время не было, во Владивостоке подавали все больше рыбные блюда.

Иванов поднял глаза на Исаева, в них было сострадание:

— Тогда обязательно угощу сборной солянкой... Это наше, типично русское... Потом возьмем рыбу «по-монастырски», тоже из серии забытых блюд, так сказать, золотопогонных... Традиционная еда, наша, не «деваляй» какой или «шнитцель»... Русская кухня вполне может соревноваться с французской, и не только соревноваться, но и победить... Это я вам — за вицмундиры, — рассмеялся Иванов, — под ребро, чтоб знали, на что замахиваетесь... «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь» — формула отлита в бронзу...

Исаев хотел сказать, что помнит ярость Ильича, когда Сталин предложил *включить* Украину, Закавказье, Белоруссию и Туркестан в *состав* РСФСР, автоматически подчинив их Москве; Ленин ярился так, как умел ярить ся только он — открыто, с гневом: не включение в РСФСР, а добровольное соединение, с правом выхода из Союза! Не имперское *поглощение*, а братское соединение народов, освобожденных Революцией. Нет, этого ему говорить нельзя, я и так сказал слишком много, подумал он, но я должен был сделать нечто, чтобы — в свою очередь — *раскачать* этого «Аркадия Аркадьевича»; разгневанный человек чаще открывается, а мне нужно хоть в

малости понять его, я хожу в потемках, они меня запутали, я ничего не понимаю, такого со мною не было еще...

Однако Иванов открылся сам. После того как официантка убрала стол и поинтересовалась, что «дорогие гости» возьмут на «третье» (единственное слово, что осталось от моих времен, подумал Исаев; на Западе это называют «десерт»; мы во время революции «третьим» называли компот), генерал заказал мороженое с вареньем и кофе, дождался, пока официантка отошла, достал из кармана фотографию и протянул ее Исаеву:

— Знаете этих людей?

— Одного знаю очень хорошо. Это Эйхман, в гестапо он занимался уничтожением евреев... Я же писал о нем, когда *работал* на даче...

— Читал... Очень интересный материал... Эйхман скрылся... Мы делаем все, чтобы найти этого изувера... А тот, кто рядом с ним? В штатском?

— Знакомое лицо... Очень знакомое... Я этого человека видел...

— Не в гестапо?

— Гестапо — не моя епархия, — усмехнулся Исаев.— Я бы застрелился, доведись мне там работать...

Иванов искренне удивился:

— Почему?! С точки зрения разведчика — это поразительный объект для оперативной информации.

— Верно. Но мне пришлось бы, как и всем сотрудникам Мюллера, принимать участие в допросах, которые чаще всего сопровождались пытками... А пытали там не *своих*, а *наших*... Вы бы смогли там работать?

— Вопрос жесткий, — Иванов ответил не сразу, лоб собрало морщинами, лицо как-то постарело, выявилась тяжелая, многолетняя *усталость*. — Я сразу и не отвечу. Вы меня поставили в тупик, честно говоря... Ладно, а у вас, в шестом управлении, в разведке, у Шелленберга, вы этого человека не встречали?

— Нет. Я его встречал где-то в посольствах... Или у Риббентропа, на Вильгельмштрассе...

— Когда? В какие годы?

— Опять-таки боюсь быть неточным, но это были последние месяцы войны...

— Сходится, — сказал Иванов, и то напряжение, которое так изменило его лицо, сменилось расслабленностью; даже на спинку стула отвалился. — Фамилию не помните?

— Нет.

— Кто он, судя по лицу, по национальности?

— Я не умею определять национальность по лицу, ушам или черепу, — ответил Исаев. — Это в рейхе знали рейхсминистр Розенберг, псих Юлиус Штрайхер и пропагандист-идеолог Геббельс... У них надо консультироваться...

— Валленберг... Вам что-нибудь говорит это имя?

Исаев снова посмотрел на фотографию, кивнул:

— Вы правы, это Валленберг, банкир из Швеции.

— Вам не кажется странным, что еврейский банкир из Швеции дружески беседует с палачом еврейского народа?

— Шведский банкир, — уточнил Исаев, — в Швеции нет национальности, там есть вероисповедание... Валленберг, мне кажется, был католиком... Он работал в шведском посольстве в Будапеште, там Эйхман не только уничтожал евреев, но старался часть несчастных обменять на машины и бензин для рейха... Видимо, Валленберг, как и граф Бернадотт, родственник шведского короля, пытался спасти как можно больше несчастных...

Иванов спрятал фотографию в карман, дождался, пока официантка расставила на столе мороженое и кофе, а потом сказал:

— Дело в том, что Валленберг у нас... И мы располагаем данными, что он сотрудничал с Эйхманом... В общем-то, вы могли убедиться в этом, разглядывая их улыбающиеся лица, — говорят не враги, а друзья... Мы не хотим портить отношения со шведами, нам хочется провести открытый суд, изобличить Валленберга, а потом выслать его к чертовой матери в Стокгольм... Мы попали в сложное положение, понимаете? Я расскажу вам суть дела, если согласитесь помочь мне...

— То есть?

— Либо мы переведем вас в камеру к Валленбергу и вы, как Штирлиц, а не Исаев, убедите его в целесообразности выйти на открытый процесс, принять на себя хотя бы *часть* вины в сотрудничестве с Эйхманом, то есть с гестапо, или же на открытом процессе дать показания — в качестве Штирлица, а не Исаева, — что вы знали о сотрудничестве Валленберга с Эйхманом...

— Второе исключено: вас уличат во лжи... Я, чтобы вернуться на родину, сказал англичанам, что являюсь русским разведчиком; Максим Максимович Исаев, он же Юстас, вы читали мою исповедь...

— А если не это обстоятельство? Вы бы предпочли второе предложение?

Исаев ответил не сразу; конечно, второе, думал он,

это мой единственный шанс... На открытом процессе я скажу всю правду, если только там будут иностранные журналисты и наши писатели вроде Вишневского и Эренбурга, как на Нюрнбергском процессе...

— Я боюсь, что после процессов тридцатых годов, — сказал Исаев, — если не будет иностранной прессы со всего мира, если об этом не будет снят фильм, вам не поверят... Жаль, кстати, что процессы над генералами Власовым и Малышкиным были закрытыми... Я не мог понять, отчего их не транслировали по радио... Измену, настоящую, а не мнимую, надо обличать публично, чтобы люди слышали и видели воочию...

— Беретесь написать сценарий вашего поединка с Валленбергом на открытом процессе, где будет пресса и кино со всего мира?

— Он отрицает связь с гестапо?

Иванов долго смотрел в глаза Исаева, не в надбровье, не на уши, а именно в глаза; потом, вздохнув, ответил:

— Да.

— Я должен ознакомиться с документами, Аркадий Аркадьевич. Это во-первых. После этого процесса я наверняка тоже буду осужден как штандартенфюрер СС Штирлиц, и не только осужден, но и ликвидирован — лжесвидетеля полагается нейтрализовать, это во-вторых. И вообще вся ваша конструкция кажется мне липовой, потому что, как только английские журналисты сделают мои фото, а хроникеры перешлют в Лондон пленку, вас схватят за руку, и это будет такой позор, от которого не отмоешься: русский Юстас играет роль немца Штирлица...

— Хорошо, а если мы предпримем такие шаги, что Лондон промолчит?

Исаев вздохнул:

— Будет вам, Аркадий Аркадьевич! Я ж в разведке побольше вас отслужил...

— И все-таки, — поднимаясь из-за стола, повторил Иванов, — если мы решим вопрос с Лондоном, вы согласитесь оказать услугу Родине?

— Сначала вы мне должны доказать, что эта услуга нужна Родине. Затем вы должны устроить мне встречу с семьей, а потом объяснить, как вы «решите вопрос с Лондоном»...

— Подождите пару минут, я вызову машину, — сказал Иванов.

— Только не уходите на сутки, как Сергей Сергеевич,

меня в милицию заберут, денег-то нет, — усмехнулся Исаев. — Чем я расплачусь за такой сказочный обед?

...Когда они спустились к «ЗИСу», Исаев сразу заметил, что рядом с шофером сидит чем-то знакомый ему человек; наклонил голову, словно бы завязывал шнурок ботинка; заметил он и то, что возле двери салона сидел бугай с майорскими погонами; он, таким образом, оказался посередине — между майором и Ивановым, как и полагается арестованному.

Когда «ЗИС» резко взял с места, тот, что сидел возле шофера, распрямился и медленно повернул голову.

Это был Макгрегор.

7

— Знакомьтесь, Всеволод Владимирович, это Викентий Исаевич Рат, наш сотрудник, — сказал Иванов. — Лондон у нас оборудован неподалеку в стране, как говорится, доверяй, но проверяй. Не заподозрили игру? Как язык нашего Макгрегора?

— Блестящая работа, — ответил Исаев. — Поздравляю.

Сказать ли им про трамвайный перезвон, который удивил меня, когда они гнали на «военный аэродром», подумал Исаев, или приберечь? Видимо, стоит приберечь, потому что у меня тогда только мелькнула тень подозрения, я действительно верил, что попал к англичанам, я был слишком счастлив, когда после этого ублюдка «никс фарштеен» и одеяла с клеймом теплохода «Куйбышев» услышал оксфордское придыхание; слишком страшно было поверить, что в смрадный трюм меня бросили *свои*...

— Честно признаться, — сказал Рат и, словно мальчишка, став на колени возле шофера, повернулся к Исаеву, — я здорово волновался, когда шел к вам на первую встречу.

— Встречей я определяю мероприятие иного рода, — усмехнулся Исаев, завороженно разглядывая улицу Горького. — Вы шли на допрос, а не на встречу.

— Вопрос с Лондоном, который вы определяли как «главный», — решен, правда? — спросил Иванов.

— Осталось решить еще два, — ответил Исаев.

— Я помню.

— А как называется этот проспект? — спросил Иса-

ев, когда они переехали мост, переброшенный через подъездные пути Белорусского вокзала.

— Ленинградский, — ответил Рат. — Ведет к Химкинскому водохранилищу, прекрасные пляжи, сосновый бор, трудящиеся отдыхают по воскресеньям.

— Посмотрим?

Иванов кивнул:

— Рабочие новостройки посетим в следующий раз, у меня скоро совещание, руководство не поймет, если я опоздаю.

— Вы — руководство, — Исаев усмехнулся. — Так вас называет секретарь.

Иванов пожал плечами:

— Штампы довольно быстро входят в обиход, вытравить их куда труднее... Я должен быть у товарища Абакумова, он министр — это и есть руководство...

— Санкцию на свидание с женой и сыном дадите вы? Или *руководство*?

— Это не простой вопрос, Всеволод Владимирович... Мы разделим его на два этапа...

— То есть?

— С матерью вашего сына вы встретитесь в ближайшие дни, после того как начнете писать сценарий... Стенограф Коля, видимо, неприятен вам, так что я попрошу подключиться к работе милого Макгрегора... Не возражаете, Викентий Исаевич? — не глядя на Рата, утверждающе спросил Иванов.

— Я с радостью, — ответил тот. — С Максимом Максимовичем одно наслаждение трудиться, школа...

— Вы не спросили мое мнение, Аркадий Аркадьевич, — сказал Исаев, продолжая жадно смотреть на людей, шедших по проспекту, на очереди возле троллейбусных остановок, на витрины магазинов, не мог скрыть восхищения стадионом «Динамо» (Иванов заметил: «Наш, мы строили») и повторил: — Мое мнение вас не интересует?

— Отводите Рата?

— Отнюдь... Я начну работать лишь после того, как получу свидание с... женой... матерью моего сына... И с ним, Саней...

— Договорились, — легко согласился Аркадий Аркадьевич. — Накидайте пару страничек плана сценария, никакой конкретики, *вероятия*... После этого получите встречу. Если передадите наметку, встреча состоится на квартире... Не напишете — свидание в тюрьме.

— В тюрьме... — повторил Исаев.

— Подумайте, — сказал Иванов. — Я понимаю ваше состояние, но не торопитесь с окончательным ответом... Ваше постоянное недоверие к нам, своим коллегам, может обернуться всякого рода непредвиденными трудностями, Всеволод Владимирович.

— Я ответил, Аркадий Аркадьевич. Другого ответа не будет...

Под утро Исаев проснулся от истошного вопля; он вскочил с койки, потер лицо; выл кто-то совсем рядом, скорее всего, в соседней камере; потом он услышал крик; немец, голос знакомый, господи, это же Риббе — тот, с которым Макгрегор сводил его в «Лондоне».

— Нет, нет, молю, не надо! Я согласен! — вопил Риббе. — Не надо!

— А когда ты пытал коммунистов, о чем ты думал?!— человек не кричал, но говорил с болью, громко; потом забубнил переводчик.

— Я не пытал! Клянусь! Я никогда никого не пытал! Я работал в картотеке, пощадите, молю!

Штурмбанфюрера, видимо, вытаскивали из камеры, он хватался за дверь, сопротивлялся, потом ему заломили руки — судя по тому, как он взвизгнул, — и быстро потащили по коридору; крик его был слышен еще минуты три, потом где-то хлопнула дверь, и наступила гулкая тишина...

Прошло еще четыре недели; свидания не было, на допросы не вызывали: прогулка, гимнастика, прикидки возможных *партий*, лицо Сашеньки в слезах, и глаза сына — в минуту прощания в Кракове, декабрь сорок четвертого...

Порою он впадал в отчаяние, но резко, презрительно даже, одергивал себя: они только этого ждут. Всякое лишнее движение может лишь ухудшить положение тех, кого он любит. Его больше нет. Он кончен. Надо бороться за своих.

...Скрываемо все, кроме правды. Жаль, что ждать приходится века, но все равно тайное всегда делается явным, хоть и разнотолкуемым, увы...

...Он то и дело вспоминал свою последнюю встречу в Испании, в тридцать седьмом, с Антоновым-Овсеенко, Сыроежкиным, Малиновским, Орловым, Смушкевичем, оператором Романом Карменом и старым знакомым —

еще с Октября семнадцатого — Михаилом Кольцовым; кроме Антонова, который именно тогда и сказал: «Приказано выжить», Кольцов на его, Исаева, вопрос, что происходит дома, пожал плечами, усмехнулся: «Борьба есть борьба, она не исключает эмоций», долго смотрел на Исаева сквозь толстые стекла очков, и в глазах его метался то ли смех, то ли отчаяние; Жора Сыроежкин, ветеран ЧК, отвел его в сторону и тихо сказал, что настоящая фамилия его адъютанта Савинков и что он студент из Парижа. «Я постоянно чувствую себя перед ним в неоплаченном долгу — ведь его отца я брал на границе... Парень горячий, рвется в диверсанты, я его при себе оставил: отец погиб, пусть сын выживет... Один тип — пришел в ЧК в прошлом году — порекомендовал мне отделаться от «компрометирующей связи», я, понятно, послал его на хер, он наверняка отправил сообщение в Центр, а там теперь любят сенсации...»

Через полгода Жору Сыроежкина расстреляли, об этом со смехом и радостью сообщили в РСХА: «Ас русской разведки, как выяснилось, был нашим агентом, жаль, что мы об этом узнали только сейчас, дорого б мы дали, стань он действительно нашим агентом».

В те месяцы все протоколы процессов, публиковавшиеся в русских газетах, ежедневно переводили в службе Гейдриха; перепечатывали на особой машинке с большими буквами — ясно, для Гитлера. Тот не носил очки: это могло помешать *образу*, созданному пропагандистами: у великого фюрера германской нации должны быть орлиное зрение, богатырские плечи и вечно молодое, без единой морщинки лицо.

Гейдрих ликовал:

— Сталин повернулся к нам! Вместо идеологии интернационального большевизма он предложил *государственную* концепцию, а это уже предмет для делового обсуждения, можно торговаться... Каменев, Пятаков, Раковский, Радек, Крестинский — адепты Коммунистического Интернационала — расстреляны; на смену им приходят *антиличности*, механические исполнители сталинской воли; именно теперь можно разделаться с паршивыми демократиями Парижа и Лондона; Россия, лишенная командного состава, парализована.

Когда были расстреляны последний председатель Коминтерна Бухарин и бывший премьер Рыков,он, Исаев, практически подошел к ответу на мучившие его вопросы: сначала он заставлял себя думать, что Политбюро и Сталин не знают всей правды; поскольку всех вете-

ранов к началу тридцатых годов разогнали, вполне могло случиться, что в органы проникла вражеская агентура. Германская? Нет, иначе об этом, как о великой победе, Гейдрих бы доложил фюреру и наверняка поделился бы с Шелленбергом; хорошо, но ведь и англичане не испытывают страстной любви к большевикам, и французы, а *службы* у них крепкие... Но почему тогда Троцкого, Радека, Бухарина обвиняли именно в германском шпионстве? Это же не могло не вызвать *дома* взрыв ненависти против гитлеровцев? Почему, тем не менее, Гейдрих так ликовал?

...Исаев начал вспоминать, заставляя свою *память* работать фотографически, избирательно, когда и где он видел Сталина.

В девятнадцатом? Вроде бы да. В президиуме Сталин садился рядом с Каменевым или сзади Троцкого; не выпуская маленькой трубки изо рта, улыбчиво и доверительно переговаривался с ними, поглядывая изредка в зал; работники Секретариата чаще всего подходили к нему, реже к Зиновьеву, как-никак — один из вождей, Сталин вдумчиво, медленно читал документы, правил их и лишь потом передавал *первому* ряду — Ленину, Троцкому, Каменеву, Бухарину, Зиновьеву. Он порою улыбался, улыбка была потаенной, но мягкой; только один раз, когда Ленин исчеркал бумагу, переданную ему Сталиным, и несколько раздраженно, не оглядываясь даже, протянул ее народному комиссару по делам национальностей, Исаев вспомнил, как глаза Сталина сделались щелочками, а лицо закаменело, превратившись в маску; но это было одно лишь мгновение, потом он поманил кого-то из товарищей, работавших в *аппарате* Секретариата, и, полуобняв его, начал что-то шептать на ухо, указывая глазами на ленинские перечеркивания...

Геббельс — после расстрела ветеранов НСДАП Эрнста Рэма и Грегора Штрассера — дал в газетах сообщение, что лично фюрер ничего не знал о случившемся, идет расследование, о результатах будет сообщено дополнительно, и было это за полгода до того, как убили Кирова.

Гейдрих отмечал, что в советской прессе полная неразбериха: сначала обвинили монархо-эсеровскую эмиграцию, потом обрушились на троцкиста Николаева, а

уж потом арестовали Каменева и Зиновьева — эффект разорвавшейся бомбы.

Исаев тогда заставил себя отринуть вопросы, терзавшие его, страшные аналогии, которые были вполне закономерны, параллели, напрашивавшиеся сами собой. В тридцать восьмом, когда обвиняемые, кроме Бухарина, признались в том, что служили немцам через Троцкого — «главного агента Гитлера», которого нацистская пресса называла «врагом рейха номер один», Исаев вдруг подумал: «А что, если этот ужас нужен *нам* для того, чтобы заключить блок с демократиями Запада против Гитлера?»

Это было успокоение, в которое он заставлял себя верить, слыша в глубине души совершенно другое, запретное: но если те откажутся от блока с нами, Сталин легко повернет к Гитлеру: «С теми, кто был мозгом и душою большевистской теории и практики, покончено, мы стали *державой*, мы готовы к диалогу, а вы?»

Политика альтернативна; вчерашний враг часто становится другом; Александр Первый после сражения с «мерзавцем Николаем» сел с ним в Тильзите за дружеский стол переговоров — консул Бонапарт стал императором; с ним можно было сотрудничать, только набраться терпения и такта...

...Исаев снова увидел лицо отца, его седую шевелюру, коротко подстриженные усы, выпуклый, без морщин лоб и — он хранил в себе эту память особенно бережно—услышал его голос. Отец, как всегда ничего не навязывая, изучал с ним дома, в Берне, то, что в гимназии *проскальзывали*, уделяя теме всего лишь один урок...

Почему-то особенно врезалась в память история Катилины.

В гимназии учитель рассказывал, что «омерзительный развратник и злодей Катилина, предав родину, ушел в стан врагов и за это поплатился жизнью». Учитель задал ученикам упражнение на дом: выучить три пассажа из речей Цицерона, обращенных против изменника. Исаев, тогда еще «Севушка», зубрил чеканный текст обвинительной речи с увлечением, в ломком голосе его звучали гнев и презрение к врагу демократии, посмевшему поднять руку на прекрасные общественные институты древней Республики...

Что же я тогда читал, подумал Исаев. Интересно, смогу вспомнить? Должен, сказал он себе.

Он остановился посреди камеры, расслабился и приказал себе *увидеть* кухоньку, где отец, умевший легко

обживаться, поставил старенький стол, накрыл его крахмальной скатертью, повесил на стенах репродукции Репина, Ярошенко, Серова, Сурикова, барона Клодта; керосинку, раковину и ведро для мусора отгородил фанерой, задекорировав ее первомайскими плакатами французских и немецких социалистов, получилась уютная гостиная-столовая. В комнате, которая была их спальней и одновременно кабинетом отца, висели литографии Маркса, Энгельса, Бебеля; стеллажи были заполнены книгами, журналами, газетами, и этот кажущийся беспорядок лишь придавал их жилищу какой-то особый аристократический шарм.

Диванчик, на котором спал Всеволод, был застелен шотландским черно-красным пледом; свою узенькую коечку отец покрывал старой буркой: его любимой книгой — знал почти наизусть — был «Хаджи Мурат». Как же давно все это было! Да и было ли вообще? — горестно спросил себя Исаев, снова осмотрев грязно-фиолетовые, покойницкие стены камеры.

Это было, ответил он себе, и это во мне, а когда меня убьют, это останется в мире, потому что старик Шамес был прав — энергия разума не исчезает, надо уметь на нее настроиться, наверняка ученые изобретут аппарат, который запишет мои мысли и заложит их в архив человеческой памяти...

А читал я тогда, ликующе вспомнил он, вот какие строки из Цицерона: «Честолюбие заставило многих людей сделаться лжецами, одно держать втайне на уме, другое высказывать на словах... Эти пороки росли сначала едва заметно, иногда даже наказывались; после, когда зараза внедрилась, общество изменилось в корне и верховная власть из самой справедливой превратилась в жестокую и совершенно неприемлемую...»

Исаев замер, потому что явственно услышал голос отца, который тихонько, извиняющимся голосом заметил, что это не Цицерон, а Крисп; консул Цицерон говорил иначе, у него была блистательная система доказательств, первый прагматик мира; послушай, как он вел свою линию против Катилины: «Сейчас ты явился в Сенат. Кто обратился к тебе с приветствием? Зачем тебе ждать словесного оскорбления, когда ты уже уничтожен грозным приговором *молчания*?! С твоим приходом места возле тебя опустели. Вся Италия заговорила со мной: «Марк Тулий, что ты делаешь?! Неужели ты не отдашь распоряжение заключить Катилину в оковы и применить к нему не просто казнь, но самые отчаянные пытки?».

Я тогда спросил отца: отчего Цицерон и вправду не казнил изменника и корыстолюбца? Вот тогда-то он и ответил, что историю Катилины нам преподают нечестно, видимо, еще не пришло время открыть правду про этого доброго и честного бунтаря, которого Цицерон смог представить человечеству убийцей, развратником, вором и предателем...

«Будущее вынесет свой приговор, — сказал тогда папа. — Революция позволит заново понять историю, оправдать тех, кого клеймили преступниками, и с презрением отнестись к властолюбцам, кто называл себя праведниками... Наверное, учитель не читал вам эту часть третьей речи Цицерона: «Я желаю, чтобы все мои триумфы, почетные отличия, все памятники, увековечивающие мою славу, оказались глубоко запечатленными в ваших сердцах... Мои подвиги будут питаться вашей памятью, они будут расти, передаваемые из уст в уста, они глубоко внедрятся в скрижали истории и займут в них почетное место...»

Отец тогда усмехнулся: «Можешь себе представить, чтобы нечто подобное сказали Плеханов, Кропоткин или Засулич? А помнишь, как Цицерон уверял римлян, вынеся смертный приговор соратникам Катилины, что казнь встречена всем народом с полным энтузиазмом?! Как он возносил себя, утвердившего казнь?! А вот чьи это слова: «Римское государство попало в кабалу олигархов, и граждане сделались бесправной, презренной чернью! Олигархи не знают, куда девать свои богатства, транжирят их на застройку морей и срытие гор, а у других дома — бедность, вне дома — долги... Только тот, кто сам несчастен, может быть заступником несчастных»? Это слова «изменника» Катилины. Почему Цицерон так его ненавидел? Только из-за разности идейных позиций? Нет, Севушка, он ненавидел его еще и потому, что Катилину впервые судили за то, что он, юноша, был искренне влюблен в весталку Фабию, сестру жены Цицерона... В политике всегда надо искать не только общественную, но и личную подоплеку... А когда Катилина внес предложение кассировать, то есть отменить все долги ростовщикам, он сделался самым популярным человеком Рима, это и испугало олигархов, отсюда та клевета, которая была обрушена на него... Он выставил свою кандидатуру в консулы, и он бы стал консулом, но в действие была введена провокация, и Цицерон, получив власть, обвинил Катилину в заговоре и измене... Сколько прошло веков, прежде чем мы узнали не только речи Цицерона, но и

позицию Катилины? И что же, мы подняли Катилину на щит, как народного героя? Судя по тому, что вам задают учить в классах, педагогика буржуа до сих пор страшится открыть правду... Подвергай все сомнению, сын, прекрасная позиция...»

...Исаев присел на табурет, обхватил голову руками: зачем мне привиделось все это, подумал он, почему я вновь, как в самые счастливые или горькие минуты жизни, услышал отца?

Ты услышал его потому, медленно, превозмогая себя, ответил он, что никогда не забывал то выступление Каменева в двадцать пятом, когда он открыто перед съездом потребовал устранения Сталина. Вот почему ты сейчас вспомнил Цицерона и Катилину; ты просто боялся назвать *имя*, ты до сих пор страшишься говорить себе правду, ты ищешь искренность в словах Аркадия Аркадьевича, который так хочет выслать этого самого Валленберга в Швецию, только для этого ему надо доказать миру, что шведский банкир был агентом гестапо. А не так ли работали с Алексеем Ивановичем Рыковым девять лет назад? Тебя приглашают влезть в дерьмо для того лишь, чтобы сделать «благо» другому человеку. И я все время возвращаюсь мыслью к его предложению сделать добро Валленбергу, с «которым мы попали в глупое положение», разве нет? Я запрещаю себе даже думать о *подсадке*, но именно потому, что я постоянно запрещаю это, значит, так же постоянно эта мысль живет во мне!

...В конце пятой недели его разбудили в половине пятого утра; на пороге стоял тот самый Сергей Сергеевич, которого он назвал тварью...

Лицо его было уставшим, осунувшимся, в глазах застыла боль...

— Поднимайтесь, — сказал он. — Зря вы на меня наговорили руководству... Мне строгача объявили, а я ведь отца похоронил...

8

Исаев почувствовал, как ослабли ноги и остановилось сердце, когда в камере, куда его ввели, он увидел Сашеньку, сидевшую на табурете.

Это была не Сашенька, а седая женщина с морщинистым серым лицом и высохшими руками; только глаза были ее — огромные, серые, мудрые, скорбные, любящие...

— Садитесь на вторую табуретку, — сказал Сергей

Сергеевич. — Друг к другу не подходить, если ослушаетесь, прервем свидание. Я оставлю вас наедине, но глазок камеры открыт постоянно, за нарушение будет отвечать Гаврилина — три дня карцера.

И, по-солдатски развернувшись на каблуках, Сергей Сергеевич вышел из камеры...

— Любовь моя, — сказал Исаев и понял, что он ничего не сказал — пропал голос.

— Любовь моя, — повторила Сашенька. — Максимушка, Максим Максимович, нежность вы моя единственная...

Зачем я не умею плакать, горестно подумал Исаев, как счастливы те, кто может дать волю слезам; от инфаркта чаще всего умирают улыбчивые люди.

— Двадцать лет назад... Я видел в Шанхае сон... Будто я вернулся к тебе, в Москву... И мы едем на пролетке, — прошептал он, откашлявшись.

У Сашеньки задрожал подбородок...

Я оставил ее, повинуясь приказу, пришедшему во Владивосток из этого дома, подумал Исаев. Ей было двадцать тогда... А сейчас? Измученная старенькая женщина... И я не имею права сразу же спрашивать о сыне, я должен что-то сказать ей...

— Ты похудела, любовь, но тебе это очень... Даже не знаю, как сказать... К лицу...

— Максимушка... Я же знаю про себя все... Женщины все про себя знают... Даже если отобрали зеркальце... Я старуха, Максимушка... Глубокая старуха... Вы меня не успокаивайте, вы ж всегда подтрунивали надо мною, вот и сейчас будьте таким... Я вас тоже видела во сне... Это были какие-то кинофильмы, а не сны...

— Ты сказала «отобрали зеркальце», — Исаев осмотрел камеру; сразу же обратил внимание на большую отдушину, понял, что их не только записывают, но и снимают. — Тебя давно арестовали? В чем обвиняют? Говори быстро, потому что могут прервать свидание...

Сашенька покачала головой:

— Мне сказали, что не прервут, дали честное слово... И разрешили отвечать на ваши вопросы... Можно я спрошу, Максимушка?

— Конечно, любовь...

— Вы были верны мне все эти годы?

Ее заставили задать этот вопрос, понял Исаев, до конца ощутив их трагическую, непереступаемую отгороженность друг от друга: дело здесь не в том, что она говорит мне «вы», она и во Владивостоке так говорила,

дело в другом, совсем в другом, нам обоим неподвластном.

— Я люблю тебя, — ответил он, неотрывно глядя в ее лицо, словно бы стараясь *снять* морщины, пепельность, отеки, чтобы увидеть прежнюю Сашеньку. — Я всегда любил тебя...

— Но ведь вы живой человек... У вас были женщины?

— Да.

— И они ничего не значили в вашей судьбе? Они не остались в вас?

Зачем она говорит это, подумал Исаев. Нельзя так говорить, это совсем даже и не Сашенька, это не моя Сашенька... Я же никогда не посмею спросить, был ли у нее мужчина. Конечно, был, но ведь любовь, такая, как наша, отмечена иной печатью, другим смыслом...

— Они оставили рубец в душе, потому что их из-за меня убили, — ответил он и ощутил, что сердце наконец перестало колотиться.

— Вы совсем не изменились... — прошептала Сашенька. — Такой же красивый... Нет, даже еще красивей... Вам так идет седина... Спасибо, что вы сказали правду... Вы всегда были таким чистым человеком... Только чистые люди честны... Помните, на заимке у Тимохи я говорила, что твои... что... ваши читатели режут фамилию «Исаев» под статьями, когда заклеивают газетами окна на зиму... Я ж поняла тогда, кого вы называли *«читателями»*.

— Я это чувствовал, любовь... Я был так благодарен тебе за это... Мужчина очень гордится, когда любимая все про него понимает... Ведь понять — это значит простить, нет?

— Понять — это значит любить, Максимушка... Вы не спрашиваете про Санечку... Почему? Не хотите сделать больно?

— Да... Не знаю... За эти годы я приучился ждать, когда сам чело... Фу, как ужасно я говорю... Я растерян, Сашенька... Да, я привык, что люди сами говорят то, что посчитают нужным сказать... Но ведь ты не человек... Ты Сашенька...

— Наш Санечка пропал без вести. — из ее глаз покатились слезы; лицо было прежним, страдальческим, но губы все же таили в себе какое-то умиротворение, появившееся в первое мгновение их встречи. — Санечка пропал в Праге, в последний день войны... Когда выступили власовцы...

— Ты запрашивала командование? Где он был до исчезновения? С кем встречался? Адреса?

— Я писала всем... Я обратилась даже к товарищу Сталину...

— Отвечали?

— Да... «Никакой информацией не располагаем...» Я писала и товарищу Берия... Три раза... Меня пригласили на Кузнецкий мост...

— Куда? — Исаев не понял. — Что это?

— Это приемная Министерства государственной безопасности...

— Ну? — спросил он нетерпеливо и понял, как бестактен он с этим своим требовательным «ну?».

— Мне сказали, — Сашенька замолчала надолго, потом снова заплакала. — Мне сказали, что Санечка ушел с власовцами...

— Это ложь, — отрезал Исаев.

— Я сказала то же самое.

— Мне обещали с ним встречу, любовь... Или мне врали, или он тоже сидит... Ты давно тут?

— Нет... Меня только что привезли из Бутырок.

— Я спрашиваю, давно ли тебя арестовали?

— Три месяца назад.

Когда я вернулся, сразу же понял Исаев; чуть ли не в тот же день...

— В чем тебя обвиняют?

Из ее глаз еще горше покатились слезы, которые как-то странно молодили морщинистое лицо; безутешность свойственна детству или юности, люди средних лет и старики готовы к потерям, в них нет такого отчаяния, как в малыше или девушке; те еще слишком остро ощущают несправедливость, свою беззащитность и малость, страшное противостояние огромного мира; потом это проходит; утраты меняют людей.

— Сначала пришла похоронка на вас... Потом про нашего Санечку написали... что он пропал без вести... Это очень позорно, вы ведь знаете, как это у нас позорно... А я кинохронику смотрела, бои за Будапешт, бежал наш солдатик, а потом вдруг исчез, прямое попадание мины, облачко, ямка, и ни следа от человека... А матери его: «пропал без вести»... Ни пенсии, ни помощи...

— Саня жив. И он не предатель, — повторил Исаев. — Пожалуйста, верь мне, любовь...

— Вы не называете меня по имени... Почему?

— Потому что у тебя два имени... Одно — Сашенька, а второе — Любовь... В Латинской Америке к женщине обращаются — «Любовь», «Амор»...

— А теперь я вам расскажу правду, ладно?

— Конечно. Тебе разрешили? Тебя не предупреждали, что мне можно говорить, а что нельзя?

Сашенька покачала головой:

— Нет, меня ни о чем не предупреждали...

— Я боюсь, если ты откроешь *всю* правду, свидание прервут...

— Мне сказали, что в вашей власти помочь мне...

— Если я сделаю то, что от меня требуют, тебя выпустят? Тебе это сказали?

— Не выпустят... Нет, в общем-то выпустят... Просто не в лагерь отправят, а сошлют — с правом работы по специальности...

— Ты же поэт, — Исаев наконец смог улыбнуться. — Это не специальность, любовь...

— Я учитель русского языка в начальных классах женской школы, Максимушка...

— Ввели раздельное обучение?

— И формочки... Как у гимназистов...

Не понимая толком зачем, он сказал:

— Очень давно я провел ночь в Харбине с Сашей Вертинским... Он пел пронзительную песню: «И две ласточки, как гимназистки, провожают меня на концерт...»

— Я слыхала эту песню... Он часто выступает...

— Где?! В Москве?!

— Конечно, — Сашенька вытерла глаза ладошками. — Он же вернулся... Ему все простили... Он так популярен в Москве...

— Ты увидишь Саню, — повторил Исаев. — Только будь молодцом, ладно?

— Максимушка, вам ничего про меня не говорили?

— Нет.

Сашенька глубоко, прерывисто вздохнула; Максим Максимович чувствовал, как тяжело ей переступить в себе что-то; бедненькая, она хочет мне признаться в том, чего не могло не случиться за четверть века разлуки; он понял, что обязан помочь ей:

— Любовь, что бы ни было с тобою, с кем бы тебя ни сводила жизнь, я буду любить тебя так же, как любил.

И случилось чудо: ее старенькое лицо вдруг озарилось таким счастьем, такой *пасхальной* надеждой, что он наконец смог увидеть прежнюю Сашеньку, ту, которая жила в его памяти все эти годы.

— Вот сейчас ты стала неотразимо красивой, — сказал Исаев. — Такой, какой жила во мне все время нашей разлуки.

— Максимушка, — голос ее прервался, дрогнул; она резко откинулась, распрямила плечи, ему сразу же передалась ее струнная напряженность. — Любовь, — она улыбнулась через силу, — вы верите мне?

— Как себе...

— Вы верите, что я любила, люблю и буду вас любить и умру с вашим именем в сердце?

— Эта фраза — бумеранг, — Исаев тоже улыбнулся через силу.

— Мы никогда не будем жить вместе, Максимушка... Я сделалась старухой... Вы же сохранили силу и молодость... Вы еще очень молодой, а я больше всего ненавижу принудительность — в чем бы то ни было... Если Господь поможет, мы всегда будем друзьями... Я буду благодарно и счастливо любить вас... Это будет грязно, если я посмею разрешить вам быть подле меня... Вы проклянете жизнь, Максимушка... Она сделается невыносимой для вас... Равенство обязано быть первоосновой отношений... А еще я ненавижу, когда меня жалеют... Так вот, когда мне сказали, что вы погибли, а Санечка пропал без вести, я рухнула... Я запила, Максимушка... Я сделалась алкоголичкой... Да, да, настоящей алкоголичкой... И меня положили в клинику... И меня спас доктор Гелиович... А когда меня выписали, он переехал ко мне, на Фрунзенскую... Он был прописан у своей тетушки, а забрали его у меня на квартире... Через неделю ко мне пришли с обыском — при аресте обыска не делали, он же не прописан, и ордера не было... Меня попросили отдать все его записи и книги. Я ответила, что вещи его у тетушки, мне отдавать нечего... Меня попросили расписаться на каких-то бумагах, я расписалась, начался обыск, и в матраце, в Санечкиной комнате, нашли записные книжки, доллары, брошюры Троцкого, книгу Джона Рида, «Азбуку коммунизма» Бухарина... И меня арестовали... Как пособницу врага народа... Изменника родины... А вчера следователь сказал, что, если я попрошу вас выполнить то, чего от вас ждет командование, меня вышлют... И я смогу спокойно работать... А несчастного, очень доброго, но совершенно нелюбимого мною Гелиовича не расстреляют, а отправят в лагерь...

— Бедненькая ты моя, — прошептал Исаев, — любовь, Сашенька, нежность...

— И все твои ордена при обыске забрали... Мне же вручили их — орден Ленина и два Красных Знамени...

— Ты что-нибудь подписала на допросах, Сашенька?

Дверь камеры резко отворилась, вбежали два над-

зирателя, подхватили Сашеньку легко, как пушинку, и вынесли из камеры.

— Ничего не подписывай! — крикнул Исаев. — Слышишь?! Будет хуже! Терпи! Я помогу тебе! Держись!

Сергей Сергеевич, стоявший возле двери, заметил:

— Она в обмороке... Не кричите зазря, все равно не услышит... Ну что, пошли? А то без пшенки останетесь, время баланды...

9

Возле камеры, однако, стоял тот вальяжный, внутренне неподвижный мужчина, что сидел за столом-бюро в приемной Аркадия Аркадьевича.

— Добрый день, Всеволод Владимирович... Генерал приглашает вас пообедать. — Следователю, вытянувшемуся по стойке «смирно», сухо бросил: — Вы свободны.

Когда поднимались в лифте, мужчина поинтересовался:

— Как себя вел следователь сегодня? Никаких бестактностей? Был корректен?

— Вполне... Пережить такое горе...

— Какое горе? — мужчина нахмурился.

— У него отец перенес тяжелый инфаркт... Сейчас стало лучше, вот он и перестал быть таким раздражительно-забывчивым...

— Да, да, — рассеянно согласился мужчина. — Как хорошо, что вы отнеслись к нему снисходительно, отец есть отец...

А у немцев такого прокола не могло произойти, подумал Исаев. Видимо, этот хлыщ не посвящен в подробности игры, иначе он бы посочувствовал Сергею Сергеевичу — смерть отца, горе... Интересно, напишет он рапорт о нашем разговоре или нет? Если напишет, его уволят, это точно... Любопытно, как он себя поведет, если я скажу ему о проколе? Ты думаешь использовать его, спросил себя Исаев. Напрасно, не выйдет. Он убежден, что служит Идее и что я действительно враг. Сергей Сергеевич во время первого допроса заметил, что сейчас времена другие, зря никого не сажают, ежовщина выкорчевана товарищем Берия по указанию Вождя; без улик и бесспорных доказательств прокуратура ныне не даст санкции на арест... Какие на меня могут быть улики или доказательства? Да и посадили меня, как выясняется, только для того, чтобы включить в *комбинацию* по Валленбергу. В теплоход сунули от растерянности, я ж постоянно твердил: «Скорее берите Мюллера, бога ради, товари-

щи!» В «Лондоне» мотали на излом, на даче начали настоящую игру... И ни слова о Мюллере... Почему? Если бы меня сразу отвезли домой, я бы пошел на любое задание; мы умнеем в камерах, на воле живем иллюзиями... «Отвезли домой», зло повторил он; квартира опечатана, Сашеньку мучают в Бутырках, принуждая учить то, что она должна мне сказать... Бедненькая моя, нежность... А если бы ты приехал раньше? И тебя бы не бросили в камеру? И ты бы узнал ее адрес и пришел к ней? И увидел в ее квартире этого самого доктора Гелиовича?

Мой Саня здесь, Исаев оборвал себя; сейчас надо сделать все, чтобы мне его показали. Я должен увидеть его... И потребовать его дело... Иначе я пойду под пулю, но не шевельну пальцем, чтобы помочь им выйти из «сложного положения» со Швецией...

...Иванов на этот раз поднялся из-за стола, вышел ему навстречу, молча пожал руку, кивнул на длинный стол совещаний, где был накрыт скромный обед (бульон с яйцом, котлета с долькой соленого огурца и пюре), снял свой потертый пиджак и сказал:

— Как вы понимаете, я слушал весь ваш разговор с Гаврилиной... Я лишен сантиментов, но сердце у меня прижало, признаюсь... Вы же настаивали на свидании, не я...

— Надеюсь, вы позволите нам увидеться еще раз?

— Позже.

— Это зависит от тех условий, которые вы намерены мне поставить?

— Нет. Давайте кушайте, а то остынет...

Ел Аркадий Аркадьевич сосредоточенно, очень быстро, зато кофе пил смакуя, маленькими глоточками, чуть отставив мизинец; закончив, нажал кнопку под столом; вошел вальяжный мужчина, унес поднос, артистически придержав дверь локтем левой руки так, что она не хлопнула, а мягко притворилась.

Аркадий Аркадьевич поднялся из-за стола, походил по кабинету, потом остановился напротив Исаева и сурово спросил:

— Теперь, видимо, вы захотите узнать все о сыне?

— Да.

— Вы не верите, что он пропал без вести?

— Не верю.

— Правильно делаете... «СМЕРШ» схватил его в Пльзене, когда там еще стояли американцы... Он утвер-

ждал, что бросился искать вас... Ему якобы сказал полковник военной разведки Берг, что вас арестовали в середине апреля, а потом, как и всех заключенных, транспортировали в район Альпийского редута... Откуда Берг из военной разведки мог узнать про ваш арест? Вы верите в это?

— Верю. Берг был не прямо, но косвенно связан с участниками заговора против фюрера... Я ж сообщал... Его могли сломать на этом, завербовав в гестапо... А Мюллер активно *работал* со мной до двадцать восьмого апреля... Он мог вычислить Саню, мальчик был ему выгоден, они умеют... умели ломать отцов и матерей, приставляя пистолет к виску ребенка...

— Вы бы согласились работать на Мюллера, случись такое?

— Не знаю, — ответил Исаев, подумав, что он плохо ответил, снова открылся, прокол. — Скорее всего — нет... Я бы просто сошел с ума... Думаю, если у вас есть дети, с вами случилось бы подобное же...

— Я покажу вам дело сына...

— Этого мало. Я хочу получить с ним свидание.

— Я же сказал: получите. После окончания *работы*.

— Я начну работать только после того, как вы освободите мою же... Александру Гаврилину и сына...

— Вы с Лозовским встречались?

— Кто это? Знакомая фамилия...

— Соломон Лозовский, председатель Профинтерна...

— В семнадцатом встречался... И в двадцать первом тоже, на конгрессе...

— Как думаете, генсек Профинтерна Лозовский — он сейчас депутат Верховного Совета, заместитель товарища Вячеслава Михайловича Молотова — помнит вас?

— Вряд ли...

— А вашего отца?

— Наверняка должен помнить...

Аркадий Аркадьевич снова принялся ходить по своему огромному кабинету, потом взял со стола стопку бумаги, самописку (очень дорогая, сразу же отметил Исаев, «монблан» с золотым пером и тремя золотыми ободками, миллионерский уровень) и положил перед Исаевым.

— Пишите, — сказал он. — Депутату Верховного Совета СССР Лозовскому С. А.

— Я не умею писать под диктовку... Каков смысл письма?

— Вы обращаетесь к представителю высшего органа

власти страны с просьбой о помиловании Гаврилиной и вашего сына...

— В качестве кого я обращаюсь к Лозовскому?

— Подписываетесь Штирлицем... Этот псевдоним, думаю, был известен высшему руководству наркомата, тьфу, министерства иностранных дел...

— «Заключенный Штирлиц»? — спросил Исаев.—Или «штандартенфюрер»?

Иванов рассмеялся:

— Я сам поеду с этим заявлением к Соломону Абрамовичу... И покажу вам его визу — какой бы она ни была... Второе письмо напишите товарищу Кузнецову Алексею Александровичу, секретарю ЦК ВКП(б), он теперь курирует органы, попросите его о переводе вас на *дачу* в связи с началом операции по шведу...

— Второе письмо я напишу после того, как вы покажете мне резолюцию Лозовского.

— Хорошо, не пишите про шведа, — досадливо поморщился Аркадий Аркадьевич. — Посетуйте на несправедливость в отношении вас и попросите, указав на работу против Карла Вольфа в Швейцарии, перевести на *дачу*... Напишите, что идет завершающий этап *проверки*, вы убеждены в предстоящей реабилитации, сдают нервы, одиночка — не курорт... С этим письмом поедет заместитель товарища Абакумова. Возможно, все дальнейшие встречи с Александрой Гаврилиной и свидание с сыном мы проведем на даче... Я ничего не обещаю, я говорю предположительно, не обольщайтесь...

Эти его слова и позволили Исаеву взять перо и лист бумаги...

...Спрятав заявления, Аркадий Аркадьевич отошел к своему столу, снял трубку телефона и коротко бросил:

— Введите.

...Привели штурмбанфюрера Риббе. Глаза его были по-прежнему совершенно пусты, лицо пепельное, прозрачное, с очень большими ушами; Исаеву даже показалось, что отечные мочки трясутся при каждом шаге.

Рат, сопровождавший Риббе, улыбнулся Исаеву, как доброму знакомому.

— Спросите его, — сказал Рату Аркадий Аркадьевич, — что он может показать о деятельности Валленберга в Будапеште...

— В конце ноября сорок четвертого года, — начал рапортовать Риббе, — Эйхман поручил мне провести

встречу с Валленбергом на конспиративной квартире и обговорить формы связи в Стокгольме, если произойдет трагедия и рейх рухнет. Сначала я возражал Эйхману, говорил, что нельзя произносить такие слова, однако Эйхман заверил меня, что фраза согласована с группенфюрером Мюллером, некая форма проверки агента... Нам надо, пояснил Эйхман, проверить реакцию Валленберга, и это я поручаю вам... Во время конспиративной встречи Валленберг сказал, что он гарантирует безопасность нашим людям... Переправит их в Латинскую Америку, если мы выполним его просьбу и освободим тех евреев, список которых он передал ранее «его другу» Эйхману... Вот в общих чертах та единственная встреча, которую я имел с Валленбергом...

— Вы видели его вербовочное обязательство работать на РСХА? — спросил Аркадий Аркадьевич.

Рат перевел, Исаев отметил, что он допустил ошибку, ерундовую, конечно, но тем не менее двоякотолкуемую: вместо «обязательство» сказал «обещание»; в разведке не «обещают», а «работают».

— Нет, — ответил Риббе, — все эти документы Эйхман хранил в своем сейфе...

— Каким образом Эйхман исчез? — спросил Аркадий Аркадьевич.

— Говорили, что он пробрался во Фленсбург, а оттуда — в Данию...

— Вы хотите сказать, что он стремился попасть в Швецию?

— Бесспорно. Все остальные партийные товари... коллеги, — быстро, с испугом поправился Риббе, — стремились на юг, к швейцарской границе, чтобы уходить по линии ОДЕССа* в Италию, а оттуда — в Испанию...

Аркадий Аркадьевич неожиданно обернулся к Исаеву и быстро спросил на ужасном немецком:

— Штирлиц, это правда?

— Да, — ответил Максим Максимович и сразу же пожалел об этом, надо было просто кивнуть; его уже, хоть в самой малости, в едином слове «да», втянули в *комбинацию*...

— Вас вывозили через Италию, Штирлиц? — продолжая коверкать немецкий, уточнил Аркадий Аркадьевич.

---

* ОДЕССа — секретная организация нацистов по переправке ответственных сотрудников партии и СС в Испанию и Латинскую Америку после краха рейха.

Исаев колебался лишь одно мгновение, потом ответил по-русски:

— Да, товарищ генерал...

Риббе никак не прореагировал на то, что он заговорил по-русски, *отсутствовал*; Иванов и Рат многозначительно переглянулись, и, хотя это было лишь одно мгновение, Исаев точно засек выражение их острых, напряженных глаз.

— Спасибо, Риббе, — мягко сказал Аркадий Аркадьевич. — Можете сегодня отдыхать, завтра вам увеличат прогулку до часа...

Рат чуть тронул Риббе, тот, словно автомат, повернулся и зашагал к двери, вытянув руки по швам, словно шел на параде...

— Ну как? — спросил Иванов. — Вы ему поверили? Или врет?

— Видимо, вы даете ему какие-то препараты, Аркадий Аркадьевич... Он производит впечатление больного человека... Он малоубедителен... Как Ван дер Люббе...

— Кто? — не понял тот.

— Ван дер Люббе, свидетель гитлеровского обвинения в процессе против Георгия Димитрова...

— Я отдам сотрудника под суд, — тихо, с яростью сказал Аркадий Аркадьевич, — если узнаю, что он применяет недозволенные методы ведения следствия...

Сейчас лучше промолчать, сказал себе Исаев; он должен отдать под суд Сергея Сергеевича, который держал меня на стуле по сорок часов без движения, да еще лампа выжигала глаза...

...Дверь внезапно открылась; вошел невысокого роста человек; Аркадий Аркадьевич замер, подобрался, лицо его резко изменилось, сделалось подобострастным, внимающим...

— Здравия желаю, товарищ Мальков! — отрапортовал он. — Разрешите продолжать работу? Или прикажете отправить заключенного в камеру?

— Нет, нет, продолжайте, — ответил Мальков. — Если не будете возражать, я посижу, послушаю, не обращайте на меня внимания...

...Мальков устроился на стуле с подлокотниками в углу кабинета, возле окна, так, чтобы лица не было видно заключенному, — солнце обтекало его толстое, женственное тело, лицо с коротенькими усами и бородкой-эспаньолкой, в то время как слепящие лучи делали землистое лицо Исаева со впавшими щеками, выпершими скулами и морщинистым лбом четким, как фотография.

— Итак, Всеволод Владимирович, — Иванов заговорил иначе, сдержаннее, даже голос изменился, чуть сел, — по указанию руководства я выполнил две ваши просьбы, что дает вам основание верить, что и последняя, третья, будет выполнена, тем более вы обратились к товарищу Кузнецову и товарищу Лозовскому, другу вашего покойного отца... Могу ли я в присутствии товарища Малькова задать вопрос: вы готовы помочь нам распутать шведский узел?

— Я уже ответил: до тех пор, пока я не увижу сына, все разговоры бессмысленны.

— Разумно ли ставить ультиматум?

Аркадий Аркадьевич отошел к сейфу, стоявшему в углу кабинета, с видимым трудом открыл тяжелую бронированную дверь, достал папку с грифом «совершенно секретно, хранить вечно», предложил:

— Полистайте.

Исаев машинально похлопал себя по карманам:

— Очки-то вы у меня изъяли...

— Вернем, — пообещал Аркадий Аркадьевич и протянул Исаеву свои — маленькие, круглые, в коричневой целлулоидной оправе.

Он дал мне дело Сани, понял Исаев; это — пик нашего противостояния, я должен приготовиться к схватке, я не имею права ее проиграть, грош тебе цена, если ты проиграешь; ты выиграешь ее, потому что ты устал жить, тебе стало это неинтересно после теплохода «Куйбышев», «Лондона» и одиночки; тебе *пусто* жить после встречи с изломанной Сашенькой, которая невольно выполняет их задания, откуда ей, бедненькой тростиночке, знать *наши* хитрости... Ты виноват в том, что погубил ее жизнь, ты виноват в том, что твой мальчик сидит в камере; если виноват — искупай вину, принимай бой; смерть — избавление, я мечтаю о ней, но они, эти двое, — люди иной структуры, и то, что они не понимают моей жажды искупления вины, дает мне простор для маневра... Нет, сказал он себе, не торопясь открывать папку, ты виноват не только в том, что погубил самых близких, *единственных*, ты еще виноват в том, что предал друзей — тех, с кем начинал... Ты предал память Дзержинского, согласившись с тем, что все его помощники — Кедров, Трифонов, Сыроежкин, Уншлихт — «шпионы»; Революцию, разрешив себе смириться с тем, что друзья Ленина оказались «врагами и диверсантами», ты кругом виноват, и то, что ты выкрал Мюллера, закончив этим свою *личную* борьбу с нацизмом, не снимает с тебя вины... Ладно, сказал он

себе, это — прошлое, сейчас ты готов к бою, открывай страницу...

Сначала он увидел изможденное лицо Сани, бритого наголо, в профиль и анфас, отпечатки его пальцев, понял, что папку *готовили*, потому что не было дат, перевернул следующую страницу, собственноручные показания сына: «Виновным в предъявленных обвинениях не признаю, прошу разрешения обратиться к великому вождю советского народа генералиссимусу Сталину». Затем увидел протокол вербовки сына пражским гестапо — 19 апреля 1945 года; затем шли пять его донесений о работе чешского подполья с адресами, явками, паролями вплоть до 26 апреля, затем была подшита справка гестапо: «По информации агента Шмель арестован руководитель Пражского городского комитета коммунистов Ян, он же Йозеф Смрковский...»

Стоп! Смрковский был арестован перед моей поездкой в Линц! О такого рода *победах* нам в РСХА сообщали, значит, мне суют липу...

— Дело в том, что указание завербоваться к нацистам дал сыну я, — Исаев поднял глаза на Малькова, словно бы Аркадия Аркадьевича не было рядом с ним. — Он был денщиком полковника военной разведки Берга, связь с РСХА была ему необходима как прикрытие...

— Значит, вы дали ему право предавать гитлеровцам товарища Смрковского, члена ЦК братской партии? — спросил Аркадий Аркадьевич. — Я не могу в это поверить...

Исаев папку захлопнул, брезгливо ее отодвинул от себя:

— Вы не учитываете меру моей информированности... Я знал, когда взяли Смрковского и кто руководил операцией по его захвату... Вы забыли, что я был не кем-то, а штандартенфюрером СС... Если вы намерены так же *работать* процесс против Валленберга, вас ждет мировой скандал...

Аркадий Аркадьевич взял папку, запер ее в сейф, сел за стол, за свое рабочее место, потер ладонями лицо и бесстрастно поинтересовался:

— Вас надо понимать так, что вы отказываетесь помочь нам?

— Повторяю: до тех пор, пока я не получу встречи с сыном, пока он и Александра Гаврилина не будут освобождены, я палец о палец не ударю.

И тут заговорил Мальков:

— Я хочу отметить ряд ваших ошибок, Аркадий Ар-

кадьевич... Во-первых, вы просили Исаева помочь *нам*... Это неверно... Речь идет о помощи Родине, большевистской партии, советским людям, которые до сих пор живут в Белоруссии и на Смоленщине в землянках, а денег, чтобы построить им дома, можно просить лишь у шведов... Во-вторых, вы употребили слово «ультиматум» вместо того, чтобы назвать вещи своими именами: «наглость»... В-третьих, мы не вернем очки Исаеву, как вы пообещали, до тех пор, пока он не начнет *работать*... Если же он не начнет работу по Валленбергу и не заявит об этом сейчас, немедля, в моем присутствии, я попрошу дать мне те материалы на него, которые у вас есть... Они подобраны? Или вы все это время играли с ним в вашу обычную христову доброту?

— Мы не подбирали документы, — откашлявшись, ответил Аркадий Аркадьевич. — Я был убежден в партийной дисциплине Исаева, как-никак старый чекист...

— Если он старый чекист и вы убеждены в его партийной дисциплине, какое вы имеете право держать человека в камере?! — Мальков даже пристукнул пухлой ладонью по ручке кресла. — Вы обязаны извиниться перед ним, уплатить ему компенсацию и выдать квартиру... Почему вы не сделали этого?! Отчего нарушаете Конституцию?! Кто дал вам право на произвол?!

— Товарищ Мальков, разрешите до... — начал было Аркадий Аркадьевич сдавленным, тихим голосом...

— А что вы мне можете доложить? — так же бесстрастно, но прессово-давяще продолжал Мальков. — Что?!

Аркадий Аркадьевич снова открыл сейф, делал он это теперь кряхтяще, с натугой, достал несколько маленьких папочек и, мягко ступая, чуть ли не на цыпочках, подошел к Малькову:

— Это неоформленные эпизоды...

Не скрывая раздражения, Мальков начал листать папки, одну уронил; Аркадий Аркадьевич стремительно поднял ее; первым порывом — Исаев заметил это — было положить ее на колени Малькова, но колени были женственные, округлые, папка не удержится, соскользнет, конфуз, *руководство* еще больше разгневается, решил держать в руках...

Не поднимая глаз от папок, Мальков спросил:

— В Югославии, в сорок первом, ваш псевдоним был Юстас?

Исаев снял очки, положил их на стол, потер лицо,

разглядывая стены кабинета, — Маркс, Сталин, Берия; на вопрос, обращенный в пустоту, не ответил.

— Я вас спрашиваю или нет?! — Мальков повысил голос и поднял глаза на Исаева.

— Простите, но я не понял, к кому вы обращались, — ответил Исаев. — У меня пока еще есть имя... Имена, точнее говоря... Да, в Югославии я выполнял задания командования также под псевдонимом Юстас.

Мальков зачитал:

— «Единственно реальной силой в настоящее время является товарищ Тито (Броз), пользующийся непререкаемым авторитетом среди коммунистов и леворадикальной интеллигенции...» Это вы писали?

— Да.

— Настаиваете на этом и сейчас?

— Конечно.

Мальков протянул вторую папку Аркадию Аркадьевичу:

— Дайте ему на опознание подпись... Если опознает, пусть подтвердит.

Аркадий Аркадьевич быстро подошел к Исаеву, положил перед ним папку, в которой была сделана прорезь, вмещавшая в себя немецкую подпись — «Штирлиц».

— Ваша? Или фальсификация?

— Моя.

— Удостоверьте русской подписью.

— Сначала я должен посмотреть, какой текст я подписывал.

— При чем здесь текст? Речь идет о подлинности вашей подписи.

— Я ничего не подпишу, не посмотрев текста...

Аркадий Аркадьевич открыл папку: подпись была на чистом листе бумаги.

Исаев перечеркнул подпись, расписался заново и приписал «подпись верна, полковник Исаев», поставил дату и место — «МГБ СССР».

Как только Аркадий Аркадьевич отошел от Исаева, Мальков поднял над головою третью папку:

— «Обязуюсь по возвращении в СССР работать на английскую разведку с целью освещения деятельности МГБ СССР. Полковник Исаев (Юстас)». Что это такое?! Чья подпись? Чья бумага?! Английская бумага и ваша подпись!

— Вам же прекрасно известно, что это фальсификация Рата, так называемого Макгрегора, — ответил Иса-

ев. — Я не очень понимаю, зачем вам обставляться фальшивками? Никто не знает, что я вернулся, шлепнете без фальшивок — и концы в воду...

Мальков ответил с яростью:

— Тогда нам придется шлепать и вашу бабу! Вы же хотели с ней повидаться?! Помните немецкую пословицу: «Что знают двое, то знает и свинья»?! А какие у нас есть основания ее расстреливать?! Нет и не было! Тянет на ссылку!.. А сейчас придется выбивать решение на ее расстрел! — Он обернулся к Аркадию Аркадьевичу. — Все душеспасительные разговоры с ним кончать! Или в течение недели выбейте из него то, что надо, или готовьте материалы на Особое совещание, я проведу нужный приговор...

И, резко поднявшись с кресла, Мальков пошел к двери; Аркадий Аркадьевич семенил следом, всем своим видом давая понять малость свою, растерянность и вину.

Обежав Малькова, Аркадий Аркадьевич распахнул дверь, и тут Исаев громко сказал:

— Деканозов, стойте!

Реакция Деканозова, называющего себя Мальковым, была поразительной: он присел, словно заяц, выскочивший на стрелка.

— Выслушайте, что я вам скажу, — требовательно рубил Исаев. — И поручите так называемому Аркадию Аркадьевичу выключить микрофоны — для вашей же пользы: работая с Шелленбергом, я прослушивал часть ваших бесед с Герингом и Риббентропом, а также с Ниночкой...

Деканозов медленно выпрямился и коротко бросил Аркадию Аркадьевичу:

— В подвал, расстрелять немедленно, дело оформите потом, — и снова открыл дверь.

Исаев рассмеялся — искренне, без наигрыша:

— Мой расстрел означает и ваш расстрел, Деканозов, потому что моя одиссея, все то, что я знал, хранится в банке и будет опубликована, если я исчезну окончательно... Сядьте напротив меня, я вам кое-что расскажу — про Ниночку тоже...

— Молчать! — Деканозов сорвался на крик; кричать, видно, не умел, привык к тому, чтобы окружающие слышали его шепот, не то что слово. — Выбейте из него, — сказал он заметно побледневшему Аркадию Аркадьевичу, — все, что он знает! Где хранится его одиссея?!

Принесите ее мне на стол. Срок — две недели, — и он снова распахнул дверь.

— Деканозов, — усмехнулся Максим Максимович, — возможно, вы выбьете из меня все, я не знаю, как пытают в том здании, где не осталось ни одного, кто начал работать в семнадцатом. Заранее обговорено, что рукопись вернут только в руки, в Лос-Анджелесе, один на один. И если мои друзья не получат моего приглашения — они, кстати, стали и *нашими* друзьями, ибо поверили мне, — и не проведут месяц у меня в гостях, в *моем* доме, — они опубликуют то, что я им доверил. Ключ от моего сейфа в банке у них, отдадут они его только мне — в присутствии адвоката и нотариуса... Моя подпись на любом письме, если вы заставите меня его написать, будет сигналом к началу их *работы*... Хотите, чтобы я процитировал отрывок из вашей беседы с Герингом, которому вы передавали устное послание Сталина? Вы не учли, с кем имеете дело, Деканозов... Меня послали на смерть — к нацистам... И я уже умер, работая в их аппарате... Но там я научился так страховаться, как вам и не снилось... Вы ломали честных и наивных людей... А меня национальный социализм Гитлера научил быть змеем, просчитывать все возможности... Я не думал, что мне придется применять этот навык у *своих*... Отныне я не считаю вас своими... Я вас считаю партнерами... А теперь можете идти, я сказал то, что считал необходимым...

— Поднимите его к Комурову, — растерянно сказал Деканозов, отвернувшись от Аркадия Аркадьевича. — Я буду там...

* * *

На лесоповале во время пятиминутного перекура подполковник авиации Розин Иван Онуфриевич, кавалер двух орденов Ленина, Отечественной войны (второй степени) и Красной Звезды, ныне зэк 14-846-к, осужденный решением Особого совещания на двадцать пять лет каторги за «каэровскую деятельность» (вернувшись из родной деревни Климовичи, сказал друзьям, что в стране идет истребление крестьянства, наместники из областей обрекают людей на голодную смерть), собрал взносы с членов партии; на первом закрытом партсобрании уговорились платить по рублю из той зарплаты, которую стали давать тем, кто выполняет норму; до пятнадцати рублей в месяц (самые низкооплачиваемые негры и

пуэрториканцы получали за час работы на стройке полтора доллара; американские коммунисты боролись против этого бесчеловечного выкачивания пота и крови из рабов капитала).

Собирая взносы, Розин шептал каждому: «Полетел Маленков. Начинается новый этап драки за власть. Передать каждому из руководителей пятерок: быть в состоянии боевой готовности номер один. Как только из Москвы поступят новые сведения, начинаем. Прошу всех большевиков провести репетицию первого этапа восстания: каждый должен точно знать свое место возле конвоиров, когда начнем их разоружать... Передайте Скрипко, чтобы он, когда будет перегонять трактор в Усть-Вимский лагерь, связался с капитаном Темушкиным. Мы пойдем на соединение с его группами...»

И, отойдя к конвоиру, Розин протянул ему кисет:

— Вчера из дома посылку получил... Самодер... Угощайся, браток... Только газеты нету... Не поделишься на добрую козью ногу?

...Поздним вечером — в концлагерях поднимали в четыре утра, отбой давали в десять тридцать — собрал трехминутное совещание подпольного *парткома* ВКП(б). Распределили обязанности; в том, что ситуация на Большой земле способствовала скорейшему вооруженному выступлению заключенных-ленинцев против кровавой сталинской диктатуры, уверены были все.

10

Член Политбюро Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, маршал, Герой Советского Союза, заместитель Председателя Совета Министров Союза ССР, депутат Верховных Советов СССР и РСФСР, многолетний шеф госбезопасности товарищ Берия Лаврентий Павлович испытывал к Сталину все более и более растущую ненависть — особенно после того, как Маленков (под нажимом Жданова) был отправлен в Ташкент и Берия остался один на один с «бандой» — так он называл членов ПБ.

Он ненавидел его так, как ненавидят выживших из ума стариков, которых, тем не менее, по законам мег-

рельской деревни полагается почитать *уважаемыми*, оказывать им прилюдный почет, не прерывать, когда они несут чушь, и постоянно славить, превознося их ум и заслуги.

Берия понимал, что Сталин, поставивший под пули своих выдвиженцев Ягоду и Ежова, рано или поздно расплатится им, *носителем* его тайн, без колебаний и жалости.

Он понял это давно, еще в тридцать девятом, когда Сталин, назначив его наркомом, не кооптировал при этом в Политбюро.

Он тогда сразу же просчитал возможные последствия: очередной «исполнитель» срочно переориентировал работу НКВД, организовал убийство Троцкого, Кривицкого, Рейсса, перенес *акценты* на таинство закордонной службы, провел ряд показательных процессов над ежовскими садистами, реабилитировал несколько десятков тысяч коммунистов, обеспечив себе ореол «либерала и законника». Несколько успокоился, когда началась война, ибо стал членом ГКО, легендарного Государственного Комитета Обороны, — теперь уже наравне с Молотовым, Ворошиловым, Кагановичем, Ждановым, Вознесенским, Микояном и Косыгиным; почувствовал звездный час, когда стал членом Политбюро. Сдружился с Егором (так звал Маленкова), их альянс — могучая сила. Но, после того как Сталин выступил в феврале сорок шестого перед избирателями и ничего не сказал о торжестве коммунизма, но лишь о величии Державы, Берия понял: грядет кардинальный поворот политики, невозможный без большой крови. Тогда-то и сообразил: спасение и *жизнь* лишь в том, если он возьмет на себя проект по созданию атомной бомбы (после Потсдама Сталин бредил ею) и аккуратно отойдет от прямого руководства МГБ.

Однако чем дальше, тем больше он ощущал, что его позиции пошатнулись, ибо верх брал прагматик Вознесенский, переведенный Сталиным из кандидатов в члены Политбюро, несмотря на те меры, которые в свое время были приняты им, Маленковым, Ворошиловым и Сусловым; взлет Вознесенского прошел не без влияния Жданова, ясное дело. И сейчас секретарь ЦК Кузнецов, взявший отделы Маленкова, стал, таким образом, *курировать* Берия. Что ж, операция против Берия начата, его дни сочтены, если дать Жданову и Вознесенскому прибрать к рукам власть. Значит, предстоит борьба. А что в

этой жизни дается без борьбы?! Или смерть, или победа, третьего не существует.

...Как-то Деканозов рассказывал, что фюрер стал фанатичным антисемитом, когда ему сказали, что доктор Блох, еврей по национальности, лечивший его мать от рака, применял не те медикаменты... Сначала Берия пропустил это мимо ушей, ждал *гостью*, очаровательную девушку, порученец Саркисов увидел ее на улице Алексея Толстого; *новеньких* Берия обожал, хотя сохранял самые дружеские отношения со всеми своими подругами, даже если переставал спать с ними...

Он еще не понял, отчего ночью, проснувшись резко, словно кто-то толкнул его в плечо, вспомнил рассказ «долбаря» (так в узком кругу называли Деканозова после того, как он, пригласив молоденькую стенографистку, запер дверь кабинета, снял брюки и показал ей член: «Маленькая, я хочу, чтобы нам стало сладко». Девушка, однако, оказалась строгих правил и крутого характера: выбросила в окно брюки заместителя министра иностранных дел; скандал замяли, отправив девицу в посольство в Монголию; на границе арестовали — везла «контрабанду», сунули в сумочку две тысячи рублей). Берия тогда не сразу уснул, так и не поняв, отчего вспомнил рассказ Деканозова о еврейском враче Блохе, но мыслью довольно часто к нему возвращался...

...Начиная с марта семнадцатого, когда стали жечь полицейские околотки и здания охранных отделений, в нем, Лаврентии Берия, постоянно жил затаенный страх: а что, если в архивах остались *следы* его встреч с *теми*, кто вел с ним затаенные беседы о его, Лаврентия, друзьях по подпольному кружку «социал-демократов»: о Гоглидзе (теперь начальник ГУЛАГа, Главного управления лагерей, все секретари сибирских и дальневосточных обкомов и крайкомов — под ним, в кулаке), Севе Меркулове (был куратором разведки, умница, эрудит, без него и помощника Петра Шария не выходил ни один документ *наркома*, ни один его доклад; сейчас оттерт в ГУСИМЗ*), Мирджафаре Багирове (назначен вождем азербайджанских большевиков — с его, Берия, подачи). Одна надежда была на то, что *бумаги* сгорели, но до двадцать второго года, до той поры, пока он не стал замредом АзЧК и не получил в свои руки архивы, он страдал бессонницей — в его-то возрасте, всего двадцать два, ровесник века!

---

* Главное управление советского имущества за границей.

Несколько документов, обнаруженных им в папках особого отдела охранки, потрясли его. Сначала он решил сжечь их, но потом передумал, уехал за город, шофера и охранника оставил в машине, пошел погулять в лес: «Хочу послушать пение птиц, устал». Там-то, в лесу, отвалил камень и запрятал резиновый пакет — никто не найдет, спецсообщения охранки были не о нем, про себя он все сжег; рапорты были о другом человеке, датировались девятым и двенадцатым годами.

Шофера и охранника поручил устранить своему помощнику по оперработе; через час после того, как *задание* было выполнено, организовал стол и лично *сыпанул* в бокал помощничку; хоронили торжественно, с оркестром и залпами красноармейцев над свежей могилой, — концы в воду...

Зимой двадцать четвертого к нему в Тбилиси позвонил Сталин и предупредил, что он, Берия, новый председатель ГрузЧК, головой отвечает за безопасность и *времяпрепровождение* Льва Давыдовича, лечившегося в Сухуми: «Ни на шаг не отпускать, голову снимем, если что, — сами знаете, как еще сильны меньшевики в Закавказье, докладывать каждый день...»

Он докладывал — по телефону. Он понимал, чего ждет от него Сталин, но официальные рапорты подписывал его заместитель: еще не ясно было, куда повернется дело, — с армией шутки плохи, а Лев Давыдович — наркомвоенмор, Троцкий есть Троцкий, признанный вождь Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Но после того, как Зиновьев и Каменев в двадцать пятом году выступили против Сталина, объявив на Четырнадцатом съезде, что он не может руководить штабом партии, а Троцкий промолчал, не поддержал, отдав их, таким образом, на заклание Кобе и Бухарину, после того, как *леваки* потеряли свои позиции в ЦК, Берия до конца убедился: время колебаний кончилось, ставка сделана окончательно.

Поэтому, когда в Тбилиси приехал Каменев, оставшийся еще членом ЦК, Берия устроил роскошный стол (был искренне потрясен прекрасным грузинским, на котором говорил Каменев, — родился-то здесь, воспитывался среди грузин), поднимал тосты за друга Ильича, возглавившего Институт Маркса — Ленина, и редактора собрания сочинений незабвенного вождя.

Назавтра подвел к нему двух осведомителей, те легко *разговорили* Льва Борисовича, мнения своего о Сталине он не скрывал, подчеркивал свою дружбу с Мдивани и

Махарадзе, врагами Кобы; этот материал Берия сам отвез Сталину и вручил.

...С затаенным восхищением Берия наблюдал за тем, как на Политбюро Вознесенский — единственный из всех спокойно и уверенно возражал Сталину, спорил с ним, оперируя цифрами и фактами. Старец с нескрываемой любовью смотрел на *профессора*, соглашался с ним, конечно же, не всегда, но явно выделял его своим уважительным вниманием; однажды, в отсутствие Вознесенского, заметил: «Надо подумать, не дать ли ему Сталинскую премию за его брошюру о военной экономике... Хотя она отнюдь не бесспорна, но человек хорошо поработал, сам написал — не помощники...»

Если он — единственный из членов ПБ — получит премию, трудно предугадать, что может произойти в дальнейшем, тем более Кузнецов и Вознесенский — ленинградцы, одна шайка-лейка.

Вознесенский и Кузнецов и, конечно, Жданов должны уйти — в этом спасение. Но эту операцию должен провести другой человек, нужна комбинация; на мне нет ни одного политического процесса в стране, и я не намерен их на себя брать, я лишь убрал Троцкого и Кривицкого. Старцу это нравилось, обожает интригу, а разведка — это *долгая* интрига, комбинация может развиваться годами, а то и десятилетиями...

Берия понимал: если компрометирующие материалы на соперников будут подобраны, если придет время для *операции*, следствием которой будут арест, пытки, суд и расстрел, все это захотят взвалить на него. Но Вознесенский и Кузнецов не признаются в шпионстве, их не обманешь, как Пятакова и Рыкова, не сломишь, как Радека и Раковского, не уговоришь, как Ягоду и Буланова... Они прекрасно понимают, что никакое признание не сохранит им жизнь; лучше уж погибнуть, как Постышев, Эйхе или Чубарь, — безмолвно, хоть публичного позора не будет, зато *вопросы* в народе останутся, а любой вопрос рано или поздно родит ответ, нет ничего безответного в этом мире.

Именно поэтому Берия дважды встречался с Ждановым — один раз приехал к нему на дачу, другой раз — в ЦК, аккуратно подбросил, что курировать атомный проект и органы не под силу ему, надо выдвигать молодых. Не он, а Суслов назвал Виктора Абакумова — прекрасный работник, хорошо показал себя во время войны, беспредельно предан товарищу Сталину, русский, из бедняцкой семьи, чем не нарком?

Зашел Берия и к Кузнецову (по протоколу ежемесячно заходил к секретарю ЦК, несмотря на то что был членом Политбюро; традиция родилась при Сталине, когда он сформировал свой Секретариат, — на смену Крестинскому и Серебрякову привел Молотова, тот, в свою очередь, подобрал людей по себе; и Зиновьев, приезжавший из Питера, и Рыков с Каменевым считали своим долгом заглянуть к секретарю ЦК — средостение всей текущей работы; с тех пор и пошло), попили чайку с сухариками, Берия поднял тот же вопрос: «Атомный проект забирает все время, надо двигать на Лубянку крепкого человека, кандидатуры у меня нет, назвал бы Гоглидзе или Багирова, но, думаю, целесообразнее назначить русского, нельзя не считаться с настроением великого народа, кровью заслужившего право на главенство в стране...»

Берия знал, что удар, нанесенный Ждановым по Ахматовой и Зощенко, был прелюдией к широкой кампании против интеллектуалов; как обычно, Сталин порекомендовал сначала ударить по русским: «Наши все снесут, не страшно, зато развяжем себе руки в главном». Он тщательно калькулировал возможную реакцию западных друзей, поэтому атаку начинал исподволь, загодя выстраивая линию защиты: «Виноват Жданов, его идея».

Судя по тому, как Сталин после победы правых в Израиле раздраженно бросил ему: «Посмотрите-ка внимательно, чем занимается наш Еврейский антифашистский комитет, народу надоел бесконечный плач израилев», Берия понял, что пришло время готовить компрометирующие материалы на руководителей комитета — Лозовского, Михоэлса, писателей Переца Маркиша и Фефера. Значит — новый процесс?

Нет, он не намерен так просто терять ту репутацию, которую наработал в тридцать девятом.

...За день перед тем, как Сталин назначил его заместителем Ежова, — тот уже был отстранен, в наркомате не появлялся, — им был отдан *неподписной* приказ *«почистить»* ежовские подвалы; всю ночь шли расстрелы большевиков, которые вынесли пытки, ни в чем не признавшись; надо уничтожить всех, кто был связан с Орджоникидзе, Постышевым, Эйхе, Косиором, Чубарем; как-никак члены Политбюро; никаких следов оставлять нельзя — совет Сталина.

Когда наутро Берия доложили, что приказ выполнен, расстреляно восемь тысяч заключенных, он тяжко вздохнул:

— Было сказано «почистить»! Это значит — выпустить людей, а не бесчинствовать! Сейчас же расстрелять всех расстрельщиков, это не люди — исчадия ада...

...Когда в июле сорок первого из Белоруссии привезли командарма Павлова, Берия проговорил с ним всю ночь, благодарил за помощь, которую тот оказывал чекистам с лета тридцать седьмого, обещал защитить его перед товарищем Сталиным; приказ на расстрел подписал не он, а высшее руководство, он лишь подготовил документы.

В сорок четвертом, когда сын наркома авиационной промышленности Шахурина застрелил на лестнице Каменного моста дочку посла Уманского, *аппарат* начал *дуть* дело: вышли на детей Микояна, арестовали, младшему только исполнилось шестнадцать. Берия затаенно ждал, не повалится ли Микоян, как-никак именно Серго и он, ветераны, давали санкцию на его, Берия, вступление в грузинскую партию меньшевиков — естественно, для «нелегальной работы»; Серго, к счастью, нет, а Микоян мог начать копать его прошлое, опасен. Сталин, однако, Микояна не тронул; Берия после заседания ПБ шепнул: «Не волнуйся, Анастас, я позабочусь о мальчиках, они будут хорошо устроены, все обойдется, ты держался мужественно».

...А сейчас — он ощущал это кожей — безумный Старец снова захотел кровавых игрищ, и, если он, Берия, по-прежнему будет шефом Лубянки, следом за этими спектаклями наступит его черед.

Но почему Сталин не убрал Вышинского после процессов, спрашивал себя Берия. Почему, наоборот, он его поднял? Потому, ответил он себе, что Вышинский работал с *трупами*, которые заранее выучивали ответы на его вопросы, а учить эти сумасшедшие ответы их заставляли Ягода и Ежов.

Он вспомнил, как Меркулов, приехав к нему на дачу с докладом, во время прогулки — это было в тридцать девятом — предложил запустить в народ термин «ежовщина»... Через пять дней его люди *обмолвились* в Большом театре после «Кармен», которую пела Верочка Давыдова, назавтра по Москве *поползло*; ничто так стремительно не распространяется, как слухи, особенно в том обществе, которое лишено информации...

Ежову противопоставляли его, Берия: истинный преемник Дзержинского, ученик Вождя, как при нем спокойно дышится в стране, никаких нарушений закона...

Генерал Рычагов, посмевший грубить Сталину на ПБ

в сорок первом, сам обрек себя на пулю; командарма Штерна можно было бы спасти, отрекись он от Блюхера... Но ведь Мерецкова, Рокоссовского и Ванникова спас я, Берия! Армия этого не забудет!

На мне нет процессов, повторил себе Берия, и не должно быть. Пусть это делают другие, а я дам приказ пристрелить их в камере, как Ежова, когда тот метался, падая на колени, а в него всаживали пулю за пулей те два человека, которых назвал Сталин поименно: управделами ЦК Крупин и Панюшкин.

...Когда Виктор Абакумов сел в его кабинет, Берия на Лубянке больше не появлялся, работал в Кремле, однако «шарашки» оставил за собой; часто ездил туда, подолгу беседовал с одним из руководителей «Красной капеллы» Шандором Радо, с Туполевым; пил вместе с ними кофе, по-товарищески обсуждал не только текущую работу, но и международные дела; «шарашники» принимали все «голоса», заглушки не было — специфика их научной работы того требовала; с интересом рассматривал Сергея Королева — неуемная фантазия; Сталина посвящать в его идеи нельзя, рано, Старец помнил это имя, слишком рьяно хлопотали Гризодубова и Громов, именно они вытащили его из камеры смертников; если бы не преклонение Сталина перед прославленными летчиками — шлепнули б этого нового Циолковского в одночасье...

...Пусть себе Абакумов работает, пусть ощутит себя хозяином в лавке, все равно каждый шаг нового министра подконтролен: глубинные операции готовят его, Берия, люди, ему, Абакумову, докладывают только то, что он, Берия, санкционирует.

...И вот сейчас перед ним сидят растерянные Деканозов и Комуров, хотя всячески эту свою растерянность стараются скрыть, а он, Берия, понимает, что случилось нечто чрезвычайное, из ряда вон выходящее, неторопливо читает документы, хотя и не видит букв, а просчитывает партитуру предстоящего разговора; он не может не просчитать любой поворот разговора, потому что Деканозов как-никак сидел с Молотовым дверь в дверь; да, через год-два Молотов потеряет свои позиции, *план* операции разработан, Жемчужина, его жена, станет субъектом еврейской комбинации, выдержка и еще раз выдержка... Деканозов, хоть и предан ему, опасен тем еще, что начал свою политическую жизнь как брат одного из лидеров боевиков армянского «Дашнакцутюн»;

оружием делился с Литвиновым и через него — с Камо и Кобой. Старец благоволит к нему, до сих пор называет так, как писали о брате в сводках охранки, — «Деканози»... Проклятье какое-то, никому нельзя верить, никому и ни при каких обстоятельствах...

...Отложив наконец красные и синие папки, Берия снял пенсне, потер веки, улыбнулся визитерам своей неожиданной чарующей улыбкой и спросил:

— Что стряслось?

Деканозов и Комуров переглянулись: видимо, так и не решили, кто будет докладывать.

— Разрешите, начну я, Лаврентий Павлович, — несколько растерянно сказал Деканозов. — Богдан дополнит и поправит, если я в чем не прав.

— Давайте, слушаю...

— Вы, конечно, помните «девятого»? Он же Юстас? Работал в Берлине, у Шелленберга...

Берия ответил не сразу, ибо допускал мысль, что Абакумов мог всадить и к нему в кабинет прослушку — по просьбе Старика, конечно же, ведь он, Берия, ставил «жучки» у Молотова, Кагановича, Жданова, Ворошилова — деспот хотел знать, о чем его гвардия говорит дома, в кабинете, на даче, почему бы сейчас не послушать и его, Берия?

— Нет, — ответил *маршал*, хотя вроде бы ему что-то рассказывал Меркулов, особенно нажимая на то, что отец полковника ЧК был членом меньшевистского центрального комитета. Берия тогда поинтересовался его судьбою: когда посажен? Меркулов ответил, что старший Владимиров погиб в двадцать первом от белобандитов, активную работу в партии прекратил еще в феврале восемнадцатого, был вполне лоялен, судя по сохранившимся документам.

— А кто эти документы готовил? — задумчиво спросил тогда Берия. — Какие-нибудь Александровичи, Ульяновы или Кедровы с Бокиями? Вы его вызовите сюда, этого Юстаса, пусть на него поглядят, дома человек лучше виден, чем за кордоном...

Именно тогда Исаеву и была отправлена шифровка с просьбой вернуться, но связь с ним оборвалась, восстановилась только во время югославского кризиса, в апреле сорок первого. Вызывать его не стали, ибо Берия уже тогда точно знал, что Гитлер начнет войну именно двадцать второго июня, информация была абсолютной, но повторить это Хозяину было безумием, тот впадал в ярость, мог бросить в камеру, уничтожить...

— Вы помните, Лаврентий Павлович, — тихо сказал Комуров. — Мы по вашему указанию готовили на него вхождение на звание Героя за срыв переговоров в Швейцарии между Даллесом и немцами...

— А почему вы, собственно, явились ко мне, а не пошли с этим вопросом к Абакумову? — Берия сыграл удивление. — Я сейчас позвоню к нему, проведите совещание, а потом, если решите посоветоваться, приезжайте втроем, зачем игнорировать наркома?

Деканозов, видимо, понял те мотивы, которые вынуждали Берия вести себя именно так.

— Поскольку Абакумов, — сказал он, — в ту пору, когда работал Штирлиц, занимался «СМЕРШем», мы не хотим ставить наркома в неловкое положение...

Комуров, однако, гнул свое:

— Виктор не ориентируется в этой ситуации, Лаврентий Павлович... А если поймет, то может повернуть дело не туда, куда следует.

Берия резко поднялся из-за стола:

— Ты свои интриги брось! Что это за батумские штучки?! Одно дело делаете!

Спрятав папки в сейф, вызвал Саркисова:

— Позвони на дачу, пусть накроют стол на троих, голова разваливается, хоть часок воздухом подышу, — и пошел к двери, бросив Деканозову и Комурову: — Едем, я вам там мозги прочищу, интриганы...

Только в машине, отделившись от шофера и охранника толстым стеклом, Берия сказал:

— Ну, выкладывайте...

— Инициатором ареста этого самого Исаева был я, Лаврентий Павлович, — сказал Деканозов. — Богдан лишь подписал ордер... Дело в том, что он может оказаться ключевой фигурой в деле Валленберга, а вы знаете, как Иосиф Виссарионович относится к этому дурацкому инциденту...

— Это не дурацкий инцидент, — возразил Комуров. — Мы были готовы отдать Валленберга шведам, но Абакумов лично вывез его из Будапешта в Москву и начал мять, выбивая признание, что тот работал на гестапо... Ну и домял — мы его с трудом отходили...

— Что у вас есть на Исаева? — спросил Берия.

— Обращение к Кузнецову и Лозовскому, — ответил Деканозов. — То есть связь с врагами... С будущими врагами народа... Это первое. Признание, что он является сторонником Тито, — два... Остальное довольно топорно сработал Влодимирский, он теперь, — Деканозов

усмехнулся, — «Аркадий Аркадьевич»... Есть признание, что встречался с Троцким, называл его «вождем РККА»... Курит фимиам Тито... Есть обязательство «работать на англичан», подобраны апрельские шифровки из Берлина, чтобы мы переводили деньги на его имя в Парагвай...

Берия досадливо перебил Деканозова:

— Если мне не изменяет память, Меркулов считал это игрой...

Комуров вздохнул:

— Кстати, он еще там, в Южной Америке, в нашем посольстве стал просить, чтобы мы немедленно забрали Мюллера, давал координаты... Но ведь сидят-то на местах анкетные дуболомы, что для них Мюллер?

— Кто назначил этих людей? — спросил Берия заинтересованно.

— Мы, Наркоминдел, — ответил Деканозов. — Но виза Абакумова есть.

— Подготовьте мне записку, — сказал Берия.

...На даче и в своем особняке на улице Качалова Берия не опасался подслушки (вернее, не в такой мере, чтобы *непереступаемо* избегать рискованных разговоров); поскольку приглашал к себе Курчатова, реабилитированного Ландау, Микулина, других ученых, он ввел в личную охрану *своего* инженера, который контролировал возможность проникновения «вражеских технических спецслужб»; абакумовские «жучки» обнаружили бы неминуемо; в Кремле такого рода профилактика была недопустима — хотя Сталин давно уже не жил здесь, перебравшись на Ближнюю дачу, но работать приезжал сюда — немедленно б настучали...

Сев за стол, Берия, тем не менее, машинально включил приемник и разговор продолжил, потому что в голове его что-то зрело, тяжело, сумрачно ворочаясь, словно жернова гигантской мельницы прилаживались друг к другу...

Валленберг интересовал его в такой же мере, как и Сталина; Швеция до сих пор поднимала вопрос о своем выкраденном дипломате; зимой сорок пятого посол в Стокгольме Александра Коллонтай да и сам Деканозов заверили шведские власти, что Валленберг находится в Будапеште под охраной советских войск; как только кончатся уличные бои, его отправят домой, нет никаких оснований для беспокойства.

Однако Абакумов вывез Валленберга в Москву; швед действительно ничего не знал, кроме того, что пере-

говоры с нацистами о спасении обреченных узников концлагерей ведут и американцы в Швейцарии.

Абакумов навалился на Валленберга со всей яростью, на какую был способен, несчастный оказался в госпитале, шведы продолжали требовать ответа от Москвы, к Сталину обратился министр иностранных дел Трюгве Ли, который должен был стать генеральным секретарем Объединенных Наций.

— Что со шведом? — раздраженно спросил Сталин, вызвав Берия. — Почему Коллонтай признала, что он у нас? Он действительно здесь? Если был гестаповским агентом — выведите на процесс, пригласите прессу, найдите свидетелей, не мне вас учить...

Но вскоре разразился очередной кризис в Берлине, не до шведа; потом Берия аккуратно *отошел* от Лубянки, а сейчас — в связи с делом этого банкира — Исаев обещает опубликовать книгу о беседах Деканозова с Герингом и Риббентропом... Деканозов его человек, сидел у Молотова в конечном-то счете как связник; значит, если книга действительно выйдет, будет нанесен удар по нему, Берия, потому что он — прямо или опосредованно — руководил работой аппарата, когда этот чертов Штирлиц был в рейхе, единственный внедренный в РСХА...

— Ну хорошо, — выслушав гостей, задумчиво произнес Берия, — а что, собственно, он мог знать о нас, кроме девок Деканозова и его бесед с Герингом? Что нам Геринг? Отвергнем, и все тут! Фальсификация истории, провокация господ империалистов! На девок и вовсе отвечать не будем, грязные сплетни. Что он мог знать еще?

— Он мог знать все об операции по устранению Лейбы, — сказал Комуров.

Берия нахмурился, не сразу его поняв, потом усмехнулся:

— Троцкого, что ль? Лейба... Во сколько миллионов стал нам этот Лейба... Ну написал Лейба книгу о Хозяине — гнусную, клеветническую, напечатали ее, а каков результат? Пшик! Ноль! Умные люди даже обернули ее в нашу пользу: «Смертельный враг диктатора пишет о нем с уважением...»

— Он может знать и наверняка знает о наших *деловых* подходах к Гитлеру начиная с тридцать пятого, — сказал Деканозов.

— Вы имеете в виду Дадиани?

— Да...

— Что еще?

— Секретные протоколы, подписанные Молотовым и Риббентропом, уничтожение нашей агентурной цепи в Германии, приказ о прекращении работы по национал-социализму... — Деканозов вздохнул. — Он знает много, Лаврентий Павлович... Он пересекался с Орловым, который исчез из Испании и которого мы не можем найти... Орлов знал такое, от чего волосы встанут дыбом, открой он это...

— Так заставьте этого Исаева рассказать, что он написал! — Берия не мог скрыть раздражения. — Что, разучились работать?!

— Он не развалится, — убежденно сказал Комуров. — Вариант Постышева.

— А фармакология зачем?! — Берия принялся за жареного поросенка. — Возьмите показания, выкупите его рукопись, неужели трудно составить план и решить его? Денег не пожалеем, деньги решают все.

— Лаврентий Павлович, тут особый случай, — снова возразил Деканозов. — По словам Исаева, рукопись в сейфе, в Лос-Анджелесе... Его друзья и адвокаты имеют право отдать папку только ему и лишь в Америке...

— А если он блефует? — спросил Берия. — Вы такое допускаете?

— А если его книгу все же напечатают?

Берия усмехнулся:

— Боитесь, расскажет о ваших берлинских девках? За такое Хозяин действительно спустит шкуру...

— Но ведь представление на меня, как на посла в рейхе, писал не Молотов, а вы...

Берия неторопливо доел поросенка, отставил тарелку и, тщательно вытерев руки туго накрахмаленной салфеткой, негромко заметил:

— Товарищ заместитель министра иностранных дел, а ведь у порядочных людей это называется шантажом. — И, перейдя на крик, рубанул: — А ну, вон из-за стола, мамацгали! Прочь отсюда!

Деканозов медленно поднялся, вышел из-за стола и, согбенный, приниженный, покинул комнату.

— Что ты предлагаешь? — Берия обернулся к Комурову.

— У нас его жена и сын. Вернее, не то чтобы жена — мать его сына, так точней... Но она старуха, с ней перестарались... И с сыном тоже, парень свернул с ума... А этот Владимиров отказывается работать с Валленбергом, если мы не дадим ему свидания с сыном...

— Он русский?

— Да.

— А если отпустить его бабу и придурка?

— Во-первых, он не поверит... Во-вторых, судя по его словам, он должен периодически приглашать американцев, чтобы они не опубликовали его вещь...

— Да ну и пусть! — взъярился Берия. — Плевать мы хотели!

Комуров покачал головой:

— Первые недели он сидел у нас на даче и диктовал о своей работе, Лаврентий Павлович... У него такие *выходы,* которых нет и не было ни у кого из наших... То, *как* он описал убийство Рэма и Штрассера, — всего в паре абзацев, — целиком проецируется на дело Кирова... И это он писал не в камере, а на даче, ожидая, когда мы «подготовим» семью к встрече... Я взял с собою расшифровку, — Комуров вышел в холл, достал из папки рукопись, отдал Берия. — Он был знаком с Каменевым, Бухариным, Крестинским; Дзержинский действительно подписывал на него приказы, и — самое неприятное — мы нашли представление Дзержинского на Красное Знамя этому Владимирову-Исаеву... И Указ ВЦИКа... Мы нашли это только вчера...

— Поезжай на хозяйство, — сказал Берия. — Рукопись я погляжу... Деканози скажи, что приму через неделю, но чтобы он не входил ко мне, а вползал на пузе... Исаева посади к Валленбергу...

— Стоит ли?

— А что? Плох швед?

— Да.

— Но голова варит?

— Даже слишком.

— Замечательно. Пиши не то что каждое их слово, а даже вздох. В воскресенье буду готов к разговору, — и Берия показал глазами на папку Максима Максимовича.

...В Кремль Берия не вернулся: не мог оторваться от *работы* Исаева; закончил в пять утра, долго ходил по своему сосновому бору, досадливо махнув Саркисову и двум охранникам, чтобы шли прочь, — постоянно маячили за ними затаенными тенями.

«А ведь только один человек, дай ему пистолет в руки, пустит пулю в лоб Старца, — очень медленно, пугаясь самого себя, Берия произнес эти страшные слова и снова оглянулся, не сорвалось ли с языка. — Вот оно, избавление от безумного деспота! Вот какую ком-

бинацию бы разыграть! Вот бы что *сунуть* Абакумову!»

Ах, Егор, Егор! Как же не хватает тебя, Маленков! Один я, один...

Тогда-то он и сказал себе: «Исаева к такому делу надо готовить впрок, а вот если я не верну в Москву Маленкова, — в самое ближайшее время, — моя карьера кончена, Старец сделался полным психом, настроение меняется пять раз на день, ужас...»

11

Назавтра Исаева перевели в другую камеру; не успели надзиратели закрыть дверь (что-то сразу удивило в том, какой была эта камера), как стремительная, словно выстрел, догадка отторгла удивление: перед ним был изможденный, поседевший, лимоннолицый Рауль Валленберг.

Он стоял под оконцем, едва пропускавшим свет, прислонившись к стене так, словно хотел вжаться в нее, исчезнуть, и неотрывно смотрел на двух надзирателей: в глазах у него был ужас, сменившийся тяжелой ненавистью.

Только оторвавшись от лица Валленберга, Максим Максимович понял, что его удивило: стены и даже дверь были обиты войлоком; койки — деревянные, шаткие; видимо, узник пытался разбить голову о стену, понял Исаев, несчастный парень...

— Здравствуйте, — сказал он по-русски.

Валленберг молча кивнул.

— Русский еще не выучили?

Валленберг непонимающе пожал плечами, внимательно вглядываясь в лицо Исаева; потом спросил по-немецки:

— Мы не могли с вами где-то встречаться?

Исаев ответил по-английски:

— Мы встречались... То ли в вашем берлинском посольстве, то ли на Вильгельмштрассе, в министерстве иностранных дел, у Вайцзеккера... И, пожалуйста, не говорите со мной о вашем деле, я не отвечу ни на один ваш вопрос и не дам ни единого совета: каждое наше слово записывается...

Валленберг усмехнулся:

— Я знаю... Мне подсаживали многих... Только они... Сначала я вообще ничего не понимал, теперь — знаю что к чему... Вы отказываетесь говорить со мною вообще? Или найдем какую-то нейтральную тему?

— Нейтральную тему найдем... По вашему усмотрению...

— Последние семь месяцев я сижу один... Начал беседовать с самим собою... Первый шаг в шизофрению...

— Отнюдь... Каждый человек постоянно говорит сам с собою... Неважно — про себя или вслух...

— Думаете, я еще не стал пациентом дома умалишенных?

— Я не психиатр, господин Валленберг...

— Вы не представились... Как мне к вам обращаться?

— Называйте меня сокамерник. Так будет лучше — в первую очередь для вас... «Мистер сокамерник» — прекрасное словосочетание...

Заметив книгу, лежавшую на койке Валленберга, удивился:

— А мне отказали в праве пользования библиотекой... Вы — счастливчик...

— Это Библия... Прекрасное издание, странный дар главного следователя, это ведь здесь запрещенная литература.

— Позвольте взглянуть?

— Конечно... Вы шотландец или англичанин?

Исаев сухо ответил:

— Я сокамерник... Мы же уговорились... Ладно? Вам днем лежать разрешают?

— В последнее время — да... Раньше я *стоял*... Вы давно здесь?

Исаев взял Библию, лег на свою койку, начал листать страницы; сразу же обратил внимание на то, как кто-то отчеркивал на полях ногтем целые фрагменты.

В дверь забарабанили:

— Заключенный номер сорок, вам днем лежать запрещено!

Исаев, словно бы не поняв надзирателя, вопросительно посмотрел на Валленберга, по-прежнему стоявшего у «намордникового» окна; тот пожал плечами:

— Мне такое кричали первые полтора года... По-моему, требуют, чтобы вы поднялись...

— Вы же не знаете русского...

— Это не обязательно... Вам объяснят иначе...

— Лежать запрещено! — повторил надзиратель. — Ясно?! За нарушение режима отправим в карцер!

— Вас в карцер сажали? — поинтересовался Исаев.

Валленберг ответил с усмешкой:

— Здесь в карцеры *ставят*, сокамерник... Это шкаф, повторяющий человеческое тело; на вторые сутки вы те-

ряете сознание... Стакан воды и ломоть хлеба в день... Мой дядя так мечтал похудеть... Ограничивал себя в еде, два часа в день скакал на моем Пауле, невероятно сноровистый жеребец, плавал, двухчасовой массаж — ничего не помогало бедняге... Ему бы три дня карцера, прекрасная метода для похудания...

«Дурачок, — сострадающе подумал Исаев, — зачем ты даешь столько подробностей тем, кто тебя слушает? Жеребец Пауль — сладкая подробность, ее могут использовать через пару-тройку месяцев, когда ты забудешь о том, что сам назвал своего жеребца, тебя эти подробности могут ошеломить, — как узнали?! — тут-то тебя и начнут колоть вопросами...»

Исаев притулился к стене; как прекрасно, что обито войлоком, в спину не вползает могильный холод. Нежданный подарок, подумал он, странно, отчего мне не разрешено лежать? В моей камере это не возбранялось; видимо, *игра* уже началась — из меня делают жертву, подчеркивая блага, разрешенные Валленбергу. Ну-ну, пусть себе... Они *играют*, и мы поиграем...

Исаев снова начал листать страницы, обращая внимание на следы ногтя; я так гадал, вспомнил он, нет ничего надежнее, чем гадание на Библии, великая книга, каждая строка таит в себе многосмыслие...

— Ваши пометки? — спросил Исаев, кивнув на открытую наугад страницу.

— Мои легкие... Я отчеркивал мизинцем, другие, резкие, — генерала Власова, он неплохо понимал немецкий...

— Встречались?

— День в камере и три раза на очной ставке.

Исаев заметил глубокий, резкий ноготь в «Книге Пророка Иезекииля»: «Сын человеческий! Когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими... Я излил на них гнев Мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими... И Я рассеял их по народам, и они развеяны по землям; Я судил их по путям их и по делам их... И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя Мое, потому что о них говорят: «они — народ Господа и вышли из земли Его...» И пожалел Я святое имя Мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел...»

Резкое отчеркивание Власова обрывалось именно здесь; следом шел аккуратный, едва заметный мизинец; Исаев невольно посмотрел на руки, бессильно висевшие

вдоль тела Валленберга: длинные, тонкие пальцы, синеватые ногти, как у всех страдающих малокровием, достаточно ровно подстриженные (неужели ему дают ножницы? Нет, наверное, обкусывает, как и я, только у него это получается лучше; впрочем, понятно: он сидит уж не первый год, опыт — дело наживное, научусь и я, если не шлепнут в ближайшие недели).

Валленберг подчеркнул те абзацы, которые шли всего через несколько строк после того, что яростно *вмял* Власов: «Когда явлю на вас святость Мою... возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу... и окроплю вас чистою водою — и вы очиститесь от всех скверн ваших, и ото всех идолов ваших очищу вас... И будете жить на земле, котору Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом».

Исаев начал листать дальше, ощущая неведомую ему ранее радость от чтения этой *рваной*, но при этом литой, единой прозы.

И снова резкое отчеркивание Власова из «Левита»: «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться перед ними; ибо Я Господь, Бог ваш... Если вы будете поступать по уставам Моим... Я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастания свои... Если же не послушаете Меня... вас рассею между народами, и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и города разрушены... Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их... и падут, когда никто не преследует... И не будет у вас силы противостоять врагам вашим... И погибнете между народами и пожрет вас земля врагов ваших».

Как бы в пику ногтю Власова — мизинец Валленберга: «И тогда как они будут в земле врагов их, — Я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтоб истребить их, чтоб разрушить завет Мой с ними; ибо Я Господь, Бог их... Вспомню для них завет с предками, которых вывел Я из земли Египетской пред глазами народов, чтобы быть их Богом».

Исаев поднял глаза на Валленберга:

— Молчаливые диалоги.

Тот кивнул.

— Поглядите Псалтырь... Пятьдесят девятый псалом...

Исаев закрыл на мгновение глаза, потер веки, прочитал на память:

— «Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины...» Вы это имели в виду?

Валленберг не мог скрыть восхищенного изумления:

— Знаете, все, кого ко мне подсаживали, сразу же начинали рассказывать о себе и спрашивать совета, как поступить... Потом начинали интересоваться мною... Изощренная постепенность. Вы — совершенно новое качество, интересно... Кстати, в этом же псалме заложено все «Откровение» Иоанна: «Ты потряс землю, *разбил* ее... Исцели повреждения ее, ибо она колеблется...» Но, прежде чем заглянете в «Откровение», вернитесь в «Иезекииль», по-моему, тридцать шестая глава...

— Смотрел...

— Вас заинтересовали подчеркивания *посередине*, я следил за вашими глазами... А вы посмотрите начало... Не ищите, я прочитаю вслух, вы меня ошеломили своей догадливой памятью, извольте изумиться моей, — Валленберг кашлянул, и Максим Максимович увидел в его глазах *открытость*; раньше ее не было — напряженная сосредоточенность.

— «...За то, именно за то, что опустошают вас и поглощают вас со всех сторон, — начал Валленберг, — чтобы вы сделались достоянием прочих народов и подверглись злоречию и пересудам людей, — за это, горы Израилевы, выслушайте слово Господа Бога... Я поднял руку Мою с клятвою, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой». Разве подобное не случилось с Германией? Я ведь именно поэтому и начал свою работу в...

Исаев резко прервал его:

— Мы же уговорились! Никаких бесед о наших с вами *работах*...

Валленберг пожал плечами:

— А мы, кстати, только и делаем, что говорим о моей работе... Следование заветам Библии — вот моя работа...

— Вы более всего оперируете Ветхим Заветом, — заметил Исаев. — Как быть с Новым?

— Его исказили переписчики начала тысячелетия, — уверенно ответил Валленберг. — Тогда уже зрела неоформившаяся, зыбкая идея Святой Инквизиции... Но и в Новом Завете я готов оперировать словами Апостола Павла: «Спрашиваю: неужели Бог отверг народ свой? Никак! Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который Он наперед знал...»

Исаев нашел это место в Послании Апостола Павла Римлянам, прочитал стремительно, вбирающе, *разом*; только особо нужные ему места он перечитывал неделями, чтобы остались навсегда в памяти.

С Валленбергом можно спорить, подумал он; именно с ним, не с Павлом; Апостол — это уже политика, а не великая проза; поэтому зачитал:

— «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога; существующие же от Бога власти установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение...» Не кажется ли вам, что это не ошибка переписчиков, но включение экономических рычагов власти, начало борьбы за первенство?

— В какой-то мере вы правы, — кивнул Валленберг, — но следующая фраза возвращает нас к истине Божьей: «Начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых...» Разве это оправдание зла? Политика таит в себе оправдание любого злодеяния, примат силы постоянен, особенно, — он вздохнул, — при наличии хорошего пропагандистского аппарата...

— И да и нет, — ответил Исаев, медленно перелистывая Библию. — Смотрите, вот вам Пророк Малахия, последние строки Ветхого Завета: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: «чем обкрадываем мы Тебя?» Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы — весь народ — обкрадываете Меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф...» Заметьте себе, это Ветхий Завет. И речь идет не о духе, но о *пище*...

— Тогда цитируйте дальше, — возразил Валленберг. — «Дерзостны предо Мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете: «что́ мы говорим против Тебя?» Вы говорите: «тщетно служение Богу, и что́ пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили в печальной одежде перед лицом Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми: лучше устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы». Разве это политика?

— Это бунт, — сказал Исаев. — Заключительный аккорд той политики, которая завела общество в тупик... Безвыходность, убитые надежды — дрожжи бунта... Или революции, если проецировать Святое писание на последние столетия, начиная с Конституции Северо-Американ-

ских Штатов, кончая русской революцией. Точнее говоря, *революциями*...

— То есть? — Валленберг не понял. — Почему множественное число?

— Потому что их было за четверть века четыре: девятьсот пятый год, февраль, октябрь... Это революции естественные, некие термодинамические *взрывы* общества... Была и революция *сверху*, двадцать девятый год, — геноцид против самых талантливых и работящих подданных, проведенный самим правительством. Ужасающий феномен, меньшинство уничтожает большинство, превращая страну в пустыню. Что же касается политики, то все Святые Благовествования — политические манифесты... Блистательная проза — верно; прозрение — да; проповедь нравственности — бесспорно, но политика присутствует в них, ибо видна тенденция... Матфей еще пытался примирить Ветхий Завет с новыми временами, он еще мог начинать с фразы: «Родословная Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его...» И ведь не кто-нибудь, по Матфею, а именно Ангел Господень сказал: «Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их». И только после этого появляется Иоанн, который крестит Иисуса.

— Верно, — Валленберг ответил не сразу. — Святой Марк вообще начинает не с Иисуса, а с Иоанна Крестителя... Интересно... Я это как-то пропустил, потому что растворился в строках, шел за Словом, не позволяя себе обсуждать его...

Исаев подумал: «Хоть какое-то оправдание и для меня; я шел за *изменениями* в нашей истории, растворяя себя в них... Значит, наша Идея превратилась в религию? Так, что ли? Учитывая образование Сталина, можно допустить и такой поворот сюжета...»

— А вспомните «Благовестие от Иоанна»? — предложил Исаев.

Валленберг отошел наконец от стены, сел на свою койку и, закрыв глаза, продекламировал:

— «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков... Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн... И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников... спросить его: кто

ты? Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос... Я глас вопиющего в пустыне... И они спросили его: что́ же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк? Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас *некто*, Которого вы не знаете...» На другой день Иоанн видит Иисуса и говорит: «... Ври агнец Божий, Который берет на *Себя* грех мира»...»

Исаев, следивший по тексту за той концепцией, которую Валленберг *выбирал* из Иоанна, отложил Библию и, презирая себя, хрустнул пальцами — ничего не мог поделать с собою, этот *звук* в одиночке сделался необходимым ему, словно бы свидетельствующим то, что он жив и что звон курантов не мерещится ему, а есть явь...

— Вы действительно плывете за строками, — сказал он, — вы блестяще декламируете, ни в одной церкви я не слыхал такого наполнения фраз Священного писания человеческим Духом, Верой, стоической убежденностью... Но вы все же позволяете увлекать себя потоку — пусть даже гениальному... Глядите-ка, Иоанн ни слова не говорит о предках Иисуса, во-первых, и, во-вторых, называет его тем, кто примет на себя «*грех мира*»... О народе или народах нет ни слова, речь идет о *мире*... Это — начало притирки светских властей с верой, ставшей необходимой человечеству, ибо владыки не знали, где найти выход из постоянных кризисных ситуаций. Позже, в послании Павла Колоссянам, он уже требует: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу...» Не отсюда ли надо отсчитывать идею монополии на единственную правду? Не в этом ли пассаже сокрыт будущий запрет на диспут, соревнование разных точек зрения, на *мысль*, наконец?! Разве Павел свободен от политики, когда он обращается к пастве со словами: «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим во плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога...»

— Вы католик? — спросил Валленберг.

Исаев долго молчал, ответил грустно:

— До недавнего времени я искал в Библии ответы на вопросы истории, политики и экономики... Да, да, это так... По-моему, кстати, Власов отмечал для себя пассажи, примирявшие идеологию, которую он исповедовал в рейхе, с определенными фразами Великой Книги... У меня отобрали очки, руки устают держать книгу в метре от глаз, трясутся... У вас зрение хорошее?

— Левый глаз теперь совсем не видит, — ответил

Валленберг сухо. — Уже полгода... Полная потеря зрения... Правый — абсолютен... Читаю без очков... Стараюсь заучить всю Библию наизусть — кто знает, что меня ждет через мгновение?

Исаев вспомнил пастора Шлага, его лицо, маленькую, не по росту, кацавеечку, вспомнил, как старик неловко шагал на лыжах по весеннему снегу, перебираясь в Швейцарию, на *связь* с его, Штирлица, Центром, вспомнил, как тот бранил француженку Эдит Пиаф: «Какое падение нравов, это не музыка, только Бах вечен»; почувствовал, как кровь прилила к щекам (неужели я сейчас покраснел?); заново услыхал запись разговора Шлага с *его*, Штирлица, провокатором Клаусом, когда пастор недоумевающе, с обидой в голосе, спрашивал: «Разве можно проецировать прекрасную библейскую притчу на национал-социалистическое государство? Это подобно тому, как логарифмической линейкой забивать гвозди»; представил себе лицо провокатора, который ликующе-позволительно издевался: «А что же вы, пастырь божий, молчите, когда вокруг вас творится зло, когда нацисты жгут невинных в печах?! Где ваша Христова правда?!» Эти видения пронеслись у него перед глазами, и он вдруг почувствовал себя в своем доме под Бабельсбергом, даже запахи ощутил — каминного дымка, жареного кофе и сухой кёльнской воды в ванной комнате.

Неужели это было, спросил он себя. Неужели ты действительно был таким, каким *был*? Неужели ты тогда жил без сомнений и тягостных раздумий о судьбе твоей страны, о трагедии, которая на нее обрушилась?

Да, ответил он себе, я жил тогда именно так, я был весь в борьбе, а если ты убежден в том, что обязан сделать все, чтобы уничтожить нацизм, ты не имел права на сомнения, война исключает любую форму сомнений, долг становится самодовлеющей формулой духа... Ой ли? Ведь так отвечал Гудериан в Нюрнберге... Да, но Гитлер никого, кроме группы Рэма и Штрассера, не расстрелял, он не убивал *своих*; пара тысяч — не в счет; *дал* убить Гейдриха, убедившись в том, что он не *свой* — в жилах течет еврейская кровь деда... А в Испании? Я и тогда ни в чем не сомневался? Да, я гнал сомнения, потому что видел франкизм как «советник РСХА» изнутри, во всем его ужасе... Но ты ведь знал, что наши дрались против троцкистских бригад ПОУМ, которые стояли насмерть против фашистов и сражались отменно, до последнего патрона? Ты что, не читал сводок Франко о том, как яростно сражались троцкисты? Не видел, как они гордо

держались на допросах и шли на расстрел с криками: «Да здравствует коммунизм! Да здравствует Четвертый Интернационал! Смерть фашизму! Но пасаран!»

Ох, не надо, не надо об этом, взмолился он и неожиданно для себя впервые в жизни услыхал в себе мольбу: «Господи, прости меня, прости!» И, моля прощения себе, он видел лица Сашеньки и Саньки, Гриши Сыроежкина, Станислава Уншлихта, Михаила Кедрова, Гриши Беленького, Артура Артузова, Яна Берзиня... А Лев Борисович? А Бухарин? Кольцов? Радек? Крестинский?

— Вы себя дурно чувствуете? — спросил Валленберг.

— Нет, отнюдь...

— Очень побледнели...

— Бывает, — ответил Исаев. — Пройдет... Как это в Притчах? «Не говори: «я оплачу на зло»: предоставь Господу, и он сохранит тебя...»

Валленберг несколько раз быстро глянул на Исаева:

— Вам легче, по ушам вижу... Они у вас какое-то мгновение были желтыми, сейчас стали нормальными, отпустило?

— Да.

— Поэтому я вам отвечу другой притчей: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?»

Исаев снова почувствовал, как похолодели пальцы и замолотило сердце:

— Не помните, на какой это странице?

— Или в двадцать третьей, или в двадцать пятой главе, страницу не помню, у меня «поглавная метода»...

Исаев отставил книгу от глаз еще дальше, чтобы не так сливались, подрагивая, строки, нашел притчу номер одиннадцать. Следом было напечатано: «Скажешь ли: «вот, мы не знали этого?» А Испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его...»

Вслушиваясь в прекрасную музыку *слов*, Исаев спросил себя: «Но почему же американская революция сражалась против англо-французских колонизаторов вместе с церковью? Священники там были подвижниками идеи «свободы и равенства», а французы, громя Бастилию, гонялись за аббатами с веревками, распевая песни Беранже про то, что последнего короля надо повесить вместе с последним попом... Отчего в пятом году наши люди шли за Гапоном? А в семнадцатом восстали против церкви так же яростно, как и против самодержавия? Только ли

потому, что Бурцев разоблачил Гапона, которого завербовала охранка? Или оттого, что наша церковь, ее пастыри всегда шли с властью рука об руку? И звали к повиновению даже тогда, когда здравый смысл подсказывал: зовите паству к противостоянию государевой неправде, которая влечет страну в пропасть. Ведь если бы церковь объединилась с Гучковым, Путиловым, Милюковым, Родзянко, февральского взрыва могло б и не быть... А они поддерживали малограмотных фанатиков «великорусской идеи»... Если бы не женщины, выстоявшие три дня в пуржистых очередях за хлебом, пошли в центр города, а мудрые и *независимые* священники повели за собою паству, кто знает, как бы повернулась история?!»

12

Виктор Абакумов, министр государственной безопасности СССР, карьеру сделал головокружительную, как и все те, на кого *поставили* за год до начала Большого Террора аппаратчики Маленкова.

Казалось бы, его восхождение было случайным, вне логики и здравого смысла.

Однако же так могло показаться лишь тем, кто не знал Сталина, а его по-настоящему не знал никто.

Порою и сам Сталин во время тяжкой бессонницы поражался себе и тем словам, которые произносил днем: каждому находил свои, единственно нужные, спроецированные в Историю; иногда он ломал собеседника, порою подстраивался к нему, очаровывая; изредка готовился загодя, писал черновики, особенно когда встречался с писателями, зная, что это уйдет в Память — будущее Евангелие от Иосифа; с людьми академической науки встреч избегал, понимая свою неподготовленность, зато часто приглашал авиаконструкторов — практики, живут реальностью, а не таинством формул.

Он благодарил судьбу за то, что получил теологическое образование: ничто так не логично и бесстрашно, как школа трактовки слов и мыслей, заложенных в догматах церкви. Действительно, наука после поражения Святой инквизиции теснила религию по всем направлениям, опровергала святые изначалия, доказав вращение Земли вокруг Солнца, навязав человечеству электричество, выдвинув теорию тяготения, а затем — относительности, подняв человека в небо и научившись передавать голос на расстояние в тысячи километров. Надо было *обойти* все эти новшества, ранее караемые смертью

фанатичными инквизиторами; необходимо было придумать объяснения случившемуся, сложить легенды о чудесном Прошлом; русские люди сказки любят, поменять бы только Иванушку-Дурочка на Ивана-Умницу, как можно было разрешить такое самоуничижение?! Надо уметь породить в пастве сомнения во всем новом, подчинив себе этих простолюдинов, а ведь их — тьма; мыслителей — единицы; примат массы очевиден...

Сталин не смел признаться себе в том, что главной задачей его жизни было умерщвление ленинской Памяти, подмена Значимостей и, наконец, создание Державы, послушной лишь его Мысли и Слову.

Он не смел признаться себе и в том, что относился к русскому народу с отстраненной, сострадательной жалостью, долей зависти и некоторым презрением.

Поддавшись в свое время блеску и напору Бухарина, утверждавшего, что принуждение на производстве и в селе малорезультативно, успеха в деле прогресса достигают лишь инициативные, сытые и свободные люди, Сталин, изучая статистические таблицы, приготовленные Молотовым и Кагановичем специально для него, видел, что справный «бухаринский» мужик и городской кооператор все более выходят из-под контроля отделов, секторов и управлений, делаясь независимой *производящей* силой. Пройдет пара лет, и они, кооператоры, нэпманы и мужики, реально ощутят свою общественную значимость, поскольку именно они подняли страну из голода и разрухи, а это гибельно для аппарата диктатуры; столь же гибельно и то, что рабочие, трудящиеся на концессионных предприятиях, на фабриках и в мастерских, построенных на принципах ленинской новой экономической политики, зарабатывали значительно больше, чем заводской пролетариат, подчиненный наркоматам; пошли разговоры — «власть не умеет править, обюрократилась, прав был Троцкий...».

Сталин поручил Мехлису и Товстухе, своему мозговому штабу, перелопатить Ленина, сосредоточившись на одном лишь вопросе — кадровом.

Выдернул одну фразу Старика из его письма Цюрупе: «Главное — подбор кадров», слова «все наши планы — говно» вычеркнул; он, Пророк, не позволит низвести Ульянова до уровня простого человека; и так Ленин слишком часть *снисходил*. Сейчас новое время, русскими следует править иначе, являя себя; это в их традиции; Петра многие до сих пор ненавидят, над Керенским потешаются — болтун, а дурака-Николашку втайне жа-

леют, ибо тот следовал принятому веками: являл себя; событие, новость, общение Помазанника с народом...

Итак, ленинская ссылка на кадры, на их главенствующую роль — необходима. Он, Сталин, не предлагает ничего нового, он руководствуется заветом великого Ленина, своего верного друга и соратника.

Лишь однажды он не смог проконтролировать себя и услышал в себе *правду*: если и дальше в стране останутся люди, которые *помнят*, его будущее окажется в постоянной опасности, ибо, обратившись к периоду с семнадцатого по двадцать четвертый год, к засекреченному Завещанию парализованного Ульянова, всегда может найтись *псих*, который вылезет на трибуну съезда или конференции: «Товарищи, как можно терпеть диктатора?! Куда мы идем?!»

Да, Молотов, Ворошилов и Каганович подобрали достаточно устойчивое большинство, преданное ему, «верному соратнику» Ленина, лишенному блистательного фразерства Троцкого, шатаний Каменева и Зиновьева, философского фейерверка Бухарина («не вполне диалектического»), прямолинейности Рыкова, крестьянских «штучек» Калинина (того припугнул еще в двадцать шестом, разрешив напечатать в «Крокодиле» злую карикатуру на Старосту: неравнодушен к прекрасному полу, причем подставляется, об этом говорят, такое в политике не прощают — или будь во всем со мною, или ЦКК вышвырнет из *рядов*, фактов у Куйбышева и Сольца хватает). Все это так, людей подобрали, но истина такова, что можно управлять лишь сотней преданных, хоть и разнохарактерных политиков. А тысячью? Она неподвластна ничьей воле, даже Ленин порою не мог совладать со съездами, — отсюда дискуссии, оппозиции, турниры эрудитов, которые могут выстреливать без заранее подготовленного текста, швыряться латынью, приводить немецкие и французские первоисточники; он, Сталин, не может этого, но он в отличие от всех них решился на то, чтобы признаться себе: русским народом можно и нужно, для его же блага, управлять круто, жестко и немногословно, искушая при этом пряником будущего. Чем жестче с этим народом, чем беспощаднее, тем покорнее он и *счастливее*: наконец-то появилась *Рука*, пришел *Хозяин*, наведет *Порядок*.

Но русский человек пойдет за ним только тогда, когда он назовет *врагов*, на которых лежит вина за лишения, заклеймит тех, кто сознательно мешал коммунистической, равной для всех, *благодати*. И этими виновниками долж-

ны быть не пешки, а руководители, всем известные люди, признанные вожди.

Изначальный дух традиционного общинного равенства удовлетворится этим, он примет и одобрит крушение тех, кому ранее поклонялись, и будет благодарен именно ему за это *очищение от чужих*.

Однако масса — массой, а *умы — умами*; прав Грибоедов — «горе от ума».

Значит, начав сверху, надо уничтожить всех, кто вступил в партию до семнадцатого года; Калинин испугался, теперь во всем со мной. Испугаем еще с десяток ветеранов; таким образом, пуповина, связывающая *качественно* новую волну молодых руководителей с памятью о Ленине, не будет перерезана: Лепешинские будут славить его, Сталина, истинного продолжателя дела Ленина, так же как это делал в тридцатом Зиновьев, а в тридцать шестом — Бухарин с Радеком...

Именно поэтому Ежов, поднаторевший в аппаратной работе — просидел восемь лет в замзавах орготделом, — должен загодя приготовить *списки*: как на тех, кого надо уничтожить, так и на ту *молодежь* (прав был Троцкий: «молодежь решает все»), которая займет места *памятливых*.

...В тридцать шестом году Виктор Абакумов был младшим оперативным уполномоченным Воронежского НКВД; его любили за веселый нрав, отзывчивость и умение работать за других; если кто из товарищей *зашивался*, он всегда был готов прийти на помощь, просиживал на работе воскресенья, спал по-наполеоновски — пять часов.

Когда на второй день после расстрела Каменева и Зиновьева из Москвы пришел *список* и первым в нем значились начальник областного управления, два его заместителя, секретарь обкома и председатель облисполкома, его, Абакумова, заранее обсмотренного уже людьми Ежова и Маленкова со всех сторон в течение полугода, вызвали к аппарату прямого провода.

Звонил не нарком Ягода, внезапно занедуживший, но лично секретарь ЦК Ежов:

— Даю вам неделю срока на то, чтобы вы добились признания от воронежских троцкистов... Фашисты пытают наших товарищей по классу, Троцкий — агент Гитлера, почему мы должны работать в белых перчатках? Око за око, зуб за зуб! Я надеюсь на вас, товарищ Абакумов... Если возникнут какие вопросы — звоните к

Миронову, Берману или Слуцкому, люди с опытом, дадут совет...

Лишь в конце недели (арестованные продолжали запираться, несмотря на то что Абакумову передали из Москвы папки с изобличающими их показаниями, данными на следствии Валентином Ольбергом и бывшим зиновьевским помощником Рихардом Пикелем, ныне членом Союза писателей) он зашел в буфет, купил коньяка и коробку шоколадных конфет, поднялся в свой закуток, выпил из *горла* бутылку «Варцихе», напоенного запахом винограда, вызвал из камеры бывшего начальника управления НКВД — того, кто учил его навыкам работы («у чекиста должны быть чистые руки, холодная голова и горячее сердце»), и, заперев дверь, начал молча и яростно бить его со всей своей богатырской силой; потом, окровавленного, полубессознательного, взяв под мышки, подтащил к столу и заставил подписать чистый бланк протокола допроса.

Заполнив его, вытащил из камеры секретаря обкома, ознакомил с «чистосердечными показаниями» начальника НКВД и предложил: «Либо десять лет по Особому совещанию, если напишете то, что я вам продиктую, либо расстреляем сейчас же — партии нужны свидетельства против врагов народа, вам, большевику, это известно не хуже, чем мне... Даю честное слово чекиста — если поможете разгрому троцкизма, через год станете парторгом строительства на Дальнем Востоке».

Сломал всех, дела отправил в Москву, оттуда пришло указание: «расстрелять признавшихся, арестовать тех, кого они помянули в показаниях, готовить новое *дело*, более *охватное*...»

Организовал и это: расстрелял еще четыре тысячи ветеранов партии, получил орден Красной Звезды.

После этого Ежов хотел сразу же забрать его в центральный аппарат; Маленков, отвечавший перед Сталиным за создание нового партийно-государственного механизма, Абакумова придержал, поставив его исполняющим обязанности руководителя Воронежского НКВД; лишь когда Берия был назначен первым заместителем Ежова, а того стали готовить к переводу на работу в Наркомвод России, чтобы расстрелять без шума, Абакумова вызвали в Москву.

Вот его-то Берия и двинул на пост министра, сохранив свою старую бакинскую гвардию, провинившуюся при вывозе трофеев из Германии (собрал их в ГУСИМЗ): Меркулова, братьев Кобуловых, Деканозова.

И когда его, Абакумова, неожиданно для него самого назначили главою государственной безопасности, после первых недель счастья и сладостной, пьянящей эйфории постепенно, по прошествии месяцев, он начал отдавать себе отчет в том, что он окружен людьми Лаврентия Павловича и каждый шаг его контролируется; практически — *поднадзорен*; любая инициатива докладывалась Берия в тот же час, как только он выдвигал ее...

И Абакумов стал перед выбором: либо начать *работу* — тайно, аккуратно, исподволь — против своего высокого покровителя, выдвинувшего его на этот ключевой пост, либо смириться со своим положением: послушная кукла, которой управляет невидимая рука могущественного сатрапа; можно постараться войти в блок с секретарем ЦК Кузнецовым, который после Маленкова все активнее входил в дела *аппарата*, обращаясь к делам тридцатых годов, постоянно требуя борьбы с рецидивами «ежовщины» — «законность прежде всего».

Абакумов взял из архива свои воронежские дела, увидел следы крови на бланках допросов (начальник НКВД уронил голову на протокол, испачкал бумагу, сволочь); сжег, но понял, что таких дел — тысячи, особенно когда он отвечал за допросы и депортацию на Колыму бывших пленных и узников гитлеровских лагерей; все не спрячешь, сказал он себе, *наследил*, дурак!

Нет, блок с Кузнецовым не получится: тот просидел всю ленинградскую блокаду, от дополнительных пайков отказывался, лез в окопы, *чистюля*...

Тем не менее исподволь, постепенно он начал выстраивать свою линию: попросился на прием к Вознесенскому, внес предложение о более активном использовании заключенных на стройках коммунизма, попросив при этом увеличить пайки отличившимся зэкам. Тот посоветовал перевести на вольное поселение как можно больше узников, если, конечно, эти люди не были фашистскими наймитами на оккупированных территориях, обещал помочь с увеличением *паек*, ничего из предложенного не отверг.

После этого Абакумов позвонил Кагановичу. Министр путей сообщения был более аккуратен в разговоре, обещал подумать, но в принципе идею одобрил, заметив:

— Генерал Куропаткин, командовавший русской армией в пятом году, верно говорил: «Дайте мне вторую ветку во Владивосток, и мы опрокинем японцев...» В тридцать третьем мы пытались было начать этот

проект, но силенок не хватило, спасибо за предложение, вижу разумное зерно...

Абакумов тогда лишний раз подивился напористости и уверенности в себе этого еврея. Одного брата расстреляли, другой покончил с собой накануне ареста как изобличенный бухаринец, кулацкий прихвостень, а этот сохранил позиции; более того, люди ездят в Метрополитене имени Кагановича, а не Сталина, поди ж ты!

...Абакумов ждал, как прореагирует на его визиты благодетель — Лаврентий Павлович; тот, однако, не сказал ни слова, хотя наверняка знал обо всем. Но кожей, каждой клеточкой своего существа, каким-то особым чувством, непонятным ему самому, министр ощутил, что Берия изменился к нему, хотя внешне стал еще более приветливым и радушным.

Вот тогда Абакумов и решил разыграть козырную карту: когда Берия уехал в отпуск, министр вызвал двух *своих* — тех, кого ему удалось притащить с собой из Воронежа, и показал им письмо, подписанное неразборчиво (сам продиктовал шоферу, верил ему, как себе, тот работал с ним девять лет). В анонимке сообщалось, что трое молодых контриков, живущих на Можайском шоссе, по которому товарищ Сталин каждый день ездит на Ближнюю дачу, готовят теракт против великого вождя.

— Это что же такое, а?! — Абакумов играл ярость. — У вас под носом орудуют террористы, и мне об этом докладывают простые советские люди, а не вы — с генеральскими погонами, лечебным питанием, двусменками и кремлевкой! Чтобы через три дня у меня на столе лежало оформленное дело, ясно?!

Арестовали троих «троцкистов»: семнадцати, девятнадцати и двадцати одного года. Сломали их за двое суток, выбили у них показания еще на пятерых юношей, и тогда-то Абакумов, замирая от ужаса, позвонил Сталину, сказав, что он не посмел бы тревожить, если бы не чрезвычайное обстоятельство...

Сталин питал слабость к высоким и статным военным; Абакумов помнил эти слова, оброненные как-то Берия во время застолья. Поэтому, отправляясь на прием к генералиссимусу, он надел генеральский мундир, галифе и сапоги-бутылочки.

Ознакомившись с *делом*, Сталин пыхнул трубкой и, задумчиво посмотрев в окно, выходившее на кремлевскую площадь, усмехнулся:

— Не унимаются? Скажи на милость... Что ж, если

остались волчата, надо искать волка. Сами они на такое дело б не пошли. Как считаете?

И тогда, похолодев, Абакумов спросил:

— Разрешите докладывать ход следствия, товарищ Сталин? К сожалению, Лаврентий Павлович в отпуску, мне бы не хотелось тревожить его...

Сталин поднял глаза на Абакумова, изучающе, как-то по-новому осмотрел его и, пожав плечами, ответил:

— Что это за манера перекладывать ответственность на других? Мне не нравится такая манера, товарищ Абакумов. Это не что иное, как перестраховка. Трусость и перестраховка, извините за прямолинейность. Вам ЦК поручил руководить госбезопасностью, вот и извольте выполнять свои обязанности, нужен совет — звоните. Я, как и всякий член ЦК, готов обсудить с вами любой вопрос... За это меня, кстати, до сих пор и держат в этом кабинете...

Сталин снова пролистал *дело*, задержался на показании самого молодого «террориста» о том, что он был намерен поступать в школу-студию Еврейского государственного театра, поставил галочку на полях и заметил:

— Вы, кстати, знаете, что режиссер этого театра Михоэлс — брат моего лечащего врача Вовси? Не надо травмировать Вовси... Прекрасный доктор... Но если Михоэлс,— Сталин оборвал себя, нахмурился. — Вы читали информацию о том, что в сорок четвертом, когда Михоэлс был в Штатах, от имени Еврейского антифашистского комитета собирая для нас деньги, он довольно часто *отрывался* от остальных членов делегации? То, видите ли, к Альберту Эйнштейну ездил, то еще куда-то... Странно это — обычно наши люди держатся друг за друга, этим и сильны.

...Когда Абакумов взялся за ручку двери, Сталин окликнул его:

— И вот еще что... У меня вчера была жена товарища Жданова. («Визит продолжался семь минут, — автоматически отметил Абакумов, — с семи тридцати до семи тридцати семи, генералиссимус торопился, хотел посмотреть новый фильм; Жданова одолевала его звонками девять дней».) Говорит, плохо ему, — продолжил Сталин, — постоянно жмет сердце, нужен отдых... Я успокоил ее: нервы, пройдет... А потом пожалел: всяко может быть — а что, если у любимца партии, героя Ленинграда, действительно плохо с сердцем? Я ему позвоню, пожалуй, скажу, чтоб завтра отдохнул, полежал на даче,

а вы организуйте консилиум... Женщины, особенно жены, хорошие жены, — многозначительно добавил Сталин, не отрывая глаз от лица Абакумова (тот ощутил, как после этих слов генералиссимуса по ребрам начали струиться крупные капли пота, у него самого с женой нелады), — порою слишком уж паникуют по поводу здоровья мужей...

— Ясно, товарищ Сталин. Разрешите доложить заключение консилиума?

Сталин поморщился:

— Что вы из Сталина бога делаете? Или какого-то царского унтера Пришибеева? Во-первых, не стойте во фрунт, мы с вами члены одной партии, единомышленники, товарищи... А вы весь напряженный, словно аршин проглотили... Позвоните, конечно... Если найдется окно — приму, а нет, так сообщите товарищам Молотову, Кагановичу... товарищу Вознесенскому непременно доложите, Кузнецову.

...За неделю до разговора с этим симпатичным ему русским красавцем Сталин просмотрел свой любимый фильм «Цирк» (эту картину и «Волгу-Волгу» он смотрел ежемесячно), сделал замечание Поскребышеву, чтобы наркомкино Большаков вырезал эпизод, где Михоэлс поет песню по-еврейски, передавая маленького негритосика грузину, и в добром расположении духа вернулся к себе. Берия, получив немедленную информацию от своего человека из охраны, позвонил Старцу и попросил уделить ему десять минут.

— А спать Сталину можно? — усмехнулся Старец. — Друзья бранят Сталина, товарищ Берия, за нарушение режима... Хотите, чтобы я поскорее уступил вам всем свое место? — Помолчал, *слышимо* раскуривая трубку, пыхнул и заключил: — Приезжай, батоно, жду.

Последние слова произнес тепло, мягко, как говорил с ним накануне расстрела Ежова, рассказывая со слезами на глазах, каких замечательных людей погубил этот душегуб и алкоголик. Глядя тогда на него, Берия испытывал ужас, ибо он-то уже знал одну из причин предстоящего устранения Ежова: Сталин был увлечен его женой — рыжеволосой, сероглазой Суламифью, но с вполне русским именем Женя. Она отвергла притязания Сталина бесстрашно и с достоинством, хотя Ежова не любила, домой приезжала поздно ночью, проводя все дни в редакции журнала, созданного еще Горьким; он ее к себе и пригласил.

Сталин повел себя с ней круче — в отместку Женя

стала ежедневно встречаться с Валерием Чкаловым; он словно магнит притягивал окружающих; дружили они открыто, на людях появлялись вместе. Через неделю после того, как это дошло до Сталина, знаменитый летчик разбился при загадочных обстоятельствах.

Женя не дрогнула: проводила все время вместе с Исааком Бабелем; он тоже работал в редакции; арестовали Бабеля.

Сталин позвонил к ней и произнес лишь одно слово: «Ну?»

Женя бросила трубку. Вскоре был арестован Михаил Кольцов, *наставник,* затем *шлепнули* Ежова — тот был и так обречен, «носитель тайн»...

...Сталин улыбнулся Берия мягкой улыбкой, спросил по-грузински, как дела, что нового, как дома; Берия мгновение думал, на каком языке отвечать, Старец все более и более верил в то, что он русский, выразитель народного духа, вполне может быть, что идет очередная проверка, поэтому фразу построил хитро:

— Матлобт*, товарищ Сталин, все хорошо...

— Ну, что стряслось?

— Вот, — Берия протянул папку, — здесь всего две странички, товарищ Сталин.

Тот отодвинул папку в сторону:

— Корреспонденцию можно было и с фельдъегерем прислать... Расскажи, в чем дело, а это, — он положил руку на папку, — я потом посмотрю...

— Хорошо, я готов, хотя мне очень больно рассказывать об этом...

— Тебе больно? — Сталин удивился. — Такой молодой, а больно... Это мне больно всех вас слушать... Наши споры — при Ленине — ничто в сравнении с вашей скорпионьей банкой... Откуда в вас такое макиавеллиевское интриганство?! Я же постоянно прошу: критикуйте, возражайте, деритесь за свое мнение... А вы? Кроме Вознесенского — тянете руки, как школьники... Ну, давай, что стряслось?

— В журнале «Вопросы философии» появилась статья, товарищ Сталин... Очень резкая... Не называя никого по имени, там, однако, мазали грязью тех атомщиков, без которых мы не получим *штуки.* А затем потребовали собрать совещание моих атомщиков, чтобы

---

* Спасибо (*груз.*).

они покаялись и заклеймили космополитов... А у меня, к сожалению, их много, начиная с главы школы Иоффе и кончая Ландау... Словом, приехали товарищи из Агитпропа, объявили заседание открытым и предложили высказываться: по-моему, они подготовили двух младших научных сотрудников, но кому они нужны в нашем проекте, эти сопляки? Первым руку поднял Иоффе: «Прошу слова...» Поди не дай. Старик вышел и сказал буквально следующее: «Наша задача заключается в том, чтобы работать над *проектом*, с утра и до ночи, без отдыха и сна, речь идет об обороне Родины. Либо мои сотрудники будут заниматься *своим* делом, либо транжирить его на этих бессмысленных сборищах... Но тогда я попрошу наших уважаемых гостей-идеологов из Агитпропа ЦК отправиться сейчас же в лаборатории и приступить к работам по *проекту*...»

Сталин на мгновение замер, лицо собралось морщинами — *больное* лицо, — потом усмехнулся:

— Идиоты... Что, не на ком свои перья пробовать? Мало им физиологии и генетики?! Шмальгаузена им мало?! Кто давал задание опубликовать эту статью?

— Не знаю, товарищ Сталин... Но физики по сию пору бурлят...

Сталин снял трубку «вертушки», не посмотрев даже на часы: половина третьего ночи; гудки были долгими; Старец терпеливо ждал; дождался.

— Товарищ Жданов, — сухо сказал он, не поздоровавшись даже, — кто распорядился напечатать статью в «Вопросах философии» о космополитах в атомной физике? Я готов встретиться с вами часа в четыре, вас устроит это время?

И, не дожидаясь ответа, положил трубку.

Берия вышел от Старца так, словно летел по воздуху: вот оно, свершилось! Статью-то написал его человек, принес помощнику Жданова, тот читал, делал пометки; спокойной ночи, Андрей Александрович!

...А через три дня, сердечно попрощавшись с «дорогим Андреем Александровичем», Берия отправился в Сухуми — на отдых...

...Вернувшись от Сталина в министерство, Абакумов выпил стакан мадеры (присылали из Крыма, специальной очистки, почти совсем без сахара), дождался, пока внутри *осело*, снял френч, поменял совершенно мокрую

от пота рубашку, переоделся в штатское и только после этого погрузился в тяжелое раздумье.

...Еще в первые месяцы работы в Москве, выполняя *поручение* Берия, он наладил наблюдение и подслух всех разговоров бывшего народного комиссара здравоохранения Семашко, одного из тех, кто начинал революционную борьбу вместе с Лениным.

Данные прослушки оказались любопытными: однажды Семашко сказал за чаем, что «гибель Холина, исчезнувшего в конце двадцатых, когда Ягода стал заправлять в ОГПУ, — серьезный удар по науке; гениальный врач, черт его дернул брякнуть о гибели Мишеньки, на каждую сотню честных приходится один платный мерзавец».

Поначалу Абакумова заинтересовали слова о «платных мерзавцах», но когда он затребовал дело на исчезнувшего доктора Холина, то оказалось, что тот ассистировал при операции Фрунзе.

Значит, Мишенька — это Фрунзе, понял тогда Абакумов, вот в чем дело!

Все знали, что преемником Фрунзе стал Ворошилов, — таким образом, армия сделалась сталинской. Через полгода после этого *странно* умер Дзержинский. Фактическим хозяином ОГПУ сделался Ягода. Первые распоряжения о слежке за Троцким, Каменевым, Зиновьевым, Преображенским, Смилгой и Иваном Смирновым подписал он, Генрих Григорьевич, не Менжинский...

Приказ войскам Московского гарнизона на обеспечение порядка при высылке в Алма-Ату Троцкого отдал Ворошилов...

Дело о смерти Надежды Аллилуевой, жены генералиссимуса, Абакумов затребовать не решился: прикосновение к высшим тайнам Кремля чревато.

Тем не менее о «Мишеньке» и Холине доложил Берия.

Маршал взял материалы на Семашко, несколько дней изучал их, потом отправился к Сталину.

Выслушав Берия, тот, не скрывая раздражения, спросил:

— А ты разве не знал об этой гнусной сплетне? В свое время японский шпион Вогау преуспел в раскрутке этой гнусности... Вогау — известно такое имя?

Берия знал, что врать Сталину нельзя: либо нужна заранее подготовленная двусмысленность — генсек это любил, либо правда.

— Нет, Иосиф Виссарионович, не известно.

— Псевдоним писателя Бориса Пильняка, — зло ска-

зал Сталин. — Как не русский, так прячется за псевдоним... Один Эренбург удержался, молодец, ценю в людях достоинство... Ну а Семашко... Встретился бы с ним... Карпинский с Бончем молчат, конспираторы... Лепешинская — верна, я в ней убежден, тоже из нашей, истинно ленинской гвардии... Поговори с Семашко, по-дружески поговори: «Мы все знаем, шутить с огнем опасно, подумайте...» И пусть напишет статью о роли истинных ленинцев в гражданской войне.

Через пять дней Семашко подписал панегирик в честь истинного организатора всех побед Красной Армии против беляков, об «иудушке Троцком», предателе и наймите фашистов; закончил, как и положено: «Сталин — вера, надежда и гордость народов всего мира».

Подслушка зарегистрировала (наблюдение с Семашко, конечно, не снимали): чай теперь пьет молча, все больше пишет, никого к себе не приглашает, *успокоился*...

После нескольких часов мучительных раздумий Абакумов с карандашом перечитал речь Жданова против Зощенко (обожал этого писателя, с дочкой раньше вслух читали, оба покатывались со смеху) и Ахматовой (эту и не знал вовсе; наблюдение за ней вели только потому, что была когда-то женой террориста и контрреволюционера Гумилева, бывшего сотрудника разведки царского генштаба; хорошо, кстати, работал в Африке, тоже что-то сочинял), попросил принести постановление ЦК по журналам, операм и фильмам, потом затребовал специнформацию у *своих*; те доложили, что якобы сын товарища Жданова сказал отцу в машине, когда ехали на дачу, будто борьба против космополитов, за патриотизм и приоритет русской науки и культуры начинает приобретать ярко выраженный антисемитский характер, отнюдь не антисионистский. Жданов якобы ничего на это не ответил, только пожал плечами. В другой раз, когда сын недвусмысленно высказался против гениальной теории великого ученого Лысенко, любимца товарища Сталина и всего советского народа, Жданов усмехнулся: «Смотри, он тебя скрестит с какой-нибудь морковью или яблоком — станешь фруктом, а фрукты — едят...» Была, оказывается, специнформация и о том, что якобы Жданов сказал одному из своих помощников: «Безродный космополитизм мы выкорчуем с корнем — это историческая задача, поставленная перед нами товарищем Сталиным, но давать пищу врагам о мифическом антисемитизме

мы не должны, во всем надо соблюдать чувство меры».

И лишь после этого, уже вечером, постоянно вспоминая менявшееся выражение глаз Сталина, когда тот говорил о Жданове, министр снял трубку ВЧ и попросил соединить его с той дачей на Кавказе, где сейчас отдыхал товарищ Берия.

Маршал выслушал не перебивая, поблагодарил за звонок, поинтересовался, не просил ли товарищ Сталин обговорить этот вопрос с ним, Берия, и после короткого раздумья ответил:

— Как ты понимаешь, мне в этой ситуации давать тебе какие-либо советы нетактично. Тебе поручено — ты и исполняй. Сам знаешь, как всем нам дорого здоровье товарища Жданова... Я бы на твоем месте собрал два консилиума, пусть они, независимо друг от друга, выскажут свое мнение, знаешь ведь, как они цапаются, эти светила... А уж потом пригласи самых главных корифеев, познакомь их с заключениями первых двух консилиумов — с этим и иди к Хозяину... Заранее дай команду своим людям за кордон, пусть будут готовы немедленно купить все необходимые лекарства, сколько бы они ни стоили: Жданов есть Жданов...

На информацию о Михоэлсе и Вовси не обратил особого внимания — надо решать главное!

Сразу же после разговора с Абакумовым маршал позвонил Вознесенскому: «Может быть, я прерву отдых? Надо же быть рядом с Андреем Александровичем...»

Затем связался с Молотовым и Ворошиловым; те успокоили: «Иосиф Виссарионович считает, что это переутомление, все наладится, отдыхайте спокойно».

...Через два часа к Берия вылетел Комуров; Лаврентий Павлович попросил его срочно привести новые сообщения об атомных исследованиях в Штатах.

Говорили, однако, не об атомных проектах — о Жданове.

— Сталин вернет Маленкова в тот день, когда закопают *любимчика*, ясно?—Берия рубил, засунув руку в карманы пиджака. — Включай свою медицинскую агентуру, диагноз должен быть точным: «сердце может сдать, нужен отдых». Пусть уедет куда подальше, только б не остался на своей даче... Все дальнейшее — дело техники, не мне тебя учить... Запомни — это последний шанс вер-

нуть Маленкова в Москву, тогда Вознесенский с Кузнецовым мне не так страшны. А я — это вы все!

...Вскоре директора и главного режиссера Еврейского театра Михоэлса пригласили в Минск.

Провокатор, подведенный к нему, — из старых добрых знакомцев — позвал на вечернюю прогулку. Шли по пустынной улице, был поздний вечер. Знакомец и подтолкнул Михоэлса под колеса полуторки, за рулем которой сидел друг Берия министр госбезопасности Белоруссии Цанава, подчиненный, естественно, Виктору Абакумову...

...В Москве великому артисту устроили торжественные похороны. Лицо загримировали, чтобы скрыть кровоподтеки: Цанава проехал по несчастному дважды, для страховки; на кладбище представители общественности говорили проникновенные речи.

...А Жданов *умер* на Валдае, в новой даче ЦК; Берия, рыдая, первым позвонил в Ташкент Маленкову: «Георгий Максимилианович, у нас горе, страшное горе!»

По прошествии нескольких недель, накануне заседания Политбюро, Сталин поставил кадровый вопрос. Берия отправился на дачу к Старцу:

— Товарищ Сталин, если вместо незабвенного Андрея Александровича, который так помогал атомному проекту, встанет кто-либо новый, работа может застопориться на месяцы: притирка она и есть притирка.

— А Кузнецов?

— Он прекрасный секретарь ЦК, но, если вводить его в Политбюро, как себя почувствуют Шкирятов, Шверник?

Сталин спросил:

— Что, тревожишься по поводу монолитного единства? Молодец, умница, — в глазах его, однако, таились угроза и недоверие. — А кто, по-твоему, сможет помогать *проекту* так, как это нужно?

И Берия, замирая от ужаса, тихо ответил:

— Маленков, только он. Простите его, товарищ Сталин... Ведь он ваш ученик, он вами выпестован, предан до последней капли крови...

— Политбюро решит, — ответил Сталин. — Я соглашусь с мнением большинства... Партии не нужен культ, папа, император... Коллегиальность — вот наш принцип, завещанный Ильичем...

Берия в тот же день посетил Молотова, Ворошилова, Косыгина (хоть тот был кандидатом в члены ПБ, правом голоса не обладал), Суслова и Микояна. С Андреевым и Кагановичем перезвонился: «Есть мнение проголосовать за возвращение Маленкова, товарищ Сталин интересуется, не против ли вы этого решения?»

...Маленков вернулся в Москву, заняв место «скрипача» — так в последнее время Сталин порою называл Жданова, зная его пристрастие к скрипке. (Повторение Тухачевского, что ли? Ишь, борец за интернационализм и Закон! А кто первым поставил подпись под приказом применять пытки? Я? Нет не я, а он. Где, кстати, эта телеграмма? Надо изъять.)

Записал на календаре: «Телеграмма о пытках». Потом, подумав, вырвал страничку, сжег, пепел стряхнул в корзину для бумаг; запомню и так, завтра дам указание Кузнецову; однако к вечеру забыл об этом, увлекся чтением дела о новоафонских духоборах, которые первыми подняли вопрос о примате Слова, в шестнадцатом году еще...

Вернуть Маленкова разрешил не из-за мольбы Берия. Дело в том, что все чаще думал: пришла пора выступить с рядом фундаментальных теоретических работ, не все Троцкому теоретизировать или Бухарчику. Надо стать над ними, решить проблему Духа, то есть Языка, ибо сначала было Слово, и, конечно же, экономики. Жданов наверняка потянул бы и в этом на себя одеяло — слишком любил большие аудитории, блистал эрудицией, налаживал блок с писателями и учеными, подминая их под себя; вот, бедный, и надорвался; каждый сверчок должен знать свой шесток... Маленков такого себе никогда не позволит, человек-тень. Бригаду филологов и экономистов Маленков организует так, как никто другой, Берия прав — моя школа.

...Абакумов продолжал ездить к Сталину практически каждую неделю.

Берия знал об этом, но расспрашивать не расспрашивал, не позволяла особая этика; довольствовался информацией, которую ему *отдавал* сам Абакумов: кое-что подкидывали сидельцы Кобы, что-то — его, Берия, личная агентура, работавшая на Ближней даче: порою Старец вызывал Абакумова не в Кремль, а за город.

Чувствуя все большее расположение к себе Сталина, министр государственной безопасности постепенно стал *закрываться;* о беседах с Хозяином практически ничего не рассказывал, а ведь просиживал у него минут по сорок.

Молотов теперь звонил к нему напрямую, минуя Берия; так же повели себя и Ворошилов с Кагановичем.

Это и решило судьбу Абакумова: маршал решил убрать его, однако не сейчас, а в нужный час и по организованному его людьми сценарию.

Убрать — не убить; такой костолом пригодится позже в делах, но без прямых *выходов* на Старца.

А поскольку в большой игре мелочей не бывает, то Берия через свои давние возможности сделал так, что в Швеции снова заговорили о судьбе похищенного барона Валленберга; с этими материалами он и отправился к Сталину; тот жадно интересовался всем тем, что происходило за кордоном.

Читая спецсообщение, заметил:

— Стокгольм — самый скучный город из всех, где мне приходилось работать... Я там, кстати, в одном номере с Алешей жил, с Рыковым...

13

На этот раз Аркадий Аркадьевич встретил Исаева сумрачно, из-за стола не поднялся, несколько раздраженно кивнул на стул, что стоял возле маленького столика, поставленного перпендикулярно к его большому, с резьбой, письменному; сцепил свои крепкие пальцы и начал монотонно ударять ребром ладоней по толстому стеклу, под которым лежал список телефонов и фамилий.

— Объясните мне, — заговорил он наконец, аккуратно подыскивая нужные слова, — почему вы... полковник МГБ... ни на йоту не верите нам?

Исаев не торопился с ответом; удержался, чтобы не хрустнуть пальцами; до натужной боли в ладонях сжал кулаки и откинулся на спинку стула:

— Во-первых, я никогда — во всяком случае официально — не был еще «коронован» званием полковника МГБ. Я просто Штирлиц... Для меня достаточно... И потом, это какое-то странное новшество — держать полковника МГБ в камере внутренней тюрьмы... Впрочем, мо-

жет быть, *у руководства* есть на этот счет свои новаторские соображения... Во-вторых, вы сказали «нам». Следовательно, вы не разделяете себя с Деканозовым? И с тем человеком, к которому вы меня подняли, когда он орал на меня в присутствии Деканозова, как уголовник с Хитрова рынка... Вы едины с Сергеем Сергеевичем? А он держал меня на стуле, покуда я не валился на пол, потеряв сознание. Вы едины и с теми, кто глумился надо мной во время морского путешествия? Не разделяете себя с ними?

— Не разделяю, — отрубил Аркадий Аркадьевич; взяв карандаш, быстро написал несколько слов на маленьком листочке бумаги и молча передал Исаеву, приложив при этом палец к губам.

Исаев посмотрел бумажку, отставив ее от себя, — почерк был мелкий, неразборчивый; Аркадий Аркадьевич протянул ему очки, продолжая *рубить*:

— И никогда не буду отделять себя от моих друзей, запомните это! А демагогия вам не к лицу, стыдно!

На бумажке было написано: «Еще как отделяю!».

— Если не отделяете себя от них, я вообще не стану с вами разговаривать, — ответил Исаев, кивнул на карандаш.

Аркадий Аркадьевич словно бы ждал этого; протянул ему «фарбер».

— И вообще я не буду говорить в этом кабинете, — продолжал Исаев, — где каждое мое слово записывается, а потом из этого вполне может быть склеена нужная вам композиция из нарезов пленки...

На бумажке написал: «Пригласите в ресторан — если пойдем пешком, стану говорить»; последнее слово резко подчеркнул — так резко, что даже обломился кончик остро отточенного грифеля.

Аркадий Аркадьевич прочитал ответ; Исаев, изучающе глядя на него, резко подвинулся к большому столу, закрыв локтем обломившийся кусочек грифеля.

— Да, любопытно, черт возьми, — после долгой паузы ответил Аркадий Аркадьевич с усмешкой, — казалось бы, политик, то есть экономист, а не понимаете, что в стране дефицит серебра! А без него нет пленки для записывающей аппаратуры... Все деньги — особенно золото и серебро — идут на восстановление из руин Минска, Сталинграда, Харькова, Смоленска...

Достав пачку «Герцеговины Флор», протянул Исаеву:

— Курите...

Зажег спичку, запалил бумажку, тщательно растер

пепел пальцами, высыпал на ковер, *прошелся* подошвой и, кивнув на отдушины, сыграл:

— Отвыкли от папирос, что ль? Сигареты легче раскуриваются? — и зажег вторую спичку, протянув ее Исаеву.

— Ваши папиросы отсырели, — ответил Исаев, не отводя глаз от лица Аркадия Аркадьевича. — На вашей даче эти же папиросы были хорошо высушены...

— Я не зря спросил о том, отчего вы нам не доверяете... У меня для вас есть два сообщения... Первое — неприятное, второе — радостное... От того, как вы прореагируете на эти сообщения *крупно*, зависит очень многое... С какого начинать?

— С неприятного.

Аркадий Аркадьевич медленно поднялся из-за стола и пошел к сейфу.

Исаев неторопливо взял кусочек грифеля и положил его под язык; Аркадий Аркадьевич достал из сейфа папку, вернулся к столу, протянул ее Максиму Максимовичу:

— Читайте.

Исаев сделал три быстрые, глубокие затяжки; табак был горьковатый, крепкий; закружилась голова; это головокружение, однако, было приятным, чем-то напоминавшим ощущение после бокала хорошего сухого шампанского; тщательно затушил папиросу — курил до картона, жадно; только после этого открыл папку.

Первое, что он увидел, было его заявление Лозовскому; прочитал записочку, приколотую к нему: «Дорогой Матвей Федорович, если мне не изменяет память, автор заявления достаточно серьезно работал — если, конечно, это тот самый Юстас, кем он себя рекомендует; органы, убежден, разберутся в этом. Его отец, Владимиров, знаком мне по эмиграции. Хоть он и был меньшевиком, но никогда не занимал враждебных по отношению к нам позиций. Он отошел от меньшевизма без какого бы то ни было давления, поняв бесперспективность идейной борьбы, и погиб от белогвардейской пули вместе с комиссаром Шелехесом... Был бы признателен, погляди Вы личное дело Юстаса: если он действительно честно выполнял свой служебный долг, находясь за кордоном, нельзя ли подумать о снисхождении? Лозовский».

— Кто такой Матвей Федорович? — спросил Исаев.

— Совесть партии, — торжественно объявил Аркадий Аркадьевич. — Председатель Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) Матвей Федорович Шкирятов...

— Ну и каково мнение Матвея Федоровича?

— Разбирается... А теперь переверните страницу...

Сначала Исаев увидел большие красные буквы: «радиограмма»; ниже было что-то написано от руки, видимо, время отправления и приема, чьи-то резолюции, но он пропустил все это, потому что понял: весточка от Сани!

«Дорогой папа, как я счастлив, что ты дома! Мне не верили, что я ушел в Пльзень искать тебя! Теперь мое дело отправили на переследствие. Приговор отменен. Но я в госпитале. Не волнуйся, это бронхит. Через месяц сюда начнут летать «дугласы», меня обещали вывезти в Москву с первым же. Целуй маму, жду встречи. Саня».

— Где он? — спросил Исаев, откашлявшись.

— За Магаданом... Почтовый ящик семнадцать сто сорок четыре...

Исаев перевернул еще одну страницу; текст был очень короткий: «Гаврилину А. Н. из-под стражи освободить, отобрав подписку о невыезде вплоть до суда над Гелиовичем Я. П., где она обязана дать свидетельские показания.

Генерал-майор А. Иванов».

Исаев потер веки, судорожно вздохнув:

— Где она?

— Мне удалось договориться с руководством, — по-прежнему медленно, с плохо скрываемым раздражением ответил Аркадий Аркадьевич, — что ей позволят поехать на курорт... Она ж совершенно измучилась за это время... Тюрьма не санаторий, что и говорить... Постарайтесь понять следователей: в стране разруха, половина России в руинах, и если перед ними сидит человек, хранивший книжонки Троцкого, Бухарина и Джона Рида, — вместе с долларами, — состояние их делается накальным, скажем прямо. Мы жестоко наказываем за это, но ведь люди есть люди... Завтра поедем провожать вашу... Сашеньку... На Курский вокзал... Вам уже подогнали полковничью форму, орденские планки, так что предстанете перед нею во всей красе... А потом — на *дачу*... Придется переодеться в штатское — Валленберга мы тоже поселяем там, начнете работать над сценарием...

— Через месяц, — ответил Исаев, — как только провожу на курорт сына...

— Давайте вернемся к вопросу о сроках после того, как уйдет поезд в Симферополь, — Аркадий Аркадьевич наконец улыбнулся. — С лагерным госпиталем попробуем связаться по радиотелефону. Это вас устроит?

Не дожидаясь ответа, поднялся из-за стола и, снова показав глазами на отдушины, закончил:

— С вокзала зайдем отпраздновать освобождение матери вашего сына в ресторан «Москва» и выпьем по рюмке. Напишите, кстати, пару строк Лозовскому — поблагодарите за хлопоты... А потом возвращайтесь в камеру и хорошенько подумайте над нашим разговором...

(Письмо Лозовскому подшили к делу, которое уже вели на заместителя министра иностранных дел, — будет арестован вместе с членами Еврейского антифашистского комитета.)

...В камере, продолжив с Валленбергом дискуссию о жизни римских цезарей (как выяснилось, они эту книгу тоже знали чуть ли не постранично), Исаев, расхаживая под «намордником», внезапно замер, потом подбежал к параше, согнулся над нею, изобразив внезапный приступ рвоты, незаметно достал обломок грифеля из-под языка, сунул его в карман и вернулся «под глазок», чтобы надзиратели не ворвались в камеру с обыском; обыскивать тут умели, он это понял в первый же час, когда его привезли сюда.

Валленберг, заметив странность в поведении сокамерника, *подыграл*:

— Тошнит? В солнечном сплетении нет боли? В левую руку не отдает?

Исаев, потирая грудь, хмуро поинтересовался:

— Хоронили кого из друзей, почивших от разрыва сердца?

— Старшего дядю, — ответил Валленберг. — Кстати, заметьте: от этой болезни не умирал ни один деспот, император или тиран... Даже Моисей, скончавшийся на сто двадцатом году, сдается мне, просто-напросто решил уйти в райские кущи: поближе к Богу, подальше от суеты людской... Надоел ему шумливый народ... Все же от гомона устают больше, чем от могильной тишины вроде этой...

— Не успокаивайте себя, — сказал Исаев. — Вы произнесли этот пассаж для себя, вам ведь не больше пятидесяти, вам нужны люди, общество, общение...

— Мне тридцать пять, — Валленберг покачал головой. — И я стал очень бояться людей.

Исаев поразился:

— Тридцать пять?! М-да... Эко вас жизнь покорежила...

— Знаете, я только в течение первого года ярился, даже хотел голову размозжить о стену, но потом задумался: а если страдание угодно? Если это мой взнос в очищение человечества от скверны? Если бы я сломался, стал здесь нечестным, принял те гнусные условия, которые мне навязывал следов...

Исаев резко перебил:

— Мы же договорились! Ни вы, ни я не говорим о наших делах!

Сев на койку, он откинулся, упершись выпирающими лопатками в мягкую шершавость войлока, устало закрыл глаза и сказал себе: «Этот Аркадий ведет игру, которую я не могу понять... По логике вещей, он сегодня должен был задать вопрос... В конце беседы, уже после того, как ошеломил своими новостями: «Зачем вы начали свое общение с Валленбергом по-русски? Это же неминуемо посеяло в нем недоверие к вам! Вы намеренно хотели заставить его затаиться? Чтобы потом могли сказать: «Банкир отведет меня на процессе как русского!» Почему вы запретили ему исповедоваться? Он жаждет разговора о своем деле! Он со всеми говорил об этом! Почему вы не произнесли ни единого немецкого слова? Почему даже Библию вы переводили с листа на английский? Хотите переложить ответственность на Валленберга, когда он отведет вас на процессе как русского агента, так, что ли?»

...Ночью, в то время, когда надзиратель в очередной раз кричал о сдаче и приемке постов по охране врагов народа, Исаев *сыграл* резкое вскидывание с койки — «разбудили слишком громкие голоса»; снова лег, закинул руки за голову, хрустко потянулся.

Потом поднялся, подошел к койке Валленберга, взял Библию, неловко толкнув при этом банкира; тот дернулся и открыл глаза, в которых был ужас.

Исаев прошептал:

— Извините, пожалуйста... Не спится... Я возьму *поподчеркивать*, ладно? Мой ноготь вы отличите — буду работать безымянным пальцем.

— Старый конспиратор, — сонно улыбнулся Валленберг, и в глазах его уже не было ужаса, а какая-то ищущая, в чем-то даже детская доброжелательность...

Исаев стал у двери, под лампой, и начал читать «Песнь песней»; он слышал — потому что *чувствовал*, — как возле глазка сопяще стоял надзиратель; пусть себе,

подумал Исаев, они лентяи, работа тюремщиков — для тех, кто бежит от *труда*, трутни; наверняка через пять минут отойдет, устроится на стуле и подремлет — это ж Россия, не германцы...

...Через десять минут, когда охранник осторожно прикрыл смотровое оконце, Исаев достал из кармана кусок грифеля и начал быстро писать на заглавном листе Библии...

...Через полчаса Валленберг прочел: «Потребуйте вызова матери, адвоката из Стокгольма и местного дипломата. Если встречу дадут, соглашайтесь на процесс: да, вел *переговоры* с Эйхманом во имя спасения несчастных от истребления в концлагерях. Агентом же гестапо, а тем более Эйхмана, даже фиктивным, чтобы облегчить переговоры, — не был. Это провокация нацистов, которые загодя хотели поссорить мою страну с Советским Союзом.

Во время свидания с адвокатом, мамой и дипломатом из вашего посольства поставьте ультиматум: если я стану нести на процессе околесицу и клеветать на себя, потребуйте проведения экспертизы на месте, в зале суда, — по поводу инъекций... Следы на теле останутся, меня кололи, я знаю... Я буду выступать свидетелем обвинения, как штандартенфюрер СС Макс фон Штирлиц. Вашу агентурную работу на гестапо буду отвергать. Факт секретных *переговоров* призна́ю. Потребую от вас ответить на мои вопросы. Если пойму, что вы несете чушь, заявлю суду, что у меня другая фамилия, должность и национальность... Подойдите к параше и, разжевав, съешьте страницу... Согласитесь на процесс только в том случае, если я попрошу вас об этом, один на один, и не в камере, а на прогулке в лесу. Затем подтвердите это третьему человеку, генералу, который обеспечит вам встречу с мамой и другими шведами».

Валленберг рывком поднялся; Исаев замер; в тюрьме резкие движения подозрительны. Если надзиратель у окошка, может ворваться; нет, ответил он себе, сначала он побежит к тому, кто хранит ключи; все, тем не менее, обошлось: Валленберг разжевал бумагу, с трудом проглотил ее, вернулся на койку и, по-детски подложив руки под щеку, посмотрел на Исаева с невыразимой тоской и какой-то юношеской благодарностью: в глазах у него стояли слезы; одна скатилась по небритой щеке — медленно, как последняя капля внезапного весеннего дождя...

Исаев не отрывал глаз от лица Валленберга, а вспоминал писателя Никандрова, с которым сидел в двадцать первом в тесной камере таллиннской тюрьмы; он вспоминал горестные слова Никандрова и свои — беспрекословные — возражения ему; как же я был тогда жёсток в своей позиции, подумал он, как непререкаем... Впрочем, я готов подписаться под каждым моим словом, но только тем, двадцать первым годом, трагичным годом, когда никто не мог представить себе, что произойдет в стране девять лет спустя...

Он помнил, как Никандров, расхаживая по камере, яростно возражал ему (*о подслушках* тогда никто не думал; как же летит время, а?! Человечество на пути к прогрессу изобретает радио — на радость всем, и *жучок* — на смерть тем, кто норовит остаться самим собой. Каждый шаг прогресса одномоментно рождает шажок беса. Почему так? Почему?!).

Никандров всегда грохотал, отстаивая свою правоту; голос его был как иерихонская труба:

— Каждый истинный литератор находился на своей Голгофе, Максим! Трагедия русского писателя в том, что он может быть писателем только в России... Внутренне... Но он не может им быть внешне, потому что именно в России ему мучительно трудно пробиться к людям... Верно, поэтому в нас и родился чисто «русский писательский комплекс»?! Русский литератор не может писать, не думая о тех, кто его окружает, но вместе с тем не может к ним пробиться, понимаете?! Это трагедия, на которой распята наша литература! Или она органично политичная, как у Писарева, и тогда она даже счастлива, если ее распинают... А коль скоро в ней возникает *просвет*, как у Толстого, Достоевского или Гоголя, тогда рукописи летят в огонь, тогда человек бежит из дома невесть куда, он эпилептик, потому что эта гениальная бездна не может удовлетвориться данной политической ситуацией, вот в чем дело! Трагедия русского писателя в том, что в нем накапливается Мысль, Вера, она рвет ему сердце, сводит с ума, но уехать из России для него такая же трагедия, как и остаться там... Ведь когда властвует сила, места для морали не остается...

А что я ему ответил тогда, подумал Исаев, он ведь согласился со мною... Ах да, я вроде бы сказал, что русский писатель должен постоянно напоминать миллионам, что они *люди*... В него будут лететь камни, гнилые помидоры, дротики даже... Такой литератор погибнет — осмеянным и опозоренным... Но такие должны быть!

Их не может не быть... И покуда оплеванный и униженный писатель продолжает говорить, что Добро есть Добро, а черное не есть белое, люди могут остаться людьми, иначе их превратят в тупое стадо...

А он ответил, что потерять константу духа и морали, которым служит истинная русская литература, можно только однажды... «А вы, — сказал он мне, чекисту, который не скрывал от него правды, потому что верил ему, — хотите втянуть литературу в драку! Впрочем, вас можно понять... Вам нужно выполнить чудовищно трудную задачу, вы ищете помощь где угодно... Вы готовы даже от литературы требовать чисто агитационной работы, да будет ли прок?»

Ну и как? Получился *прок*, спросил себя Исаев. Или где-то, когда-то, в чем-то все *перекосило*? Когда? Где? В чем? Кто?

— Не спится? — тихо спросил Валленберг.

— Не спится...

— Теперь уже не уснете.

— Это почему? — удивился Исаев. — Поворачивайтесь на правый бок и считайте до тысячи — уснете... Завтра у нас предстоит разбор Цезаря, очень важный реферат.

И он снова вспомнил бернскую квартиру, отца, Воровского, Мартова, Аксельрода, Зиновьева, Дана и сразу понял, отчего увидел лица этих людей: «реферат» был их самым любимым словом — турнир идей; пусть победит умнейший — не сильнейший, ум мощнее силы, ибо не преходящ, а постоянен...

...Сашенька, сказал он себе, сынок, любимые, простите меня... По моей вине вы оказались в *жерновах*... Я не верю ни единому слову этого Аркадия... Я понимаю, как они испугались после того, как я *вмазал* Деканозову; страх не прощают, за унижение страхом мстят... И не просто, а кровью...

14

Понимая, что ситуация в Политбюро продолжает оставаться зыбкой из-за открытого благоволения Старого Демона к Вознесенскому, *маршал* постоянно строил комбинации, которые бы укрепили его позиции. То, что он успел — после краха Жукова еще — *подкинуть* Старцу на «друзей» по Политбюро, постепенно, подспудно, медленно зрело в уме Кобы.

Вопрос с Молотовым решен — дело времени; после

предстоящего ареста членов Еврейского антифашистского комитета жену министра иностранных дел посадят — вражина; Ворошилов скомпрометировал себя во время войны, эпоха конницы кончилась, Тухачевский был прав, все сталинские фавориты — Клим, Буденный и Кулик — не смогли противостоять немцам, бежали, фронт трещал; Каганович — не в счет; Шверник хорошо зарекомендовал себя в качестве судьи на первых пробных процессах против меньшевиков и технических интеллигентов, но не тянет на самостоятельность; Андреев — списанная фигура, Хрущев — мужик, у Микояна сидели дети, Булганин пойдет за тем, кто сильней.

Только Егор Маленков, которого я вернул в Москву, я, и никто другой, понял раз и навсегда, что без меня он — ничто.

Конечно, поскольку безумный Старец забыл, где родился, считает себя квасным русским патриотом, я не смогу — формально, во всяком случае, — претендовать на первую роль; фамилию не менял, горжусь, что мегрел; Егор — первый, я — за ним; еще посмотрим, кто сильнее: Фуше или Талейран? А Егор вовсе не Талейран, а если и Талейран, то карманный.

Жизнь приучила Берия к тому, что мелочей не существует; именно поэтому информация об Исаеве, чье имя раньше, до панического сообщения Деканозова и Комурова, помнил зыбко (Лео Треппера и Шандора Радо знал, руководители «Красной капеллы»; обоих видел во время допросов, легче всего в голове откладывались не фамилии, а лица), а этого Штирлица, который гнал какую-то информацию по поводу бернских переговоров немцев с Даллесом, не представлял себе; потом и вовсе забыл этот псевдоним — готовил встречу в Ялте, обрабатывал документы, не до агентуры, судьбы мира решались...

Но сейчас, когда близилась *схватка*, когда Старец может выкинуть фортель и отдать портфель главы правительства Вознесенскому, ситуация по-прежнему была неблагоприятной, и если действительно этот Исаев бабахнет книгу о той службе, которую в ту пору возглавлял он, Берия, его недруги получат в руки козырь, а ведь в Политбюро *все* его недруги, ибо понимают: ему известно о каждом из них *все*, абсолютно все, без исключения...

Поэтому, приняв Комурова на даче, как и условились, в воскресенье, пригласил его на прогулку по песчаным дорожкам соснового бора, спускавшегося к реке, где

у причалов стояли мощные катера (летом любил смотреть молодых купальщиц, выбери какую постатней — полковник Саркисов через час доставит голубушку к столу: фрукты, вино, коньяк, ванная комната, сладостный момент ожидания любви под крахмальной простыней, потом быстрое прощание: «Вот тебе, лапушка, подарок — облигация пустяшная, всего двести рублей, но чует мое сердце — на следующем розыгрыше возьмет пять тысяч»; говорил так потому, что брал в Наркомфине «для оперативных целей»).

Комурову верил безоговорочно, поэтому размышлял с ним вслух, словно бы проверяя на генерале логику своих умопостроений:

— Хозяин обожает все подробности о Гитлере, — он вдруг зло усмехнулся. — Еще бы... Так вот этот ваш Исаев, если он действительно общался с Борманом и Шелленбергом, бывал действительно на докладах у Гиммлера, может рассказать много таких деталей, которые Коба *проглотит*... Однако всей информации сразу отдавать нельзя... Надо дозировать, чтобы разжечь в нем интерес... Я бы подумал, как подбросить Абакумову идею, предварительно повернув к этому вашего Штирлица, чтобы тот — под запись — сказал: «Но самые важные сведения, имеющие выходы на завтрашний день, — Гитлер заложил фугасы впрок — я расскажу только товарищу Сталину». Понимаешь?

— Товарищ Сталин зэка не примет, — убежденно ответил Комуров.

— Так посели его на даче, одень в форму: вернулся Герой, проверка кончилась, он чист, не ссучился, как такого не показать Иосифу Виссарионовичу?!

— Не очень понимаю смысл комбинации, — признался Комуров. — Что это даст — в связи с Вознесенским? И потом, мы лишаемся его как свидетеля на процессе Валленберга, он наш козырь...

Берия удивился:

— Почему? Его можно переводить на дачный режим хоть завтра... Вместе с Валленбергом... Отпустите жену... Вроде бы отпустите... Придумайте что-нибудь с сыном... Выступит на процессе Валленберга, дадим орден, а дальше — моя забота...

— Лаврентий Павлович, вы не видели этого человека... Случай совершенно особый...

Берия недоумевающе посмотрел на него:

— А что, ты уже не в силах устроить так, чтобы я лично посмотрел на него?.. Нужна санкция товарища

Абакумова? Так попроси! Скажи, мол, Лаврентий Павлович просит вашего разрешения, товарищ министр!

Комуров обиделся:

— Если разрешите, я хоть завтра пристрелю Абакумова в его же кабинете...

— Не разрешу, — усмехнулся Берия. — К сожалению... Если уж и расстреливать — то в камере, после ареста и процесса... Да и надо ли? Дурак в лампасах дорогого стоит... Запомни: Сталину сейчас нужно небольшое, но красивое *дело* против «великорусской автаркии», чтобы потом ударить по его любимым евреям; Израиль мы просрали, время менять ориентиры, нам нужно Средиземное море, нужны арабы, для этого изолируем от общественной жизни собственных евреев — неужели не понятен азбучный строй рассуждений Сталина?! Он их ненавидит, но никогда в этом никому не признается; ты ж его знаешь: «Прежде всего интересы русского народа, мы ему служим и должны делать это отменно и впрок...» А народ в деревнях мрет от голода! — Берия резко оборвал себя. — Поэтому с Валленбергом не торопись, дорого яичко ко Христову дню... А главную комбинацию ближайшего будущего я вижу следующим образом: на предстоящей партконференции Питера нужно сделать так, чтобы там произошла какая-то *заметная* накладка: то ли Сталина мало в речах помянут, империализм ли будут недостаточно громить, не того человека проведут в бюро — не знаю, это *подробности*, тебе о них и думать... Информация об этом скандале должна поступить на стол Сталина не от Абакумова... От Маленкова... Егор сам доложит Кобе... Вот тебе и *дело* против «ленинградского великорусского уклона»; выбьешь показания у ленинградцев... Допросы проводи сам — особенно первые... Это ты умеешь — сломятся. От них нужно только одно: да, были связаны с Вознесенским и Кузнецовым, вместе думали о создании русской столицы в Ленинграде или Горьком... Дальше — само покатится... Вот тогда все отдашь Абакумову... И Вознесенский, и Кузнецов станут молчать, чтобы с ними ни делали... И это — замечательно... Егор доложит Старцу, что Абакумов, видимо, тоже тяготеет к великорусской группе... Сталин поручит следить за ним неотступно: что и требовалось доказать! Принимать его откажется, Витюшка — в кармане! С потрохами... Это — первый этап. Но этого мало... Поскольку Абакумов тряс Кремлевку, поднимал историю болезни Жданова, но *выводов* не сделал, возьми у него ордер на арест пары-тройки профессоров — не из Кремлевки, а

тех, кого туда приглашали на консультации; пусть те твои идиоты, кого не жаль, начинают их мотать: отчего ставили неверные диагнозы? По чьему указанию? Сколько за это получили? От кого? Пусть работают ласково, дружески, без крови... А ты — доложи Абакумову, что, мол, *вражины* молчат... Но это — лишь когда я дам тебе сигнал... Старцу очень нужен очередной спектакль, — повторил Берия. — С кровушкой... Вознесенский в четверг докладывал на ПБ: экономика трещит трагически, либо мы поможем сельскому хозяйству и вложим хоть какие-то средства в легкую промышленность, пособим группе «Б», либо возможны необратимые социальные диспропорции... Старец его спросил: «А если помогут наши пропагандисты? Уговорят народ потерпеть еще чуток? Назовут имена тех, кто мешает нам в работе? Объяснят, кто виноват в недостатке жилья, одежды, обуви? Мы не можем перекачивать средства из обороны на ботинки. Мы не можем заморозить группу «А» во имя «Б». Я лично довольствуюсь одной парой башмаков, почему другим надо больше?» А Вознесенский ответил, что, мол, это гомеопатия, а в создавшейся ситуации нужен скальпель... Сталин тогда спросил: «Беретесь быть хирургом?» А тот ответил: «Если поручите, дав полномочия, — возьмусь...» И Сталин улыбнулся: «А что, возраст у вас хороший, сорок пять, я в ваши годы уже был генсеком...» Ты понимаешь, что мы стоим на краю обрыва? Понимаешь, что выживший из ума деспот алчет крови?! В ней — его спасение! Вот так-то... А уж когда наша команда доложит Егорову, что и по евреям в хозяйстве у Абакумова шло раскачай ногу, арестованные профессора молчали, вот тогда и понадобится Валленберг... Цепь замкнется: гестапо — великорусская оппозиция — евреи — американская спецслужба...

Комуров остановился:

— Гениальная комбинация, Лаврентий Павлович! Просто-напросто гениальная! Ваше имя занесут на скрижали!

— Ах, Богдан, Богдан... — Берия вздохнул. — Порою меня потрясает твоя наивность... Как ребенок, право! Да разве я разрешу себе мараться в таком процессе?! Это ж позор империи! От этого страну придется отмывать! Вот я ее губкой и отмою. Я. Никто другой. Запомни это.

...За обедом, испуганно извинившись, Комуров, зримо превозмогая себя, спросил:

— Лаврентий Павлович, но все же сориентируйте меня, дурака: зачем тогда нам этот Исаев?

Берия недоумевающе глянул на Комурова:

— Кто?

— Исаев-Штирлиц...

Берия не рассердился, ответил тихо и очень грустно:

— Политик, который ставит на успех лишь одной комбинации, — не политик, а недоумок... Взяв у Штирлица информацию о Гитлере, заинтриговав — через Абакумова — Хозяина, получив собственноручную санкцию Сталина на расстрел бабы этого самого Штирлица и его полоумного сына как шпионов и террористов, — это тоже все на Абакумове, запомни, — видимо, я сам встречусь с Исаевым. Пусть его Влодимирский готовит к этому загодя... Бородку приклею, усы нарисую, — Берия вздохнул, — я гримироваться научился еще в Баку, тряхну стариной... Если ваш Штирлиц — особый случай и если он узнает, что...

Берия резко оборвал фразу; даже себе нельзя в чем-то признаваться, а уж друзьям тем более...

...Нет ничего более обманчивого, чем взгляд со стороны.

Как часто мы видим мужчину и женщину, идущих по улице (солнечной, дождливой, морозной); улыбаются друг другу, он поддерживает ее под руку, само внимание, а на самом-то деле давно не любит, живет с другой, она мстит ему за это; дома — *крематорий*, но развод невозможен: он потеряет свою престижную работу. Сталин вернул стране былое ханжество, развод, разрешенный судом, приравнивается чуть ли не к государственной измене — вот и живут недруги (чтобы не сказать враги) под одной крышей...

Как часто мы видим праздничные застолья — нет ничего прекраснее грузинского, когда *стол* выбирает тамаду и его заместителя, и они не имеют права покинуть гостей до тех пор, пока не кончится обед, они должны пить, произносить мудрые тосты, в которых заложены не только восхваления, но и логический анализ причин этих восхвалений; возможен и *намек* на определенные (впрочем, легко исправляемые) недочеты того или иного гостя; угодна и самокритика тамады, это ценится особо, значит, не *дежурный*, человек одарен даром божьим, призванием.

Глаз радуется, когда наблюдаешь такой стол — хоть издали, хоть вблизи... И никому невдомек, что один из

гостей завтра утром *проинформирует* о поведении, словах и мыслях тамады, поскольку другой (или другие) уже сигнализировал о том, что тамада «живет не по средствам», позволяет себе двусмысленные высказывания, дерзок в мыслях и слишком уж независим в суждениях.

Бедный тамада, дни его сочтены, ждут камера, нары, допросы, допросы, допросы...

...На крупнейшей стройке — прорыв; экстренное совещание у директора; приглашены стахановцы, ударники, ведущие инженеры и конструкторы; директор не спит вторую ночь, выдвигает одно предложение за другим, держит себя лишь крепчайшим чаем, записывает предложения, спорит, соглашается, дает команды по объектам, но среди присутствующих есть тот (или та), который обязан написать отчет о вражеской деятельности директора, «намеренно» устроившего этот прорыв, — тайный враг...

Неудачники мстят талантам.

Скряги — щедрым.

Глупцы — умным.

Уроды — красивым.

Лентяи — тем, кто наделен инициативой, смелостью и сметкой.

Однако мир устроен так, что порой умный становится злейшим врагом умного — ревность, соперничество; щедрый — щедрого; сметливый — сметливого (конкуренция, несовместимость характеров); талант вступает в борьбу с талантом — порой это следствие продуманной провокации, никто еще не отменил римское «разделяй и властвуй» — союз талантов опасен властям предержащим; порой, впрочем, за этим стоят разность идейных позиций, комплексы, влияние жены (мужа, матери, брата); воистину именно благими намерениями устлана дорога в ад.

...Посмотри со стороны, как дружески беседуют в ресторане «Москва» седой щеголеватый полковник с орденскими колодками (щеки запали, лицо в рубленых морщинах, видно, недавно из госпиталя) и краснолицый веселый крепыш в поношенном костюмчике, глядящий влюбленными, сияющими глазами на своего военного товарища!

Исаев и Иванов, они же Штирлиц и Аркадий Аркадьевич, они же Юстас и генерал; на самом же деле — зэк Владимиров и полковник МГБ Влодимирский; преследуемый и преследователь.

Аркадий Аркадьевич что-то говорил, весело смеялся, но Исаев сейчас не слушал его, вспоминая Сашеньку, ее сияющее лицо: «Нашего Санечку тоже привезут в

Сочи? Ты запомнил: моя палата — тринадцатая?! Я люблю эту цифру! Ты напишешь мне? Я буду сочинять тебе письма в стихах, любовь!» — и уже за минуту перед тем, как поезд тронулся, трагичное и беспомощное: «Максимушка, поверь, доктор Гелиович ни в чем не виноват, это какая-то непонятная, недостойная интрига... Если сочтешь возможным, пожалуйста, помоги... Почему ты не хочешь взять ключи от дома? Я понимаю, у тебя теперь своя квартира, но, может быть, Санечку привезут раньше, он сразу пойдет на Фрунзенскую...»

Исаев резко потер лоб, выступали красно-багровые полосы; чуть поднял руку, словно бы прося слова.

Аркадий Аркадьевич еще ближе придвинулся к нему:

— Что, товарищ полковник?

— Этот доктор... Гелиович... Там можно что-то поправить?

— Я разрешу вам присутствовать на беседе с ним... И самому задавать вопросы... любые... От вас будет зависеть, как поступить...

...Исаев помнил их разговор с Аркадием Аркадьевичем (как только они ушли с перрона Курского вокзала) практически дословно; он попросил, чтобы в ресторан поехали на метро: «Я ведь ни разу в жизни не видел этого чуда». «На метро так на метро», — Иванов согласился легко, чувствовал себя иначе, чем в кабинете, и совсем не так, как во время первого выезда в город.

Заговорил Иванов не в вагоне; во-первых, Исаев завороженно смотрел на станции, людей, нежно улыбался шумным детишкам (кадык *елозил*, но глаза оставались сухими), а во-вторых, ждал *одиночества*, которое и наступило, когда они вышли на станции «Охотный ряд».

— Отвечаю на ваш давешний вопрос о том, с кем я, — по-прежнему весело улыбаясь, но явно эту улыбку *играя*, начал Аркадий Аркадьевич, чуть понизив голос. — Раньше не мог, *служба* наверняка смотрит за вами, взаимная перепроверка, особенно в метро, там бежать легче, толпа, пневматические двери... Итак, я считаю Сергея Сергеевича и прочих — кроме Рата, он талантливый опер, — подонками, которые компрометируют высокое звание чекиста. Они пришли в аппарат недавно, вместе с новым министром Абакумовым. Почему с этого поста оттерли Лаврентия Павловича? Потому что он сохранил Родине маршала Рокоссовского и маршала Мерецкова — обоих должны были расстрелять, пытали в подвалах, подвергали чудовищным мучениям... Они не падали в обморок, — вдруг ожесточившись, заметил Аркадий

Аркадьевич, — от того, что сидели недвижно на стуле! Их били металлическими прутьями, ясно?! Берия сохранил Родине авиаконструктора Туполева, министра Ванникова, который потом снабжал фронт «катюшами»... Он реабилитировал десятки тысяч ленинцев — практически всех, кого не успел расстрелять мерзавец Ежов... Думаете, не питай я к вам уважение за ваши подвиги и не доложи Берия, вас бы не истязали?! Еще как бы истязали... Словом, ситуация не простая... Попытка отодвинуть товарища Берия от непосредственного руководства органами произошла под воздействием чьих-то темных сил. Чьих? Не знаю. Но намерен узнать. Я не один в этом желании. То, что я вам сейчас сказал, — основание для моего расстрела без суда и следствия. Если хотите помочь мне... нам... свалить мерзавцев — включайтесь в работу... Да, да, сидя на *даче* или в камере — если я решу, что так угодно нашей борьбе... Если вздумаете играть на этом моем признании — вас убьют вместе со мной. Точка! — прервал он себя. — Все, забыли! Говорим о меню, вине и женщинах... И еще о фюрере... Меня очень интересуют взаимоотношения Гитлера с его окружением в начале их движения; честно говоря, национал-социализм, его рождение и развитие мы прошляпили. Информации — серьезной и объективной, если хотите, бесстрашной — у нас практически не было. Стол в ресторане, скорее всего, *оборудован*, поэтому информацию дозируйте... И засадите фразочку: «О каких-то эпизодах — Гитлер заложил фугасы под будущее — я доложу только товарищу Сталину... Лично...»

— Скажите, — задумчиво спросил тогда Исаев, словно бы не услыхав его, — а если бы товарищ Берия приехал в Москву в тридцать пятом году, процесса Каменева не было бы? Каменева с Зиновьевым не расстреляли бы?

Аркадий Аркадьевич долго молчал, улыбка с лица сошла:

— На это я ответить не в силах... И не потому, что боюсь. Просто — не знаю. Я, честно говоря, вопросы о прошлом себе не ставлю... Думаю о будущем, чтобы не повторился, упаси господь, тридцать седьмой...

— Спасибо за честность, — ответил Исаев. — Переходим к меню, вину и женщинам...

— Слушайте, Всеволод Владимирович, — покончив с солянкой, спросил Иванов, — а вы когда-нибудь фюрера вблизи видели?

— Что значит «видел»? На съездах партии, на приемах, в Байрейте — во время вагнеровских фестивалей — много раз... Лично у него на докладе не был. Но ведь служба составляла каждый день материал: о том, кто его посетил, о чем шла речь, реакцию Гитлера на тех, кто был удостоен аудиенции, слежка за этими людьми... Так что кое-какую информацию о нем в здании на Принцальбрехтштрассе при желании можно было получить... с трудом, но — можно.

— Эти *материалы* докладывали Гитлеру?

— Судя по тому, что обрабатывали их на нормальной машинке, — нет... Только то, что печаталось на «Ундервуде» с большими литерами, шло к нему тут же, с фельдъегерем...

— А кто получал материалы с нормальным шрифтом? Гиммлер?

— Конечно.

— А еще?

— Гесс, «брат фюрера», их не получал... Он вообще не жаловал *службу*, всегда подчеркивал, что государством арийцев правят не штурмовики или военные, но рабочий класс и бауэры...

— Кто? — Аркадий Аркадьевич не понял. — Сторонники Бауэра?

— Вы имеете в виду социал-демократа Бауэра? — Исаев не считал нужным скрыть усмешку. — Все социал-демократы, кто не успел сбежать, сидели в концлагерях, они ни разу не пошли на компромисс с нацистами... «Бауэр» — это «крестьянин»...

— А Борман? — спросил Иванов, пропустив замечание Исаева о социал-демократии. — Ему такие материалы отправлялись?

— Не думаю... Он бы обернул это против Гиммлера: «фюрер, за вами следят»...

Аркадий Аркадьевич хохотнул:

— И назавтра бедолагу в пенсне шлепнули бы в подвале...

Исаев покачал головой:

— У вас неверное представление о партийном механизме рейха... Вы знаете, кто был самым сильным противником фюрера?

— Как это «кто»? Коммунисты...

— И социал-демократы. Не сбрасывайте их со счетов, — повторил Исаев. — Думаю, что в обозримом будущем именно они станут ведущей силой на Западе... Впрочем, это одна из тех тем, которые я готов изложить лишь

товарищу Сталину, боюсь, другие меня не смогут понять из-за въевшихся стереотипов... Но я не об этом, — заметив восторженную улыбку Аркадия Аркадьевича, Исаев молча кивнул, подчеркивая этим, что он выполнил просьбу «генерала Иванова». — Я имею в виду другое... В двадцатых годах самым грозным противником фюрера был Геббельс...

— Тот самый?! — искренне поразился Аркадий Аркадьевич.

— Именно... А гауляйтера Коха помните? Руководителя областной парторганизации в Кёнигсберге? Одного из ветеранов... нацизма?

— Не просто помню... Мы с ним работали — вместе с поляками... Молчит, сволочь...

— А вы знаете, что именно этот «друг фюрера» в двадцатых годах бросил лозунг: «В нашей рабочей партии решает большинство, а не папа! Долой партийных императоров, да здравствует национальная революция социалистов!» А кто его поддержал? Геббельс. Это было, если мне не изменяет пямять, в конце двадцать пятого... Так вот, он тогда прямо-таки заорал во время совещания, созванного истинным создателем партии Грегором Штрассером: «Я предлагаю исключить из рядов национал-социалистической рабочей партии Адольфа Гитлера как мелкого буржуа, пробравшегося в наши ряды! Мы — партия рабочего класса и трудового крестьянства! Мы не вправе терпеть в своих рядах ни социал-демократических, ни буржуазных элементов!»

Аркадий Аркадьевич слушал завороженно, даже папироску не решался закурить, хотя Исаев видел, как рука его то и дело тянулась к открытой пачке «Герцеговины Флор»...

— Да вы курите, — сказал он. — И я закурю, если разрешите...

— Бога ради, Всеволод Владимирович! Водочки не хотите? Рюмашку?

— Обвалюсь... Тащить придется... На ваших харчах человек только что не умирает... И язык начнет заплетаться... Давайте выпьем, когда я переберусь на свою квартиру...

— Тоже верно, — согласился Аркадий Аркадьевич, — я водку ненавижу, а пить приходится, особенно на приемах — дело есть дело... Ну и что потом?

— А через полгода Геббельс переметнулся к Гитлеру: тот посулил ему пост гауляйтера всех парторганизаций Берлина... И судьба Штрассера была решена...

— Погодите, погодите, тут что-то не сходится, — возразил Аркадий Аркадьевич. — Штрассера расстреляли в июле тридцать четвертого года, а вы говорите про двадцатые...

— Все сходится, — Исаев вздохнул. — Гитлер планировал комбинации против тех, кого считал недругами, не на год вперед, а на десятилетия... Думаете, он перед гибелью не заложил фугасы под будущее? Думаете, он ушел просто так, завещая лишь бить евреев? Не-ет, Аркадий Аркадьевич! Его фугасы так страшны, так изощрены, что и представить себе трудно...

— Какие именно?

— И это я готов открыть Иосифу Виссарионовичу. Только ему. После моей реабилитации... Никому другому, кроме товарища Сталина...

Иванов удовлетворенно кивнул, изумленно покачав при этом головой: «Ну и работа, ну и профессионал!»

— А что же было со Штрассером после того, как Геббельс переметнулся?

— Ничего... Гитлер передал в его ведение орготдел НСДАП, ключевой пост; с тех пор все назначения и перемещения гауляйтеров готовил именно Штрассер. Но, утверждая назначение, Гитлер — в присутствии всего руководства партии — заметил: «Я согласен с критикой моих товарищей: нам не нужно императоров и пап, все вопросы решаем большинством! Меньшинство подчинено железной воле, выраженной *массой*». И Штрассер был вынужден проводить решения, которых он внутренне не принимал, но подчинялся им как фанатичный ветеран. А как это было выгодно первому лицу?! Он делал то, что ему выгодно, чужими руками!

Аркадий Аркадьевич ничего не ответил, попросил официантку принести ему рюмку водки, снова закурил:

— Ничего этого в наших информациях не было...

— А знаете, кто спас Гитлера от самоубийства?

— Какого?! Когда?!

Исаев испытующе посмотрел на собеседника:

— Если вы играете незнание, я рано или поздно пойму это...

— Клянусь детьми! Только... Всеволод Владимирович, пожалуйста, не говорите больше «национал-социалистическое» государство... У нас принято писать «фашистское» или, по крайней мере, «национал-социалистское»...

— Такого слова ни в немецком, ни в русском языках нет,— отрезал Исаев. — Так вот, после того как любовь

фюрера, Гели Раубаль, сказала, что уходит от него, и ее за это убили из маленького пистолетика, любимого пистолетика фюрера, тот чуть не помешался... И Грегор Штрассер просидел с Гитлером, никому не отпирая дверь его квартиры, два дня... И спас его, черт возьми, от того, чтобы тот не пустил себе пулю в лоб... А вот разрыв между фюрером и Отто Штрассером, младшим братом Грегора, руководившим прессой, которая атаковала фюрера слева, произошел после того, как Гитлер принял в партию и приблизил к себе сына свергнутого кайзера — принца Августа-Вильгельма... Это было явным предательством первой программы партии, в которой говорилось, что представители эксплуататорских классов никогда не будут приняты в ряды национал-социалистов... И брат создателя партии, Отто, опубликовал в газете лозунг: «Истинные национал-социалисты должны покинуть «партию» Гитлера»... Несмотря на это, вторым человеком в партийном аппарате продолжал оставаться Грегор... Это, кстати, ошибка — считать всех членов партии Гитлера ублюдками и кретинами... Вначале там было довольно много идейных людей... Странно, что у вас нет информации о Штрассерах, я же посылал вам шифровки из Лиссабона, когда Шелленберг взял меня с собою для организации убийства Отто Штрассера... Тот вовремя уехал из рейха, поэтому и уцелел... По приказу фюрера в РСХА был создан специальный отдел «террора» — для убийства Отто Штрассера, одного лишь Штрассера, представляете?! Он, кстати, жив, скрывается где-то в Канаде... Слыхали о его «Черном Интернационале»? Он создал его в эмиграции, в пику фюреру...

— Очень мало...

— Если у вас в архиве есть европейские и канадские газеты, я готов подобрать досье... Любопытно: у него было все, как и у Гитлера, только без призывов к антисемитизму, перекройке карты мира и войне... все остальное — калька, одно к одному: равенство, экспроприация банков и крупных заводов, права рабочим и ба... крестьянам...

— У меня хорошая память, — заметил Аркадий Аркадьевич. — Могли бы говорить «бауэры» — врезалось навечно. — И он сладко, как-то по-особому, тягуче, выпил принесенную официанткой водку; не закусывая, сразу же закурил, вновь выжидающе приблизившись к Исаеву.

— Если бы не Геббельс, — продолжил Исаев, — возможно, Грегор Штрассер не был бы расстрелян... Однаж-

ды Гиммлер показал Гейдриху фотографии черновиков речей Геббельса... Тот рассказал Шелленбергу, ну а этот поделился со мной... Геббельс переписывал каждую страницу раз по восемь... Сам вставлял пометки: «здесь нужны аплодисменты»... Или: «тут — драматическая пауза, чтобы началась овация», или: «резкий взмах рук, отчаяние на лице — неминуемы возгласы поддержки»... У него в «особой команде» было тридцать человек, которые рассаживались в разных точках зала, где выступал хромой, и организовывали толпу, начиная овации и выкрикивая слова поддержки в запланированных местах... Их потом всех расстреляли... В ту же ночь, когда убили Штрассера и Рэма... И еще одного человека шлепнули, без которого Гитлер бы вообще не состоялся, — господина Штемпфле; то ли пастор, то ли расстрига; он переписал всю «Майн кампф» — от начала до конца... Гитлер ведь провел две волны чисток: в тридцать четвертом и тридцать девятом... Он приказал имитировать покушение на себя, чтобы обвинить в этом «английских шпионов» — их руками в пивном зале были убиты самые *памятливые* ветераны, их заботливо посадили в первые ряды, поближе к трибуне фюрера, но тот быстро уехал, а эти через двадцать минут превратились в куски мяса... Ничего, а? Кстати, стенограммы бесед Гитлера с Брайтингом у вас сохранились?

— Не слыхал. Кто это?

— Вполне порядочный консерватор, редактор одной из немецких газет... Фюрер был заинтересован в нем... Тридцать первый год, кризис в партии, финансовый крах — нужна реклама... Вот он и пригласил его для интервью... Когда Брайтинг спросил фюрера, как можно идти к власти с кровавыми призывами Геббельса и Розенберга, которые требуют немедленно повесить всех марксистов и евреев, Гитлер ответил: «Лес рубят — щепки летят... Я не хочу скрывать: придя к власти, мы покажем, сколь тверда наша рука... Но мы не собираемся вешать на телеграфных столбах всех богатых евреев, чушь... Это всего лишь пропагандистский ход Геббельса и Розенберга, не судите их строго, они дают нации лозунги, которые угодны эксплуатируемым и голодным... Однако правда такова, что после победы мы будем приказывать, а немцы беспрекословно слушаться! Низы подчиняются, верхи правят! И Геббельс позаботится, чтобы девяносто девять процентов нации восторженно поддержали нашу политику! Печать будет мобилизована на службу обществу... Каждый будет призван к ответ-

ственности — в соответствии с законом!» Неужели не читали? — удивился Исаев. — По-моему, часть этих материалов была опубликована в Лейпциге в тридцать первом... И это у *нас* не переводили?

— В тридцать первом я занимался коллективизацией, Всеволод Владимирович... В органы пришел только в тридцать седь... Нет, в конце тридцать восьмого, по набору товарища Берия, когда мы раз и навсегда покончили с ежовскими нарушениями законности.

...На этот раз в здание МГБ они вошли через подъезд; Иванов показал удостоверение, бросив охране:

— Товарищ со мной, на него есть пропуск.

Когда вошли в его кабинет, со стульев поднялись три человека: двое были в форме, а один, сутулый, седой, лохматый, — без пояса; губы синие, глаза запавшие, но живые, мочки ушей оттянуты, увеличены — значит, болен.

— Это Гелиович, — пояснил Иванов. — Тот самый... Можете допросить его.

— Я бы хотел поговорить с ним один на один.

Иванов внимательно посмотрел на тех двоих, что стояли рядом с доктором, что-то, видимо, понял — то, чего Исаев понять не смог, и поинтересовался:

— В гестапо такую просьбу, учитывая специфику нынешней ситуации, удовлетворили бы?

— Нет, — ответил Исаев.

Иванов кивнул; обратился к военным (капитан и подполковник):

— Ну что? Пойдем походим по коридору, а?

Когда дверь за ними закрылась, Исаев спросил:

— Вы знаете, кто я?

— Вы очень похожи на Сашенькиного мужа... Там много ваших фотографий... Все, правда, размножены с одной...

— Где это «там»?

— У Сашеньки. На Фрунзенской...

— Как вас зовут?

— Яков Павлович.

— В чем обвиняют?

— В шпионаже и антисоветской пропаганде.

— В пользу кого шпионили?

— Я не шпионил... Эти доллары остались в наследство от моего дяди... Его брат уехал в Америку перед революцией... А когда ввели Торгсин, он перевел доллары, тогда разрешалось...

— С вашими доводами согласились?

— Да.

— Значит, обвинение в шпионаже отпало?

— Да.

— Вы действительно занимались антисоветской пропагандой?

— Да.

— В чем это выражалось?

— Я хранил и давал читать другим книги врагов народа...

— Кого именно?

— Троцкого и Бухарина... Будь проклят тот день, когда я получил эти книги...

— От кого вы их получили?

— От профессора Шимелиовича...

— Кто это?

— Главврач Боткинской больницы.

— Почему он их вам дал?

— Потому что мы с ним очень дружили.

— В книгах есть призывы к антисоветским действиям?

— Я... Почему вы говорите так? Зачем? Не надо, пожалуйста! Я же признался во всем... Пощадите меня, я же хотел Сашеньке только добра! Она бы погибла иначе, — Гелиович заплакал. — Если бы вы только видели ее в сорок шестом! Если бы видели... Она никогда не любила меня... Я был вашей тенью... Она всегда любила только вас...

— Вас пытали?

Геолиович в ужасе откинулся на спинку стула:

— Что?! Зачем?! Почему вы так говорите?! Я не хочу!

— Как я говорю? Я просто спрашиваю: вас пытали?

— Нет. Со мной... Меня не пытали... Наши органы никого не пытают...

— Тогда отчего вы признались в том, чего не было?

— Было! — истерично закричал Гелиович. — Я во всем признался! Было!

— Ни в «Азбуке коммунизма» Бухарина, ни в книге Троцкого «Октябрь», которые вы хранили, нет антисоветской пропаганды. Один автор — член Политбюро и наркомвоенмор, другой — редактор «Правды» и член ЦК, чушь какая-то...

— А я категорически повторяю, что меня никто не бил! — снова закричал Гелиович.

— Я говорю с вами как друг, доктор... Я... Я благодарен вам за Сашеньку... И хочу вам помочь... Вы гово-

рите, что вас не пытали... И что вы сами признались в антисоветской деятельности... Вы знали, что идете на *преступление*, прятав у себя книги Троцкого и Бухарина?

— Все советские люди знают, что это преступление... Значит, и я должен был знать...

— Почему вы зашили эти книги в матрац моего сы... Почему вы так тщательно прятали литературу, изданную в Советском Союзе?

— Что вам от меня надо? — прошептал Гелиович. — Ну что, объясните?! Я никогда не откажусь от признания, которое карается восемью годами! И ни днем больше!

— Вас сломали, — сказал Исаев. — Вы просто боитесь мне открыть правду, потому что знаете: нас здесь подслушивают... Закатайте рукава! Быстро!

Исаев подскочил к нему, думая, что именно сейчас-то в кабинет ворвутся; никто, однако, не ворвался. Руки Гелиовича не были исколоты; человек в своем уме, воля не парализована. А если кололи в ноги? Нет, его не кололи... Судя по тому, как он вскинул кисти, чтобы закрыть лицо, когда я бросился к нему, его просто били... Человек идеи обязан выдерживать все, а этот несчастный, которому пообещали сохранить жизнь, подписал с ними договор на верность... А Иван Никитич Смирнов, спросил себя Исаев, член Реввоенсовета, большевик с девятьсот первого года? Почему он все признал на процессе Каменева? Испугался побоев? Не верю. Накололи черт те чем? Тоже не верю, какие-никакие, но ведь зрители были в зале суда, они бы заметили психическое нездоровье подсудимого! Лион Фейхтвангер писал в своей книге «Москва, 1937», что Пятаков, Радек и Сокольников вели себя как совершенно нормальные люди, порою даже шутили, переговаривались друг с другом, отрицали пытки, хотя могли прокричать об этом... Ведь Радек лично знал Фейхтвангера, сказал бы ему по-немецки, все б полетело в тартарары и сделалось очевидным: спектакль, термидор, антиленинский путч! Почему не прокричал? Ладно, сломали, не знаю еще как, но их сломали... А люди?! Зрители?! Если завтра на скамью подсудимых выведут Клима Ворошилова и тот начнет признаваться, что был гестаповцем, этому тоже поверят?!

Исаев ужаснулся вопросу, потому что растерялся, не зная, что ответить. Если поверят, тогда стоит ли вообще жить? Во имя чего? Значит, над народом тяготеет трагический рок; такова наша судьба. Нет, возразил он себе с какой-то испугавшей его настороженностью, просто мы

единственное государство, которое на протяжении веков было лишено самого понятия «Закон» и права на Слово.

— Если бы вы признались, что вас пытали, — устало сказал Исаев, подойдя к окну, — честное слово, мне было бы легче помочь вам...

И вдруг Гелиович рассмеялся:

— Да? Это как же? Предали б суду моих палачей?

Не оборачиваясь, Исаев ответил:

— Попробовал бы, во всяком случае... Я ведь такой же зэк, как и вы...

Гелиович поднялся:

— Отойдите-ка от окна, разрешите мне все кончить разом...

— Здесь непробиваемые стекла, пластик, — ответил Исаев. — Только шишку набьете.

— Помогите! — вдруг истошно, тонко закричал Гелиович. — Товарищ капитан, спасите! Помогите! Я больше не мо-о-о-гу!

Никто не вбежал в кабинет, было так тихо, что ломило в ушах.

— Простите, — сказал Исаев, отошел от окна и сел на стул рядом с Гелиовичем. — Я не скажу больше ни единого слова. Простите...

И он опустил руки между ног точно так, как Гелиович; фигура *отчаяния*, кто только ее изваял?

...Когда Исаева вывели из кабинета, Влодимирский, он же генерал Иванов, он же Аркадий Аркадьевич, обнял «Гелиовича».

— Спасибо, Шурка!.. Ты сыграл гениально! Поезжай на Рижское взморье, — он протянул ему пачку купюр, — и отдыхай как следует... В клинику мы позвоним, мол, служебная командировка... Готовься к новому делу, брат... Громчайшее дело, такого еще у нас с тобой не было...

...В Сочи Сашеньку встретил разбитной парень, подхватил ее фибровый чемоданчик, сказал, что Максим Максимович просил встретить у вагона: «С автобусами мучение, очереди, а я вас вмиг домчу».

В санатории ее приняла сестра в халатике, накрахмаленном до голубизны, померила давление, покачала головой: «Маловато, товарищ Гаврилина, размещайтесь, ваш муж попросил устроить для вас отдельную палату. Вообще-то у нас живут по два-три человека, но его

просьба для нас — честь. И сразу пойдем к доктору».

Сашенька вошла в маленькую комнатку, открыла дверь на балкон и увидела зеркальную гладь моря; солнце было совершенно белым, окруженным желто-красным ореолом; жестяно, как-то игрушечно шелестела листва пальм.

Сашенька опустилась в плетеное креслице и сразу вспомнила строки: «Я тело в кресло уроню, я свет руками заслоню и буду плакать долго-долго, припоминая вечера, когда не мучило «вчера» и не томили цепи долга...»

Она сняла жакетик, подумав, что сейчас ляжет спать и не проснется до завтрашнего утра, а когда проснется, будет новый день, она сядет к столу и напишет огромное письмо — сначала Максимушке, потом Санечке...

В дверь постучали:

— Открыто, — тихонько откликнулась она: в тюрьме соседки приучили ее к *тишине*. Боже, какие страшные женщины, меня нарочно посадили к этим проституткам и бандитским наводчицам, я ведь была готова на все, только б перевели к интеллигентным людям...

Вошла давешняя сестра и с прежней доброй, сострадающей улыбкой пригласила ее на осмотр.

Вид доктора поразил Сашеньку: по-ришельевски закрученные усы, бородка, грива седых волос, ниспадающих на плечи, и пенсне, болтающееся на черном шнурке.

— Наслышан, наслышан, — скаля чуть выпирающие желто-прокуренные зубы, быстро заговорил он. — Вопросов не задаю, приучили пациенты... Но, голубушка, что это у вас за давление? Девяносто на шестьдесят! Я вас просто выпишу из санатория с таким давлением, — довольно расхохотался врач. — Помрете вы, а отвечать за вас кому? Мне, старому дураку Евгению Витальевичу Рыбкину, честь имею...

— Как замечательно вы говорите, — Сашенька сидела по-тюремному, заложив руки за спину, — совершенно забытый русский... Так говорил мой отец...

— Жив-здоров? Или почил?

— Не знаю... Мы потеряли друг друга во время гражданской.

(О том, что отец ее эмигрировал в Америку, не знал никто, кроме Максимушки. Раньше это было не так страшно, а сейчас...)

— Нуте-с, давайте я сам померяю давление, а потом послушаю вас... С легкими все в порядке? Туберкулеза не было?

— Нет. Так мне, во всяком случае, кажется.

Послушав Сашеньку, Евгений Витальевич сокрушенно покачал головой:

— Вы кто по профессии, голубушка?

— Учитель.

— Историк?

— Нет, литератор. Почему вы решили, что я историк?

Евгений Витальевич надел на нос пенсне, глаза стали сразу же иными, жесткими, ответил с ухмылкой:

— Самый трудный предмет... Особенно история нашего государства... *Неправда* точит... Ладно... Сие — российское горестное теоретизирование, взгляд и нечто... Начнем мы с вами курс лечения вот с чего, голубонька... Массаж с самого раннего утра. Потом полчаса отдыха и нарзанная ванна... После нее — в кроватку... До обеда. Засим спать... Мертвый час... Не менее ста двадцати минут... После мертвого часа возьмем грязь — и в кроватку... На этот раз до утра...

— Какое страшное словосочетание «мертвый час», — сказала Сашенька. — Отдых, лечение, санаторий, *мертвый час*...

— Все претензии к космополитствующим лекарям, — раздраженно ответил доктор. — Притащили из-за границы это определение, совершенно с вами согласен, нелепо и страшновато...

— Евгений Витальевич, получается так, что я и к морю сходить не смогу?

— Голубушка моя, да вы и не дойдете! — Евгений Витальевич чуть повел носом, и пенсне легко соскочило на грудь; глаза снова сделались милыми и чуточку растерянными. — Сначала я вас укреплю, витаминчиками поколю, а потом гуляйте хоть весь день! Кстати, извините, но я обязан вас спросить: что это у вас на спине за шрамы?

Сашенька ответила так, как посоветовал следователь:

— Я была в плену у беляков... На Дальнем Востоке... это следы нагаек...

— Партизанили? — Евгений Витальевич снова надел пенсне.

Сашенька растерялась, к этому вопросу ее не готовили:

— Нет... Так уж случилось...

— Первая женщина, которая не умеет лгать, — сурово заметил доктор. — Поздравляю *себя* с такого рода открытием... И еще вот что, голубушка... На ночь вам будут давать чернослив и маленькую рюмочку коньяку, я бы не хотел травить вас бромом...

Сашенька покачала головой:

— Я только и мечтаю, как бы отоспаться... Мне ни бром не нужен, ни коньяк...

— Тут с врачами не спорят, голубушка... Коньяк придаст вам бодрости, улучшит аппетит...

— Я такая голодная, что готова есть по пять раз в день!

— Простите, вы москвичка?.. Там же хорошее обеспечение... Что, держали диету?

— Да... Хотела вернуть форму... Чуть перестаралась...

...Коньяк, который ей приносили, выливала в рукомойник; через неделю почувствовала себя окрепшей; иногда, правда, вскидывалась ночью и тонко кричала от ужаса: грезилась камера и эти ужасные женщины, которые лезли к ней на нары. Доктор разрешил прогулки; она уже написала четыре письма Максиму Максимовичу и три Санечке; не отправляла, мечтала сфотографироваться, когда не будет такой страшной.

Портрет получился на удивление хорошим, но, как ей показалось, с ретушью.

Когда она сидела, рассматривая свои портретики, в дверь постучали.

— Открыто, — ответила она, думая, что пришла сестричка с витаминами.

На пороге, однако, стоял мужчина в штатском, но с военной выправкой.

— Разрешите, Александра Николаевна? — спросил он. — Не помешал отдыху?

Сердце ее сжалось на какое-то мгновение, но сразу же отпустило, потому что мужчина, державший руки за спиной, переступил порог комнаты и протянул ей два роскошных букета:

— Гвоздики — от меня, розы — от Максима Максимовича, от сына — радиограмма...

Она схватила радиограмму: «Дорогая мамочка, примерно через две недели прилечу в Москву. Я тут хворал, бронхит, но меня поставили на ноги. Новый адрес папы знаю. Остановлюсь у него. Отдыхай как следует, родная. Целую, Саня».

Сашенька почувствовала, что расплачется, поднялась:

— Спасибо вам огромное...

И начала приспосабливать вазочки для цветов, незаметно утерев при этом слезы. Это дурно — позволять кому бы то ни было видеть в тебе то, что принадлежит только тебе, и никому больше.

— Александра Николаевна, — продолжал между тем мужчина, — я, видимо, огорчу вас, но меня уполномочили сообщить следующее: полковник Исаев срочно вылетел за границу... С заданием Правительства Союза ССР... Он очень волнуется за ваше здоровье... У нас есть возможность передавать ему ваши письма...

— Что?! Значит, он снова исчез?! Надолго?!

Опустив глаза, человек тяжело вздохнул:

— На два года... Поэтому, пожалуйста, напишите как можно больше писем... И ставьте на них разные даты: ноябрь, декабрь, январь... Понимаете?

— Я читала такой рассказ...

— Какой?

— Как умирающий писал письма своему самому близкому человеку, и тот получал их десять лет, уже после смерти того, кто... У меня плохие анализы? Туберкулез? Язва?

— Как не совестно, Александра Николаевна! Лечащий врач сказал, что вы резко пошли на поправку... Просто когда человек работает за границей, он мучительно волнуется за своих, понимаете? Если мы передадим ему все письма скопом, без дат, он может занервничать — там, среди врагов, быстро учишься трагическому недоверию... По отношению ко всем. Увы, порою даже к своим: мол, не хотят говорить правду о ее здоровье...

— Когда вернется мой сын?

— Я не знаю...

— Вы не читали этого? — она указала глазами на радиограмму.

Посетитель нескрываемо удивился:

— Но ведь это адресовано вам! Я не смел читать вашу корреспонденцию...

— Максим Максимович ничего не написал мне перед отъездом?

— Его письмо ждет вас в Москве. По законам конспирации это нельзя отправлять по почте. И еще просьба... Не надо называть его в письмах по имени... Он сказал, что вы знаете, как называть его...

«Любовь, как я счастлива, что и это мое, зимнее уже, письмецо попадет в Ваши руки, такие сильные, сухие, нежные... Помните, Вы рассказывали, как Вам гадала судьбу цыганка, на берегу бухты, в дни золотой осени, когда солнце появлялось лишь в девять, а жарким становилось к полудню? Я всегда помню ее слова, вы их

дважды повторили: «Берегись старика усатого, он зло на тебя таит, и уж если кто и погубит — так он...» Нет ли среди ваших нынешних друзей злых и усатых стариков?

...Женщина — это музыкальный инструмент, но музыку из него умеет извлекать только великий композитор, а композитор — это высшая тайна мира... Вы — моя любимая и нежная тайна (только сильные люди, в чем-то суровые и закрытые, умеют быть нежными по-настоящему).

Кто-то рассказывал мне, что даже большие музыканты достают из своего архива музыкальные фрагменты прошлых лет, проигрывают мелодии других мастеров, видоизменяют их, и из этого рождается гармония. Я не поверила, потому что говорить о творчестве (любовь — это творчество, контролируемое дисциплинированной логикой, не смейтесь, это правда!) как о некоей механической работе — нечестно, в этом есть что-то от мелкой зависти несостоявшейся бездари, мечтавшей проявить себя в искусстве.

Вы же никогда не пользовались архивом и не искали своего аккорда в чужих мелодиях, Вы всегда были самим собою... Как это редкостно в наш век... Я счастлива, что мне выпало быть с Вами. Ведь порою даже одна встреча остается в тебе на всю жизнь, и ты близко видишь каждую ее подробность, явственно слышишь слова, четко, словно это было вчера, помнишь свои ощущения. А с другими людьми встречаешься ежедневно, говоришь, смеешься, печалишься, веришь, сомневаешься, но все это проходит сквозь тебя, мимо, мимо, мимо...

Кто-то сказал: «Надо уметь строить отношения...» Это проецировалось на мужчину и женщину. Строить можно сарай, но не отношения. Либо они есть, либо их нет... Иногда я с ужасом спрашивала себя: «А если бы мы с Вами всегда были вместе? Если бы провели под одной крышей не те прекрасные месяцы, что подарила судьба, а долгие годы?» Ведь все кругом уверяют, что рано или поздно любовь становится *бытом*... Наверное, самое страшное — это разрешить себе привыкнуть к счастью, которое есть любовь. Представьте себе, если бы к верующей бабульке пришел Христос и сказал: «Матушка, я хочу пожить у вас...» Как бы она, верно, была счастлива! Но Христос ведь не мог без людей, он служил им, и через год бабульке сделалось бы трудно терпеть множество гостей в своей маленькой избеночке... Неужели она бы перестала видеть в нем чудо и стала бы просить его пораньше заканчивать свои проповеди, не оставлять на

ночь паломников и не забывать колоть дрова для печки... Неужели кратковременность счастья есть гарантия его постоянности? Но ведь это несправедливо! И я возражаю себе: не нам судить о справедливости, это понятие в людях субъективно и *мало*. Только высший суд определяет правоту человеческую: Кукольник умер, осиянный славой и любовью публики, а Пушкина тайком увезли на скрипучих дрогах в могилу, но кто *остался*?!

Вспомнила стихи. Увы, не мои. Вы знаете, чьи они. В них ответы на многие вопросы, которые живут во мне постоянно: «Я жду, исполненный укоров, но не веселую жену для задушевных разговоров о том, что было в старину. И не любовницу: мне скучен прерывный шепот, томный взгляд, и к упоеньям я приучен, и к мукам горше во сто крат. Я жду товарища, от Бога в веках дарованного мне за то, что я томился долго по вышине и тишине. И как преступен он, суровый, коль вечность променял на час, принявший дерзко за оковы мечты, связующие нас...»

Как прекрасно это, как избыточно: «Принявший за оковы мечты».

Не в этом ли разгадка всех споров о том, что такое любовь? Не оковы. Мечты.

Любовь, у меня все очень хорошо, веду класс, Санечка чувствует себя прекрасно, начал занятия в университете.

Я отмечаю каждый день в календарике не потому, что он прошел, а оттого лишь, что он приблизил меня к Вам.

И еще... Когда я отдыхала в санатории, спасибо Вам за это, лечащий врач сказал: «Бытие человеческое расписано, словно медицинские процедуры, особенно бытие женщины: сначала влюбленность, потом близость, затем пресыщение и переход в новое физиологическое качество — продолжение рода; ребенок, иная форма нежности, новая ее сущность; разрыв между иллюзиями поры влюбленности и прозой пеленок и недосыпания, когда у продолжателя режутся зубы; постепенный перенос нежности на младенца; неосознанная ревность мужчины, робкий поиск иного идеала, внутренний разрыв с прошлым; сохраняемая связь — дань долгу. Эрго — любовь убита физиологией, вечной, как мир».

Сначала я с ужасом отвергла эту теорию, столь циничной и гадостной она показалась мне. Потом подумала, что у нас все было бы иначе. У нас не было бы оков, мы бы жили мечтою, правда? Нет. Не правда. Вы всегда жили своими «читателями»... Неужели и нас могла постичь

участь всех тех, кто, по уверениям врачевателя, существует по раз и навсегда утвержденным законам физиологии?! Тогда спасение в разлуках! Они дают силу мечтать и просыпаться каждый день с новой надеждой на близкую и счастливую, хоть и недолгую, встречу...

Я надоела Вам своим раздрызганным и грустным письмом?

Не сердитесь, потому что Вы приучили меня к открытости. Вы не представляете, какой страшный бич женщины — закрытость, тайна, *думочки*... Ах, как они отвратительны! Я ненавижу их, гоню прочь, но они то и дело, словно чертики, хихикая и зло усмехаясь, рождают в душе ужас и недоверие.

Я заклею это письмо, положу его в конверт, оденусь и пойду гулять по Кольцу, посижу на скамейке возле Пушкина, остановлюсь около Тимирязева, которого с некоторой пренебрежительностью называют «популяризатором», но ведь истинное популяризаторство есть превращение сложного в доступное всем! Это поднимает человечество на новую ступень знания, которое только и может спасти мир от ужаса... Не красота, нет... Федор Михайлович был не прав... Спасти мир красота не в силах, только Мысль и Знание — составные части Достоинства...

Любовь, я счастлива, что смогла поговорить с Вами. Спасибо за это.

Я снова ощутила Вашу сухую ладонь с длинной и резкой линией жизни.

Как только Вы вернетесь, отдохнете у себя, жду Вас на Фрунзенской, в гости, будем пить кофе. А потом пойдем бродить... Втроем...

Храни Вас судьба, я прошу об этом каждое утро и каждую ночь...»

Когда Сашенька написала девять писем, приехал тот же штатский. Темнело, луна начала серебрить море.

— Накиньте плащ, — посоветовал он, — я хочу пригласить вас на вокзал...

Она вскочила со стула:

— Приехал Санечка?!

На вокзале, однако, сына не было. Ее посадили в «столыпинку» и отправили этапом в Москву. Абакумов получил у Сталина санкцию на приведение в исполнение приговора: «высшая мера социальной защиты»; Сталин посмотрел на карандаш — цвет грифеля был красный.

16

... Больше всех на свете министр Абакумов любил свою дочь, брал ее с собою на отдых в Мисхор, жену отправлял отдельно, на Кавказ. В Кисловодске для нее оборудовали «спецномер» из двух комнат; привозили особое питание, из Железноводска три раза в день гнали «ЗИС» с теплой минеральной водой, подавали в кровать, наливая в хрустальный стакан из большого английского термоса, который в свое время прислал в подарок посол Майский.

Получив эту уникальную вещицу, Абакумов с какой-то внезапно возникшей в нем горечью подумал: «А вот снять с тебя наблюдение, запретить запись каждого твоего слова, милый Иван Михайлович, я все равно не могу... И поправить что-то в расшифрованных записях твоих разговоров с женой, Фадеевым, академиком Несмеяновым, Эренбургом, поваром Игорем (псевдоним Мечик), Антони Иденом, когда он завтракает у тебя, Рандольфом Черчиллем, когда он у тебя пьет (называется «ужин»), секретарем Галиной Васильевной (псевдоним Бубен) я лишен права. Сталин Сталиным, но окружен-то я чужими, здесь, в этом доме...»

Впрочем, наиболее рискованные высказывания Майского, которые нельзя было утаить от Хозяина, он сопровождал замечанием:

— Порой на язык он слаб, что верно то верно, но с противником работает виртуозно. Это *перекрыто* другой информацией, товарищ Сталин. Видимо, иначе с англичанами нельзя.

Сталин пожал плечами:

— А что, Эренбург тоже англичанин? Или Майский и с ним *работает*? Он меньшевик, как и Эренбург... Только Илья рисовал карикатуры на Ленина в паршивых парижских изданиях, а Иван сидел в министрах у Колчака...

Превозмогая себя, потухшим голосом Абакумов ответил:

— Я понял, товарищ Сталин...

Сталин устало отвалился на спинку кресла, потом, испугавшись, что этот красавец, косая сажень в плечах, увидит его старческую немощь, резко придвинулся к столу:

— Ну и что же вы поняли?

— Материалов достаточно на обоих: были знакомы

с Бухариным, Зиновьевым, Рыковым, Радеком, дружили с Мейерхольдом, Мандельштамом, Тухачевским...

Сталин *собрал* тело, заставил себя легко подняться из-за стола, походил по кабинету, не вынимая трубки изо рта, но не куря ее, а лишь посасывая; расхаживал бодро, хотя мучительно болела вся правая часть тела и пальцы леденели. Потом наконец остановился перед Абакумовым и, не отводя рысьих глаз с постоянно менявшимися зрачками от его лица, спросил:

— Кандалы у вас есть?

— Только наручники, товарищ Сталин. У нас в тюрьмах нет кузниц: Дзержинский приказал уничтожить...

— Меня интересует: у вас с собою есть эти самые наручники?

— Товарищ Сталин, никто из входящих к вам не имеет права носить с собой не только оружие, но и любой металлический предмет... Я подтвердил это указание тридцать четвертого года новым приказом...

— Что, боитесь, Ворошилов меня саблей зарубит? — хмуро усмехнулся Сталин. — Или Молотов маузер вытащит? Он слепой, стрелять не умеет, да и от страха помрет... Зря, что не принесли с собою наручники. — Сталин по-арестантски протянул ему руки. — Вам бы меня надо первым сажать в острог... Я ведь ближе, чем Майский и Эренбург, сотрудничал и с Бухарчиком, и с Каменевым... Он меня Коба звал, я его Левушка... Да и председатель Реввоенсовета для меня был не Иудушкой, а товарищем Троцким...

Зрачки его глаз расширились, словно после кокаина, в них была тоска и ненависть, говорил, однако, с усмешкой, лицо жило своей жизнью, только глаза ужасали, особенно бегающие зрачки.

— Ну, что ж не сажаете? Я ведь для вас *сладок*... Какой процесс можно поставить?! Жаль, хороших режиссеров не осталось...

Сталин вернулся к себе за стол, Абакумову кивнул на стул, снова пыхнул пустой трубкой (профессора Виноградов и Вовси советовали не отказываться от привычки сосать трубку, запах табака постоянен. «А если уж невтерпеж, пару раз пополощите рот *дымком*, стараясь не затягиваться. Хотя здоровье у вас богатырское, но и богатырям надо уметь себя щадить»).

— При ком в нашу партию вступил бывший меньшевик Майский? — сурово спросил Сталин, не спуская глаз с Абакумова.

Тот молчал.

Сталин отчеканил:

— При Ленине. Более того, Ленин публично перед ним извинился в прессе за какую-то неточность в своем выступлении. При ком в нашу партию вступил Вышинский, бывший террорист, меньшевик и преследователь Ильича в июньские дни? А? Что молчите? Боитесь попасть впросак? При Ленине! Ему этот вопрос докладывал Молотов, и Ленин согласился с необходимостью принять в партию грамотного юриста... Ленин не терпел сведения личных счетов со своими политическими противниками и нам это завещал... А Заславский, который назвал Ильича «немецким шпионом» и требовал суда над ним в семнадцатом? При ком он примкнул к *нам?* При Ленине... А сейчас фельетонист в «Правде»... И вот эти бывшие меньшевики громили группы Троцкого, Зиновьева и Бухарина почище многих большевиков... Те, страха ради иудейска, отмалчивались, видите ли... Хоть и были русскими и украинцами вроде Постышева или Чубаря с братьями Косиорами...

— Я понял, товарищ Сталин, — глаза Абакумова сияли, ибо Хозяин впервые так доверительно, по-отцовски, говорил с ним, не произнеся ни единого резкого слова (хоть от него все можно принять, гений). А ведь он, оказывается, брякнул то, что Сталину совсем не по душе...

— Ну и что вы поняли? — глаза внезапно изменились, в них появилось доброжелательство. — Что вы поняли?— повторил Сталин.

— Я сниму наблюдение с товарища Майского...

Сталин начал раскуривать трубку.

Абакумов вдруг с ужасом вспомнил показания сына Троцкого, Сергея Седова. Тот с отцом уехать отказался, большевик, военный инженер, патриот державы, был расстрелян в тридцать седьмом, а сначала сидел в Сибири. Перед казнью пришел приказ Ежова поговорить о его житье-бытье в Кремле. Квартира Троцкого была неподалеку от сталинской, *сыночек* тогда такое порассказал... Особенно врезался в память эпизод: «Я очень дружил с Яшей Сталиным, он у нас порою ночевал... Отец бил его смертным боем, когда охрана доносила, что он курит. «Мой отец — зверь», — сказал однажды Яша, сотрясаясь в рыданиях. Мама уложила его спать у нас, а он все умолял: «Оставьте меня жить у вас, я его ненавижу...»

Абакумов сжег эти показания у себя в кабинете, ужаснувшись тому, сколько лет они *валялись* в спецархи-

ве. Пришлось ликвидировать сорок сотрудников, всех, кто имел к этому касательство (членов семей сослали в Магадан, поставили слежку за всеми знакомыми; потом для подстраховки арестовали и тех).

Сталин тогда наложил на списке резолюцию «ВМСЗ» — «высшая мера социальной защиты» (иногда писал «ВМН» — «высшая мера наказания»), потому что Абакумов объяснил: «Они хранили архивы, связанные с клеветническими заявлениями сыновей врагов народа, которые жили в Кремле».

Сделав один *пых*, Сталин прополоскал рот табачным дымом, отложил трубку в сторону («Что бы я делал без Виноградова, Вовси и Когана? Четверть века они со мною, четверть века держат мне форму, ай да умницы») и медленно произнес:

— Когда я ехал в Лондон, к Ленину, на съезд, один из делегатов тоже много говорил об английской «специфике». С моей точки зрения, тем не менее, там нет никакой специфики... Одна островная амбициозная гордыня... И мы собьем эту самую мифическую амбициозную специфику... Дайте время... Так что не надо защищать Майского, его дрянную болтовню ссылками на какую-то специфику... Вся их специфика заключается в том, что на завтрак дают овсяную кашу, словно там не люди живут, а жеребцы с кобылами... И Майский, и Эренбург нам нужны... Пока что, во всяком случае... Вот придут новые кадры, умеющие говорить с людьми Запада без униженного русского пресмыкательства, тогда и... Делайте свое дело, Абакумов... Давайте информацию, а уж нам предоставьте возможность принимать решения... Всегда помните слова нашего учителя, нашего Ильича: если ЧК выйдет из-под контроля партии, она неминуемо превратится в охранку или того хуже... Такто... За вами — информация, за нами, ЦК, — решения... Уговорились?

— Спасибо за указания, товарищ Сталин, конечно, уговорились...

...Возвращаясь после таких бесед домой, Абакумов чувствовал себя совершенно измотанным, словно весь день дрова колол.

Единственное успокоение он находил в беседах с дочкой, приглашал ее в свой кабинет, угощал диковинными французскими конфетками и, слушая ее веселый щебет, расслаблялся, постепенно успокаивался, заряжа-

ясь верой в то, что во имя счастья детей отцы должны нести свой крест, постоянно соблюдая при этом условия *игры* — никем не написанные, никогда не публиковавшиеся, вслух не произносившиеся, но всегда существовавшие.

...Комурова министр обычно принимал без очереди, прерывая встречи с другими сотрудниками, ибо знал, сколь дружен Богдан с Берия.

Так и сегодня он радушно усадил его за маленький столик, заказал порученцу «липтон» с английскими печеньицами «афтер эйт» и, порасспросив о домашних, приготовился слушать своего могущественного подчиненного.

...Абакумов стыдился признаться себе в том, что панически боялся Комурова. Он боялся его не потому, что видел в деле: и на фронтах, когда случалось какое ЧП, и в камерах, где он лично пытал тех, кто отказывался сотрудничать со следствием при написании того или иного *сценария* для процесса (работал в майке — волосатый, неистовый; воняло потом, и это более всего запомнилось Абакумову: не крики начальника Генерального штаба Мерецкова, которого он истязал в июле сорок первого, а именно едкий запах пота); он боялся Комурова потому, что не мог понять таинственной непоследовательности его поступков и предложений, которые каким-то странным образом оказывались в конце концов верхом логического умопостроения, законченным, абсолютным кругом.

То ли он счастливчик, есть такой сорт людей, которых постоянно хранит Бог, то ли в нем была сокрыта какая-то потаенная, неизвестная ему *машина*, которая умела превратить хаос в порядок.

Это последнее страшило его более всего, даже больше, чем дружеское покровительство Берия.

Мне Берия тоже покровительствует, размышлял Абакумов, он мою кандидатуру назвал, век не забуду, зато я теперь бываю у генералиссимуса чаще, чем Лаврентий Павлович; кто знает, не придет ли час моего торжества, если я *почувствую* время, когда на стол Сталина *нужно* будет положить те материалы, которые помимо моего приказа сами по себе приходят в этот дом, ложась пятном на Берия. Тут и думать нечего! А узнай генералиссимус о девках маршала?! Если б пять-шесть, у кого не бывает — а ведь уж под две сотни подвалило!

Девок-то этих, как блядушек, так и именитых матрон, моя служба проверяет: не болтают ли, нет ли молодых любовников с трипаком или сифилисом, не имеют ли осужденных родственников...

...Комуров достал из папки *постановление* на расстрел террориста, власовского недобитка и предателя Родины Исаева, готовившего покушение на товарища Сталина, полностью признавшего свою вину, заявившего, что, если выйдет из тюрьмы, все равно уничтожит «тирана, губителя ленинизма».

— Это дело прошло мимо меня, — удивился Абакумов.

— Мимо меня не прошло, — ответил Комуров. — Нужно добро товарища Сталина, чтобы в нас с тобой каменьями не кидали.

— А кто же в нас с тобой может кинуть каменья?

Комуров вздохнул:

— Товарищ министр, во многия знания многия печали.

— Сколько раз повторять: я для тебя был и остался Виктором! Как не совестно тебе?! Или не гожусь в друзья?

Комуров подвинул ему *постановление* и ответил:

— Твои враги, Витя, — мои враги... Наши, говоря точней... За Исаева хлопочет наш с тобой подопечный Соломон Абрамович Лозовский... Это у меня зафиксировано... Документально... Перед Шкирятовым слово замолвил... Понял? А Матвей прислал мне: «Почитай, *поэзия*»...

— Где дело?

— У меня... Прикажете передать?

Абакумов понял, что Комуров снова загнал его в угол; просить прислать материалы после резкого перехода на «вы» — значит портить отношения.

— Как только буду у генералиссимуса — подпишу. Справочку только составь покрасивей, ладно?

— Хорошо, Витя, справку я тебе завтра же подготовлю.

Когда порученец принес «липтон» и печенье, Абакумов сам разлил кипяток, опустил пакетики в стаканы, поинтересовавшись, не хочет ли Богдан покрепче: «Два пакетика по эффекту воздействия равны рюмке хорошего вина».

— Какого? — спросил Комуров. — Крепленого? Или кавказского?..

Сейчас что-то попросит, понял Абакумов, *постановления* ему мало, неспроста он про крепленое спросил, кто-то из моей охраны им стучит, что я мадеру пью, только в их компании нахваливаю всякие там цинандали и мукузани. Рот вяжет, вода водой, не *берет*, а государь не дурак был, мадеркой баловался. «Женский коньяк»! Пусть называют как хотят, а по мне лучшего вина нет: и сладко на вкус, и пьянит томно...

— Хорошего вина в бутылках мало, — ответил Абакумов уклончиво. — Вот когда меня грузины угощали зеленым сухим вином прямо из бурдюков — это, я доложу, сказка! Хотя грузинскую «Хванчкару» люблю даже в бутылках...

— У нас есть лучше вина... Скажи, Витя, тебе о Рюмине ничего не докладывали?

— О Рюмине? — переспросил Абакумов, нахмурившись. — Кто это?

— По Архангельску работал, подполковник...

— А почему должны были докладывать? ЧП? Запросить?

— Не надо. Я прошу твоей санкции, дай его мне, буду готовить к хорошему делу.

— Да, пожалуйста, — сразу же согласился Абакумов. — Тут моей санкции не нужно, подписывай приказ сам, используй по своему усмотрению.

...Вопрос о Рюмине был задан не случайно: подполковник попал *«на подслух»*, находясь в квартире некоего Шевцова, за которым давно смотрели — крайний шовинист; крепко выпил и сказал: «А ведь в одном бесноватый фюрер был прав: евреев надо изничтожить! Смотрите, кто у нас сейчас ведет главную борьбу против родины? Кто продает страну за иностранные самописки? Евреи! Кто критикует русских писателей и артистов? Еврейские космополиты! Кто клевещет на русских шахтеров в кино? Еврей Луков, под русским псевдонимом прячется, сволочь! Кто завел в тупик нашу экономическую науку? Еврей Варга! Кто клевещет на нашу историю? Евреи. Кто какофонии сочиняет? Еврей Шостакович!»

Кто-то из присутствующих заметил, что Шостакович русский.

Рюмин и Шевцов взъярились: «Нет таких русских фамилий! И уши у него еврейские!»

Поскольку Влодимирский разрабатывал Еврейский

антифашистский комитет, Комуров сразу прикинул, что такой человек может пригодиться. Однако потом, подумав, решил взять этого Рюмина под свою опеку, надо сначала *обкатать*, а использовать — лишь тогда, когда наступит черед для коронного дела. Берия намекнул, что политика Кобы будет однозначной, поскольку экономически русских еще больше зажмут, надо будет обращаться к их патриотизму, подчеркивать исключительность, поставляя «врагов», виновных в трудностях.

— Спасибо, Витя, — поднимаясь, сказал Комуров. — И за чай спасибо. Действительно, прекрасный напиток... Только абхазский лучше, честное слово... Пришьют еще тебе этот чертов «липтон»... Товарищ Суслов в этом деле строг, поимей в виду... Ты лучше адлерский чай хвали, он русский. Краснодарский край, казаки, опора державы... Советую как другу, *Витя*...

С этим и ушел, оставив Абакумова в мрачной задумчивости.

...Домой министр вернулся рано, сказав помощнику, что захворал, мигрень. Велел соединять только с Поскребышевым и членами Политбюро, для всех остальных министров — закрыт.

Дочь уже вернулась. Он предложил ей поиграть в «морской бой»; сражались с увлечением, потом перешли на «крестики-нолики», он поддавался, изображал огорчение, *любимица* хохотала. Потом принесла колоду карт, сразились в «дурака».

Отодвинув руку с картами так, чтобы дочка могла подглядывать, с тоскою думал: «Бедненькая ты моя кровинушка, случись что со мной, тебя такой ужас ждет, такие муки... Зачем я лез вверх, карабкался по проклятой лестнице?! Служил бы себе тихо и незаметно, так нет же, понесло! У нас только тихие выживают... Лишь маленькие да незаметные своей смертью помирают... А как уйти от судьбы? Мы ж все букашки, нас сверху в микроскоп разглядывают... Богдан неспроста этого самого Рюмина попросил... Он ничего просто так не делает, у него всегда коварство на уме... А потребуй я материалы, сразу настучит Лаврентию: «мелочная опека, мешает инициативе, что за недоверие среди *своих*?!» Пойди, объясняйся! Он ведь член Политбюро, а не я... Бедненькая ты моя нежность». Он поднял повлажневшие глаза на дочь: «Пойти бы в церкву, как с бабушкой Леной, покойницей, да и бухнуться на колени, прижаться лбом к *вечным* плитам храма Господня и помолиться

б за нее... Мне-то ничего не страшно, огонь и воду прошел... Да и не отмолю себя, ее б уберечь...»

— Папуль, а ты почему не кроешь? У тебя же козыри есть! Так нечестно!

— И вправду есть, — вздохнул Абакумов, — отобьюсь, сей миг покрою, малышенька...

— Ты мне не поддавайся, я ж не маленькая! Неинтересно играть... А знаешь, меня сегодня училка отчитала...

— Вот проказница... За что?

— Я не смогла ответить, когда было покушение на Владимира Ильича...

Ну, завтра этой суке шею накрутят, подумал он, девочку попусту травмирует; ответил, однако, иначе:

— Такие вещи надо знать, дочура... В Ильича стреляла эсерка Фанни Каплан, космополитского племени, ей Бухарин пистолет в руки дал...

— Вот она б тебе двойку и влепила! — рассмеялась девочка. — Первое покушение на Ленина было в январе, еще в Петрограде! Его тогда какой-то швейцарец спас, собой прикрыл...

— Швейцарец? — Абакумов удивился. — Это кто ж?

— Платтен, — произнесла дочка чуть не по слогам и пошла к роялю: знала, что отец больше всего любил, когда она играла «Полонез» Огинского.

А вроде Платтена этого самого мы расстреляли, подумал Абакумов. Уж не из троцкистов ли? Ну и учителя! Эти такому научат, что потом из детей колом не вышибешь...

Хотел было сразу пойти к себе и позвонить помощнику: пусть проверят учительницу, не контра ли, но, расслабившись, отдался музыке, любуясь стройной фигуркой дочери, грациозно сидевшей возле огромного белого «Бехштейна»...

...В то же самое время три врача-психиатра работали с Александром Исаевым, бывшим офицером военной разведки РККА, кавалером боевых орденов, а ныне зэком и придурком — не в грубо-лагерном, жаргонном смысле, а в настоящем — он сошел с ума во время допросов.

Они уже час сидели с ним в маленькой комнате, оборудованной магнитофонами, и всячески пытались разговорить несчастного. Молодой старик, однако, тупо молчал, глядя куда-то вдаль неподвижными глазами.

Один из врачей, самый старый, Ливин, попросил кол-

лег выйти. Оставшись наедине с зэком, тихонько, дружески, доверительно спросил:

— Санечка, хочешь поговорить с отцом?

Зэк продолжал смотреть *сквозь* доктора, но в глазах его что-то мелькнуло...

Ливин включил магнитофон, зазвучал голос Исаева: «Я хочу получить свидание с сыном...»

Зэк вдруг умиротворенно улыбнулся:

— Папа...

— А ты его позови, Санечка, — так же добро, вкрадчиво продолжал Ливин. — Покричи: «Папа, папочка, папа!» Он тебя услышит... Ты ведь веришь мне?

— Папочка! — после долгого непонимающего молчания вдруг закричал Саня и, чуть отодвинувшись, поглядел на врача. — Папочка! Ты меня слышишь?

— Громче, — не отрывая глаз от зрачков Сани, нажал Ливин. — Кричи, что плохая слышимость... Ты ж не слышишь его? Правда? Пусть говорит громче...

— Па-а-а-апочка! Что ты молчишь?! Говори громче! Почему ты замолчал?!

— А замолчал он потому, что слишком волнуется, — по-прежнему ласково, доверительно объяснил Ливин. — Столько лет не видал сыночка... Крикни, что скоро приедешь к нему... Скажи, что уже выздоровел... Только кричи громче, тогда отец ответит...

...Послушав *настриг* пленки, приготовленный подполковником медицинской службы Ливиным в тот же день, Влодимирский позвонил Комурову:

— Отменная работа! Наложу на голос радиопомехи — получится вполне трогательная беседа.

— Не обольщайся, — ответил Комуров. — Твой подопечный так изощрен, что наверняка проверит придурка подробностью, нам с тобой неведомой... Вот и конец твоей комбинации...

— Ничего подобного! У нас каждая фраза начинается с того, что тот орет: «Папочка, громче, я очень плохо слышу...» А на *проверочном* вопросе папочки мы прервем радиосеанс: «Помехи, попробуем завтра». Состояние у Исаева будет шоковое, *скушает*, поверьте...

— Ты еще не ударил его в лоб вопросом: «Что написал в Библии и передал Валленбергу?»

Влодимирский ответил убежденно:

— Это мой главный козырь. Рано. Давайте послушаем, как они будут беседовать на *даче*, во время прогу-

лок... Они ж не знают, что мы их и в лесу сможем слушать, *шарашки* не зря сливочное масло и кофей с цикорием получают...

Комуров усмехнулся:

— Валяй. Я тебе верю, ответственность на тебе...

Когда Исаев, надрываясь, прокричал в трубку:

— Санюшка, сыночек, любимый, перед вылетом подстригись, как стригся в Кракове... Помнишь?!

В этот момент Сергей Сергеевич остановил пленку с голосом Александра Исаева, а вторую, на которой был записан треск и шум радиопомех, сразу же усилил. По прошествии полуминуты, пока Максим Максимович надрывался: «Алло, Саня, Санечка, сынок, алло, ты слышишь меня?!» — снова сквозь писки и треск радиопомех дал голос сына: «Папочка, говори громче, я ничего не слышу...»

...А потом Аркадий Аркадьевич распекал в присутствии Исаева радистов; те виновато оправдывались:

— Товарищ генерал, но это же Колыма! И так чудом вышли! Радиограмму хоть сейчас передадим и запросим немедленный ответ...

— Чтобы завтра же была связь! — бушевал Аркадий Аркадьевич. — Деньги любите получать, а работать не умеете!

Нервно закурил, прошелся по кабинету, потом словно бы споткнулся:

— Извините, Всеволод Владимирович, не предложил вам. Курите...

Исаев медленно поднял на него глаза:

— Я хочу стакан водки. И отвезите меня на дачу. Валленберга присылайте завтра. И если я сегодня попрошу на вашей даче еще стакан водки, пусть мне дадут. И приготовят хорошую зубную пасту. Или отменный чай. Отбивает запах перегара...

Аркадий Аркадьевич сел рядом с Исаевым, положил ему руку на острое колено и проникновенно, с болью, сказал:

— Спасибо, товарищ полковник... Я не сомневался, что у нас, у большевиков, все так и кончится...

И, вызвав своего лощеного секретаря, *повелел:*

— Бутылку лучшей водки, банку икры и кусок вареной осетрины.

...Воздух был прозрачен и хрупок. Проснувшись, Исаев увидел верхушки сосен, сразу вспомнил тот русский,

затрепанный журнал, что он нашел в оккупированном Париже на книжной набережной Сены; «и так неистовы на синем размахи огненных стволов...».

Поднял голову с мягкой, *топкой* подушки: стволы деревьев были действительно огненными. «Размахи» или «разбеги», — подумал Исаев, — и то и другое слово подходит к *сути*, к этой извечной красоте. Как же им больно, когда их медленно, с перекуром, пилят, боже ты мой!»

Он поднялся. Голова после вчерашней водки кружилась. Спустил худые ноги с выпирающими коленями на коврик, в дверь сразу же постучались. Значит, постоянно смотрит надзиратель, понял он. Вошел, однако, не солдат, а «Макгрегор», Виктор Исаевич Рат.

— Доброе утро, Всеволод Владимирович, как спалось?

— Хорошо спалось, благодарю. Что там со связью? Наладили?

— Информации пока что не поступало. Позавтракаем и после этого позвоним Аркадию Аркадьевичу...

— Валленберга еще не привезли?

— Нет.

— Когда?

— Не знаю. Указаний не получал.

Завтракали на веранде, залитой солнцем. Масло, сыр, два яйца всмятку, кофе; хлеб был двух сортов — черный и серый. («Мы называем «рижский», — пояснил Рат, — самый, по-моему, вкусный, в вашу честь заказал».) Потом послушали последние известия по радио: перевыполнение плана уборки хлеба колхозниками Одесской, Херсонской и Белгородской областей, приветственное письмо вождю всех народов, гениальному зодчему нашего счастья великому Сталину от строителей Днепрогэса, восстающего из руин. Максим Максимович запомнил две подписи — парторга ЦК Дымшица и секретаря обкома Брежнева. Диктор сухо зачитал сообщение о продолжающейся борьбе с вероломством группы театральных критиков-космополитов типа Альтмана и Борщаговского. Закончился выпуск прогнозом погоды: обещали солнце.

— Стакашку не засосете? — поинтересовался Рат.

— Это вы по поводу водки?

— Почему? С утречка хорошо пойдет джин с тоником, здесь все есть, — он усмехнулся, — как в Лондоне. Так что? Устроить оттяжку?

Исаев поинтересовался:

— У вас дедушка есть?

— Умер... Прекрасный был дедушка, Исай Маркович, пусть ему земля будет пухом...

— Неужели он вас не учил: «Проиграл — не отыгрывайся, выпил — не похмеляйся»?

— Он у меня и не пил, и не играл, Всеволод Владимирович. Он с конца прошлого века был в революционной работе... В большевиках он был с начала и до конца, без колебаний...

— Рат? — Исаев удивился. — Я помню многих ветеранов, что-то такой фамилии нет в голове.

— Вы его знаете, — убежденно ответил Рат, — прекрасно знаете, только под другой фамилией... Она общеизвестна.

— Давайте позвоним в Центр, — сказал Исаев. — Как там дела со связью...

— Пошли, — согласился Рат, — телефон рядом.

...Голос Аркадия Аркадьевича был потухший, грустный:

— Возвращайтесь, Всеволод Владимирович, есть новости.

Говоря так, он не лгал: после вчерашнего разговора с ним Комуров встретился с Берия и, доложив ему об успехе в комбинации по делу «Штирлица — Валленберга», сказал, что начинается работа на даче.

Берия поздравил его, просил передать благодарность Влодимирскому, а в конце разговора предложил заехать после работы, вечером: «Надо перекинуться парой слов о *проекте*».

Начав с какого-то малозначительного вопроса и дождавшись того момента, когда Комуров начал отвечать, как всегда многословно и обстоятельно, Берия достал из сейфа красную папку тисненой кожи и положил ее перед Богданом.

Тот на мгновение прервал доклад, вопросительно посмотрев на Берия. Маршал кивнул головой: мол, продолжай.

Дослушав Комурова, сказал:

— Погляди, думаю, пригодится...

«После многочисленных запросов в МИД СССР со стороны шведского правительства, связанных с «исчезновением» во время освобождения Будапешта подданного Швеции некоего Валленберга, товарищ Иосиф Виссарионович Сталин запросил дело Валленберга и пообещал принять посла.

На беседе товарища Иосифа Виссарионовича Сталина

с послом присутствовал замминистра иностранных дел т. Лозовский С. А.

Посол Швеции Содерблом был приглашен в Кремль, однако не для беседы о «деле» Валленберга, ибо такого «дела» нет, оно сфабриковано антисоветской пропагандой, а в связи с окончанием срока аккредитации в Союзе ССР.

Накануне беседы, зная, что Содерблом наверняка передаст послание Короля и премьер-министра Швеции, товарищ Иосиф Виссарионович Сталин затребовал справку по поводу боев за Будапешт и вызвал для беседы маршала Малиновского, который якобы встречался с Валленбергом по просьбе последнего в Дебрецене.

Действительно, во время протокольной беседы, после того как посол Швеции выразил благодарность Генералиссимусу Сталину за выдающуюся роль Советского Союза в победе над нацизмом и фашизмом и попросил передать сердечную признательность коллегам из Министерства иностранных дел, он перешел к вопросу о Валленберге.

Сначала посол коснулся вопроса о том, что, когда в Стокгольме в октябре 1944 года узнали о приходе в Будапеште к власти нациста Салаши и изучили первую официальную декларацию нового лидера, в которой он, в частности, призывал к тотальному противостоянию большевизму и немедленному истреблению евреев в Венгрии, Его Величество Король Швеции отправил телеграмму регенту адмиралу Хорти, в которой заявил протест по поводу официального заявления г-на Салаши, объявив его «неприемлемым» и «противным духу гуманизма и цивилизации».

Именно в это время в Венгрии работал шведский дипломат, секретарь посольства Рауль Валленберг, успевший к тому времени спасти тридцать тысяч евреев от уничтожения. Посол отметил выдающуюся роль Валленберга, его беззаветное мужество и абсолютную честность. Валленберг, продолжил посол, проделал немыслимое: он со дня на день отодвигал исполнение приказа Гитлера о тотальном уничтожении всех несчастных. «Валленберг...» — хотел продолжить посол, но был прерван товарищем Иосифом Виссарионовичем Сталиным, который сострадающе попросил произнести фамилию шведского дипломата по буквам, что и сделал немедленно советник-посланник Швеции г-н Баркхольст.

Товарищ Иосиф Виссарионович Сталин записал крупными буквами фамилию Валленберга.

Посол продолжил свой рассказ о том, как Валленберг отправился из Будапешта в Дебрецен на встречу с представителями Красной Армии и, выезжая из города, на улицах которого шли бои, встретил русских солдат и спросил их о том, каким путем лучше добраться до штаба. После этого он исчез.

— Он ехал на вашей машине? Под флагом Швеции? — спросил товарищ Иосиф Виссарионович Сталин.

Посол ответил в том смысле, что он ехал именно на шведской машине. Товарищ Иосиф Виссарионович Сталин поинтересовался, известно ли господину послу, что советской авиации был отдан приказ ни в коем случае не атаковать машины под шведским флагом. Посол ответил, что он прекрасно помнит этот приказ и благодарен за него Генералиссимусу Сталину. Товарищ Иосиф Виссарионович Сталин ответил, что благодарить надо не его, а Молотова с Вышинским. «Я убежден, — заявил посол, — что советская авиация не нападала на шведский автомобиль, такая возможность исключается нами».

Обратившись к т. Лозовскому, товарищ Иосиф Виссарионович Сталин указал: «Надо посмотреть, был ли такой же приказ у немцев и салашистов?»

Затем товарищ Иосиф Виссарионович Сталин задал вопрос шведскому послу: «Какое объяснение происшедшему печальному инциденту было дано советской стороной?»

Посол ответил, что никакого ответа получено не было, хотя в сорок пятом году посол СССР в Швеции г-жа Коллонтай и заместитель министра иностранных дел г-н Деканозов заявили, что Валленберг находится под протекцией войск Красной Армии...

Товарищ Иосиф Виссарионович Сталин прервал беседу словами, в которых содержалось обещание предпринять все возможное для изучения вопроса, поднятого шведской стороной.

Запись беседы сделана Павловым».

— Ясно? — вздохнув, спросил Берия. — То-то... У меня все время это в памяти шевелилось... Неспокойно было на душе. Я-то был в отъезде, когда произошла эта беседа, товарищу Сталину готовил ответ Деканозов, но материал не удовлетворил товарища Сталина, он попросил обдумать все еще раз, но больше к этому вопросу почему-то не возвращался... Едем, поужинаем на Качалова, мне сегодня сидеть часов до трех..

В машине задумчиво продолжил:

— Но самое любопытное заключается в том, что спус-

тя четыре дня после этой беседы в Кремле член Политбюро Венгерской компартии Ласло Райк устроил гала-концерт в «память о герое Рауле Валленберге»... И знаешь, с кем он советовался по этому вопросу по линии МИДа?

— Представить не могу, Лаврентий Павлович...

— И я не мог. С Соломоном Абрамовичем, нашим другом Лозовским... Понимаешь, куда я клоню?

— Нет, — откровенно признался Комуров. — Ваша мысль, Лаврентий Павлович, всегда так неожиданна, изящна, всеохватна, что я не в силах предугадать *поворот*...

— Не люблю комплиментов, — отрезал Берия, выслушав, впрочем, их до конца. — Мысль как мысль, нормальная мысль... Поскольку страна в изоляции, поскольку нам нужны контактные *зоны*, товарищ Сталин может перерешить: вместо процесса над агентом гестапо Валленбергом он прикажет *разыскать* его и *подарит* Стокгольму. Объяснение? У нас шведский никто не понимает, нет переводчиков, не уразумели, кто такой, думали, мол, фашист маскируется. Тогда что?

— Тогда плохо. Ведь его сильно *жали*...

— Так вот, пусть с ним этот ваш Штирлиц поработает в камере, ублажит, если, как ты мне сказал, ваш «гранит» согласился на сотрудничество. Нам нужна правда, понимаешь? Полная правда!

...Вернувшись от Берия к себе, Комуров работу на *даче* отменил: пусть Исаев начинает «разминать» Валленберга в камере. Тот теперь на допросах молчал, требовал свидания со своими шведами и матерью... Пусть этот самый Штирлиц поможет нам узнать всю правду, а там решим, что делать.

Влодимирский ответил:

— Но ведь Исаев сразу предупредил Валленберга, товарищ генерал: «О делах не говорить». Он этим вполне ясно разъяснил шведу, что камера «на подслухе»... Мы можем узнать правду только на *даче*.

Комуров поднял на Влодимирского глаза:

— Приказ поняли?

— Так точно, товарищ генерал.

— Вот и исполняйте...

...Аркадий Аркадьевич встретил Исаева у двери, передал две радиограммы от сына: «Бушуют ветра,

постригусь, как ты велел, обещали восстановить связь в ближайшие дни». Во второй, более развернутой, просил поцеловать маму, благодарил за то, что отец устроил ее в такой прекрасный санаторий, и просил срочно выслать, если, конечно, это не очень трудно, набор американских витаминов.

Аркадий Аркадьевич кивнул на три коробки американских витаминов, лежавшие на столе:

— С утра этим занимался.

Исаев поинтересовался:

— А как же вы ему это доставите? Там же самолет сесть не может.

Аркадий Аркадьевич искренне изумился:

— Так ведь грузы-то мы туда парашютами сбрасываем!

Потом еще более потускнел лицом, досадливо махнул рукой:

— Все не верите? Ловушки ставите?

— Теперь не ставлю, — ответил Исаев. — Ответ логичен.

Аркадий Аркадьевич протянул ему конверт:

— Сашенькино письмо и фотография.

Исаев прочитал письмо несколько раз, вглядываясь в каждую строчку, кадык несколько раз *ерзанул* в горле, однако лицо было непроницаемым.

— Спасибо.

Аркадий Аркадьевич походил по кабинету и, подняв глаза на отдушины, многозначительно посмотрел на Исаева.

Тот едва заметно кивнул: если здесь все снимают, то зрителю показалось бы, что он всего лишь устало опустил голову.

— Всеволод Владимирович, я посоветовался с товарищами, и мы пришли к выводу, что Валленберга нельзя везти на дачу...

— В камере он говорить не станет... Вы же фиксируете наши с ним собеседования... Я с самого начала предупредил его, чтобы он не затевал разговоров о деле... Это ваша вина: удовлетвори вы мои требования, все могло сложиться иначе...

— Я думаю, — после долгой паузы ответил Влодимирский, мучительно сдерживая себя, чтобы не хлестануть этого гада по морде и не спросить, что он писал шведу на Библии, — делу можно помочь... Но это... Мне даже страшно говорить... Это обяжет вас к страданиям...

— Считаете, что сейчас я благоденствую?

— Работаете, — сухо отрезал Аркадий Аркадьевич.— Вы на службе, Всеволод Владимирович. Вы под погонами... Так вот, если мы вернем вас после двухдневного отсутствия в камеру, то вернем в наручниках... А сейчас выпьете таблетку брома, чтобы сразу свалиться на койку... Вас поднимут... Вы снова свалитесь, вам прикажут встать, но вы не сможете, тогда вам объявят карцер... Поспите в другой камере, хоть сутки... Потом снова наденут наручники и приведут к Валленбергу. И вы исповедуетесь ему, потому что, скажете вы, вполне возможно, что вас расстреляют, а вы хотите, чтобы правда о вашей жизни осталась в памяти хотя бы одного человека...

— И я расскажу ему о себе всю правду?

— Именно.

— Он спросит: отчего вы мне не верите? — Исаев пожал плечами. — А если верите, то отчего держите в *браслетах* и хотите расстрелять? В голове нормального человека такое не укладывается...

— Во-первых, мы вам верим, Всеволод Владимирович, и вы это поняли. Во-вторых, именно потому, что мы вам *якобы* не верим, он вам поверит. И раскроется.

18

— Ложь рождает ложь, — задумчиво заметил Валленберг и поменял тряпку с холодной водой на распухших оладьях-кистях Исаева. — Я не сказал здешним следователям ни единого слова лжи и чем больше убеждал их в том, что говорю правду, тем меньше они верили мне... Особенно в связи с «Джойнт Дистрибьюшн Комити»...

— Почему?

— Не знаю. Они все время требовали открыть агентуру «Джойнта» в Восточной Европе... Я не понимал их поначалу, путался, вы ж знаете, сколько в Англии и Америке этих самых «джойнтов»?! Что ни комитет, то непременно «джойнт» — «объединенный»... Я им говорил, что в Штатах было только одно сокращение, понятное всем: «Борд»...

— Я не знаю этого сокращения, — признался Исаев.

— Видимо, запамятовали, — ответил Валленберг, и Исаев лишний раз подивился его такту. Только верь

мне, дружище, только верь, я знаю, что сделаю на процессе — «постригись, как в Кракове»; никогда мы с Санькой об этом не говорили, а прервали нас именно на этом моем вопросе, они смонтировали пленку — это ясно. Что ж, им за это коварство и отвечать... И в письме Сашеньки есть строки Гумилева, она их не зря вставила. Я говорил ей во Владивостоке, что этот поэт несет в себе постоянное ощущение тревоги и неверия в реальность происходящего.

— Вы просто запамятовали, — повторил Валленберг, нахмурившись, словно бы перед принятием трудного решения. — Первым забил тревогу о тотальном уничтожении всех евреев, живущих в Европе, британский министр Антони Иден в своем выступлении в палате общин, что равнозначно обращению ко всей империи... Но при этом британцы играли, не желая пускать евреев в Палестину: «возможны трения с арабами». Везде и всюду «разделяй и властвуй», как горько это, как постоянно... Вы знаете, что Лондон предложил Рузвельту провести совещание о гитлеровском геноциде евреев? И что тот поначалу отказался?

— Не знал. РСХА такими сведениями не располагало...

— Британские службы умеют хранить свои тайны, — сказал Валленберг, и Исаев сразу же отметил всю опасность этой его фразы: начнут мотать, откуда ему это известно... Пусть не гестаповский шпион, а британский — все одно сойдет...

— Дальше, — требовательно перебил Валленберга Максим Максимович.

Тот удивленно пожал плечами: мол, что я сказал неосторожного? И продолжил:

— Так вот, Рузвельт медлил... Почему? Для меня это до сих пор загадка. Только после того, как стало известно, что гитлеровцы сжигают пятнадцать тысяч евреев ежедневно, Белый дом дрогнул и государственный департамент создал «Комитет помощи беженцам войны». И этот-то «Уор рефьюджи борд» передал из своего бюджета миллион долларов организации, распределявшей талоны на еду и жилье среди бежавших от Гитлера евреев: здесь ее называют «Джойнт», мы называли «Объединенный распределительный комитет»... Мою кандидатуру, — мол, готов помочь спасению несчастных, — предложил представитель «Борд» в Швеции — ведь из-за состояния войны Америка не могла послать в Венгрию своего человека, чтобы заступиться за евреев, обречен-

ных на уничтожение. В Стокгольме все знали, что я отказался заниматься банковскими операциями, хоть и преуспел в Палестине еще до войны. Банкир — профессия циников, право, — Валленберг вздохнул. — Из Южной Африки — я там тоже разворачивал дела нашего банка «Энскилд» — дедушке прислали письмо, что, мол, я талантлив и все такое прочее, прекрасный организатор, но для настоящего банкира слишком уж большой фантазер... Словом, «Борд» депонировал в нашем семейном банке «Энскилд» семь миллионов долларов для спасения венгерских евреев, которых Гитлер, чувствуя приближение краха, приказал уничтожить. Шло лето сорок четвертого, Красная Армия наступает, союзники высадились в Европе, финал войны, конец нацизма...

— Гитлер не считал войну проигранной даже в марте сорок пятого, — возразил Исаев. — Он же был фанатиком.

— Я тоже был фанатиком, когда спасал евреев от сожжения...

— Вы не были фанатиком. Вы просто исполняли свой человеческий долг... Фанатизм Гитлера шел не от идеи, а от паранойи и самовлюбленности... Ну, дальше?

— А дальше я приехал в Будапешт... Это было девятого июля сорок четвертого... Приехал как секретарь шведского посольства по гуманитарным вопросам. И как раз в это же время там начал разворачивать свою активность оберштурмбанфюрер СС Эйхман. Я хотел спасти евреев, а он хотел сжечь их в Освенциме... Как солому... Сотни тысяч... С детьми, с беременными женщинами... Я купил — доллары-то у меня были — множество домов в Будапеште, таким образом, в венгерской столице появилась шведская недвижимость — попробуй прикоснись к собственности нейтральной державы! А потом я начал выдавать евреям шведские паспорта... Вы не представляете себе, что творилось в шведской миссии и у меня, на улице Минервы, где я открыл свой отдел! Десятки тысяч несчастных осаждали мои двери, ужас, ужас! У меня до сих пор в ушах этот страшный вопль тысяч людей... Я был наивным идиотом, вы даже не представляете, сколь наивен я был, когда собрал совещание представителей министерства внутренних дел Венгрии, нацистов и руководителей еврейской общины... Эйхман требовал немедленной депортации, а я уповал на здравый смысл... Но я знал от венгров, что адмирал Хорти наконец понял: война проиграна... Более того, шеф будапештской жандармерии

Ференци сказал мне: «Валленберг, я восхищен вашей идеей со шведскими паспортами и охранными письмами для евреев... Думаю, Хорти согласится признать этот шаг вашего правительства правомочным...» Он же потом и шепнул мне: «Хорти отправил своих людей в Москву на другой день после того, как Румыния повернулась к русским и объявила войну Гитлеру и нам... Он готов подписать мир, но этот мир должен быть *почетным*, иначе нация не примет его...» И началась политическая игра в *постепенность*: пока люди Хорти пробирались в Москву, адмирал сменил своего премьера. В кресло сел Геза Лакатош, либерал, но в первой же речи заверил всех, что Венгрия будет продолжать борьбу против русского большевизма и американского еврейства... А тогда нельзя уже было играть... Надо уметь вовремя действовать: утрата времени невосполнима, особенно в политике.

Исаев мягко улыбнулся:

— И в любви.

Валленберг, тяжко вздохнув, повторил:

— И в любви. Верно... Так вот, немцы что-то поняли, и в Будапешт...

Исаев кивнул:

— Дальше я знаю: в Будапешт приехал мой старый добрый друг, посол по особым поручениям фон Риббентропа, вечно молодой Эдмонд Веезенмайер...

— Откуда вы его знаете? — вновь насторожился Валленберг. Порою он делался похожим на оленя: замирал и немигающе глядел прямо перед собою.

— Я вместе с ним готовил вторжение нацистов в Югославию, *Рауль*, — ответил Исаев. — Кстати, по-русски меня зовут Максим... Или, если хотите, Всеволод...

Валленберг, не отрывая глаз от лица Исаева, ответил:

— Максим легче... Вы готовили вместе с этим мерзавцем оккупацию Югославии?!

— Такова была моя официальная миссия... Я прожил среди мерзавцев немало лет, Рауль. Я тогда бомбардировал Москву шифровками, что вторжение вот-вот начнется... Льщу себя надеждой, что эти мои сообщения в чем-то подтолкнули Москву заключить договор с югославами в ночь перед началом гитлеровского вторжения...

— А кто подтолкнул Москву отречься от этого договора спустя пять дней после разгрома Югославии? — жестко спросил Валленберг.

Опасаясь, что тот будет продолжать свои рискованные «подставные» вопросы, Исаев вновь взял огонь на себя:

— Сталин делал все, чтобы отдалить начало войны...

— Он бы отдалил начало войны, подписав договор с Черчиллем, который сражался против Гитлера, — отрезал Валленберг.

— Погодите, Рауль, — снова перебил его Исаев. — Вернемся к Веезенмайеру: его профессия была подготавливать вторжение... Я помню, что он мотивировал ввод гитлеровских танков и дивизий СС необходимостью защиты южного фланга обороны рейха... Как вам удавалось тогда работать? Эйхман ведь стал не «представителем дружественной страны», а обычным оккупантом...

Валленберг отрицательно покачал головой:

— В полной мере он стал оккупантом в середине сентября, когда гестапо получило неопровержимые данные, что Хорти начал переговоры о мире. Тогда его оттерли, и пришел сумасшедший Салаши... Еще более ярый антисемит, чем Гитлер, хотя был выходцем из армянской семьи... Откуда в нем это? Эйхман подписал секретный протокол с министром полиции Салаши, совершенно безумным Габором Вайна о том, что часть евреев депортируют в Германию на принудительные работы, часть поселят в центре Будапешта, в гетто, и что наши паспорта теряют свою силу... Только немцы вправе определять: выпустить еврея со шведским паспортом за границу или сжечь в крематории. Кое-как мне удалось отменить расстрел несчастных в гетто и депортацию на принудительные работы в Германию — это же был камуфляж крематориев... Салаши согласился создать «еврейские батальоны принудительного труда»: людей бросили на восток рыть окопы и строить укрепления против той армии, которая шла их освобождать... Расстреливали тех, кто плохо работал, дурно выглядел, не так шел в колонне; салашисты — это звери, те же гитлеровцы... А в ноябре, когда уже все трещало и русские вовсю наступали, меня пригласил Эйхман в свою штаб-квартиру в отеле «Мажестик»... Дверь его громадного люкса заперли, и он стал допрашивать меня, зачем я работал в Палестине в тридцать седьмом. Почему мой дядя выступает против великого фюрера германской нации, друга всех народов мира, защитника цивилизации от большевизма? Почему Рузвельт платит мне деньги? Какие американцы встречались со мною? Русские? Кто напечатал мне тысячи проклятых валленберговских паспортов? В каких типогра-

фиях? Он, кстати, — Валленберг прерывисто вздохнул, — не говорил о «Борде», он только и трещал о шпионах из еврейского «Джойнта»... А потом сказал: «Всех евреев с вашими паспортами мы депортируем в Данию». И засмеялся. Причем смеялся искренне, глядя на меня как победитель, свалivший противника по боксу в нокаут. Я же понимал, что Дания — это фикция, там лагерей нет, несчастных расстреляют по дороге, как только вывезут из города... У меня были секунды на раздумье... Знаете, что я придумал? Я сказал ему: «Пусть отопрут дверь, я пошлю шофера за бутылкой виски и блоком сигарет... После этого продолжим наше собеседование...» Эйхман долго сидел не двигаясь, потом обернулся и заорал так, как умеют орать лишь одни немцы: «Открыть дверь!» И все то время, пока мой шофер ездил за виски, Эйхман ходил по кабинету и насвистывал мотив еврейской песенки, представляете? Он, Эйхман, — и еврейский мотив?!

— Сколько времени он свистел? — Исаев задал этот вопрос строго, без обычной своей мягкой улыбки.

Лицо Валленберга внезапно замерло и осунулось:

— Этот же вопрос мне задавали все здешние следователи... Даже делали следственный эксперимент...

— Уверяю вас, так бы поступило и Федеральное бюро расследований...

— А я говорю, что он ходил и свистел! — вскочив с нар, тонко закричал Валленберг. — Он свистел и ходил! Как заводной! Вы ведь жили там, по вашим словам! Тогда вы знаете, что со жратвой у них было плохо! А с сигаретами — и вовсе! У них не было сигарет! Не было! Они травили свой народ каким-то смрадом, гнилым сеном! А я еще сказал шоферу, чтобы он взял банку ветчины и круг сыра! Эйхман ждал еду, понятно вам?! Эта тварь хотела жрать!

Спецпайки давали начиная с штандартенфюрера СС, вспомнил Исаев, да и то далеко не всем. Эйхман был ниже меня званием, хотя руководил отделом по уничтожению евреев. Валленберг прав, жрать хотели все...

— И что случилось, когда вы дали ему *взятку*? — подтолкнул Исаев. — Как он себя повел?

— Он напился, крепко напился, — сразу же успокоился Валленберг, обрадованный, видимо, тем, что ему поверили наконец. — И сказал, что я ему нравлюсь... А потом изогнулся надо мною, как строительный кран, я чувствовал его запах, запах гнилых зубов, плохо стиранного белья, плесени, и произнес: «Я так хорошо отношусь

к вам, милый Валленберг, что готов помочь... Это бесценная помощь, ее будут ставить вам в заслугу те евреи, которые чудом уцелеют от правого суда фюрера... Если вы переведете на мой счет сто пятьдесят тысяч золотых швейцарских франков, я позволю вам вывезти отсюда маленький эшелончик евреев с вашими валленберговскими паспортами... А там — поглядим... Как? Ничего, а?»

С того дня меня повсюду сопровождал офицер тайной полиции Салаши — «для обеспечения безопасности»: «Венгры вас ненавидят за помощь евреям, могут пристрелить ненароком». Я встретился с Эйхманом еще раз, во время разгула салашистского кошмара, когда работать мне становилось все страшнее и страшнее: гитлеровцы и салашисты, будучи не в силах сдержать натиск русских, обрушивали свою ненависть на несчастных евреев, словно те были виноваты в их поражении. Вот тогда-то Эйхман и сказал мне: «Согласитесь, что лишь один я помогал вам спасти евреев... Был бы кто другой на моем месте, вам бы ничего не удалось сделать... Если вы честный человек, то скажете будущим поколениям: «Евреев спасал Эйхман»...» А на следующий день началась резня в гетто... По его приказу... Ну а потом... Потом, когда вошли русские, я хватал мерзавцев Салаши, которые учинили расстрел в гетто, встречал красноармейцев. Был допрошен офицером НКВД, — он усмехнулся, — евреем... Очень, кстати, старался, звал к чистосердечному признанию... Какому, я до сих пор не пойму... Но меня освободили наутро... Отвезли к какому-то комиссару, сказали, что он во главе армии, то ли Вризнефф, то ли Бризнефф, тот расспрашивал меня о ситуации, сказал, что надо ехать к маршалу Малиновскому, в штаб фронта, в Дебрецен... Я ответил, что сначала надо посетить гетто, помочь тем, кто остался в живых после расправы... Убили сто тысяч, эсэсовцы и салашисты старались как могли. Осталось в живых семьдесят тысяч — люди без глаз, без лиц, парализованные страхом... Это те, кого мне удалось спасти... Я вновь вернулся в штаб русских и сказал, что сейчас объеду друзей, которые остались в живых, и после этого передам все деньги «Борд» в фонд немедленного восстановления Будапешта... Города ведь не было — стены, руины, пожарища. Я назвал мою организацию «Институтом Валленберга по восстановлению»... С этим я и отправился в штаб, передав все деньги для начала восстановительных работ... А меня схватили... Сначала обвиняли в том, что я немецкий шпион, потом — английский,

а сейчас требуют признания, что я агент этого самого «Джойнта», а я с их людьми и не встречался ни разу... Нет, вру... Встречался...

— Погодите-ка, — перебил его Исаев, но Валленберг словно и не слышал его.

— Я встречался, — с какой-то злобой, думая о своем, чеканил он, — с Альбертом Энштейном, Фейхтвангером и Иегуди Менухиным, они были почетными членами «распределительного комитета», «Джойнта»... Когда я учился в Мичигане на архитектора, я слушал Менухина... Три раза... Баснословно дорогие билеты на его концерты, но я покупал...

Исаев облегченно вздохнул: Валленберга не *понесло*.

— Что, у банкирского сына туго с деньгами?

— Банкирские родители самые что ни на есть скупердяи, — ответил Валленберг, — я рассчитывал каждый цент на месяц вперед, чтобы не одалживать у друзей...

19

Александр Максимович Исаев, которого по правде-то должны были записать в метриках Александром Всеволодовичем Владимировым (не знала Сашенька истинного имени любимого, тот выполнял приказ, жил по *легенде*), после того как услышал голос отца (шальной случай свел их лицом к лицу в Кракове, в сорок четвертом, до этого он только грезил о нем, разглядывал единственную сохранившуюся у матери фотографию), когда доктор уговаривал его кричать все громче и громче: «Сейчас твой отец придет, ты ж слышал его? Он ведь звал тебя, правда?!», после того как действительно он услышал голос отца, усиленный динамиками, в ответ на свои бесконечные «папа, папочка, папа, ты слышишь меня, папочка?!», медперсонал зафиксировал странное изменение в поведении больного зэка.

Долгие годы он пребывал в полнейшей апатии, по зарешеченной палате двигался робот. Теперь же глаза Александра Исаева обрели некоторую подвижность; он, например, стал реагировать на яркие закаты. Более того, впервые за все годы заключения сам, без чьей-либо просьбы произнес слово «солнышко».

Узнав об этом, доктор Ливин вызвал к себе пациента, считавшегося безнадежным, сел напротив него, положил тоненькую девичью ладонь на колено бывшего капитана армейской разведки РККА, а ныне зэка, приговоренного к двадцати пяти годам лагерей, зэка 187-98/пн, и, при-

близившись к нему, впился в зрачки больного своими базедовыми глазами, увеличенными толстыми линзами очков.

— Санечка, а зыркалки-то у тебя получшали, — заговорил он ласково, чуть недоумевающе, но одновременно с какой-то долей радости. — Они ведь, зрачоченьки твои, Санечка, стали реагировать на... Хм, вот что значит с родителем поговорить, а?! Ну-ка, скажи, что ты вчера вечером в окне видел?

Зрачки Александра Исаева расширились, лицо свело резкой, странной гримасой то ли смеха, то ли ужаса, — и он тихо ответил:

— Одуван...

Доктор Ливин, не снимая ладони с его колена и не отрывая взгляда от зрачка, придвинулся еще ближе:

— Что, что? Я не понял, Сашуля, повтори-ка еще раз...

— Фу-фу, — показал зэк губами, а потом выпалил, — и детишки полетели, полетели, беленькие, с ножонками, легонькие...

Доктор резко откинулся на спинку стула. Александр, выработавший во время пыток рефлекс страха на быстрые и неожиданные движения, схватившись за голову, вскочил. Однако на этот раз он испугался не того, что его могут ударить, а потому, что явственно увидел фразу, которую произнес. Она жила не отдельно от него, не в таинственной его глубине, забиваемая сотнями других странных, бессильных, ищущих друг друга разноинтонационных *звучаний*, как это было последние годы, а вполне реально: вот он, одуванчик, дунь на него весною, и, как говорила мама, одуванчиковы детишки полетят по лесу.

Доктор Ливин подошел к Александру, обняв его, вернул к столу, мягко усадил, погладил по голове, привычно ощутив глубокие шрамы и мягкие *податливости* черепа; заговорщически подмигнул:

— А как же звали папу детишек?

Александр Исаев долго молчал, страшась чего-то, а потом прошептал:

— Не скажу.

— Почему? — обиженно удивился доктор Ливин.

— А все равно детишки уж разлетелись на парашютиках, — Александр Исаев тихо улыбнулся. — Не поймать...

— Какие детишки? — по-прежнему мягко поинтересовался Ливин. — Разве у тебя братья были? Сестры?

— Были...

— Ну-ка, позови их, — предложил доктор, — я их сейчас к тебе привезу.

— Улетели... Не догнать теперь...

— Да кто улетел?! — Ливин начал терять терпение: «Старею, раньше мог беседовать с несчастными идиотами, стараясь понять ломаную, но тем не менее таинственно-логичную *линию* трагической аномалии».

— Детишки, — повторил Александр. — Мягонькие, пушистенькие, никого не обидят, зла не принесут...

— А дуешь ты почему?! Разве на детишек дуют?

— На одуванных — да...

Ливин наконец понял:

— Так это ты про одуванчик?

Тот покачал головой:

— Вы ж про солнце спрашивали... А я про одуванчик сам думал... Без вас... Один...

С того дня Ливин перевел Александра Исаева в отдельную тихую палату, прописал ему курс новой терапии и сегментальные массажи, добился у начальства двухчасовой прогулки — зэк *ложился* в его докторскую диссертацию «Роль шока в психике больного, перенесшего тяжелую травму черепа».

Он работал каждый день, часа по три; Александр постепенно начал хмуриться — явный симптом возвращения памяти или обостренной реакции на вопрос.

Речь его становилась менее загадочной — поначалу была потаенной, тройной смысл в каждой фразе.

...Ливин помолодел, научное счастье само шло в руки.

И в тот как раз день, когда намеревался начать заключительные программы, его вызвал начальник спецтюрьмы:

— Как Исаев? Вы с ним, говорят, много возитесь?

Поскольку начальник был обыкновенным тюремщиком, к науке не имел никакого отношения, на ученых смотрел с открытым юмором, не лишенным, впрочем, доброжелательства, Ливин рассказал ему про работу.

— Ну и хорошо, — ответил тот, внимательно выслушав доктора. — Завтра комиссия приезжает... Ему, оказывается, вышку дали, а полных придурков не шлепают... Так что вы уж порадейте, чтоб он, понимаете, показался нашим гостям более или менее нормальным.

— Я умоляю вас, — Ливин прижал свои девичьи

руки к старческой груди, — я вас умоляю, Роман Евгеньевич! Этого зэка нужно спасти! Я работаю с ним во имя науки! Нашей, русской науки! Он может опрокинуть всю диагностику, которая была раньше! Молю вас, Роман Евгеньевич!

— Товарищ военврач, — сухо отрезал начальник, — вы мое приказание слышали? Слышали. Извольте исполнять... Советский народ, понимаете, строитель коммунизма, терпит нужду, еще не всюду живут так, как мы того хотим, а нам, понимаете, с придурочными контриками цацкаться, которые пищу рабочего класса жрут?!

...Дождавшись, когда персонал ушел по домам и остались одни лишь надзиратели, Ливин заглянул в камеру Александра Исаева:

— Санечка, завтра к тебе приедут разные люди, — прошептал он. — Будут спрашивать тебя... Так ты молчи, Санечка, ладно? Ты молчи! Молчи, как раньше! К тебе плохие люди придут, ты им не верь, на вопросы не отвечай, понял меня, сынок?

— Я не твой сынок, — так же тихо ответил Александр Исаев, — у меня папочка есть, он красивый и очков не носит...

Доктора Ливина арестовали на рассвете — камера Исаева-младшего прослушивалась.

...Члены комиссии, прибывшие утром, внимательно ознакомились с историей болезни зэка 187-98/пн, затем вызвали Александра Исаева в комнату, залитую солнцем, предложили сесть; он, глядя на них непонимающим взглядом, стоял молча.

— Санечка, вы ведь уж и говорить начали, — копируя манеру арестованного Ливина, ласково начал старший комиссии. — Ну-ка, расскажите и нам что-нибудь интересненькое...

Александр Исаев стоял неподвижно, стараясь удержать в себе не столько шепот Ливина, сколько его молящие глаза, в которых ему почудились капельки, — кап-кап, кап-кап, дождик, лей, грибочки, растите скорей... Лизанька... Это в пионерлагере пела Лизанька...

— Ну, Санечка, мы ждем, — по-прежнему ласково и неторопливо продолжал председатель комиссии. — Мы ведь хотим выписать тебя... Отпустить домой... К родителям, если твое дело действительно пошло на

поправку... Доктор Ливин считает, что ты уж совсем поправился...

Александр Исаев по-прежнему стоял неподвижно, смотрел сквозь этих людей, ворошивших какие-то бумаги, и не произносил ни единого слова.

Тогда председатель комиссии, довольно молодой военный врач, осторожно, с долей брезгливости, повернул черный рычажок под столом — терпеть не мог отечественной техники, непременно подведет в самый важный момент.

В комнате послышалось завывание ветра, далекий треск морзянки, чьи-то размытые слова, набегавшие друг на друга.

А потом, прорываясь сквозь эту далекую пургу, явственно прозвучал голос Максима Максимовича Исаева:

— Сыночек, ты слышишь меня?!

И Александр Исаев, сделав шаг навстречу, закричал:

— Папочка, миленький, слышу! Слышу тебя, родной! Мне уже совсем хорошо! Я почти все вспомнил, папочка! Где ты?! Папочка?! Отвечай же! Хочешь, я еще громче закричу? Ты слышишь меня?!

Военврач выключил магнитофон и кивнул надзирателям: «Можете уводить».

— А папа? — по-детски пронзительно закричал Саня. — Папочка! Я же здесь! Почему ты замолчал?! Я здоров, папочка! Я помню! Я вспоминаю, папа!

...Александра Исаева признали вменяемым и увезли в другую тюрьму.

Когда трем исполнителям показали его — один из них должен был во время конвоирования по коридору выстрелить осужденному в затылок, — самый рослый из них сделался вдруг белым как полотно:

— Так это ж наш капитан! Это Коля! Он нам в Праге жизнь спас! Товарищи, он наш! Он наш! Это ошибка, товарищи!

— Ты на одуванчик подуй, — тихо сказал Исаев-младший, — детишки по миру разлетятся. — А потом улыбнулся загадочно: — Мне в спину нельзя... Мне в голову надо, она у меня болит, а спина здоровенькая...

...*Исполнитель* Гаврюшкин был расстрелян через семь дней; провел пять суток без сна на конвейере: «Кто рекомендовал пролезть в органы? С кем снюхался в Праге в мае сорок пятого?!»

...Начальник команды получил строгача с занесением.

Заместитель начальника отдела кадров отделался выговором без занесения в учетную карточку.

Начальнику тюрьмы было поставлено на вид.

20

Влодимирский чувствовал, что *наверху* происходит нечто странное, непонятное ему, какое-то дерганье и суета, начинавшаяся вдруг и столь же неожиданно кончавшаяся.

Разгадывать политические ребусы — работа, непосильная для обычного человека, хотя и с полковничьими погонами, да еще при полнейшем расположении начальства: как абакумовского, так и комуровского (считай, бериевского). Именно это последнее — благорасположение с *двух* сторон — держало его в состоянии постоянной напряженности, не оставляя времени исследовать то, что так беззвучно и незаметно, но давно и грозно ворочалось в Кремле: мимо него не проходили ни разговоры о семье Молотова — странные разговоры, тревожные; ни намеки на то, что Сталин перестал принимать члена Политбюро Андрея Андреевича Андреева, который в свое время тесно сотрудничал с Дзержинским; прервал отношения с Ворошиловым; постоянно — так было в тридцать шестом, рассказывали старожилы, — вызывает Вышинского; явно приблизил Абакумова; Берия принимает реже, чем Виктора; маршал по этому поводу сухо заметил: «Зарвался».

Он несколько растерялся после недавнего разговора с Комуровым потому еще, что тот поинтересовался: «Ты твердо убежден, что Исаев не гонит липу по поводу его рукописи, хранящейся в банке?»

Значит, и это навесили на него: если Исаев не лжет, удар придется именно по Лаврентию Павловичу — бить есть по чему: именно тот приказал Шандору Радо после заключения договора о дружбе с Гитлером не проявлять активности; именно он запретил Шандору привлекать к работе Рёслера, человека, имевшего прямую связь со штаб-квартирой фюрера, — «провокатор и английский шпион». Именно он же, Берия, в панике, в шесть утра двадцать второго июня, когда началась война, подписал

шифровку Радо: «Платите Рёслеру любые деньги, только б работал!» И презрительный ответ Шандора: «Рёслер работает не из-за денег, он не осведомитель, а борец против нацизма». А расстрел всех наших нелегалов, внедренных в Германию? Прекращение разведработы против гитлеровцев? Неважно, что приказал Сталин, — подписал-то Берия... А дело Кривицкого? Исаев вполне мог с ним встречаться, а тот знал все о процессах тридцатых годов... В Испании он виделся с Орловым — исчез, голубь, а работал в Центре, для него тайн нет... С Леопольдом Треппером, «Большим шефом», контачил... С Сыроежкиным дружил, с Антоновым-Овсеенко... На кой черт Берия уступил кресло Абакумову?! Сам ведь ушел, никто не принуждал... Ах люди, люди, порождение крокодилов... Неужели нельзя жить дружбой? Открыто? Нараспашку?! Одно ведь делаем дело!

Дело? *Дела,* усмехнулся Влодимирский; ставим спектакли в угоду директору театра...

Хорошо, допустим, я ввожу в комбинацию с Валленбергом и Исаевым моего Рата, сулю ему вторую звезду на погон и боевой орден... Но ведь Сталин дал честное слово Каменеву и Зиновьеву, что их не расстреляют, и дал его в присутствии Ворошилова, Ежова, Ягоды, Миронова... Ведь именно после этого у чекистов гора с плеч свалилась: никаких расстрелов не будет, речь идет лишь о политическом уничтожении троцкизма, кровь ветеранов большевистской партии не прольется... А ветеранов партии расстреляли через полчаса после того, как они кончили писать прошения о помиловании, — на рассвете; день, говорят, был на редкость солнечный. И это узнали старики Дзержинского и взроптали: «Сталин — лгун, ни одному его слову нельзя верить», и их стали косить из пулеметов... Тысячами... Десятками тысяч... «Ты это о чем? — грозно спросил он себя, как-то съежившись, — такое слышал в себе впервые. И ответил: «Это я о Влодимирском, о тебе, дурак!»

...Он дважды прослушал запись разговора Исаева с Валленбергом и до конца убедился в том, что исповедь обоих — предельно искренна, их надо немедленно освобождать, нет за ними никакой вины... Но кто же колол Валленберга на этот самый «Джойнт»? Почему мне никто не докладывал об этом? Одно время с ним работал Рюмин, потом Рат... Рат — мой, но он мне про это не говорил. Почему? Рюмин, судя по словам Комурова, теперь тоже будет нашим. Но и он молчит... Сталин

расстреливал тех следователей, кто не мог справиться с людьми, арестованными по его приказу.

Ну хорошо, допустим, я вывожу на процесс Валленберга и его обличают Риббе, Штирлиц, Рат — введу его в комбинацию как «связника» из Лондона.

Процесс против Каменева проводили в Октябрьском зале, ни одного пропуска по приказу Сталина не дали ни единому члену ЦК или ВЦИКа. Зал был забит работниками НКВД: согнали стенографисток, уборщиц, курьеров, надзирателей.

А Пятакова судили при иностранцах. Почему пошли на такой риск? Где гарантии, что обвиняемые не начали бы орать в зал правду? Кто знает, как этого добился Ежов? Придется просить у Берия санкцию на ознакомление со *спецпапкой*... Даст ли? Ответы подсудимым писал Сталин, это известно, захочет ли Берия, чтобы я воочию в этом убедился?

А что, если я проведу процесс, а меня после этого уберут, как убрали всех в НКВД, когда пришел Ежов, а потом Берия? Ведь тех, кто поставил гениальные спектакли, которых не было в истории человечества, перестреляли!

Так и не ответив ни на один из этих вопросов, Влодимирский вызвал машину и отправился в Театр оперетты на площадь Маяковского.

Сначала он никак не мог сосредоточиться на шуточках старика Ярона, потом увлекся тем, как себя подавала Юнаковская; закрыл глаза, слушая арию, исполнявшуюся Михаилом Качаловым, постепенно спектакль захватил его, растворил в себе, успокоил.

Выходя из подъезда, подумал: «Все же оперетта — очень доброе искусство, дает надежду на выход из самых трудных положений, когда, кажется, трагическая развязка неминуема... Говорят, «легкий жанр»... Ну и замечательно, что легкий! В операх или топятся, или помирают, чего ж в этом хорошего? Вот бы и назвать оперу — «тяжелый жанр»...»

Приехал домой, решив не возвращаться в *контору*, однако жена сказала, что дважды звонил помощник, разыскивал.

Влодимирский набрал номер, сухо поинтересовался:

— В чем дело?

— Гнедов ждет вас с чрезвычайным сообщением.

Гнедовым был следователь Сергей Сергеевич; прижимал к себе папку, в которой лежал лишь один конверт — только что нашел на Центральном почтамте:

письмо из Лос-Анджелеса некоему Максу Брунну от Грегори Спарка; обратный адрес, марки, все честь по чести.

Владимирский прочитал русский перевод: «Я пытался найти Вас и Пола повсюду. Я пишу туда, где, быть может, вы сейчас находитесь. После гибели моих детей и жены хочу передать Вам и Полу мое проклятие. Я пишу это за несколько минут до того, как нажму спусковой крючок пистолета. Я проклинаю Вас не как Брунна, а как носителя идеи добра и справедливости. Такой идеи нет, не было и не будет на этой земле. Я прощаю Вам *лично* то зло, которое Вы мне причинили. Но Вам никогда не будет прощения Божьего. Человек да соразмеряет силы свои!

Грегори Спарк».

Владимирский походил по кабинету, потом позвонил к Комурову: тот обычно сидел до той поры, пока из Кремля не уезжал Сталин.

— Заходи, — отозвался тот. — Что-нибудь экстренное?

— Да. Очень.

...Комуров отложил письмо в сторону:

— Ну и что ты об этом думаешь?

— Ничего не понимаю, — признался Владимирский.— Ясно только одно: Исаев не блефовал. Он говорил правду про свои контакты в Штатах.

— В его отчете, что он гнал на *даче,* есть два опасных имени: Пол Роумэн и Грегори Спарк. Других контактов из Штатов у него не было, верно?

— А черт его знает, — угрюмо отозвался Владимирский. — Особый случай... Я его не понимаю, совершенно не понимаю... Пол-то этот самый тоже исчез, а ведь Исаев все первые часы кричал про Пола и Мюллера...

— Не паникуй... Что это ты вдруг? Я прослушал его беседы с Валленбергом... Разделаемся с этим чертовым шведом, а Исаева потрясешь, не такие кололись... В конце концов получишь адреса, если таковые остались в Америке... Ничего, мы рукастые, достанем... Да и потом у Лаврентия Павловича, мне кажется, появились какие-то особые виды на этого Исаева...

— Но ведь Валленберг отказывается брать на себя «Джойнт»... Он вполне популярно объяснил, что это такое, нельзя выставлять себя на посмешище.

— А мы сейчас и не будем жать на «Джойнт», — ответил Комуров. — Сосредоточь внимание на его перего-

ворах с гестапо, Эйхманом, он же этого не отрицает... И с Салаши... И, возможно, с *товарищем* Ласло Райком, — медленно добавил Комуров. — Да, да, с нашим коллегой из Венгрии.

— Что, плохо с ним? — осторожно поинтересовался Влодимирский.

— И не только с ним одним... Его настоящая фамилия, кстати, Райх, он такой же венгр, как я эстонец...

— Тогда надо вводить еще одного человека в комбинацию...

— Вводи, *дело* закреплено за тобой.

— Я хочу подсадить к Валленбергу нашего Рата.

— Резон?

— Хочу попробовать через него узнать, что Исаев написал Валленбергу, а тот сжевал...

— Думаешь, сможет?

— Попытка не пытка.

Комуров засмеялся:

— Э, нет, милый! Пытка — это попытка, а не наоборот!

— Товарищ генерал, — осторожно спросил Влодимирский, — а если Лаврентий Павлович имеет виды на Исаева, может, не выводить его на процесс?

Комуров после паузы повторил задумчиво:

— Твое *дело*, дорогой, тебе и решать...

В тот же день Исаева перевели в просторную камеру с душем: его место занял Рат — окровавленный, в изорванной рубашке, в туфлях на босу ногу, в полубессознательном состоянии. Два дня Валленберг выхаживал «англичанина», потом тот рассказал, что от него требуют признания, что он ехал в Будапешт в январе сорок пятого на встречу с неким Райком и шведом Валленбергом, вез доллары.

Сидел он в камере Валленберга два месяца и расположил его настолько, что тот сказал: «Я соглашусь на процесс только в том случае, если получу свидание с матерью, шведскими дипломатами и адвокатом. И если они будут присутствовать в суде».

А на следующий день добавил фразу, которая сделала ясным, что Исаев написал ему:

— Иначе обвинение не получит свидетелей. Пусть тогда плетут что угодно, фарс и есть фарс.

...Аркадий Аркадьевич поздравил Рата с успехом, обнял, сказал, чтоб отдыхал неделю.

...Арестовали Рата в приемной Влодимирского, отправили в одиночку; через месяц зашел Сергей Сергеевич:

— Рат, у вас одно спасение: рассказать на процессе все то, что вы говорили в камере. Впрочем, это спасение не только ваше, но и всей семьи: мы их сегодня забрали — связь с еврейскими буржуазными националистами...

...Валленберга вызвали на допрос через полчаса после того, как Влодимирский предложил Исаеву переодеться в полковничий китель: «Едем встречать сына».

Заказал ему стакан кофе и сушки, сказал, что вернется через десять минут, и покинул кабинет.

Следователь, сопровождавший Валленберга, шепнул:

— Сейчас наконец вы встретитесь с тем, кто все эти годы курировал ваше дело. Постарайтесь договориться с ним миром, он человек крутой, но справедливый.

Следователь открыл дверь кабинета Влодимирского, обменявшись стремительным взглядом с помощником, поднявшимся из-за своего бюро; пропустил Валленберга; встал у двери.

Валленберг увидел седого полковника, который медленно обернулся к нему, узнал Исаева, глаза его округлились, наполнились ужасом, он тонко закричал и, наклонив голову, бросился к окну.

Следователь и ворвавшийся помощник схватили Валленберга и, повалив его, начали крутить руки.

Исаев поднялся, схватил стул и со всего маху ударил им лощеного помощника по голове. Тот отвалился, Исаев взмахнул стулом еще раз, чтобы обрушить его на голову второго, но руку его вывернули, кабинет заполнился людьми, Аркадий Аркадьевич орал что-то, брызгая белой пеной, а потом Исаев потерял сознание от боли...

...Через три года в одиночку Исаева пришел человек, явно загримированный, и, тщательно скрывая акцент, спросил:

— Хотите знать, кто виновен в вашей трагедии?

Исаев безразлично молчал.

Человек в темных очках и с неестественно льняной шевелюрой — парик, ясное дело, — протянул ему постановление ОСО на расстрел жены и сына с резолюцией Сталина.

Реакция Исаева была странной: он согласно кивнул.

— Конечно же, хотели бы отомстить? — усмехнулся человек.

— История отомстит, — ответил Исаев. — Человек бессилен.

Посетитель еще глубже сунул кулаки в карманы плаща и мягко заметил:

— Я попрошу, чтобы вам дали прочесть Горького. Найдете нужную фразу: «Человек — звучит гордо». Особенно советский человек. А не вы ли пример для советских граждан, полковник?

И, не дожидаясь ответа Исаева, вышел из одиночки...

...В салоне «ЗИСа», стащив с себя льняной парик и очки, Берия задумчиво сказал Комурову:

— Переведите его в хороший лагерь, где есть отдельные домики... Отхаживайте, как любимую... Если Рюмин или еще кто будут интересоваться, где он, — а я это вполне допускаю — ответите, что вытребовали в мою «шарашку»... Познакомьте его с процессом над Трайчо Костовым, Ласло Райком и Яношем Кадаром... Подготовьте материалы о подготовке процесса над Сланским и Артуром Лондоном — с этим он был знаком лично, я не поленился потратить еще два дня на его личное дело... Вот и все. Приведите его в форму... Пусть говорит все, что хочет, — не записывайте ни одного его слова... Лагерь должен быть на расстоянии не более двух часов лета до Москвы: Исаев может понадобиться мне в любой день и час, днем или ночью.

...Первые дни Исаев вообще не мог спать, снотворного не давали, только массировали.

Читал. Сначала не очень-то входил в текст, перед глазами стояли лица Сашеньки, Саньки, Валленберга, Пола, Никандрова, Спарка, Ванюшина — они все время были с ним, в нем, перед ним...

Потом, однако, стал вчитываться: газеты давали все. И постепенно, перейдя от первых двух полос — фанфарных, торжественных, чуждых Началу, — к третьей и четвертой, он все больше и больше ощущал, что его, прежнего, нет уже; пуст; если что и осталось, то лишь одно — отчаяние. Оно было безмерным и величавым, как огромный океан в минуты полного штиля. Он запрещал себе нарушать этот океан отчаяния вопросами и ответами, он знал, что не сможет ответить ни на один вопрос; он не чувствовал в себе сил, воли и гнева, хотя именно гнев сокрыт в подоплеке отчаяния — затаенный,

холодный, лишенный логики и чувства, чреватый таким взрывом, который непредсказуем так же, как и неотвратим...

21

...Забившись в угол «паккарда», окруженного пятью «линкольнами» и «ЗИСами» охраны, Сталин любил проноситься по узенькой горловине ночного Арбата, вырываться на Смоленскую и оттуда, на огромной скорости, словно танковая атака, *занимать* всю Можайку, отправляясь отдыхать на Ближнюю дачу.

Иногда, впрочем, он говорил начальнику охраны: «Хочу посмотреть людей».

Тот, как и все окружавшие генералиссимуса, обязан был понимать не слово даже, а намек, интонацию, паузу, генерал успевал дать команду по трассе — помимо батальона охраны, расквартированного в казарме, оборудованной в бывшем ресторане «Прага», на Арбат мгновенно перебрасывалось еще одно подразделение: люди в коричневых и синих драповых пальто стояли на расстоянии ста метров друг от друга, в поле взаимной видимости; снайперы занимали все отдушины на чердаках, генералиссимус мог ехать со скоростью сорока километров, улыбчиво обнимая своими желто-рысьими глазами прохожих, их лица, одежду, сумки в руках...

Однажды Георгий Федорович Александров, начальник Управления агитации и пропаганды ЦК, предложил Сталину ознакомиться с совершенно секретными переводами дневников «колченогого» — так, с легкой руки Деканозова, в близком окружении Сталина звали рейхсминистра пропаганды Геббельса.

Сталин равнодушно кивнул на стол: мол, оставьте, будет время — погляжу, но не обещаю, занят...

Читал всю ночь, с трудом удерживая себя от того, чтобы не делать карандашных пометок (на «Майн кампф» наследил, не мог себе этого простить, тем более что экземпляр был не его, а Ворошилова, выпустил еще Зиновьев в 1927-м, для членов ЦК — «угроза № 1»; просить, чтоб вернул, нельзя, не преминет полистать, простован-то простован, а дока). Порою, хуже того, увлекшись, он делал отчеркивания ногтем, тюремная привычка; отучил, кстати, сокамерник Вышинский: «Коба, у вас крепкая рука, давите большим пальцем, очень заметно, охранка умеет работать с книгами арестан-

тов (сидели в Баку), могут набрать на вас материалы, будьте осторожны».

Особено интересовался церемониями встреч фюрера с нацией — Геббельс организовывал это артистически, особенно с детьми и старушками, непременно в небольших городках, истинная легенда, которая останется в веках, рождается в сельской местности, город мгновенно поглощает все новости, растворяет их в себе; беспочвенность интернационального «асфальта» чревата потерей национальной памяти. Молодец Геббельс, смотрел в корень; если Петр учился у шведов, отчего нам не поучиться у немцев?

...Сталина заинтересовала эта глава потому особенно, что он в отличие от Гитлера, любившего *зрелища,* предпочитал держаться в тени, с одной стороны, он слишком хорошо знал русских, их сдержанность, в чем-то даже зажатость, а с другой — страшился разрушить ореол, созданный пропагандой: вместо высокого, широкоплечего *русского* военачальника и ученого — только поэтому Вождя — люди увидят рябого, плешивого, маленького человека с прокуренными зубами, седого и малоподвижного, страшащегося, что его может окружить тесная и душная толпа незнакомых ему людей.

Назавтра Александров заметил свою папку точно на том же месте; решил, что Сталин не прочитал; тот, увидев взгляд *академика,* усмехнулся:

— Как-нибудь в другой раз прогляжу... Спасибо... Можете взять, не было времени...

...По прошествии четырех лет Александров убедился, что Сталин эту папку с рецептами «как делать фюрера» прочитал. Поскольку его последние встречи с *народом* состоялись в конце двадцать девятого, когда он выехал в Сибирь во время трагедии с хлебозаготовками, пришло время дать новую пищу для разговоров: для этого поэту Долматовскому позволили напечатать поэму о поездке Вождя на фронт, к солдатам, — рассчитано на интеллигенцию; в Понырях и Орле, предварительно нашпигованных охраной, Сталин прошелся по улице возле станции, где работали строители: назавтра об этом знала вся Курская железная дорога; на шоссе из Сочи в Гагру шофер его машины остановился возле мальчика (отдел охраны заранее подобрал русского, Колю Саврасова; грузина, абхазца или армянина — их возле Адлера много — решительно отвели); в тот же день ликовало все Черноморское побережье.

Во время отдыха на своей скромной маленькой

дачке возле Сухуми (всего семь комнат, кинопросмотровый зал и бильярдная) Сталин зашел в один из трехэтажных домов, где жила охрана, и, не обращая внимания на вытянувшихся по стойке «смирно» майоров и подполковников, спустился в подвал, вспомнив, что туда покидали всю библиотеку, после того как сначала Троцкий, а потом Бухарин были выведены из Политбюро.

Провел он там часа два, не меньше; сидел на краешке какого-то скрипучего ящика, перечитывая Троцкого; испытывал при этом непонятное самому ему чувство снисходительно-сострадающего восхищения стилем «врага-брата». Нашел бухаринский томик, написанный в двадцатом: «Экономика переходного периода», тогда Врангель и Слащев бросили клич: «Красных в плен не брать — земли нет! Вешать вдоль дорог без суда!» Именно он, Сталин, первым позвонил Бухарину: «Великолепная работа». Ленин чуть покритиковал, но в общем-то одобрил работу «красного академика»; Троцкий усмехнулся: «Играем в якобинство? Ну-ну! Пора бы думать о металле и железных дорогах, кои наши революционные «троглодиты» предлагают разрушить, поскольку их строили буржуи...»

...Вернувшись к обеду, сделал замечание начальнику охраны Власику: «Стоит ли держать мусор в доме? Молодые офицеры не знают истории нашей борьбы, начитаются без подготовки — черт знает что может в голову прийти...»

Той же ночью библиотеку погрузили на полуторки, вывезли в лес, облили бензином и сожгли.

Именно тогда он и подумал вновь: «Скоро стукнет семьдесят, а где мои теоретические работы? У Троцкого пятьдесят томов, у Бухарина было чуть ли не двадцать, а что у меня? Подоспело время готовить цикл теоретических трудов, где будут расставлены все точки над «i». На смену Идеи интернационализма должна прийти доктрина Державности».

Он любил думать *впрок*, не терпел спешки, своего любимца Мехлиса осаживал прилюдно: «Это ты в своем кагале кипятись и отдавай команды, мы, русские, любим неторопливую, солидную обстоятельность, запомни».

На торжествах, когда весь мир *гулял* его день рождения и Москва была иллюминирована ярче, чем на Первомай, он, слушая бесконечные речи о великом вожде, гениальном стратеге, лучшем друге, выдающемся ученом, брате и соратнике Ленина, поднявшем на невиданную

высоту его учение, несколько рассеянно оглядывая многочисленных гостей из-за рубежа, что привезли ему множество подарков, на какое-то мгновение отключился; надоела аллилуйщина; как чисто и высоко было в нашем храме в Тбилиси, как прекрасен был хор, когда мы возносили слова Господу и купол вбирал их в себя, давал им новое, иное звучание, *отдельное* от нас, сопричастное с вечностью, а не с бренной плотью...

Глядя на затылок очередного оратора, бритый под скобку (чистый охотнорядец, читал, не отрываясь от бумажки, написанной в Агитпропе и трижды утвержденной на Оргбюро, Секретариате и Политбюро, наверняка какой-нибудь дрессированный мужик из колхоза), Сталин вдруг явственно услышал голос отца Георгия, который говорил им, замеревшим в зыбком восторге семинаристам, литые, *значимые* Слова, а не дребедень, что болтают в этом зале: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть...»

Неожиданно для всех Сталин поднялся — как всегда норовил устроиться один где-нибудь в четвертом ряду президиума, поближе к выходу, — и, балансируя, на цыпочках, стараясь не мешать оратору, покинул зал.

Он вошел в комнату, где были накрыты столы с бутербродами, водкой, минеральными водами, вином и коньяком, не обратив внимания на вытянувшихся *официантов* и нескольких членов президиума, вышедших перекурить, — сидели уже третий час, а конца и краю чествованию не видно.

Ни к кому не обращаясь, Сталин спросил, где телефон; *официант* и подбежавшие офицеры личной охраны повели его к маленькому столику; он снял трубку, набрал три цифры, но услышал гудок и одновременно голос помощника начальника личной гвардии:

— Товарищ Сталин, это не «вертушка»... Это городской телефон.

— Зачем же меня сюда вели? — Сталин был раздражен и нетерпелив. — Язык проглотили? Головы нет? Водки перепили?

Он, видимо, хотел спросить, где правительственный телефон, но потом досадливо махнул рукой и вернулся на сцену, встреченный бурной овацией, что окончательно вывело его из себя; заставив себя улыбнуться, огладил усы и, подняв руки, попросил всех садиться, легко отключился, когда возникла пугающая тишина, — остался

сам с собою, отрешился от суеты; именно в этот момент и понял, что первая фраза, которую напишет в своем *теоретическом* труде, будет перчаткой, вызовом Троцкому, да и тем читателям, которые хоть что-то помнят: «Ко мне обратилась группа читателей из *молодежи* с просьбой высказать свое мнение в печати по вопросам языкознания...»

Сталин ничего не слышал, кроме своего глуховатого голоса.

Фразу, родившуюся столь стремительно (такого раньше не бывало, он по десять, двадцать раз правил тексты речей во время борьбы за власть), обсматривал со всех сторон, выверял интонационно, разглядывал со стороны, любовался ею, словно мать новорожденным.

«Отлито; лучшего быть не может, — сказал он себе. — Слово — начало начал Бытия: именно Слово, Язык, существовавший всегда; и Маркс, и Ленин бежали этого парадокса, они норовили все подмять под производство, станки, науку, то есть Базис. Что ж, мне придется вернуть Слову его изначальный, основополагающий смысл... Реальных благ в ближайшем обозримом будущем мы русским не дадим. Что ж, вернем высший смысл Слова — Проповедь... Никого так просто не уговоришь, как русских, им я и передам примат Слова — отныне, присно, во веки веков... Кто только воспользуется моим Откровением? — горестно подумал он, пробежав невидящим взглядом по затылкам и плешинам своих соратников. — Из тех, кто здесь, — никто. Надо ждать. Ничего. Подождем... И начнем готовить реальную смену — вот что главное...»

...Через несколько дней Академия наук внезапно глухо зашевелилась; была создана секретная группа подготовки; Митин нажимал на президента: «срочно!»; институт, отданный филологу Виноградову — кстати, бывшему зэку, — делал «языкознанческие заготовки» — все это шло на стол Сталину.

Приученный жизнью к неторопливости, к тщательной подготовке удара, от которого противнику не подняться, — иначе не стоит бить, рискованно, — Сталин, расклеив академические заготовки, которые должны стать фундаментом его теоретического труда «Марксизм и вопросы языкознания», после десятого, по крайней мере, прочтения внезапно почувствовал какое-то неудобство, словно новый башмак жал. (Майский рассказывал, что британские аристократы дают своим слугам носить новую обувь; появляться в новых туфлях — дур-

ной тон: истинный аристократ подчеркивает, что носит старые вещи, — чем человек богаче и могущественней, тем меньше он обращает внимания на одежду; рассказ-намек своего посла Сталин вапомнил; следовал во всем, хоть и дал санкцию на арест.)

Он отложил работу, уехал на дачу, много гулял, смотрел фильмы, вырезал цветные фотографии из «Огонька», устроил стол, пригласил Берия, Маленкова и Булганина, был по-прежнему рассеян, анекдоты слушал невнимательно и лишь назавтра понял, что́ жало.

Три пассажа в академических заготовках его будущего текста прямо-таки *грохотали*: «Октябрьская революция...»

«В Октябре была не революция», — медленно выдавливая слова, сказал он себе, внезапно испугавшись закончить фразу, которая подспудно, безъязычно, но образно, зримо жила в нем многие годы, разрывая душу; как же мучительно было бороться с собою самим, запрещая услышать те слова, которые, оказывается, давно жгли сердце. «Революция — реальная; в Октябре был хаос, — произнес он. В Октябре был *переворот*! Истинная революция, уничтожившая дремучесть русского мужика, поставив его под контроль соседа, сына, бабки, Павлика Морозова, панферовских героев, комиссаров Багрицкого — то есть *власти*, вернувшая его в привычное состояние общинной круговой поруки, — поди не поработай! — была проведена им, Сталиным, в тридцатом году, когда он, Сталин, осуществил реальную Революцию Сверху!»

...Он вычеркнул во всех заготовках ученых «Октябрьская революция», заменив «Октябрьским переворотом».

Ленин был взрывной силой нации, организатором *разрушения*, он же, Сталин, свершил Революцию Созидания — уникальную, единственную в своем роде.

Ленин считал основоположением марксизма Базис, а засим — Надстройку.

Он ошибался. Он был идеалистом, никогда до конца не понимавшим русский народ.

Сейчас, после войны, когда поднялось национальное самосознание, не Базисы нужны русским и не Надстройки, а признание величавости и незыблемости их Духа — то есть Языка.

И Сталин, ощущая значимость каждого своего жеста, поступка и слова, вписал: «Сфера действия языка гораздо шире, чем сфера деятельности надстройки...»

По прошествии недель сделал еще одну правку: вспомнив Вознесенского, Кузнецова и всю эту ленинградскую группировку, он решил раз и навсегда *теоретически* отрезать Север России от ее «исконной» сущности: «Некоторые местные диалекты могут лечь в основу национальных языков и развиться в самостоятельные национальные языки. Так было, например, с курско-орловским диалектом (курско-орловская «речь») русского языка, который лег в основу русского национального языка. Что касается остальных диалектов таких языков, то они теряют свою самобытность, вливаются в эти языки и исчезают в них...»

Поскольку, считал Сталин, этим пассажем он подводил черту под возможностью появления какой бы то ни было «русской автаркии» вознесенско-кузнецовского плана (отныне лишь курско-орловская речь будет истинно русской, а она триста лет под игом страдала — с нею легче, с такими просто управляться; даже Иван Грозный не истребил до конца северный новгородский дух, а сколько веков прошло), он дал указание секретариату предусмотреть включение этого пассажа в его ответ на письмо какого-нибудь национала.

Просмотрев письма тех филологов, что были заранее утверждены Агитпропом, Сталин не без раздражения заметил:

— Что вы мне сплошную аллилуйщину подсовываете? Неужели дискуссия по ключевому идеологическому вопросу о сути и смысле слова проходит так скучно и серо, что нет любопытных писем?

Поскольку Маленков тщательно муштровал аппарат в том плане, чтобы *наверх* поступало как можно меньше «негативной информации» (определил пятнадцать процентов как максимум), отдел писем тщательно фильтровал поступавшую корреспонденцию.

Однако, когда от Хозяина поступил запрос на «острые отклики», вездесущий академик Митин (Сталин как-то пошутил: «Говорят, у Гитлера были «экономически полезные евреи» — тех не жгли, до времени использовали; надо бы и нам поставить штамп в паспорте Митина: «идеологически полезный еврей»... В случае маленького погромчика это будет служить ему надежной защитой, особенно если подпишут Шкирятов с Сусловым, их прямо-таки распирает от пролетарского интернационализма») сразу передал письмо от Белкина и Фурера — явно *задиристое,* на таком Сталин выспится, он большой мастер *добивать*...

Получилось, однако, не совсем так.

Белкин и Фурер, восхищаясь (так положено) гениальной работой великого Вождя, поставили вопрос: а как быть с глухонемыми? Поскольку великий Сталин разъяснил советскому народу и всему прогрессивному человечеству все, относящееся к грамматике, словарному фонду и семантике, вывел гениальный закон о том, что мысли возникают лишь на базе языкового материала, опрокинув, таким образом, низкопоклонного аракчеевского идеалиста, псевдофилолога Марра, остался нерешенным лишь один маленький вопрос, связанный с глухонемыми. Ведь они не имеют языка?! На какой же базе возникают их мысли? Всегда, во все века, в любые общественные формации, как явствует из указания товарища Сталина, сначала было слово и лишь на его базе появлялись мысли. Вне слова нет мысли. Как спроецировать это гениальное открытие великого Сталина на убогих? А ведь их миллионы! Может ли самое демократическое общество на земле игнорировать этих несчастных?

Сначала Сталин взъярился, швырнул письмо Поскребышеву: «У меня нет времени заниматься психологией идиотов!»; потом, однако, вспомнил, что сам просил чего-то острого, без аллилуйщины и надоевших славословий.

Недели полторы Сталин обдумывал сокрушительный ответ, составленный из рубленых, разящих фраз, а потом написал своим четким, безукоризненным почерком: «Вы интересуетесь глухонемыми, а потом уж вопросами языкознания. Видимо, это и заставило вас обратиться ко мне с рядом вопросов. Что ж, я не прочь удовлетворить вашу просьбу. Итак, как обстоит дело с глухонемыми? Работает ли у них мышление, возникают ли у них мысли? Да, работает у них мышление, возникают у них мысли. Ясно, что, коль скоро глухонемые лишены языка, их мысли не могут возникать на базе языкового материала...»

Когда Сталин показал этот ответ на заседании ПБ, все восторгались, подчеркивая при этом поразительную, разящую логику Иосифа Виссарионовича.

Тот рассеянно ходил по кабинету, не очень-то слушая членов Политбюро; в голове, однако, все время вертелось возражение самому же себе: «Но если я допускаю Мысль вне Слова, то, значит, прав Марр? А пусть,— вдруг озорно подумал он. — Пусть. Я подчиняюсь Политбюро, их хвалебным отзывам, напечатаю ответ; по-

смотрим: кто в стране посмеет возразить или хотя бы отметить несоответствие, противоречивость моего ответа... Не посмеют ведь... А с тем, кто решится, следует встретиться, послушать; я совершенно отучился видеть людей, которые хоть в чем-то перечат мне, а это плохо, лишает мысль необходимой активности в защите. В этом кабинете меня все хвалят, газеты хвалят — хотят, чтобы я расслабился! Им всем мое кресло не дает покоя...»

Поразмышляв об этом, Сталин решил не торопиться с тем, чтобы отправлять рукопись членам Политбюро; пусть пока читают отрывки, полностью отправлю позже, когда получу информацию, что они говорят о моем труде *дома*... «Что они говорят дома? — он переспросил себя раздраженно. — Гений и мудрый вождь, вот что они говорят дома! А мне надо знать, что они *думают*! А сие не дано, потому что, когда на скамью подсудимых сядут Молотов, Микоян и Ворошилов, их показания снова, как и Пятакову с Радеком, придется писать мне — в камере все совершенно теряют чувство достоинства и здравого смысла...»

Поскольку Сталин еще во время войны решил отменить самое понятие «большевизм» (оно слишком уж связывало партию с Лениным, лишало ее державной заземленности, которая куда как надежней синагогальных дрязг лондонского и иных съездов, особенно сейчас, после победы, когда встали задачи по реальному включению всей Европы в орбиту новой социальной структуры, основоположением которой является Русь), он аккуратно вписал пассаж о том, что империи Александра Великого, Кира и Цезаря не могли иметь общего языка, однако есть «те племена и народности, которые входили в состав империи, имели свою экономическую базу и свои издавна сложившиеся языки»...

Прикидку собранной рукописи Сталин, как это было заведено с ленинских времен, пустил «по кругу», разослав членам Политбюро; снова ожидал хоть одного вопросительного знака на полях: «Какая империя имеется в виду? Британская? Но ее нет более. Значит, Российская?..», «Почему «Октябрьский переворот»? Так о нас писали белогвардейцы».

Никто, однако, не сделал ни одного замечания, лишь восторженные отклики!

Писали членам ПБ их помощники, сами не могут, а какой помощник рискнет подставлять своего шефа?! Вот он, механизм, которому отданы годы труда, вот она,

Система, которая гарантирует единство равных при беспрекословности Суда Первого!

...Когда книга вышла, была переведена на все языки мира и введена в курсы всех университетов, Сталин, полистывая *свой* труд (уже привык к тому, что писал он, наткнулся на фразу: «Язык умирает вместе со смертью общества. Вне общества нет языка».

Как обычно, Сталин позволил себе услышать эту фразу, полюбоваться ее безапелляционной чеканностью, а потом вдруг резко поднялся с тахты: «А латынь?! Или древнерусский?! Это же бред какой-то! Языки живы вне общества!»

Он сразу достал папку с «нарезами» — был убежден, что этот идиотизм вписал в текст какой-то враг; с внезапной усталостью увидел свой карандаш; сам писал; «ни один из академиков не посмел сказать, что это абракадабра... А кто виноват? Я, что ли? Их рабский характер виноват, их врожденный страх, виноват, не я!»

Позвонил министру государственной безопасности и попросил подготовить к утру (было уже около четырех, скоро рассвет) документы с негативными отзывами наиболее ярых антисоветчиков по поводу брошюры «Языкознание».

...Министр тут же поехал к себе, поднял на ноги заместителей, но, ознакомившись с отзывами, понял, что Сталину, во всяком случае лично он, их не понесет. Как он может положить на стол генералиссимуса, например, такое: «В условиях сталинской темницы, при невиданной в истории человечества личной диктатуре, когда люди вынуждены со слезами показного счастья называть «день» «ночью», а «зло» «добром», как может «коммунистический император», истребивший цвет страны, терпеть высказывания академика Марра о том, что «язык (звуковой) стал ныне уже сдавать свои функции новейшим изобретениям, побеждающим пространство, а мышление идет в гору от неиспользованных его накоплений в прошлом... Будущий язык — мышление...». Как может терпеть подобное Сталин, который запрещает самое мысль, расстреливает выдающихся ученых России, провозглашает бионику «мракобесием», кибернетику — «происками еврейских космополитов», а генетику — «заговором мирового сионизма»?! В принципе мы можем радоваться этому, ибо Сталин зримо доказал, что коммунизм лишен какого бы то ни было здравого смысла, если запрещает разрабатывать первооснову военной нау-

ки — кибернетику, однако мы не можем не сострадать великому Народу, попавшему в лапы тирана...»

Дальше министр читать не стал, сказав себе, что он не в силах видеть гадость завистливых интриганов, купленных американской разведкой; приказал подобрать отзывы из леворадикальной прессы — коммунистические газеты Сталина бы не устроили, он потребовал абсолютно «нелицеприятную информацию». Кое-как настригли.

Сталин приехал на работу раньше обычного, не к часу, а в двенадцать; кивнул министру, взял у него из рук папку и бросил:

— Ждите указаний.

Тот ждал указаний до пяти вечера, когда Сталин решил перекусить; вышел сосредоточенный; удивился:

— А вы тут что делаете? Я же сказал — спасибо, вы свободны...

...Более всего Сталина умиротворили слова в статье итальянского журналиста, который, приводя его, Сталина, пассаж о том, что «никакая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики», подчеркивал, что генералиссимус показал ученым в России, чересчур перегибавшим палку в плане критики Менделя и Моргана при явном попустительстве Жданова, претендовавшего на роль идеолога, кто на самом деле является истинным мыслителем России. Именно Сталин не просто не глушит критику, как это делал Жданов, а, наоборот, бесстрашно зовет к ней — вот образец мудрой государственности, преподанный тому же Белому дому, погрязшему в охоте на ведьм; «один-ноль в пользу Джузеппе Сталина; коммунистический выпускник семинарии дает фору политикам со светским образованием...»

...А действительно, подумал Сталин, наше, семинарское истинно теологическое образование было значительно глубже и в чем-то практичней гуманитарного, хотя нас приучали к таинству общения с вечными постулатами, а светская школа давала достаточно широкий разброс знаний, но без той одержимой систематичной сосредоточенности, которой от нас требовали.

...Никогда, ни в одном из своих выступлений Сталин не *задирал* зло ни веру, ни религию, позволяя себе порою чуть тронуть «боженьку», да и то в фольклорном смысле, понятном народу, которым он безраздельно правил. (Тем не менее священников, истинных подвиж-

ников Веры, бросал в тюрьмы, безжалостно гноил в лагерях, расстреливал.)

Если бы я сел на скамью исторического или юридического факультета, признался он себе как-то, не видать мне как своих ушей ни победы над оппонентами, ни, как следствие этого, партийно-государственного лидерства. Мне противостояли все — все без исключения члены Политбюро Ленина и большинство его ЦК, с изумлением думал он, порою не веря себе самому, а сейчас они стали шпионами, диверсантами, врагами народа, осведомителями гестапо; такими и останутся на века в памяти русских.

Что дало мне силу молчать, когда блистал Троцкий? Таиться, пока в Кремле правили Каменев с Зиновьевым? Как я понял, что настало мгновение готовить Каменева и Зиновьева к удару против Троцкого, пугая их тем, что он, герой Октября, председатель Петросовета и Военно-Революционного Комитета, рано или поздно свалит их, ленинцев, чтобы стать во главе партийной пирамиды и подменить учение Старика своим, вполне оформившимся; троцкизм был весьма популярен в Италии, Германии, Франции, Мексике — особенно после введения нэпа: «шаг назад от революции»...

Мне были видения, думал Сталин; мне был голос Божий, иначе моя победа необъяснима; всем этим крикам о моей гениальности — грош цена, посади на мое место остолопа, и его будут славословить. Да, было Откровение.

Он никогда не мог забыть, с каким блеском Каменев и Зиновьев *раздавили* Троцкого на Тринадцатом съезде партии — первом, который проходил без Старика. Троцкий тогда предупреждал, что РКП(б) на грани кризиса, рождается партийная бюрократия, цифры и отчеты подменяют жизнь, тасуется колода одних и тех же бюрократов, в то время как главной ставкой партии должна сделаться молодежь, особенно студенческая, то есть та, что, кончив гражданскую войну, по ленинскому призыву решила учиться, учиться и еще раз учиться.

Сталин вспомнил, как он тогда легко *подшлифовал* антитроцкистский погром, учиненный «его евреями», заявив себя при этом мастером «товарищеских компромиссов». В угоду Каменеву и Зиновьеву, которые требовали привлечения в ЦК как можно больше рабочих и «упрочения» Политбюро за счет именно русских товарищей, знающих деревню не понаслышке, он поднял Бухарина и Рыкова: «вот монолитное единство истинных ленин-

цев». В то же время Троцкого попросил сосредоточиться не только на армии, но и на металлургии и концессионной политике — сделал это уважительно, по-товарищески, обращаясь не как к равному, но как к признанному лидеру.

А сразу же после этого провел тайное совещание с Бухариным и Рыковым: «Каменев и Зиновьев никогда не смоют с себя октябрьского пятна, к тому же они внутренне страшатся справного мужика и нэпа, не пора ли вам, интеллектуалам и практикам ленинизма, брать на себя тяжкое бремя власти?»

И снова мне было видение, подумал Сталин. Сам бы я не смог так точно рассчитать время. Это был голос свыше. Теперь можно признаться себе в этом... Я нашел самые нужные слова: «берите на себя бремя власти». Я? Ничего я не нашел... Я лишь произнес то, что было угодно тому, кто вел меня тогда и ведет поныне...

Через год Бухарин обрушился на Каменева и Зиновьева; Сталин и Троцкий заняли выжидательную позицию: «два выдающихся вождя современного ЦК» сидели в президиуме рядом, пару раз перебросились записками, пару раз обменялись вполне корректными репликами; в это же время Бухарин, Рыков, Ярославский и Каганович *закапывали* Каменева, Евдокимова и Зиновьева при молчании Троцкого и беспомощной попытке Надежды Константиновны спасти старых друзей Ильича...

На следующем съезде Троцкий вошел в блок с Каменевым и Зиновьевым, но было поздно уже — торжество Бухарина, отстоявшего справного мужика и нэп от нападок «леваков», было абсолютным, линия Бухарина — Рыкова — Сталина победила.

И сразу же после этого тайные эмиссары Сталина — после того, как Троцкий был выслан в Турцию (пусть мусульмане поживятся горячей еврейской кровушкой), — встретились с Каменевым и Зиновьевым: «Да, товарищи, в чем-то вы были правы, выступая против мужицкого уклона, однако никто не мог предположить, что Бухарин и Рыков так открыто отклонятся вправо, время действовать; Сталин один бессилен, начинайте атаку в партийной прессе».

...Когда Бухарин и Рыков были ошельмованы и выведены из ПБ, Сталин почувствовал себя наконец на Олимпе — слава Богу, один! Все, кто окружал его теперь в Политбюро — Молотов, Ворошилов, Калинин, Каганович, — были послушным большинством; с Серго и Ми-

кояном можно было ладить, поскольку их перевели на хозяйственную работу; пусть себе, это не аппарат... Один, слава Богу, один, руки развязаны наконец... И он начал Революцию Сверху — «сплошную коллективизацию», вложив в нее все презрение к народу, который подчинился ему, как грубо изнасилованная женщина — садисту.

...Именно в тот день, когда Сталин вспомнил ненавистно-любимую им семинарию, по спискам, утвержденным им, было расстреляно еще двести сорок человек, среди них двенадцать докторов наук.

Трое умерли с истерическим криком:

— Да здравствует товарищ Сталин!

По существовавшим тогда порядкам залп можно было давать лишь после того, как приговоренный к смерти закончит здравицу в честь Вождя.

Эпилог

Вознесенского пытали изощренно, днем и ночью; порою попросту отдавали молодым стажерам, чтобы те отрабатывали на бывшем члене Политбюро, портреты которого они еще год назад проносили в дни всенародных празднеств по Красной площади, приемы самозащиты без оружия.

Он тем не менее все обвинения категорически отрицал.

Министр наконец вызвал его к себе — после пяти дней, проведенных Вознесенским в госпитале; приводили в порядок лицо и массировали распухшие пальцы.

— Послушайте, Вознесенский, — заговорил он устало, с болью. — Я не знаю, для кого бóльшая пытка разговаривать сейчас: для вас или для меня, ранее перед вами преклонявшегося. Улики неопровержимы, вот вам дело, садитесь и читайте, там показания членов Ленинградского бюро, допросы председателя Российского правительства Родионова. Первые подтверждают, что они фальсифицировали результаты партконференции по прямому указанию Кузнецова, который согласовал это с вами. Факт подтасовки бюллетеней бесспорен, все это есть в деле, — министр кивнул на гору папок. — Я нарушаю закон, знакомя вас с делом, которое еще не закончено... Процесс начнется не раньше, чем через полгода, слишком много фигурантов — разветвленный заговор великорусской группы...

— Не было никакого заговора, — сухо ответил Вознесенский. — Не было никакой фальсификации на выборах: либо это работа ваших провокаторов (работали провокаторы Комурова, министр об этом не знал), либо желание следовать политике «показухи», которой поражена вся страна, как раковой опухолью. Смотри, министр, это дело может оказаться твоим последним — тебя после него уберут, как убрали Ягоду и Ежова... Подумай... У тебя в руках сила...

Министр, сделавшись серым от ужаса и ярости, грохнул кулаками по столу:

— Скотина паршивая! Ты меня агитировать вздумал, контра! Я тебе поагитирую...

Через час Вознесенского вывели из тюрьмы — в легком костюме, шелковой сорочке, разрешив повязать галстук, — и посадили в «ЗИС». Рядом с ним сидели охранники в тулупах: мороз был восемнадцать градусов, деревья покрыты голубоватым инеем, небо бездонное, голубое.

Вознесенского привезли на Красную Пресню, на ту ветку, что шла к пересылке, и пересадили на открытую дрезину; по бокам устроились охранники; у одного на коленях лежал тулуп и меховая шапка; второй держал валенки, в которые были всунуты две бутылки водки, обернутые чистыми бланками допроса.

Полковник, ожидавший Вознесенского возле дрезины, сказал:

— Покатайтесь, поглядите, как хорошеет столица... Когда почувствуете, что превращаетесь в ледышку, подпишите бланк допроса. Вас немедленно напоят водкой, оденут в тулуп и валенки, отвезут в госпиталь. Не подпишете — ваше дело...

Кузнецову, бывшему секретарю ЦК, избитому, окровавленному, высохшему, устроили встречу с женой в кабинете Маленкова.

Есть ситуации, которые неподвластны слову, их нельзя описать — это удел скульптуры или музыки: *выразить* неописуемый ужас происходившего.

Когда встреча кончилась, Маленков сказал:

— От вас зависит все: признаетесь — спасу! Нет — не взыщите. Условия не мои, а товарища Сталина.

Когда министр МГБ СССР Абакумов был арестован по обвинению в потворстве «великорусской оппозиции» во главе со злейшим врагом народа Вознесенским и его подручным Кузнецовым, следователи выбивали из Абакумова показания про то, когда впервые секретарь ЦК Кузнецов потребовал у него дела, связанные с расследованием обстоятельств убийства Кирова, и отчего готовил свой план повторного изучения «загадочной» — как он говорил — «трагедии».

Второе обвинение заключалось в том, что Абакумов, получив устные показания от «агента еврейской шпионской группы «Джойнт» доктора Гелиовича» о глав-

ном враче Боткинской больницы профессоре Шимелиовиче и консультанте Лечебно-санитарного управления Кремля профессоре Этингере, расстрелял их, чтобы оборвать нити следствия, которые должны были привести к выяснению истинных обстоятельств гибели товарищей Щербакова и Жданова, умерщвленных еврейскими националистами, которые не могли простить великому сыну советского народа товарищу Жданову героической борьбы против еврейских космополитов.

Абакумов, подвергнутый пыткам, держался стойко, кричал в ярости:

— Про Кузнецова не знаю! А «Джойнт» — по-английски «объединенный»! У них даже в компартии написано «джойнт сентрал комити»! Я ж Валленберга по стене из-за этого размазывал, он мне все объяснил! Я и велел «джойнт» убрать, чтоб не засмеяли! Нашито всему поверят, а американцы от хохота перемрут! Я жидовню проклятую больше вас ненавижу, но ведь их по-умному надо уничтожать, а не топором! Гитлера забыли, да?! Урок не пошел впрок?!

Сразу после окончания Девятнадцатого съезда партия перестала называть себя большевистской, интернациональной, а стала государственной. Молотов и Микоян не были введены в Бюро Президиума ЦК. Новый министр госбезопасности Игнатьев начал готовить *дело* на Ворошилова — «английского шпиона». Сталин, как всегда, ничего не называл своими именами; в беседе с Игнатьевым вспоминал Троцкого и Склянского, с юмором рассказывал о стычках с Серебряковым — они вместе защищали Москву в девятнадцатом году, два представителя ЦК: один, Серебряков, был тогда секретарем ЦК, второй — наркомнацем, но оба являлись членами Военного совета фронта, — дивился тому, как Троцкий («надо отдать ему должное, армию держал в руках, хоть и драконовскими репрессиями») оказался завербованным гитлеровцами. «Парадокс истории»; впрочем, история нескончаема; «наш Клим, например, и сейчас взахлеб говорит о том, как блистательно работают англичане в Израиле, как умело закрепляются в Бирме, сколь сильны их позиции в Канаде и Кении... Прямо как член их парламента говорит, а не как русский».

Зная от сталинской охраны, что Сталин неоднократно называл Ворошилова «английским агентом», давно не

принимал его, Игнатьев *понял*, что угодно Вождю; начал работу.

Проанализировав все эти факты, особо сосредоточившись на том, что на съезде было только шесть процентов делегатов от колхозного крестьянства (в основном руководители совхозов и колхозов) и восемь процентов от рабочего класса (Герои труда, *обкатанные* на предыдущих совещаниях сталевары, ткачихи, имена которых были на слуху у народа), Берия понял, что Сталин совершенно потерял основополагающие ориентиры: если восемьдесят шесть процентов делегатов представляли новый класс — партийно-государственную бюрократию, то как можно в дальнейшем говорить о «партии рабочего класса и трудового крестьянства»?! Фикция! Русские хоть и терпеливы, но глухой *протест* теперь фиксировался органами не только в деревнях, но и повсеместно (в Донецке на монумент — на голову Вождя — надели ведро с мазутом; в Москве, Киеве и Ленинграде в парадных и на стенах домов — во дворах, к счастью, — расклеивались листовки, призывавшие к борьбе за ленинизм, против «кровавого тирана», предающего идеи демократического социализма); несколько раз в Салехардские концлагеря, в Тайшетлаг, Джезказган, Молотовский каторжный комплекс, в Комилаг приходилось десантировать дивизии: восстания зэков приобретали все более организованный характер, чувствовалась рука арестованного генералитета и высшего офицерства.

Когда Абакумов (за три дня перед арестом) доложил, что производительность труда в концлагерях резко падает, заключенные по-прежнему мрут от голода, Сталин, опросив мнение членов Политбюро и не получив удовлетворившего его ответа, обратился к Абакумову:

— Ваше предложение?

Тот ответил:

— Товарищ Сталин, если мы уберем десять процентов заключенных, тогда норма питания автоматически увеличится, работа пойдет успешнее.

— Что значит «уберем»? — Сталин остановился посреди кабинета, упершись взглядом в лицо Молотова. — Отправите по домам, что ли?

— Нет, — ответил Абакумов, — я должен получить санкцию на ликвидацию больных и наиболее истощенных.

— Не ликвидацию, — по-прежнему не отрывая взгляда от Молотова, жена которого сидела в концлагере как «еврейская националистка», — а расстрел. Нет смыс-

ла танцевать на паркете, здесь не бал, а Политбюро... Приучитесь называть вещи своими именами, пора бы... И не больных надо расстреливать, а наиболее злостных врагов народа, диверсантов и шпионов... Больные и сами помрут... Десять процентов многовато, а пять процентов достаточно. Как, товарищ Молотов? Согласны?

— Д-да, т-товарищ Сталин, с-согласен, — ответил тот, заикаясь больше обычного.

Берия понимал, что после предстоящего ареста Молотова и Ворошилова из тех вполне могут выбить показания и на него с Маленковым.

Поэтому через неделю после ареста Абакумова он отправился к Суслову. Затем, посоветовавшись с Хрущевым, которого Старец перевел в Москву первым секретарем горкома, — чего мужика бояться, не конкурент, образование не позволяет, но в раскладе сил необходим, врубит, если надо, от всего сердца — Берия поехал к Маленкову.

— Егор, я поглядел абакумовские дела с врачами, которых он прикрывал, и пришел в ужас: а если еврейские демоны решат мстить нам и обратят свой удар против товарища Сталина? Ты представляешь себе, что постигнет нас, родину, мир, наконец?!

Маленков поднялся из-за стола:

— Неужели они могут пойти на такое?!

— Ты считаешь невозможным? Тогда я снимаю вопрос. Просто я не мог с тобой не поделиться... Все-таки Иосифу Виссарионовичу за семьдесят, мы должны беречь его, как отца...

— Нет, нет, хорошо, что ты поднял этот вопрос... Что надо предпринять?

Берия, готовясь к этому разговору, заново просмотрел все материалы, связанные с болезнью Ленина, когда Политбюро поручило генеральному секретарю Сталину *личную* ответственность за лечение Ильича.

Наученный читать не только строки, но и типичные византийские междустрочья, Берия многое понял, лишний раз испугавшись вседозволенного коварства Старца.

— Предпринять можно одно: провести на Политбюро решение о твоем назначении на пост ответственного за состояние здоровья товарища Сталина.

Маленков долго смотрел в бесстрастное лицо Берия, выражения глаз маршала *понять* не мог, бликовали стекла пенсне, потом ответил:

— Я завтра же внесу на Политбюро предложение о

придании тебе функции лично отвечающего за состояние здоровья Иосифа Виссарионовича...

...Что и требовалось доказать!

Когда решение состоялось (все проголосовали «за» при одном воздержавшемся — Сталине: «Я себя отлично чувствую, зря вы это затеяли», но при этом смотрел на Маленкова с добротой), Берия встретился с Комуровым и сказал во время прогулки по аллеям Серебряного бора:

— Включай в работу того самого следователя... Как его? Забыл фамилию... Ну, ты его взял «на подслухе», он Гитлера хвалил...

— Рюмин, — сказал Комуров. — Подполковник Рюмин.

— Ты от него отодвинься, — заметил Берия, — чтоб никто и никогда не прочитал никаких твоих с ним связей... Передай кому-то из новых игнатьевских ребят... Не сам, а через третьи руки...

— А в какую работу его включать? — спросил Комуров.

Берия ответил не сразу, сунул кулаки еще глубже в карманы пиджака, несколько минут шел молча, в трудном раздумье, потом спросил:

— Кто у тебя есть из надежной агентуры в Кремлевке? Из врачей, работающих там постоянно?

Комуров начал неторопливо перечислять, загибая короткие пальцы.

— Евреи не годятся, — внимательно выслушав его, заметил Берия. Попросил рассказать о каждом подробнее; слушал вбирающе, замерев. — А вот эта твоя Тимашук... Она кардиолог?

— По-моему, сидит на электрокардиограммах.

— Годится... Кто ее вербовал?

— Абакумовцы.

— Прекрасно. Подведи к ней кого-нибудь из непосаженных еще абакумовских парней, и пусть они поработают с ней, пусть подскажут, как написать письмо в МГБ, что в Кремлевке действует банда врачей-убийц, еврейский заговор против членов Политбюро, а в основном против товарища Сталина.

Берия заметил, как Комуров, обычно краснолицый, побледнел, понизил голос:

— Кого называть? Поименно? Или вообще?

— Кто тебя в Кремлевке лечит?

— Постоянно — Коган... Горло ведет Преображенский... Егоров консультирует...

Берия поморщился:

— Нужны евреи. Коган, его брат, мой доктор — Фельдман, брат Михоэлса профессор Вовси, профессор Зеленин, тоже еврей, кстати... Но — тебя нет во всем этом. Ты — человек-невидимка. Недреманное всевидящее око. Донесение этой самой Тимашук должно попасть в руки Рюмина... Твои люди, имеющие на него влияние, помогут ему сочинить письмо Сталину... Мне — ни в коем случае. Только копия... Срок даю минимальный. Как себя ведет министр Игнатьев в последние дни?

Комуров усмехнулся:

— Хоть и болен, но пообещал научить всех нас работать без белых перчаток...

— Это в связи с чем?

— Лозовский, Перец Маркиш, Бергельсон, Фефер, словом, Еврейский антифашистский комитет...

— Верно, — Берия кивнул, — Хозяин торопит, да и костоломам не терпится вкусить дымной кровушки...

Через неделю все члены Антифашистского комитета во главе с членом ЦК Лозовским были расстреляны без суда; стихотворение Квитко «Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят», напечатанное во всех школьных хрестоматиях, было предписано заклеить куском белой бумаги, зачеркнув предварительно строки тушью.

Через три дня Сталин согласился принять врачей из Санупра Кремля; профессор Виноградов (Вовси более к Вождю не подпускали) сказал то, что ему порекомендовал «старый друг», личный агент Берия (из его «золотого фонда»): «Товарищ Сталин, я не вижу особых отклонений от нормы, но вам необходим длительный отдых, по крайней мере два-три месяца».

Сталин прореагировал на эту рекомендацию спокойно (в кругу друзей называл Виноградова «куци-куц» — у профессора была такая постоянная присказка), сказал об этом Берия, заметив, что, видимо, поживет на Рице; начал собираться в дорогу. Однако через два дня позвонил в четыре утра: Берия не спал, сидел у аппарата, звонка этого ждал, ибо получил информацию, что письмо Рюмина о врачах-убийцах передано Поскребышеву.

— Немедленно приезжайте ко мне, — сухо, с трудно сдерживаемой яростью сказал Сталин.

Берия знал, что деспот в Кремле; когда вошел в

кабинет, тот — пожелтевший, осунувшийся за день — поинтересовался, подчеркнуто выделяя местоимение «вы»:

— Откуда вы знали, что я здесь?! В это время я обычно бываю на Ближней!

Берия похолодел: если сказать, что звонил на дачу, Сталин спросит, с кем разговаривал, конец, провал; ответил поэтому полуправдой:

— Мне бы позвонили, товарищ Сталин... Мне звонят, когда вы уезжаете...

Сталин кивнул на две странички, лежавшие на совершенно пустом огромном столе для заседаний:

— Прочтите...

Берия внимательно прочитал текст, который знал наизусть, ибо Рюмину помогли сочинять его «верные люди».

Сыграл ярость, ударил кулаками по столу, вскочил со стула:

— Я их завтра же поставлю к стенке!

— Э, нет, — очень тихо, злобно, стараясь не сорваться, проговорил Сталин. — Сначала эта сволочь будет арестована, пройдет круги ада, скажет всю правду, а потом уж выведем на процесс... Все. Идите. Не вы, а патриот России Рюмин раскрыл заговор... Рюмин, простой следователь, а не вы, — Сталин брезгливо заключил, — отвечающий за бесценное здоровье лучшего друга всех народов товарища Сталина...

Берия побледнел:

— Товарищ Сталин, Рюмин выпестован мною, нашими людьми, мы его сориентировали на поиск...

В дверях Берия столкнулся с серым от волнения новым министром госбезопасности Игнатьевым.

Тому Сталин сказал лишь несколько фраз:

— Всех врачей — в карцеры. Заковать в кандалы. Применять пытки. Дело поручаю *генералу* Рюмину, вашему *заместителю*. Завтра приму его в пять часов. Все. Идите.

Оставшись один, с внезапным ужасом вспомнил двадцать второй год, когда он, используя врачей, приглашенных из Германии, отправил Ленина в Горки, *запретив* ему (решением Политбюро) текущую партийную и государственную работу...

Услышал вдруг:«Мне отмщение и аз воздам».

Позвонил Маленкову, шел уже пятый час утра:

— Решение Политбюро о моем отпуске отменяется. Все заседания Политбюро и Секретариата буду проводить лично я. Бюро Совета Министров — тоже.

Новых врачей генералиссимус не принимал три недели; через секретариат нашел своего старого друга — еще по Царицыну, тот был военфельдшером, вызвал на дачу, дал себя обслушать и обстучать; старик махнул рукой:

— Ты здоров, Коба... Здоров, как бык... А новым врачам покажись, только пусть я буду при этом... Не в белом халате, конечно, а в сталинке, вроде бы твой денщик...

...После ареста Виноградова, который сразу же согласился сотрудничать со следствием, Сталин, получив от Рюмина первые собственноручные признания Виноградова и Вовси: «работали на англичан, филиал американской разведки и еврейский «Джойнт», собрал Политбюро:

— Врачей-убийц будем вешать на Лобном месте. Прилюдно. Погромы, которые начнутся следом за этим, не пресекать. Подготовить обращение еврейства к правительству: «просим спасти нашу нацию и выселить нас в отдаленные районы страны». Кагановичу проследить за тем, чтобы были подготовлены бараки для депортируемых. Молотов отвечает за редакцию текста обращения.

Вечером позвонил Берия:

— Пусть твои *грызуны* (так пренебрежительно звал грузин) приготовят ужин, привезешь на дачу, я приглашаю Хрущева и Булганина, посидим вчетвером.

...Разлив из большой супницы харчо, обратился к Берия:

— Пробуй первым. Если невкусно — выплюнь.

Не отрывал прищуренных глаз от лица Берия, который начал жадно поедать харчо.

Все следующие блюда пробовал только после того, как заканчивали Берия и Булганин с Хрущевым.

К концу вечера подобрел:

— Одному скучно, будем теперь вместе ужинать...

На прощание сказал:

— Завтра присылайте новых эскулапов, пусть осмотрят...

Дождавшись, когда машины Хрущева и Булганина отъехали, Берия сказал с горечью:

— Товарищ Сталин, ведь мерзавца Абакумова не я назначал, а Жданов... Поднимите архивы — его резолюция стоит... Разве я тогда мог противиться? Я ж в *кандидатах* ходил... Абакумова наши люди разоблачили, Комуров его разоблачил, товарищ Сталин...

Сталин долго, неотрывно, *бегающе* смотрел на Берия, потом, повернувшись, бросил:

— Случись что со мной, тебя первого вздернут... Как паршивого кинто... Рюмин — талант, береги его... Он ненавидит Сион, и верно делает... Все враги народа — жидовня, начиная с Троцкого, я им всегда поперек глотки стоял...

Собравшись, сдерживая нервный озноб, Берия ответил:

— Не только им, товарищ Сталин... У меня есть один нелегал, может быть, помните, он разгадал переговоры американцев с нацистами в Берне... Юстас, он же Штирлиц... Если бы я вам его привез, он бы такое рассказал про *корни*, про союз евреев и американцев с гестапо...

— Не буду я никого принимать, — отрезал Сталин. — Пусть напишет и даст показания на процессе... Если знал — отчего молчал? Еврей, конечно?

— Русский.

— Штирлиц — не русское имя... Пройдет на процессе как еврей, вздернем на Лобном рядом с изуверами...

Берия решил *разыграть* эту свою последнюю карту, потому что подивился крепкой собранности Старца, хорошему цвету его лица и вновь обретенному спокойствию.

«Если он продержится еще год, — сказал себе Берия, — всем нам конец, разве что Шкирятова пощадит и Суслова, времени у меня больше нет...»

Поэтому его агентура подействовала на людей профессора Тареева, нового руководителя бригады врачей, в том смысле, что необходимо отменить все лекарства, которые ранее были предписаны Сталину «еврейскими убийцами в белых халатах». Более того, поскольку арестованные доктора прежде всего опасались инсульта Вождя (выходили его после инфаркта и двух предынсультных кризов), сейчас надо сосредоточиться на профилактике желудка, активной витаминотерапии (Сталин знал, что Гитлера *держали* витаминами), а все сосудорасширяющие препараты отменить...

Военфельдшер — Сталин звал его Нико — новые назначения одобрил, посоветовав при этом:

— А вообще-то кальцекс надо пить, Коба... Безвредно и профилактирует.

...Поскольку курс лечения, предписанный «убийцами» из «Джойнта», был отменен (следуй он ему, неизвестно еще, сколько б прожил), состояние здоровья Сталина ухудшалось с каждым днем; он запрещал себе признаваться в этом; более того, рабочий день теперь начинал не в двенадцать, а на час раньше и спать ложился на рассвете; много читал, стараясь этим заглушить темную ярость, которая душила его, стоило лишь вспомнить Вовси, Виноградова или братьев Коганов. Порою чувствовал, как давит кадык и кружит голову; пил кальцекс.

Готовил еду сам на маленькой электроплитке.

Когда его разбил инсульт и он не отпер дверь своих покоев, охрана позвонила Берия, тот велел взломать замок. Увидев Сталина, лежавшего в странной позе, одетого, глядевшего на него с мольбой, гневно посмотрел на охрану:

— Вы что, не понимаете?! Товарищ Сталин хочет уснуть! Не сметь мешать ему!

...Профессор Тареев, вызванный лишь на следующий день, трясся, не владел руками, плакал; применять те препараты, которыми Виноградов и Вовси спасли Сталина семь лет назад, не имел права; министр Игнатьев дал устную рекомендацию следователям провести с «врачами-убийцами» консилиум по поводу состояния здоровья «неназываемого пациента».

После смерти Сталина первый заместитель Председателя Совета Министров и министр внутренних дел Берия (МГБ ликвидировали в одночасье), «человек номер два», вызвал к себе Абакумова, беседовал с глазу на глаз пять часов; в карцер Абакумова был посажен бывший генерал Рюмин.

Вскорости «врачи-убийцы» были реабилитированы: сообщение в «Правде» было дано от имени МВД СССР. Берия начал тур борьбы за лидерство, его имя сразу же сделалось популярным в среде советской интеллигенции.

Хрущев, понимая, что такого спускать нельзя, опубликовал в «Правде» статью о нарушениях законности в «бывшем МГБ».

Берия решил ответить ударом на удар: внес предложение на ПБ о нормализации отношений с Тито («это *дело* — фикция и дутое провокаторство; интрига»), выходе на международный рынок и налаживании политического диалога с Западом («мы отстали от технологии на десятилетия»), предложил снять с поста первого секретаря ЦК Компартии Украины Мельникова, заменив его истинным украинцем (прекратив таким образом насильственную русификацию республик, вернувшись «к нормам ленинского социалистического интернационализма», выраженного в Завещании). Не забыл он и об эмоциональном аспекте борьбы за лидерство: приказал найти в лагерях и тюрьмах бывших нелегалов, подкормить их, подлечить и дать о них серию материалов в газетах: «В МГБ были не только садисты типа Рюмина, ставленники тирана, но и истинные герои в борьбе с нацизмом».

Исаева нашли во Владимирском политическом изоляторе: полуослепший, беззубый, с перебитыми ногами, он был помещен в тюремный госпиталь.

Леопольда Треппера и Шандора Радо выпускать нельзя: работа в «шарашке» продолжается; Радо пусть там сидит, благо Родины прежде всего...

Лишь после этого Берия вспомнил о Валленберге: не помер ли где в одиночке или на каторге?

По счастью, был жив.

Перед тем как пригласить его к себе, Берия поинтересовался:

— Не псих?

— Вполне нормален, — ответил Комуров.

— Постригите, оденьте как следует, накормите обедом из «Националя», а потом ведите ко мне.

Комуров покачал головой:

— Лаврентий Павлович, рискованно... Иностранец...

Берия, словно бы не услыхав этих слов, посмотрел на часы:

— К семи вечера... Послезавтра...

...Навстречу Валленбергу вышел из-за стола, пожал руку:

— Те, кто мучил вас в течение всех этих лет, тра-

гичных для нашей страны, по моему приказу арестованы. Начато следствие. Мерзавцев ждет смертная казнь, они позорили Сталинскую Конституцию...

— Господин Рюмин? — сухо осведомился Валленберг. — Какова его судьба?

— Этот черносотенец взят первым.

Переводчик не решился корректировать Лаврентия Павловича: слово «взят» перевел дословно.

Валленберг не понял:

— Что значит взят?

— Это значит — арестовали...

— Я могу выступить свидетелем на его процессе?

— Конечно, господин Валленберг. — Берия мягко улыбнулся. — Мы дадим вам постоянную визу в Москву, вы этого заслужили годами нечеловеческих мук... Хочу надеяться, что вы, несмотря ни на что, не станете игрушкой в руках тех сил, которые по-прежнему норовят разжечь ненависть к Советскому Союзу... Они не хотят понять: начался новый период нашей истории, новое время, мы нуждаемся в друзьях... Вы же видели, что в камерах вместе с вами мучились невиновные советские граждане и никто из них не ругал свою родину, ругали тех мерзавцев, которые обрекли их на муки.

— Я был, есть и останусь другом тех советских людей, которые делили со мною горе... Это были прекрасные люди... И вообще, я не намерен заниматься общественной деятельностью... Я — если вы действительно освобождаете меня — уйду в лоно Церкви.

— Благодарю вас, господин Валленберг. — Глаза Берия повлажнели, он снял пенсне и вытер слезы. — Какие у вас еще пожелания?

— Я бы хотел также выступить на процессе против изувера Абакумова, который проводил со мной первые допросы...

(Берия держал Абакумова в резерве: когда он переместит Маленкова в секретари ЦК, а сам возглавит Совмин, Виктор вернется в прежнее кресло, кроме него, некому, разве что Меркулов, но опять-таки армянин: Сталин разжег национальную рознь, с чечни и татар начал, евреями кончил, нужно время на успокоение.)

— Вы что-то путаете, господин Валленберг... Абакумов к вашему делу не имел никакого отношения, — ответил Берия. — Он сам был жертвой клеветы, его пытали в этом же здании...

— И аз воздам, — Валленберг был тверд. — Первые недели мной *занимался* Абакумов. Да, именно он. Поэ-

тому я оставляю за собой право прислать моих адвокатов для вызова его в суд.

— Если настаиваете — не смею возражать, — ответил Берия, распрощался с Валленбергом, пожелав ему благополучного возвращения к родным, проводил до двери.

Сразу после этого вызвал Комурова:

— Ты был прав, Богдан. Увы, ты был прав... Подготовь справку, датированную сорок шестым или сорок седьмым годом: «Валленберг умер от разрыва сердца». И запри в сейф. До поры до времени: я намерен свой первый официальный визит нанести в Скандинавию: через них возможен прорыв в технологию, у них можно получить заем... Справку пусть сделают по форме, подпишется начальник тюремного госпиталя, протокол и все такое прочее, чтоб в Стокгольме никто не подточил носа...

...Арест Берия, необходимый и в высшей мере своевременный, был, однако, оформлен для печати по рецептам Сталина и того же Берия: «югославский и английский шпион»; через полтора года после расстрела «югославского шпиона», *убившего* Сталина, в Белград к «товарищу Тито, верному коммунисту-ленинцу», отправилась советская делегация во главе с Хрущевым.

Маленкова, который произнес слова, кивнув на Берия во время того памятного кремлевского заседания: «Арестуйте его, это враг народа!» — среди членов делегации не было.

В секретном архиве Берия было обнаружено множество фактов о пытках, которые применялись к участникам процессов тридцать шестого — тридцать восьмого годов; часть этих фактов была приведена Хрущевым на XX съезде партии, который означал начало конца Сталина, мучительное и кровавое.

Двадцать третьего декабря пятьдесят третьего года советские газеты опубликовали сообщение Верховного суда Союза ССР, в котором сообщалось, что приговор Специального Военного Присутствия Верховного суда СССР в отношении присужденных к высшей мере наказания — расстрелу — Берия, Гоглидзе, братьев Кобуловых, Деканозова и других приведен в исполнение.

Казнь проходила в присутствии и под контролем маршала Ивана Конева.

Дело бывшего заместителя министра бывшего МГБ Рюмина было выделено в отдельное производство.

Рюмин был осужден и расстрелян.

Следом были осуждены и расстреляны Комуров и Влодимирский.

Абакумов, обвиненный (после захвата Берия в сталинском кремлевском кабинете) в фальсификации «ленинградского дела» и садистских зверствах, содержался в Лефортовской тюрьме; от дачи каких-либо показаний отказался наотрез; следователю дал отвод.

Когда к нему в камеру пришел генерал, работник ЦК в прошлом, назначенный (после ареста Берия) заместителем Главного военного прокурора, проводивший реабилитацию всех необоснованно репрессированных, Абакумов хмуро поинтересовался:

— В чем дело? Я ж сказал — никаких показаний не будет. Точка и ша. И вообще — вы кто такой? Я вас раньше не видел.

— Я заместитель военного прокурора.

Абакумов расхохотался: в этом его веселом, *дерзком* хохоте не было ничего наигранного или, более того, истеричного:

— Ты мне баки не заколачивай, «прокурор»! Ни на Лубянке, ни в Лефортове ноги прокурора не было и не будет! Это наша вотчина! И нé хрен со мной комбинации строить, я их все наизусть знаю!

Генерал достал удостоверение, подписанное Прокурором СССР, протянул Абакумову:

— Вот, ознакомьтесь...

Тот взял красную книжку, раскрыл, читал долго, шевеля губами, раз пять, не меньше, потом книжку аккуратно закрыл, вернул ее генералу, обхватил голову руками и начал медленно раскачиваться из стороны в сторону, повторяя:

— Все... Все... Все... Все кончено... Конец... Конец Державе... Конец родине, конец святому делу, конец, конец, конец...

...Назавтра начал давать показания, *выскабливался.*

Держался с полнейшим безразличием; только один раз разбушевался: «Я санкции на расстрел доктора Шимелиовича и Этингера не давал! В бумагах генералиссимуса ищите!»

Был приговорен к расстрелу.

Расстреляли.

...«Золотую Звезду» Героя Советского Союза Всеволод Владимирович Владимиров (Исаев) получил из рук Ворошилова, который вместе со Сталиным и Молотовым шестнадцать лет назад подписал *список* на расстрел учителей и друзей Исаева товарища Уборевича, Антонова-Овсеенко, Постышева, Блюхера, Пиляра, Сыроежкина — несть конца этому списку.

Обменявшись рукопожатием с «народным президентом», Исаев обязательного в таких случаях благодарственного слова не произнес, возвратился на свое место за столом заседаний, а перед началом коллективного фотографирования ушел, сославшись на недомогание.

Через месяц он начал работать в Институте Истории по теме «Национал-социализм, неофашизм; модификации тоталитаризма».

Ознакомившись с текстом диссертации, секретарь ЦК Суслов порекомендовал присвоить товарищу Владимирову звание доктора наук без защиты, а рукопись изъять, передав в спецхран...

СОДЕРЖАНИЕ

Приказано выжить (1945—1946) 5
Отчаяние (1947—1953) 323

Семенов Ю. С.

С 30 **Собрание сочинений: В 8-и томах: Т. 4: Политические хроники (1947—1953). — М.: МШК МАДПР, ДЭМ, 1994 –544 с.**

ISBN 5-85207-028-9

В четвертый том собраний сочинений Ю. Семенова вошли политические хроники «Приказано выжить» и «Отчаяние».

Для широкого круга читателей.

С 4702010201—014 Без объявл. ББК 84.3Р7
МШК, МАДПР, ДЭМ—1994

Литературно-художественное издание

Юлиан Семенович Семенов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ
Том четвертый. Политические хроники (1945—1953)

Редактор *И. В. Стабникова*

Оформление художников *В. М. Белякова, В. С. Помочилина, М. Н. Шестопала*

Художественно-технический редактор *Т. К. Койранская*

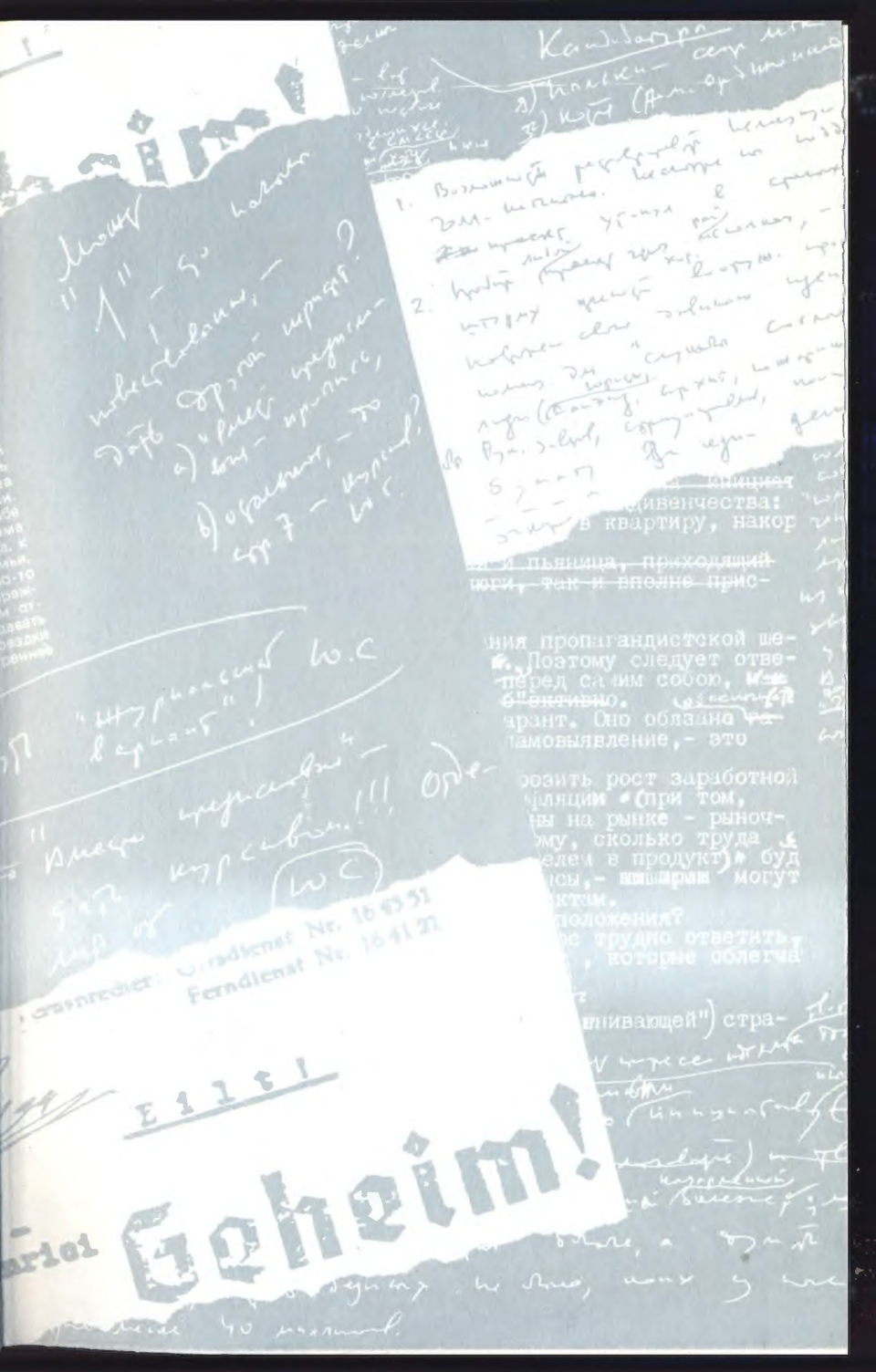
Корректоры *Т. П. Поленова, А. Л. Курочкина*

Н/К

ЛР № 090028 от 01.11.91. Сдано в набор 14.03.91.
Подписано в печать. 29.07.91. Бумага Типографская № 2
Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Гарнитура Литературная. Печать высокая.
Усл. печ. л. 28,56 Усл. кр.-отт. 29,19. Уч.-изд. л. 30,98.
Доп. Тираж 10000 экз. Зак. 107. Из № 33.

СП ДЭМ
117049, Москва, Крымский вал, 9.

в АООТ «Ярославский полиграфкомбинат».
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.


Eilt!
Geheim!